

ПЬЕР БУРДЬЕ

# О ГОСУДАРСТВЕ

Курс лекций  
в Коллеж де Франс  
(1989–1992)



| Издательский дом **ДЕЛО** |



**РАНХиГС**  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Pierre Bourdieu

# Sur l'État

Cours au Collège  
de France  
(1989–1992)

*Édition établie par*

PATRICK CHAMPAGNE, REMI LENOIR,  
FRANCK POUPEAU ET MARIE-CHRISTINE REVIÈRE

RAISONS D'AGIR/SEUIL

2012

Пьер Бурдьё

# О государстве

Курс лекций  
в Коллеж де Франс  
(1989–1992)

*Под редакцией*

ПАТРИКА ШАМПАНЯ, РЕМИ ЛЕНУАРА,  
ФРАНКА ПУПО И МАРИ-КРИСТИН РИВЬЕР

*Перевод с французского*

ДМИТРИЯ КРАЛЕЧКИНА И ИННЫ КУШНАРЁВОЙ

*Предисловие*

АЛЕКСАНДРА БИКБОВА



| ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ДЕЛО |

Москва | 2016



УДК 321.01  
ББК 60.56  
Б90

*Перевод с французского:*

Дмитрий Кралечкин (1989/90, 1991/92 учебный год)

Инна Кушнарёва (1990/91)

Переводчики выражают благодарность Александру Бикбову за ценные комментарии и всестороннюю помощь

### **Бурдьё П.**

**Б90** О государстве : курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992) / Пьер Бурдьё ; [ред.-сост. П. Шампань, Р. Ленуар, Ф. Пуло, М.-К. Ривьер] ; пер. с фр. Д. Кралечкина и И. Кушнарёвой ; предисл. А. Бикбова. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016.— 720 с.

ISBN 978-5-7749-1191-2

Вопрос о государстве — центральный для всего творчества Пьера Бурдьё, и именно ему он посвятил трехлетний цикл лекций, прочитанных в Коллеж де Франс, объединивший результаты его многолетних исследований. Понятия, введенные в прежних работах — культурный и символический капитал, символическое насилие, поля и пространства, практические логики, — получают в этом курсе о государстве новую трактовку, представляясь подходами к социологической теории генезиса европейского государства.

В книге представлен в каком-то смысле другой Бурдьё, ее стиль отличается от стиля собственно научных публикаций: текст лекций демонстрирует социологическую работу *in actu*, как в ее теоретических, так и эмпирических моментах. Разоблачая иллюзии «мысли государства», стремящейся закрепить веру в то, что государство служит общему благу, Бурдьё критикует и антиинституциональный настрой социологов и философов, которые сводят государственный аппарат исключительно к функции обслуживания власти имущих.

Особый интерес вызывает анализ демонтажа социального государства, который Бурдьё трактует как следствие определенной борьбы внутри самого поля государства и высокопоставленного чиновничества.

УДК 321.01  
ББК 60.56

ISBN 978-5-7749-1191-2

© Éditions Raisons d'Agir/Éditions du Seuil, 2012

© Александр Бикбов, предисловие, 2016

© ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2016

# Содержание

*Александр Бикбов. Как делается государство* . . . . . 11

От редакторов французского издания. . . . . 43

1989–1990

Лекция 18 января 1990 года . . . . . 49

Немыслимый предмет . . . . . 49

Государство как нейтральное место . . . . . 51

Марксистская традиция . . . . . 53

Календарь и структура темпоральности . . . . . 56

Государственные категории . . . . . 61

Государственные акты . . . . . 63

Рынок многоквартирных домов и государство . . . . . 68

«Комиссия Барра» по жилью . . . . . 74

Лекция 25 января 1990 года . . . . . 85

Теория и эмпирия . . . . . 85

Государственные комиссии и инсценировки . . . . . 86

Социальная конструкция публичных проблем . . . . . 91

Государство как точка зрения на точки зрения . . . . . 93

Официальный брак . . . . . 94

Теория и эффекты теории . . . . . 97

Два смысла слова «государство» . . . . . 99

Превращение частного в универсальное . . . . . 102

Obsequium . . . . . 104

Институты как «организованный фидуциар» . . . . . 108

Генезис государства: сложности задачи . . . . . 110

Отступление об обучении социологическим  
исследованиям . . . . . 111

Государство и социолог . . . . . 113

Лекция 1 февраля 1990 года . . . . . 121

Риторика официального . . . . . 121

Публичное и официальное . . . . . 128

Универсальный друг и цензура .....	135
«Законодатель-художник» .....	138
Генезис публичного дискурса .....	140
Публичный дискурс и оформление .....	146
Общественное мнение .....	150
<b>Лекция 8 февраля 1990 года .....</b>	<b>157</b>
Концентрация символических ресурсов .....	157
Социологическое прочтение Франца Кафки .....	161
Неосуществимая исследовательская программа .....	164
История и социология .....	168
«Политическая система империй»	
Шмуэля Нойя Эйзенштадта .....	170
Две книги Перри Андерсона .....	179
Проблема «трех дорог» у Баррингтона Мура .....	186
<b>Лекция 15 февраля 1990 года .....</b>	<b>189</b>
Официальное и частное .....	189
Социология и история: генетический структурализм .....	193
Генетическая история государства .....	201
Игра и поле .....	205
Анахронизм и иллюзия номинального .....	211
Две стороны государства .....	213
<b>1990–1991</b>	
<b>Лекция 10 января 1991 года .....</b>	<b>221</b>
Исторический подход и генетический подход .....	221
Исследовательская стратегия .....	226
Жилищная политика .....	229
Взаимодействия и структурные связи .....	231
Эффект институционализации: очевидность .....	236
Эффект «Это так...» и закрытие возможностей .....	240
Пространство возможностей .....	242
Пример орфографии .....	244
<b>Лекция 17 января 1991 года .....</b>	<b>249</b>
Напоминание о направлении курса .....	249
Два значения слова «государство»:	
государство-управление и государство-территория .....	250
Дисциплинарное разделение исторической работы	
как эпистемологическое препятствие .....	254
Модели генезиса государства: 1. Норберт Элиас .....	258
Модели генезиса государства: 2. Чарльз Тилли .....	266
<b>Лекция 24 января 1991 года .....</b>	<b>273</b>
Ответ на вопрос: понятие изобретения	
при структурном ограничении .....	273

## СОДЕРЖАНИЕ

Модели генезиса государства: 3. Филип Корриган и Дерек Сейер . . . . .	280
Особый случай Англии: промышленная модернизация и культурный архаизм . . . . .	290
Лекция 31 января 1991 года . . . . .	297
Ответ на вопросы . . . . .	297
Культурный архаизм и экономические трансформации . . .	298
Культура и национальное единство: случай Японии . . . . .	302
Бюрократия и культурная интеграция . . . . .	307
Национальное объединение и культурное господство . . . . .	311
Лекция 7 февраля 1991 года . . . . .	317
Теоретические основы анализа государственной власти . . .	317
Символическая власть: силовые отношения и отношения смысла . . . . .	319
Государство как производитель принципов классификации . . . . .	321
Эффект веры и когнитивные структуры . . . . .	323
Эффект согласованности символических систем государства . . . . .	329
Построение государства: школьное расписание . . . . .	333
Производители доксы . . . . .	335
Лекция 14 февраля 1991 года . . . . .	341
Социология, эзотерическая наука, кажущаяся экзотерической . . . . .	341
Профессионалы и профаны . . . . .	345
Государство структурирует социальный порядок . . . . .	351
Докса, ортодоксия, гетеродоксия . . . . .	354
Превращение частного в публичное: появление в Европе современного государства . . . . .	356
Лекция 21 февраля 1991 года . . . . .	363
Логика генезиса и возникновения государства: символический капитал . . . . .	363
Этапы процесса концентрации капитала . . . . .	367
Династическое государство . . . . .	372
Государство: власть над властями . . . . .	374
Концентрация и экспроприация видов капитала: пример физической силы как капитала . . . . .	377
Создание центрального экономического капитала и построение автономного экономического пространства . . .	382
Лекция 7 марта 1991 года . . . . .	389
Ответы на вопросы: конформизм и консенсус . . . . .	389
Процесс концентрации видов капитала: сопротивление . . .	390

Унификация юридического рынка . . . . .	394
Формирование заинтересованности в универсальном . . . . .	397
Точка зрения государства и обобщение: информационный капитал . . . . .	400
Концентрация культурного капитала и национальное строительство . . . . .	405
«Знать по природе» и государственная знать . . . . .	406
 Лекция 14 марта 1991 года . . . . .	413
Отступление: переворот в интеллектуальном поле . . . . .	413
Две стороны государства: господство и интеграция . . . . .	416
Jus loci и jus sanguinis . . . . .	419
Унификация рынка символических благ . . . . .	422
Аналогия между религиозным и культурным полем . . . . .	428
 1991–1992	
 Лекция 3 октября 1991 года . . . . .	437
Модель трансформации династического государства . . . . .	437
Понятие стратегии воспроизводства . . . . .	440
Понятие системы стратегий воспроизводства . . . . .	446
Династическое государство в свете стратегий воспроизводства . . . . .	449
«Королевский дом». . . . .	454
Юридическая логика и практическая логика династического государства . . . . .	457
Задачи следующей лекции . . . . .	459
 Лекция 10 октября 1991 года . . . . .	461
Модель дома против исторического фетишизма . . . . .	461
Задачи исторического исследования государства . . . . .	470
Противоречия династического государства . . . . .	477
Трехчастная структура . . . . .	481
 Лекция 24 октября 1991 года . . . . .	487
Повторение логики курса . . . . .	487
Семейное воспроизводство и государственное . . . . .	489
Отступление об истории политической мысли . . . . .	494
Историческая работа юристов в процессе построения государства . . . . .	497
Дифференциация власти и структурная коррупция: экономическая модель . . . . .	509
 Лекция 7 ноября 1991 года . . . . .	511
Преамбула: сложности с коммуникацией в социальных науках . . . . .	511

## СОДЕРЖАНИЕ

Пример институционализированной коррупции в Китае (1): двусмысленная власть бюрократов низшего звена . . . . .	515
Пример институционализированной коррупции в Китае (2): «чистые» . . . . .	521
Пример институционализированной коррупции в Китае (3): двойная игра и двойное «я» . . . . .	525
Генезис бюрократического пространства и изобретение публичного . . . . .	530
 Лекция 14 ноября 1991 года . . . . .	 535
Построение Республики и построение нации . . . . .	535
Создание публичного в свете одного трактата по английскому конституционному праву. . . . .	537
Применение королевских печатей: цепочка гарантий. . . . .	545
 Лекция 21 ноября 1991 года . . . . .	 557
Ответ на вопрос о противопоставление публичного и частного . . . . .	557
Превращение частного в публичное: нелинейный процесс. . . . .	559
Генезис метаполя власти: дифференциация и разведение двух властей, династической и бюрократической . . . . .	563
Программа исследования Французской революции. . . . .	567
Династический принцип против юридического на примере ложа правосудия. . . . .	570
Методологическое отступление: кухня политических теорий . . . . .	575
Юридическая борьба как символическая борьба за власть . . .	578
Три противоречия юристов . . . . .	582
 Лекция 28 ноября 1991 года . . . . .	 587
История как ставка борьбы . . . . .	587
Юридическое поле: исторический подход. . . . .	590
Должности и чиновники . . . . .	598
Государство как <i>fictio juris</i> . . . . .	599
Юридический капитал как языковой капитал и как практическое мастерство . . . . .	602
Юристы в отношении к Церкви: автономизация корпорации . . . . .	605
Реформация, янсенизм и юридизм. . . . .	609
Публичное: беспрецедентная реалья, которая никак не возникнет . . . . .	612

## О ГОСУДАРСТВЕ

Лекция 5 декабря 1991 года .....	615
Программа социальной истории политических идей и государства .....	615
Интерес к незаинтересованности .....	619
Юристы и универсальное .....	622
(Ложная) проблема Французской революции .....	625
Государство и нация .....	628
Государство как «гражданская религия» .....	632
Национальность и гражданство: противоположность французской модели и немецкой ...	634
Борьба интересов и борьба с участием бессознательного в политическом споре .....	638
Лекция 12 декабря 1991 года .....	641
Построение политического пространства: парламентская игра .....	641
Отступление: телевидение как новая политическая игра ...	643
От государства на бумаге к реальному государству .....	645
Одомашнивание подвластных: диалектика дисциплины и филантропии .....	649
Теоретический аспект построения государства .....	655
Заключительные вопросы .....	663

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Резюме, опубликованные в «Ежегоднике»	
Коллеж де Франс .....	673
1989–1990 .....	673
1990–1991 .....	675
1991–1992 .....	677
Место курса лекций о государстве в творчестве Пьера Бурдье .....	681
Список основных источников .....	691

## Как делается государство

**П**ЬЕР Бурдьё — социолог, чей масштаб и место в мировой науке нет нужды объяснять специально. В той мере, в какой за последние 25 лет российские социальные и гуманитарные дисциплины присоединились к международному пространству, ключевую роль Бурдьё безусловно признали не только сторонники, но также ярые противники и скептики. Публикация курса о государстве, прочитанного им в Коллеж де Франс, — начало третьей фазы амбициозного проекта социологии как строгого и критического знания, который развернут в российском контексте. Первая фаза началась с переводом в 1990-е годы ряда установочных статей Бурдьё<sup>1</sup>, которые были восприняты с бурным интересом и вошли в интеллектуальные основания обновленных социальных дисциплин. Базовые принципы предложенного им подхода известны российскому читателю по этому периоду: межпозиционная борьба — основа структуры любого поля; социальная стратификация в той же мере диктуется распределением культурного и символического капиталов, что и экономического; габитус — это структурирующая структура социального мира; для социологического конструирования объекта необходим разрыв с предпонятиями и объективация объективирующего субъекта.

Можно не без оснований усомниться, что эти принципы были *действительно* интегрированы в исследовательскую практику, учитывая, что российская социологическая норма по-прежнему предписывает формулировать гипотезы *до* выхода в поле и настаивает на схоластическом различении

---

1. Первая переведенная на русский язык статья была опубликована в 1992 году: *Бурдьё П.* Социальное пространство и генезис «классов» // Вопросы социологии. 1992. № 1. Первый сборник малых работ был издан годом позже: *Бурдьё П.* Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993.



объекта и предмета, при этом не отличая социальные проблемы от социологических<sup>2</sup>. Однако реформистская линия в социальных науках намечена сегодня более ясно, чем десять или пятнадцать лет назад, в силу элементарного поколенческого фактора. Исследовательская практика и историко-социологическая работа все больше подчиняются запросу на строгие объяснительные модели и технически более совершенную методологию. Этот запрос может быть, впрочем, более далек от критического знания, чем от интересов в борьбе за экспертные и сервисные позиции. Сегодня критическим исследованиям в России угрожает не столько прямая политическая цензура, сколько сдвиги в институциональной микромеханике: растущая коммерциализация и бюрократизация университетов, деградация условий академического найма. Но именно в этих обстоятельствах у социологической рациональности, которой Пьер Бурдьё придал законченную и выверенную форму, есть все шансы снова стать предметом самого острого, верно сфокусированного внимания.

Второй фазой проекта критической социологии в России стал перевод в 2000–2010-е годы четырех исследовательских монографий: «Практический смысл», «Политическая онтология Мартина Хайдеггера», «Воспроизводство» и «Общедоступное искусство»<sup>3</sup>. Их относительно позднее появление обозначило специфику послесоветской интеллектуальной ситуации. На некоторых других ключевых языках, в частности английском и испанском, первые монографии Бурдьё вышли менее чем через пять лет после оригинальных публикаций<sup>4</sup>. Столь же показательно, что

---

2. См. подробнее: Бикбов А. Грамматика порядка: историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность. М.: ВШЭ, 2014. С. 325–333.

3. Бурдьё П. Практический смысл. М. — СПб.: Алетейя — Институт практической социологии, 2001; Бурдьё П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера. М.: Праксис, 2003; Бурдьё П., Пассрон Ж.-К. Воспроизводство: Элементы теории системы образования. М.: Просвещение, 2007; Бурдьё П., Болтански Л., Кастель Р., Шамборедон Ж.-К. Общедоступное искусство. Опыт о социальном использовании фотографии. М.: Праксис, 2014.

4. Перевод первой книги Бурдьё «Социология Алжира» (1958) вышел по-английски четыре года спустя (1962), на испанском языке совместная с Жан-Клодом Пассроном монография «Наследники» (1964) была опубликована тремя годами позже французского оригинала, в 1967 году, а совместное с Абдель-малеком Саядом исследование «Без корней» (1964) — уже через год, в 1965. На немецком языке первый сборник «Социо-

первыми на европейские языки были переведены труды, посвященные социологии образования и бывших колониальных обществ, свидетельствуя об интересе социологов к новым исследовательским инструментам в быстро меняющемся политическом ландшафте. Выход на русском языке в первую очередь теоретических монографий продемонстрировал скорее постоянство теоретического и философского интереса к программе Бурдьё, тогда как полевые исследователи проявили к ним внимание более сдержанное, чем того требует профессиональный этос. Долгое время, а в иных случаях — вплоть до настоящего дня, взгляд большинства социологов на метод Бурдьё определялся несколькими его статьями и интервью. По этой причине, а также в силу инерции позднесоветского интеллектуального схематизма вторую фазу истории «Бурдьё по-русски» пока также нельзя считать завершённой. Фрагментарно освоенные монографии оказали на исследования, ведущиеся в России, ограниченное и опосредованное влияние. Это можно проверить, сформулировав несколько вопросов содержательного характера. Например, кто из российских исследователей полагает сегодня критически важным, что социальные различия воспроизводятся в форме школьных оценок («Воспроизводство»), что практика любительской фотографии вырастает из разрыва с логикой семейного альбома («Общедоступное искусство») или что календарный ритм тесно вписан в гендерное разделение труда («Практический смысл»)? Если в ходе первой фазы участники российского научного мира освоились с азами теоретической программы Бурдьё, локальная проверка содержательных гипотез, этого неотъемлемого элемента второй фазы, пока не произведена.

Что принципиально нового в этих обстоятельствах сулит третья фаза, открываемая публикацией курса в Коллеж де Франс? Сколь парадоксальным это ни покажется, она даёт более оптимистичную перспективу на будущее критической социологии в российском контексте. Дело в том, что первая фаза во многом строилась на внедисциплинарном интересе к политическому анализу Бурдьё. Рецепция его метода в 1990-е годы, с их головокружительными ожиданиями и пугающей неопределённостью, в значительной мере определялась эффектом блестяще раскрытых тайн социальной власти и классовых различий. Тайн, которые

---

логия символических форм» (1970) представлял собой подборку статей, а в следующем 1971 году были переведены «Наследники».

в позднесоветский период не очень удачно маскировала официальная риторика социальной однородности и партийной заботы. Курс о государстве выходит в момент, когда российский политический порядок претерпевает новый цикл глубоких трансформаций. Тогда как собственно политическая, крайне поляризованная дискуссия об их характере оперирует на удивление бедным набором интеллектуальных средств. То, что предлагает Бурдьё, по своей объяснительной силе и опережающей актуальности превосходит все известные трактовки. Курс не просто развернуто характеризует государство как принцип социальной организации и историческое явление. Он позволяет локализовать и проблематизировать текущие изменения в масштабных исторических процессах. Лекции буквально перенасыщены интеллектуальными интуициями и ориентирами для дальнейшего движения.

Это относится к предметной логике, которая охватывает широкий спектр явлений государственного порядка: бюрократия и коррупция, налоги и образование, армия и социальное обеспечение. Это же относится к концептуальным средствам анализа государства: насилие и доверие, управление и господство, большинство и меньшинство, принуждение и убеждение. Среди прочего, уже в резюме курса Бурдьё посвящает несколько строк не только источникам государственной организации, но и следствиям ее работы: «насаждение общего принципа видения и деления (номоса), фундирующего логический и моральный конформизм ... вместе с консенсусом о смысле и ценности мира»<sup>5</sup>. Наблюдения о том, как конфигурирован этот принцип сегодня в российском обществе, их просеивание через стальную сеть интеллектуальных интуиций Бурдьё могут стать самым важным приобретением заинтересованного читателя, избежавшего слишком быстрых и поверхностных обобщений.

Как выстроен курс и как его следует читать? С первой лекции Бурдьё вводит абстракцию государства как скрытого принципа порядка и тут же вписывает ее в социальные взаимодействия: во французский регламент жилищного строительства, который действует с конца 1970-х, и ситуацию переговоров риэлтора с покупателем. Монтаж содержит основополагающую интеллектуальную операцию всей работы социолога: обнаруживать теоретические структуры в корпусе эмпирических данных, «подводя реальное содержание под понятие» и не экономя на деталях. «Какую теорию

---

5. См. Приложение в настоящем издании: Резюме, опубликованные в «Ежегоднике» Коллеж де Франс.

государства может предложить социолог, если он не знает, в чем состоит работа налогового инспектора?» — восклицает Бурдые в ходе исследовательского семинара конца 1980-х<sup>6</sup>. Уже своей первой лекцией курса в Коллеж де Франс он ясно демонстрирует, что весь цикл будет строиться на раскрытии высших принципов через внимание к наиболее ординарным, банальным формам отправления государственной власти.

Установление гомологий, а не поиск причин — методологический ключ к исследованиям в логике генетического структурализма<sup>7</sup>. В лекциях этот аналитический принцип переведен в стилистический регистр. Производя теоретические разрывы и новые социальные сборки по ходу курса, Бурдые не прослеживает всех связей явным образом. В ряде случаев он только намечает их, ограничиваясь лаконичной картографией крайних точек и границ. Другие обобщения отсылают к уже опубликованным статьям и книгам, а также к исследовательским данным, не увидевшим свет. Однажды Бурдые оговаривается: «Такие вещи я бы не стал писать, однако преподавание существует, чтобы говорить вещи, о которых не напишешь»<sup>8</sup>. В целом, как и любой подобный проект, публикация курса предстает компромиссом между опорным конспектом, который Бурдые готовил к каждой лекции, устной импровизацией и последующей редактурой, коллективно осуществленной учениками и соратниками два десятилетия спустя. При этом текст удачно передает структуру и стилистику живого выступления: в нем «очень много Бурдые». Это не изложение системы, а рабочий процесс мышления, который создает одновременно камерный и мощный эффект мастерской, перенесенной в переполненный амфитеатр самого престижного академического заведения Франции.

В чем специфика этого заведения, ставшего местом прочтения курса? В институциональном ландшафте Франции имеется две абсолютных вершины признания, которые венчают интеллектуальную карьеру: Французская академия (основанная в 1635) и Коллеж де Франс (основанный веком ранее, в 1530). Если Академия — это подобие Президиума Союза писателей, бастион «чистого и ясного» французского

6. Об этом рассказывал один из его учеников Ян Дарре.

7. Подробнее о методологическом принципе гомологии см.: Бикбов А. Бурдые / Хайдеггер: контекст прочтения // Бурдые П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера. М.: Праксис, 2003. С. 222–231.

8. Здесь и далее, помимо специально оговоренных случаев, цитаты даются из текста настоящего издания.

языка, то Коллеж — это лаборатория ведущих исследователей и высших научных достижений, которые, наряду с социальными и гуманитарными дисциплинами, включают химию, биологию, физику. Членами Французской академии были писатели Эжен Ионеско, Анри Труайя, Морис Дрюон. Профессорами Коллежа — исследователи Морис Хальбвакс, Фернан Бродель, Морис Мерло-Понти, Ролан Барт, Мишель Фуко. Членство в Академии обставлено помпезно: шитый парчой камзол и драгоценная шпага, гарантированные законодательно, ожидаемый или уже имеющийся орден Почетного легиона, а также не столь редкий аристократический титул. Сами собрания Академии проходят при полном параде: академики надевают камзолы и ордена. Членство в Коллеже, избавленное от томных вензелей, предполагает куда более рабочую обстановку: еженедельные публичные лекции и исследовательские семинары. Так, Бурдьё читал свои курсы в пиджаке, но без галстука, Фуко мог вести свои лекции в простой светлой рубашке. Подобный стилистический контраст почти естественно кристаллизуется в политической оппозиции: среди знатных академиков значительно чаще можно встретить обладателей правых и даже реакционных взглядов, среди членов Коллежа — левых интеллектуалов. Бурдьё, несомненно, относится к числу последних, оставаясь создателем социологии как строгой науки. И некоторые критические акценты, расставленные в его лекциях, ясно на это указывают. Так, когда Бурдьё критикует неолиберальный поворот в государственном управлении или, следуя за Марксом, описывает государство в терминах концентрации силы и господства, отказываясь от любой морализации государственного порядка, он объединяет преимущества обеих позиций.

Весь курс выстроен по общей модели: Бурдьё вводит сильное допущение, такое как «государственные институты — хорошо обоснованная фикция» или «от семейной модели — к государственному интересу»; обсуждает их теоретическую релевантность; иллюстрирует эмпирическими наблюдениями и обобщениями из собственных или чужих исследований; вписывает тезис в исторический материал, который раскрывает в первую очередь символическое (категориальное или представительское) измерение государственного порядка; дает развернутые методологические и педагогические отступления. Почти сразу в социологическую и теоретическую конструкцию, которая основана на нескольких сильных тезисах, вводятся исторические данные. В исследовании государства им принадлежит исключительная роль, далекая от конвейера зрелищных контраст-

тов. Бурдые обосновывает обращение к истории задачей генетического анализа социальных полей, где прошлое не создает настоящее, а служит источником тех связей, элементов, альтернатив, которые определяют структуру полей, но вытеснены в ходе разворачивающейся в них борьбы<sup>9</sup>.

### Государство как исторически обоснованная фикция

Описывая исторический генезис государства, Бурдые представляет его в самом общем виде как декапсуляцию династической семейной власти и ее растворение в публичных структурах управления<sup>10</sup>. До XVII века государства не существует в современном понимании этого термина или не существует вовсе. Начиная с этого периода династическая власть не устраняется несколькими революционными актами, она постепенно мутирует в цепочках передачи полномочий и усложнении лестницы профессиональных посредников, отправляющих государственные функции вместе с королем и на месте короля. Из этих цепочек формируется современный бюрократический аппарат, который осуществляет все более детальную и публичную регламентацию королевской власти и всех социальных миров. В понимании этого, как и во всей своей реконструкции, Бурдые следует за историками, заимствуя у них детали институционализации государственного интереса, в противовес династическому. Линеен ли этот процесс? Нет, Бурдые специально оговаривает наличие разрывов и возвратных петель, которые неизбежны в его течении. Становление государства как не семейной, не сакральной и а-моральной<sup>11</sup> организации власти — это скорее вектор, движение по которому не отменяет окончательно прежних форм: вплоть до сегодняшнего дня создание

- 
9. Бурдые специально оговаривает это методологическое отличие своего генетического подхода от «общераспространенного исторического».
  10. В целом историческую задачу своего исследования Бурдые определяет следующим образом: «Я попытаюсь показать, как постепенно сложилось бюрократическое поле, административное поле, как эта власть, которая была сосредоточена в руках короля, постепенно разделилась и как образовалась эта первичная сеть взаимозависимости, на базе которой постепенно развилась сложная бюрократия, состоящая из агентов, связанных сложными связями, двоякими связями контроля и делегирования».
  11. Здесь и далее в дефисном написании приводятся некоторые термины, имеющие понятийный характер. — *Примеч. ред.*

публичного порядка сопровождается его патримониализацией, то есть «семейным» переприсвоением со стороны новой «государственной знати».

Взявшись за критическую реконструкцию государства, Бурдые признает, что пускается в интеллектуальную авантюру: задача выходит далеко за рамки социологического исследования в привычном разделении интеллектуального труда. Опираясь на работы историков, социологов, антропологов, которые внесли вклад в концептуализацию и проблематизацию государственного порядка<sup>12</sup>, он называет своим методом сбор «обломков, мелких проблем, которые побросали крупные теоретики». Этот путь позволяет уклониться от государственного мышления о государстве, то есть избежать теорий, репрезентирующих государство в его собственных терминах. Впрочем, сколь бы аскетически ни звучало это намерение, вслед за историками Бурдые перемещается по магистральным линиям, которые отвечают масштабу больших длительностей и отчасти — образам государственного величия.

Избегав причинной логики в социологическом и историческом объяснении, Бурдые описывает государственный генезис как историческую констелляцию, которую определяет борьба интересов. Вкратце ее схема такова. Работа юристов и бюрократов по легитимации насилия и управления подданными создает ключевую предпосылку для концентрации физической силы (армии) и сбору налогов со всего населения, а не с отдельных категорий. Это не означает, что армии или налогов не существует до XVII века. Это означает, что ранее они не подчиняются логике всеобщности, не вписаны в согласие на насилие, которое основано на вере в благие цели государства. Так, патриотизм и шовинизм, относительно недавние феномены, которые лежат в основе согласия с действиями государства и привязывают население к территории, сопровождают интенсификацию и централизацию сбора налогов для защиты этой территории. Бурдые настаивает, что самолегитимация государства, или его характер коллективного верования, — ключевое условие, которое предшествует закреплению силового

---

12. Вот неполный список современников — историков, исторических социологов и антропологов государства, — чьи имена Бурдые цитирует на протяжении курса: Шмуэль Эйзенштадт, Перри Андерсон, Баррингтон Мур, Эдвард Томпсон, Чарльз Тилли, Теда Скочпол, Джозеф Гасфилд, Абрам де Сваан, Джозеф Страйер, Ричард Бонни, Йоахим Штибер, Франсуа Атран, Жан-Филипп Жене, Бернар Венсан, Мишель Ле Мене.

и фискального порядков. В свою очередь, концентрация капиталов в распоряжении органов управления сопровождается профессионализацией не только насилия (армии), но также учета, отчетности, арбитража, проверки — формированием корпуса специально обученных и презентабельных функционеров, чьи полномочия удостоверены государственным мандатом и униформой.

Этот процесс Бурдые описывает как становление профессиональных полей, в которых юристы и чиновники конкурируют за спрос на исполнение бюрократических задач, создавая и навязывая контрагентам специфический *интерес в незаинтересованности*. Последний реализуется в универсалистской кодификации и технологизации управления, основанной на вере в общественную пользу и беспристрастность государства. Именно эта вера составляет сердцевину автономного государственного интереса, которым поверяется дальнейшая динамика институтов. Это юристы создают парламент, с которым суверен вступает в затяжную борьбу. Это они связывают короля и двор сетью юридических кодов и процедур ответственности и полномочий. Это они поддерживают упорядоченную пирамиду делегирования, которая отвердевает в институциональный каркас современного государства.

Развертывая эту схему, Бурдые уделяет значительное внимание деталям: появлению нескольких типов государственных печатей и практикам их использования; созданию комиссий, через которые осуществляется делегирование политической власти чиновникам; разработке величественного риторического и материального декора, через который утверждается легитимность сперва династической, а затем бюрократической власти. Такие детали интересуют его в двух измерениях. Во-первых, с точки зрения производства насилия, которое становится приемлемым благодаря фикции представления и представительства государственных полномочий. Во-вторых, с точки зрения процедурной основы бюрократической власти. В обоих измерениях Бурдые обнаруживает ключевую роль знания, специфического для профессиональных корпусов чиновников и юристов. Он называет его «информационным капиталом» государства, который также становится предметом концентрации по мере становления бюрократических структур. Государство как продукт экспертного знания и как интерес во всеобщности эволюционирует вместе с материализацией бюрократических и силовых институтов. Спайка между знанием и концентрацией ресурсов в распоряжении бюрократических институтов простирается здесь



за ближайший утилитарный горизонт. Бурдьё осторожно высказывает гипотезу о наличии связи «между зарождением философии пространства картезианского типа и зарождением государства». Но, как и целый ряд тезисов в лекциях, этот остается многообещающим эскизом.

Если бы Бурдьё занимал только вопрос о происхождении государства, весь курс лекций мог бы прочитываться как стимулирующая попытка упорядочить уже имеющиеся исторические исследования посредством социологического схематизма. Однако Бурдьё идет значительно дальше, предлагая теоретическую дотройку, которая располагает исторический материал на одном лабораторном столе с социологическими и антропологическими обобщениями. Он предлагает четыре магистральные линии, которые направляют раскодирование государства, — на сей раз линии не исторические, а концептуальные.

Во-первых, в противовес большинству версий позитивного и позитивистского анализа, которые доминируют в социальных науках, государство не следует описывать как сумму юридически оформленных институтов. Бурдьё предлагает радикальный ход: государство — это «коллективная иллюзия, или фикция». В таком определении, конечно, нет ничего от попытки отрицать реальность институтов. Напротив, Бурдьё указывает, что институты могут функционировать, а государство в целом эффективно претендовать на монополию в отпавлении насилия именно тогда, когда эта фикция действительна. Как коллективное и исторически обоснованное верование государство — это в первую очередь «*принцип организации согласия*», который маскирует произвол институциональной рутиной, позволяя участникам социальных взаимодействий легитимно забывать о силовом и насильственном происхождении некоторых социальных связей, отдавая предпочтение консенсусу и лояльности. Опираясь на веберовский (элиасовский) тезис о происхождении легитимного насилия, Бурдьё высвобождает исследование государства из нормативной моральной онтологии. Так, «налоги — это легитимный рэккет, то есть рэккет, не признаваемый в качестве такового, а потому признаваемый легитимным».

Здесь следует специально отметить связь между государством и налогами в фундаменте институциональной организации. Во французских социальных науках такая связь имеет характер очевидности: государство — это налоги. Бурдьё критически отталкивается от подобной редукции, представляя в качестве своего контртезиса государство как иллюзию легитимного отъема средств и согласия на насилие. Этот момент заслуживает отдельного внимания, по-

сколько в российских дискуссиях базовая связь «государство — налоги» еще только завоевывает признание за рамками экономической экспертизы из-за слабости осмысления государства в терминах общего фонда. В нашем случае преобладают две другие редукционистские очевидности. Это либо отголоски и инверсии официального марксизма, когда государство предстает чистым феноменом насилия и подавления, либо многократно воспроизведенный тезис Николая Бердяева о связи российского государства с православным учением и церковными практиками. Одним из возможных исторических объяснений этому различию между французским и российским редукционизмом может служить указание на два базовых типа государства, которое Бурдьё вводит с опорой на исследования Чарльза Тилли: «Современные государства — продукт двух относительно независимых друг от друга процессов концентрации: концентрации физического капитала военной силы, связанной с государством, и концентрации экономического капитала, связанного с городом». Но более вероятно, что невнимание к налогам прагматически объясняется не столько историей больших длительностей, сколько «невидимостью» налогов в позднесоветской практике государственного управления. Логика квазитотального огосударствления экономики выделяла в качестве налогов особые сборы с нескольких специфических категорий населения, таких как холостяки или бездетные. Подобная невидимость лишала само понятие налога его универсального, то есть государствообразующего смысла.

Во-вторых, является ли государственное насилие корыстным? Бурдьё неоднократно возвращается к этому вопросу, соотнося свой анализ с марксистской теоретической традицией и дебатами о классовом характере государства и роли государства как инструмента классовой борьбы. Конечный ответ, который он склонен дать: скорее нет. Даже если легитимное насилие или создаваемые им выгоды от распоряжения концентрированными ресурсами могут быть реприватизированы, историческую *differentia specifica* государства составляет его роль «геометрического места точек» или мета-поля, в котором управление всеми прочими полями определяется универалистскими регулятивами. В ходе борьбы, ведомой интересом к универсальному, и перевода частных взглядов во всеобщие верования бюрократический корпус производит такие практические классификации — статистические, юридические, административные, — в которых монополия на символическое насилие утрачивает узкогрупповой и классовый характер. На каждом следующем историческом

цикле воспроизводства государство переучреждается как инстанция, призванная определять общую пользу. Хотя это не отменяет того, что в современных обществах за некоторыми классами и группами сохраняются привилегии, позволяющие им избегать или перехватывать универсалистскую работу институтов. Кроме того, каждая версия государственного универсализма предполагает своих исключенных, о чем еще пойдет речь далее.

В-третьих, роль государства как ключевой инстанции беспристрастности и незаинтересованности обеспечена не только концентрацией физического насилия, которая делает частные проявления насилия нелегитимными и наказуемыми. Подобную монополию всегда можно поставить под сомнение, ссылаясь на декларативные принципы, во имя которых она осуществляется. Историческая устойчивость государственного универсализма, который вписывает себя во множество социальных взаимодействий, обеспечивается монополией второго типа. Это монополия на *символическое насилие*, то есть на способность определять, как следует мыслить порядок, какими способами им и в нем оперировать, и даже на саму возможность его осмысливать. Так, благодаря всеобщему школьному обучению орфографии, истории и математике индивиды утрачивают возможность мыслить своевольное насилие как легитимное.

Подобный тезис может звучать чрезвычайно радикальным, пока Бурдьё не иллюстрирует его работу целым рядом примеров. Возможно, один из них, почти анекдот или метафора, иллюстрирует тезис наиболее выпукло: отрицая государство, анархисты продолжают пользоваться часами или календарем. Можно оспорить исторический генезис часов и календаря как государственных институтов — и здесь критика метафоры не будет неуместной<sup>13</sup>. Однако последовательный и плотный захват универсальной хронологии государственным управлением, планированием и контролем в значительной мере переопределяет вопрос о ее «истинном» происхождении. Проблематизируя подобные исторические очевидности в поле социальных исследований, Бурдьё отмечает: «Конечно, изучают бунты против налогов, но не изучают сопротивление лингвистиче-

---

13. Ряд исторических исследований демонстрирует генетическую связь хронометража с морской навигацией, астрономическими исследованиями и даже с церковным ритмом. А функционирование кабийского календаря вне какой-либо привязки к государственному интересу сам Бурдьё описывает в «Практическом смысле».

ской унификации или же унификации мер и весов». Переходя от подобных наблюдений к гораздо детальнее изученной им механике средней и высшей школы, Бурдьё возвращает понятие символического насилия его полный смысл. Речь идет не столько об инструментах формальной синхронизации ритмов и даже точек зрения, сколько о глубоко усвоенных формах мышления, в которых нельзя усомниться с опорой на них самих.

В-четвертых, является ли государство не только инструментом универалистских регулятивов, но и эмпирическим воплощением всеобщего? При своей отвлеченности это абсолютно актуальный политический вопрос. Если в своем анализе Бурдьё ограничился бы характеристиками универалистской непредвзятости институтов и эффективности насилия, его методологический подход мог легко оказаться разновидностью теоретической апологии государства как абсолюта, даже если сам он желал противоположного. Теоретическая конструкция, которая не проблематизировала бы альтернатив в историческом генезисе государства и не характеризовала бы внутренних разрывов и напряжений в его функционировании, опасно сближалась бы с правым этатизмом. Однако в логике, предлагаемой Бурдьё, есть по крайней мере один, но решающий контрприем против подобных прочтений. Борьба, о которой идет речь при описании генезиса государства как концентрации силовых и символических ресурсов, — это не только и не столько низовое сопротивление, больше интересное, например, цитируемым Бурдьё Норберту Элиасу и Чарльзу Тилли. Это в первую очередь борьба внутри государственного аппарата и за использование аппарата. Вместе с государством как абсолютной коллективной иллюзией Бурдьё вводит параллельное аналитическое определение: государство — это *поле борьбы*. Такой подход не просто страхует исследователя от абсолютистского взгляда на мир социальных взаимодействий из «геометрического места точек». Он прямо переводит понятие государства в поле исторической и критической теории, позволив вместе с итоговой конструкцией проблематизировать также проигрыш и вытесненное: «Там, где [в результате институционализации] у нас осталась только одна возможность, на самом деле их было множество».

## Политические основы теории государства

Обнаруживая верование в фундаменте государства, Бурдьё следует за веберовской понимающей социологией. Но он решительно перешагивает за горизонт смыслов, которые

государственное действие и действие в отношении государства могут иметь для индивида. Ключевая единица его анализа — это формы коллективного мышления и представлений, где методологический индивидуализм Вебера скорректирован допущениями о коллективном и реляционном генезисе субъективности, которые разрабатывали Карл Маркс, Эмиль Дюркгейм и Эрнст Кассирер. К таким формам мышления и представлений принадлежат не только наименее рефлексивные, глубоко заложенные принципы социальной и политической ортодоксии, то есть базового согласия с заведенным порядком, но и институционализированные классификации, конструируемые с целями господства и управления: территориальные, социодемографические, финансовые, языковые. Это и есть второй, символический тип монополии, который превращает обрамленное декором величия государство в инфра-величину — нечто безусловно принимаемое, а потому способное отправлять власть не через внешний контроль и репрессии, а через саму возможность совместного мышления и коллективного действия.

Следуя за Вебером и Элиасом, Бурдье усматривает свое расхождение с ними в понимании процессов концентрации силовых и унификации символических ресурсов как одновременно монополизации и утверждения господства, чего не замечали последние. С этим трудно согласиться, имея в виду анализ централизации власти обоими социологами и даже те фрагменты их работ, к которым он сам обращается по ходу курса. Куда значительно уже названное второе отличие предложенного Бурдье подхода: описание прежде всего культурных, а не силовых предпосылок этой динамики. В контексте исторического анализа государства элементарное наблюдение о концентрации культурных ресурсов получает совершенно новаторское звучание: «Унификация культурного рынка — это условие культурного господства [государства]». Бурдье показывает, как усилиями бюрократического аппарата культура, от общего языка до свода национальных законов, становится стержнем сборки государства, выполняя ключевую роль при перепроизводстве социальных различий в объекты управления через кодификацию и классификацию.

Удвоение монополии имеет важные концептуальные следствия. Если у Вебера и Маркса сфера государственного действия ограничена властными и профессиональными интересами, в подходе Бурдье трудно не отметить своего рода имманентистский максимализм, который особенно характерен для первых лекций. Этот максимализм переводит государство из статуса монополии в *универсальный*

принцип согласованности социальных действий и точек зрения: «Государство — это то, что обосновывает логическую и моральную интеграцию социального мира, а потому и фундаментальный консенсус относительно смысла социального мира». Сходный мотив повторяется в некоторых обобщениях: «Чтобы понять, что произошло за эту единичную встречу [между риэлтором и покупателем]... в пределе нужно было бы изучить французское государство вплоть до Средневековья». Почти сразу по ходу курса Бурдье вводит решающие исторические поправки и детотализует это определение. И все же, столь сильное допущение привлекает взгляд, позволяя лучше понять метод и стиль мышления автора курса.

Весь проект социологии как науки Бурдье выстраивает с конца 1950-х вокруг поиска не наблюдаемых в непосредственном социальном взаимодействии оснований. К моменту прочтения курса теория невидимых генеративных структур порядка, к которым относятся поле и габитус, полностью сформирована. Не будет большим преувеличением утверждать, что, артикулируя первые, чрезвычайно сильные допущения о государстве, Бурдье осуществляет на них перенос понятийной схемы поля. При движении от поля как структуры, реализованной одновременно «внутри и между» любых социальных взаимодействий, в понятии государства примиряются два онтологических статуса: отдельного социального объекта, каким оно предстает у Вебера и Маркса или современных историков и антропологов, и принципа организации всякой реальности, какими у Бурдье выступают структурирующие структуры. Это онтологическое мерцание порой повторяется по ходу курса. И там, где в описании работы государства сохраняется аподиктическая логика понятия, заметны лакуны в объяснении исторической логики, например, негосударственных источников государственного интереса или *непрерывности* реформ и административной революции, которая характеризует структуры универалистского бюрократического аппарата. Однако итоговым для курса становится эмпирическое понятие государства как ключевого референта коллективного действия: сложно организованной, институционально и ритуально оформленной фикции, которая, в отличие от поля, присутствует и наблюдаема, а не только косвенно проявляется во взаимодействиях.

Помимо теоретического источника у сверхсильного допущения о государстве имеется политический. Описывая потенцию государства в управлении реальностью, Бурдье проецирует на общеисторическое понятие, во-первых,

логику послевоенного подъема социального государства и бюрократической кодификации, ранее недоступных государственному регулированию сфер; во-вторых, специфику французского республиканского аппарата, чей контроль с конца 1970-х по сегодняшний день может принимать впечатляюще капиллярные формы. Если, иллюстрируя «все-присутствие» государства диалогом риэлтора с покупателем квартиры и некоторыми иными примерами, Бурдые не вполне убеждает в этом российского читателя, картину можно дополнить множеством иных примеров. Так, желая сэкономить 120–150 евро налогов в год, житель Франции вправе задекларировать отсутствие в квартире телевизора. В этом случае ему следует ожидать выборочного визита налогового инспектора, который удостоверится, соответствует ли декларация действительному положению дел. Нужно понимать, что это не визит принуждения, который следует за нарушением или решением суда. Это «всего лишь» проверка соответствия. И если в первый визит налогоплательщика не оказалось дома или он не открыл дверь, инспектор нанесет один или два повторных визита, оставив уведомление о возможном насильственном (притом законном) проникновении в жилище для проверки. Действия инспектора можно опротестовать, направив ходатайство в налоговую службу. Однако все эти и последующие взаимодействия будут разворачиваться в каналах государственной коммуникации, по правилам и в формах, которые определены государственными институтами, как и сама ставка налога. Иными словами, повседневный опыт государства у населения Франции, которое выступает объектом и целью регулирования, конкретен и с некоторым постоянством материализуется в непосредственных процедурных и притом не всегда мирных столкновениях с полномочными агентами.

Подобная капиллярная работа отличает французское государство, к примеру, от итальянского, где в 1970–1990-е, как и сегодня, государство не отправляет универсального налогового контроля на всей территории и, более того, демонстрирует от провинции к провинции существенные различия в практиках самого бюрократического аппарата<sup>14</sup>. Данное в нашем актуальном опыте российское государство также отличается от французского слабым развитием микродисциплины: как и в позднесоветский период, российское государство успешнее оперирует крупными единицами (территории, населения, ресурсов), нежели отправляет

14. См., напр.: Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии. М.: Ad Marginem, 1996.

капиллярный контроль за сбором налогов или поддерживает ту формальную незаинтересованность и благочестивое лицемерие (в частности, юридическое), на решающую роль которых во всей государственной конструкции указывает Бурдьё. Иначе говоря, сила всеобщего принципа управления, который описан здесь под именем государства, может существенно варьировать от одной национальной версии к другой.

Когда Бурдьё теоретизирует универсализм и «всприсутствие» государства, неявно отсылая к послевоенным французским реалиям и усиливая их историческими чертами республиканского проекта, следует помнить о времени прочтения курса. На 1990–1991 годы приходится апогей миттерановского правления, которое имело выраженный этатистский характер, после того как сам Франсуа Миттеран дважды побеждал на президентских выборах (в 1981 и 1988-м) под социалистическими лозунгами. Впрочем, решающая роль принадлежит здесь не политической актуальности. Как это часто бывает в социологической теории, ключом к обобщениям служит кумулятивный эффект исследований и политического опыта исследователя. На протяжении более четверти века Бурдьё ведет социологические исследования, в том числе публичного сектора, в условиях растущей государственной регуляции. Социальную политику послевоенной Франции определяют всеобщее и бесплатное образование, значительная детализация социальной и экономической статистики, социальные пособия для граждан и неграждан на фоне достаточно успешно моделируемой безработицы, государственное регулирование экономики и национализация ряда ключевых монополий, программы жилищного строительства и помощь необеспеченным при аренде жилья — в целом заинтересованность в социальной безопасности, сглаживающей наиболее острые социальные неравенства.

Конечно, взгляд Бурдьё на предмет курса ни в коей мере не сводится к апологии французского социального государства. Дело, скорее, в том, что государственная организация и регуляция проникают в сами объекты его многочисленных исследований. И даже если к концу 1980-х это «новый» для Бурдьё предмет, к моменту прочтения курса в фокус его проектов уже не раз попадали отдельные государственные модусы и практики. Речь не только о продолжающемся на тот момент анализе профессиональных полей образования и науки, который сыграл решающую роль в формировании метода Бурдьё. В косвенной форме государство присутствует и в фундаментальном проекте «Различение»



(1979), где среди прочих жизненных и потребительских стилей Бурдьё вводит набросок типологии государственных служащих. Непосредственно к курсу примыкает выход книги о «государственной знати» — системе французских высших школ, которые готовят государственных чиновников и интеллектуалов, впоследствии профессионально распоряжающихся ключевыми ресурсами государства<sup>15</sup>.

При всем при этом к описанию социального государства Бурдьё приближается лишь в последних двух лекциях, скорее намечая его в анализе эволюции гражданских прав и активности филантропов, синтез которых приводит к рождению государства благоденствия (*welfare state*). Этот набросок тем более интересен, что внимание к филантропии, дилеммам «одомашнивания подвластных» и нейтрализации рисков, исходящих от «опасных [низших] классов», подталкивают Бурдьё к нескольким нетривиальным ходам, которые решительно корректируют или даже отчасти инвертируют концептуальную логику государственного «всеприсутствия», заявленную в первых лекциях. Вводя различие «государства на бумаге» и «реального государства», Бурдьё признает филантропов — эту внешнюю по отношению к государству силу — одним из источников государственного порядка или, по меньшей мере, агентами, которые вносят в новейшую форму этого порядка критический вклад, выступая инстанцией управленческих приемов и культурной унификации. Иными словами, не государственные институты формируют мышление филантропов в конце XIX века, а филантропы изобретают инструменты государственного действия: «Филантропы для *welfare state* являются тем же, чем юристы были для дореволюционного государства, то есть их [представления о государстве] — это не просто теории, это теории, которые создают реальность». Из оговорок, которые звучат по ходу лекций, можно заключить, что более детальный анализ значился в планах курса, но не был реализован из-за нехватки времени.

Этот набросок, о лаконизме которого невозможно не сожалеть, возвращает к структурной двусмысленности во взгляде Бурдьё на предмет своего курса. Предложенная им схема, датирующая государственный порядок XVII веком, удачно объясняет растворение династической власти в це-

---

15. Bourdieu P. La noblesse d'État: grandes écoles et esprit de corps. Paris: Minuit, 1989. Подробнее исследовательский интерес Бурдьё к государству и хроника использования им самого понятия представлены в приложении «Место курса о государстве в творчестве Пьера Бурдьё» настоящего издания.

почках делегирования полномочий и дифференциации институтов управления, а концентрацию ресурсов на стороне государства — экспроприацией у индивидов права на насилие и культурной маргинализацией тех, кто не овладел легитимными кодами. При этом Бурдые не оговаривает, что остается или становится историческим *иным* государства по мере его превращения в мета-поле и вытеснение семейной власти как пережитка и основы коррупции. То есть что в современном социальном порядке воспроизводится помимо, а возможно, и против государства? Этот вопрос важен потому, что генетический радикализм Бурдые не предполагает иной теории, помимо истории. И в отсутствие *иного* по отношению к исторически усиливающемуся государству такая схема, парадоксальным образом и против намерений самого Бурдые, остается открытой к телеологическим прочтениям в духе Гегеля. То есть к таким прочтениям, где государство *неизбежно* воплощает в событийной истории понятие универсального.

Ситуативно в качестве *иного* Бурдые упоминает подвластных с их сопротивлением<sup>16</sup>. Комментируя исследования Элиаса, он замечает: «Докса установилась в результате борьбы между властвующими и подвластными». Но сколько-нибудь последовательного развития или контекстуализации связи с другими элементами схемы этот тезис не получает. Поэтому без ясного ответа остаются вопросы: обладают ли подвластные социальными признаками до или вне государства и каковы эти признаки, помимо способности к насилию и владения культурными диалектами? Возможно ли представлять себя вне представления и представительства, навязываемых государством? Попадает ли в сферу государственного регулирования любое расхождение между частным удовольствием и общественной пользой или продуктивностью? Бурдые, по сути, отказывается проблематизировать силовые отношения подвластных с государственной бюрократией иначе, чем в терминах лишения, а культурные — в логике доксического принятия.

Такой отказ обосновывается двояким образом. С одной стороны, Бурдые ссылается на слабость марксистской теории применительно к государству, в частности, слабость тезисов о необходимой и неизбежной революции снизу при растущем межклассовом напряжении, которым оперирует классовое государство. С другой стороны, отказ вызван его

---

16. Такие абстракции, как «народ», «гражданское общество» или «индивид», справедливо оставлены Бурдые в стороне. Там же оказываются социальные классы и профессиональные поля.

предубеждением против гипербола антиинституционального настроя, свойственного французской интеллектуальной среде — «подросткового бунта против ограничений, против дисциплины», который героизирует низовое или индивидуальное сопротивление институтам<sup>17</sup>. Интеллектуальная траектория Бурдьё содержит другие образцы методологического скепсиса, адресованного субъектности подвластных. Наиболее известный из них — критика понятий «народ» и «народная культура»: в последней Бурдьё обнаруживает не более чем присвоение культуры господствующих классов<sup>18</sup>. Таким образом, вводя подвластных как возможное теоретическое *иное* государства, он тут же элиминирует его исторически, указывая на их переприсвоение средствами государственного физического и символического насилия, которые превращают подвластных в подданных или граждан.

В амальгаме впечатляющих рабочих интуиций, когда методами, по собственному выражению, он методологически «перегибает палку», Бурдьё с успехом развенчивает наиболее банальные и при этом неизменно востребованные объяснительные схемы, такие как противопоставление государственного контроля индивидуальным свободам. Но, следуя за некоторыми его тезисами, мы сталкиваемся с трудностью в анализе сопротивления, циркуляции контр-мышления и антигосударственного поведения, равно как и при попытке объяснить официально лицензированную интеграцию таковых в государственное управление. Подобное объяснение необходимо, например, для реформ конца советских 1950-х и конца 1980-х, когда ранее нелегитимная антидокса интегрируется в государственный порядок через неявный или открытый конфликт сперва с логиками сталинского управления, затем — советского бюрократического. Схожий про-

---

17. Критический взгляд на французскую, а вернее, парижскую интеллектуальную среду, равно как и левый республиканизм, который отчетливее, чем когда-либо раньше, Бурдьё демонстрирует в этом курсе, имеет биографические корни. Более подробно о биографическом происхождении интеллектуальных установок Бурдьё см.: Бикбов А. Бурдьё / Хайдеггер: контекст прочтения, с. 199–223; Бикбов А. Проявленные структуры фотопрактики: становление критической социологии культуры (послесловие) // Бурдьё П., Болтански Л., Кастель Р., Шамборедон Ж.-К. Общедоступное искусство. Опыт о социальном использовании фотографии. М.: Праксис, 2014. С. 437–451.

18. На русском языке см.: Бурдьё П. Назначение «народа» // Бурдьё П. Начала. М.: Socio-Logos, 1994.

цесс мы можем наблюдать в России и в мире с 2000-х, когда сам принцип бюрократической организации государства поколеблен ходом неолиберальных реформ, которые реорганизуют государственные институты по образцу коммерческих предприятий. Как справедливо отмечает Бурдьё, решающая роль в любой подобной динамике принадлежит интеллектуалам. Но далеко не все интеллектуалы и близкие им агенты, включая юристов, филантропов и экспертов коммерциализации, лицензированы как агенты государства и выразители государственного интереса. В зоне неопределенности здесь скрывается одна из ключевых коллизий: как получают легитимность и официальную лицензию исходно негосударственные, политически нейтральные или радикально антиправительственные и антигосударственные формы мышления и практик?

Нетривиальные методологические приемы, которые позволяют раскодировать государство как верование и раскрыть парадоксы государственной самопрезентации, удачно демонстрируют слабость доминирующих институциональных подходов. При этом собственный политический опыт Бурдьё, который резюмирует длительные исследования этатизирующегося французского общества 1950–1990-х, как и биографически сформированная и не вполне рефлекслируемая республиканская установка, создают слепое пятно уже в его собственной реконструкции. Сюда попадают некоторые не- и догосударственные элементы социальной сборки тех самых символических форм, которые распространяются государством и от лица государства в качестве универсальных и неоспоримых.

## Социальная мистерия государственного интереса

Генетическое исследование государства Пьером Бурдьё не остается единичным событием в интеллектуальной жизни Франции. Оно контекстуализировано в поле насыщенной рефлексии, которой отмечено целое десятилетие с конца 1970-х. К моменту, когда Бурдьё представляет свои концептуальные находки в амфитеатре Коллеж де Франс, социологи Пьер Бирнбаум и Мишель Крозье уже провели эмпирические исследования государственного чиновничества и аппаратной механики<sup>19</sup>, философ Анри Лефевр предложил

---

19. *Birnbaum P.* Les Sommets de l'État. Essai sur l'élite du pouvoir en France. Paris: Seuil, 1977; *Badie B., Birnbaum P.* Sociologie de l'État.

четырёхтомный компендиум о теориях государства<sup>20</sup>, историк Пьер Розанваллон произвел анализ государства благоденствия и констатировал его кризис<sup>21</sup>, а Франсуа Эвальд описал его истоки в технологиях страхования<sup>22</sup>, целый ряд исследователей опубликовали монографии о государстве или приняли участие в тематических сборниках<sup>23</sup>. Чуть ранее даже выпущена подборка текстов Дюркгейма о государстве<sup>24</sup>. Общность вопросов, поставленных исследователями в контексте растущей государственной регуляции и знакомство с общим набором интеллектуальных источников, рождает сходство ответов. Заглянув в обзорный труд канадского политолога Жерара Бержерона, вышедший одновременно с прочтением Бурдьё своего курса, мы обнаружим целый ряд содержательно близких связей: XVII век как хронологическая граница между династическим порядком и утверждением государства, национальное государство как отрицание династической власти, ключевая роль государственного интереса, фискальное и бюрократическое основания абсолютистского государства, централизация ресурсов и мощи по мере становления государства, «всеприсутствие» современного государства, определение государства как «организации организаций»<sup>25</sup>.

И все же наиболее стимулирующей и актуальной сегодня параллелью среди множества версий, вероятно, остаются курсы Мишеля Фуко, прочитанные им в 1975–1980 годах в том же академическом заведении<sup>26</sup>. Хотя в их названиях

---

Paris: Grasset, 1979; *Birnbaum P.* La Logique de l'État. Paris: Fayard, 1982; *Crozier M.* État modeste, État moderne. Stratégie pour un autre changement. Paris: Seuil, 1987.

20. *Lefebvre H.* De L'État. Vol. I–IV. Paris: Union générale d'éditions, 1976–1978.

21. *Rosanvallon P.* La Crise de l'État-providence. Paris: Seuil, 1981; *Rosanvallon P.* L'État en France de 1789 à nos jours. Paris: Seuil, 1990.

22. *Ewald F.* L'État providence. Paris: Grasset, 1986.

23. В частности: *Le Pors A.* L'État efficace. Paris: Robert Laffont, 1985; *Barret-Kriegel B.* Les Chemins de l'État. Paris: Calmann-Lévy, 1986; *Jobert B., Muller P.* L'État en action. Politiques publiques et corporatismes. Paris: PUF, 1987; *Esping-Andersen G.* Les trois mondes de l'État-providence. Paris: PUF, 1990. Несколько тематических сборников конференций, указанных в библиографии к курсу Бурдьё, датированы 1984 и 1988 годами.

24. *Durkheim E.* L'État. Textes. Paris: Minuit, 1975.

25. *Bergeron G.* Petit traité de l'État. Montréal: Les Presses universitaires de France, 1990.

26. *Фуко М.* Нужно защищать общество. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975/76 учебном году. СПб.: Наука, 2005;

отсутствует понятие «государство», Фуко регулярно возвращается к нему, отвечая на вопрос, как нами правят. Два типа работы различаются конструкцией исследовательских горизонтов. Предмет аналитики Фуко — технологии управления, в которых государству принадлежит роль важного, но частного случая; у Бурдьё это в первую очередь институционализация государства как мета-поля. Историческим пределом для Фуко выступает либеральное правление, тогда как Бурдьё сфокусирован на бюрократическом уполномочении. Определяющим в суверенном правлении для Фуко служит сохранение королем династии и территории, для Бурдьё в династической логике приоритетна семейная модель распоряжения властью. Фуко описывает трансформации правления через телеологию населения, Бурдьё сосредоточен на дифференциации и эволюции самих институтов государственной власти.

Однако, начиная с самой общей проблематизации Бурдьё государства как власти над властями, а Фуко — правительности (*gouvernementalité*) как управления поведениями (*conduite des conduites*), оба подхода обнаруживают ряд предметных сходств и близость в постановке задач. Интерес к юридической кодификации управления и к роли юристов, понимание исторического значения государственного интереса, внимание к филантропии как инструменту этого интереса, понимание практик социального страхования и управления рисками как предистории социального государства, указание на важность театрализации государственных ритуалов, признание фундаментальной роли экспертного знания в государственном управлении — лишь часть этих пересечений. Оба подхода объединяет критическая установка в отношении очевидностей, которые произведены самопрезентацией государства, и сходное понимание исторической сборки метаструктур управления. Фуко указывает, что элементы государственного порядка: крупная армия, налоги и юстиция — существуют и до XVI века. Задачу своего исследования он формулирует как анализ «вступления государства в область практики и мышления людей», а именно: «начиная с какого момента и как оно [государство] входит в осмысленные и согласованные

---

Фуко М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977/78 учебном году. СПб.: Наука, 2011; Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978/79 учебном году. СПб.: Наука, 2010; Foucault M. Du gouvernement des vivants: cours au Collège de France, 1979–1980. Paris: Seuil — Gallimard, 2012.

стратегии, начиная с какого момента люди начинают обращаться к государству, стремиться к государственной власти, желать ее, отвергать ее, опасаться ее, любить ее, ненавидеть»<sup>27</sup>. Бурдьё оперирует близкой формулой: уже в династическом государстве происходит переход к всеобщему налогообложению и разработке универсальных управленческих классификаций. Но история государства начинается в XVII веке, когда ряд вопросов получает эмпирические ответы: кто заинтересован в государстве? есть ли интересы государства? есть ли заинтересованность в публичном, в государственной службе? есть ли интерес к универсальному и кто его носитель?

Как же именно государство «вступает в область практики и мышления»? Обе версии генетического анализа — и Бурдьё, и Фуко — раскрывают общее основание этого процесса — *государственный интерес*. По сути, государственный интерес и есть та фундаментальная иллюзия, или рациональность, которая делает институциональное насилие легитимным, обеспечивая управление молчаливым или доксистическим согласием подвластных с целями такового. Главная цель этой рациональности состоит в поддержании и сохранении государства. За такой тавтологией скрывается понимание государственных институтов как формы автономии, не выводимой ни из каких внешних целей: пользы, счастья, защиты от угроз или иных. Одно из определений, которое Бурдьё дает процессу становления государства, — это «автономизация слабо бюрократической логики... то есть конкретной логики, не являющейся логикой морали, религии, политики и т. д.» Фуко также подчеркивает, что в трудах теоретиков XVI–XVIII веков государство предстает целью в себе. Историческим рубежом здесь становится готовность подчиниться государственному интересу не только подданных, но и монарха. Однако еще важнее для нас предметная характеристика целей или функций государственного правления.

Бурдьё определяет государственный интерес как регулятив незаинтересованности, универсальное и беспристрастное бюрократическое отношение к любому жителю или группе, в чей адрес исполняются юридические, экономические, статистические законы. Фуко реконструирует государственный интерес как рациональность экономического процветания, физической безопасности и моральной сохранности населения, который направляет поведение индивидов и групп к общей выгоде не только усилиями пра-

---

27. Фуко М. Безопасность, территория, население. С. 325.

вительства, но и поддержанием их собственного желания<sup>28</sup>. В обеих версиях государственный интерес — это коллективно разделяемое убеждение, которое отсутствует при династической власти, поскольку, основанная на логике «дома», или семьи, та озабочена в первую очередь сохранностью территории. Тогда как государственный интерес — это забота о населении и одновременно, как его апофатически характеризует Бурдьё, беспристрастный отказ от домашней этики и логики дара.

В самом общем виде государственный интерес — это верование, или регулятив, который запускает институциональный механизм через растущую причастность к идее общей пользы, противостоящей частным интересам, семье и морали. Это, а не подавление и не привилегии правителей, ложится в основу государственного порядка. Близкое понимание мы находим также у Райнхарта Козеллека, который показывает, как понятие-проект государства, ставшее ответом на религиозные войны XVI века, утверждает рациональную монополию не только на текущее насилие, но и на определение будущего, потеснив религиозные и астрологические пророчества<sup>29</sup>. Объективизируя надрелигиозную логику правления и утверждая всеобщее как а-моральное, государство претендует на то, чтобы быть высшим принципом, согласие с которым требуется в том числе от суверенов. И лишь затем из предмета дебатов оно становится полноценным институтом, приобретая институциональную реализацию в последующей истории обществ Западной Европы. Иными словами, чтобы государство работало, причастность к специфическому государственному интересу должны разделять как агенты власти и управления, равно правители и профессионалы насилия или учета, так и подвластные, включая таких проводников универсального, как юристы или, гораздо позже, филантропы. И если эмпирическую конструкцию государства вслед за Вебером следует описывать в терминах монопольной концентрации и рационализации управления, то базовое верование, распространяемое с технологиями управления, предстает своего рода нерелигиозной мистерией — убеждением, которое обретает характер закона с ростом числа присоединившихся.

Это ведет к парадоксальной, по меньшей мере для социолога, констатации: государственный интерес предшествует силовой организации. В реконструкции Бурдьё юристы

28. Фуко М. Безопасность, территория, население. С. 110, 158.

29. Koselleck R. *Futures past: on the semantics of historical time*. New York-Chichester: Columbia University Press, 2004. P. 14–16.



и филантропы создают инструменты государственной власти прежде, чем государство превращается в универсальное мерило всех взаимодействий. Фуко описывает этот механизм в еще менее финалистских терминах. Государственный интерес—это такая конфигурация управления, экспертизы и контр-поведения, в которой технологии управления и само понятие государства не являются монополией правительств, зачастую принимая первоначальный вид вне государственных институтов<sup>30</sup>. Вот ясное указание на порядок элементов: «Государство—это не что иное, как превратность управления, а вовсе не управление — инструмент государства»<sup>31</sup>. Более того, актуальное правительство может действовать вразрез с государственным интересом процветания и безопасности населения, будучи привязанным к суверенным трактовкам власти. В этом случае задачу по его реализации берут на себя группы контр-власти: публицисты и критики, неправительственные союзы и благотворительные общества и так далее, вплоть до революционных объединений. Иными словами, государственный интерес исторически трансцендентен правительствам, а технологии управления первичны по отношению к государственным институтам, в форме которых они в каждый исторический момент институционализированы лишь частично<sup>32</sup>.

Описывая государственный интерес в этой логике, оба исследователя оговаривают характерную ошибку субстантивации, которой следует избегать. Несмотря на автономию государства как интереса и организации, его не следует описывать как самодеятельный субъект: «Нельзя говорить о государстве как о вещи, как если бы это была сущность, развивающаяся на своей собственной основе и воздействующая посредством спонтанной, почти автоматической механики на индивидов. Государство — это практика»<sup>33</sup>. Фуко показывает, как государственный интерес кристаллизуется *вне* бюрократического поля, когда некоторые священники, интеллектуалы, аристократы, предприниматели, врачи берутся за разработку технологий процве-

---

30. Ключевым текстом, излагающим программу исследования правительственности, служит уже упомянутый курс Фуко «Безопасность, территория, население». Следует принимать в расчет, что в издании этого курса на русском языке понятие «gouvernementalité» переведено не как «правительственность», а как «управленчество».

31. Фуко М. Безопасность, территория, население. С. 325.

32. Там же. С. 340.

33. Там же. С. 361.

тания и безопасности населения, которые адаптируются в том числе, но не исключительно, в государственном управлении. Именно поэтому государство — лишь «превратность управления». Более того, в терминах XVII века государственный интерес сопряжен с государственным переворотом, поскольку имеет характер настоятельности, не сводимой к законам, но «превосходящей» их и подчиняющей себе<sup>34</sup>. Такой продуктивный подход обнаруживает трудность, когда необходимо концептуальное объяснение, как государственный интерес институционализируется в форме государственной организации. Ведь втягивание некоторых концептуальных изобретений и технологий в поле суверенной власти в той же мере вероятно, как и яростное сопротивление нововведениям во имя поддержания династической и территориальной целостности.

В подходе Бурдые эта трудность отсутствует, поскольку ему исходно понятен социальный референт государственного интереса. Это бюрократический корпус и генерируемые цепочки властного уполномочения. Поэтому вся историческая задача курса уместается в одну лаконичную формулу: «описать автономизацию бюрократического поля, внутри которого действует государственный интерес». При этом важно понимать, что серия лекций не имеет своим конечным горизонтом простую констатацию факта «государство есть бюрократия». Бурдые предлагает целый ряд инструментов, имеющих актуальность при объяснении вариаций исходного принципа, включая текущий российский опыт. Так, его анализ коррупции как исторической практики, вписанной в рост корпуса государственных посредников, позволяет рассматривать это явление как более значимую компоненту современных режимов, нежели простой и постыдный «пережиток». В целом Бурдые описывает, как государственный интерес формируется *по мере* дифференциации бюрократического корпуса, выступая одновременно интересом его участников в борьбе за государственную работу и продуктом деятельности институтов управления.

Различие подходов ведет к расслоению материи государственного интереса. У Бурдые таковой выражается в первую очередь на юридическом языке, а само государство — это универсальный регулятор и принцип интеграции всего социального мира. Тогда как у Фуко государственный интерес говорит на языке экономического, связывая между собой несколько упомянутых ранее регулятивов пользы

---

34. Фуко М. Безопасность, территория, население. С. 342–343.

и желания: процветания, моральной сохранности и физического здоровья<sup>35</sup>.

При этом сходства во взгляде обоих исследователей на государственную власть подталкивают к предположению, что рядом тезисов, более чем десятилетие спустя, Бурдые адресует к Фуко. Однако было бы ошибкой полагать, будто он прямо движется по его следу. До середины 2000-х детальный анализ правительности, который предпринимает Фуко, — достояние круга посвященных, даже в большей степени, чем антирепрессивная гипотеза, которая высвечивает производящий характер власти, в противовес ее характеристике чистого подавления<sup>36</sup>. Упоминая Фуко в своих лекциях, Бурдые демонстрирует незнание с курсами об управлении, которые тот несколько лет вел в соседнем амфитеатре. Поэтому он воспринимает аналитику власти Фуко через призму «Надзирать и наказывать»: «Теории в стиле Элиаса и Фуко меня немного раздражают, поскольку в них фиксируется исключительно дисциплинарный аппарат государства»<sup>37</sup>. Лишь через несколько лет, после выхода первого тома лекций Фуко в Коллеж де Франс<sup>38</sup>, Бурдые знакомится с текстом и констатирует фундаментальное сродство своей программы и фукольдианской аналитики власти: «Полагаю, Фуко крайне раздражали все эти вещи [марксистская традиция чисто дисциплинарного понимания власти], как, впрочем, и меня самого. ... Два исследователя, живущие в одно время, а главное, получившие более-менее одно и то же образование — мы были отлиты в одной матрице, — ставят почти одни и те же проблемы

---

35. Подробнее об этом, помимо курсов самого Фуко, см.: Дин М. Правительность: власть и правление в современных обществах. М.: Дело, 2016.

36. Емкое изложение этой гипотезы см., например, в: Фуко М. Запад и истина пола // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2002.

37. Справедливости ради нужно отметить, что в библиографическом списке курса Бурдые указана лекция Фуко 1978 года о правительности из курса «Безопасность, территория, население». Она была опубликована на французском языке в 1986 г.: Foucault M. La gouvernamentalité // Actes. Les Cahiers d'action juridique. 1986. No. 54.

38. Первым на французском языке, шестью годами позже прочтения Бурдые курса о государстве, выходит курс лекций «Нужно защищать общество»: Foucault M. «Il faut défendre la société»: cours au Collège de France, 1975–1976. Paris: Seuil — Gallimard, 1997.

в почти одних и тех терминах. ...Он упрекает в монолитности [альтюссеровское] понятие аппарата. Это главный узел, централизм и так далее. Он говорит: общество устроено не так, существуют различные пространства подчинения. По сути своей, это то, что я называю полями»<sup>39</sup>.

### Учредительный парадокс аморального согласия

Магическая сила веберовской формулы государства такова, что позволяет сегодня верить в простоту учреждения монополии на насилие. Процесс, который предстает завершенным, притягивает простотой *post factum*. Курс Бурдьё, как и курсы Фуко ранее, содержит крайне важную проблематизацию этой видимости. Бурдьё неоднократно демонстрирует, в какой мере процесс далек от завершения и сколь часто он актуализируется сегодня, в конструкции текущего публичного порядка. Делает он это, добросовестно следуя веберовской посылке и рассматривая централизацию физического насилия, которая происходит одновременно с концентрацией символического и экономического капитала, как исключительное историческое событие в сравнении с «обществами без государства». Так, в подробном описанном им кабийском обществе, как и в некоторых балканских и ближневосточных, «есть обычаи, “право”, но [нет] силы на службе справедливого решения. В этих обществах применение физического насилия в форме мести возложено на семью. Отсутствие метаинстанции (метадомашней, метаклановой) порождает нескончаемые циклы насилия, каждый из которых захвачен логикой вызова и ответа на вызов... под страхом потерять свой символический капитал». Здесь государственная логика снова предстает перед нами в форме разрыва с семейной. Более того, частное и семейное насилие — это не только характеристика «обществ без государства», но и тень, которая непрерывно следует за государственной организацией во всех трансформациях последней. Однако насилие приобретает статус проблемы не только в привязке к частным интересам. Прекращается ли насилие при захвате его государством, то

---

39. «Господство», выездная лекция Пьера Бурдьё (как профессора Коллеж де Франс) в Руанском университете 26 ноября 1997 года, записанная университетской службой аудиовизуальной документации. Расшифровка лекции была любезно предоставлена Шарлем Сулье.

есть в самих государственных институтах и с приобщением населения к государственному интересу?

Из всего сказанного ранее очевидно, что не прекращается. В этих обстоятельствах важное значение получает структурная критика согласия, достигнутого в рамках установленной на каждый момент монополии. Бурдьё указывает на маргинализацию нелояльных и необразованных. Фуко отыскивает в XVII веке не менее шокирующую связь государственного интереса с государственным переворотом. Такая связь объективируется в форме полицейского государства, то есть в поддержании порядка, который не регулируется государственным законом: от преследования инакомыслящих до выплаты работникам страховок при несчастных случаях, от принуждения бедных к труду до ежедневной уборки улиц. Это усложняет доступное нам понимание универсального, устраняя видимость простой и гармонической настройки, которая выражается в законном порядке. Фуко специально оговаривает, что государственный интерес не просто оформляется вне закона, но сопряжен с насилием: он «обязан идти на жертвы, отнимать, причинять страдания, он вынужден быть несправедливым и смертоносным»<sup>40</sup>. Бурдьё сходится с ним в том, что государственный интерес не только исторически разрывает с логикой династического дома, но в каждый исторический момент рутинно приносит в жертву тех, кто ему не соответствует.

Несправедливость государственного интереса головокружительным образом перестраивает всю перспективу, устраняя из его универсализма социодицею тотального спасения и возвращая социальному миру неустойчивость в самом центре его «геометрического места точек». Следует иметь в виду, что при тематизации государственного насилия речь не идет лишь об убежденных преступниках, случайных жертвах правосудия и незапланированных издержках обеспечения универсализма. В своем курсе Бурдьё неоднократно возвращается к теме, которую Фуко также делает одной из ведущих в курсе «Нужно защищать общество»: «Государство производит господствующий национализм, национализм тех, кто заинтересован в государстве»<sup>41</sup>. Если Фуко обращает внимание на расизм как рутинную форму социальной войны, которая сопровождает становление государств с XVII века, то для Бурдьё, вслед за Бенедиктом Андерсеном, национализм в первую очередь реле-

40. Фуко М. Безопасность, территория, население. С. 345.

41. В данном случае это цитата из курса Бурдьё.

вантен технологиям гражданской нации, то есть бюрократическим практикам культурной унификации: средней школы, орфографии, словарей, карт, статистики, — которые держатся на профессиональных исполнителях всеобщего. Эти технологии не просто создают культурную общность, а учреждают границу между успевающими и отстающими в освоении кодов, лояльными и нелояльными культурной монополии. Частное насилие, которое предотвращает государство, легко переводится в централизованное насилие, которое текущая версия универсализма опрокидывает на отдельные, нередко обширные социальные категории. Фуко прозорливо учитывает это обстоятельство в своих исследованиях и обнаруживает один из неотъемлемых элементов государственного интереса в управлении недовольством и в необходимости знать о причинах мятежей, к которым склонны подвластные, с целью их предотвращения<sup>42</sup>. Бурдье, из чьего анализа также прямо следует коллизия универсализма и исключения, не уделяет этому измерению специального внимания по указанным ранее причинам.

Трагический тон, на котором Бурдье и Фуко сходятся в определении механики государственного интереса, имеет по меньшей мере одну общую ноту. Ею является книга историка Пьера Видаль-Наке «Государственный интерес»<sup>43</sup>, в которой государственное насилие осмысливается в контексте расследования пыток, которые французская армия практиковала в Алжире «во имя государства». Государственный интерес политически и критически привязывается здесь к такому образцовому институту, как армия, которая преступает мораль не потому, что приватизирует средства насилия, а именно потому, что государственный интерес а-морален. Вплоть до сего дня эта книга прочитывается во Франции как обличение негуманности государственного интереса, и Бурдье ссылается на нее в одной из лекций именно в этом качестве.

Означает ли это, что мораль окончательно исключена из институциональной организации государства? Механика социального государства, опирающаяся на воззрения филантропов, требования профсоюзов и бюрократическое признание некоторых гражданских (социальных) прав универсальными, открывает пространство для дюркгеймовского вопроса о солидарности как новой коллективной и институциональной морали. Но она парадоксальным образом неморальна, поскольку ее интерес заключается не

42. Фуко М. Безопасность, территория, население. С. 349–356.

43. Vidal-Naquet P. La Raison d'État. Paris: Minuit, 1962.

в помощи слабым, а в предотвращении коллективной слабости. И здесь государственный интерес снова занимает место на авансцене универсализма, где перманентный государственный переворот выражается в предотвращении коллективных рисков. Бурдье ссылается на исследования Абрама де Сваана, которые выявляют роль катастроф в генезисе государства как незаинтересованной, то есть прежде всего внеклассовой институциональной машины, снижающей риски для благополучия, здоровья и жизни *всего* населения. Та же схема действительна в отношении войн, в частности, коллективного опыта жизни под бомбардировками городов и в лишениях эвакуации. Этот опыт, характерный для Второй мировой войны, затрагивает население поверх социальных и классовых различий. Нередко его рассматривают, уже за рамками курса Бурдье, как один из источников широкой социальной солидарности<sup>44</sup>, которая складывается в послевоенной Британии вокруг проекта Уильяма Бевериджа, инженера государства социального обеспечения в послевоенной Европе. Что касается сегодняшнего дня, катастрофическим опытом, который актуализирует государственный интерес, перезапуская парадокс насилия, лежащий в его основе, становятся террористические атаки в европейских городах.

Таким образом, история насилия и а-морального согласия, лежащая в основе государственной организации, продолжается по сей день. Как продолжается переизобретение рациональности управления вне бюрократических структур, в чем современные эксперты частного и гражданского секторов успешно наследуют юристам XVII и филантропам XIX веков. Если мы ищем ответы не только о морфологии отвердевших государственных институтов, но и том, как государство *делается* исторически и практически, Пьер Бурдье предлагает ряд нетривиальных подсказок и инструментов для дальнейшей работы. И если мы желаем понять, как работает теоретическое мышление самого Бурдье, чтобы извлечь из этого пользу для нас, материалы курса — прекрасная возможность в этом разобраться.

*Александр Бикбов*

---

44. Hanp.: *Handel G. Social Welfare in Western Society*. New Brunswick and London, Transaction Publishers, 2009 (1st ed. 1982). P. 199.

## От редакторов французского издания

**Д**ля издания текста лекций, прочитанных Пьером Бурдые в Коллеж де Франс, пришлось принять ряд редакторских решений. В этих лекциях переплетаются письменные тексты, устные комментарии, более или менее импровизированные размышления о ходе самих лекций и об условиях, в которых приходилось их читать. В подготовительных материалах перемешаны рукописные заметки, выдержки из выступлений и заметки на полях книг и ксерокопий. Замечания Бурдые об условиях, в которых проходили его лекции, перед многочисленной и весьма разнородной аудиторией, собиравшейся в большом амфитеатре Коллеж де Франс<sup>1</sup>, показывают, что они не могут быть сведены к письменному варианту, который оставил Бурдые, поскольку порой они могли принимать неожиданный оборот в зависимости от реакции зала, которую он видел.

Решением, имеющим очевидное достоинство нейтралитета и формальной верности автору, была бы публикация буквальная, неотредактированной транскрипции всех лекций. Но для устной речи недостаточно простого воспроизведения, чтобы она сохранила свои особенности, то есть всю ту педагогическую работу, которая производилась на каждой лекции. И произнесенный текст — не текст «опубликованной» версии, что становится понятным на примере некоторых лекций, запись которых была тщательно отредактирована и порой даже полностью переработана для публикации

---

1. См. ниже с. 236, 251–252, 342–343, 514.



в качестве статьи в научных журналах. По сути дела, выбранная очевидным образом в лекциях форма ближе по своей логике к научному поиску, чем к представлению результатов исследования в виде вполне упорядоченного письменного изложения.

Хотя редакторы не могут заменить автора после его смерти и написать за него книгу, которую он составил бы на основе своего курса, они могут постараться максимально сохранить особенности устного изложения — что означает, что эти особенности должны быть заметны и ощутимы, и, наоборот, максимально сгладить эффекты, вызванные транскрипцией. Редакторы также должны отдавать себе отчет в том, что эта публикация, не подменяя собой ту, что мог бы планировать сам автор, должна подкреплять, демонстрируя ее необходимость, работу, продолжением которой она является. Поэтому при публикации курса мы постарались избежать двух ловушек — буквализма и литературности. И хотя Бурдьё всегда советовал обращаться к его текстам, чтобы понять то, о чем он говорит<sup>2</sup>, в то же время он пользовался устными выступлениями перед преданной ему, о чем он сам знал, публикой, и свободой, которую дают такие выступления, чтобы устранить недомолвки и заново воспроизвести свои аргументы и доказательства.

В «Нищете мира» в разделе под названием «Риски письма» П. Бурдьё анализирует переход от устной речи к письменному тексту «как самый настоящий перевод или даже интерпретацию»<sup>3</sup>. И напоминает, что «обычная пунктуация, постановка запятой» могут «совершенно изменить смысл фразы». Издание курсов, таким образом, стремится примирить противоположные, но не противоречащие друг другу требования: точности и удобства чтения. Неизбежные «неточности», возникающие в любой транскрипции (и, шире, при любом переходе с одного носите-

---

2. *Bourdieu P.* Prologue // *Questions de sociologie*. Paris, Minuit, 1984. P. 7.

3. *Bourdieu P.* Comprendre // *La Misère du monde* / P. Bourdieu (dir.). Paris: Seuil, «Points», 1998 [1993]. P. 1418–1419.

ля на другой), без сомнения, являются здесь, как и в интервью, которые анализировал Бурдьё, «условием истинной точности», по его собственному выражению.

Транскрипция курса в Коллеж де Франс следует тем принципам, которые Бурдьё применял, редактируя свои выступления или семинары для публикации: небольшие стилистические правки, шлифовка, устраняющая следы устной речи (междометия, повторы и т. д.). Были исправлены некоторые темные места или неточные конструкции. Когда отступления относятся к излагаемой теме, они обозначаются знаками тире; когда они подразумевают нарушение хода рассуждений, то помещаются в скобки, когда же оказываются слишком пространными, могут выноситься в отдельный раздел. Разбивка на разделы и абзацы, названия промежуточных разделов, пунктуация, примечания, уточняющие ссылки, а также отсылки к другим работам были составлены редакторами. Библиографические ссылки внизу страницы принадлежат Бурдьё и были дополнены в тех случаях, когда были оформлены не до конца. Некоторые из них были добавлены для лучшего понимания того, о чем идет речь: пояснения, отсылки, неявные или явные упоминания текстов, которые являются продолжением представленных размышлений. В приложении дается список статей, книг и рабочих документов, на которые Бурдьё опирался на протяжении всего курса и которые были восстановлены на основе его рабочих записей и многочисленных заметок о прочитанном.

Часть того, что содержится в данном курсе, была впоследствии переработана и опубликована Бурдьё в виде статей и глав в книгах. Во всех случаях на них приводится ссылка. К тексту курса прилагаются резюме, опубликованные в «Ежегоднике» Коллеж де Франс.

Трехгодовой курс о государстве был избран для начала издания лекций в Коллеж де Франс потому, что, как показано в «Месте курса» в конце данного издания<sup>4</sup>,

---

4. См. ниже с. 681–689.

речь идет об очень важном, но редко воспринимаемом в качестве такового элементе социологии П. Бурдье. Последующие тома, которыми в будущем завершится полная публикация курсов, будут издаваться в виде книг, посвященных самостоятельным проблемам.

Редакторы выражают благодарность Габриель Балаз, Жерому Бурдье, Паскалю Казанова, Кристофу Шарлю, Оливье Кристену, Иветт Дельсо, Полю Ланьо-Имоне, Жилю Л'Оту, Пьеру Ремберу и Жизель Сапиро за их ценные замечания, позволившие прояснить некоторые места курса, и особенно Лоику Вакану за внимательное прочтение текста.

**1989–1990**



## Лекция 18 января 1990 года

*Немыслимый предмет. — Государство как нейтральное место. — Марксистская традиция. — Календарь и структура темпоральности. — Государственные категории. — Государственные акты. — Рынок многоквартирных домов и государство. — «Комиссия Барра» по жилью.*

### Немыслимый предмет

**К**ОГДА речь заходит об изучении государства, мы должны оставаться предельно бдительными к предпонятиям в смысле Дюркгейма, к традиционным идеям и к стихийной социологии. Чтобы подытожить исследования, проведенные мной в последние годы, в частности, исторический анализ отношений между социологией и государством, я указывал на то, что мы рискуем применить к государству государственное мышление, и подчеркивал, что наша мысль, структуры сознания, за счет которых мы конструируем социальный мир и тот специфический предмет, которым является государство, скорее всего, сами являются продуктом государства. В силу методического рефлекса, профессиональной привычки каждый раз, когда я принимался за новый предмет, это занятие представлялось мне вполне оправданным, и я бы сказал, что, чем больше я продвигаюсь в своей работе, посвященной государству, тем больше я убеждаюсь, что особая сложность попытки помыслить этот предмет объясняется тем, что он является — и я знаю, что говорю, — практически немыслимым. И если об этом предмете столь просто говорить простые вещи, причина именно в том, что мы в каком-то смысле уже пронизаны тем, что должны изучить. Я попробовал проанализировать публичное пространство, мир государственной службы в качестве места, в котором официально признаны ценности незаинтересованности и где у агентов в каком-то смысле есть интерес к незаинтересованности<sup>1</sup>.

---

1. Тема незаинтересованности была рассмотрена в курсе предыдущего года (1988–1989) и развита в статье «Возможен ли

Две эти темы [публичное пространство и незаинтересованность] чрезвычайно важны, поскольку я полагаю, что благодаря им можно понять, что, прежде чем достичь правильного мышления, если только оно вообще возможно, мы должны прорваться через ряд преград, представлений, поскольку государство, покуда оно вообще реально существует, является принципом производства, легитимного представления социального мира. Если бы мне пришлось дать предварительное определение того, что называют «государством», я бы сказал, что сектор поля власти, называющийся «административным полем» или «полем государственной службы», то есть сектор, который обычно приходит на ум, когда говорят о государстве, не уточняя далее, что имеется в виду, определяется обладанием монополии на применение легитимного физического и символического насилия. Несколько лет назад<sup>2</sup> я дополнил знаменитое определение Макса Вебера, который определяет государство как «монополию на легитимное насилие»<sup>3</sup>, — я внес в него поправку, сказав, что это «монополия на легитимное физическое и символическое насилие». Можно было бы даже сказать «монополия на легитимное символическое насилие», поскольку монополия на символическое насилие является условием реального владения монополией на физическое насилие. Иными словами, мне кажется, что это определение обосновывает определение Вебера. Но оно все еще остается абстрактным, особенно если у вас нет контекста, в котором я его выдвинул. Это временные опреде-

---

незаинтересованный акт?»: *Bourdieu P. Un acte désintéressé est-il possible? // Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action. Paris: Seuil, 1994. P. 147–173; см. также: Бурдьё П. Интерес социолога // Начала. М.: Socio-Logos, 1994. С. 156–166.*

2. *Бурдьё П. О символической власти // Социология социального пространства. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. С. 87–96; см. также: Bourdieu P. Langage et pouvoir symbolique. Paris: Seuil, 2001. P. 201–211.*
3. *Weber M. Économie et société // J. Freund et al. (trad.). Paris: Plon, 1971. P. 57–59, переиздано в: «Pocket», 1995. P. 96–100; Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. С. 486.*

ления, нужные, чтобы прийти к предварительному согласию о том, что я говорю, поскольку очень сложно говорить о чем-либо, не определяя, по крайней мере, того, о чем говоришь. Всё это временные определения, которые нужно будет усовершенствовать и уточнить.

## Государство как нейтральное место

Государство можно определить как принцип ортодоксии, то есть как скрытый принцип, который можно обнаружить лишь в проявлениях общественного порядка <ordre public>\*, понимаемого как физический порядок и в то же время как противоположность беспорядка, анархии и, скажем, гражданской войны. Скрытый принцип, схватываемый в проявлениях общественного порядка, понимаемого одновременно в физическом и символическом смысле. В «Элементарных формах религиозной жизни» Дюркгейм проводит различие между логической интеграцией и моральной<sup>4</sup>. Государство, как мы его обычно понимаем, — это основание логической и моральной интеграции социального мира. Логическая интеграция в смысле Дюркгейма состоит в том, что агенты социального мира обладают тождественными логическими восприятиями, поскольку между людьми с одинаковыми категориями мышления, восприятия и конструирования реальности устанавливается непосредственное согласие. Моральная интеграция — это согласие по определенному числу ценностей. В интерпретациях Дюркгейма всегда подчеркивали моральную интеграцию, забывая то, что, с моей точки зрения, является ее основанием, а именно интеграцию логическую.

Временное определение состояло бы в том, что государство — это то, что обосновывает логическую и моральную интеграцию социального мира, а потому и фундаментальный консенсус относительно смысла

---

\* В угловых скобках даны пояснения переводчика.

4. *Durkheim É.* Les Formes élémentaires de la vie religieuse. Paris: PUF, 1960 [1912], переиздано в: *Quadrige*, 1994. P. 24.



социального мира, который является самым условием конфликтов по поводу этого мира. Иначе говоря, чтобы вообще был возможен конфликт по поводу социального мира, нужно обладать определенным согласием относительно участков разногласия и относительно способов выражения этого разногласия. Например, в политическом поле генезис того частного универсума социального мира, которым является поле высокопоставленных государственных чиновников, можно считать постепенным развитием своего рода ортодоксии, совокупности общеустановленных правил игры, на основании которых внутри социального мира выстраивается коммуникация, которая может быть коммуникацией в конфликте и по причине конфликта. Если развить это определение, можно сказать, что государство — это принцип организации согласия как присоединения к социальному порядку, к фундаментальным принципам социального порядка, что оно есть основание не обязательно консенсуса, но самого наличия обменов, приводящих к разногласию.

Этот ход представляет некоторую опасность, поскольку может показаться, что он возвращается к первому определению государства, которое государства дают самим себе и которое было подхвачено в некоторых классических теориях, у Гоббса и Локка: государство, согласно этому исходному убеждению, является институтом, обязанным служить общему благу, управлению во благо народа. В определенной мере государство в таком случае оказывается нейтральным местом, или, если говорить точнее и использовать аналогию Лейбница, сказавшего, что Бог — это геометрическое место всех противоборствующих точек зрения, местом той дополнительной точки зрения на точки зрения, которая сама уже не является точкой зрения, поскольку она есть то, по отношению к чему организуются любые точки зрения: она есть то, что может занять точку зрения на все точки зрения. Это понимание государства как почти что Бога неявно присутствует в традиции классической теории и обосновывает стихийную социологию государства, которая выражается в том, что порой называют наукой управления, то есть в дискурсе

о государстве, который порождают сами его агенты, в реальной идеологии государственной службы и общественного блага.

### Марксистская традиция

Этому обычному представлению, которое мое определение вроде бы воспроизводит, хотя вы увидите, что на самом деле оно от него существенно отличается, ряд традиций и особенно традиция марксистская противопоставляют противоположное представление, выступающее своего рода перевертыванием первичного определения: государство — не аппарат, ориентированный на общее благо, а аппарат принуждения, поддержания общественного порядка, но лишь во благо властвующим. Иначе говоря, марксистская традиция не ставит проблему существования государства и сразу же решает ее через определение выполняемых им функций; уже Маркс и Грамши, а потом Альтюссер и авторы, следовавшие за ним, неизменно старались охарактеризовать государство тем, что оно делает, и людьми, для которых оно это делает, но при этом не ставился вопрос о самой структуре механизмов, которые должны произвести то, что его основывает. Очевидно, можно обращать больше внимания на экономические функции государства или, наоборот, на идеологические; можно говорить о «гегемонии» (Грамши<sup>5</sup>) или «идеологическом аппарате государства» (Альтюссер<sup>6</sup>), но акцент всегда ставится на функциях, тогда как вопрос о бытии и создании той вещи, которую называют государством, скрадывается.

Именно в этот момент возникают сложные вопросы. Это критическое видение государства часто принимается без обсуждений. Говорить простые вещи о государстве просто именно потому, что получатели и производители дискурса о государстве благодаря своему положению и одновременно традиции (я могу, к примеру, вспомнить

---

5. Gramsci A. Cahiers de prison. 3. Cahiers 10, 11, 12 et 13 // P. Fulchignoni et al. (trad.). Paris: Gallimard, 1978 [1975].

6. Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства // Неприкосновенный запас. 2011. № 3 (77).

о знаменитой книге Алена «Гражданин против властей»<sup>7</sup>) охотно принимают анархистскую в каком-то смысле предрасположенность — предрасположенность к социально заданному бунту против властей. Я имею в виду, например, некоторые теории, разоблачающие дисциплину, принуждение, теории, которые пользовались большим успехом и даже вечно обречены на успех, поскольку они отвечают подростковому бунту против ограничений, против дисциплины и льстят той первичной установке по отношению к институтам, которую я называю антиинституциональным настроением<sup>8</sup>, особенно сильным в определенные исторические моменты и в определенных социальных группах. Поэтому-то они принимаются без оговорок, тогда как, по моему мнению, они не более, чем простое переворачивание обычного определения, — их общая с этим определением черта в том, что они сводят вопрос о государстве к вопросу функции, заменяя божественное государство государством дьявольским, а функционализм добра, то есть государство как инструмент консенсуса, как нейтральное место, в котором снимаются конфликты, дьявольским государством, *diabolus in machina*, государством, которое всегда работает на то, что я называю «функционализмом зла»<sup>9</sup>, служащим, более или менее

---

7. Alain. Le Citoyen contre les pouvoirs. Paris: Sagittaire, 1926.

8. По этому вопросу см.: Bourdieu P. Homo academicus. Paris: Minuit, 1984. P. 229.

9. Пьер Бурдьё в своих семинарах часто ссыался на «функционализм зла», который обозначает телеологическое пессимистическое видение социального мира. Об этом понятии см. чикагский семинар 1987 года, опубликованный в: Bourdieu P, Wacquant L. Réponses. Pour une anthropologie reflexive. Paris: Seuil, 1992. P. 78–79: «Я решительно против понятия аппарата, которое для меня является троянским конем функционализма зла: аппарат — это адская машина, запрограммированная на достижение определенных целей. (Этот фантазм заговора, мысль о том, что некая демоническая воля отвечает за все происходящее в социальном мире, преследует “критическое” мышление). Система образования, государство, церковь, политические партии или профсоюзы — не аппараты, а поля. В поле агенты и институты борются друг с другом, следуя определенным регулярностям и правилам, конститутивным для этого пространства игры. [...] Те, кто господствуют

откровенным или, напротив, опосредованным образом, господствующим классам.

В логике гегемонии агенты государства мыслятся так, будто они служат не универсальному или общественному благу, как сами они утверждают, а тем, кто господствует на экономическом и символическом уровне, но в то же время и самим себе, то есть агенты государства экономически и символически служат властвующим и, служа им, служат самим себе. А это приводит к тому, что действия государства и само его бытие объясняются его функциями. Я думаю, что эта ошибка, которую можно называть функционалистской и которая встречается даже у тех структурно-функционалистов, какими были альтюссеррианцы, на самом деле весьма близкие структурно-функционалистам блага — Парсонсу и его последователям, — скрывалась уже в марксистской теории религии, описывающей религию через ее функции, без постановки вопроса о том, какой должна быть структура, чтобы эти функции выполнялись. Иначе говоря, мы ничего не узнаём о механизме, когда задаемся вопросом исключительно о функциях.

(Одно из моих затруднений, связанных с пониманием того, что называют государством, состоит в следующем: я вынужден на старом языке говорить то, что расходится с метаязыком, и все еще тянуть за собой этот старый язык, чтобы разрушить то, что он в себе несет. Но если бы я всякий раз заменял его лексикой, которую пытаюсь создать — полем власти и т. д., — меня бы перестали понимать. Я постоянно спрашиваю себя, особенно перед этими лекциями, смогу ли я когда-нибудь сказать то, что хочу, разумно ли в это верить... Это весьма особенное затруднение, которое, я думаю, характерно для научных дискурсов о социальном мире.)

Промежуточный итог я бы сформулировал так: поскольку государство является принципом ортодоксии,

---

в данном поле, находятся в положении, позволяющем использовать его себе на пользу, но они всегда должны считаться с сопротивлением, критикой, требованиями, претензиями, будь они "политическими" или какими-то иными, тех, кто находится в подчиненном положении».

консенсуса относительно смысла мира, вполне сознательного согласия относительно смысла мира, оно, как мне представляется, выполняет некоторые функции, приписанные ему в марксистской традиции. Иначе говоря, именно в качестве ортодоксии, коллективной фикции, хорошо обоснованной иллюзии — здесь я использую определение, данное Дюркгеймом религии<sup>10</sup>, поскольку сходства между государством и религией значительны, — государство может выполнять свои функции социального сохранения, сохранения условий накопления капитала, о чем говорят некоторые современные марксисты.

### Календарь и структура темпоральности

Иначе говоря, заранее подытоживая то, что я собираюсь вам рассказать, я могу сказать, что государство — это название, которое мы даем скрытым, невидимым принципам — указывая на своего рода *deus absconditus* — социального порядка и в то же время господства как физического, так и символического, а также физического или символического насилия. Чтобы подвести к пониманию этой логической функции моральной интеграции, я просто приведу пример, который, по-моему, способен продемонстрировать то, что я уже успел сказать. Нет ничего банальнее календаря. Республиканский календарь с гражданскими праздниками и нерабочими днями — это нечто совершенно тривиальное, на что мы не обращаем никакого внимания. Мы принимаем его в качестве самоочевидного. Наше восприятие темпоральности организовано структурами этого общественного времени. В «Социальных рамках памяти»<sup>11</sup> Морис Хальбвакс говорит нам о том, что основания всякого обращения к воспоминаниям следует искать в том, что он называет социальными рамками памяти, то есть в тех собственно социальных ориентирах, в соответствии с которыми мы организуем свою частную жизнь.

10. Durkheim É. Les Formes élémentaires de la vie religieuse. P. 31–66.

11. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007.

Вот прекрасный пример публичного, заключенного в самом сердце частного: в сердцевине нашей памяти мы обнаруживаем государство, гражданские праздники, светские или религиозные, особые календари разных категорий, учебный календарь или религиозный. То есть мы находим целый комплекс структур социальной темпоральности, маркированный социальными ориентирами и коллективными видами деятельности. Он выявляется в самой глубине нашего личного сознания.

Здесь можно было бы вернуться к старым, но все еще верным исследованиям поведения при рассказывании историй, проведенным Пьером Жане<sup>12</sup>. Очевидно, что, когда мы рассказываем историю, в которой есть какая-то временная линия, то ориентируемся на категории, которые сами являются продуктом истории и стали не чем иным, как принципами обращения к истории. Хальбвакс отмечал, что двое людей могут сказать: «В такой-то год я был в шестом классе, я был в таком-то месте, мы были одноклассниками...» Два социальных субъекта могут передать друг другу свое пережитое время, то есть время, по логике Бергсона, несоизмеримое и непередаваемое, лишь потому, что это возможно в силу подобного согласия относительно временных ориентиров, вписанных в объективность в форме календаря праздников, «торжеств», юбилейных церемоний и одновременно в сознание, ориентиров, которые закреплены в памяти индивидуальных агентов. Все это напрямую связано с государством. Революции приводят к пересмотру официальных календарей — «официальность» означает в данном случае то, что они имеют универсальный характер в границах определенного общества, в противоположность частным календарям. У нас могут быть частные календари, но они сами располагаются относительно календарей универсальных — они суть

---

12. Пьер Жане занимал кафедру экспериментальной и сравнительной психологии в Коллеж де Франс с 1902 по 1934 г. П. Бурдьё, несомненно, имеет в виду его книгу «Эволюция памяти и понятия времени» (*Janet P. L'Évolution de la mémoire et de la notion du temps*. Paris: Chahine, 1928).

засечки в интервалах, размеченных универсальным (в пределах данного общества) календарем. Вы можете выполнить такое забавное упражнение: возьмите нерабочие дни всех европейских стран, и станет ясно, что поражения одних являются победами других... календари невозможно точно наложить друг на друга, католические праздники не так важны в протестантских странах...

Существует целая структура темпоральности, и я думаю, что, если однажды технократы Брюсселя действительно захотят сделать что-то серьезное, они обязательно займутся календарями. В этот момент станет ясно, что с праздниками связаны глубоко укоренившиеся ментальные привычки, которыми люди очень дорожат. Мы заметим, что с этими календарями, которые воспринимались как данность, связаны общественные победы: Первое мая — это дата, от которой многие люди не захотят так вот запросто отказаться, а для других важнейшей датой будет Успение. Вспомните о споре, который начался с пожелания отменить празднование 8 мая\*. Мы каждый год покупаем календарь, покупаем эту самоочевидную вещь, абсолютно фундаментальный принцип структуризации, который является одним из оснований социальной жизни и благодаря которому, к примеру, можно назначать свидания. То же самое можно сказать о часах, на которые делятся сутки. Это элемент консенсуса, и я не знаю ни одного анархиста, который бы не переставлял часов, когда мы переходим на летнее время, который бы не принимал в качестве данности весь этот комплекс вещей, которые, в конечном счете, отсылают к власти государства, что, собственно, мы и видим, когда разные государства вступают в игру, ставкой которой являются вроде бы совершенно невинные вещи.

Вот один из моментов, о которых я думал, утверждая, что государство — это один из принципов общественного порядка; а общественный порядок — это не просто полиция и армия, как предполагается определением Вебера, который говорил о монополии на

---

\* Имеется в виду дата празднования победы над Германией во Второй мировой войне. — *Примеч. пер.*

физическое насилие. Общественный порядок покоится на согласии: тот факт, что люди встают вовремя, предполагает, что они согласны с часами. Прекрасный, интеллектуально изощренный разбор Сартром позиции «Я свободен, я могу не идти на работу, у меня есть свобода не вставать» ложен, хотя и весьма соблазнителен. Помимо того, что этот анализ внушает мысль, будто все обладают свободой, позволяющей не соглашаться, на более глубоком уровне он говорит, что сам этот факт согласия с идеей часа уже является достаточно необычным. Не у всех обществ, не во всех странах и не всегда было общественное время. Один из первых в историческом плане актов гражданских бюрократий, профессиональных служащих *<clercs>*<sup>\*</sup>, когда несколько городов объединялись или когда собиралось несколько племен, состоял в учреждении общественного времени; основатели государства, насколько вообще можно проследить столь давние генеалогии путем антропологического сравнения, сталкиваются с этой проблемой. (Когда мы работаем с обществами без государства, без той вещи, которую мы называем государством, например, с сегментированными обществами, в которых есть кланы или ансамбли кланов, но нет центрального органа, обладающего монополией на физическое насилие, нет тюрем, там обнаруживается, помимо других проблем, еще и проблема насилия: как регулировать насилие, когда нет инстанции выше семей, занятых кровной местью?)

Собирать календари — это традиция антропологии: аграрный календарь крестьян, но также календарь женщин, молодежи, детей и т. д. Эти календари не обязательно согласованы в том же смысле, что и наши. Они согласованы примерно: календарь детских игр, календарь мальчиков, девочек, подростков, пастушков, взрослых мужчин, взрослых женщин (то есть кухни или женских работ) — все эти календари согласованы приблизительно. Но никто не взял лист бумаги —

---

\* Слово «*clercs*» в этом курсе Бурдьё обозначает, как правило, не «клириков» или «духовных лиц», а бюрократов, профессиональных служащих аппарата власти. — *Примеч. пер.*



государство связано с письмом, — чтобы записать все эти календари один рядом с другим и сказать: «Смотри-ка, тут небольшое расхождение, летнее солнцестояние вместе с чем-то еще...» Все эти виды деятельности еще не синхронизированы. Тогда как такая синхронизация является неявным условием успешного функционирования социального мира; нужно было бы сделать перепись всех людей, которые зарабатывают на жизнь поддержанием порядка времени, материально заинтересованы в нем и обязаны регулировать темпоральность.

Если вы вспомните о таких известнейших текстах, как знаменитая книга Люсьена Февра о Рабле<sup>13</sup>, то увидите, что период, когда образуется то, что мы будем называть государством, открывает нам интересные вещи, касающиеся социального использования темпоральности, коллективного регулирования времени, то есть вещи, которые мы принимаем за данность, вместе с башенными часами, которые бьют примерно в одно и то же время, и тем, что теперь все носят ручные часы. Все это началось не так давно. Мир, в котором это общественное время не создано, не учреждено, не гарантировано объективными структурами, такими как календари и часы, но в то же время и ментальными структурами, людьми, которые хотят иметь часы и имеют привычку смотреть на них, которые назначают свидания и приходят вовремя. Такого рода совместимость времен, предполагающая общественное время и в то же время общественное отношение ко времени, является относительно недавним изобретением, соотносящимся с созданием государственных структур.

Здесь мы очень далеки от заходов Грамши по поводу государства и гегемонии; что не исключает того, что те, кто заведуют этими башенными часами или же сами регулируются ими, обладают привилегией по отношению к тем, кто регулируются ими в меньшей степени. Нужно начать с анализа этих фундаментальных в ант-

---

13. *Febvre L. Le Problème de l'incroyance au XVI<sup>e</sup> siècle. La religion de Rabelais.* Paris: Albin Michel, 1968 [1947].

ропологическом отношении вещей, чтобы понять реальное функционирование государства. Этот обходной путь, который может показаться отказом от критической силы марксистской традиции, мне представляется абсолютно необходимым.

## Государственные категории

То же самое можно сделать с публичным пространством, но понимая его не в том достаточно тривиальном смысле, который дает ему Хабермас, а все остальные за ним повторяют<sup>14</sup>. Нужно было бы провести фундаментальный, совершенно необходимый анализ структуры пространства, в котором противопоставляются публичное и частное, где общественное место противопоставляется дому, но также и дворцу. Существуют работы по такой дифференциации городского пространства. Иначе говоря, то, что мы называем государством, на что мы, несколько путаясь, указываем, когда думаем о государстве, — это своего рода принцип общественного порядка, понимаемого не только в своих очевидных физических формах, но также в бессознательных символических формах, представляющихся совершенно бесспорными. Одна из наиболее общих функций государства — это производство и канонизация социальных классификаций.

Не случайно то, что существует связь между государством и статистикой. Историки говорят, что государство начинается с появления переписей, опросов касательно имущества, соответствующих логике налогообложения, поскольку, чтобы облагать налогом, нужно знать, что у людей есть. Они исходят из отношения между переписью — *census* — и *цензором*, который конструирует легитимные принципы разделения, настолько очевидные, что они не составляют предмета споров. Можно спорить по поводу разделения на общественные классы, но никто не спорит с той идеей, что сами эти

---

14. *Habermas J.* L'Espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise / M. B. de Launay (trad.). Paris: Payot, 1978 [1962].

разделения вообще существуют. Например, социально-профессиональные категории INSEE <Национального института статистики и экономических наук> представляют собой типичный продукт государства. Это не просто инструмент, который позволяет измерять, позволяет тем, кто правит, знать управляемых. Это еще и легитимные категории, номос, принцип разделения, универсально признанный в пределах некоего общества, принцип, о котором не спорят; это то, что заносят в удостоверение личности, то, что можно встретить в расчетной ведомости: «3-я категория, уровень такой-то...». То есть государство квантифицирует и кодифицирует людей; у них появляется государственная идентичность. Среди функций государства есть, очевидно, производство легитимной социальной идентичности, то есть, даже если ты не согласен с этими идентичностями, с ними приходится считаться. Определенные виды социального поведения, например бунт, могут определяться теми самыми категориями, против которых бунтует бунтовщик. Это один из важных принципов социологического объяснения: те, у кого есть проблемы с системой образования, часто детерминированы самими своими проблемами, и некоторые интеллектуальные карьеры целиком определяются неудачным отношением к системе образования, то есть неосознанной попыткой опровергнуть легитимную идентичность, навязанную государством.

Государство и есть эта хорошо обоснованная иллюзия, место, которое существует, по сути, именно потому, что его считают существующим. Эта иллюзорная, но коллективно подкрепляемая консенсусом реальность является местом, к которому мы приходим, когда пытаемся вернуться к условиям таких феноменов, как академические дипломы, официальный реестр профессий или же календарь. Отступая шаг за шагом, мы постепенно приходим к месту, которое все это обосновывает. Эта таинственная вещь существует благодаря своим следствиям и благодаря коллективной вере в ее существование, которая является основанием этих следствий. Это нечто такое, чего нельзя коснуться рукой и к чему нельзя относиться, следуя примеру марксиста,

который говорит: «государство делает то, государство делает это». Я мог бы процитировать вам километры текстов, в которых слово «государство» выступает субъектом действий, подлежащим множества предложений. Это весьма опасный вымысел, который мешает нам мыслить государство. Поэтому предварительно я хотел сказать: внимание, все фразы, в которых подлежащим является государство, суть фразы теологические, что не означает, что они ложны, покуда государство является теологической сущностью, то есть той, что существует благодаря вере.

### Государственные акты

Чтобы уйти от теологии, чтобы иметь возможность провести радикальную критику того слияния с государственным бытием, которое вписано в наши ментальные структуры, можно заменить государство актами, которые можно назвать «государственными», заключая «государство» в кавычки, то есть политическими актами, нацеленными на определенное воздействие на социальный мир. Существует политика, признаваемая легитимной, хотя бы потому, что никто не рассматривает возможность поступать иначе, поскольку это вообще не вопрос. Эти легитимные политические акты обязаны своей действенностью своей легитимности и вере в существование обосновывающего их принципа.

Я приведу простой пример инспектора начальной школы, который посещает определенную школу. Он должен выполнить совершенно особый акт: он собирается инспектировать. Он представляет центральную власть. Корпусы инспекторов начали формироваться в больших доиндустриальных империях. Проблема, которая сразу же возникает, в том, кто будет инспектировать самих инспекторов. Кто будет надзирать за надзирателями? Это фундаментальная проблема всех государств. На людей возложена обязанность провести осмотр от имени власти; у них есть мандат. Но кто дает им этот мандат? Государство. Инспектор, который собирается посетить школу, обладает авторитетом, которым наделена его личность. [Социологи Филип

Корриган и Дерек Сейер писали]: «States state»<sup>15</sup> — «Государства постановляют», государства выносят постановления, государство устанавливает, инспектор должен вынести суждение.

Когда-то я проанализировал различие между оскорбительным суждением, вынесенным человеком, наделенным полномочиями, и частным оскорблением<sup>16</sup>. В школьных дневниках преподаватели, забывая о границах своих обязанностей, выносят суждения, оказывающиеся оскорбительными; и в них есть нечто преступное, поскольку это авторитетные оскорбления, легитимные<sup>17</sup>. Если кто-то говорит вашему сыну, вашему брату или приятелю: «Ты идиот!» (от *idios*, что означало «частное лицо»), это единичное суждение, вынесенное единичным человеком о таком же единичном человеке, то есть суждение, которое можно вернуть. Тогда как, если преподаватель говорит «Ваш сын — идиот», прикрываясь каким-нибудь эвфемизмом, это становится суждением, с которым нужно считаться. За авторитетным суждением стоит вся сила социального порядка, сила государства. Одна из современных функций системы образования состоит в том, чтобы выдавать свидетельства социальной идентичности, удостоверения качества, что сегодня является наиболее важным фактором определения социальной идентичности, а именно интеллекта, — в социальном смысле этого термина<sup>18</sup>.

Таковы примеры государственных актов — это заверенные акты, наделенные определенным авторитетом <autorité>, который по цепочке делегирования, шаг за шагом, отсылает к последнему месту, которое играет примерно ту же роль, что и бог у Аристотеля, то есть

15. Corrigan P., Sayer D. The Great Arch. English States Formation as Cultural Revolution, Oxford-New York, Blackwell, 1985. P. 3.

16. Bourdieu P. Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques. Paris: Fayard, 1982. P. 71–126 (переиздано в: *Idem*. Langage et pouvoir symbolique. P. 107–131, 159–186).

17. Bourdieu P., Saint Martin de M. Les catégories de l'entendement professoral // Actes de la recherche en sciences sociales. 1975. No. 1 (3). P. 68–93.

18. Об этом см.: Bourdieu P. Le racisme de l'intelligence // Questions de sociologie. Paris: Minuit, 1984. P. 264–268; *Idem*. La Noblesse d'État. Grandes écoles et esprit de corps. Paris: Minuit, 1989, особенно P. 198–199.

к государству. Кто выступает гарантией преподавателя? Чем гарантируется суждение преподавателя? Эту регрессию мы обнаруживаем во всех областях. Если взять судебные решения, это еще очевиднее; то же самое, если взять протокол жандарма, постановление, принятое некоей комиссией или же изданное министром. Во всех этих случаях мы имеем дело с актами категоризации; этимология слова «категория», от греческого *catagorein*, отсылает к публичному обвинению и даже оскорблению; *catagorein* государства публично обвиняет, используя публичный авторитет: «Я публично обвиняю тебя в том, что ты виновен»; «Я публично заверяю то, что ты закончил университет»; «Я тебя категоризирую» (обвинение может быть позитивным или негативным); «Я тебя санкционирую» посредством авторитета, который уполномочивает одновременно суждение и, очевидно, категории, в которых это суждение выносится. При этом сама оппозиция умный/не умный скрывается; не ставится вопроса о значимости этой оппозиции. Это тот самый иллюзионистский прием, который то и дело используется социальным миром и который существенно осложняет жизнь социологу.

Следовательно, уйти от теологии достаточно сложно. Но вернемся к вещам, по поводу которых мы должны согласиться. Вы согласитесь с тем, что приведенные мной примеры — это государственные акты. Общим для них является то, что всё это действия, выполненные агентами, наделенными символическим авторитетом, действия, за которыми следуют определенные последствия. Такой символический авторитет отсылает от одной инстанции к другой вплоть до некоего иллюзорного сообщества, предельного консенсуса. Раз такие акты получают согласие, раз люди склоняются перед ними — даже если они бунтуют, сам их бунт предполагает согласие — значит, по сути, они на сознательном или бессознательном уровне причастны некоей «иллюзорной общности» — так Маркс говорил о государстве<sup>19</sup>, —

---

19. Маркс К. Энгельс Ф. Немецкая идеология // Сочинения. Издание второе. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. Т. 3. С. 32.

которая является общностью принадлежности тому обществу, что будет названо нацией или государством в смысле совокупности людей, признающих одни и те же универсальные принципы.

Также следовало бы продумать различные аспекты, характерные для этих государственных актов, — идею официального, публичного и универсального. Я только что противопоставил оскорблению суждение авторитетное и универсальное — в пределах некоторого территориального округа, юридически определенной компетенции, нации, в границах государства. Это суждение может выноситься открыто, в противоположность такому суждению, которым выступает оскорбление, в котором есть нечто не только неофициальное, но и постыдное, хотя бы потому, что оскорбление могут вернуть. То есть авторитетное суждение заключено в определенную рамку и в своем основании, и в своей форме. Среди ограничений, наложенных на обладателей способности выносить официальное суждение, есть обязанность соблюдать формы, благодаря которым официальное суждение действительно становится официальным. Нужно было бы многое сказать об этом бюрократическом формализме, который Вебер противопоставлял магическому формализму, тому, что соблюдается в ордалии, когда произносится магическая формула («Сезам, откройся!»). По Веберу, бюрократический формализм не имеет ничего общего с магическим: он является не механическим и произвольным соблюдением произвольного порядка, а соблюдением формы, которая уполномочивает, поскольку она соответствует коллективно — явно или неявно — одобренным нормам<sup>20</sup>. В этом смысле государство близко к магии (я недавно говорил, что, по Дюркгейму, религия — это хорошо обоснованная иллюзия), но это совсем не та магия, о которой обычно думают. Я хотел

---

20. Weber M. *Économie et société*. Paris: Plon, Pocket 1995. Chap. 3. Section 2. P. 291–301. «Русский перевод III главы «Хозяйства и общества» «Типы господства» см. в: Вебер М. Типы господства // Личность. Культура. Общество. 2008. Т. 10. Вып. 1–6; Т. 11. Вып. 1–2.

бы попробовать развить исследование в двух направлениях.

(Как только начинаешь работать с каким-либо предметом социального мира, обязательно столкнешься с государством и его эффектами, даже если не искал их. Марк Блок, один из основателей сравнительной истории, говорит: чтобы поставить проблемы сравнительной истории, нужно отправляться от настоящего. В своей знаменитой книге о сравнении французской сеньории и английского поместья<sup>21</sup> он начинает с формы полей в Англии и Франции, а также со статистики крестьян во Франции и в Англии; именно исходя из этого он ставит ряд вопросов.)

То есть я попробую описать то, как я сам столкнулся с государством в своей работе; затем я попытаюсь дать описание исторического генезиса этой таинственной сущности. Если удастся лучше описать генезис, мы сможем лучше разобраться в этой тайне, увидим, как некоторые вещи складывались со времен Средневековья, и это можно будет увидеть на английских, французских и японских примерах. Мне нужно будет как-то объяснить тот тип исторической работы, который я собираюсь вам предложить, работы, которая поднимает крайне сложные проблемы, к которым я не хочу подходить с наивной точки зрения, так что методологические пролегомены займут значительное время по отношению к собственно содержательному обсуждению. И вы сможете сказать: «Он задал нам много вопросов, но дал мало ответов...».

Примеры, которые я привел, вписываются в большую традицию социалингвистической или лингвистической рефлексии о понятии перформатива, но в то же время они рискуют застрять на уже сконструированных представлениях о том, что скрывается за эффектами государства<sup>22</sup>. Чтобы попытаться дать представление

---

21. *Bloch M. Seigneurie française et manoir anglais. Paris: Armand Colin, 1960 [1934].*

22. О перформативе см.: *Bourdieu P. Le langage autorisé: les conditions d'efficacité du discours rituel // Actes de la recherche en sciences sociales. 1975. No. 5-6. P. 183-190 (переиздано в: Idem. Langage et pouvoir symbolique. P. 159-173).*



об этих производящих эффекты государства механизмах, с которыми мы связываем идею государства, я вкратце опишу вам одно проведенное мной много лет назад исследование рынка многоквартирных домов, производства и оборота того экономического блага с определенными символическими характеристиками, которым является дом<sup>23</sup>. Взяв этот конкретный пример, я бы хотел показать, в какой форме проявляет себя государство. Я долго колебался, прежде чем решил рассказать вам об этом примере, поскольку я мог бы посвятить весь годовой курс изложению этого исследования. В определенной мере мой метадискурс об этой работе, возможно, нелеп, поскольку им предполагается знание этой работы во всех ее подробностях. Таковы противоречия преподавания... Я не знаю, как можно было бы логично представить исследование, соблюдая его ритм и его требования, и согласовать его с преподаванием, которое я пытаюсь сориентировать в направлении исследования.

### Рынок многоквартирных домов и государство

Я провел это исследование рынка многоквартирных домов, имея в виду достаточно банальные и тривиальные вопросы, которые постоянно ставятся исследователями: почему люди хотят быть владельцами, а не арендаторами? Почему в определенный момент они берутся покупать, а не снимать? Почему социальные категории, которые не покупали, начинают покупать и что это за социальные категории? Говорят, что общее число собственников растет, но не изучается то, как в социальном пространстве распределяются уровни роста по разным классам. Сначала надо провести наблюдения, измерить — для этого есть статистика. Мы ставим ряд вопросов: кто покупает и кто снимает? Что именно покупают? Как именно? Благодаря какого рода займам? Потом мы приходим к вопросам: кто производит? Как

---

23. См. № 81–82 журнала «Actes de la recherche en sciences sociales» (март 1990), посвященные «Экономике дома», переиздано в: *Bourdieu P. Les Structures sociales de l'économie*. Paris: Seuil, 2000.

производят? Как описать то, что я бы назвал сектором производства многоквартирных домов? Существуют ли наравне друг с другом мелкие ремесленники, которые делают по дому в год, и большие компании, связанные со значительными банковскими ресурсами, которые делают по три тысячи домов в год? Можно ли считать, что это один и тот же универсум? Существует ли между ними реальная конкуренция? Каковы силовые отношения? То есть это все классические вопросы. Применялись весьма разные исследовательские методы: интервью покупателей—почему надо покупать, а не снимать?—наблюдения, запись актов продажи и переговоров, анализ контрактов, заключенных между покупателем и продавцом, изучение продавцов, их стратегий, вплоть до прослушивания тех речей, которыми покупатели представляли себя продавцам.

Интересно то, что постепенно, в силу регрессии, вытекающей из самой логики исследования, его центр сместился: то, что поначалу было изучением транзакций, ограничений транзакции, экономического и культурного поведения, определяющего выбор, исследованием системы факторов, объясняющих выбор того, кем быть—арендатором или собственником, причем собственником такого-то жилья, а не другого, арендатором такого-то, а не другого, в итоге отошло на второй план—все эти вопросы в окончательном тексте занимают только 5% общего объема, то есть около десяти страниц. Основной фокус исследования сместился к институциональным условиям производства предложения и одновременно спроса на дома. Очень быстро стало ясно: чтобы понять происходящее в транзакции между отдельным продавцом и отдельным покупателем, связь которых в конечном счете представляется случайной, нужно было шаг за шагом вернуться назад, и в конце этого пути обнаруживается государство.

В «Салон многоквартирного дома» *<Salon de la maison individuelle>* покупатель, несколько смущенный, приходит вместе с женой и двумя детьми; он хочет купить дом. С ним обращаются любезно, поскольку у него жена и двое детей, то есть это серьезный клиент... Если женщина приходит одна, известно, что потом она

скажет: «Я приду с мужем», поэтому продавец не будет слишком себя утруждать. Он говорит паре: «Присаживайтесь». Все эти вещи надо проговорить подробно, чтобы показать, что государство присутствует уже здесь. Вначале я не думал изучать государство, оно само навязалось мне. Чтобы понять, что произошло за эту единичную встречу, нужно было сделать то, что я сейчас вкратце перечислю, тогда как в пределе нужно было бы изучить французское государство вплоть до Средневековья...

Два человека разговаривают друг с другом; продавец, который немного спешит, который должен сначала оценить, кто перед ним — серьезный клиент или нет. Опираясь на своего рода стихийную социологию, которая, однако, очень неплоха, он знает, что наиболее частый покупатель — это домохозяйство с двумя детьми. Он должен потратить как можно меньше времени, то есть предугадывать. Также он должен ускорить процесс, если дело того стоит и если он определил, что это тот самый случай. Коммуникация, структура диалога весьма стандартизированная и стереотипная; она всегда принимает следующую форму: в течение нескольких минут покупатель, выстреливая всем тем, что ему сказали его приятели или теща, когда давали ему в долг, задает несколько вопросов продавцу, чтобы заставить его конкурировать с другими возможными продавцами, чтобы получить максимум информации и выяснить, нет ли тут каких-то подводных камней. Через какое-то время ситуация переворачивается; иногда уже на третьем вопросе покупатель повержен. Продавец берет слово и из опрашиваемого становится спрашивающим; он проводит строгий экзамен платежеспособности потенциального покупателя.

Очевидно, потенциальный покупатель становится предметом своего рода социальной оценки; ставится вопрос о его идентичности в качестве клиента банка. Продавец во многих случаях располагает готовыми клишированными аргументами; это особенность бюрократической ситуации, о которой постоянно забываешь, особенно когда не занимаешься эмпирическими исследованиями: если вы начинаете с государства, как

это делал [Никос] Пуланзас, вы никогда до этого не дойдете. Продавец, имея дело с покупателем, вступает в предельно асимметричное отношение. Для продавца покупатель — один случай из множества, он видел других покупателей и еще увидит; у него есть общие, социологические предположения, а потому и общие стратегии на любой случай, которые ценны потому, что подтверждены опытом. Тогда как покупатель, напротив, — это тот, кто проживает уникальную ситуацию, которая, несомненно, в его жизни не повторится. С одной стороны, мы видим нечто повторяющееся, с другой — уникальное; тот, кто находится на стороне повторяющегося, пользуется своим накопленным опытом, а кроме того, опытом, накопленным другими. Нередко он располагает и доставшимся по доверенности опытом бюрократического типа, в форме клишированных аргументов, заранее подготовленных протоколов, формуляров, то есть бюрократического рационального и информационного капитала, что уже немало. Но если бы мы остановились на этом, мы бы забыли о самом важном, а именно о том, у него за спиной серьезная сила — власть, которую ему дает то, что он является уполномоченным организации, действующей от имени банка; он выступает делегатом кредитного института. На первый взгляд он продает дома; но на самом деле он продает кредит, позволяющий купить дом.

Тот анализ дискурса, который исследует дискурс, не изучая социальные условия его производства, не способен привести к пониманию. (Я был особенно внимателен к неявным условиям производства дискурса.) Существует поверхностное определение: клиент приходит купить дом к тому, кто продает дома и кто конкурирует с другими продавцами домов. Но в самом скором времени утверждается реальное определение: покупатель приходит купить кредит, чтобы иметь возможность купить дом. У него будет дом, соответствующий его кредиту, то есть его социальной стоимости, измеренной мериллом банка. «Сколько вы стоите?» — вот вопрос, который ставит продавец, имеющий технические возможности оценить социальную стоимость клиента с максимальной экономической точностью и за

минимальное время. За ним стоит авторитет банка, который его делегирует; в этом смысле он является бюрократом. Второе свойство бюрократа: он одинаково подходит к любому единичному случаю, он делегат, поскольку он делегирован. Он может сказать: «хорошо» или «так не пойдет», «вы сможете получить это, если приложите некоторые усилия». Это позволяет ему выступить в роли защитника, эксперта, раздающего советы и оценивающего способности. За этой структурой коммуникативного отношения находится экономическое и символическое силовое отношение.

Если выслушать продавца, станет ясно, что существует третий уровень его силы: он не просто частный агент частного банка, но также и государственный агент, и в этом качестве он говорит: «Вы можете претендовать на это... Нет, это вы не сможете...». Он выступает агентом, который использует юридические и финансовые компетенции; у него в руках калькулятор, он непрерывно подсчитывает, и это один из способов напомнить о своем авторитете... Эти ситуации, очевидно, весьма болезненны для клиента, который обнаруживает, что измерению подлежит не что иное, как его социальная стоимость: он приходит со своей мечтой, но возвращается с реальностью. Четвертая функция продавца заключается в том, чтобы спустить клиента с небес на землю. Когда клиент приходит, ему нужно столько-то квадратных метров, солнце слева и т. д. Продавец говорит ему: «Вот ваша рыночная стоимость, то, сколько вы стоите; исходя из того, сколько вы стоите, вот дом, который вы можете получить. Если вы хотите 200 квадратных метров, это будет на расстоянии 200 километров от центра города; если вы хотите 100 квадратных метров, это будет 100 километров». Два главных параметра переговоров—это расстояние и площадь. Продавец постоянно говорит: «Вы можете претендовать на это... вы не можете претендовать на это... Учитывая то, какой у вас доход, можно получить APL\*, надбавку, предназначенную для облегчения приобретения собственности».

Мы видим, что все это очень сложно и что нельзя просто одним махом все решить и сказать: «банк слу-

жит государству» или «государство служит банку». Продавец (в случае домов компании «Rhénix» это обычно старый сотрудник) не имеет явного мандата государства, как и вообще официального мандата, но он будет поступать как государственный агент и говорить: «Я знаю все расценки, и я вам скажу, на что вы можете претендовать; у вас двое детей, так что у вас есть право на такое-то жилье». В результате мы приходим к принципу производства жилищных субсидий. Как они производятся? Кем? На каких условиях? В каком универсуме? Также мы возвращаемся к принципу производства правил, которые управляют кредитом. Например, когда в 1960-х гг. был изобретен индивидуальный кредит, обнаружилась проблема оценки покупателя продавцом. Индивидуальный кредит выдается не в соответствии с уже имеющейся собственностью, наличие которой можно удостоверить, а в соответствии с тем, что экономисты называют постоянным доходом: оценивается то, какую стоимость вы приобретете в течение вашей жизни. Ее достаточно легко подсчитать, особенно если вы чиновник. Если у вас есть карьера, можно подсчитать, сколько вы стоите, то есть весь объем денег, который вы заработаете за свою жизнь. За этой оценкой скрывается определенная юридическая структура, правила, управляющие кредитованием, и правила, установленные для управления кредитными субсидиями.

Эти переговоры закончатся или не закончатся договором, который я назвал «контрактом по принуждению», поскольку игра идет краплеными картами, а люди думают, будто ведут переговоры, тогда как на самом деле все разыграно заранее, и можно с самого начала предвидеть размер дома, который они получают. Чтобы понять эту вроде бы свободную игру, разыгрываемую на переговорах, нужно сначала вернуться ко всей этой юридической структуре, которая поддерживает то, что можно назвать производством спроса. Если люди, у которых нет собственности, нет большой

---

\* APL (aide personnalisée au logement) — индивидуальная жилищная субсидия. — *Примеч. пер.*

суммы денег для первых взносов (это случай рабочих высокой и средней квалификации, всех тех, чья закре-  
дитованность стала сегодня предметом разговоров),  
могут осуществить свою мечту о собственности, объяс-  
няется это тем, что людьми, которых можно в опреде-  
ленных условиях отнести к представителям государ-  
ства, был введен ряд послаблений.

### «Комиссия Барра» по жилью

На стороне предложения я сталкиваюсь с той же  
проблемой. В 1970-е гг. наблюдался своего рода бум;  
предприятия производят много домов промышленны-  
ми методами, серийных домов, и при этом в значитель-  
ной мере опираются на банки, которые дают гарантии  
фирмам и обеспечивают их средствами производства.  
Можно спросить себя, как получилось, что они вышли  
на этот рынок, что они добиваются на нем успеха, если  
учесть, что по определенным историческим причинам  
доминирующие ожидания в жилищной сфере обращены  
на дома, которые каменщики строят вручную, один дом  
за другим... Вопрос переадресовывается центральным  
властям. В 1970–1973 гг. реформистское движение при-  
вело к созыву комитетов и комиссий, самой важной из  
которых стала комиссия Барра<sup>24</sup>. Регламенты, регулиро-  
вавшие помощь строительной индустрии, то есть в основ-  
ном строителям, превратились в помощь частному лицу,  
которая в основном была адресована покупателям.

Я был вынужден начать изучение универсума людей,  
слово которых имеет определенное значение в этом  
комплексе решений. Я не ставил себе традиционные  
вопросы, вроде: государство—это что? Воспользовался  
ли крупный банк государством, чтобы навязать поли-  
тику, благоприятную развитию определенного типа

---

24. В середине 1970-х гг. правительство заказало несколько докладов,  
чтобы ввести новую политику жилищного хозяйства, нашед-  
шую выражение в законе от 3 января 1977 года, опиравшемся  
на доклад комиссии под председательством Раймона Барра  
и закрепляющем снижение помощи строительному сектору  
и увеличение помощи частным лицам.

собственности, продающегося в кредит и, соответственно, требующего развития кредита? Кто кому служит? Я, напротив, спросил себя, каковы действующие агенты, чтобы понять генезис этих регламентов, действие которых распространяется даже через обычного продавца. Я составил универсум действующих агентов на основе объективных данных, каковыми являются их характеристики. (Оказывает ли воздействие директор по строительству в министерстве финансов? Оказывает ли воздействие директор по социальным делам, который может обеспечить людей займами при посредстве государства?) А также на основе уставной информации (есть ли у такого-то государственного агента обязанность вмешиваться, есть ли у него, у инспектора, имеющего право инспектировать, мандат на то, чтобы решать, кто получит кредит, а кто — нет?). Например, ясно, что нельзя забывать департаментские управления по благоустройству и министерство благоустройства: я взял людей, официальная должность которых подразумевала, что их можно априори считать действующими, но при этом сравнивал эти данные с тем, что могли сказать информаторы, следуя репутационному методу (был ли важен такой-то и такой-то человек?). Я наткнулся на высокопоставленных чиновников, банкиров (часто за несколько лет до этого они были высокопоставленными чиновниками). Отсюда проблема: где граница? Пресловутое сращение государства и банка или крупных отраслей промышленности часто осуществляется благодаря этим людям, но в формах, которые никоим образом не совпадают с теми, что теория описывает в категориях функций. То есть я обнаруживаю высокопоставленных чиновников из министерства финансов, управления мостами, министерства благоустройства, мэров крупных городов, представителей добровольных ассоциаций и социального жилья\*, социальных агентов, которые имеют отношение к этим вопросам, для которых это определенная ставка, которым есть смысл бороться друг с другом,

---

\* HLM (*habitation à loyer modéré*) — буквально «жилье с умеренной квартплатой». — *Примеч. пер.*



людей, которые готовы умереть за субсидии строительной отрасли.

Теперь надо узнать, каковы принципы работы этого универсума — получится ли так, что с одной стороны у меня будет государство, а с другой — административно-территориальные единицы? Люди ведь думают примерно так. Согласно стихийной социологии, присутствующей в сознании всех высокопоставленных чиновников, есть центр и есть «места». Здесь мы обнаруживаем одну из центральных категорий этой специфической социологии: центр и периферия, центр и места... Все это проскакивает без каких-либо вопросов, в форме таксономий. Центр — это государство. Так они сами себя понимают: у них более общие интересы, в противоположность людям, которые на местах, людям частным, всегда подозреваемым в том, что они выражают мнение лобби, например, лобби социального жилья. Это люди с историями, траекториями, они перемещались в пространстве, которое я шаг за шагом выписываю, они постепенно переходили от одной должности к другой, они несут в себе свой габитус, а потому и весь свой предшествующий путь, отражающийся в их стратегии. Я предполагаю, что у этого пространства есть определенная структура, оно сделано не просто так. Посредством статистического анализа я пытаюсь выявить структуру в том виде, в каком она проявляется, взяв совокупность значимых людей и совокупность значимых свойств.

Вы скажете мне: по каким критериям? Первый — брать значимых агентов, поскольку им нужно сделать что-то с этой проблемой и поскольку они могут что-то с ней сделать; у них есть особая власть, которая позволяет оказывать воздействие, производить последствия. Второй — рассматривать значимые качества, то есть те, что нужно иметь, чтобы оказывать воздействие в этом поле. Но мы, как по-научному выражались немцы, попадаем в таком случае в «герменевтический круг»: как определять эти качества? Это делается на ощупь, потому что это и есть предмет исследования, то есть за счет последовательных проб. Мы определяем качества, благодаря которым оказывают воздействие. Например,

важен тот факт, что кто-то является инспектором финансов, инженером горнодобывающего управления или управления мостами. На основе этих качеств, позволяющих оказывать воздействие, я выстраиваю объективное пространство, структуру этого пространства, которую можно было бы назвать равновесием сил или разделением на отдельные лагеря. То есть существует сложное пространство со своими делениями.

Наконец, я составляю хронику этих реформ; я провожу интервью с информаторами, в число которых, очевидно, попадают люди, игравшие важную роль в этом начинании, ведь хорошие информаторы — это те, кто сами информированы, а для этого надо быть внутри процесса, то есть люди, которые участвовали в комиссиях, которые могут рассказать, как выбирались члены этих комиссий, что является очень важным фактором... Результат работы комиссии можно определить на основе того, из кого она состоит. Я восстанавливаю хронику, как поступил бы историк, хронику того, что произошло в процессе, который привел к разработке регламента, последствия которого я наблюдаю в действиях продавца таких-то товаров. Я составляю перечень значимых событий, и только таких, то есть тех, которые нужно знать, чтобы понять. Иначе говоря, это не формальный отчет, а отчет о событиях, способных дать объяснение.

(Это не обязательно должно означать, что историк, составляющий хороший отчет о событиях, позволяющих дать объяснение, всегда отдает себе отчет в принципах, по которым он отбирает эти события. Марк Блок говорил о ремесле историка<sup>25</sup> — это габитус, на основе которого можно производить методические выборки, хотя они и не образуют эксплицитного метода. Обращение к истории весьма полезно: представляя себя историком, можно было получить информацию, в которой мне, как социологу, работающему в поле, было бы отказано.)

Я выдвинул гипотезу: поскольку структуры являются относительно инвариантными, изучая структуры

---

25. Блок М. Апология истории или ремесло историка. М.: Наука, 1986.

двадцатилетней давности, я изучал современные структуры. Итак, я составляю рассказ; затем я представляю структуру пространства, в котором случилось то, что я рассказываю в рассказе, с именами собственными и свойствами людей, которые носят эти имена. И вот структура пространства агентов, которые произвели эту историю<sup>26</sup>. Становится ли последняя понятной благодаря этой структуре? Я был удивлен, когда увидел, в какой мере структура поля сил, распределение лагерей объясняло противопоставления, о которых я говорю. Мы в целом видим, что место, в котором порождается этот регламент, а «регламент» — это государственное слово, является структурированным пространством, в котором есть представители административного поля, высокопоставленные чиновники, представители экономического поля и местного политического поля, мэры... Итак, это первая оппозиция.

Вторая оппозиция: внутри административного поля противопоставляются те, кто на стороне министерства финансов, и те, кто на стороне министерства благоустройства, то есть технической стороне. Эта оппозиция очень интересна. Ее ставка разыгрывается между теми, кто за помощь строительной отрасли, то есть за достаточно этатистскую помощь жилищной сфере, помощь коллективную и коллективистскую (это поддержка социального жилья, коллективного строительства), и теми, кто за помощь скорее либеральную, персональную, индивидуальную, персоналистскую, жискардистскую. На уровне административного сектора мы обнаруживаем оппозицию тех, кто за этатизм, и тех, кто за либерализм. Государство противопоставляют свободе, рынку, но если вы обнаруживаете рынок внутри государства, все несколько усложняется... Можно спросить себя, почему инженеры управления мостов оказываются на стороне государства, коллектива и кол-

---

26. Этот пассаж отсылает к факторному анализу из статьи Пьера Бурдьё и Розин Кристен: *Bourdieu P., Christin R. La construction du marché // Actes de la recherche en sciences sociales. 1990. No. 81–82. P. 65–85.*

лективизма. Они выпускники политехнических вузов, их не в чем подозревать... При этом они за социальное, коллективное, прошлое, за охрану и против либералов, желающих либерального поворота, предвосхищающего последующее развитие политики.

Среди неомарксистских теорий государства есть теория, разработанная немецким исследователем Хиршем, в ней подчеркивается, что государство — это место борьбы классов, что государство — не бездумный инструмент гегемонии господствующего класса<sup>27</sup>. В самом лоне государства есть люди, которые скорее за либерализм и, наоборот, люди с этатистской позицией. Это большая ставка борьбы. Если перевести все это в категории политического разделения, с одной стороны окажутся те, кто ближе к социалистам, а с другой — либералы. Но я считаю, что для понимания этого противостояния надо вернуться к истории рассматриваемых корпусов и к имеющейся у этих корпусов (технических инженеров и инспекторов финансов) заинтересованности в той или иной политике. Чтобы понять заинтересованность технических корпусов в установке, которую можно назвать «прогрессистской», нужно предположить, что у них корпоративная заинтересованность в прогрессистских позициях. Они занимают прогрессистскую позицию не потому, что они прогрессисты, а потому, что они принадлежат корпусу, тесно связанному с определенной формой прогрессистского регламентирования. Как только «социальное завоевание» было вписано в государственный институт и был образован корпус, существование которого зависит от сохранения подобного института (министерства социальных дел), можно быть уверенным, что государственный корпус будет защищать это социальное завоевание, даже если его выгодополучатели исчезли и ничего больше не требуют. Я нарочно утрирую парадокс, но считаю, что это важно.

Иначе говоря, государство — это не глыба, это поле. Административное поле, как частный сектор

---

27. Hirsch J. Staatsapparat und Reproduktion des Kapitals. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974.

поля власти, — это поле, то есть пространство, структурированное оппозициями, связанными со специфическими формами капитала, с различными интересами. Эти антагонизмы, местом которых выступает такое пространство, имеют отношение к разделению организационных функций, связанных с различными корпусами, им соответствующими. Оппозиция финансовых министерств и расходных министерств или социальных составляет часть стихийной социологии высокопоставленного чиновничества; пока будут существовать социальные министерства, будет сохраняться и та или иная форма защиты социального. Пока будет существовать министерство национального образования, сохранится и защита образования, в значительной мере автономная по отношению к качествам людей, занимающих эти позиции.

Третья оппозиция: благодаря объективным признакам и информаторам в своей хронике я выявил героев, персонажей, о которых говорили, что они — инициаторы этой бюрократической революции. Я сказал себе: что я здесь изучаю? Я изучаю определенную революцию, то есть бюрократическую революцию, переход от одного бюрократического режима к другому. Я имею дело со своеобразными революционерами. Изучая то, кем являются эти люди, я, возможно, смогу ответить на такой вопрос: кем нужно быть, чтобы совершить бюрократическую революцию? И выясняется, что третий фактор каким-то чудом выделяет как раз этих людей, практически всех людей, которые оказываются революционерами по объективным и репутационным показателям, и только их. Какие же свойства у этих людей? Они не образуют единства, они разнесены по четырем сторонам пространства. Общими у них оказываются удивительные свойства — большое бюрократическое наследие, поскольку часто это дети высокопоставленных чиновников, входящие в состав высокопоставленной государственной знати, то есть у них в родословной по несколько поколений государственной знати. Я склоняюсь к мысли, что, чтобы совершить бюрократическую революцию, нужно хорошо знать бюрократический аппарат.

Почему Раймона Барра назначали председателем комиссии, сыгравшей решающую роль? Можно провести социологическое исследование индивидов (социологически сконструированных) и того, что они делают в весьма специфических ситуациях<sup>28</sup>. Эти революционные герои, новаторы, которые составляют бюрократический авангард, обладают удивительными свойствами — они накапливают качества, которые в этом универсуме крайне маловероятны. Это люди, которые находятся в техническом, политехническом секторе, но в то же время они занимались эконометрикой и отучились в «Институте изучения политики» <Sciences-Po>. Свой обычный бюрократический капитал они удваивают техническим, теоретическим капиталом: они могут произвести впечатление на политиков, подсчитав издержки и прибыли различных политических сил. Или же это инспекторы финансов, которые нарушили табу, заняв позиции председателей комиссий по социальному жилью. Робер Лион, в настоящее время председатель Депозитной кассы <Caisse des dépôts>, совершил абсолютно непотребный поступок, в этой среде считающийся варварским: он спустился с самого верха на самый низ государственного и бюрократического поля; это человек в спорном, неустойчивом положении<sup>29</sup>.

Эта объясняющая история, выяснение этого социогенеза было необходимым, чтобы понять то, что произошло в разговоре между продавцом и покупателем, понять изменение статистики собственности, тот факт, что у собственников в голове всегда есть социальные пространства, проанализированные в «Различении»: правая сторона социального пространства состоит из обладателей экономического,

---

28. О понятии социологически сконструированного индивида см.: *Bourdieu P. Homo academicus*. P. 36–39.

29. Робер Лион (Robert Lion) (р. 1934), высокопоставленный чиновник-социалист и профсоюзный деятель, руководил Депозитной кассой с 1982 по 1992 г. К концу 2010 г. он получил должность регионального советника Иль-де-Франс, избранного по списку Европы-Экологии (Europe Écologie).

а не культурного капитала<sup>30</sup>. Так вот, значительная тенденция к приобретению собственности сформировалась на левой стороне социального пространства, среди людей, у которых больше культурного, а не экономического капитала. Именно на этой стороне наблюдались наибольшие показатели роста. На политическом уровне я могу найти политическую формулировку, одновременно изощренную и наивную, которая могла вдохновлять ответственных за эту политику: «Мы свяжем людей с установленным порядком теми узлами, коими является собственность». Это открыто заявляется в работах Валери Жискара д'Эстена и в текстах всех тех, кто был связан с этими реформами. Хроника показывает серьезную миссионерскую работу по обращению в другую веру: люди пишут статьи, создают математические модели, пользуются всевозможными инструментами убеждения. В современных обществах математика стала важным инструментом политического убеждения. У этих людей политические намерения, которые основаны на определенной философии: встраивание в социальный порядок осуществляется за счет связывания с собственностью, за счет того, что левую сторону социального пространства подключают к установленному порядку, и это значит, что проводятся значительные изменения. Чтобы понять некоторые изменения французского политического универсума, важно изучить не только политику жилищного сектора, но также и речи Жана Даниэля (из «*Nouvel Observateur*») или же дискурс Коммунистической партии, который, возможно, напротив, следовал за этими изменениями.

Мы понимаем, как на основе определенной политической программы, продвигаемой некоторыми людьми, был порожден действующий регламент, управляющий спросом, предложением, рынком и образующий все элементы этого рынка. Одна из функций государ-

---

30. Сводную картину социального пространства, построенного в работе «Различение. Социальная критика суждения» (*Bourdieu P. La Distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Minuit, 1979*), см. в: *Idem. Le nouveau capital // Raisons pratiques. P. 37–51.*

ства — создавать рынки. Как впоследствии применялся этот регламент? Как социальные агенты, находящиеся на местах, на уровне департамента или города, будут использовать его на практике? Здесь мы снова встречаем акты, *statements*, о которых я недавно говорил: разрешения на строительство, акты о передаче прав, о нарушениях, о санкциях. Некоторые регламенты указывают, что крыши должны выступать не более, чем на 20 сантиметров. Это абсолютный произвол. Архитекторы хором заявляют: «Это невозможно, почему не 25 сантиметров, почему не 23?» Такая произвольность является генератором особой формы бюрократической прибыли: либо строго применять норму, чтобы потом сделать послабление, либо выдать специальное разрешение. Диалектика, которую я называю диалектикой права и поблажек<sup>31</sup>, приводит к взяткам, «делам». Здесь обнаруживается обыденное управление государством, осуществляемое обладателями этой власти.

Я сделал всего лишь несколько шагов вглубь истории, вернувшись к непосредственной исторической причине. Чтобы понять этот исторический срез, который объясняет другой исторический срез, нужно все время отступать назад. Что значит рассказывать эту историю? Не получится ли так, что история административного поля (историю государства в целом еще предстоит рассказать) будет рядом срезов того же типа, что я сделал, но для каждого конкретного из регламентов, принятых государством? (После этого становится просто страшно говорить «государство...» Я больше не могу говорить предложениями, начинающимися с «государства...».) Я привел пример жилищной субсидии. То же самое следовало бы сделать с социальным страхованием. Чтобы понять каждый из моментов, нужно знать обо всех предшествующих срезах. Чтобы понять сложное строение того или иного технического корпуса, нужно знать, что технические корпуса были созданы в такой-то год, во Франции, что они формировались

---

31. *Bourdieu P. Droit et passe-droit. Le champ des pouvoirs territoriaux et la mise en oeuvre des règlements // Actes de la recherche en sciences sociales. 1990. No. 81–82. P. 86–96.*



на местном уровне, а потом и общенациональном... К сожалению, в социальных науках мы часто сталкиваемся с проблемой, которая состоит в выдвижении невозможных программ. Возможно, главным достоинством того, что я собираюсь сделать, будет не что иное, как выдвижение невозможной исследовательской программы.

## Лекция 25 января 1990 года

*Теория и эмпирия. — Государственные комиссии и инсценировки. — Социальная конструкция публичных проблем. — Государство как точка зрения на точки зрения. — Официальный брак. — Теория и эффекты теории. — Два смысла слова «государство». — Превращение частного в универсальное. — Obsequium. — Институты как «организованный фидуциар». — Генезис государства: сложности задачи. — Отступление об обучении социологическим исследованиям. — Государство и социология.*

### Теория и эмпирия

**Я** БЫСТРО пройду по предыдущей лекции, чтобы подчеркнуть контраст между двумя частями лекции, который вы, возможно, заметили. В первой я попытался представить ряд общих положений касательно государства, а во второй дал схематичное, сжатое описание исследовательской работы, которую я недавно провел и которая была посвящена одному аспекту действия государства. Среди имеющихся у меня признаков вашего избирательного внимания и вашего восприятия есть один очень важный — а именно количество записей, которые вы делаете. Я отметил, что во второй части лекции вы делали намного меньше записей. Я мог бы связать это с качеством моего выступления, но думаю, это обусловлено тем, что я говорил о вещах, которые вы сочли менее достойными записи. И это проблема, поскольку, с моей точки зрения, вторая часть лекции была самой важной и наиболее достойной того, чтобы ее записали. И уже то, что я пересказывал все эти вещи в сжатом виде, было опережающей реакцией на ваше восприятие, поскольку, на самом деле, я мог бы посвятить весь курс этого года данной работе и подробностям анализа, использованным мною методами.

Я возвращаюсь ко всему этому потому, что тут возникает совершенно фундаментальная проблема, которая является проблемой и для меня. Чрезвычайно сложно соединять в уме, удерживать вместе описание, анализ состояния государства, как оно дано сегодня в наблюдении, с общими положениями о государстве. Я думаю, что если теории государства, пребывающей,

с моей точки зрения, в полном упадке, суждено сохраниться, объясняться это будет тем, что она развивается в универсуме, не зависящем от реальности. Теоретики могут спорить до бесконечности, к какой бы традиции они ни принадлежали — марксистской или неофункционалистской, поскольку именно этой связи с вещами реального мира, повседневной жизни — вот чего у них нет, а есть своего рода, как сказали бы феноменологи, «эпохе», то есть подвешивание всякой отсылки к происходящему, благодаря которому как раз и возможны теоретические дискуссии. К сожалению, этот статус теории закрепляется общественными ожиданиями. Во всех дисциплинах теорию ставят выше эмпирии, выше опыта. Чем известнее становятся ученые, тем более они «теоретичны». К старости все ученые становятся философами, особенно когда они получили Нобелевскую премию. Эти совершенно общие замечания важны потому, что они указывают на помехи прогрессу в социальной науке, в том числе и на препятствия, мешающие передаче результатов научной работы в социальных науках.

Я возвращаюсь к этой двойственности. Я настолько хорошо сознаю проблему с передачей того, что хочу сообщить, что на меня все время давят две вещи — стратегии коммуникации (как следует сказать то, что мне нужно сказать?) и требования соблюдать логику в том, что мне надо сообщить. В силу противоречия между двумя этими элементами то, что я говорю, иногда приобретает странный вид, из-за чего страдаете не только вы, но и я. В данном случае я ставлю вопрос о связи двух этих уровней, но не уверен, что могу в полной мере на него ответить. Однако думаю, что, обращая ваше внимание на это затруднение, я указываю вам на проблему, которая встанет и перед вами, если вы будете интересоваться государством или будете работать с тем, что с ним каким-то образом связано.

### Государственные комиссии и инсценировки

Чтобы попытаться в какой-то мере связать два указанных уровня, я вернусь к моменту, которого коснулся лишь мимоходом, — к идее комиссии. Я сказал, что

комиссия — вещь очень странная, что это форма социальной организации, поднимающая множество проблем. Во-первых, это особое историческое изобретение, английское изобретение, генеалогию которого можно отдельно проследить. Исходно она называлась «королевской комиссией» — это было собрание людей, получивших мандат от короля, призванных для выполнения социально признанной и важной задачи, обычно связанной с проблемой, которая также считалась важной. При созыве, то есть конституции (это важное слово, и здесь его надо понимать в сильном смысле) комиссии, выполнялось два акта: первый — это назначение, номинация, поскольку, если есть государственный акт, это обязательно номинация ряда людей, признанных способными и назначаемых обществом для выполнения определенной функции; второй — определение проблемы, достойной того, чтобы ею занимались люди, достойные заниматься публичными проблемами. Публичная проблема — это проблема, которая заслуживает публичного, официального рассмотрения. Здесь следовало бы поразмыслить над этим понятием «публично-го», то есть над тем, что достойно предстать перед всеми. Очевидно, социальная критика всегда стремится отыскать нечто скрывающееся за этим публичным. У социальных агентов имеется стихийная точка зрения, часто возводимая в социологическую позицию; ее можно назвать театральной — она обнаруживается у Гофмана<sup>1</sup>, который [развил], занимаясь интеракциями людей, это спонтанное понимание, имеющееся у всех нас: люди играют комедию; один играет комедию, а другой — это публика, хорошая публика или плохая. Этот театральный взгляд на интеракции можно применить к главному театральному миру, миру государственного театра, миру официальности, официальной церемонии, например правовой. Один крупный английский историк долго изучал церемонию английского права и безусловно важную роль этого церемониала, который не только

---

1. *Goffman E. La Mise en scène de la vie quotidienne*, t. I : La présentation de soi / A. Accardo (trad.); t. II : Les relations en public / A. Kihm (trad.). Paris: Minuit, 1973 [1959].

является самоцелью, но и, как собственно церемониал, оказывает воздействие, заставляя признать свою легитимность<sup>2</sup>.

Итак, эти публичные комиссии суть инсценировки, операции, заключающиеся в том, чтобы вывести на сцену определенную группу людей, которые должны сыграть своего рода публичную драму, драму мышления о публичных проблемах. Стоило бы изучить комиссии мудрецов, то и дело предлагаемые нам. Если принять этот театральный, усекающий взгляд, он заставит нас сказать: «Есть сцена, есть кулисы, и есть я, социолог, а я хитер, и я покажу вам, что там за кулисами». Я часто говорю, и это важно для тех из вас, кто являются социологами, что одной из бессознательных мотиваций, привлекающих к социологии, является удовольствие от демонстрации подсобки, закулисы. У Гофмана это совершенно очевидно — это точка зрения того, кто стоит за прилавком лавочника и следит за стратегиями лавочника и его клиента. Возьмите превосходное описание действий в ресторане: официанты выходят за дверь и сразу же принимают другую позу, но стоит им вернуться, как они начинают шуметь... Это описание социального мира как театра по определению иронично; оно состоит, строго говоря, в том, чтобы сказать: «Мир — не то, что вы думаете, не будьте дураками...» А когда ты молод, нравится умничать и особенно чувствовать себя умником, это очень приятное занятие — разоблачать видимости.

Такая точка зрения могла бы быть стихийной социологией полуученого, как говорил Паскаль, социолога. Такой полуученый говорит: мир — это театр, и это относится также и к государству. (Боюсь, впрочем, что мой анализ вы поняли именно в таком смысле.) Я говорю: государство — это юридическая фикция, следовательно оно не существует. Драматургический взгляд на социальный мир усматривает кое-что важное: комиссия — это махинация; взгляд в стиле «*Le Canard en-*

---

2. *Thompson E. P. Patrician society, plebeian culture // Journal of Social History. 1974. Vol. 7. No. 4. P 382–405.*

chaîné»\*, такой взгляд на комиссию — в определенный мере правильный. Долг социолога — узнать, как была составлена комиссия, кто кого выбирал и почему. Почему такого-то попросили быть председателем? Какое у него отличительное свойство? Как произошел набор членов комиссии? Не всё ли решалось самим фактом выбора членов? Всё это очень хорошо, и это часть работы. Но, с другой стороны, часто очень сложно выполнить эту работу так, чтобы ее можно было опубликовать, то есть чтобы ее могли публично опровергнуть участники [...].

Однако этот подход, несмотря на то что он совершенно законен, рискует упустить весьма важную вещь. Комиссия — это организационное изобретение, можно указать момент, когда она была изобретена. Это такое же изобретение, что и технические изобретения, но совершенно особого типа. Государство — одно из изобретений такого рода, изобретение, нужное, чтобы объединить людей по-особому, так что, будучи организованными подобным образом, они будут делать то, что не стали бы делать, если бы не были так организованы. Обычно мы забываем о существовании такого рода техники. Сейчас есть куча работ о последствиях внедрения информационных технологий в офисы, но забывают о том, как изобретение циркулярного письма изменило бюрократический мир; или как на гораздо более ранней стадии переход от устного обычая к письменному праву изменил весь бюрократический университет. С организационными техниками и изобретениями обычно связывается какой-то термин, но редко имя собственное: мы запоминаем имена изобретателей технических изобретений, но не имена изобретателей-бюрократов. Например, индивидуальный кредит является весьма сложным организационным изобретением.

Комиссия — это историческое изобретение, которое как-то функционирует, и если ею продолжают пользоваться — я называю это минимальным функционализмом, — значит, она должна выполнять определенные

---

\* «Le Canard enchaîné» («Цепная утка») — французское сатирическое издание. — *Примеч. пер.*

функции. «Функционализм» — одно из понятий, которые играют роль оскорбления, а потому очень редко используются в науке. Я же говорю, и с этим мы, как социологи, можем согласиться, что определенный институт, постоянно используемый на протяжении какого-то времени, заслуживает гипотезы, утверждающей, что он имеет какую-то функцию, что он что-то делает. То организационное изобретение, каковым является комиссия, производит значительный эффект, который можно забыть, если следовать драматургическому взгляду на институты: комиссия порождает символические эффекты, произведенные инсценировкой официального соответствия официальному представлению. Я сейчас объяснюсь. Что делает комиссия Барра, о которой я в прошлый раз говорил? Она разрабатывает новое определение публично заданной проблемы, в данном случае права на жилье, которое само заслуживает исторического анализа. Очевидно, один из простейших рецептов социологии, как я ее понимаю, в том, чтобы никогда не брать проблему, как она есть, но понимать, что проблемы сами составляют проблему, поскольку есть исторический генезис проблем. По поводу права на жилье нужно было бы спросить, когда оно появилось и как, какие филантропы его учредили, какие у них были интересы, в каком пространстве они жили и т. д.

Итак, признается, что проблема существует, и говорят: эта комиссия публично занимается этой публичной проблемой и ставит перед собой задачу найти решение, которое можно было бы представить публике. Затем будет официальный доклад, который составляется официально, с почти что официальным авторитетом. Доклад — это не обычная речь, а перформативная, он докладывается тому, кто его потребовал и кто, потребовав его, заранее наделил его авторитетом. Составитель доклада — тот, кто пишет авторитетную речь, поскольку он уполномочен, авторитетную речь для того, кто его уполномочил, потребовав от него доклада и заранее выдав ему мандат. Такой доклад исторически детерминирован, и его надо анализировать в каждом случае отдельно, в соответствии с состоянием отношения сил между мандатом и носителем мандата, в соот-

ветствии со способностями двух лагерей применить этот доклад: достаточно ли у членов комиссии стратегических сил, чтобы воспользоваться комиссией и всем тем, что неявно подразумевалось в поставленной перед ними задаче, чтобы принудить к исполнению выводов, этой комиссией полученных? Есть ли у них такое намерение и способность его осуществить? Каждый раз надо проводить большую эмпирическую работу, но это не означает, что модель перестанет быть истинной. Модель нужна для того, чтобы подтолкнуть к изучению вариаций различных параметров.

### Социальная конструкция публичных проблем

Итак, эти люди разрабатывают новое легитимное определение некоей публичной проблемы, они предлагают новый способ дать гражданам средства удовлетворения потребности в жилье, что признается их бесспорным правом. Но ставилась бы проблема точно так же, если бы речь шла о наркотиках или же национальности (например, кто имеет право голосовать на муниципальных выборах)? К кому можно с полным правом применять санкции? Джозеф Гасфилд провел исследование дискуссий по поводу связи между алкоголизмом и автомобильными авариями<sup>3</sup>. Он работает в русле проблематики, которую в США называют «конструктивистской» — то есть он относится к тем, кто в традиции Шюца<sup>4</sup> и таких американских психосоциологов,

---

3. *Gusfield J.* The Culture of Public Problems. Drinking-Driving and the Symbolic Order. Chicago, London: University of Chicago Press, 1981 (французский перевод опубликован после курса: *Ibid.* La Culture des problèmes publics. L'alcool au volant: la production d'un ordre symbolique / D. Cefaï (trad.). Paris: Economica, 2009.)

4. *Schütz A.* Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in der verstehende Soziologie. Wien: Springer-Verlag, 1932. Незадолго до начала этого курса Бурдье книга Шюца была переведена на французский по «Полному собранию сочинений» (*Idem.* Collected Papers. La Haye: Martinus Nijhoff, 1962-1966. V. 3): *Idem.* Le Chercheur et le quotidien. Phénoménologie des sciences sociales / A. Noschis-Gilliéron (trad.). Paris: Klincksieck, 1987. <Русский перевод: *Шюц А.* Смысловое строение социального мира // Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004.>



как Мид<sup>5</sup>, подчеркивают, что социальные агенты не принимают мир за данность, а конструируют его. Если излагать их тезис в простейшем виде, речь идет о том, чтобы восстановить операции конструирования, выполняемые социальными агентами для того, чтобы выстроить свои интеракции или частично отформатированные отношения, такие как отношение учеников с преподавателем или клиента с бюрократическим служащим. В своей книге Гасфилд подчеркивает генезис публичной проблемы и наряду с другими вещами показывает, как работа научного типа, статистика, будь она государственной или частной, сама оказывается социальной риторикой, в силу которой статистики принимают участие в конструировании социальной проблемы; например, именно они утверждают самоочевидность связи между употреблением алкоголя и наличием аварий; они ставят ту скрепляющую печать, которую может поставить дискурс, воспринимаемый в качестве научного, то есть универсального, на некое социальное представление, в основе своей этическое и распределенное в социальном мире крайне неравномерно. Гасфилд показывает, что официальные агенты, законодатели, разрабатывающие новые нормы, но также *lawyers*, специалисты по праву, основываясь на научных аргументах, символически подкрепляют этические предрасположенности, неравномерно распределенные в том, что называют «мнением».

Если бы, к примеру, был проведен опрос, мы бы выяснили, что не все за то, чтобы запретить употребление алкоголя за рулем, что даже под страхом смерти не все поддерживают его отмену и что даже, может быть, большинство против. Если бы провели опрос о том, как относиться к иностранцам североафриканского происхождения, весьма вероятно, что он не подтвердил бы нормы практик школьных учителей или преподавателей лицеев, то есть официального определения антирасистского дискурса. Что в таком случае делают социальные агенты официального, преподаватели, которые

---

5. Mead G. H. L'Esprit, le soi et la société / J. Cazeneuve et al. (trad.). Paris: PUF, 1963 [1934].

ведут антирасистские речи, судьи, осуждающие людей, которые водят машину в состоянии опьянения? Даже если их речи высмеиваются, даже если есть необычное противоречие в этом театральном перформансе — в англосаксонском значении этого термина — официальной истины, эта официальная истина все же не теряет своей действенности. Смысл книги Гасфилда в том, что у символического есть свое реальное действие, и даже если все символические высказывания — не более, чем благие или же лицемерные пожелания, они, поскольку они таковы, действуют. Было бы наивно — и здесь мы снова имеем дело с несомненной наивностью того умника и хитреца, который занимается демистификацией, — не принимать всерьез эти акты театрализации официального, обладающие реальным действием, даже если официальное — это всегда лишь официальное, то, что во всех обществах делается для того, чтобы его нарушали.

### Государство как точка зрения на точки зрения

Я не хотел бы делать какие-то оговорки насчет книги Гасфилда, но думаю, что можно пойти дальше, опираясь на им сказанное. Он напоминает о важной вещи, о том, что социальная фикция не фиктивна. Уже Гегель говорил о том, что иллюзия не иллюзорна. Раз официальное — это всегда только официальное, раз комиссия не является тем, за что она хотела бы себя выдать, это не значит, что она не оказывает определенного воздействия, ведь, несмотря ни на что, ей удастся заставить других поверить в то, что она именно то, за что себя выдает. Важно, чтобы официальное, хотя оно и не то, за что себя выдает, сохраняло, однако, действие. Как и почему оно действенно? Как оно, к примеру, подкрепляет позицию тех, кто выступает за поддержание порядка и за строгое наказание курителей марихуаны, и как реализуется это подкрепление? В подобном анализе удастся схватить одну из форм действенности, свойственной государству.

Если говорить об этих вещах крайне упрощенно, прежде чем сказать о них более сложно, то, следуя

Гасфилду, можно было бы отметить, что государство в изучаемом им, но также и в более общем случае (комиссии мудрецов, занимающиеся расизмом, вопросами национальности и т. д.) подкрепляет одну точку зрения на социальный мир из множества других, тогда как сам этот мир является местом борьбы точек зрения. Об этой точке зрения оно говорит, что это хорошая точка зрения, точка зрения на точки зрения, «геометрическое место всех точек зрения». Это эффект обожествления. И для этого крайне важно, чтобы оно убедило в том, что само оно является точкой зрения без точки зрения. Следовательно, нужно, чтобы комиссия выглядела комиссией мудрецов, стоящей, соответственно, над эмпирическими обстоятельствами, над интересами и конфликтами, в конечном счете за пределами социального пространства, поскольку, как только ты в социальном пространстве, ты оказываешься определенной точкой, то есть точкой зрения, которую можно сделать относительной.

Чтобы добиться этого эффекта департикуляризации, совокупность институтов, которую мы называем «государством», должна театрализовать официальное и универсальное, должна дать спектакль публичного уважения публичных истин, публичного уважения официальных истин, в которых должно признавать себя все общество в целом. Государство должно дать спектакль универсального, того, с чем в конечном счете все согласны, того, в чем не может быть разногласий, поскольку оно в определенный момент времени вписывается в социальный порядок.

### Официальный брак

Однако чрезвычайно сложно провести глубокий анализ того, что скрывается за этим эффектом. В работе, выполненной мной много лет назад и посвященной браку в берберских обществах<sup>6</sup>, я уже сталкивался с этой

---

6. Здесь Бурдьё опирается на свои работы, проведенные в Кабилии. См.: *Bourdieu P. Esquisse d'une théorie de la pratique, précédé de Trois études d'ethnologie kabyle*. Genève: Droz, 1972. P. 9–151

проблемой. Вы увидите, что аналогия между государственными ситуациями и этой ситуацией очень сильная, хотя это вроде бы совершенно разные вещи. Антропологи часто говорят о предпочтительных браках — это выражение является эвфемизмом для обозначения официального брака (часто социологи и антропологи подхватывают туземные понятия, нейтрализуя их, чтобы было похоже на науку, так что в результате они теряют ту проблему, которую я собираюсь поставить). Они говорят, что предпочтительный брак — это брак с кузиной по параллельной линии: мужчина стремится женить своего сына на дочери брата. Они изучают реалии как этнологи, которые обычно не занимаются статистикой. Но я, как не совсем правильный этнолог, занимаюсь статистикой и замечая, что этот так называемый предпочтительный брак, то есть официальный и законный, практикуется в 3–6% [случаев] в самых официальных семьях, в марабутических семьях, в наибольшей мере соответствующих официальному определению официального, в семьях, которые, с другой стороны, напоминают об официальной позиции, когда дела плохи. И тогда нужно поставить определенные вопросы. Можно сказать: все это неверно, это совсем не важно, информаторы — это мистификаторы или мистифицированные. Можно сказать либо то, что они обманываются или обмануты, либо то, что они подчиняются бессознательным правилам, так что их речи — не более чем рационализации, и в таком случае мы избавляемся от проблемы. В действительности, анализируя эти вещи подробнее, я выяснил, что существовало некоторое число браков, соответствующих официальному определению, и что они действительно крайне восхвалялись, признавались, в соответствии с мифоритуальной логикой процветания, в качестве гарантии плодovitости, благословения, ниспосланного тем, кто поступает по правилам, но также и всей группе в целом.

---

(исправленное и дополненное издание: Paris: Seuil, «Points», 2000) и особенно главу «Родство как представление и воля» («La parenté comme représentation et comme volonté») (Р. 83–215 издания «Points»).

Присмотревшись еще внимательнее к этим бракам, я заметил, что они внешне и правда могли соответствовать официальному правилу, но при этом определялись мотивами, совершенно противоположными этому правилу. Иначе говоря, даже эти чистые и соответствующие правилу 3% браков могут определяться интересами, решительно противоречащими правилу. Приведу пример семьи, в которой есть дочь с физическим увечьем, так что ее сложно выдать замуж. Возникает ситуация, в которой один из кузенов жертвует собой, чтобы оградить семью, как говорят в этих местах, от «позора», и в данном случае брак всячески прославляется — точно так же, как комиссия, добившаяся успеха, — поскольку он делает нечто действительно важное, он позволил официально реализоваться в крайнем случае, то есть случае, особенно опасном для официальной нормы. Иначе говоря, он позволяет сохранить лицо не только индивида, но и всей группы. Он спас возможность верить, несмотря ни на что, в официальную истину.

Бывают герои официального. Бюрократический герой является тем, чья главная функция — позволить группе продолжать верить в официальное, то есть в то, что групповой консенсус по некоторым обязательным ценностям сохраняется и в сложных ситуациях, когда социальный порядок ставится под серьезнейшее сомнение. То есть в кризисные времена, когда больше никто не может ничего сказать, находится роль для пророка. Обычное официальное — это то, что священники говорят в повседневной рутине, когда никаких проблем нет, то есть священники — это люди, которые решают религиозные публичные проблемы вне кризисных ситуаций. Но в условиях серьезного кризиса, этического или политического, который ставит под вопрос сами основания символического порядка, гарантируемого религией, пророк выступает тем, кому удастся восстановить официальное. В так называемых докапиталистических обществах, без государства и письма, где нет официальных гарантов официального, агентов с официальным мандатом на официальные заявления в сложные моменты, где нет чиновников, поскольку нет государства,

есть особые люди — поэты. Мулуд Маммери в одном из номеров «*Actes de la recherche en sciences sociales*» опубликовал превосходное исследование фигуры «амуснава» <amusnaw><sup>7</sup>, того, кто говорит, что надо делать, когда уже никто не знает, что и думать... Это люди, которые заново организуют группу сообразно ее собственному порядку, которые в трагических ситуациях, когда возникли определенные антиномии, говорят группе, что ей делать. Этих мудрецов можно было бы описать просто как советников, которые расставляют все вещи по полочкам. Но это неверно. В действительности они расставляют вещи, которые невозможно расставить в трагических ситуациях, когда оба антагониста правы. Противники заявляют о своей правоте, выступая от имени ценностей, которые группа не может не признать, таких как право на жизнь и право на автономию, — не признав их, она бы уничтожила себя в качестве группы. Когда эти ценности вступают в конфликт друг с другом, пророк-глашатай или же поэт оказываются людьми, которые могут примирить группу с ее собственным кредо, с ее официальной истиной.

### Теория и эффекты теории

Этот разбор я начал с понятия комиссии, чтобы показать вам, как на определенном уровне анализа самые тривиальные вещи обычного бюрократического порядка оказываются теми, которые мне труднее всего сделать предметом мысли, поскольку, если и есть нечто, представляющееся тривиальным, когда социологически ты определен в качестве интеллектуала, так это начать думать о том, что такое циркуляр, что такое комиссия; для этого действительно требуется особое усилие, ведь тебя готовили размышлять о бытии или *Dasein*, тогда как на самом деле сложны как раз такие вещи, то есть проблема государства так же сложна, как проблема бытия... Я упомянул об этом, чтобы вы поняли одну вещь, о которой я хотел бы вам рассказать, поняли то усилие,

---

7. Mammeri M., Bourdieu P. Dialogue sur la poésie orale en Kabylie // *Actes de la recherche en sciences sociales*. 1978. No. 23. P. 51–66.

которое нужно сделать, чтобы отказаться от дихотомии между теоретическими и эмпирическими положениями, если мы действительно хотим продвинуться в размышлении об этих проблемах, которые вызывают лишь к теоретической мысли, поскольку сами существуют как эффекты теории<sup>8</sup>. Государство — это в значительной части плод трудов теоретиков. Когда некоторые философы берутся за работы Ноде по государственному перевороту, Луазо по государству<sup>9</sup> или же работы всех этих юристов XVI или XVII веков, предложивших теории государства, они относятся к ним как своим коллегам, теории которых они обсуждают, забывая о том, что эти коллеги создали предмет, над которым они размышляют. Луазо или Ноде, все эти юристы, создали французское государство, и вместе с тем они произвели мышление того, кто о них думает. Существует определенная форма истории идей, довольно двусмысленная, и, если занимать точку зрения, которой я придерживаюсь, ее нельзя использовать без особых мер предосторожности. То же самое относится к юристам, утверждающим, что государство — это юридическая фикция. Они правы, и в то же время они не продумывают точным образом социальные условия, благодаря которым эта фикция оказывается не фиктивной, а действительной, чем как раз должен заниматься социолог. Собственно, в этом и состояла педагогическая цель этого эскурса касательно комиссий.

Повторю вкратце сказанное. То, что внешне представляется совершенно невинной вещью, например, то, что президент Валери Жискар д'Эстен созывает комиссию под председательством Раймона Барра, которая будет заниматься жилищными субсидиями и в конечном счете представит доклад с рекомендациями правительству (понятие рекомендации очень важно), говорящими о том, что надо внедрять политику помощи людям,

---

8. Об этом понятии см.: *Bourdieu P. Le point de vue scolastique // Raisons pratiques*. P. 219–236.

9. *Naudé G. Considérations politiques sur les coups d'État*. Paris, 1667 (rééd. Le Promeneur, 2004); *Loyseau C. Traité des ordres et simples dignités*. Châteaudun, 1610.

а не строительному сектору, — это, на самом деле, чрезвычайно сложная символическая операция официализации, состоящая в театрализации политического акта создания императивных правил, применяющихся к обществу в целом, то есть в театрализации производства порядка определенного типа, способного подтвердить и породить такой социальный порядок, чтобы он выглядел соответствующим официальной позиции данного общества, то есть универсальному, с которым обязаны соглашаться все агенты в целом. И эта театрализация должна быть успешной. Такая операция может добиться успеха, а может и провалиться. Условия успеха можно проанализировать социологически: операция будет успешной с тем большей вероятностью, чем больше театрализация официального будет проводиться так, чтобы действительно подкреплять официальные представления, на самом деле интериоризированные агентами благодаря начальному образованию XIX века, деятельности республиканского учителя начальных классов, благодаря всем вещам такого рода... В противном случае это будет просто благое пожелание. В силу этого вопрос о различии между государством и гражданским обществом полностью испаряется.

### Два смысла слова «государство»

В словарях два определения государства совмещены друг с другом: государство-1 в смысле бюрократического аппарата управления коллективными интересами и государство-2 в смысле территориальной юрисдикции, на которой действует власть этого аппарата. Когда говорят «французское государство», имеется в виду правительство, службы и ведомства, государственная бюрократия, но в то же время и Франция. Символическая операция официализации, вроде той, что выполняется в комиссии, является работой, в которой и благодаря которой государство-1 (в смысле правительства и т. д.) добивается того, что его начинают воспринимать в качестве выражения, проявления государства-2, то есть добивается того, что государство-2 признает государство-1 и соглашается с ним. Иными



словами, задача комиссии — произвести официальную точку зрения, которая вменяется в качестве легитимной; то есть заставить принять официальную версию, даже если будут смешки, статьи в «Le Canard enchaîné» о подноготной работе комиссии и т. д. Это как раз и означал представленный мной анализ отношения между продавцом домов формы «Phénix», не являющимся государственным чиновником, и клиентом. Продавец может занять позицию воплощения официального, заверенного определенным мандатом, и сказать: «С тремя детьми вы можете рассчитывать на это», и собеседник сразу же его понимает и соглашается с тем, что тот является носителем легитимного определения ситуации. А это не само собой разумеется. Очевидно то, что по такой проблеме, как жилье, существуют антагонистические точки зрения, конфликтные интересы значительного числа агентов — вспомните, к примеру, закон об арендной плате<sup>10</sup>. Ставки очень высоки, поэтому есть очень большое количество частных точек зрения, наделенных весьма неравными силами и участвующих в символической борьбе за конструирование социально-легитимного мировоззрения, которое будет навязано в качестве универсального.

Чтобы продолжить анализ противопоставления государства и гражданского общества, отсылающего к дуальной структуре, являющейся не более, чем переводом на понятийный уровень общепринятого словарного различия, можно было бы сказать, следуя спинозистскому подходу, что есть государство как порождающая природа и есть государство как природа порожденная. Государство как субъект, как порождающая природа — это, по словарю «Robert», «суверенная власть, действующая для всего народа в целом и на определенной территории, например, совокупность служб и ведомств в стране. Синонимы: государственные органы, управление, центральная власть». Второе определение:

---

10. Здесь Пьер Бурдьё ссылается на споры вокруг закона № 89-462 от 6 июля 1989 года о порядке съема квартир, так называемого закона Мерма, которым предполагалось зафиксировать верхнюю планку арендной оплаты, выплачиваемой сьемщиками.

«Группа людей, закрепленная на определенной территории, подчиненная определенной власти и рассматриваемая в качестве юридического лица. Синонимы: нация, страна, держава». Классический философский словарь Лаланда приводит два этих определения в следующем порядке: определение 1 — «Организованное общество, имеющее независимое управление и играющее роль юридического лица, отличного от других аналогичных обществ, с которыми оно находится в отношении». Иначе говоря, определение 2 стало определением 1. Определение 2: «Совокупность служб и ведомств определенной нации, правительство и система управления». В иерархии двух этих определений скрывается та философия государства, которая у всех у нас сидит в голове и которая, как мне кажется, скрывается за различием государства и государственной службы *<service public>*. Понимание государства как совокупности организованных определенным образом людей, выдающих мандат государству, — это уже неявно демократическое понимание гражданского общества, от которого государство в некоторых злосчастных обстоятельствах отделяется (о гражданском обществе заговаривают именно для того, чтобы сказать, что государство должно вспомнить о существовании гражданского общества). В соответствии с неявным принципом этой иерархии сначала существует организованное общество, имеющее независимое правление и т. д., и это общество находит выражение, проявляется, реализуется в правительстве, которому оно делегирует власть, позволяющую организовывать.

Это демократическое понимание совершенно неверно, и я хотел бы доказать, — и это подразумевалось тем, что я говорил на прошлой лекции, — что именно государство в смысле «совокупности служб и ведомств нации» создает государство в смысле «совокупности граждан с определенной границей». Здесь заметно бессознательное обращение порядка причин и следствий, типичное для логики фетишизма, фетишизация государства, которая заставляет думать, будто сначала появилось государство-нация, государство как организованное население, тогда как я хотел бы выдвинуть

другой тезис, который я намереваюсь проверить своего рода историей генезиса государства в двух или трех традициях и который заключается в другой идее: существовало определенное число социальных агентов, в том числе юристов, которые сыграли чрезвычайно важную роль, в частности роль держателей того капитала организационных ресурсов, которым выступало римское право. Эти агенты постепенно построили то, что мы называем государством, то есть совокупность особых ресурсов, позволяющих их держателям говорить, что хорошо для социального мира в целом, высказывать официальную позицию и произносить слова, которые на самом деле являются приказами, поскольку за ними стоит сила официального. Учреждение этой инстанции сопровождалось построением государства в смысле населения, заключенного в определенные границы. Иначе говоря, строя эту беспрецедентную организацию, эту необычную вещь, которой стало государство, создавая всю совокупность организационных ресурсов, одновременно материальных и символических, социальные агенты, отвечающие за эту работу, построили государство в смысле единого населения, говорящего на одном языке, населения, которое мы обычно наделяем ролью первопричины.

### Превращение частного в универсальное

Существует своего рода фетишизация, вписанная в логику комиссии, некая уловка (здесь я возвращаюсь к языку описания закулисного пространства, значительно упрощающему суть дела). Члены комиссии, те, с кем я столкнулся в данном случае, на самом деле являются частными агентами, носителями частных интересов с абсолютно неравными уровнями универсализации: застройщиками, которые хотят добиться определенных законов, благоприятных для продажи определенных продуктов, банкирами, высокопоставленными чиновниками, желающими защитить интересы своей корпорации или бюрократической традиции, и т. д. Эти частные интересы работают в такой логике, что им удастся совершить некий алхимический акт, который превратит

частное в универсальное. По сути, каждый раз, когда собирается комиссия, повторяется алхимический акт, продуктом которого является государство, но повторяется он за счет государственных ресурсов: чтобы стать председателем важной комиссии, нужно иметь государственные ресурсы, нужно быть осведомленным о том, что такое комиссия, о правилах поведения, которые на нее распространяются, законах набора членов, которые вообще нигде не прописаны, о неписаных законах, в соответствии с которыми выбирают докладчиков, играющих определяющую роль в составлении авторитетной речи, которая станет результатом работы комиссии, и т. д. Значительный капитал ресурсов, уже готовых к работе, используется в качестве перегонного куба алхимика теми, кто умеет с ним работать, и в результате воспроизводится универсальное. Бывают случаи, когда логика комиссии сама себя разоблачает, когда всё это шито белыми нитками («Этот господин такой-то, которого нам навязали, его никто не знает»). Сообщение комиссии может быть тут же похоронено. Бывают неудачи, однако неудача или успех реализует на деле одну и ту же логику официализации.

Чтобы подытожить сказанное мной по поводу понятия комиссии, я бы мог сказать, что комиссия (или инаугурационная церемония, церемония номинации) является типичным государственным актом, коллективным актом, который может быть выполнен лишь людьми, чье отношение к официальному признано в достаточной мере, чтобы иметь возможность использовать этот универсальный символический ресурс, состоящий в мобилизации того, с чем должна быть согласна вся группа в целом. То есть состоящий не в мобилизации консенсуса, а в мобилизации доксы и в преобразовании того, что неявно принимается за нечто самоочевидное, того, с чем в этом порядке согласны все члены социального порядка, то есть в мобилизации такого рода, что высказывания этой группы получают возможность действовать в качестве приказов и выполнять ту удивительную операцию, что состоит в превращении констатации в норму, в переходе от позитивного к нормативному.

В прошлом я долго занимался исследованием Канторовича о государстве как тайне<sup>11</sup>. Он воспроизвел игру слов английских канонистов XII века, которые играли на аналогии между «*ministerium*» <министерство> и «*mysterium*» <тайна>. Он говорил о «тайне министерства», В министерстве осуществляется делегирование. Взяв пример комиссии, я попытался описать эмпирическую форму тайны министерства<sup>12</sup>. Что происходит, когда Раймон Барр, являющийся обычным человеком, становясь председателем комиссии, таинственным образом оказывается предметом инвестиций государственного делегирования, то есть инвестиций социального мира в целом? Он предлагает определенные вещи, которые получают универсальное признание. Такая работа сложна, поскольку нужно удерживать вместе и Раймона Барра, и уровень теории...

[Перерыв в лекции]

### Obsequium

Я хотел бы снова начать с того, что сказал, чтобы исправить, дополнить и уточнить, как-то побороть собственные угрызения совести и раскаяние, но, несмотря на это, я попытаюсь продвинуться дальше. Попросту говоря, я бы хотел, чтобы вы запомнили аналогию, которую можно будет потом развить и которую я предложил без подробных объяснений, аналогию между работой официальной комиссии, производящей речи, авторитет которых основан на отсылке к официальному, и поведением кабийского крестьянина, который приводит свои дела в порядок, заключая брак по правилу, и который получает, таким образом, прибыль от официальной позиции,

---

11. *Kantorowicz E. H. Mystères de l'État. Un concept absolutiste et ses origines médiévales (bas Moyen Âge) // Mourir pour la patrie et autres textes / L. Mayali, A. Schütz (trad.). Paris, PUF, 1984 [1961]. P. 75–103.*

12. Развитие этой идеи см. в: *Бурдьё П. Делегирование и политический фетишизм // Начала. С. 231–256; Bourdieu P. Le mystère du ministère. Des volontés particulières à la "volonté générale" // Actes de la recherche en sciences sociales. 2001. No. 140. P. 7–11.*

то есть награду, которая, как мне кажется, причитается во всех обществах за действия, кажущиеся соответствующими тому, что общество стремится считать универсальным благом. Как раз для этой идеи у Спинозы имеется понятие, которое философы очень редко комментировали, понятие, которое меня всегда поражало, поскольку оно касалось личных вещей. Спиноза говорит о том, что он называет *obsequium*<sup>13</sup>, и это не уважение к людям, формам или личностям; это нечто весьма фундаментальное, уважение, которое через всё это обращается на государство или социальный порядок. Это те самые угодливые <obséquieux> акты, закрепляющие чистое уважение к символическому порядку, которыми социальные агенты того или иного общества, пусть даже взятые критики, анархисты или бунтовщики, чествуют установленный порядок, причем с тем большей вероятностью, что делают они это бессознательно. В качестве примера такого *obsequium* я всегда привожу формулы вежливости или правила поведения, которые внешне представляются малозначимыми, распространяются на пустяки, но их строгое соблюдение требуется тем больше, чем больше в них этой чистой, кантианской составляющей. Соблюдая их, мы отдаем дань уважения не человеку, которого мы, по всей видимости, уважаем, а социальному порядку, который делает этого человека уважаемым. Вот в чем заключается неявное и при этом предельно фундаментальное требование социального порядка. Это причина, по которой социологи, когда они

---

13. Об этом понятии см.: Спиноза Б. Политический трактат // Избранные произведения: в 2 т. М.: Государственное издательство политической литературы, 1957. С. 297–298 (где *obsequium* переводится как «повиновение»), а также: Бурдье П. Практический смысл. СПб.: Алетейя, М.: Институт экспериментальной социологии, 2001. С. 56, сноска 2, где есть ссылка на работу Александра Матерона: «Термин *obsequium*, используемый Спинозой, чтобы показать эту “постоянную волю”, вытекающую из предпосылок, по которым “государство нас формирует для собственного использования, получая возможность сохранять себя” (Matheron A. Individu et société chez Spinoza. — Paris: Minuit, 1969. P. 349), может дать представление о публичных свидетельствах признания, требуемых группой от своих членов».

хорошо делают свою работу, часто оказываются в затруднительном положении, ведь они всегда выводят нечто на чистую воду, а потому они кажутся разоблачителями тех вещей этого порядка, которые близки к сакральному — сакральному, которое проскальзывает в пустяках.

При назначении членов комиссии чрезвычайно важен выбор конкретных людей: выбрать нужно людей уважаемых, соблюдающих формы, знающих, как смягчить тон, как всё сделать по форме, уважающих правила, правило игры, умеющих играть в игру; умеющих также «привлекать право на свою сторону» *<mettre le droit de leur côté>* — это прекрасное выражение, не означающее «соблюдать право». Бюрократическая алхимия, работавшая десять веков, действует и сегодня, она воплощена в республиканской гвардии и в красном ковре, в словах (например, выражение «собрание на высшем уровне» означает, что есть высший уровень и низший), в готовых формулах, в незначительных жестах... На этой территории социологией заниматься чрезвычайно трудно, поскольку она должна подробно проанализировать те вещи, которые считаются неважными для сути дела, дела как нельзя более благородного, так что о нем нужно говорить весьма и весьма общие вещи (как, например, в книге Раймона Арона «Война и мир народов»<sup>14</sup>), величавые соображения общего толка. Это случай, в котором разрыв между теорией и эмпирической работой максимален. Отсюда и затруднения, которые я испытываю.

Также следовало бы глубже проанализировать то, что понимается под официальным: что такое официальная газета? Что в ней публикуют? Что означает публикация официальных объявлений о бракосочетаниях? Что такое официальная истина? Это не то же самое, что универсальная истина. На фронтонах мэрий можно увидеть слова «Свобода, равенство, братство» — это программа, тогда как реальность далека от юридической фикции. Это означает, что такая фикция работает, и всегда можно на нее сослаться, хотя бы для того, чтобы сказать, что

---

14. Aron R. Paix et guerre entre les nations. Paris: Calmann-Lévy, 1962.

между официальной позицией и реальностью есть зазор; один из инструментов критики — столкнуть режим с его официальной истиной, чтобы показать, что он не соответствует тому, что сам же и говорит.

Эта официальная истина не является универсальной и признаваемой всеми и в любой момент времени. Главное же, она не является неизменным принципом порождения всех действий всех агентов рассматриваемого общества, что не означает, что она не работает или не существует, раз она единодушно признана официальной, единодушно считается бесспорной. Она существует одновременно в структурах определенного типа — например, в социальных министерствах есть объективные принципы уравнивания, нацеленности на уравнивание, — но также и в головах, как представление о той вещи, о которой можно сколько угодно говорить, что ее нет, но все согласны, что лучше бы она была. Именно на этот небольшой рычаг фундаментального *obsequium* можно опереться, чтобы произвести эффекты официального, эффекты алхимии: «отдавая дань уважения официальному», как говорят англосаксы; в соответствии с логикой лицемерия, которая является данью уважения, отдаваемой пороком добродетели, производится гораздо больший эффект официального, чем можно было подумать. Я очень хотел бы проанализировать переговоры между работодателями и профсоюзами, в которых посредниками выступают чиновники; я уверен, поскольку видел кое-какие случаи, что эффекты *obsequium*, официального, выражений вроде «господин Президент» играют значительную роль, поскольку они действуют на официальное, записанное в головах. Например, система образования — это поразительный институт, заставляющий усваивать официальную позицию, институт, внедряющий механизмы, которые потом можно будет запустить и которые называют «гражданским сознанием».

Нужно оспорить различие между государством-1 как правительством, государственной службой, государственными властями и государством-2 как людьми, на которых распространяется действие этого государства, и заменить его различием в степени. Морис Хальбвакс



говорит об «очаге культурных ценностей», от которого люди удалены в большей или меньшей степени<sup>15</sup>, и точно так же можно было бы говорить об «очаге государственных ценностей», создав достаточно простой показатель линейной иерархии, заданной удаленностью от очага государственных ценностей, взяв за пример способность вмешиваться в вопросы, закрывать дела о нарушениях и т. д. Можно было бы создать агрегированный, более или менее строгий, индикатор близости различных социальных агентов к этому центру ресурсов государственного типа; также можно было бы создать индикатор близости в ментальных структурах. Это простое противопоставление государства и гражданского общества я хотел бы заменить представлением о некоем континууме, являющемся непрерывным распределением доступа к коллективным, публичным, материальным или символическим ресурсам, с которыми мы связываем это слово — «государство». Поскольку, как и все распределения во всех социальных универсумах, данное распределение является основанием и ставкой непрерывной борьбы, политические виды борьбы (большинства и оппозиции) оказываются наиболее типичной формой борьбы за то, чтобы перевернуть это распределение.

### Институты как «организованный фидуциар»

Так вот, все это достаточно просто и предварительно. Желая дать некую педагогическую выжимку из сказанного, я дам вам цитату из Валери, из его «Тетрадей», посвященных преподаванию. У него там встречается одна замечательная фраза, которая ценна тем, что ее можно представить в качестве мнемотехнического синопсиса, выражающего самую суть того, что я сказал. Поэтам повезло в том, что им не нужно строить последовательную аргументацию, их преимущество в том, что они всё могут сказать одной формулой. Та, что я процитирую, ка-

---

15. *Halbwachs M.* La Classe ouvrière et les niveaux de vie. Recherche sur la hiérarchie des besoins dans les sociétés industrielles contemporaines. Paris: Gordon & Breach, 1970 [1912]. P. I–XVII, 387–455.

жется мне более богатой и тонкой, чем тезис Вебера о монополии на насилие. Валери говорит о Наполеоне так: «Этот великий человек, по-настоящему великий, ведь у него было чувство институтов, организованного фидуциара, наделенного автоматизмом и независимого от людей, человек со столь выраженными личными качествами, что он попытался сократить роль личности, чья беспорядочность ему была знакома, сделал всё слишком быстро»<sup>16</sup>. Что такое институты? Это организованный фидуциар, организованное доверие, вера, коллективная фикция, признанная этой верой реальной и в силу этого факта становящаяся реальной. Очевидно, сказать о какой-то реалии, что она является коллективной фикцией, — значит в каком-то смысле сказать, что она вполне существует, но не так, как думают. Есть множество реалий, о которых социолог вынужден сказать, что они существуют не так, как считается, чтобы показать, что они существуют, но совершенно иначе, и именно поэтому люди всегда берут из моего анализа лишь половину и получается, что я говорю совершенно противоположное тому, что хотел сказать.

Институты — разновидность организованного фидуциара, наделенного автоматизмом. Как только фидуциар организован, он работает в качестве механизма. В работах социолога очень часто так и получается: является механизм, благодаря которому культурный капитал идет к культурному капиталу. Мы констатируем, что существует корреляция между профессией отца и сына, между их уровнем образования. О механизмах говорят, чтобы указать, что это регулярные, повторяющиеся, постоянные, автоматические процессы, которые реагируют на манер автоматизма. Такой фидуциар существует независимо от людей, которые заполняют рассматриваемые институты. Вебер специально подчеркивал то, что бюрократия появляется, когда мы имеем дело с людьми, отделенными от функции. В этом историческом генезисе, который я представляю в несколько ускоренном темпе, обнаруживается очень

---

16. *Valéry P. Cahiers*, t. II. Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1980 [1894–1914]. P. 1558–1559.

интересный период, когда продаваемость должностей [порождает] крайне двусмысленную ситуацию. Один английский историк показывает, что в Англии это разделение функционера и функции полностью осуществилось только в XIX веке, то есть чиновник занимал определенную должность с мыслью (вполне дозволиваемой) обогатиться за счет этой должности<sup>17</sup>. Такие механизмы не зависят от лиц. И парадокс в том, что Наполеон, человек со столь выраженными личными качествами, столь далекий от бюрократии (он, собственно, и выступает основным образцом харизматической личности) и столь экстраординарный, попытался уменьшить роль личности, чтобы она была упразднена в функции, в автоматизмах, в автономной логике бюрократической должности. В этом есть веберовский или кантовский момент: невозможно основать порядок на аффективных предрасположенностях личности, а нравственность или рациональную политику — на предрасположенностях, которые по существу своему остаются подвижными. Чтобы была какая-то регулярность, повторяемость, нужно создать автоматизмы, бюрократические функции.

### Генезис государства: сложности задачи

Когда я говорил о двух смыслах государства, я сказал, что, по моему мнению, государство как совокупность социальных агентов, объединенных и подчиненных одной и той же суверенной власти, является продуктом совокупности агентов, имеющих мандат на осуществление суверенной власти, а не наоборот. И я хотел бы попытаться подкрепить этот тезис, согласно которому именно создание бюрократических инстанций, автономных по отношению к семье, религии и экономике, является условием появления того, что называют национальным государством, в процессе, в котором эти

---

17. *Hilton R. H. Resistance to taxation and to other State imposition in medieval England // Genèse de l'État moderne. Prélèvement et redistribution / J.-P. Genet, M. Le Mené (dir.). Paris: Éd. du CNRS, 1987. P. 167–177.*

инстанции были постепенно созданы. Как была выстроена эта юридическая фикция, состоящая преимущественно в словах, в модусах организации и т. д.?

Определенное число агентов, создавших государство и создавших себя в качестве государственных агентов в процессе создания государства, должны были создать государство, чтобы стать обладателями государственной власти. Существуют люди, которые с самого начала были заинтересованы в государстве. Как взяться за описание этого генезиса? В данном случае я в каком-то смысле оказываюсь жертвой собственной образованности. Поскольку я знаю, что это немного безумная попытка, которая в истории предпринималась много раз, постоянно оборачиваясь поражением, моя задача кажется мне пугающей, и я долго колебался, прежде чем вам ее представить. Чтобы вы проявили снисхождение, я покажу вам, в какой мере она опасна, продемонстрировав, как те, кто ею уже занимались, потерпели, по моему мнению, неудачу. Я дам вам оружие против самого себя; но в то же время, показывая вам, насколько это сложно, я пробужу в вас намного больше снисхождения, чем если бы вы об этом не знали.

Как реконструировать историческую генеалогию того, что называют государством? Какому методу довериться? Обращаясь к так называемой сравнительной истории или сравнительной социологии, тотчас сталкиваешься с ужасными проблемами: есть ли нечто общее между военным государством Перу, государством ацтеков, египетским государством, китайским государством эпохи Хань и японским государством времен реформы Мэйдзи? Перед нами стоит чудовищная, безмерная, обескураживающая задача. Есть, однако, люди, которые ее не испугались. Я укажу вам на важные работы, в том числе для успокоения совести...

### Отступление об обучении социологическим исследованиям

Официальное определение моей роли, которую я здесь исполняю, позволяет мне и обязывает меня представлять плоды моего собственного интеллектуального

труда [...], быть оригинальным, выступать пророком, тогда как обычное определение преподавательской функции совсем иное: оно требует от преподавателя выступать уполномоченным Института и представлять заверенное знание, каноническое, пересказывать уже проведенные работы, а не личные и актуальные, то есть недостоверные. Эта двусмысленность особенно сильна, когда речь идет о такой дисциплине, как социология. В соответствии с положением рассматриваемой науки в иерархии официальности, то есть признанной универсальности, — в которой математика находится на самом верху, а социология внизу, — ситуацию, которую я пытаюсь описать, приобретает совершенно иной смысл. Предлагая вам некоторые составляющие для анализа, я даю вам составляющие для объективации того, что я делаю, но также для лучшего понимания испытываемых мной сложностей, чтобы вы могли их тоже прочувствовать. То, что я говорю, ставит под вопрос само положение научного дискурса о социальном мире. Если социологии столь трудно придать официальный характер, наделить ее универсальностью в рамках социального универсума, причина еще и в том, что у нее дьявольская претензия, очень похожая на претензию государства, а именно: построить истинную точку зрения на социальный мир, еще более истинную, чем официальная. Она конкурирует с официальным построением, которым занято государство, и даже если она говорит то же, что и государство, она говорит, что государство говорит официальную истину, и оказывается в силу этого факта в положении метасоциологии, что государством не предусматривается. Социолог совершает нечто аналогичное тому акту насилия, который совершает и государство, присваивая себе монополию на создание легитимного представления социального мира, то есть неявно лишая каждого из социальных агентов [их] претензии на формирование личного представления о государстве, претендуя на высказывание истины о социальном мире. О жилищном вопросе государство говорит: «вот истина» — и низводит частичные точки зрения до статуса частной, конфликтной, локальной заинтересованности.

В одном прекрасном тексте Дюркгейма социолог отождествляется с государством<sup>18</sup>. Он говорит, что, по сути, социолог делает то, что должно делать познание второго рода по Спинозе: он производит истину, извлеченную от лишения, связанного с частностью. Каждый агент производит частную истину (по Спинозе, заблуждение—это лишение), у социальных агентов есть частные истины, то есть заблуждения. Социолог, как говорил Дюркгейм, — это тот, кто способен занять ту точку, откуда видно, что частные истины — частные, а потому способен высказать истину частных истин, которая просто истина. Поступая так, социолог сближается с государством; и неслучайно то, что, согласно взгляду Дюркгейма, социолог самопроизвольно становится агентом государства: он — тот, кто ставит это лишенное частных особенностей знание на службу государству, функция которого — производить официальные истины, то есть точно так же лишенные частных особенностей.

### Государство и социолог

Как же социологу найти конкретные инструменты, позволяющие избежать релятивизации? Как ему произвести не поддающуюся релятивизации точку зрения на генезис точки зрения, которая претендует на не-релятивизацию? Может ли он построить научную теорию, претендующую на универсальное познание процесса, в котором создается инстанция, также претендующая на универсальную позицию и обычно определяющая легитимность той или иной претензии на высказывание универсального? Ведь государство создает еще и кафедры в «Коллеж де Франс»; государство распределяет степени притязаний... Проблема степени научности различных наук — социальных и естественных — [час-то] ставится очень наивно. И ее надо бы попытаться сформулировать в русле того, что я пытаюсь сказать.

Один из удобных способов подойти к проблеме государства — это дать определение государства в категориях функции, то есть определение, которое может быть

---

18. *Durkheim É. Leçons de sociologie.* Paris: PUF, 1990 [1922]. P. 79–141.

и марксистским. Другой удобный подход — сказать: «Будучи историком Средневековья, я утверждаю, что в XII веке войны сыграли огромную роль в создании государства, поскольку они заставили внедрить римское право и т. д.». Это все намерения, легитимность которых получает социальное признание. Тогда как социолог в силу социальных и исторических причин сталкивается с крайне сложной ситуацией: он относится к своей роли серьезно, он не может довольствоваться ни тем ни другим, то есть он не может предлагать большие, всеобщие, но при этом практически пустые определения вроде «функция государства состоит в воспроизводстве условий воспроизводства экономического капитала или прибыли», и точно так же он не может, не отрекаясь от своей собственной задачи, удовлетвориться констатацией частичных и ограниченных тезисов касательно государства. То есть он обречен совершать безумные в каком-то смысле попытки двух разных типов. Либо он может попытаться выстроить актуальные эмпирические предметы так, чтобы попытаться найти государство под своим аналитическим скальпелем, то есть выстроить исторически наблюдаемые предметы так, чтобы в частном случае можно было надеяться найти всеобщие механизмы, к которым привязан термин «государство», — таков, возможно, прием Гасфилда, который изучает особый, внешне совершенно невинный трюк, в котором, однако, разыгрывается нечто совершенно фундаментальное; примерно то же самое я, вероятно, попробовал сделать в исследовании комиссии Барра, о котором вам рассказывал. Либо он может заняться едва ли не безумным делом, которым пытались заниматься некоторые [мыслители], а именно создать общую теорию государства, основанную на сравнении большого числа исторических траекторий разных государств.

Как уже отмечали в связи с работами англичанина Перри Андерсона, франкофила и альтюссерянца, который занимался большой историей генезиса современного государства, опасность в том, что предложена будет лишь претенциозная переформулировка того, о чем уже говорят историки, основывающаяся на исто-

рических тезисах, подвергаемых вторичной обработке<sup>19</sup>. Также можно подвергнуть критике позицию крупного социолога Рейнхарда Бендикса<sup>20</sup>, наиболее радикально выразившего скепсис [по отношению] ко всем универсальным положениям о государстве, в частности всем законам о тенденциях вроде «закона Элиаса» о процессе цивилизации<sup>21</sup>, «закона Вебера» о процессе рационализации<sup>22</sup> и т. д. Он систематически критикует возможность сделать обобщения на основе исторической социологии, которая получила значительное развитие в США в 1970-х гг. Есть немалая группа молодых социологов, которые выступили против истеблишмента, настаивая на применении количественных методов; в основном они работают с настоящим, в чистой синхронии, используя статистические методы. Против этих социологов выступают другие молодые социологи, лидер которых — Теда Скочпол, написавшая книгу «Государство и социальные революции»<sup>23</sup>, книгу очень важную, поскольку она привлекла внимание к новым способам социологической работы.

Я обратился к проблеме положения социолога, поскольку хотел расстаться с ролью пророка и взять на себя роль социолога-священника, которая более спокойна для

---

19. Пьер Бурдьё, который в других лекциях этого курса еще вернется к работе П. Андерсона, ссылается здесь на полемику, в которой за несколько лет до этого участвовали сам Перри Андерсон и Эдвард Палмер Томпсон. См.: *Thompson E. P. The Poverty of Theory and Others Essays*. New York: Monthly Review Press, 1978; ответ Андерсона: *Anderson P. Socialism and pseudo-empiricism* // *New Left Review*. 1966. No. 35. P. 2–42; а также: *Anderson P. Arguments within English Marxism*. New York: Schocken Books, 1980.

20. *Bendix R. Max Weber. An intellectual portrait*. Berkeley: University of California Press, 1977 [1960].

21. *Элиас Н.* О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Т. 1, 2. М., СПб.: Университетская книга, 2001.

22. *Вебер М.* Избранное: протестантская этика и дух капитализма. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013; *Weber M. Histoire économique : esquisse d'une histoire universelle de l'économie et de la société* / C. Bouchindhomme (trad.). Paris, Gallimard, 1991 [1923].

23. *Skocpol T. States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of France, Russia, and China*. New York: Cambridge University Press, 1979.



уважаемого *auctor*'а, и чтобы у вас не было чувства, что я навязываю монополию на символическое насилие, которой меня наделили. И если государство узурпирует власть на построение социальной реальности, принадлежащую каждому гражданину, точно так же преподаватель наделен своего рода временной монополией, действующей два часа в неделю на протяжении нескольких недель, монополией на социальное построение реальности. Это сложная в психологическом отношении ситуация. Представляя книгу Гасфилда, я удовлетворяю собственные желания, но не хочу, чтобы у вас возникло впечатление, что вы слышали только Бурдые, даже если я здесь именно для этого. Книга Скочпол очень важна, поскольку в ней была продемонстрирована возможность проводить социологическую работу, опираясь на факты других типов, факты не количественные, построенные иначе. Вторая ее цель состояла в том, чтобы показать, что можно заниматься, говоря на профессиональном жаргоне, эмпирической макросоциологией. В США по этому вопросу идет большой спор. Противопоставление макросоциологии и микросоциологии, которое позаимствовано у экономики, — это фиктивное противопоставление, однако оно обладает немалой социальной силой, в головах и в самой реальности, которая, с моей точки зрения, является одной из наиболее серьезных помех научной работе. Обычно говорят: «Да, это, конечно, макросоциология, но это всё из области спекуляции, теории, это не опирается на эмпирическую базу...» Эти же исследователи показали, что можно заниматься макросоциологией, основанной на данных нового типа, тех, что предоставляет историческая традиция, когда к ней применяют сравнительную методiku. Ограничения этого течения обусловлены тем, что оно было порождено в каком-то смысле ложными проблемами, созданными социальными разделениями в американском научном поле, которые были превращены в психологические разделения и ложные проблемы. Но это не значит, что их работа не интересна.

С позиции Бендикса, нет смысла в создании общих законов о тенденциях, которые часто оказываются бессознательными проекциями исследователя, и пробле-

ма государства — одно из излюбленных мест таких «проекций», то есть одно из тех мест, где лучше всего видно, как определенные темы работают в качестве проективных тестов. Особенно хорошо это заметно в марксистской традиции. Это область, в которой крайне сложно создать критерии эмпирического подтверждения и где могут найти выражение наиболее устойчивые из наивных элементов социального бессознательного авторов. Бендикс ставит перед собой задачу прояснить расходящиеся ответы на схожие проблемы в различных исторических обстоятельствах, не жертвуя при этом смыслом конкретных исторических ситуаций. Он остается в американском контексте, и это вполне очевидно у таких структурно-функционалистов, как [Шмуэль Ной] Эйзенштадт, у них есть ощущение, что общества имеют дело со всеобщими проблемами, которые можно просто перечислить. Это типичный момент у Парсонса, с точки зрения которого существует ряд вопросов, которые встают перед всеми обществами, и задача сравнительной истории — перебрать ответы, которые различные общества в разные периоды времени давали на всеобщую проблему, сохраняя при этом контекст частных исторических ситуаций, то есть избегая рискованных обобщений<sup>24</sup>. В целом же проекты сравнительной истории критиковали за то, что в них совмещаются тезисы двух типов, лишенных всякого интереса: с одной стороны, совершенно пустые общие законы, то есть пустые и универсальные именно в силу своей пустоты макросоциологические законы (вроде «Везде есть властители и угнетенные»), законы, выступающие одной из пружин некоторых идеологических споров; а с другой стороны, тезисы, касающиеся единичных исторических случаев, так что между первой стороной и второй невозможно установить никаких связей. Большинству работ, о которых я буду вам рассказывать, ставят в упрек то, что эти законы о тенденциях они облачают в ссылки на частные исторические случаи.

---

24. См., в частности: *Parsons T. Sociétés. Essai sur leur évolution comparée* / G. Prunier (trad.). Paris: Dunod, 1973 [1966].

Их упрекают в том, что Холтон, крупный историк науки, называл «адхокизмом» <ad hoc-isme>, то есть в предложении объяснений в зависимости от того, что надо объяснить, в поиске объяснений *ad hoc*<sup>25</sup>, что в случае исторических сравнений сделать тем более соблазнительно и просто, что нам известно продолжение истории. В более ранней ситуации выделяется при этом то, что, скорее всего, было причиной последующей ситуации, нам известной. Указывая на эту опасность выведения причин из известных следствий, такие авторы, как Баррингтон Мур<sup>26</sup>, пытаются использовать сравнительный метод в качестве противоядия от желания вывести общий закон из частного случая. Например, он говорит, что, если знаешь американскую историю, появляется искушение сказать, что к гражданской войне приводит ситуация, в которой в стране есть две части: одна — основанная на крупной землевладельческой знати, опирающейся на рабский труд, и другая — опирающаяся на современную промышленную буржуазию, сила которой основана на свободном труде. Но достаточно вспомнить о Германии конца XIX века с ее юнкерами, власть которых опиралась на использование едва ли не рабского труда и которые противостояли буржуазии, чтобы понять, что в этом случае структура была другой. Против этого искушения «адхокизма» и объяснений задним числом сравнительная история — и это одно из ее достоинств — выдвигает свои контртезисы, заставляя действительно продумывать частный случай в качестве частного, что является одним из требований научного метода.

Другой важный аргумент, сформулированный этими исследователями, состоит в том, что каждая историческая последовательность уникальна. Когда хотят сравнить английское государство, японское и французское (что я попытаюсь сделать, насколько мне позволят мои знания), возникает искушение сказать, что, поскольку основатели этих трех государств были образо-

---

25. Holton G. L'Invention scientifique / P. Scheurer (trad.). Paris: PUF, 1982.

26. См. далее p. 136 sq.

ванными людьми, профессиональными служащими <clerics>, мы имеем дело с государственной бюрократией, капитал которой обусловлен ее культурной составляющей. Это возражение трудно обойти. Оно состоит в том, что, поскольку история является линейной, точка отправления задает в определенном смысле всю последовательность. Историки интуитивно понимают этот момент, и именно ради этого они отказываются от обобщений, выдвигаемых социологами, которых они упрекают в том, что те пользуются кропотливыми, серьезными, эрудированными работами историков, чтобы выдвинуть общие, но пустые положения. Историки могли бы воспользоваться этим аргументом, но я думаю, что он осложнит работу им самим. Вот почему они никогда его в явной форме не высказывали.

Чтобы вы поняли, о чем речь, использую одну аналогию. Существует аналогия между историей государства, в двух смыслах этого слова, и историей индивида. [Если речь о] генезисе габитуса, первые впечатления нельзя ставить на одну планку с последующими, поскольку они оказывают структурирующее воздействие, и именно на их основе мыслятся и выстраиваются все остальные впечатления и жизненный опыт, на их основе они осмысляются и узакониваются. Логикой прецедента пользуются в праве, но также и в политике. Быть заодно с официальной позицией, перетянуть на свою сторону право — часто это значит говорить примерно так: «Я делаю лишь то, что де Голль сделал в 1940 г...». Некоторые исторические развилки можно считать в определенной мере необратимыми. Точно так же можно считать, что в истории действует своего рода накопление, и в силу этого факта, если сравнить сегодня ментальные структуры французского преподавателя и английского, скорее всего, в них обнаружится вся история системы образования, а косвенно, через посредничество последней, и французского государства начиная с XII века. Вспомните о том, что Дюркгейм сделал в своей знаменитой книге «Эволюция педагогики во Франции»<sup>27</sup>: чтобы понять актуальную на тот момент

---

27. Durkheim É. L'Évolution pédagogique en France. Paris: PUF, 1969 [1938].

педагогическую систему, он был вынужден вернуться к XII веку, к иерархии факультетов. В «Homo academicus» я показал, что ментальные способности преподавателей различных факультетов структурированы в соответствии с разделением факультетов как институтов, причем само это разделение складывалось веками. Иначе говоря, принципы разделения и видения, связанные с различными дисциплинами, сами связаны с историей, в значительной мере обусловленной эмпирическими случайностями, историей института образования, которая, в свою очередь, связана с историей процесса государственствования.

Вот в целом аргумент, который я представил в качестве предварительного предостережения, прежде чем начать рассказывать вам о попытках трех этих авторов — Баррингтона Мура с его работой «Социальное происхождение диктатуры и демократии», Эйзенштадта («Политические системы империй») и Перри Андерсона, который написал по этой теме две книги: «Переходы от античности к феодализму» и «Родословную абсолютистского государства»<sup>28</sup> (посвященную генеалогии абсолютизма). Я попытаюсь изложить вам в общих чертах аргументы этих книг, представляющих собой большие полотна, имея перед собой две цели: с одной стороны, попробовать понять, что они, как инструмент, дают для определения исторического генезиса государства, а с другой — извлечь некоторые уроки из их ошибок, их методологических просчетов.

---

28. Мур-младший Б. Социальные истоки диктатуры и демократии. М.: Издательский дом ВШЭ, 2016; Eisenstadt S. N. The Political System of Empires. New York: Free Press of Glencoe, 1963; Андерсон П. Переходы от античности к феодализму. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2007; Андерсон П. Родословная абсолютистского государства. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2010.

## Лекция 1 февраля 1990 года

*Риторика официального. — Публичное и официальное. — Универсальный другой и цензура. — «Законодатель-художник». — Генезис публичного дискурса. — Публичный дискурс и оформление. — Общественное мнение.*

### Риторика официального

**Я** ХОТЕЛ бы несколько более систематично и углубленно вернуться к тому, что наметил в прошлый раз. То, что я собираюсь вам предложить, можно было бы озаглавить так: «Риторика официального». Я хотел бы попытаться собрать — в форме если не систематической, то по возможности связной — все те мысли, которые я излагал перед вами на протяжении нескольких лет, начав с права и перейдя к анализу благочестивого юридического лицемерия, а затем к анализу незаинтересованности и т. д. И в последний раз я пришел к ряду идей, которые должны были показаться вам несколько бессвязными, да, собственно, такими они и были, и объективно, и субъективно. Я хотел бы вернуться к этому анализу официального, намеченному мной в прошлый раз, когда я говорил о понятии комиссии, идее мандата, поскольку комиссия самим своим существованием указывает на проблему тех, кто назначает ее членов. В своем исходном, то есть английском, узусе слово *commission* означает «мандат», иметь комиссию — значит получить задание сделать что-то. Вопрос, следовательно, в том, кто назначает членов комиссии. От кого они получают мандат? Не входит ли в их обязанности театрализация самого происхождения мандата, заставляющая поверить в существование такого мандата, который не является самопровозглашенным? Одна из проблем членов комиссий, и не важно, что это за комиссии, в том, что надо убедить себя и других, что они говорят не исключительно за себя, но от имени высшей инстанции, которую нужно определить и создать. Сегодня я хотел бы поставить перед

вами следующий вопрос: чьим рупором выступает обладатель мандата? Если речь о комиссии, которая должна реформировать жилищные субсидии, мы скажем: эта комиссия получила мандат от государства, и на нем завершается регрессия мандатов. По сути, вся эта работа, которую я выполняю перед вами, состоит в том, чтобы вернуться к тому, что скрывается за государством. Что представляет собой реальность, от имени которой несут службу те, кто говорят *ex officio*\*? Что это за реалия, от имени которой те, у кого есть *officium*, говорят от имени государства? То есть что это за реалия, которую те, кто говорят *ex officio*, то есть официально, создают самим фактом своей речи или же должны создать, чтобы их речь стала официальной?

Можно было бы подумать, что я играю словами, но я могу оправдать этот подход тем, что существует одно исследование языка, имеющее основополагающий характер, поскольку язык в нем представляется носителем определенной социальной философии, которую надо выявить. В качестве примера, оправдывающего подобный подход, я всегда привожу замечательную работу Бенвениста «Словарь индоевропейских социальных терминов»<sup>1</sup>, в котором он путем анализа исходных форм индоевропейских языков выводит политическую философию языка, в них вписанную. Я думаю, что, с одной стороны, Бенвенист, как лингвист, создал эксплицитную теорию перформатива, но с другой — он представил важное размышление о неявной философии дискурса власти, содержащейся в индоевропейском юридическом языке. Я думаю, что теория, выведенная им из неявного содержания индоевропейского словаря, намного сильнее и интереснее той теории, которую он вывел в качестве профессионального лингвиста (впрочем, весьма компетентного и опирающегося на большую лингвистическую традицию, идущую от

---

\* *Ex officio* (лат.) — «по должности», «по долгу службы»; *officium* — «должность», «служба». — *Примеч. пер.*

1. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М.: Прогресс-Универс, 1995.

Остина<sup>2</sup>). Я думаю, что эта работа не имеет ничего общего с традиционными философскими играми со словами в стиле Алена или Хайдеггера, которые ограничивались исключительно игрой слов, и я думаю также, что и моя работа по своему типу отличается от такой игры.

Итак, я попытаюсь поразмышлять об этих социальных агентах, которые говорят от имени социального в целом и которых Макс Вебер где-то называет «этическими пророками» или «юридическими пророками»<sup>3</sup>, то есть об основателях дискурса, который должен быть единодушно признан в качестве единодушного выражения единодушной группы. К числу этих юридических пророков относится и кабийский мудрец, амуснав — он берет слово в сложных ситуациях. Часто это поэт, который высказывается на языке, который мы бы назвали поэтическим. У него есть неявный или явный мандат, позволяющий сказать группе то, что она думает, причем в тех трудных ситуациях, когда группа уже не знает, о чем и думать; он тот, кто продолжает думать, когда группа не знает, о чем ей думать. Работа поэта, то есть человека крайних, конфликтных, трагических ситуаций, когда все в равной степени правы и не правы, — примирить группу с ее официальным образом, особенно когда группа вынуждена пойти против своего собственного официального образа. В случае этической антиномии, этических конфликтов, касающихся предельных ценностей, мудрец, поэт ссылается на авторитеты, и один из используемых им риторических приемов, в точности соответствующий тому, что делают политики, — это прозопопея, риторическая фигура, когда говорят от лица чего-то отсутствующего, от имени чего-то — это может быть человек, предки, родословная, народ, общественное мнение. Так, можно говорить

---

2. *Остин Дж.* Как совершать действия при помощи слов // Избранное. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999.

3. П. Бурдьё ссылается здесь на тексты, опубликованные Максом Вебером в 1920–1921 гг. (*Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie*). См.: *Вебер М.* Социология религии (типы религиозных сообществ). § 4 «Пророк» // Избранное. Образ общества. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. С. 118–129.



от имени общности, которую создают тем фактом, что от ее имени говорят. Прозопопея может быть институционализирована, когда у глашатая есть мандат на то, чтобы вести эту трансперсональную речь. Например, де Голль говорил «Франция» вместо того, чтобы сказать: «я думаю...». Если кто-то примет себя за де Голля и скажет «Франция думает» вместо того, чтобы сказать «я думаю», его, конечно, сочтут сумасшедшим, тогда как тот, кто говорит *ex officio* от имени Франции, считается нормальным, даже если иногда такие обороты признаются избыточными. Этические пророки интересны потому, что они выводят на поверхность то, что считается самоочевидным в случае рутинного и легитимного официального представителя. Президент Республики постоянно говорит как юридическое лицо, воплощающее в себе коллектив, примиренный с самим собой. Иногда бывает так, что он говорит «Я президент всех французов», но в обычном случае ему это говорить не нужно. Когда он принимает поздравления от конституционных органов, их получает не он, а Франция; в таком случае даже оппозиция признает трансцендентность этого биологического индивида, в действительности являющегося юридическим лицом.

Зачем возвращаться к исходным ситуациям, ситуации кабийского амуснава, юридического творца, ситуации начал государства или же канонистов XII века, которые изобрели современное государство, ко всем этим вещам, которые в нашем сознании стали очевидными и банальными? Причина в том, что в этих обстоятельствах встает вопрос «кто говорит?», «о чем он говорит?», «от имени кого он говорит?», а вместе с ними намного более явственной становится вся та риторика, что присутствует и в поздравлениях конституционных органов: выполняемые ею функции заявляют о себе и становятся видимы. Одно из достоинств начал — к примеру, Леви-Стросс в «Печальных тропиках» говорит о том, что «величие первых шагов несомненно»<sup>4</sup>, — в том, что они представляют теоретический ин-

---

4. Леви-Стросс К. Печальные тропики. М.: Аст, Львов: Инициатива, 1999. С. 535.

терес, поскольку то, что станет самоочевидным, то есть сойдет на нет в невидимости самоочевидного, на этих первых этапах еще осознается и замечается — порой как подлинная драма. Амуснав, или же этический пророк, — это тот, кто, согласно стихотворению Малларме, ставшему расхожей цитатой, а потому полностью выхолащенному, «наделяет более чистым смыслом слова племени»\*, то есть тот, кто будет говорить с племенем, используя слова, которыми племя обычно выражает свои высочайшие ценности, но проводя с этими словами поэтическую работу. Эта работа с формой необходима для того, чтобы слова обрели свой изначальный смысл — и зачастую роль амуснава в том, чтобы вернуться к истокам, к чистоте, противопоставляемым рутине и разложению, — или [чтобы] высвободить незамеченный смысл, скрытый повседневным употреблением, который позволяет помыслить необычную ситуацию. Например, при изучении великих досократиков, таких как Эмпедокл, — я имею здесь в виду работы Жана Боллака<sup>5</sup> — а также [у] поэтов устных обществ мы часто замечаем то, что поэты — это люди, которые изобретают, но в определенных рамках: они берут какую-нибудь известную пословицу и чуть-чуть ее меняют, что приводит к решительному изменению смысла, так что в итоге они [получают] выгоду от соответствия официальному, но вместе с тем и [выгоду] от нарушения. Есть один известный случай, упоминаемый Боллаком, со стихом Гомера, в котором встречается слово *phos*, обычно обозначающее «свет», но во вторичном, очень редком значении означающее «человека». То есть цитируется обычный стих, который все слышали в его обычной форме, но он немного меняется — это может быть небольшое отличие в ударении или произношении — и обычное, рутинизированное, совершенно затертое выражение вдруг становится необычным, возрождается, но при этом обычный смысл тоже сохраняется. Здесь мы на уровне формы видим точный эквивалент

---

\* «Donne un sens plus pur aux mots de la tribu» — фраза из «Le tombeau d'Edgar Poe» С. Малларме. — *Примеч. пер.*

5. Bollack J. Empédocle. Paris: Minuit, 1965–1969.

того, что требуется на уровне функции, а именно нарушение, совершающееся по правилам, нарушение по форме. Для этого нужно быть хозяином языка. Такими хозяевами языка являются юристы.

Я не хочу двигаться слишком быстро, поскольку потом буду упрекать себя в том, что всё смешал в одну кучу, — мне кажется, что в голове у меня всё это более четко расставлено по полочкам, чем в речи, — но я хочу прийти к одной важной вещи, к замечанию Канторовича в одном превосходном тексте из сборника «Pro patria mori», который совсем недавно был опубликован по-французски. Канторович сближает законодателя с поэтом<sup>6</sup>, но ничего особенного из этого не выводит. С историей он делает примерно то же, что Бенвенист сделал с языком: он обнаруживает глубокую философскую истину юридического акта, но не раскрывает ее в полной мере. Я думаю, что для полного понимания того, что говорит нам Канторович, нужно провести эту довольно медленную работу по проработке неявного содержания понятия официального. Я возвращаюсь к этому, чтобы не слишком быстро перепрыгивать от одной темы к другой.

Пророк ловит группу в ее собственную ловушку. Он — тот, кто взывает к коллективному идеалу, говорит группе лучшее из того, что группа думает о себе, то есть он, по сути, высказывает коллективную мораль. Это отсылает к понятию благочестивого лицемерия высших юридических инстанций государства, Государственного совета. Логика благочестивого лицемерия состоит в том, что людей ловят на слове, на возвышенных выражениях: обладатели этического мандата действуют в качестве лиц, которым группа делегирует высказывание долженствования, которое группа обязана признать, поскольку она признает себя в этой официальной истине. Кабильский амуснав — тот, кто в наибольшей степени воплощает в себе ценности чести, то есть официальные ценности. Высмеивая буржуазный идеализм, Маркс в «Критике гегелевской философии права» [1843] гово-

---

6. *Kantorowicz E.* La souveraineté de l'artiste. Notes sur quelques maximes juridiques et les théories de l'art à la Renaissance // Mourir pour la patrie et autres textes. P. 31–57.

рит о «спиритуалистическом *point d'honneur* [вопросе чести]», а вопрос чести в обычном случае как раз и заставляет признать официальное: эта предрасположенность к признанию того, что следует признать, когда ты перед другими, лицом к лицу с другими. Человек чести — тот, кто стоит лицом к лицу с другими. Следовательно, «потерять лицо» — это очень важное в этой логике понятие, отсюда встречающаяся во многих культурах логика «перед» и «за», того, «что показывают, когда стоят лицом к лицу», и того, «что скрывают». Как воплощение чести, амуснав — тот, кто должен напомнить о необходимости ценностей чести и о том, что в некоторых трагических ситуациях их можно обойти, но именно во имя чести, — я имею здесь в виду мой диалог с Маммери, опубликованный в «*Actes de la recherche en sciences sociales*»<sup>7</sup>; он позволяет группе преступить свои собственные официальные идеалы, не отрицая их и не уничижая, спасая главное в них, *obsequium*, то есть признание предельных ценностей. Он требует от группы, чтобы она привела свои дела в порядок, спасла правило даже в случае его нарушения. Здесь можно найти одно из оснований понятия легитимности. Обычно легитимность путают с легальностью. Вебер подчеркивает то, что вор признает легитимность, когда, чтобы украсть, специально прячется. В этом снова обнаруживается противоположность публичного и частного: в скрытом нарушении присутствует признание публичных ценностей. Это, по сути, самая главная идея.

То есть официальное — это публичное, это идея группы, которая есть у самой этой группы, идея, которую она желает провозгласить о самой себе, представление (в смысле психического образа, но также театрального представления), которое она намеревается создать о самой себе, когда представляется в качестве группы. Можно было бы сказать «перед другими группами», но это не обязательно: перед самой собой как группой. И здесь нужно было бы учесть все зеркальные эффекты. Иначе говоря, это идея группы, которую последняя

---

7. Mammeri M., Bourdieu P. Dialogue sur la poésie orale en Kabylie. 1978. No. 23.

намеревается внушить в публичном представлении, — здесь мы видим связь между официальным и театром, театрализацией, поскольку официальное оказывается видимым, публичным, театральным (*theatrum* — это то, что видно, то, что являет себя в качестве зрелища). Следовательно, это идея группы, которую группа желает иметь о самой себе и предъявлять ее как себе, так и другой группе. Все это похоже на метафизическую спекуляцию, но вы поймете, что следовало бы провести анализ зеркала и роли зеркального спектакля как реализации официального.

### Публичное и официальное

Здесь стоило бы углубить противопоставление публичного и частного. У слова «публичное» много значений. Я столкнулся с этой темой, когда комментировал один текст д'Агессо<sup>8</sup>, одного из великих основателей современного юридического и государственного порядка во Франции, в котором он играл с тремя или четырьмя разными значениями слова «публичное», совершенно не отдавая себе в этом отчета. В целях моего рассуждения я выделю из них два значения. Публичное — это в первую очередь то, что противопоставляется частному, единичному, *idios* греков, тому, что единично в смысле «идиота», «лишенного общего смысла», «специального», «партикулярного», «персонального»; то есть противопоставляющееся частному мнению, мнению единичному. Частное — то, что не зависит от коллектива, а публичные действия в этом первом смысле связываются с агентами, которые говорят за кого-то другого, это действия или мысли, приписываемые представительным представителям группы, коллектива, то есть так называемым официальным лицам, которые действуют официально. Например, когда какое-то официальное лицо желает отметить, что оно больше не является официальным, оно говорит: «Я сделал это в качестве частного лица», или, по-английски, «*in a private capacity*». В таком случае приостанавливается действие этого качества, являющегося ключом ко всем актам офици-

---

8. d'Aguesseau H.-F. Œuvres, t. I. Paris, 1759. P. 1–12, цитируется в: Bourdieu P. La Noblesse d'État. P. 545–547.

альной персоны, а именно то, что она всегда действует не сама по себе. Так что, когда она желает действовать от собственного лица, она вынуждена на время аннулировать такое качество. Следовало бы подумать о политическом скандале, но я не хочу слишком уходить в сторону, сбивая вас с толку; драматическая сторона политического скандала обусловлена тем, что он играет на этом качестве официального лица, которое должно действовать официально, а когда оно публично разоблачается или является публике в качестве того, кто в частном порядке присвоил эту публичную персону, это уже случай олигархии, кумовства, разных способов использования коллективного символического капитала в интересах частного лица. Очевидно, что императив, требующий не смешивать публичное с частным, официальное с неофициальным, публичное со скрытым или тайным, имеет наибольшее значение именно для общественных деятелей. Казенный язык — это должностной атрибут; он выступает тем, что позволяет общественным деятелям отвечать на вопросы о частном: можно ли откровенничать на публике?

Итак, публичное противопоставляется частному, единичному. Во-вторых, оно противопоставляется скрытому, невидимому. Говорить на публике, делать нечто публичное — значит делать открыто, у всех на виду, если не демонстративно, ничего не скрывая, не за кулисами. Здесь опять же уместна аналогия с театром: публичен тот, кто на сцене. Отсюда важная связь между публичным, официальным и театральностью: частные акты невидимы, это акты за кулисами, в подсобке; тогда как публичное осуществляется на виду у всех, перед универсальной аудиторией, которую нельзя отсортировать и перед которой нельзя произнести реплику в сторону: «Я тебе по секрету скажу так...», поскольку это тут же все услышат. Откровенничать перед миллионами — это все равно что по радио или телевидению. Нельзя отсортировать аудиторию: из-за этой универсальной аудитории официальные высказывания становятся широкоэмитальными, обращенными на всех, на каждого и ни на кого конкретно. Я думаю, что тревога, порождаемая театральными ситуациями (страх сцены),

определяется этим столкновением с универсальной публикой, которой, по сути, нельзя сказать ничего скрытого, ничего постыдного. И очевидно, что никогда нельзя быть уверенным в том, что не скажешь того, что нельзя говорить на публике, отсюда эта постоянная опасность оговориться, дать маху, нарушить какие-то правила приличия, совершить промах в стиле Достоевского. Люди, которые читают публичные лекции, испытывают страх сцены. Невозможно исключить свидетелей, и, по сути, официальная ситуация — это изнанка ситуации человека-невидимки.

Мысленный эксперимент, как говорят немцы, важен в качестве инструмента понимания и познания, позволяющего разбить «само собой разумеющееся», очевидности. Есть один удивительный мысленный эксперимент по проблеме, которой я занимаюсь, — миф о кольце Гига в «Государстве» Платона, который повествует об одном пастухе, который случайно находит кольцо, надевает его на палец, поворачивает камень и становится невидимым, после чего соблазняет царицу и становится царем. Философия этого мифа поднимает вопрос о частной морали. Может ли существовать непубличная мораль, которая не была бы подчинена публичности, реальной или потенциальной публикации, то есть публичному раскрытию, разоблачению, выведению скрытого на чистую воду? Кольцо Гига относится к нравственности так же, как злокозненный гений к теории познания. Официальное объявление было бы для нравственности тем же, чем злокозненный гений является для познания<sup>9</sup>... То есть может ли человек-невидимка, укрытый от публичного представления, от становления публичным, от разоблачения перед всеми, перед этим трибуналом общественного мнения, создать возможность для нравственности? Иначе говоря, нет ли существенной связи между видимостью

---

9. Ссылка на последний момент «гиперболического сомнения», когда Декарт воображает некую высшую силу, которая может ввести его в заблуждение, распространяющееся на истины, считающиеся наиболее рациональными, например истины математики.

и нравственностью? Здесь мы также встречаем проблему той особенно взыскательной морали, которую должны блюсти люди, ремесло которых состоит в том, чтобы являть собой воплощение нравственности и официальной позиции группы<sup>10</sup>. Возникает ощущение, что политический деятель, который нарушает ценности незаинтересованности, предает своего рода молчаливый договор, договор официального: я официален, следовательно, я должен соответствовать официальному. То есть в политическом делегировании присутствует некий молчаливый договор, который выступает причиной для ощущения скандала, вызываемого обнаружением частной заинтересованности — аппаратных, партийных, идеологических интересов, замаскированных универсальными клятвами, конститутивными для самой этой роли. Если политические деятели клянутся в незаинтересованности, это не значит, что они в нее верят, просто она составляет основу их роли, основу официальности: иначе они просто не могут, поскольку это основа получения мандата.

Если различие между частным и публичным таково, если частное — это единичное и в то же время скрытое или способное скрываться, тогда эффект официального обязательно включает в себя универсализацию, морализацию, и здесь можно было бы вернуться ко всем тем исследованиям, которые провел Гофман, когда занимался самопрезентацией и поведением социальных агентов на публике<sup>11</sup>. Я хотел бы упомянуть, в последний раз, превосходный пример, который приводит Гофман, пример официантов ресторана, которые, когда они проходят через распашную дверь, тут же меняют позу, поправляют одежду, выпрямляются, поправляют полотенце на руке. Как говорится, «это просто другой человек», они меняются так, что это изменение соответствует границе между публичным и частным, это выход на сцену. Это все малозначительные вещи, но их принципом является

---

10. *Bourdieu P.* Un fondement paradoxal de la morale // *Raisons pratiques*. P. 235–240.

11. *Goffman E.* La Mise en scène de la vie quotidienne, t. I: La Présentation de soi. Paris, 1974 [1967].



корректность, которой требует публичная самопрезентация. Здесь нужно было бы провести большое исследование откровенности, исповеди и официального или публичного дискурса. Есть посвященные откровенным признаниям журналы, чаще всего женские: откровенность — это в обычном случае частный язык для частного лица, для интимного и скорее женского (разделение труда между полами тесно связано с противоположностью публичного и частного). Женщины находятся на стороне интимного, частного, исповеди, они — те, кто имеют право на откровенность. И сама откровенность оказывается на стороне частного, противопоставляясь официальному дискурсу, то есть актам, совершаемым от имени группы и на виду у группы. У нас, на самом деле, есть слово, обозначающее того, кто делает откровенные признания на публике, — «экспозиционист». Он публично показывает то, что надо скрывать. Скандал с «Исповедью» Руссо обусловлен тем, что такая роль еще не была создана, отсюда ощущение нарушения правил. (Сегодня же право на нарциссизм является профессиональным качеством любого художника: на радио «France Culture» мы слушаем легитимные нарциссические исповеди; если кто-то не рассказывает о своих маме и папе, значит он плохой писатель...).

Это противопоставление откровенности и официального дискурса связано со всем комплексом оппозиций, которые обнаруживаются в глубине ментальных структур большинства обществ, в частности кабилеского общества, — с оппозициями внутреннего и внешнего; частного и публичного; дома (женского) и публичного места (мужского), ассамблеи, агоры; женского и мужского; биологического, естественного, привязанного к дому (где делают детей, готовят пищу и т. п.), и культуры; отсюда же понятие о встрече лицом к лицу, о том, как держать себя перед кем-то, сохраняя определенную позу — есть прекрасная статья Гоффмана о выправке, «умении себя держать»<sup>12</sup>; с важной оппозицией переда

---

12. *Goffman E.* The interaction order // *American Sociological Review.* 1983. Vol. 48. P. 1–17; см. также: *Goffman E.* Les Rites d'interaction / A. Kihm (trad.). Paris: Minuit, 1974 [1967].

и зада, которая выступает основанием наших глубочайших представлений о разделении полов и гомосексуальности; с разделением экономики и чести, которые составляют еще одну очень важную оппозицию, поскольку благодаря ней мы снова выходим на отождествление официального с незаинтересованностью<sup>13</sup>. Случай Кабилии интересен, поскольку там всё говорится более открыто: собственно экономическое, как мы его понимаем, то есть договоры, соблюдение сроков и т. д., практикуется только между женщинами. Человек чести не скажет: «я одолжу тебе быка до осени», он скажет: «я одолжу тебе быка», тогда как женщины считаются занятыми [экономами], разумеется, на взгляд мужчин, которые разделяют официальную кабийскую философию, согласно которой хорошая сторона — это всегда сторона публичная и мужская, тогда как другая сторона — ничтожная и постыдная. Маскулинный взгляд на женскую экономику, то есть нашу экономику, видит в ней нечто неприятное: экономика, получается, подходит женщинам, которые называют вещи своими именами. Женщина скажет: «Я одолжу тебе, но ты мне отдашь», тогда как человек чести скажет: «Я одолжу тебе, но знаю, что ты человек чести, и я уверен, что ты мне отдашь». То есть об этом даже не говорят. Вы можете подумать, что это очень архаичные вещи, но, поразмыслив, вы поймете, что в нашем обществе (вспомните о разделении труда между полами в вашем домашнем хозяйстве), в стеснительных ситуациях мужчина заставляет свою жену говорить то, что сам он сказать не может; он скромно напоминает своим друзьям о сроке платежа: «Жена что-то нервничает...».

*[Перерыв в лекции]*

Женщины находятся на стороне договорной экономики, экономики, которая не отрицается; мужчины, конечно, тоже занимаются экономикой, например дарами, но она у них подвергается отрицанию в смысле Фрейда: я совершаю обмены так, словно бы я их не

---

13. См.: Бурдые П. Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001. С. 94–95.

совершал. Обмен дарами — это взаимовыгодный обмен, но замаскированный и представляющийся щедростью; взаимовыгодность относится к обмену дарами так же, как реальная экономика к идеальной и официальной экономике. Я думаю, что одно из универсальных качеств всех обществ заключается в том, что экономическая экономика никогда на самом деле не признается; даже сегодня самые откровенные из капиталистов всегда имеют какую-нибудь коллекцию картин (я упрощаю, но я мог бы и развить этот момент) или же создают фонд, выступают в роли меценатов... Исторически обществам (смешно так говорить, но это чтобы не останавливаться) сложно было признаться себе в том, что у них есть экономика, поскольку она относится к постыдным вещам. Открытие экономики как экономики далось трудно. «В бизнесе не место чувствам», «Бизнес — это бизнес»: все эти трюизмы были исключительно сложными открытиями, поскольку они шли вразрез с официальным образом незаинтересованности, щедрости, бесплатности, то есть с тем образом, который желали поддерживать эти общества, а в самих этих обществах поддержкой такого образа были озабочены властвующие, то есть мужчины. Можно увидеть, как внутри этого универсума оппозиций прорисовывается связь между официальным и незаинтересованным. То, что я в прошлом году говорил о незаинтересованности, теперь можно логично включить в анализ, которым я ныне занимаюсь<sup>14</sup>.

Эта цепочка оппозиций задает одно фундаментальное противопоставление — частного универсума, универсума влечений, природы, попустительства и универсума публичного, выдержки, выправки, нравственности и аскезы. В «Элементарных формах религиозной жизни» у Дюркгейма есть удивительный пассаж — и его уж точно нельзя заподозрить ни в наивном универсализме, ни в наивно-релятивистской позиции, — где он говорит, что, если и есть нечто универсальное, так это то, что культу-

---

14. См. об этом: *Bourdieu P. Un acte désintéressé est-il possible?* Р. 147–173.

ра всегда связана с идеей аскезы<sup>15</sup>. Поскольку Дюркгейм был профессором Третьей Республики, носил бородку и стремился следовать светской морали, можно подумывать, что это просто старческое морализаторство. Но я думаю, что он прав. Эта оппозиция природы и культуры, попустительства и выдержки — это, по сути, фрейдовская оппозиция Оно и Сверх-Я; в действительности в публике, являющейся своего рода анонимным персонажем, нельзя произвести выборку, поставить галочку и отделить тех, кто имеет право слушать, от тех, кто такого права не имеет, то есть это универсальная публика, перед которой куча вещей подвергается цензуре. В XIX веке говорили: «Такое не говорят в присутствии дам и детей». Официальное исключает скабрёзные шутки поручика, то есть шутки, предназначенные строго ограниченному корпусу мужчин, например, военных, освобожденных от наивной этической цензуры. За оппозицией Оно и Сверх-Я можно признать всю ее силу, то есть обосновать теорию Фрейда о Сверх-Я и цензуре. Очевидно, официальное — это цензура, и именно к этому я хотел прийти<sup>16</sup>.

### Универсальный другой и цензура

Цензура — это то, что навязывается извне (посредством санкций) и одновременно интериоризируется в форме Сверх-Я. У Джорджа Герберта Мида, американского психосоциолога и важного мыслителя, есть известное выражение — «обобщенный другой»<sup>17</sup>. В некоторых ситуациях мы имеем дело с обобщенным, универсальным другим. Это я и собираюсь теперь разобрать.

---

15. «Существует аскетизм, который, будучи присущим всякой общественной жизни, переживает любые мифологии и догмы; он составляет неотъемлемую часть всякой человеческой культуры. По сути, именно он является основанием и оправданием того, чему во все времена учили религии». См.: Durkheim É. *Les Formes élémentaires de la vie religieuse*. P. 452.

16. Bourdieu P. *Censure et mise en forme // Ce que parler veut dire*. P. 167–205, переиздано в: Idem. *Langage et pouvoir symbolique*. P. 343–377.

17. Mead G. H. *L'Esprit, le soi et la société*. Paris, 1963 [1934].

Цензура этического типа, избежать которой позволяет невидимость Гига, — это не только боязнь жандарма, это нечто намного более глубокое, нечто вроде универсального глаза, образованного универсумом всех социальных агентов, выносящих о некоем акте суждение, вытекающее из признания наиболее универсальных ценностей, в которых группа признает саму себя. Страх публичных выступлений, например на телевидении, связан со столкновением не с универсальным другим, а неким универсальным *alter ego*, то есть обобщенным Сверх-Я, образованным совокупностью людей, признающих одни и те же универсальные ценности, то есть те, что невозможно отрицать, не подвергнув отрицанию самого себя, поскольку с универсальным отождествляешься, утверждая себя в качестве члена этого сообщества, признающего универсальное, члена сообщества настоящих людей. Конечно, я к этому еще вернусь.

В этих обращениях к универсальному всегда есть неявный смысл: кабилы имеют в виду людей чести, когда говорят об «универсальном»; канаки имеют в виду настоящих людей, противопоставляемых нелюдям, которых можно найти в соседнем племени или среди женщин<sup>18</sup>. Такое универсальное всегда является частным. Я процитирую вам потом прекрасное высказывание об общественном мнении Маккинона, английского писателя XIX века, который довольно-таки наивно — сегодня уже никто не осмелился бы так говорить, но все это чувствуют, когда сталкиваются с универсальной публикой, — представляет содержание этой универсальной аудитории, выполняющей функцию цензуры по отношению к говорящему, выступающему с публичной речью от имени официального<sup>19</sup>.

(Все это напоминания. Я долго изучал лицемерие как дань уважения, приносимую добродетели. Я всегда опасаюсь того, что двигаюсь слишком быстро или слишком медленно... У меня проблема с темпом, не то чтобы я думал, будто то, что говорю, слишком важно, а пото-

18. См. об этом: Bensa A., Bourdieu P. Quand les Canaques prennent la parole // Actes de la recherche en sciences sociales. 1985. No. 56. P. 69–85.

19. См. ниже p. 107.

му заслуживает того, чтобы сказать это медленно, как делают философы, когда мыслят. Я думаю, что мы всегда двигаемся слишком быстро. По-моему, следовало бы идти медленно не потому, что я приписываю какую-то важность своим словам, а потому, что я двигаюсь все же слишком быстро, если мерить важностью того, что я пытаюсь сказать. И потому что, двигаясь слишком быстро, рискуешь проскочить мимо важных вещей, пропустить развилку, последствия. Я постоянно повторяю одно и то же, но если я и хочу о чем-то сказать, так это о такого рода уважении к мысли о социальном. Социальное продумывается так дурно потому, что к нему не применяют модусы взвешенного, тихходного мышления, обычно связанные с философским модусом, с глубочайшим из самого глубокого. Этим я хочу объяснить то, что, хотя и двигаюсь медленно, я думаю, что все же двигаюсь слишком быстро.)

Нужно было бы вернуться к этому анализу универсального другого: что это за универсальное *alter ego*, инстанция, которую я не могу аннулировать, не отрицая своей человечности (в указанных мной границах), трибунал, с вердиктом которого я молчаливо соглашаюсь, когда, выполняя официальную функцию, публично обращаюсь к этим людям? Это Сверх-Я является своего рода практическим воплощением принуждающего напоминания о должном, переживаемого в модусе чувства, страха сцены, ощущаемого как паника, робость, испуг, телесный страх, который часто связан с первоначальным опытом социализации. Отношение к отцу и этой универсальной аудитории могло бы позволить установить связь между социологией и психоанализом... Этот универсальный другой является своего рода неуловимой трансценденцией, чья ослабленная форма, в которой она явлена, состоит, следовательно, в том, «что скажут люди», в том, что кабилыцы называют словом людей: человек чести вечно обеспокоен словом людей, тем, что скажут люди. То есть мы приближаемся здесь к мнению, к слухам, сплетням, всем этим видам речи, которые дважды трансцендентны; они обладают трансценденцией, которую Сартр называл сериальным, неопределенной, практически бесконечной регрессией; но также у этой

совокупности людей, которые попросту добавляются друг к другу, есть нечто общее — официально они всегда будут признавать официальные ценности, от имени которых они судят то, что я делаю.

Этот универсальный другой выступает своеобразным фантазмом — и здесь мы приближаемся к государству и праву, — который может материализоваться в виде публики, аудитории, но в нем же воплощается то представление о себе, которое каждый единичный индивид желает создать у других, для других и перед другими; это не просто банальное бытие-для-другого или взгляд в рассуждении Сартра, которое содержит долю истины, но не заходит слишком далеко. Это *super ego*, образованное совокупностью *alter ego*, общим для которых является то, что у них одно и то же *super ego*. Коллективное *super ego* такого рода, одновременно трансцендентное и имманентное — трансцендентное, поскольку оно имманентно тысячам агентов, — это цензура в строгом смысле слова, причем у Фрейда понятие цензуры не было слишком разработано. Здесь мы видим, что нет никакого противоречия между социологией и психоанализом.

### «Законодатель-художник»

Вернусь к юридическим пророкам и к тем людям, которые совершают основополагающие акты высказывания должного, признаваемого обществом. Их благочестивое лицемерие состоит в признании всего того, что я только что сказал. Это люди, которые говорят от имени этого обобщенного *super ego*, официального, а потому могут дойти до урегулирования официального нарушения официального правила, поскольку они — хозяева. Им удастся освободить группу от этой фатальности, которой группа оказывается для самой себя, поскольку группы ловятся на свою собственную игру. Они постоянно говорят, что человек чести — это настоящий, то есть мужественный человек. Как избавить группы от ловушек, которые группы ставят на самих себя и которые определяют само их существование в качестве группы? Юристы — это люди, которые утверждают официальное даже

в тех крайних случаях, когда это официальное нужно нарушить. Крайний случай — вот что впечатляет.

В этой игре у социолога сложное положение: что он делает? Не находится ли он сам в официальном положении? Не официально ли он высказывается об официальном? Не вынужден ли он молчаливо принимать следствия официального? В какой-то мере он выводит себя из игры, он — не кабийский амуснав и не мудрец из комиссии мудрецов, то есть не тот, у кого есть очевидный мандат, выданный бюрократическим обществом. Он выдал мандат самому себе благодаря своей специфической компетенции, освоенной и признанной, уполномочил себя на то, чтобы говорить вещи, о которых сложно думать. Социолог делает нечто одновременно разочаровывающее и тревожащее. Вместо того чтобы делать эту работу вместе с официальным, он говорит, что значит делать официальную работу: он — *мета-мета*. И если можно сказать, что государство — это «мета», социолог всегда на один шаг впереди него. И это очень раздражает, у людей постоянно возникает желание сказать: «А сами-то вы?...» Он «по ту сторону той стороны», если говорить словами Ахилла Талона<sup>20</sup>; он не играет роль мудреца, он говорит, что делают те, кто играет такую роль. Что, возможно, также является определенной формой мудрости.

Вернусь к Канторовичу. В статье из сборника «Умереть за родину» [1984] под заглавием «Суверенитет художника. Примечания к нескольким юридическим максимам и теориям искусства в Ренессансе» Канторович говорит о законодателе-художнике, способном сделать что-то из ничего. Опираясь на ренессансные тексты, он говорит, что у поэта и юриста схожая функция, поскольку они пытаются подражать природе, руководствуясь собственным гением и вдохновением. Различие между ними в том, что законодатель черпает свои силы из божественного вдохновения и создает из ничего суждения и юридические техники; но чтобы сделать это, он действует *ex officio*, а не только *ex ingenio*<sup>\*</sup>. Юрист — это профессионал с официальным мандатом на создание

---

20. Герой комикса.



*ex officio* официальных фикций. Это работа с языком, которая не равна игре словами. Один из видов исследований в социальных науках состоит в пробуждении смыслов слов, убитых тем, что Вебер называет рутинизацией, выхолащиванием. Чтобы создать официальное, нужно создать *officium*, должность, на основе которой кто-то будет вправе создавать официальное. Иначе говоря, государство—это место, откуда высказывают официальное. Речь — *ex officio*, то есть она официальна, публична, признана по праву, она не может быть аннулирована неким судом. Но если верно, что порождающим принципом официального является *ex officio*, тогда как же создается *officium*? В действительности описание официального отсылает к генезису официального, государства, которое создало официальное. Канторович работает с юристами, которые стояли у истоков официального. Я упрощаю, поскольку нельзя сказать, что государство сделали юристы и канонисты, но они, несомненно, внесли в это создание большой вклад. Я думаю, что невозможно составить генеалогию западного государства, не учтя в ней основополагающую роль юристов, вскормленных римским правом, способных производить эту *fictione juris*, правовую фикцию. Государство—это правовая фикция, произведенная юристами, которые как юристы произведены в этом производстве государства<sup>21</sup>.

[Перерыв в лекции]

### Генезис публичного дискурса

Вернусь к своей логике изложения. Я получил вопрос: «Вы относите государственную тайну к области публичного. Как это объяснить?» Я не буду отвечать на это пря-

---

\* *Ex ingenio* (лат.) — «по собственному разумению», «как вздумается». — *Примеч. пер.*

21. См. об этом вопросе: Бурдье П. Власть права. Основы социологии юридического поля // Социальное пространство: поля и практики. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб: Алетейя, 2005. С. 75–128; а также: *Idem*. La Noblesse d'État. Chap. 5

мо, поскольку ответ будет дан развитием моего рассуждения. Я попытался проанализировать противопоставление публичного и частного, и теперь я возвращаюсь к проблеме генезиса публичного дискурса, социальных условий, в которых может производиться публичный дискурс. Но я думаю, чтобы систематически и осознанно подойти к этой проблеме генезиса и истории государства, нужно ввести кое-какие предварительные идеи, иначе очень важная часть исторического материала останется незамеченной. Может быть, вы думаете, что я рассказываю какие-то абстрактные и спекулятивные вещи. В действительности же это условие конкретных процедур чтения документов. Есть тексты, которые я вроде бы прочитал, тогда как на самом деле нет, но сегодня я думаю, что способен по-настоящему прочесть их и что-то в них увидеть. Исторические, как и любые другие, документы, например интервью или статистические таблицы, могут что-то сказать только в том случае, если есть вопросы [которые можно им поставить], — это эпистемологическая банальность, но об этом нужно напомнить. Когда речь заходит о том конкретном предмете, о котором я говорил, что он труден, поскольку он вписан в наши головы, нужно раскрыть эти категории, ими нам привитые, чтобы была возможность просто видеть, удивляться вещам, которые остаются без внимания, ведь мы попросту не видим этих вещей, поскольку они режут глаз, а ментальные структуры были подогнаны под те структуры, которыми были сформированы определенные материалы, и мы эти материалы просто не замечаем. Мы читаем их рассеянно... Социология сложна, потому что тут нужна зоркость. Этому очень трудно научить. Можно лишь сказать: «На вашем месте я бы сказал так». Это ремесло, которому учишься очень долго. Я же пытаюсь передать способ конструирования реальности, который позволяет видеть факты, которых в обычном случае не видно. Это не имеет ничего общего с интуицией. Для этого нужно очень много времени. Вот так можно оправдать все эти мои повторы и топтание на месте, которые тяжелы и для меня, и для вас.

На основе этого анализа можно выделить три ситуации: первая — ситуация юридического пророка, мудреца,

амуснава, имеющего мандат, который каждый раз надо отвоевывать заново: он должен каждый раз снова добиваться успеха. Пророк, как говорит Вебер, не имеет гаранта кроме самого себя, он не *ex officio*. Если он не в форме, его пророческий статус рухнет, тогда как профессор философии, который не совсем в форме, может опереться на этот свой статус; и точно так же священник, который ежедневно творит чудеса *ex officio*, не может не добиться успеха. Одна из задач работы пророка, особенно работы поэта с формой, заключается в том, что он должен утверждать и заставлять признавать свою «комиссию»; а если он не в форме, он теряет свой мандат. То есть он экстраординарен. Он не может творить чудеса каждый день. Юридический пророк — это своего рода непрерывное творение его собственного мандата<sup>22</sup>. Он пребывает в картезианском времени, ежесекундном непрерывном чуде: если пророк перестает создавать себя в качестве создателя, он терпит провал, становится обычным человеком или же безумцем, поскольку он говорит предельные вещи и лишь один шаг отделяет хулу, которой чествуют безумца, от уважения, ауры, которой окружают признанного пророка.

Вторая ситуация: юристы, законодатели-поэты в ситуации юридического пророчества, ситуации творения. Это английские канонисты XII века, о которых говорит Канторович, те, кто первыми разработали теорию государства. Одна из исторических заслуг Канторовича в том, что он реконструировал философию государства, которая присутствовала в явной форме у этих основателей государства, и эта работа была проведена на основе принципа, утверждающего, что на первых шагах неясные вещи еще видны — те вещи, которые позже уже нет нужды говорить, поскольку они стали самоочевидными. Отсюда важность антропологии и сравнительных методов, дюркгеймовских заходов: я думаю, что главный интерес этого исследования генезиса государства заключается в ясности первоначал. На первых шагах люди еще вынуждены говорить

---

22. Вебер М. Социология религии. С. 119 и далее.

вещи, которые потом будут приниматься за должное, поскольку вопрос просто не будет ставиться, ведь следствием работы государства является как раз разрешение проблемы государства. Следствием государства является то, что оно заставляет думать, будто нет никакой проблемы государства. По сути, это я вам говорю с самого начала. Я доволен этой формулировкой. Это я хотел сказать, когда говорил, что государство ставит перед нами особую проблему, поскольку у нас мысли государства, которые мы применяем к государству.

Третья ситуация: юристы, которые еще близки к амуснаву. В этом случае еще видно, что они делают, и они сами обязаны это в какой-то мере знать, чтобы делать это. Они обязаны изобрести понятие *fiction juris*, теоретизировать свою собственную работу и говорить себе: «От имени кого мы говорим? Может, это Бог или общественное мнение...» Тогда как юристы в нормальной государственной ситуации, институционализированные и уполномоченные юристы являются воспроизводителями, то есть уже не юристами-создателями; в худшем случае, в некоторых обстоятельствах, в их обязанности входит суд над судьями, разбор самых каверзных дел, о которых говорил Ален Банко<sup>23</sup>, то есть дел, которые ставят вопрос о справедливости правосудия, оказываясь отправной точкой для бесконечного регресса: есть приговор, апелляция, потом апелляция апелляции, но где-то надо остановиться... Тогда можно сказать или так: «Это Бог», или так: «Есть человеческий суд, который судит о легитимности судей». Именно у них мы обнаруживаем понятие благочестивого лицемерия. Эти юристы в нормальной ситуации, даже если они ставят перед собой вопросы о правосудии, не ставят проблему своего собственного существования в качестве юстициариев. Следовало бы выполнить работу по теме «юстициарий и судья»: юстициарий — это юридический пророк, выдавший сам себе мандат, который устанавливает иную форму пророческого правосудия. Можно было бы провести прекрасное исследование юстициария

---

23. Bancaud A. Une "constance mobile": la haute magistrature // Actes de la recherche en sciences sociales. 1989. No. 76-77. P. 30-48.

в вестернах и официальных репрезентациях правосудия. Юстициарий — это юридический творец определенного типа, который противопоставляет личное и частное правосудие здравому юридическому смыслу и у которого, конечно, есть некоторые неприятности с правосудием.

То, что происходит в любом юридическом акте или акте основания государства, проще увидеть в случаях 1 и 2, то есть в случаях юридического пророка и юристов, находящихся в положении юридического пророчества, чем в случае 3, когда уже ничего не видно. Но все же у этих случаев есть общие черты, и изучать изначальные пророческие ситуации интересно именно потому, что они открывают вещи, которые будут работать и в рутинных случаях, хотя этого и не будет видно. Если бы это было различие по природе, не было бы ничего интересного в изучении начал, но последние показывают те вещи, которые продолжают работать, оставаясь незамеченными. Юридические пророки учат тому, что для работы юридического пророчества последнее должно быть самолегитимирующимся, и они показывают, что государство — это *fictio juris*, которая основывает все акты юридического творения. Оно есть то, благодаря чему обычная *fictio juris* как таковая забывается. Следовательно, оно выполняет то, что Макс Вебер называл юридической «рутинизацией харизмы»<sup>24</sup>, выхолащиванием, оповседневниванием.

Теперь можно спросить себя, как изначальный или же рутинизированный юрист должен действовать, чтобы осуществлять это юридическое творение, чтобы его акт не был похож на какой угодно другой акт. Мы видим, что существует связь между юридическим творением и оформлением *<mise en forme>*. Я не буду возвращаться здесь к одному исследованию, которое я уже провел, но в другом контексте. (В своих размышлениях я часто прохожу через одни и те же пункты, но как бы набрав высоту, видя по-другому и что-то другое в том, что я уже видел с какой-то другой точки зрения). В работе о Хайдеггере, в которой я разрабатывал поня-

24. Вебер М. Типы господства. 2008. Т. 10. Вып. 1–6; Т. 11. Вып. 1–2.

тие цензуры в определенном поле<sup>25</sup>, я развил представление о работе оформления, которую осуществляет научное или философское поле; я подчеркивал отношение между этой цензурой, осуществляемой полем, и оформлением, которое реализуют те, кто желают получить признание в качестве совершенно особых членов этого поля: если ты хочешь получить признание в качестве философа, ты должен использовать философские формы, просто чтобы нечто сказать; тем более, если то, что ты говоришь, расходится с неявными послылками ремесла философа. Своим предметом я выбрал именно Хайдеггера, поскольку то, что он хотел сказать, по существу расходилось с принимаемой по умолчанию философией философов. Таким образом, я установил связь между цензурой, осуществляемой на научном или философском поле, и двумя операциями: оформлением и соблюдением формы *<mettre des formes>*\*. Я подчеркнул то, что оформление — это всегда соблюдение формы: социальный универсум требует, чтобы мы соотносились с официальным, удаляя рассматриваемый универсум фундаментальным признанием официального, который состоит в соблюдении формы, то есть в том, что вещи не говорят грубо, а, напротив, выражаются в поэтической форме, в виде эвфемизмов, не в какофонии варварства или богохульства. Философский эвфемизм, каким бы он ни был, — это результат определенной операции, которая состоит в оформлении, а потому и в демонстрации уважения к формам. Хёйзинга в своей работе «Человек играющий»<sup>26</sup> подчеркивает то, что шулер, как и вор в примере Макса Вебера, нарушает правила игры, скрываясь. Но встречается и тот, кто ломает игру, отказывается соблюдать форму, отрекается от игры *obsequium* —

---

25. Бурдьё П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера. М.: «Праксис», 2003. Краткое изложение см. в: *Bourdieu P. La censure // Questions de sociologie*. P. 138–142.

\* Оборот «mettre des formes», на котором играет Бурдьё, имеет также значение «смягчить выражения», «не выходить за рамки». — *Примеч. пер.*

26. Хёйзинга Й. *Homo Ludens*; Статьи по истории культуры. М.: Прогресс — Традиция, 1997.

именно его социальный мир бесповоротно отвергает. Если вы вспомните то, что я говорил о социологе, который оказывается мета-мета, когда высказывает правило игры, состоящей в соблюдении формы, можно понять, что часто он воспринимается как тот, кто ломает игру.

## Публичный дискурс и оформление

Тот, кто соблюдает формы, уважает себя и уважает в самом себе обобщенное эго, которое я недавно упоминал, и это находит отражение в форме, поскольку кабилские поэты пишут как Малларме: они играют в такие же сложные игры со словами, как и он, у них не менее сложные формы версификации. Можно спросить себя, как удастся без письма изобрести столь сложные и уточненные вербальные формы; это предполагает огромную тренировку. Существуют школы поэтов, которые, как у Гомера, часто являются кузнецами, демиургами. Они профессионалы мнимой вербальной импровизации, так что, вопреки общепринятым представлениям, «устное» или «народное» — не значит «простое». Эти поэты используют сложные вербальные формы, архаизмы, выражения, которые обычные люди больше не понимают, что позволяет им обращаться не только к конкретной аудитории, но и к кому-то еще, как делали досократики. Когда университетские ученые переводят Эмпедокла на французский, на язык Вольтера, от него мало что остается... У вас есть хайдеггеровское прочтение, которое добавляет смысл, и, с другой стороны, позитивистское прочтение, которое этот смысл отнимает... Между ними находятся эти поэты, профессионалы в высшей степени упорядоченного оформления, тем более что их речи касаются фундаментальных проблем. Классические трагедии, например Софокла или Эсхила, — это крайне сложные дискурсы, где театрализируются предельные ситуации, в которых последние вещи высказываются в такой форме, что понять их могут все, но понимают только избранные. Одно из решений этих общественных деятелей — это двойной дискурс, на двух скоростях: од-

новременно эзотерический для посвященный и экзотерический для всех остальных. Кабильский амуснав, Эмпедокл или великие досократики были способны говорить на двух уровнях. Существует внутренняя полисемия — я не говорю о постмодернистской полисемии,—связанная с противоречием публичной речи: как говорить перед всеми, перед лицом всех, чтобы тебя, однако, понимали лишь некоторые посвященные?

Оформление — это очень важное качество такого дискурса, поскольку именно благодаря ему становится именуемым невыразимое, безымянное, а иногда и неназываемое; оформление является ценой, которую надо заплатить, чтобы официальным могло стать то, что было невозможно назвать. Иначе говоря, поэзия в сильном смысле этого слова, юридическо-поэтическое творение порождает в универсально признанной форме невыразимое, безымянное или неявное — будь то нечто коллективно вытесненное, о чем группа не хочет знать, или же что-то, чего нельзя сказать, поскольку у группы нет для этого инструментов. Здесь становится понятным, в чем роль пророка, заключающаяся в предъявлении группе того, в чем группа признает себя на глубинном уровне — отсюда принцип «Ты не искал меня, если бы уже не нашел», парадокс пророчества, которое может удалиться лишь потому, что говорит только то, что людям уже было известно, но в то же время добывается успеха исключительно потому, что люди не могли этого сказать. Все эти несколько высокопарные речи о поэтическом творчестве можно признать верными, но в совершенно ином контексте. (Рутина академических трактовок приводит к ужасным следствиям, поскольку часто она позволяет говорить правильные вещи, но так, что в них больше никто не верит. Здесь также можно было бы провести прекрасное исследование: что такое академическая вера? Действует ли она? Как вообще верят в нечто академическое?)

Малларме проработал эту тему поэта, который своими словами дает жизнь тому, что он именует. Ответственный за творческие именования дает жизнь вещам, которые не должны существовать, вещам неименуемым:



например, он может заставить признать гомосексуальность в обществе, ее презиравшем, он может сделать ее легальной, именуемой, заменив оскорбление «педик» <pedé> словом «гомосексуалист»; это юридическая работа. Он может сделать именуемым неименуемое, так что о нем можно будет говорить публично, даже на телевидении, и публично дать слово тому, что доселе оставалось неименуемым. Если он может выступить, чтобы сказать об этом, значит, у него есть слова, чтобы это сказать; а слова у него есть потому, что какие-то люди ему их дали: если бы, чтобы говорить о себе, у него было одно это слово «педик», он бы попал впросак. То есть это либо неименуемое, либо скрытое, то есть вещи (я часто пользуюсь этой аналогией), которые переживаются как нечто неприятное и которые затем превращаются в симптомы. Политическая работа — работа такого рода: у группы есть больное место, например, в социальном обеспечении, в кадрах среднего звена, в мелкой государственной знати. Никто не может его назвать; затем приходит тот, кто называет: он совершает учредительный акт, заставляет существовать в качестве симптома то, что существовало как некая болезненность. Теперь известно, что с нами, и это огромное изменение, мы сразу же наполовину излечиваемся, нам понятно, что надо делать... Именно это и делает первый поэт: он заставляет группу говорить лучше, чем она сама может, и при этом он лишь заставляет сказать то, что она бы сказала, если бы умела. Он играет в весьма тонкую игру, он не может позволить себе сказать «Да здравствуют педики!»; если он не может рассчитывать на то, что за ним последуют, его могут просто линчевать или же приравнять к сумасшедшему. Он держит авангардную речь, то есть немного странную, но рассчитывающую на то, что за ней последуют, поскольку он спровоцирует эффект откровения: он откроет группе вещи, которые она не знала или не хотела знать — в том смысле, в котором говорят: «Я знаю это, но не хочу знать». Отцензурированное, подвергнутое отрицанию — это то, что я не хочу знать. Он говорит то, что никто не хочет знать, иначе публично оскандалишься. Тот, кто себя уважает, не может видеть вещи, которые бы лишили его этого самоуважения, в компа-

нии с тем, кто уважает его и кто уважает в нем то, что следует уважать. Например, не пойдешь с сыном в кино, чтобы посмотреть порнофильм... Это наводит на мысли об официальном... Работа эвфемизации состоит в нарушении фундаментального табу, то есть в публичном высказывании того, что до сего момента не проговаривалось, но при этом сам факт такого высказывания не должен создавать скандала.

Пророк — это тот, кто говорит вместо группы то, что группа не может или не хочет сказать, и тот, кто выдает самому себе мандат, поскольку не создает скандала самим фактом высказывания вещей, которые до сего момента группа не говорила или не могла сказать. В то же время пророческая речь совпадает по типу с правовой речью, поскольку в своих формах она отвечает требованиям группы, которая формально соблюдает формальные требования группы. Какая-нибудь обычная поговорка, которая у всех на слуху, подвергается небольшому изменению, в котором нет ничего еретического, это не черная месса, не месса наоборот, не абсолютная противоположность нарушения по правилам. Амуснав — это нарушитель, уважающий тех, кого он уважает, а оформление нужно для того, чтобы показать, что он уважает себя вплоть до того, что уважает и правило в неизбежном попрании правила, которого требуют от него тяжелые жизненные обстоятельства, нужда, женское горе, человеческая слабость и т.д... То есть он глашатай группы, который дает ей то, что группа от него требует, а взамен она дает ему то, что требует он: гарантию, мандат на высказывание, и этот мандат специально оговаривается. Обычно забывают, что эти архаические поэты всегда выступали перед публикой; они не писали, не защищались листом бумаги... В 1960-х годах была эта мода — все занимались трансгрессией, в тиши собственного кабинета. Это было смешно: можно было представить, что случилось бы, если бы такому *homo academicus* пришлось сказать эти вещи публично. Тогда как поэт у Гомера или амуснав — это люди, которые должны были делать всё *in presentia*.

Чтобы произвести этот эффект катализатора ценностей группы, они используют такие риторические

инструменты, как эвфемизм. Самый таинственный эффект—это прозопопея, акт, который состоит в том, что речь произносят, призывая отсутствующее, мертвое или исчезнувшее лицо или даже вещь, которую олицетворяют: «Республика призывает вас... Республика требует, чтобы...» Прозопопея — это риторическая фигура, внутренне присущая официальному дискурсу, поскольку именно она преобразует *idios logos*, как говорил Гераклит, который противопоставлял «*idios logos*» и «*koinon kaiteion*», то есть единичную, идиотическую, личную речь противопоставлял универсальному человеку, а общее—божественному. То, что превращает единичную речь в общую и сакральную, в общий смысл <*sens commun*>, в речь, способную получить согласие всех людей в целом, то есть произвести консенсус,—это риторическая алхимия, алхимия оратора. Делегат — тот, кто говорит не в качестве индивида, а от имени общего блага: «Ты поставил вопрос, и отвечает тебе не отдельная пифия, не *idios*, а пифия как голос чего-то другого, глашатай». Официальный человек — это чревовещатель, который говорит от имени государства: он занимает официальную позицию — и тут нужно было бы описать мизансцену официального — он говорит ради и вместо группы, к которой обращается, он говорит за всех и вместо всех, он говорит в качестве представителя универсального.

### Общественное мнение

Здесь мы подходим к современному понятию общественного мнения. Что такое общественное мнение, к которому обращаются создатели права современных обществ, обществ, в которых это право существует? Это, как неявно подразумевается, мнение всех, большинства или же тех, кто имеет значение, кто достоин иметь мнение<sup>27</sup>. Я считаю, что явное опре-

---

27. См. по этому вопросу: Бурдьё П. Общественное мнение не существует // Социальное пространство: поля и практики. С. 272–275, а более подробный разбор в главе 8 работы: Bourdieu P. La Distinction. P. 463–541.

деление в обществе, считающем себя демократическим, а именно определение, согласно которому официальное мнение — это мнение всех, скрывает неявное определение, согласно которому общественное мнение — это мнение тех, кто достоин иметь мнение. Существует в каком-то смысле цензурное определение общественного мнения как мнения просвещенного, то есть мнения, достойного этого наименования. Логика комиссий — в том, чтобы создать группу, образованную таким образом, чтобы она демонстрировала все внешние, социально признанные и признаваемые, официальные признаки способности выражать мнение, достойное выражения, причем в отвечающих ему формах. Один из неявных, но наиболее важных критериев в отборе членов комиссии, особенно ее председателя, — имеющееся у людей, отвечающих за составление группы, ощущения того, что рассматриваемый человек знает неявные правила бюрократического универсума и признает их, иначе говоря, является тем, кто умеет играть в игру комиссии легитимно, то есть не ограничиваясь исключительно правилами игры, но легитимируя ее саму; никогда не бываешь настолько включен в игру, как в том случае, когда ты выше нее. В каждой игре есть правила и *fair-play*\*. В применении к кабильцам и, с другой стороны, к миру интеллектуалов я использовал такую формулу: в большинстве обществ мастерство — это искусство играть с правилом игры, превращая эту игру с правилом игры в высшую дань уважения самой игре. Контролируемый нарушитель решительно противоположен еретику.

Господствующая группа отбирает членов по минимальным признакам поведения, которые говорят о способности соблюсти правила игры даже в урегулированном нарушении этого правила игры, то есть о благопристойности, выдержке. Знаменитая фраза Шамфора: «Кюре должен верить, у каноника могут

---

\* Fair-play (англ.) — букв. «честная игра», в данном случае уважение к принципам игры даже в случае нарушения ее отдельных правил. — *Примеч. пер.*

быть сомнения, а кардинал может быть атеистом»<sup>28</sup>. Чем выше поднимаешься по иерархии превосходств, тем больше можешь играть с правилами игры, но именно *ex officio*, на основе позиции, которая отрицает наличие каких бы то ни было сомнений. Антиклерикальный юмор кардинала является в высшей степени клерикальным. Общественное мнение — это всегда своего рода двойная реальность. Это то, к чему нельзя не обратиться, когда желаешь издать закон относительно какой-то еще не учрежденной проблемы. Когда говорят «здесь наблюдается правовой вакуум» (удивительное выражение) по поводу эвтаназии или детей из прорирки, созывают людей, которые будут работать, опираясь на весь свой авторитет. Доминик Мемми<sup>29</sup> описывает этический комитет [по искусственному зачатию], его формирование из совершенно разных людей — психологов, социологов, женщин, феминисток, архиепископов, раввинов, ученых и т. п., — цель которых в том, чтобы превратить набор этических идеологов в универсальный дискурс, который заполнит правовой вакуум, то есть даст официальное решение трудной проблеме, беспокоящей общество, в частности проблеме суррогатных матерей.

Если работаешь в ситуации такого рода, необходимо призвать общественное мнение. В этом контексте очень легко понять функцию, которую возлагают на опросы. Сказать, «опросы за нас» — это все равно что в другом контексте сказать «с нами Бог». Однако опросы разочаровывают, поскольку порой просвещенное мнение против смертной казни, тогда как опросы скорее за нее. Что же делать? Создать комиссию. Комиссия формирует просвещенное общественное мнение, которое учредит легитимность этого просвещенного мнения от имени общественного мнения, которое, во-

---

28. Точная цитата звучит так: «Главный викарий может улыбнуться на высказывание против религии, епископ — просто рассмеяться, а кардинал — добавить к нему свое слово». *Chamfort de N. Maximes et pensées*. Paris, 1795.

29. *Memmi D. Savants et maîtres à penser. La fabrication d'une morale de la procréation artificielle // Actes de la recherche en sciences sociales*. 1989. No. 76–77. P. 82–103.

обще-то, говорит прямо противоположное или вообще ничего об этом не думает (как выясняется в случае самых разных вопросов). Одно из свойств опросов состоит в том, что людям задают вопросы, которые они сами себе не ставят, и подбрасывают им ответы на вопросы, которые они не ставили, то есть им навязывают ответы. Это не вопрос искажений в составлении выборки, тут дело в навязывании всем вопросов, которые встают только перед просвещенным мнением, а потому и в производстве ответов всех и каждого на вопросы, встающие перед некоторыми, то есть в просвещенных ответах, которые люди дают потому, что они были произведены вопросом: людям предъявили вопросы, которые для них не существовали, тогда как на самом деле вопрос в том, что же для них было вопросом.

Я дам вам перевод одного текста Маккинона 1828 года, извлеченный из книги Пила о Герберте Спенсере<sup>30</sup>. Маккинон определяет общественное мнение, и это определение было бы официальным, если бы в демократическом обществе оно не было недопустимым. Я хочу сказать, что, когда говоришь об общественном мнении, всегда приходится играть в двойную игру между допустимым определением (мнение всех) и авторитетным или действенным мнением, которое получают в качестве ограниченного подмножества демократически заданного общественного мнения: «Оно есть то ощущение по какому угодно предмету, которое разделяется наиболее осведомленными, умными и нравственными людьми в сообществе, ощущение, которое у них возникает. Это мнение постепенно распространяется и принимается в цивилизованном государстве всеми людьми с определенным уровнем образования и подходящими чувствами». То есть истина властвующих становится истиной всех.

В 1880-х гг. в Национальной ассамблее открыто говорили, что именно социология должна была выяснить — что система образования должна исключить детей из

---

30. *Peel J. D. Y. Herbert Spencer. The Evolution of a Sociologist. London: Heinemann, 1971.* Уильям Александер Маккинон (1789–1870) долгое время был членом Британского парламента.

наименее обеспеченных слоев общества. На первых порах ставили вопрос, который затем был полностью вытеснен, поскольку система образования начала делать то, что от нее ждали, хотя никто уже этого у нее не просил. Следовательно, не было и нужды говорить об этом. Возвращаться к генезису очень важно, поскольку на первых порах бывают споры, в которых открыто говорят те вещи, которые потом кажутся провокационными откровениями социологов. Официальный глашатай умеет производить — в этимологическом смысле слова *producere*, то есть «выносить на свет», — некую несуществующую (поскольку она не является чувственной или видимой) вещь, театрализуя ее, вещь, от имени которой он говорит. Он должен произвести то, от имени чего у него есть право производить. Он не может обойтись без театрализации, не может не облекать в формы, не делать чудес. Самое обыденное чудо для создателя слов — это чудо вербальное, риторическая удача; он должен поставить на сцене то, что авторизует его речь, то есть авторитет, от имени которого он имеет право говорить.

Я нашел определение прозопопеи, которое недавно пытался привести: это «фигура риторики, благодаря которой заставляют говорить и действовать лицо, которое упоминают, отсутствующее лицо, мертвое, а также животное или какую-либо олицетворенную вещь». В словаре, который всегда служит прекрасным инструментом, мы находим следующую фразу Бодлера, рассуждающего о поэзии: «По-ученому манипулировать с языком — значит практиковать своего рода колдовство с заклинаниями». Профессиональные служащие *clercs*, те, кто манипулируют с ученым языком подобно юристам и поэтам, должны вывести на сцену воображаемый референт, от имени которого они говорят и который они производят, говоря по форме; они должны порождать то, что они выражают и во имя чего они выражаются. Они должны производить дискурс и одновременно производить веру в универсальность своего дискурса за счет чувственного производства (в смысле вызывания духов, призраков: государство — это призрак), производства той вещи, которая будет гаран-

тировать то, что они делают, — «нации», «трудящихся», «народа», «государственной тайны», «национальной безопасности», «общественной нужды» и т. д. Шрамм показал, что церемонии коронации — это перенос в сферу политики религиозных церемоний<sup>31</sup>. Если религиозный церемониал можно запросто перенести в политические церемонии за счет церемоний коронации, значит речь в обоих случаях идет о том, что надо заставить верить в то, что есть основание у дискурса, который кажется обосновывающим самого себя, легитимным и универсальным лишь потому, что есть театрализация — в смысле магического заклинания, колдовства — единой группы, согласной с дискурсом, который ее объединяет. Отсюда юридический церемониал. Английский историк Э. П. Томпсон подчеркивал роль юридической театрализации в Англии XVIII века — например, париков и т. п., — и эту роль нельзя в полной мере понять, если не увидеть, что она не просто аппарат в смысле Паскаля, не некий довесок, напротив, она конститутивна для юридического акта<sup>32</sup>. Высказывать право в полном облачении — дело рискованное, поскольку рискуешь потерять помпу дискурса. Постоянно говорят о реформе юридического языка, но никогда ее не проводят, поскольку это последняя из одежд: голые короли теряют свою харизму.

Один из весьма важных аспектов театрализации в том, что это театрализация заинтересованности в общем интересе, то есть веры в интерес к универсальному, незаинтересованности политического деятеля — театрализация веры священника, убежденности политического деятеля, его веры в то, что он делает. Театрализация такой убежденности составляет часть неявных условий отправления профессии государственного служащего — профессор философии должен иметь вид, будто он верит в нее, — и причина в том, что она является той главной данью уважения, которую официальный

---

31. *Schramm P. E.* Der König von Frankreich. Das Wesen der Monarchie von 9 zum 16. Jahrhundert. Ein Kapital aus Geschichte des abendlichen Staates. Weimar: H. Böhlau Nachf, 1939. 2 vol.

32. *Thompson E. P.* Patrician society, plebeian culture. P. 382–405.



человек приносит официальному; она — то, чем нужно удостоить официальное, чтобы быть официальным: для того чтобы быть настоящим официальным лицом, нужно признать незаинтересованность официального, веру в официальное. Незаинтересованность — это не просто какая-то второстепенная добродетель, это *главная* политическая добродетель всех уполномоченных лиц. Прodelки священников, политические скандалы — все это распад политической веры такого рода, в которой все себя обманывают, поскольку вера выступает своеобразным коллективным самообманом в сартровском смысле, то есть игрой, в которой все лгут друг другу и лгут другим, зная, что они лгут. Вот что такое официальное...

## Лекция 8 февраля 1990 года

*Концентрация символических ресурсов. — Социологическое прочтение Франца Кафки. — Неосуществимая исследовательская программа. — История и социология. — «Политическая система империй» Шмуэля Нойя Эйзенштадта. — Две книги Перри Андерсона. — Проблема «трех дорог» у Баррингтона Мура.*

**В** ПРОШЛЫЙ раз я представил вам анализ того, что называю логикой и риторикой официального, анализ, который излагался в виде общей антропологии, способной послужить основанием для эмпирических и, в частности, генетических исследований. То есть я попытался показать, как государство — либо в рождающемся, либо в институционализированном состоянии — оказывается своеобразным запасом символических ресурсов, символического капитала, который является инструментом для агентов определенного типа и ставкой в их борьбе. Этот анализ того, что государство делает и чем оно должно быть, чтобы делать то, что делает, предваряет всякий анализ исторического типа. В действительности, только если мы знаем, в чем состоит государство, что оно собой представляет, — а не только, как в марксистской традиции, какие функции оно должно выполнять, — и умеем выделять эти специфические операции и их условия, можно поставить исторические вопросы и, в частности, описать тот процесс концентрации определенных ресурсов, с которым можно отождествить генезис государства. Даже если этот анализ был медленным и содержал много повторов, он необходим для того, чтобы по-настоящему познакомиться с проблемой генезиса, которую я бы хотел поставить и которую я, к сожалению, смогу разве что поставить.

### Концентрация символических ресурсов

Один из исторических вопросов, возникающих, если согласиться с разбором, представленным мной на предыдущих лекциях, — почему и как могла произойти эта

концентрация символических ресурсов, ресурсов официального и той особой власти, которую дает доступ к официальному. В действительности всякий индивидуальный агент в определенной мере претендует на монопольное именование, которое составляет официальный дискурс. Вернусь к ругательству или оскорблению, являющемуся предметом лингвистических исследований. Оскорбление относится к тому же ряду явлений, что и официальные декларации, официальные акты назначения на должность, фундаментальные учредительные акты, которые мы традиционно связываем с государством. Оскорбление — это индивидуальный акт именования, претендующий на универсальность, но неспособный дать других гарантий своей претензии помимо самой личности того, кто его высказывает. Поэтому предельная ситуация оскорбления напоминает то, чем могло бы быть с точки зрения символического состояние абсолютной анархии, то есть состояние, в котором каждый мог бы сказать о ком угодно, кто он такой, то есть каждый мог бы сказать, к примеру, о себе: «Я величайший из современных философов», или же «Я лучший дворник Франции и Наварры», или о других: «Вы всего лишь...»<sup>1</sup>.

(Когда нужно что-то понять, подобные воображаемые вариации очень полезны. Ситуации политического кризиса, революционные ситуации сближаются с этими ситуациями символической борьбы всех против всех, в которых каждый может с равными шансами на успех претендовать на монополию на легитимное символическое насилие, на именование. Вопрос о началах может показаться наивным и наука должна обходить его стороной, но все же его достоинство в радикальной постановке вопросов, которые обычный режим деятельности затемняет. Если представить себе это состояние символической борьбы всех против всех, в которой каждый претендовал бы на исключительное обладание властью именования, легко понять, что возникает вопрос о том, как произошло это постепенное отречение от таких индивидуальных претензий, кото-

---

1. *Bourdieu P. Langage et pouvoir symbolique. P. 155–157.*

рыми поступились ради некоего центрального места, которое постепенно сосредоточило в себе власть именования.)

Можно представить себе простую картинку: существует большое число агентов, каждый из которых борется с любым другим за власть именования, власть называть себя и других, но постепенно, по ходу самой этой борьбы, разные агенты, вынужденные отказаться от этой власти, делегируют ее некоей инстанции, которая скажет каждому, кто он такой. Можно было бы представить мифический генезис государства, создать некий платоновский миф. Если держать в уме этот вопрос, сначала можно удивиться: как же получилось, что мы дошли до этого? И если у нас есть определенная склонность к анархизму, мы могли бы удивиться тому, что люди отреклись от этого права судить себя и других. Также можно внимательнее присмотреться к историческим процессам, которые часто проходят незамеченными. Здесь перед вами я пытаюсь набросать историю этого процесса концентрации, который не имеет ничего общего с тем, что порой говорят. Историки, которые больше всего приближаются к этим вопросам, подчеркивают, что рождение государства сопровождается неким процессом сосредоточения инструментов легитимации, а также развитием символического аппарата и парадности, окружающей символическую власть.

Есть более фундаментальный вопрос, и я его уже поставил; чтобы дать представление об этой символической борьбе всех против всех, я процитирую текст Лео Шпитцера о том, что он называет полиономасией в «Дон Кихоте»<sup>2</sup>. Он отмечает, что герои часто носят различные имена: в зависимости от сцены или ситуации они могут называться по-разному — «рыцарь печального образа» и т. д. Эта множественность имен вызывает вопросы. Шпитцер интерпретирует ее как своего рода эмпирическое осуществление практического перспективизма, утверждающего, что у всех агентов

---

2. *Spitzer L. Linguistics and Literary History. Essays in Stylistics.* New York: Russel & Russel, 1962.

есть право на свою точку зрения. Это прекрасный вариант мифа, мной упомянутого: каждый именуется каждого по собственному усмотрению. Конечно, эта власть именования осуществляется с особой силой в аффективных, любовных отношениях: одна из привилегий любящего или возлюбленного в том, что он может именовать и получить имя, принять новое условное имя, новое именование, в котором утверждается независимость определенного аффективного отношения от предшествующих именований: прежнее крещение отменяется и проводится новое. И это далеко не малозначительная подробность. Неслучайно то, что это происходит в очень многих случаях и имеет всеобщий характер. Можно представить, как такая привилегия именования распределялась бы случайно и у каждого агента было бы право на собственную точку зрения. В таком случае, если использовать метафору, применявшуюся Лейбницем к Богу, не существовало бы больше никакого «геометрического места всех точек зрения», центрального места, исходя из которого устанавливаются подлинные имена, наименования гражданского состояния. Прозвище, клички отменяются ради официального имени, то есть публично признанного.

В статье Шпитцера речь об именах собственных, но эту утопию можно развить и представить полиономию для имен нарицательных, и это была бы ситуация, в которой остались бы одни идеолекты, а каждый желал бы навязать свое собственное именование и поставить под вопрос главное качество официального языка, а именно то, что социальные агенты одной и той же социальной группы связывают один и тот же звук с одним и тем же смыслом, а один и тот же смысл — с одним и тем же звуком<sup>3</sup>. Одно из следствий создания официального языка, обязательного на определенной территории, состоит в заключении лингвистического договора, кода в двойном смысле этого термина, од-

---

3. По этому вопросу см.: *Bourdieu P.* La production et la reproduction de la langue légitime // *Ce que parler veut dire*. P. 23–58; переиздано в: *Idem.* Langage et pouvoir symbolique. P. 67–98.

новременно лингвистическом и коммуникативном, принимаемого агентами сообщества, то есть кода, который каждый должен соблюдать, иначе тебя перестанут понимать, поскольку ты начнешь говорить на тарабарщине, превратишься в варвара. Государство сосредоточило языковой капитал, создавая официальный язык, то есть добилось от отдельных агентов того, что они отказались от привилегии свободного лингвистического творения, отдав ее определенным инстанциям — законодателям языка, поэтам и т. п. Отправляясь от этой расширенной картины, основанной на Шпитцере, мы поймем, как учреждение официального языка, который является продуктом исторического акта навязывания, нормализации — не только языка, но и социальных субъектов, которые должны его использовать, — сопровождается отказом агентов от радикального перспективизма, от равноценности всех точек зрения, от их универсальной взаимозаменяемости.

### Социологическое прочтение Франца Кафки

Можно обобщить эту утопию радикальной анархии и представить себе универсум, в котором каждый бы в полной мере осуществлял свое право судить себя и других, не отказываясь от него и не отрекаясь. Эта тема присутствует в «Процессе» Франца Кафки<sup>4</sup>. Романисты полезны, поскольку он создают утопии, не уступающие платоновским мифам. «Процесс» — это пространство утопии такого рода. Таинственный и неуловимый адвокат, помощи которого пытается добиться герой Г. и который считает себя крупным адвокатом, говорит: «Но кто будет судить о качестве крупного адвоката?» У Кафки это постоянная тема. Обычно произведения Кафки прочитывают в теологическом ключе; но можно дать и социологическую интерпретацию, причем два таких прочтения вовсе не противоречат друг другу. Такой поиск места, где определяется

---

4. В частности, Пьер Бурдьё возвращается к этой теме в работе: *Bourdieu P. Méditations pascaliennes*. Paris: Seuil, 1997. P. 340.

подлинная идентичность социальных агентов, можно представить в виде поисков Бога как геометрического места всех точек зрения, предельного варианта той инстанции, коей является суд, инстанции, ставящей вопрос о том, какие судьи справедливые; но также его можно представить в виде теологического поиска абсолюта, противопоставленного перспективизму, или же, наконец, социологического поиска центрального места, в котором оказываются сосредоточены ресурсы легитимной власти и которое в этом качестве выступает точкой, где останавливается регрессия. Как у Аристотеля, здесь есть момент, когда надо остановиться<sup>5</sup>, и место, в котором останавливаешься, — это государство. Следуя традиции Дюркгейма, Хальбвакс говорит о «центральном очаге культурных ценностей»<sup>6</sup>: он постулирует наличие некоего центрального места, в котором оказываются капитализированы, сосредоточены культурные ресурсы, принадлежащие определенному обществу, и от которого откладываются дистанции (как по меридиану Гринвича), так что, отправляясь от этого места, можно сказать: «Этот человек образованный или не образованный; он знает французский или не знает французский» и т. д. Это центральное место — точка, с оглядкой на которую занимаются все точки зрения.

То есть существует центральная точка зрения: с одной стороны — перспективизм; с другой — абсолютизм, точка зрения, на которую нет точки зрения и по которой меряются все остальные точки зрения. Эта центральная точка зрения не может установиться без дисквалификации, дискредитации или подчинения всех частичных точек зрения, каковы бы ни были их претензии: такова точка зрения короля по отношению к точке зрения крупных феодалов; а в XVII–XVIII веках точка

---

5. Здесь Бурдьё отсылает к выражению из «Физики» «*ananke sténaï*» [«Нужно на чем-то остановиться»]: Аристотель утверждает, что исследование причин не может быть бесконечным: нужно остановиться на первопричинах, которые не имеют иного основания, помимо самих себя, и в частности на «перводвигателе», который приводит в движение, сам его не получая.

6. *Halbwachs M.* La classe ouvrière et les niveaux de vie. Paris, 1970 [1912].

зрения профессоров Сорбонны по отношению к точке зрения хирургов<sup>7</sup>.

Существует главное место, на основе которого занимается точка зрения, которая отличается от всех остальных и которая, устанавливаясь, устанавливает фундаментальную асимметрию: ничего подобного ей не будет. Отныне все другие, отличные от нее точки зрения будут кое-чего лишены, станут частичными, увечными. Гурвич, опираясь на феноменологическую традицию, говорит о «взаимности точек зрения»<sup>8</sup>, универсуме, в котором каждый агент является для другого агента тем же, что и другой для него. Следовательно, существует абсолютная обратимость отношений, которая устанавливается в оскорблении: я говорю, что «ты просто тот-то и тот-то...», и ты можешь сказать мне то же самое. Существует третий термин, по отношению к которому можно судить точки зрения: из двух таких точек одна важнее другой, поскольку она ближе к очагу центральных ценностей, геометрическому месту всех точек зрения.

Государственный переворот, в котором рождается государство (даже если это незаметный процесс) свидетельствует о необычайном символическом перевороте, который в пределах определенного территориального образования, заданного благодаря созданию этой господствующей точки зрения, заставляет всех людей согласиться с тем, что не все точки зрения стоят друг друга и что есть точка зрения, выступающая мерилем всех остальных, господствующая и легитимная. Этот третий арбитр оказывается ограничением свободы воли <libre arbitre>. С одной стороны, есть свобода воли индивидов, которые претендуют на знание того, кто они такие на самом деле, а с другой — высший арбитр всех суждений свободы воли — суждений свободных и произвольных — об истинах и ценностях, арбитр, который в определенных границах получает коллективное признание в качестве

---

7. Намек на Джорджа Вайца, который писал о Дюркгейме, Сорбонне, становлении медицины и мандаринов. См.: *Weisz G. The medical elite in France in the early nineteenth century* // *Minerva*. 1987. Vol. 25 (1–2). P. 150–170.

8. *Gurvitch G. La Vocation actuelle de la sociologie*. Paris: PUF, 1950. P. 358.



того, кто выносит последнее слово по делам истины и ценности. Виновен я или не виновен? Я утверждаю, что я не виновен, другие — что я виновен, но есть легитимная инстанция, которая, как крайнее средство, может сказать: «Он виновен» или «Он невиновен», может вынести суждение об истине и одновременно о ценности, без дискуссий и без апелляций.

### Неосуществимая исследовательская программа

Анализ такого рода может показаться почти что метафизическим; часто метафизика — это просто переименованная социология, что я попытался показать на примере Хайдеггера<sup>9</sup>. Лучше знать об этом и действительно заниматься социологией. Лишь при условии, что будешь помнить об этих вопросах, можно увидеть, насколько удивительна самая что ни на есть банальная история образования государственных инстанций, парламентов и т. д. Рабочая программа, которую я собираюсь развивать, практически неосуществима, во всяком случае для одного человека. Позитивистская концепция науки, которая требует чуть ли не того, чтобы ученые никогда не выдвигали тезисы, которые они не могут тут же доказать, оказывает ужасающее воздействие — она оскотливает и калечит разум. Одна из функций науки заключается в том, чтобы создавать такие исследовательские программы, которые осознаются в качестве почти что неосуществимых; подобные программы заставляют увидеть, что исследовательские программы, которые считаются научными, поскольку они осуществимы, не обязательно являются научными. Из-за позитивистской капитуляции вместо того, чтобы искать истину там, где она есть, ее ищут под фонарем, где ее легко увидеть...

Моя программа — и я надеюсь, что смогу вас в этом убедить, — имеет прямые следствия: она позволяет увидеть, например в исторических документах или же в современных эмпирических наблюдениях, те вещи,

---

9. Бурдье П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера. М., 2003.

которые другими программами полностью игнорируются. Она обладает критическим эффектом, показывает односторонность программ, считающихся реалистическими. Следовательно, само собой разумеется, что нельзя удовлетвориться теми научными программами, которые сводят историю государства к истории налогообложения. Один очень хороший историк говорит: «Современное государство определяется тем, что, по сути своей, это введение государственного налогообложения», а пятью страницами далее утверждает: «Чтобы можно было ввести налоги, требовалось признание легитимности инстанции, вводящей это налогообложение», иначе говоря, требовалось все то, что я говорил, а именно наличие инстанций, способных заставить признать свою монополию на легитимное определение социального мира<sup>10</sup>. Простые программы опасны: они слишком легко становятся жертвой определенной формы экономизма. Большая марксистская традиция сводит процесс накопления к его экономическим аспектам, к накоплению материальных ресурсов. Например, говорят, что государство начинается с сосредоточения ресурсов, которые делают возможным распределение, но при этом имеют в виду лишь экономические ресурсы. Тогда как все сказанное мной указывает на то, что существует и другая форма накопления, не менее, а может быть и более важная, та, что делает возможным накопление экономических ресурсов.

В ряде прекрасных работ по антропологии рассматривается накопление, которое становится возможным благодаря религиозному капиталу. В Северной Африке основатели почетных братств, святые могут накапливать значительные экономические ресурсы на основе чисто символического капитала, так что потом это накопление приводит к бюрократизации, рациональному управлению этим капиталом и в то же время влечет упадок символического капитала, пропорциональный накопленному экономическому капиталу. В некоторых

---

10. Пьер Бурдьё имеет здесь в виду Баррингтона Мура. Эту критику он развивает чуть далее в разделе «Проблема “трех дорог” у Баррингтона Мура».

случаях экономическое накопление может быть подчиненным и вторичным по отношению к символическому накоплению. Одна из угроз частичных программ в том, что они обедняют реальность либо в экономической ее части, либо в политической. Некоторые историки, перенесшие в область истории логику моды и делающие вид, будто парадигмы меняются точно так же, как длина юбок, говорят: «С марксистской, материалистической парадигмой покончено». Раньше все было экономическим, а теперь все стало политическим: так, Раймон Арон<sup>11</sup> элегантно менял плюс на минус, а Маркса на Парето, если только за элегантностью можно признать какую-то научную ценность... Экономизм описывает генезис государства в логике постепенного накопления экономического капитала. Можно перевернуть позицию и сказать, что значение имеет только накопление политического капитала, в таком случае мы придумаем историю, сводящуюся к политике.

Эти искажения связаны с недостаточным удивлением тому, насколько поразительна эта проблема — говоря в категориях марксизма — первоначального накопления, которую Маркс постоянно ставил<sup>12</sup>. Ближе всего к намеренным мной исследованиям стоит известный гегелевский анализ отношений раба и господина, то есть философский анализ, ставящий в начало общественный договор<sup>13</sup>. Заниматься исторической антропологией государства, структурной историей генезиса государства — значит ставить вопрос об условиях, в которых проходит это первоначальное накопление: определенное число людей отказываются от своей власти, позволявшей быть судьями последней инстанции, тогда как другие принимают отречение от очень важных вещей — права заключать мир и объявлять войну, говорить, кто виновен, а кто нет, кто на самом деле адвокат или на

11. Особенно в: *Арон Р. Этапы развития социологической мысли*. М.: Издательская группа «Прогресс», 1993.

12. См., в частности, раздел 8 «Капитала», посвященный «Первоначальному накоплению».

13. Бурдье имеет в виду «Феноменологию духа» Гегеля: *Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа* // Сочинения. Т. 4. М.: Академия наук СССР, 1959. С. 103–106.

самом деле каменщик... Мы имеем дело с состоянием государства, когда такие вещи само собой разумеются. Но достаточно перенести их в логику генезиса, чтобы спросить себя: как же каждый конкретный каменщик мог, к примеру, отписать некоему «транскаменщику» свое право говорить, кто на самом деле каменщик?

После этой предварительной критики попыток генетической социологии или социальной истории государства, которые вписываются в традицию сравнительной истории, я хочу вернуться к своей программе. Я уже говорил вам о трех авторах, которые составляют традицию великих основателей социологии, — это Маркс с его анализом первоначального накопления, Дюркгейм с разделением общественного труда, Вебер с его описанием генезиса современных обществ как процесса рационализации. Общим для этих авторов является то, что они попытались описать чрезвычайно общий процесс, предложить глобальную историю государства. Их взгляд на государство и этот процесс организуется в соответствии с их существенно разнящимися оценками сложившегося в итоге государства. Можно было бы также упомянуть «Французскую сеньорию и английское поместье» Марка Блока<sup>14</sup>, работу, которую можно рассматривать в качестве сравнительного исследования генезиса английского государства и французского. Еще один очень важный автор, на которого я буду косвенно ссылаться, когда речь пойдет о процессах унификации рынка, выступающих параллелью к процессам создания государства и являющихся, как и процесс унификации языкового рынка, не чем иным, как результатом действий государства, — это Карл Полаanyi, который в своей «Великой трансформации»<sup>15</sup> и «Торговле и рынке в ранних империях»<sup>16</sup>

---

14. *Bloch M.* Seigneurie française et manoir anglais. Paris, 1960 [1934].

15. *Полаanyi К.* Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002.

16. *Polanyi K. et al.* (ed.) Trade and Markets in the Early Empires. Glencoe, Illinois: The Free Press, 1957. Французский перевод: *Polanyi K., Arensberg C. M., Pearson H. W.* (dir.). Les Systèmes économiques dans l'histoire et dans la théorie / C. Rivière, A. Rivière (trad.). Paris: Larousse, 1975.

изучает постепенное формирование рынка, не зависящего от ограничений, накладываемых семьей и общинами. Два других автора — это Карл Виттфогель, автор «Восточного деспотизма»<sup>17</sup>, который создает общую теорию, отправляясь от азиатского способа производства, и Раштон Кулборн с его «Феодализмом в истории»<sup>18</sup>, вышедшим в 1956 году исследованием, которое вряд ли удовлетворит современных историков, но при этом объединяет работы различных историков по японскому феодализму, средневековому феодализму, феодализму во Франции, в Англии и т. д. В своем синтезе генеалогии современного государства я буду использовать лишь некоторые результаты этих работ, но не буду пересказывать их подробно.

### История и социология

Одна из задач преподавания — если у него вообще есть какие-то задачи — состоит в том, чтобы дать ориентиры, показать карту интеллектуального универсума, а то, что я собираюсь делать, дислоцировано в универсуме, карту которого вы можете и не знать: это плод явных или неявных отсылок к этому пространству. Один из способов контролировать мысль, которая вам предложена, — контролировать не источники в наивном значении этого термина, а теоретическое пространство, по отношению к которому производится этот дискурс. В научной коммуникации всегда следовало бы не выяснять «состояние вопроса», что является занятием глупым и бюрократическим, как в «исследовательском проекте CNRS», а говорить, каково состояние научного пространства, которое вы действительно мобилизовали, чтобы задать свою проблематику. Очень часто у профанов просто нет проблематики, по отношению к которой профессионал производит свой дискурс. Профаны выбирают для себя отдельные тезисы: они за

17. Wittfogel K. A. Le Despotisme oriental. Étude comparative du pouvoir total / M. Pouteau (trad.). Paris: Minuit, 1977 [1957].

18. Coulborn R. (dir.). Feudalism in History. Princeton: Princeton University Press, 1956.

или против «Больших школ» <grandes écoles>, за [или против] прямой демократии, самоуправления и т. д. Любая наука в своей истории, в процессе накопления, который не сводится к простому сложению, вырабатывает структуры сложной проблематики. Точно так же сегодня быть художником — значит быть на высоте всей истории живописи и владеть ее проблематикой, иначе останешься наивным. Наивный посетитель галерей, не знакомый с этими проблематиками, о некоторых картинах может сказать: «И мой сын рисует точно так же...» Социолог напоминает ненаивного художника, который, к несчастью, оказывается жертвой наивных судей... В рациональной педагогической коммуникации следовало бы по крайней мере попытаться представить пространство проблем. Я дам вам несколько реперных точек; вы увидите, что три автора, о которых я буду говорить, сыграли весьма незначительную роль в создании конструкции, которую я вам предложу. Несмотря на это, они важны, поскольку представляют стихийный подход к тому, что я буду делать сегодня. Эти произведения, с которыми я совершенно не согласен, заслуживают уважительного прочтения: в них заключен огромный труд, систематические попытки, нацеленные на построение логичных подходов, выписанных в явном виде. Историки, хозяева своей маленькой монополии, могут сколько угодно насмехаться над такими попытками: они могут сказать, конечно, что это плохая социология, построенная на базе плохой истории. Но заслуга этих произведений в следующем: не довольствуясь накоплением историй, они пытаются сконструировать систематические модели, собрать совокупность черт, связанных с контролируруемыми отношениями, которые можно подтвердить или опровергнуть сопоставлением с реальностью. Я понимаю, что эти модели в какой-то мере остаются грубыми и произвольными.

Историки — это социальные агенты, работы которых являются продуктом встречи социальных габитусов, сформированных в определенной мере историческим полем как системой требований и цензур: они есть то, что есть, поскольку историческое поле такое, какое

есть. Вещи, которые они делают и не делают, в некоторой степени объясняются тем, что это поле требует от них делать или не делать. И они по праву упрекают социологов в том, что те находятся в поле, которое требует от них определенных вещей, которые могут показаться высокомерными, наглыми, хвастливыми, и в то же время не требует от них других вещей, которые историкам кажутся необходимыми и обязательными. Иначе говоря, отношения между дисциплинами, как и отношения между высокопоставленными чиновниками или художниками, — это отношения между полями с разными историями, и в этих полях люди, наделенные разными габитусами, отвечают, не зная о том, на разные программы, порожденные разными историями. То же самое можно сказать об отношении философов и социологов. Я не разделяю логики обвинения; обвинять незачем. Одна из заслуг социологии, когда она применяется к самой себе, — в том, что она все делает понятным. И если среди вас есть историки, я мог бы высказать такое нормативное положение: «Поставьте под вопрос ту программу, ради которой вы хотите отвергнуть программу, используемую в работах, которые я вам представляю, и спросите себя, не является ли такая позитивистская уверенность продуктом закреплённой цензуры, то есть травмы, и не лучше было бы, не жертвуя ни одним из традиционных требований историков, принять эту амбициозную программу...» Это наставление неявно присутствовало в моей речи, но я могу высказать его и открыто...

### «Политическая система империй» Шмуэля Нойя Эйзенштадта

Я начну с Эйзенштадта и его «Политической системы империй» [1963]. Он ставит себе задачу — которая бы обязательно привела историков в негодование — изучить двадцать государств, которые он считает принадлежащими к типу исторических бюрократических империй, то есть «доиндустриальных режимов, характеризующихся высоким уровнем централизованной власти и функционирующих благодаря значительному

аппарату безличного управления». Ключевые слова: «доиндустриальный», «централизованная власть» и «безличное управление», то есть не зависящее в своей работе и передаче от конкретных лиц. Это множество включает в себя абсолютистские государства доновременной эпохи (Францию, Англию), арабские халифаты династии Аббасидов, Османскую империю, несколько династий китайской империи, государства ацтеков и инков, Могольскую империю и ее индуистских предшественников, Персию Сассанидов, эллинистические империи, Римскую империю, Византийскую империю, империи Древнего Египта и колониальные империи (испанскую в Латинской Америке, английскую в Индии). Это похоже на перечисление у Преве-ра... но вы увидите, что эта попытка, предполагающая определенную эрудицию, и правда интересна.

Сначала о методе — он относится к традиции, называемой социологами структурно-функционалистской: ее главным примером выступает Парсонс и его понятие «профессии»<sup>19</sup>, то есть это традиция, которая пытается открыть фундаментальные характеристики всех политических систем. Ее постулат состоит в выделении структурных качеств, поскольку каждое государство должно выполнять определенное число универсальных функций. Условиями выполнения этих функций является то, что государство должно быть легитимным, должно накапливать ресурсы и т. д. Эти функциональные требования должны сопровождаться структурными качествами. Но на самом деле, как ни странно, структурно-функционалисты, по политическим убеждениям являющиеся в основном консерваторами, очень близки по этим фундаментальным постулатам к марксистам (это утверждение может показаться произвольным и упрощающим суть дела, и я должен был бы привести более веские доказательства, поскольку понятно,

---

19. См., в частности: *Parsons T. The professions and social structure // Social Forces. 1939. Vol. 17 (4). P. 457–467*; *Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический проект, 2002*. Критику понятия «профессии» со стороны Пьера Бурдьесм. в: *Bourdieu P., Wacquant L. Réponses. P. 212–213*.



что некоторых может возмутить то, что Маркс и Парсонс не слишком отличаются друг от друга, но у меня нет времени, да и особого желания заниматься такими доказательствами...).

Согласно структурно-функционалистской философии, у всех возможных политических систем и у их отношения к другим системам, составляющим общество, существуют определенные фундаментальные качества. Эти качества используются в качестве переменных, позволяющих охарактеризовать все общества. Отсюда идея создать модель. Другие подходы рассматривают общество как систему систем (политической, экономической, культурной и т. д.). Перечислив эти инварианты, можно исследовать вариации и, таким образом, определить переменные, которыми должны различаться разные государства в качестве разных комбинаций этих систем. Достоинство такого подхода в его логичности и эксплицитности... С моей точки зрения, у таких людей, как Эйзенштадт, несмотря на их тяжеловесность, есть достоинство: опираясь на теоретический аппарат мировой социологии 1960-х гг. (статусы, роли и т. д.), они пытались думать. Первая операция — классификация: надо создать классификацию типов государства, создать типологию, основанную на перечислении ряда характеристик, общих разным обществам, или ряда конфигураций черт, помня при этом, что у этих конфигураций есть систематические качества. (Сегодня такой подход снова возвращается к нам из Германии, благодаря неофункционалистской теории Никласа Лумана, весьма общей теории, которая может проглотить все что угодно. Это замечание в скобках выступает профилактической прививкой, которая пригодится, когда вы с этим столкнетесь...).

Идея состоит в том, что в политическом режиме можно выделить определенные характеристики; а режимы с одними и теми же характеристиками можно включить в один класс. В то же время нельзя забывать о том, что эти характеристики сочетаются в разных комбинациях, а потому образуют разные системы. За всем этим стоит биологическая аналогия. То есть здесь работает аналитическое мышление, которое выделяет

элементы из сложных образований, и в то же время синтетическое, которое не забывает о том, что эти элементы включаются в единичные исторические конфигурации, поэтому японское государство — не французское и не аббасидское. Вот что представляет собой эта попытка. Определив эти классификации, основанные на сравнительном исследовании, схватывающем общие характеристики, мы пытаемся выделить общие качества, своего рода историческую сущность. Характеристики, общие всем империям, отнесенным к одному типу, который станет предметом исследования, то есть к централизованным историческим бюрократическим империям, будут представлены в качестве основополагающих элементов этого политического порядка.

Первая характеристика — это ограниченная автономия политической сферы<sup>20</sup>: это универсумы, в которых политическая сфера частично отрывается от отношений родства и экономических отношений, не растворяется в них полностью. Появляется относительно автономный политический порядок. Это достижение важно — с этим должна будет согласиться любая теория генезиса государства. Такая ограниченная и относительная автономия политической сферы проявляется в возникновении в правящих кругах автономных политических целей; у них появляется политический резон, который не сводится к семейному, — это набросок того, что будут называть государственным интересом *<la raison d'État>*. Второе важное качество — это дифференциация политических ролей от других видов деятельности; например, появление особой роли функционера, отличного от воина, писца, священника. Эта дифференциация политических ролей или, если говорить марксистскими категориями, разделение политического труда сопровождается возникновением борьбы внутри политического универсума: последний становится автономным, дифференцируется, превращается в место

---

20. Об идее автономии политического поля см.: Бурдьё П. Делегирование и политический фетишизм // Социология социального пространства. М., 1993; Bourdieu P. *Propos sur le champ politique*. Lyon: PUL, 2000 (особенно P. 52–60).

борьбы. Третье качество: руководители пытаются централизовать политическую сферу; иначе говоря, осуществляется определенная работа по концентрации власти. Четвертое качество, не совсем понятным образом отличающееся от второго: возникают, с одной стороны, специальные управленческие или бюрократические инстанции, а с другой — инстанции легитимной политической борьбы, образцом которых выступает Парламент, то есть институционализированные места, в которых оказывается сосредоточена и которыми ограничивается политическая борьба. Это связано с процессом централизации и концентрации. Борьбу всех против всех, которая может проходить где угодно, заменяет место, в котором политическая борьба сможет проходить в легитимных формах, и Парламент станет театром политики — это метафора Маркса.

Я примешиваю к Эйзенштадту Маркса. Эйзенштадт говорит, что государство появляется вместе с концентрацией «свободно парящих» ресурсов, ресурсов в виде серебра, золота или технологий; можно было бы добавить еще и символические ресурсы, поскольку государство в определенной мере связано с этими свободно парящими символическими ресурсами. Процесс, описываемый Эйзенштадтом, можно анализировать как процесс дифференциации, автономизации, централизации. Он подчеркивает — и это еще одна важная идея, — что процесс централизации и концентрации свободно парящих ресурсов ограничивается тем, что он должен опираться на традиционные связи, против которых он как раз и был запущен. Я вернусь к этому очень важному моменту. Очевидно, у всех этих людей засел в голове вопрос о феодализме и переходе, если говорить марксистским языком, от феодализма к абсолютизму. Маркс навязал свою проблематику многим людям, которые стали задавать себе такие вопросы, и, может быть, еще в большей степени тем, кто в своем мышлении выступали против него. Так, структурно-функционалисты, будучи решительными противниками Маркса в политическом отношении, подчеркивают мысль о противоречии в этой концентрации ресурсов, которая осуществляется против феодалов и одновре-

менно ради них. Эту тему мы обнаружим также у Перри Андерсона.

Определив эти общие характеристики, Эйзенштадт описывает совокупность факторов, как он сам их понимает, благоприятных для появления этой исторической конфигурации или ее детерминирующих. Чтобы появилась империя или государство такого типа, необходимо, во-первых, чтобы общество достигло определенного уровня дифференциации. Традиция Парсонса, наследующая традиции Дюркгейма и Вебера, подчеркивает идею, согласно которой исторический процесс — это процесс дифференциации мира на отдельные сферы, и с этой идеей я согласен, хотя и определяю сферы не так, как они. То есть необходим определенный уровень дифференциации, особенно управления по отношению к религиозной сфере.

Во-вторых: необходимо, чтобы определенное число людей освободились от жесткого статуса традиционных аграрных отношений. Здесь можно было бы опереться на замечание Макса Вебера, который говорит: чтобы появился нотабль, то есть политический деятель в его элементарной форме, который соглашается посвятить себя общим интересам и заняться улаживанием конфликтов в деревне (что ему было не так-то просто сделать в так называемом архаическом обществе), нужно, чтобы у него уже был какой-то избыток, *skholê*, досуг, дистанция, то есть запас свободного времени<sup>21</sup>. Процесс дифференциации дублируется процессом первичного накопления ресурсов, который выражается в свободном времени, которое можно посвятить действительно политическим делам. Я несколько развиваю Эйзенштадта, опираясь на Вебера, поскольку он сам следует последнему.

В-третьих: нужно, чтобы определенные ресурсы — религиозные, культурные и экономические — больше не находились в зависимости от семьи (были «*disembedded*»), религии и т. д. Поланьи использует это понятие применительно к рынку, существующему в традиционных, докапиталистических обществах. В коллективной

---

21. Weber M. Économie et société. P. 295 sq.

монографии о торговле в империях, написанной им вместе с другими авторами, есть прекрасная глава одного английского антрополога о кабийском рынке<sup>22</sup>, которая полностью подтверждается тем, что можно было наблюдать еще сравнительно недавно. Существует рынок, куда люди привозят скот, где они покупают зерно на семена, но этот рынок встроен в семейные отношения. Например, нельзя совершать транзакции вне ограниченного социального пространства, все действия защищаются определенными гарантиями, используются всевозможные контрольные механизмы, так что чистые экономические отношения, описываемые экономической теорией, не могут стать автономными. Итак, по словам Эйзенштадта, чтобы государство существовало, должны иметься свободно парящие, «незанятые» ресурсы, каковыми могут быть доходы, символы, работники, которые первичная «аскриптивная» группа, как она называется в категориях Парсонса, не может заранее присвоить или застолбить. Наиболее важным примером тут выступает свободный работник, как он описывается у Макса Вебера в его знаменитой статье о замене слуги на востоке Германии сельскохозяйственным рабочим<sup>23</sup>. Чтобы понять то, что хочет сказать Эйзенштадт, нужно вспомнить об этом сельскохозяйственном [рабочем], который обычно включен в домашние отношения: его труд не задан в качестве труда; в детей своего хозяина он вкладывается так, словно бы это были его собственные дети; то есть он запутан аффективными отношениями. Парадокс в том, что именно поэтому не может образоваться понятие свободного труда. Чтобы работника можно было эксплуатировать, необходимо, чтобы он был свободен — Маркс прекрасно сформулировал этот парадокс, — чтобы он был освобожден от этих отношений личной зависимости от работодателя: только так он может стать свободным

22. Benet F. Les marchés explosifs dans les montages berbères // Les Systèmes économiques dans l'histoire et dans la théorie / K. Polanyi, C. M. Arensberg, H. W. Pearson (dir.). P. 195–216.

23. Weber M. Enquête sur la situation des ouvriers agricoles à l'est de l'Elbe. Conclusions et perspectives // Actes de la recherche en sciences sociales. 1986. Vol. 65. P. 65–69.

работником, выброшенным на рынок, где он будет подчинен другой форме господства, безличного и анонимного, которое распространяется на взаимозаменяемых индивидов.

Эти свободно обращающиеся ресурсы очевидным образом оказываются инструментом власти первичных накопителей капитала, инструментом их господства и в то же время ставкой их борьбы; правители заняты накоплением ресурсов и в то же время борьбой за накопление ресурсов и за присвоение накопленных ресурсов. Эта борьба, являющаяся продуктом первого этапа накопления, является также продуктом ускорения накопления. Между свободно парящими ресурсами и конфликтами, порожденными этими ресурсами и из-за них, возникает определенная диалектика. Интуиция Эйзенштадта верна, даже если ее нужно интегрировать в более сложную систему, включающую также символические ресурсы: первоначальное накопление возможно в силу наличия этих ресурсов, которые сами, благодаря вызываемым ими конфликтам, порождают развитие новых ресурсов, нацеленных на контроль использования этих ресурсов и их перераспределение. Отсюда эффект снежного кома: государство рождается в этой диалектике.

Эйзенштадт настаивает на наличии противоречия, выделяя момент, который мы обнаруживаем также у Перри Андерсона: эти империи возникают из определенного противоречия. Действительно, правители — выходцы из традиционного феодального порядка, системы власти, основанной на родстве, то есть наследственной и передаваемой власти, имеющей в большей или меньшей степени харизматический характер; в то же самое время они должны построить государство, посягнув на сами основы своего происхождения. То есть они оказываются в тисках *double bind*<sup>24</sup>, они разрываются

---

24. О понятии *double bind* <двойного послания> см.: Bourdieu P., Wacquant L. Réponses. P. 217–224. Социологическое применение этого понятия см. в: Bourdieu P., Balazs G. Porte-à-faux et double contrainte // P. Bourdieu (dir.). La Misère du monde. P. 249–256.

между почитанием феодальных ценностей, воплощающихся в них, и разрушением тех же самых ценностей. Проекты построения государства требуют разрушения того самого порядка, из которого они возникают. Эти люди должны выступить против аристократий, из которых они сами вышли, то есть должны громить привилегии аристократии, чтобы защитить ее, защитить интересы этих аристократий. Говоря в целом, они должны подорвать основания предшествующего феодального порядка, его ценности, привилегии, неявные представления, веру, чтобы выйти к новым реалиям и совершенно антифеодальным, то есть бюрократическим, безличным, анонимным представлениям. Многие из этих империй дают власть париям — евнухам, рабам, чужакам, космополитам и т. д. Причины понятны: в той мере, в какой речь идет о создании независимого политического порядка, который подчиняется законам функционирования и передачи, противным традиционным законам передачи через семью, один из способов окончательно сломать механизм — обратиться к людям вне игры. Крайним случаем оказывается евнух или же священник, соблюдающий целибат. Эти стратегии встречаются повсюду — от Османской империи до Китая. Парадокс в том, что наиболее важные позиции удерживаются людьми вне игры. Или обратный эффект: в традиции Османской империи братьев принца часто казнили, что было способом остановить дворцовые феодальные войны, связанные с претензиями на наследство, соответствующими логике наследования. Бюрократия устанавливает политический порядок, который выступает началом самому себе.

Эйзенштадт составляет типологии, разбивает исторические системы на качества, наблюдает вариации, но не теряя при этом из виду идею систематичности, связанности каждой исторической комбинации. Это еще одно из его достоинств: он описывает определенный феномен, который можно назвать «феноменом эмерджентности». Понятие эмерджентности связано с эпистемологической традицией, в которой мы переходим от одной системы к другой не путем простого сложения, а посредством качественных скачков, отвечающих изменениям в струк-

туре элементов<sup>25</sup>; так, можно говорить об эмерджентности политического порядка, когда мы имеем в виду не то, что он всего лишь результат сложения ранее имевшихся элементов, а то, что каждый из этапов этого процесса сопровождается изменениями всей структуры. Еще одна часто используемая метафора — это идея кристаллизации: в определенный момент разрозненные элементы оформляются и составляют определенную комбинацию (Альтюссер жонглировал с понятием комбинации...). Возникающие комплексы обладают системными качествами, связанными с существованием паттернов, глобальных самоподдерживающихся структур.

Я крайне несправедлив к Эйзенштадту, но, учитывая законы передачи знаний в нашем французском универсуме, у вас были все шансы никогда о нем не услышать. Возможно, то, что я вам о нем рассказал, подготовит вас к его позитивному и конструктивному прочтению...

### Две книги Перри Андерсона

Теперь я вам вкратце расскажу о двух книгах Перри Андерсона, «Переходах от античности к феодализму» и «Родословной абсолютистского государства». Как и Эйзенштадт, Перри Андерсон принадлежит к традиции тотальной истории, которая стремится схватить историческое движение в его целостности и не довольствуется изучением истории государства, армии, религии и т. д. Он стремится постичь целое ради того, чтобы, как открыто признавал Марк Блок, понять настоящее. Вопрос Андерсона совершенно наивен: как получилось, что во Франции есть революционная традиция, тогда как Англия так и не совершила своей революции? Почему во Франции есть такие критические мыслители, как альтюссерянцеы, а в Англии есть мыслители-конформисты? Вот как он ставит проблему,

---

25. Бурдые ссылается здесь на «Структуру научных революций» Томаса Куна: Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2003.



я если и утрирую, то не сильно... Ту же проблему можно сформулировать изысканнее: каковы факторы, благоприятствующие социалистическим силам в Англии? Из глобальной сравнительной истории трех западных государств, к которым он в целях сравнения добавляет еще и Японию, он желает извлечь инструменты для понимания частных особенностей Франции и Англии, которые он одобряет или, наоборот, порицает. Он критикует марксистский эволюционизм. Его проект является целиком и полностью веберовским, хотя он и работает в марксистской традиции: он пытается постичь специфику истории Западной Европы, сравнивая, во-первых, историю Европы (от Греции до Франции Бурбонов или до царистской России) с историей Востока или Ближнего Востока (от Византии до Турции) или же с историей Китая, чтобы увидеть, каковы особенности европейской истории, если смотреть с точки зрения построения государства. И, во-вторых, сравнивая в рамках западной истории развитие Восточной Европы и Западной. Вы можете легко понять, что на самом деле он пытается выяснить, почему социализм является тем, чем он стал в России: не связан ли он с предшествующей историей государства на Востоке и на Западе Европы? И вы увидите, что Баррингтон Мур, третий автор, о котором я буду рассказывать, совершенно откровенно говорит о том, что его задача — понять «три большие дороги», ведущие к западной демократии, к фашизму и к коммунизму. Эту задачу он пытается решить за счет сравнения истории Китая и России, с одной стороны, Японии и Германии — с другой, и европейских стран — с третьей. Он стремится выявить объяснительные факторы в историях трех этих больших традиций.

В современных дискуссиях по поводу восточных событий [падения Берлинской стены в 1989 г.] люди, не особенно разобравшись, манипулируют подобными предметами, не потрудившись выписать в явном виде свои модели и, главное, не имея на то способностей, поскольку это потребовало бы значительной исторической проработки. Преимущество построения моделей в том, что оно заставляет прояснять систему вопросов.

Вот почему становятся намного более очевидными вопросы (наивные политические вопросы или же наивные именно потому, что они политические), которые задают себе историки, занимающиеся сравнительной историей. Историки, занимающиеся просто историей, задают вопросы того же типа — по поводу Французской революции, — но в их случае это не так очевидно, просто потому что модели носят менее явный характер. А с явно проработанной моделью проще спорить, чем с моделью зачаточной, хитро припрятанной под якобы нейтральным материалом. Было бы слишком просто умничать и издеваться над исследованиями такого типа, тем более что в моем изложении я не рассказываю вам об огромной исторической работе, необходимой для построения этих моделей: я даю вам лишь общие схемы. Но хотя эта историческая работа основана на второисточниках — я и сам на протяжении многих лет пытаюсь привить себе эту культуру работы с второисточниками, — не так-то просто ориентироваться в этом универсуме знаний. Я говорю это, поскольку это самое малое, что можно сказать о людях, которые провели такую работу.

У этих авторов есть скрытые цели, они зависят от проблематики, связанной с настоящим и интеллектуальной традицией, к которой они принадлежат. Два основных типа их проблем — это марксистская проблема, о которой я недавно упоминал, и проблема исторического итога различных траекторий. Отвечают они на них по-разному. Андерсон желает реабилитировать европейские абсолютистские режимы, преодолев амбивалентное отношение Маркса к абсолютным монархиям Европы Нового времени. К этим абсолютным монархиям он применяет классический анализ капитализма, предложенный Марксом: если Маркс и Энгельс характеризуют современную Европу как исполнительный «комитет по управлению общими делами всей буржуазии», точно так же Андерсон считает абсолютистские монархии, например Францию времен Людовика XIV, исполнительными комитетами, ставшими последним оплотом общих интересов феодальной знати в целом. Абсолютистское государство — это последний

заслон феодальной знати, который будет сметен революцией, это «аппарат управления, сооруженный феодальной знатю в своих собственных целях», режим, который служит феодальной знати. Но, если демократическое капиталистическое государство, по Марксу, должно дисциплинировать и даже уничтожать отдельных капиталистов, чтобы утвердить капиталистический порядок, точно так же — и это, по Андерсону, главное противоречие абсолютистского порядка — абсолютистский порядок должен дисциплинировать и даже уничтожать некоторых сеньоров или же некоторые секторы феодальной касты, чтобы спасти феодальную систему эксплуатации, а именно крепостной труд. Важное возражение на тезис о том, что абсолютистское государство работает на феодалов, состоящее в указании на феодальные бунты, не является, с точки зрения Андерсона, по-настоящему убедительным. Чтобы спасти интересы класса, абсолютизм должен пожертвовать частью этого класса, и бунтует именно та его часть, которую принесли в жертву, так что этим не доказывается то, что абсолютистское государство не служило общим классовым интересам. Другими словами, сопротивление феодальной знати — не аргумент против феодальной природы режима.

Абсолютизм предоставляет феодалам Запада, потерявшим крепостную рабочую силу, компенсацию в виде собственности, придворных должностей, пребенд. Накопление, обеспечиваемое налогами, и распределение, обеспечиваемое накоплением, позволяют знати получить компенсационные субсидии, способные восполнить дефицит феодальных доходов. С позиции феодалов Востока, абсолютизм, представляющийся, впрочем, заимствованием, нужен не только для того, чтобы компенсировать утрату феодализма, но и чтобы его сохранить. Важное примечание, которое мы встретим также у Мура: восточные государства — это индуцированные государства, они построены по образцу государств западных, английского и французского, словно бы само государство могло стать предметом импорта. Эти марксистские историки, не слишком довольные судьбой марксистских режимов, задают себе такой вопрос: почему марксизм в России принял ту форму, которую

принял? Нет ли у государства, которое родилось самостоятельно, особых качеств, отличающих его от государства, которое было порождено на основе заимствования, импортированного образца.

Той же самой логике следует книга еще одного очень известного историка, Александра Гершенкрона, посвященная экономической отсталости русского капитализма<sup>26</sup>. Невозможно понять судьбу капитализма в России, не поняв, что этот капитализм начал свой путь позже остальных, когда французский и английский капитализм был уже вполне развит. Его *backwardness* «отсталость» связана с тем, что он возник после них. Марк Блок, оспаривая общее место стихийной социологии англосаксов, утверждает, что английское государство сформировалось раньше французского<sup>27</sup>. Не обязано ли государство, сформировавшееся по своей собственной логике и вследствие стихийно возникшего плана, этому качеству стихийности какими-то другими своими особенностями и, в частности, той, что неизменно поражает наблюдателей, то есть тем фактом, что это государство смогло сохранить крайне архаичные функции, начиная с королевской власти, даже после промышленной революции? Это приводит к еще одной ложной проблеме, которую Маркс завещал историографической традиции, проблеме буржуазной революции: почему в Англии никогда не было буржуазной революции? Для английских марксистов это очень больной вопрос; тогда как японские марксисты написали кучу работ, чтобы ответить на вопрос о японском пути как отклонении от единственного пути, ведущего к единственной истинной революции, революции буржуазной... Этот перестроенный феодализм в разных странах принимает совершенно разные формы. Иногда встречаются ужасно наивные тезисы. Перри Андерсон так объясняет странность скандинавского пути: главный фактор скандинавской специфики заключается в особой природе социальной структуры викингов, то

26. Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015.

27. Bloch M. *Seigneurie française et manoir anglais*. P. 56–57, 137–138.

есть у нас получается замкнутый круг. (Но, хотя я и говорю так, сегодня, по крайней мере, я хотел бы преподать вам урок доброжелательного чтения, то есть чтения на основе правильно понятого интереса. Я не понимаю, зачем читать книги, которые презираешь, — ты либо читаешь книгу, либо нет... Доброжелательное чтение, основанное на правильно понятом интересе, означает, что читать книгу надо так, чтобы было интересно.)

Вернусь к Скандинавии. При подробном прочтении история определенной страны становится *one way*, односторонней, как история индивида. Одна из функций понятия габитуса — напомнить о том, что первые события жизни ориентируют вторые, а те — третьи: мы воспринимаем то, что случается с нами, посредством структур, которые были заложены в наше сознание тем, что с нами случилось, — это банально, но об этом все же нужно помнить. Мы не начинаем нашу историю каждый раз заново; и то же самое относится к стране. Если в прошлом существовала социальная структура викингов, это в каком-то смысле важно; остается изучить, что же означает этот «путь викингов», как именно он определил институты, как последующие институты были предопределены сознанием, которое само было выстроено этими предшествующими институтами. Я уже в какой-то мере обрисовал научную позицию, которую собираюсь развивать. Я попытаюсь показать, как подлинная генетическая история или историческая социология пытается схватить эти процессы непрерывного творения, нацеленные на преобразование структур с учетом ограничений, объективно вписанных в структуру и сознание людей, то есть процессы, которые меняют структуру и сами в определенной мере оформляются предыдущим состоянием структуры. Философия истории, которой я буду придерживаться в будущем исследовании, состоит в том, что в каждый момент времени вся история наличествует в объективности социального мира и в субъективности социальных агентов, которые творят историю. Это значит не то, что мы пленники фатальной системы, в которой из начального момента можно было бы вывести все последую-

щие, но то, что в каждый из моментов пространство возможностей не является бесконечным. Можно также спросить себя, не будет ли пространство возможностей сужаться...

Андерсон развивает отмеченное у Эйзенштадта противоречие между абсолютистским государством и феодализмом. Этот тезис встречается уже у Маркса и Энгельса. Например, Энгельс говорит: «Государственный строй оставался феодальным, тогда как общество становилось все более и более буржуазным»<sup>28</sup>. Это старое противоречие, которое не раз отмечалось. Андерсон немного его углубляет и описывает конфликты, упоминавшиеся уже Эйзенштадтом: абсолютистское феодальное государство как перестроенный феодальный аппарат было вынуждено проводить репрессии по отношению к тем, чьим интересам оно служит. Абсолютистские государства работают в качестве репрессивной машины феодального класса, незадолго до этого уничтожившего традиционные основы общины, и в то же время они подрывают устои феодального порядка, осуществляя прямой налоговый контроль, который приходит на смену феодальному налогообложению. Чтобы служить интересам феодального класса, абсолютизм должен выступить против феодализма. Замечание по ходу дела: Андерсон приписывает очень большое значение римскому праву, поскольку у Запада было это античное наследие и поскольку существует особый западный путь. *Lawyers*, которые стоят у истоков современного государства, могли обращаться к капиталу накопленных юридических ресурсов, используемому в качестве особой техники.

Я собирался сравнить Эйзенштадта с Перри Андерсоном, чтобы показать вам, что за внешним противостоянием структурно-функционалистской и марксистской традиций скрывается немало сходств. Эту мысль можно подытожить так: Эйзенштадт — это функционализм

---

28. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. Т. 20. С. 106.

для всех, тогда как Андерсон — это функционализм для некоторых. Эйзенштадт спрашивает себя, каковы функции государства для всего социального порядка, для всех классов вместе, тогда как Андерсон задается вопросом о классовых функциях для господствующих слоев данного конкретного времени, то есть для феодалов. Но главное в том, что оба они функционалисты: вместо того чтобы спрашивать, что делает государство и каковы условия, которые должны выполняться, чтобы оно могло делать то, что делает, они выводят то, что оно делает, из функций, которые они постулируют почти что априорно: среди этих функций поддержание единства, обслуживание чьих-то интересов и т. д.

### Проблема «трех дорог» у Баррингтона Мура

Третий историк, о котором я буду вам рассказывать, — это Баррингтон Мур, который в своей работе «Социальные истоки диктатуры и демократии» откровенно заявляет, что его задача — понять роль правящих землевладельческих классов и крестьян в революциях, которые привели к трех разным результатам — капиталистической демократии, фашизму и коммунизму. Это проблема «трех дорог», и чтобы ответить на этот вопрос, он сравнивает Англию, Францию и США, которые являются примерами буржуазных революций, ведущих к демократии, с Японией и Германией как примерами консервативных революций, которые привели к фашизму, и с Китаем как примером крестьянской революции, которая ведет к коммунизму. Из рассмотренных мной авторов он самый последовательный компаративист: он желает выделить определенную переменную, которая будет считаться главной, и посмотреть, что меняется, когда эта переменная тоже меняется. Очевидно, для этого требуется выхолостить материал, и сколько-нибудь компетентный историк сказал бы, что так делать нельзя. Но я повторю, что явная ошибка лучше скрытого заблуждения, лучше построить систему объяснительных факторов, ограниченных в своем действии, зато эксплицитных, чем менять объяснительную систему от одной страницы к другой.

Например, Мур пишет, что государство рождается вместе с налогом и что это самое главное, но через три страницы он уточняет, что, если бы легитимность государства не признавалась, не было бы и налога... (В этой манере мысли я вижу аналогию с оппозицией мифологической мысли и рациональной: одно из условий частично согласованной работы мифологических систем в том, что они никогда не проверяются одновременно; если в какой-то момент вы говорите: «Мужчина относится к женщине так же, как солнце к луне», а потом: «Мужчина относится к женщине, как жаба к лягушке», вы не должны сопоставлять два этих тезиса, вы просто используете одни и те же практические схемы — «ремесло историка». Подобные конструкции не поддаются прямому испытанию, для которого открыты люди, заявляющие: «Я возьму три объяснительных фактора и посмотрю, как они меняются». Так что это прогресс.)

С точки зрения Баррингтона Мура, в контексте образования государств Нового времени нужно рассмотреть отношение между тремя категориями: крупными земельными собственниками, крестьянами и городской буржуазией. Он пытается дать объяснение характеристикам трех рассматриваемых им результатов на основе того, как сочетаются друг с другом эти элементы. Демократия возникает в тех традициях, в которых существует условное равновесие между тремя путями, где нет союза между аристократией и буржуазией, оседлавшими крестьянство и рабочих, где существует достаточно сильная коммерческая, городская, буржуазная тенденция, выступающая противовесом к феодальным традициям. Если рассмотреть три типа вместе, каждый представляется отрицанием других. Япония и Германия характеризуются дисбалансом, благоприятствующим земельной аристократии, сохранением феодальных традиций, которые по-прежнему довлеют над государственными бюрократиями. Юнкеры первыми проникли в большой государственный аппарат: давления со стороны капиталистических групп, которое могло бы стать противовесом, не было достаточно, чтобы сгладить политические последствия определенной формы



сельского хозяйства, притесняющей крестьян и использующей весьма сильные политические рычаги<sup>29</sup>. Чтобы отличить Японию от Германии, он добавляет, что в случае Японии феодальная связь имела особые качества, поскольку в ней подчеркивалась лояльность военного рода, дисциплина, тогда как лояльность договорного и более свободного типа принижалась. Модель усложняется, когда в расчет принимается относительный вес трех сил. В случае дороги к коммунизму тенденции коммерциализации, капиталистическое городское и буржуазное развитие вместе с соответствующими ему ценностями оказываются слабыми, тогда как репрессивные формы сельского хозяйства — очень сильными (крепостной труд и т. д.), так что абсолютистские силы вызывают крестьянские бунты, которые механическим образом переворачивают формы прежнего господства. В итоге мы имеем продление примитивного абсолютизма.

Я разочарован этими авторами, которых я тем не менее уважаю. Я хотел бы далее вкратце рассказать о схеме, которую намеревался вам предложить, схеме, которая не состоит из фрагментов, взятых у разных авторов. Я хотел бы дать вам инструменты, чтобы критиковать модели, продемонстрировав, как они стыкуются внутри себя. В следующий раз я попробую показать вам, что нужно изменить философию истории, чтобы с большей систематичностью объяснить те же самые вещи и по ходу дела вернуться к некоторым моментам, замеченным этими авторами, которых я призываю прочитать...

---

29. По этому вопросу см. сравнение Японии и Германии: Мур-мл. Б. Социальные истоки диктатуры и демократии. Гл. 5 «Азиатский фашизм: Япония». С. 211–283; «Теоретические следствия и прогнозы». С. 371–455.

## Лекция 15 февраля 1990 года

*Официальное и частное. — Социология и история: генетический структурализм. — Генетическая история государства. — Игра и поле. — Анахронизм и иллюзия номинального. — Две стороны государства.*

### Официальное и частное

**Я** ПОЛУЧИЛ ряд вопросов, на которые я, вопреки обыкновению, не буду отвечать прямо: они крайне сложны и лежат в основе того, что я пытаюсь сделать. Один из них касается контроля насилия, другой — логической роли государства как инстанции рационализации. Две эти проблемы будут рассмотрены позже, то есть в следующем году.

Вернусь к основной линии моего изложения. В прошлый раз я подчеркнул вопрос официального и создания монополии на официальное, благодаря чему можно было по-другому поставить вопрос о создании монополии на легитимное символическое насилие. Я напомнил о том, что государственные агенты характеризуются тем, что они наделены должностями, называемыми официальными, то есть официальным доступом к официальной речи, той, что циркулирует в официальных инстанциях и в государстве. В конечном счете, можно было бы сказать, что государство — это место циркуляции официальной речи, регламента, порядка, мандата, именованного и назначения. В этой логике государство, выходит, характеризуется тем, что оно является местом универсально признанной власти, признаваемой даже в протестах, что является парадоксом, которым я займусь далее. Государство — это место признанной власти, за которым стоит социальный консенсус, консенсус, которым обеспечивается инстанция, обязанная определять общественное благо <bien public>, то есть то, что хорошо для публики, на публике, для совокупности людей, определяющих публику. Можно было бы сказать, что один из парадоксов государства

состоит в том, что обладатели монополии на общественное благо — это еще и обладатели монополии на доступ к общественным благам. В одной из прежних лекций я, следуя логике скорее социологической, чем традиционно философской, противопоставил марксистский взгляд на государство и гегельянский, предположив, что они представляют антагонистические полюса определенной антропологии государства. Я считаю, что две эти версии государства, кажущиеся антагонистическими, на самом деле представляют собой лицевую и оборотную стороны одного и того же листа: невозможно иметь гегельянское государство без марксистского. (Эти лозунги носят мнемотехнический характер, но они немного опасны. Такие вещи я бы не стал писать, однако преподавание нужно, чтобы говорить вещи, которые не пишут, и чтобы сделать коммуницируемыми те вещи, о которых пишешь, — говоря какие-то более простые, более элементарные и грубые вещи, которые письмо не может передать или вынести.) По сути, главный тезис, который я хотел бы здесь развить, состоит в своего рода фундаментальной двойственности государства: те, кто воплощают в себе общественное благо, именно в этом качестве подчинены некоторым обязанностям, например, одно из качеств государственных деятелей в том, что у них нет частной сферы, так что они всегда находятся в режиме публичного представления, даже когда речь об их частной жизни.

Согласно исследованию Моник де Сэн Мартен<sup>1</sup>, дворянин — это тот, кто занят представлением даже в домашней жизни, то есть тот, у кого вместо частного официальное. Благородное образование постоянно, с самого детства, учит будущих дворян подчиняться даже в домашней жизни правилам, которые обычные люди должны выполнять только на публике, только на людях. Политические деятели и особенно представители государственной знати, имеющие доступ к политиче-

---

1. *Saint Martin de M.* Les stratégies matrimoniales dans l'aristocratie. Notes provisoires // Actes de la recherche en sciences sociales. 1985. No. 59. P. 74–77; переиздано в: *Idem.* L'Espace de la noblesse. Paris: Métailié, 1993. P. 217–243.

скому полю как месту легитимной, официальной политики, но также высокопоставленные чиновники как государственная знать подчинены всевозможным ограничениям, применяющимся также и к частному миру. В предельном случае у них вообще нет частной жизни, поскольку последняя всегда может быть вынесена на обозрение, подвергнуться тому разоблачению, которое состоит в публикации частного. Стоило бы подумать о роли таких сатирических газет, как «Le Canard Enchaîné». Их очевидная политическая функция состоит в нарушении границы, которую официальные или полуофициальные газеты, такие как «Le Monde», нарушать не могут. Такие газеты разоблачают скандалы, но лишь при определенных условиях и в определенных рамках, в довольно редких случаях. Есть официально уполномоченные или, по крайней мере, самоуполномоченные органы, нужные, чтобы нарушать эту границу официального и частного, чтобы сделать официальным, то есть публичным, то частное, которое может противоречить официальному определению данного частного лица. Здесь есть, о чем подумать, и в данный момент я работаю над этой темой.

Я предложу вам небольшой трюк, чтобы показать, как, отпавляясь от анализа, который может быть абстрактным, изучать вполне конкретные операции, и сейчас я работаю над юридической защитой частной жизни; об этих вещах мы часто слышим, обычно ничего определенного, и серьезно они не исследуются. Предположим, какую-то звезду фотографируют в купальнике, а «Le Canard Enchaîné» публикует фотографию недавней встречи двух политиков, Ширака и Ле Пена, — есть ли в последнем случае такое же посягательство на частную жизнь, как и в первом? Должно ли применяться одно и то же право в обоих случаях? Должны ли быть тождественными наказания? Каково официальное определение официального и частного в двух этих случаях? Как выпутываются судьи, являющиеся обладателями официального права высказывать официальную позицию? Изобретение фотографии привело к куче проблем, которых раньше просто не было. Художники всегда были официальными художниками: они писали

ню, но в соответствии с официальными определениями, тогда как фотограф, который фотографирует ню по случаю, без согласия фотографируемых людей, подпадает под действие судебной практики, применяемой в случае скандалов. Здесь намечается направление многих исследований.

(Нужно схитрить с «большими проблемами»: если говорить о Государстве с большой буквы, с обычной философской помпой, можно добиться определенного успеха, но я не думаю, что это удачная стратегия, поскольку это слишком сложные проблемы; моя стратегия, которую я постоянно применяю, состоит в том, что к таким большим проблемам надо подойти с уязвимой стороны, там, где они выдают самое важное, скрытое под покровом малозначительности.)

Мои предшествующие выкладки вели к некоторым вопросам, которые я попытаюсь поставить в историческом контексте. Я уже развил мысль о том, что государство можно охарактеризовать как создание официальных ресурсов, легитимного символического насилия. Теперь же я поставлю вопрос об истории генезиса государства, отправляясь от определения государства как места, созданного агентами, уполномоченными говорить об общественном благе, быть самым этим общественным благом и присваивать общественные блага. В так называемых социалистических странах сановниками были люди, которые во имя обобществления средств производства присваивали общественные блага и обладали практически беспрецедентной привилегией, что как раз и объясняет странность этих режимов, привилегию присваивать во имя уничтожения любых привилегий такие общественные блага, как служебные квартиры, официальные издания, официальное радио и т. д. У нас все это проявляется в более мягкой форме, но у нас тоже есть служебные машины, официальные должности, издания и эскорт. Это легитимное присвоение общественных благ возникает в силу того, что является одновременно долгом и привилегией, то есть обязанностью быть на высоте привилегии, не иметь частной жизни: официальные лица получают определенные привилегии лишь при условии, что они заслу-

живают их, отдавая дань уважения, по крайней мере официально, ценностям, которыми эти привилегии легитимируются.

Напомнив обо всех этих моментах, я надеюсь теперь ограничиться двумя этапами, которые я хотел бы здесь отметить, иначе моя речь станет незаконченной симфонией... На первом я буду говорить о том, что значит заниматься историей генезиса государства, а на втором — как этот подход к исторической работе отличается от некоторых обычных способов. Сначала я упомяну проблему метода, а затем представлю общее направление этого описания генезиса. По сути, я дам вам резюме курса об историческом генезисе института государства, который буду читать в следующем году.

### Социология и история: генетический структурализм

Первый этап: специфика метода. Что значит исторически описать генезис государства? Действительно ли сравнительный метод, как он применяется тремя упомянутыми мной учеными, является единственным вариантом? Действительно ли мы, если нам нужно сформулировать универсальное суждение о генезисе государства, обречены заниматься общим сравнением форм государства вплоть до советского государства, изучая в том числе и государство империй инков? Мой ответ отрицательный: можно изучать отдельный случай — или небольшую подборку отдельных случаев — таким образом, чтобы задачей было выделение в них универсальных форм государства, логики генезиса определенной логики. Доказательство этого тезиса было бы длинным и сложным. Я уже в какой-то мере наметил его собственными оговорками, в частности, касательно Эйзенштадта и Перри Андерсона: мне представляется вдвойне оправданным сделать основным предметом случай Франции и Англии, которые вполне осознанно рассматриваются в качестве особых случаев универсума возможностей, то есть в качестве случаев привилегированных, поскольку исторически то, что было в них изобретено, послужило образцом для всех остальных

форм современного государства. Заниматься исторической социологией или же социальной историей — значит изучать частный случай, но при этом, как говорил Башляр, задавая его в качестве особого случая из множества возможных, схватывая его частность как таковую, частность, которую можно сравнить с возможными случаями. Я часто буду обращаться к сравнению Англии и Японии. Можно было бы найти немало оправданий для такого подхода, не только методологических, позволяющих считать их особыми случаями, но также потому, что исторически они приобрели особое свойство, став общим образцом, то есть единичными случаями, на основе которых оформлялись образцы, впоследствии генерализованные.

Чтобы объяснить выбор этих частных случаев, можно было бы найти множество исторических оправданий. Например, в «Капитале» Маркс говорит, если огрублять, то, что историк поступает аналогично физики, который наблюдает физические явления, когда они обнаруживаются в своей наиболее типичной форме, наиболее свободной от внешних возмущений. Каждый раз, когда это возможно, Маркс пытается проводить эксперименты в условиях нормальности, то есть предполагая, что явление принимает свою нормальную форму, не искаженную чем-то другим. Когда встает вопрос об изучении капиталистического способа производства и его условий, Маркс говорит, что воспользуется классическим случаем Англии, поскольку Англия — это не только излюбленная иллюстрация, но и, главное, экзemplарный, чистый случай. Аналогичные заявления можно было бы найти у Марка Блока в его исследовании феодализма, в котором два случая, рассматриваемые им в качестве образцовых, — это тоже Франция и Англия. Он подчеркивает, что два этих случая содержат в полной форме тот исторический архетип, который он пытается выделить, так что собственно вариации позволяют полнее схватить инвариант<sup>2</sup>.

Но главная моя цель — оправдать такого рода исторический анализ применительно к социологии. Можно

---

2. Bloch M. *Seigneurie française et manoir anglais*. Paris, 1960 [1934].

воспроизвести классическое противопоставление: социология изучает общие инвариантные законы, тогда как историк изучает отдельные датированные случаи. Эта оппозиция Дюркгейма и Сеньобоса, первоначально историческая, стала определять бессознательное культурной публики<sup>3</sup>. Тогда как мне она кажется абсурдной: невозможно заниматься социологией какого-либо современного явления, не занимаясь при этом генетической историей или генетической социологией этого явления. Социология, как я ее понимаю, — это генетический структурализм или же структурная генетика. Социолог — это тот, кто занимается сравнительной историей частного случая из настоящего; социолог — это историк, который своим предметом делает настоящее, намереваясь представить это настоящее в качестве частного случая и включить его в универсум возможных случаев. Важно избежать серьезной ошибки, которую порой допускают как историки, так и социологи, а именно неосознанного обобщения частного случая, извлечения всеобщих выводов из частного случая, который не был задан в своей частности. Когда я говорю: «Я французский преподаватель», я забываю задать себя в качестве частного случая возможного; я могу извлечь всеобщие выводы, например касательно функций воспроизводства, которые являются необоснованным обобщением частных качеств частного случая.

Граница между социологией и историей не имеет никакого смысла. У нее есть лишь историческое оправдание — в той мере, в какой она связана с традициями разделения труда. И если она сохраняется, причина только в социальных интересах, связанных с существованием дисциплин, то есть наличием инвестиций во время, в обучение, психологических инвестиций. То же самое относится к границе антропологии и социологии: она существует как социальный факт и соответствует

---

3. Позиция Дюркгейма в этом, впоследствии ставшем знаменитом, споре с историком Шарлем Сеньобосом изложена в работе: *Durkheim É. Débat sur l'explication en histoire et en sociologie // Bulletin de la société française de philosophie. 1908. Vol. 8; переиздано в: Durkheim É. Textes. Paris: Minuit, 1975. Т. 1. P. 199–217.*



критериям «Национального центра научных исследований» <CNRS>, то есть института, в котором есть директора, председатели, посты и определенные ментальные структуры. Противопоставление социологии и истории является историческим артефактом, сконструированным исторически и подлежащим исторической деконструкции. Задача историзации — освободить от этих исторических ограничений, внедренных в бессознательное историей. Я повторю изречение Дюркгейма: «Бессознательное — это история». Исследовать историю определенной дисциплины или государства — значит исследовать бессознательное каждого из нас, которое, согласуясь с другими бессознательными, приобретает реальность столь же объективную, как реальность главы государства. Сила социального мира заключается в этой настройке бессознательных, ментальных структур. Так что нет ничего более сложного, чем провести революцию среди ментальных структур. Вот почему революции часто терпят поражение, когда задаются целью создать нового человека (нового *homo oeconomicus* или же нового *homo bureaucraticus*). Таким же продуктом истории является разделение истории и географии; в их существование как отдельных дисциплин вложены фантастические социальные силы, так что, возможно, проще реформировать социальное страхование, чем отказаться от университетского разделения дисциплин.

Этот генетический структурализм, который я считаю конститутивным для социальной науки в целом и который состоит в той идее, что один из способов понять работу социального — это проанализировать его генезис, имеет научное оправдание. Но я чувствую себя обязанным как-то объяснить то, что, по сути, кажется самоочевидным и даже банальным, просто потому, что такие вещи на самом деле не самоочевидны, и достаточно будет, чтобы каждый из вас оказался в ситуации, когда надо будет использовать на практике то, что я сейчас вам говорю, чтобы увидеть, как тут же срабатывают старые дисциплинарные рефлексy, имеющие определенные практические последствия. Я буду изгонять их, и то, что я говорю, можно понять, зайдя со

стороны Дюркгейма. Дюркгейм был убежден, что для понимания социальных структур нужно вернуться к элементарному, и это заставило его заняться в первую очередь антропологией — в его книге «Элементарные формы религиозной жизни» или в написанной им совместно с Марселем Моссом статье «О некоторых первобытных формах классификации»<sup>4</sup>. Он искал элементарное в первобытном. Главным инструментом его генетического мышления была антропология: с его точки зрения, первобытные формы ведут к элементарному. Это метафора из химии: элементарное — это то, на основе чего можно путем комбинаций получить комплексное.

Этот фантазм элементарного был в какой-то момент возрожден благодаря лингвистической модели: мечтали получить систему фонем, при помощи которой можно было бы реконструировать языки. У меня другое намерение; я не думаю, что поиски исходного — то есть, в нашей собственной традиции, средневекового государства, — следует смешивать с поисками элементарного. С моей точки зрения, исходное — это место, в котором складывается ряд вещей, которые, когда они уже сложились, остаются незамеченными. Исходное там, где суть, это место, в котором видна борьба, поскольку сопротивление созданию государства весьма значительно. По причинам, которые можно понять, лучшие историки забывают о маргинальных группах, о подвластных. Конечно, изучают бунты против налогов, но не изучают сопротивление лингвистической унификации или же унификации мер и весов. Начала интересны не потому, что они представляют собой место элементарного, а потому, что это место, в котором видна фундаментальная двойственность государства: создатели теории общественного блага сами же им и пользуются. Двойственность государства намного лучше заметна на его первых шагах, поскольку государство существует в нашем мышлении и мы постоянно

---

4. Дюркгейм Э., Мосс М. О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию коллективных представлений // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М.: КДУ, 2011. С. 56–125.

применяем государственную мысль к государству. Поскольку наше мышление в значительной степени является производным от его предмета, оно не замечает главного, в частности этой принадлежности субъекта объекту.

Такой генетический структурализм должен установить специфическую логику генезиса бюрократической логики и в то же время описать специфическую природу этой логики. Это проблема практических логик как противоположности логических логик<sup>5</sup>. Специалистов по социальным наукам, историков и социологов часто критикуют специалисты по более развитым наукам, которые все чаще стремятся заняться науками социальными и вершить суд, пользуясь своим статусом в своих более передовых науках. В одной превосходной статье точные науки названы мужскими, а мягкие науки — женскими<sup>6</sup>. Качественные науки и количественные: эти противопоставления не являются нейтральными ни в социальном плане, ни в сексуальном, они оказывают крайне пагубное воздействие. Помимо того, что специалисты по мягким наукам порой начинают подражать внешним признакам точных наук и могут, таким образом, без особого труда получить символические прибыли, более серьезная опасность заключается в том, что специалисты по точным наукам, вступив в сговор с некоторой частью специалистов по мягким наукам, способны навязать такую концепцию логики исторических предметов, которая не соответствует действительности. В своих исследованиях кабийского ритуала или категорий французских преподавателей, выявляемых благодаря анализу некрологов выпускников Нормальной школы или же суждений об учениках, выносимых преподавателями<sup>7</sup>, я убедился в том, что логики, со-

---

5. Об этом вопросе см. главу «Демон аналогии» в: *Бурдьё П.* Практический смысл. С. 165; а также: *Он же.* От правила к стратегиям // Начала. С. 93–116.

6. *Storer N. W.* The hard sciences and the soft // *Bulletin of the Medical Library Association.* 1967. Vol. 55.

7. *Bourdieu P.* Homo academicus. P. 97–167; *Idem.* Les catégories de l'entendement professoral (переиздано в: *Idem.* La Noblesse d'État. P. 48–81.)

гласно которым функционируют социальные агенты и институты, можно было бы назвать мягкими, нечеткими: существует логика исторического, которая не совпадает с логикой логики. Меряя результаты работы специалистов по социальным наукам аршином логик логических, социальную науку попросту увечат, лишая ее наиболее свойственных ей качеств. Одна из наиболее важных задач специалистов по социальным наукам — осознать специфическую логику своего предмета и не менее специфическую логику своей работы с этим предметом, чтобы заставить признать свою особую строгость, которая не имеет ничего общего с логической логикой, которую можно встретить на теоретическом уровне в некоторых научных универсумах. Терроризм логической логики влияет также и на другие науки о человеке, признаваемые более «передовыми», например на биологию.

Практические логики — институты, человеческие практики — должны определяться своей спецификой, и одна из серьезных научных ошибок в исторических науках состоит в том, что сами эти науки оказываются строже своего предмета, то есть в дискурс о предмете закладывается больше строгости, чем есть в предмете, дабы соблюсти требования строгости, которые диктуются не предметом, а полем производства дискурса об этом предмете. Подобные фальсификации, вполне искренние и стихийные, довольно серьезны, особенно потому, что они не позволяют выверять логику дискурса логикой предмета и в то же время схватывать специфику этих логик, которые суть не половинчатые логики, а просто другие логики. Если вы хотите найти более развернутую аргументацию, эта тема рассматривается в «Практическом смысле», и хотя эта книга была посвящена проблемам ритуальных практик или мифологических систем, она работает и в случае проблемы государства, когда мы также имеем дело с практическими логиками, разрушаемыми логической логикой<sup>8</sup>. Один из парадоксов социальных наук состоит в том, что для

---

8. Бурдье П. Практический смысл. Особенно кн. I, гл. 5 «Логика практики» (С. 66–84) и вся кн. II (С. 122–220).

описания практических логик у нас имеются лишь логические логики, которые создавались как антитеза практическим логикам, что исторически требовало постоянных и весьма значительных усилий. Исчисление вероятностей создавалось как антитеза стихийной вероятности: все фундаментальные принципы исчисления вероятностей утверждают: «Не делайте то, что вы сделали бы не подумав».

Точно так же теория игр создавалась как антитеза стихийным стратегиям игрока. Поэтому у нас есть инструменты познания, которые разрушают предмет. Важно познать инструменты познания; вот почему эпистемология для ученого — не просто какое-то «дополнение души»\*, но часть научной работы: речь идет о познании инструментов познания, необходимом для понимания того воздействия, которое эти инструменты оказывают на наши предметы; мы должны познать наш предмет, чтобы знать, в чем он подчиняется специфической логике, антиномичной по отношению к логике инструментов познания, нами к нему применяющихся. Прилагать такое двойное усилие очень важно: историки и тем более географы оказываются жертвой определенной формы символического господства, которое заметно в том, что они бунтуют и в то же время подавлены. Приведу пример: в первом номере новаторского географического журнала «Hérodote» публикуется интервью с Мишелем Фуко. Это значимый ляпсус: нижайший просит гарантий у высочайшего...

Историки крайне раздражает теоретизация, иногда даже любая теоретизация, поскольку очень часто за право вступления в профессию историка приходится платить отказом от претензии на обобщение, которую он с некоторым презрением, довольно двусмысленным, оставляет на долю социологов. Историки, занимающие господствующие позиции, смиренно отдают дань уважения философам. Та форма рефлексии, которую тра-

---

\* «Supplément d'âme» — выражение из «Двух источников морали и религии А. Бергсона (в русском переводе передается как «увеличенная душа»: «Добавим, что увеличенное тело ждет увеличенной души и механика требует мистики»). — *Примеч. пер.*

диционно называют «философской» (и которую лучше было бы назвать эпистемологической), является неотъемлемой частью ремесла историка, социолога, специалиста по социальному миру, и она не «дополнение души», она должна преподаваться как составляющая компетенции, специфической для исторических наук. Такая компетенция, редко встречающаяся среди философов и социологов, стала бы инструментом освобождения историков от форм господства, навязанного им философами; также она была бы частью прогрессивного движения к объединению социальных наук и к отмене границ между социологией и историей.

### Генетическая история государства

Социология, как я ее понимаю, выходит за традиционные границы этой дисциплины и включает изучение генезиса объективных структур, которые она делает своим предметом. Такая генетическая социология — генетическая в том смысле, в каком Пиаже говорит о генетической психологии, — ставит перед собой задачу изучить генезис индивидуальных и социальных структур, в данном случае структур поля высокопоставленного чиновничества, бюрократического и государственного поля. Как заниматься этой генетической историей коллективных структур? Чем она отличается от истории, как она обычно практикуется? Что именно она требует помимо этой обычной истории? Есть ряд коллективных работ по генезису государства, которые мне очень нравятся и на которые я буду опираться. Вот мой библиографический список: Франсуа Атран «Просопография и генезис современного государства», Жан-Филипп Жене и Бернар Венсан «Государство и церковь в генезисе современного государства», Жан-Филипп Жене и Мишель Ле Мене «Генезис современного государства», их же «Культура и идеология в генезисе современного государства»<sup>9</sup>. Конечно, я мог бы

---

9. *Autrand F. (dir.) Prosopographie et genèse de l'État moderne. Paris: École normale supérieure de jeunes filles, 1986; Genet J.-P., Vincent B. (dir.). État et Église dans la genèse de l'État moderne. Madrid: Casa*

процитировать много других работ, которые далее буду также упоминать на лекциях. Но я думаю, что эта подборка важна, по крайней мере по моему мнению, поскольку она позволяет увидеть, что историки делают особенно хорошо.

Сделанные мной только что замечания имели целью воодушевить историков, попытаться освободить их — и для этого я воспользовался социологией науки, которая позволяет увидеть формы господства, которые можно объективировать и, следовательно, подчинить себе; цель была в том, чтобы освободить их от различных видов цензуры, с которой они соглашаются, поскольку она имманентна самой структуре поля истории. То есть нужно сказать им: «То, что вы делаете, будет получаться у вас еще лучше, если вы сделаете свою работу до конца, не будете ограничиваться теми рамками исторической науки, которые в какой-то мере оскопляют вашу работу и не дают вам в полной мере развернуть идеи, построить модели и системы переменных». Историки, в основной своей массе, не соглашались, и вряд ли можно было бы процитировать более пятнадцати обоснованных исторических работ, которые допускали бы фальсификацию в смысле Поппера. Это свойство поля — производить ограничения, объективные и инкорпорированные формы цензуры, но люди даже не ощущают той цензуры, которой подчиняются, входя в это поле...

Я говорю это не для того, чтобы шокировать, обвинить или сделать выговор, а для того, чтобы хоть немного помочь освобождению социальных наук от диктатуры точных наук и одновременно от инкорпорированных форм господства, самых худших. Я продолжу разъяснение предпосылок генетической истории такого рода, чтобы показать, в чем она методологически отличается от того, что делают историки. Одно из главных отличий в том, что историки не стали бы делать то, что делаю я, поскольку они бы решили, что

---

de Velázquez, 1986; Genet J.P., *Le Mené M.* (dir.). *Genèse de l'État moderne; Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne.* Rome: École française de Rome, 1985.

это избыточная и претенциозная работа. Мне вспоминается одна формулировка Соссюра, которую я очень люблю цитировать и которая утверждает, что нужно знать то, что делает лингвист. Я хотел бы показать, что значит делать то, что делают только что упомянутые мной историки, без которых я бы не смог заняться тем, что я пытаюсь сделать с проблемой генезиса государства. Если знаешь, что делаешь, будешь делать это лучше — это переход от практики к методу. Марк Блок назвал свою книгу «Ремесло историка»: ремесло — это то, что дано в практике, так что можно делать замечательные вещи, не обладая никаким метадискурсом о своей практике. Мне больше нравится историк или социолог, который знает свое ремесло, но не имеет сопроводительного эпистемологического дискурса, чем социолог, которые строит дискурс о своей методологии, но не владеет ремеслом. Методология никогда не защищала от технических ошибок, спасти от которых может лишь ремесло. И все-таки ремесло — условие необходимое, но не достаточное. Свое ремесло лучше делаешь тогда, когда овладеваешь им осознанно, когда можешь прояснить практические принципы, которые используешь в своей практике, когда схемы были превращены в правила, заданные в качестве правил, способных стать коллективными правилами, используемыми даже противниками, когда нужно призвать к порядку. Кодификация очень важна<sup>10</sup>. Эпистемология — это кодификация ремесла, то, что заставляет его преобразиться: мы переходим к другому порядку, когда начинаем делать нечто со знанием дела.

В своем проекте генетической истории государства я сразу же ввожу идею, утверждающую, что существует логика генезиса логик; иначе говоря, рассказывать историю — совсем не то же самое, что заниматься историей: история — это не рассказ, а отбор важных фактов (Соссюр); нужно знать, что именно сложилось исторически. Первое качество: эта логика генезиса логик не относится к порядку ни логической необходимости, ни

---

10. Об этом см.: Бурдьё П. Кодификация // Начала. С. 117–132.



случая или же чистой случайности. Существует специфическая логика генезиса этих странных, то есть социально-исторических предметов, у которых есть специфическая логика, не совпадающая с логикой логики. Чтобы избавить вас от длинного классического философского аргумента, отошлю вас к последней статье Кассирера, которая вышла в журнале «Word»<sup>11</sup>. Этот философ не только полезен, но и необходим, чтобы правильно понимать ремесло историка или социолога. В конце своей жизни он написал о структурализме и попытался философски обосновать понятие структуры, этой странной сущности, которая уклоняется от лейбницевского противопоставления «истины факта» и «истины разума». По Кассиреру, это своего рода фактический разум, контингентная рациональность, одновременно в своем функционировании и своем генезисе. Если подходить к ней со стороны логики, противопоставляющей чистую случайность и необходимость, в ней ничего не поймешь. В этой превосходной статье он развивает эту двойственность исторического разума <raison> в смысле процесса и исторических резонов <raisons> в смысле логики, имманентной историческим порядкам, схватываемым в данный момент. По моему мнению, быть историком или социологом — значит чувствовать, что имеешь дело с логиками, которые уклоняются от этой альтернативы, как в их актуальном состоянии, так и в их генезисе. Точно так же нужно понять именно форму необходимости в случайности или же случайности в необходимости социальных актов, совершаемых в соответствии со структурными необходимостями, поскольку они ограничены продуктами предшествующей истории, давлением структурных необходимостей, инкорпорированных в виде постоянных предрасположенностей, которые я называю габитусом.

Социолог или историк, захваченный социальным миром, мог бы скорее довести свою работу до конца,

---

11. Cassirer E. Structuralism in modern linguistics // Word. 1945. Vol. 1 (2).  
См. также: Bourdieu P. Structuralism and theory of sociological knowledge // Social Research. 1968. Vol. 25 (4). P. 681–706.

если бы знал, что его предметом является временное состояние, не случайное и не необходимое, состояние отношения между определенной структурой, являющейся продуктом истории, то есть полем, и инкорпорированной структурой, которая также является продуктом истории. Когда историк изучает заявление Гизо в палате депутатов, он имеет дело с эмпирическим фактом, со случайностью, с *happening*, который, по сути, ничем не интересен. То же самое относится к социологу, который изучает заявление Кон-Бендита в 1968 году, позицию такого-то профессора в том же году или же Флобера на момент инициированного против его романа «Мадам Бовари» процесса. Когда он изучает *happening*, он, на самом деле, изучает встречу между габиту-сом — продуктом онтогенеза, инкорпорации в определенных условиях состояния определенной структуры, структуры глобального социального пространства и поля внутри этого пространства — и объективированной структурой, то есть структурой социального пространства в целостности или, чаще, того или иного частного универсума, например поля истории, литературного поля или государственного. Социолог занимается сравнительной историей, когда в качестве своего предмета он выбирает настоящее: когда я изучаю определенную реформу в жилищной политике, проведенную в 1975 году, я делаю то же самое, что и ученый, который изучает спор в Парламенте или палате лордов в 1215 году: я занимаюсь встречей двух историй в определенный момент времени, который сам является историей как индивидов, так и структур<sup>12</sup>.

### Игра и поле

Задержусь на этом вопросе еще пару минут. Как это на практике меняет понимание ремесла аналитика социальных или исторических фактов? Чтобы это понять, я вкратце рассмотрю сравнение между игрой и полем. Вышеуказанный генетический структурализм отличается от

---

12. Об этом см.: *Бурдьё П.* Мертвый хватает живого // Социология социального пространства. С. 121–156.

обычного подхода к истории, во-первых, тем, что он пытается выписать то, что значит делать то, что он делает. Во-вторых, тем, что он проясняет, какова специфическая логика исторического изменения, а также логика исторических реалий, в частности полей. В-третьих, когда речь о дифференцированных обществах, внутри которых сложилось государство как обособившийся регион, существующий наравне с остальными обособившимися регионами, социолог знает, что его предметом являются отдельные частные универсумы, поля: когда он занимается литературной историей, историей искусства, государства или конституционного права, он изучает генезис социальных игр, которые я называю полями. Все сказанное мной можно суммировать так: по моему мнению, исторический проект, которым я занимаюсь, состоит в изучении генезиса особого поля, которое я могу — для простоты изложения — сравнить с игрой, обращая при этом внимание на различие, о котором недавно упоминал. Рассмотрим пример шахмат, самой интеллектуальной из игр. Ученые, занимающие тот полюс гуманитарных наук, который Кант называл догматическим, те, кто хотят любой ценой все формализовать, придерживаются метафоры шахмат: они то и дело совершают онтологический прыжок и переходят от предметов логики к логике предметов или от логической логики к практической логике, упраздняя при этом практическую логику. Проводя различие между шахматами и полем, я пытаюсь внушить вам мысль о правильном понимании того, что, по моему мнению, является реальной философией социальных полей и их генезиса.

В шахматах есть явные, осознанные, сформулированные, четко выраженные правила, которые являются внешними по отношению к самой игре, существуют до нее и могут ее пережить; они стабильны, если не будет их реформы, и они открыто признаются игроками, которые принимают правила игры. Очень важное качество в том, что правила, организующие игру, сами вне игры: во время игры не может быть речи о том, чтобы начать переговоры с противником. Тогда как в поле правила являются неявными регулярностями, поскольку

ку лишь незначительная часть этих регулярностей выписана в явном виде—это то же отличие, что между ремеслом и методом, о котором я только что говорил. Определенная часть таких регулярностей управляет санкциями, налагаемыми на практики; санкции имманентны игре, они имеют неявный характер; правила сами в игре, они снова и снова разыгрываются: это одно из качеств полей, состоящее именно в том, что в них борются, чтобы одержать победу в соответствии с имманентными правилами игры. Вебер говорил: тот, кто не подчиняется правилам капиталистического космоса, терпит разорение, если он хозяин, и выводится из игры, если он рабочий<sup>13</sup>. Об имманентных правилах напоминают санкциями, но они могут оставаться неявными. В-вторых, обычный порядок экономического или бюрократического космоса таков, что в нем нет борьбы по поводу правил игры. Но может быть и борьба за изменение правил игры (посредством революции или реформистской политики), которая заключается в шулерстве, установлении неявной регулярности, которая станет правилом. Которое вначале было шулерством, казуистикой или уловкой...

Иначе говоря, правила—это неявные регулярности, большую часть времени не замечаемые игроками и осваиваемыми ими на практике, так что игроки не способны выписать их в явном виде. Они, в отличие от правил игры, не являются устойчивыми. Ограничения, следуя которым играют в игру, сами являются продуктом игры. Следовательно, структурный анализ игры включает в себя анализ истории игры, становления, которое привело к данной стадии игры, процесса, в котором игра порождает и поддерживает ограничения и регулярности, в соответствии с которыми в нее играют. Игра не содержит в себе всей своей истины. Поле—это игра, в которую играют в соответствии с регулярностями, которые являются ее правилами, но в которую

---

13. П. Бурдьё имеет здесь в виду случай ткачей, упомянутый Максом Вебером в «Протестантской этике и духе капитализма»: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. С. 37.

можно сыграть и для того, чтобы изменить правила или регулярности.

Описать генезис определенного поля—это совсем не то же самое, что описать генезис игры. Если вы хотите описать генезис игры, нужно найти законодателя и узнать, что именно он изобрел: так, баскетбол появился в 1890 г., он был изобретен человеком, который хотел создать менее грубую игру, в которую могли бы играть и женщины. Тогда как в случае поля речь идет об определенном процессе. О концентрации права, переходе от феодального права к королевскому, то есть о процессе, в котором король, как последняя апелляционная инстанция, постепенно накапливает юридическую власть, Марк Блок говорит, что это был процесс концентрации права, развивавшийся без общего плана, без законодательного текста и, могу я добавить, наобум<sup>14</sup>. То есть случайно и как угодно? Нет. Это очень странная необходимость, не означающая, что мы имеем дело с рациональным и расчетливым законодателем или же с безумцем, который делает что угодно («шум и ярость»). Мы имеем дело с тем, кто делает разные вещи то так, то эдак, соединяет элементы, позаимствованные у прежних состояний, кто составляет мозаики. Такое вроде бы бессвязное конструирование порождает эти наполовину связанные вещи, которые становятся предметом изучения специалистов по социальным наукам. Хотим мы того или нет, когда занимаешься историей, уже имеешь определенную философию истории, и лучше ее знать. Философия истории, которую имеет в виду Марк Блок,—вот что я хотел сформулировать на основе сравнения игры и поля, предложить философию логики, в соответствии с которой порождаются нечеткие логики, то есть иметь не только принцип значимости того, что важно отобрать, но и принцип метазначимости. Я пытаюсь по крайней мере задать в виде проблемы то, что очень хорошо делают великие историки. Я хотел бы показать, как эта философия истории меняет способ прочтения исторических фактов и того, что делают историки. Если бы я был циником,

---

14. *Bloch M. Seigneurie française et manoir anglais. P. 85–86.*

я бы сказал: «Пусть историки продолжают работать в том же духе и дают уже готовый материал социологам». Однако в своей работе я отношусь к их работе с большим уважением, и даже если я кого-то шокирую, моя речь — это призыв к тому, чтобы эта историческая работа была доведена до конца, поскольку историки лишаются своей собственной работы, если не идут до конца.

Социология истории избегает двух постоянных искушений, двух распространенных форм финализма — коллективного финализма, который означает поиск в имманентности исторического мира разума, ориентированного на определенные цели, и финализма индивидов, который периодически возрождается в социальных науках. В теории рационального действия социальные агенты рассматриваются в качестве рациональных вычислителей, которые максимизируют ту или иную форму материальной или символической прибыли. Я думаю, что парадокс социального мира в том, что в нем можно открыть имманентный порядок, не выдвигая гипотезы, будто этот порядок является продуктом сознательного намерения индивидов или же функции, трансцендентной по отношению к ним, вписанной в коллективы. Государство было огромным прибежищем невежества — в том смысле, что на государство сваливают все то, что не получается объяснить в социальном мире, так что в итоге его наделили самыми разными функциями: государство охраняет и т. д. В книгах с «теоретическими» претензиями вы можете найти фантастическое количество фраз, в которых государство выступает подлежащим. Подобное гипостазирование слова «государство» — своего рода повседневная теология. Ведь делать государство подлежащим в общем-то совершенно бессмысленно. Вот почему я, чтобы говорить о нем, все время специально выстраиваю фразы...

Существует порядок и определенная форма логики. Но это не значит, что у нас есть основание предположить, будто у этой логики есть субъект: это логика без субъекта, однако — и в социальных науках часто пере-скакивают от одной ошибки к другой — это не означает,

что социальные агенты — попросту *Träger* структуры, как раньше говорили альтюссеррианцы, прикрываясь Марксом (слово *Träger* можно перевести как «носители», хотя это не слишком удачный перевод). Социальные агенты действуют, они активны, но через них действует история, продуктом которой они сами являются. Что не означает, что они полностью зависимы.

Еще одна важная вещь, следующая из этого понимания логики истории, в том, что логика процесса — это не логика прогресса. Такой процесс не обязательно является непрерывным — он в больше мере непрерывен, чем думают, однако в нем встречаются разрывы. Когда философы начинают заниматься проблемами такого рода, они воссоздают грубые дихотомии, загоняя в угол всех тех, кто благодаря своему ремеслу на практике такие дихотомии обходит. Вот почему нужно освободить социальные науки от философов, по крайней мере тех, которые не считаются со спецификой социальных наук, которые не принимают работу социальных наук в том виде, в каком она существует, и которые приходят к ним, как Ницше советует приходить к женщине, с кнутом, чтобы навести эпистемологический порядок путем террора. Что касается философов, которые считаются со спецификой социальных наук, я искренне приветствую их, поскольку они могут помочь социальным наукам распутать проблемы, подобные двум мной упомянутым (правило и регулярность). Я могу вам сказать, что мне хорошие философы многим помогли, ведь по этим темам они могут сказать очень дельные вещи.

Когда занимаются генезисом государства, отбирают определенный принцип значимости, примером которого может быть различие доновременного, новременного и постмодерного, которое неявно тащит за собой философию истории. Если предполагать, что государство — это универсальное и что образование государства — это образование универсума, в котором определенные агенты монополизируют универсальную речь, понятно, что образование государства имеет некоторое отношение к процессу универсализации — происходит переход от локального к универсальному.

Можно ли считать прогрессивное движение к универсализации действительно прогрессом? Мы имеем дело с изобретениями, ограниченными структурой, которую они оспаривают самым своим фактом. Оппозиция индивида и структуры, о которой пишутся целые диссертации, бессмысленна, поскольку структура как в индивиде, так и в объективности. Но, кроме того, социальный порядок может навязать ограничения изобретений (например, научный универсум ограничивает научное изобретение). Социолог должен объяснить образование социальных универсумов, в которых властные ставки носят исторический характер. Логика этих универсумов такова, что в них порождаются такие трансисторические феномены, как наука, право, универсальное, то есть то, что, хотя и произведено социально, не сводится к своим социальным условиям производства. И если определенные агенты социально заинтересованы в присвоении этого универсального, это не значит, что оно не является универсальным...<sup>15</sup>

### Анахронизм и иллюзия номинального

Одна из скрытых ошибок, возникающих, когда философию истории государства не подвергают разъяснению,—это анахронизм. Парадокс в том, что из всех ученых историки больше других подвержены анахронизму, в значительной части потому, что они становятся жертвами иллюзии постоянства номинального, которая утверждает, что институт, сохранивший то же название, что и в Средние века, остается тем же самым. Историки предостерегают нас, но при этом определенная часть конструируемых ими предметов представляют собой комплексы интересов, связанных с актуальными вопросами, адресуемыми прошлому. Чтобы произвести определенный языковой эффект или «выглядеть современно», они проводят абсолютно невоздержанные сравнения, говоря, к примеру, когда рассматриваются

---

15. Эта тема была развита в курсе 1988–1989 гг. в Коллеж де Франс, а также в статье: *Bourdieu P. Un acte désintéressé est-il possible?* Paris, 1994.



проблемы институтов в Средневековье, что «Жоскен Дебре — это Бернар Пиво XVI века...»\*. Такой анахронизм и ретроспективная иллюзия часто связаны с определенной ошибкой в философии истории, проистекающей из того, что, занимаясь генезисом структуры, в каждый момент имеешь определенное состояние структуры, в которой один и тот же элемент оказывается включен в различные состояния структуры, а потому меняется. Один крупный историк Китая, Левенсон, сказал, что канонический текст Конфуция меняется, поскольку он не меняется в универсуме, который сам меняется<sup>16</sup>.

Все это вытекает из метафоры игр, которые на самом деле поля, в которых правило игры само постоянно разыгрывается в этой игре и где меняется глобальная структура силовых отношений. Никогда нельзя предполагать, что номинально одна и та же вещь является одной и той же реально, напротив, нужно исходить из гипотезы, что номинальное тождество скрывает реальное различие. Историки составляют лонгитюдные ряды; во Франции переписи ведутся с 1830-х годов, и разбивка в них идет по социально-профессиональным категориям. Но, к примеру, «врач» 1830-х гг. — это совсем не то же самое, что «врач» 1980-х гг., даже если корпорация осталась той же. Такие лонгитюдные исследования корпораций или институтов часто оказываются беспредметными. Биографии, когда они конструируются социологически, в действительности работают с историей поля, в которое вписана биография. Историк, который говорит: «Я занимаюсь историей Государственного совета», стоило бы сказать: «Я занимаюсь историей бюрократического поля...» Если согласиться с той мыслью, что мы имеем дело с генезисом структур и что каждое состояние структуры определяет каждый из ее элементов, получается, что можно сравнивать лишь структуру с другой структурой, состояние структуры с другим состоянием

\* Жоскен Дебре — французский композитор начала XVI века, Бернар Пиво — современный журналист и телеведущий. — *Примеч. пер.*

16. Levenson J. R. Confucian China and its Modern Fate. A Trilogy. Berkeley: University of California Press. 1958–1965.

структуры и что, следовательно, ловушка номинального постоянства скрывается во всех атомистических лонгитюдных рядах.

### Две стороны государства

Вопрос в том, могут ли все эти предварительные условия оправдаться существенным научным достижением; иначе говоря, действительно ли можно, отправляясь от всего этого, привнести нечто новое по сравнению с процитированными работами историков? Из всего комплекса интерпретаций и размышлений, проведенных на основе высказанного мной принципа, выводится фундаментальная двойственность государства и процесса, в котором оно возникло. Государство — это двуликий Янус, так что невозможно сформулировать какое-то позитивное его качество, не высказав в то же время негативное — гегелевское качество без марксистского, прогрессивное без регрессивного и репрессивного. Это неприятно тем, кто стремятся достичь светлого будущего... Я думаю, что могу сделать следующее: вместо того чтобы дать предварительную методологическую ориентировку, едва ли не в форме заклинания — вы же помните: Гегель и Маркс, Спиноза и т. д., — можно обосновать эту двойственную природу генетическим анализом. Описать генезис государства — значит описать генезис определенного поля относительно независимого социального микрокосма внутри общего социального мира, в котором разыгрывается особая игра, легитимная политическая игра. Взять, к примеру, избрание Парламента, места, где, обсуждая различные конфликтные проблемы, друг против друга выступают заинтересованные группы, где спорят по форме, в соответствии с правилами, публично. Маркс видел только закулисную сторону. Использование метафоры театра, театрализации консенсуса скрывает тот факт, что есть люди, которые дергают за ниточки, и что истинные ставки и истинные силы находятся в каком-то другом месте. Изучать генезис государства — значит изучать генезис поля, в котором политическое будет разыгрываться, символизироваться, драматизироваться

в соответствии с особыми формами, тогда как люди, привилегия которых — вступать в эту игру, обладают правом присваивать себе особый ресурс, который можно назвать «универсальным».

Вступить в эту игру легитимного, конформного политического — значит получить доступ к ресурсу, которым является «универсальное», ресурсу постепенно накапливаемому в универсальной речи, универсальных позициях, на основе которых можно говорить от имени всех, *universum*'а, группы в целом. Можно говорить от имени общественного блага, того, что является благом для публики, и в то же время его присваивать. Вот что лежит в основе «эффекта Януса»: существуют люди с привилегией универсального, однако невозможно иметь универсальное, не имея в то же время монополизаторов универсального. Существует капитал универсального. Процесс, в котором образуется эта инстанция управления универсальным, неотделим от образования категории агентов, свойством которых является присвоение универсального. Я возьму пример из области культуры. Генезис государства — это процесс, в ходе которого происходит значительная концентрация ресурсов разных видов: концентрация информационных ресурсов (статистика на основе анкет, донесений), языкового капитала (официальное признание одного из наречий, из которого делают господствующий язык, так что все остальные представляются его искаженными, вырожденными или же низшими формами). Этому процессу концентрации сопутствует процесс отъема: сделать определенный город столицей, местом, в котором сосредотачиваются все формы капитала<sup>17</sup>, — значит сотворить и провинцию как место недостатка капитала; создать легитимный язык — значит низвести все остальные языки до уровня местных наречий<sup>18</sup>. Легитимная культура — это культура, гарантированная государством, тем инсти-

17. Эта связь между капиталом и столицей *«la capitale»* впоследствии будет развита в работе: *Bourdieu P. Effets de lieu* // P. Bourdieu (dir.). *La Misère du monde*. P. 159–167.

18. О легитимном языке и отвечающем ему процессе экспроприации см. первую часть работы: *Bourdieu P. Langage et pouvoir symbolique*. P. 59–131.

тут, который гарантирует культурные звания, выдает дипломы, гарантирующие обладание гарантированной культурой. Программы образования — дело государственное; изменить программу — значит изменить структуру распределения капитала, то есть спровоцировать упадок определенных форм капитала. К примеру, убрать из программы преподавания латынь и греческий язык — значит подтолкнуть к пужадизму определенную категорию мелких держателей акций языкового капитала. Я сам в своих предыдущих работах об образовании совершенно забыл о том, что легитимная культура — это культура государственная...

Такая концентрация является в то же время унификацией и определенной формой универсализации. Там, где было многообразное, рассеянное, локальное, теперь возникло уникальное. Вместе с Жермен Тийон мы сравнили единицы измерения в различных кабийских деревнях в радиусе 30 километров, и было найдено столько же единиц измерения, сколько и деревень. Создание национального, государственного эталона единиц измерения — это прогрессивное движение в направлении универсализации: метрическая система — это универсальный эталон, который предполагает консенсус, согласие о смысле. Этот процесс концентрации, унификации, интеграции сопровождается процессом экспроприации, поскольку все эти знания и компетенции, связанные с локальными мерами, отныне дисквалифицируются. Иначе говоря, тот самый процесс, в котором достигается выигрыш в универсальности, сопровождается концентрацией универсальности. Есть те, кто стремятся к метрической системе (математики), и есть те, кто остаются с локальным. Сам процесс образования общих ресурсов неотделим от превращения этих общих ресурсов в капитал, монополизированный теми, у кого есть монополия на борьбу за монополию на универсальное. Весь этот процесс — образование поля; автономизация этого поля по отношению к другим потребностям; образование специфической потребности, отличной от потребности экономической и домашней; формирование особого воспроизводства бюрократического типа, отличного от домашнего и семейного воспроизводства; образование специфической

потребности, отличной от религиозной, — все это неотделимо от процесса концентрации и образования новой формы ресурсов, которые оказываются причастны универсальному, во всяком случае определенному уровню универсализации, превосходящему ранее существовавшие. Происходит переход от местного рынка к национальному как на экономическом уровне, так и на символическом. Генезис государства в своей основе неотделим от образования монополии на универсальное, наиболее ярким примером которой является культура.

Все предшествующие работы, которые я смог провести, можно было бы подытожить так: данная культура легитимна, поскольку она представляется универсальной, предлагаемой всем, поскольку во имя этой универсальности можно без боязни устранить тех, кто ею не обладает. Эта культура, которая кажется объединяющей, а на самом деле разъединяет, — один из важных инструментов господства, ведь есть те, кто обладает монополией на эту культуру, монополией страшной, поскольку эту культуру нельзя упрекнуть в том, что она частная. Даже научная культура всего лишь доводит этот парадокс до предела. Условия образования такого универсального, его накопления неотделимы от условий образования определенной касты, государственной знати, «монополизаторов» универсального. Отправляясь от этого анализа, можно поставить перед собой задачу — универсализировать условия доступа к универсальному. Также нужно понять, как это сделать: нужно ли для этого лишить «монополизаторов» их монополии? Мы понимаем, что не в этом направлении надо вести поиск.

Я закончу одной историей, чтобы проиллюстрировать сказанное мной о методе и содержании. Где-то тридцать лет назад в рождественский вечер я отправился в маленькую деревушку, затерявшуюся в Беарне, чтобы посмотреть на деревенские танцы<sup>19</sup>. Кто-то танцевал, кто-то нет; какое-то число людей старше других, одетых по-крестьянски, не танцевали, разговаривали

---

19. См. описание этой «первичной сцены» в начале работы: *Bourdieu P. Le Bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn. Paris: Seuil, 2002. P. 7–14.*

друг с другом, держали себя так, словно бы им нужно было оправдать свое странное присутствие, тот факт, что они здесь, но не танцуют. Они должны были быть уже женатыми, поскольку женатые больше не танцуют. Танцы — место матримониальных обменов: это рынок символических матримониальных благ. На этих танцах был очень высокий процесс холостяков: 50% людей в возрасте 25–35 лет. Я попытался найти систему, объясняющую этот феномен, — дело было в том, что это был защищенный и не унифицированный местный рынок. Когда образуется то, что мы называем государством, осуществляется определенная унификация экономического рынка, поддерживаемая государством на политическом уровне, а также определенная унификация рынка символических обменов, то есть рынка осанки, манер, одежды, личности, идентичности и представления. У этих людей раньше был защищенный местный рынок, который они контролировали, чем обеспечивалась своего рода эндогамия в рамках нескольких семей. У продуктов крестьянского способа воспроизводства были шансы добиться успеха на этом рынке: они продолжали продаваться на рынке и находить девушек. В логике модели, о которой я упоминал, все происходившее на этих танцах было итогом унификации рынка символических обменов, в силу которой военный из соседнего городка, приезжавший, чтобы покрасоваться перед местными, оказывался дисквалифицирующим продуктом, лишавшим ценности своего конкурента-крестьянина. Иначе говоря, унификация рынка, выглядящая прогрессом, по крайней мере для людей, которые эмигрируют, то есть женщин и всех занимающих подчиненное положение, может оказывать освободительное воздействие. Школа приучает к другой осанке, к другим способам одеваться и т. д.; а ученик получает определенную матримониальную стоимость на этом новом унифицированном рынке, тогда как крестьяне деклассируются. В этом и заключается вся двусмысленность процесса универсализации. С точки зрения деревенских девушек, которые уезжают в город, выходят замуж за почтальона и т. п., это доступ к универсальному.

Но этот высший уровень универсализации неотделим от эффекта господства. Недавно я опубликовал статью, своего рода новое прочтение моего исследования безбрачия в Беарне, того, что я тогда говорил, и шутки ради я назвал ее «Запрещенное воспроизводство»<sup>20</sup>. Я показываю, что эта унификация рынка приводит к фактическому запрету на биологическое и социальное воспроизводство определенной категории людей. В те годы я работал с материалом, обнаруженным случайно, с протоколами общинных обсуждений в одной маленькой деревне на две сотни жителей в период Французской революции. В этом регионе люди голосовали единогласно. Приходят постановления, указывающие, что нужно голосовать большинством голосов. Они начинают обсуждать, возникают споры, образуются два лагеря. Постепенно большинство одерживает победу: за ним стоит универсальное. Были большие споры по поводу этой проблемы, поднятой Токвилем, в логике Революции как континуальности и Революции как разрыва. Это по-прежнему реальная историческая проблема: какова специфическая сила универсального? Политические процедуры этих крестьян с устоявшимися тысячелетними традициями были сметены силой универсального, словно бы они преклонились перед чем-то обладающим большей логической силой, тем, что пришло из города, что было оформлено четким, методическим и не практическим дискурсом. Они стали провинциалами, местными. Отчеты об обсуждениях теперь составляются так: «Поскольку префект решил...», «Городской совет собрался...». Обратной стороной универсализации являются экспроприация и монополизация. Генезис государства — это генезис места управления универсальным и в то же время монополии универсального и совокупности людей, которые причастны к фактической монополии на то, что по определению связано с универсальным.

---

20. *Bourdieu P.* Reproduction interdite. La dimension symbolique de la domination économique // *Études rurales*. 1989. Vol. 113–114. P. 15–36, переиздано в: *Idem.* *Le Bal des célibataires*. P. 211–247.

**1990–1991**





## Лекция 10 января 1991 года

*Исторический подход и генетический подход. — Исследовательская стратегия. — Жилищная политика. — Взаимодействия и структурные связи. — Эффект институционализации: очевидность. — Эффект «Это так...» и закрытие возможностей. — Пространство возможностей. — Пример орфографии.*

### Исторический подход и генетический подход

**П**РЕДМЕТОМ курса этого года снова станет вопрос государства. Я остановлюсь на двух основных пунктах. Первый касается происхождения государства, точнее, как любил говорить Норберт Элиас, его социогенеза, то есть истории зарождения государства на Западе, следующей определенной логике. Второй пункт будет связан со структурой и функционированием государства, и это будет нечто вроде подведения итогов: я попытаюсь обобщить все те результаты касательно вопроса о государстве, которые были получены мной в последние годы.

Хотел бы сразу заметить, и вы, конечно же, отдавали себе в этом отчет, что вопрос о государстве — вопрос необычайно трудный. Я думаю, что для социолога нет более трудного вопроса. Один мой коллега, французский социолог Мишель Крозье, назвал свою книгу «Скромное государство»<sup>1</sup>. Я часто думаю о том, что государство — это то, что заставляет быть скромным, это проблема, которая обрекает социолога на скромность, в особенности если он намеривается сделать то, что хочу сделать я, довольно-таки безумную вещь, а именно попытаться «обобщить» — я беру это слово в кавычки — данные теоретических исследований о государстве (немного предметов, о которых теоретики высказывались бы столь же часто, и хорошие, и плохие) и данные исторических исследований, посвященных всем этим эпохам и странам. Очевидно, что сама формулировка этого проекта подразумевает, что он неосуществим.

---

1. Crozier M. État modeste, État moderne. Paris: Seuil, 1987.

И тем не менее я полагаю, что этот проект стоит попытаться осуществить. Я думаю, что социальные науки часто сталкиваются с этой антиномией и дилеммой обобщения, одновременно необходимого и невозможного.

Решение, которое я собираюсь вам предложить, подразумевает совершенно отчетливое понимание того, что стоит на кону в моем начинании. Я не хочу вдаваться в предисловия о государстве, о теории государства, в теоретические или методологические предисловия, более или менее скучные, но мне кажется, что кое-какие меры предосторожности следует все же предпринять. Прежде всего, я буду различать подход, который называю генетическим, и общераспространенный исторический подход. Этого самого по себе могло бы хватить на целый год, но я скажу здесь всего несколько слов, чтобы вы понимали направление моих размышлений. Главное, я хочу показать, чем цели социолога и историка различаются. Цели социолога не совпадают с целями, которые большинство историков преследуют в своей работе: социолог стремится построить теоретическую модель процесса, то есть создать комплекс положений, систематически связанных и обоснованных, комплекс, способный объяснить максимально широкий набор исторических фактов. Это просто определение модели. Очевидно, что это непомерная задача — ввиду огромного массива данных, которые необходимо свести воедино, и сложности теоретических схем, нуждающихся в согласовании. И тем не менее [такая цель должна быть] у любого, кто произносит слово «государство». Как я только что сказал, следует, несмотря ни на что, попытаться сделать невозможное, и причина именно в том, что те, кто не говорят об этом вслух, делают это тайком, и во всех речах о государстве ставятся одни и те же цели, но речи эти не сопровождаются анализом условий их возможности, которые могут оказаться условиями их невозможности.

Итак, следует, во-первых, отличать генетический подход от обычного исторического подхода; во-вторых, следует попытаться показать, почему генетический подход особенно необходим. Почему, когда речь заходит о таком явлении, как государство, социолог обязан

стать историком, рискуя совершить один из самых табуированных проступков в научной деятельности, кощунственный проступок, состоящий в нарушении священных границ дисциплин? Социолог рискует получить по рукам от всех специалистов, а их, как я уже указывал, несметное множество. Тем не менее генетический подход напрашивается именно потому, что, как мне кажется, в данном случае он, скажем так, пусть и не единственный, но один из главных инструментов, позволяющих совершить разрыв. Если вспомнить известные замечания Гастона Башляра касательно того, что научный факт обязательно «завоевывается», а потом «конструируется»<sup>2</sup>, я полагаю, что этап, на котором факты отвоевываются у общепринятых представлений и здравого смысла, когда речь о таком институте, как государство, неизбежно предполагает обращение к историческому анализу.

В одном моем давнем исследовании рассматривалась традиция, идущая от Гегеля к Дюркгейму и состоявшая в такой разработке теории государства, которая, по моему мнению, является всего лишь проекцией представлений теоретика о собственной роли в социальном мире. Для Дюркгейма характерен этот паралогизм, который часто страдают социологи и который заключается в том, что в определенный предмет или на предмет начинают проецировать свою собственную мысль о предмете, которая сама является продуктом этого предмета. Чтобы уйти от осмысления государства в рамках мысли, этим государством созданной, социолог должен перестать думать об обществе в категориях мышления, этим же обществом произведенным. Однако же, если только не верить в априори, в трансцендентную мысль, способную уклониться от истории, можно постулировать, что нашим единственным инструментом осмысления общественного мира является та мысль, которая произведена самим этим общественным миром в самом широком смысле этого слова, от просто здравого смысла до научного здравого смысла. В случае

---

2. *Bachelard G. La Formation de l'esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective. Paris: Vrin, 1938.*

государства эта антиномия социологических и, возможно, любых научных исследований ощущается особенно остро, она вызвана тем, что, если ничего не знать, ничего и не увидишь, а если знаешь, то рискуешь увидеть лишь то, что знаешь.

Ученый, полностью лишенный инструментов осмысления, игнорирующий текущие дебаты, научные дискуссии, достижения, не знающий, кто такой Норберт Элиас и т. д., рискует оказаться слишком наивным либо изобрести велосипед, однако если он в курсе всего, он рискует стать заложником своих знаний. Одна из проблем, встающих перед любым ученым и в особенности перед тем, кто занимается социальными науками, в том, чтобы знать и в то же время уметь избавляться от своих знаний. Об этом легко говорить (в эпистемологических дискуссиях об искусстве изобретения нового можно прочесть такого рода вещи), но на практике это исключительно трудно. Один из главных ресурсов ремесла ученого состоит в умении находить хитрости — хитрости научного разума, если так можно выразиться, — которые как раз и позволяют обойти, приостановить действие всех этих допущений, которые используются в силу того, что наша мысль сама есть продукт того, что мы изучаем, и что у нее есть свои пристрастия *<adhérences>*. «Пристрастие» звучит лучше «принадлежности» *<adhésion>*, потому что было бы слишком просто, если бы речь шла лишь о партийной принадлежности. То и дело говорят: «Это трудно, потому что у людей есть партийность»; потому что первый встречный, если он знает, о чем речь — о правых или о левых, сможет сказать, какие в данном случае есть эпистемологические опасности. На самом деле с партийностью порвать легко; трудно приостановить действие пристрастия, то есть следствия мысли, столь глубокие, что они неведомы самим себе.

Если верно то, что для осмысления общественного мира у нас есть только мысль, которая сама является продуктом этого общественного мира, — и здесь можно вспомнить, придав ей, однако, иной смысл, знаменитую фразу Паскаля о том, что «мир обнимает меня, но я обнимаю его мыслью», и я бы добавил, что обнимаю

его непосредственным образом, потому что он обнимает меня<sup>3</sup>, — если верно, что мы сами продукт мира, в котором находимся и который пытаемся обнять мыслью, понять его, тогда очевидно, что это первичное понимание, которым мы обязаны нашему погружению в мир, который пытаемся понять, особенно опасно и что нам следует уклониться от этого первичного, непосредственного понимания, которое я называю доксическим (от греческого слова «докса», подхваченного феноменологической традицией). Это доксическое понимание — обманчивое обладание или, если так можно выразиться, отчужденное присвоение: мы обладаем знанием о государстве, и любой мыслитель, размышлявший о государстве до меня, присваивает его себе за счет мысли, навязанной ему самим этим государством, и это присвоение происходит столь легко, очевидно и непосредственно только потому, что оно отчужденное. Это понимание, которое само себя не понимает, не понимает социальных условий собственной возможности.

Фактически мы обладаем непосредственным знанием о государственных предметах. Например, мы умеем заполнять бланки; когда я заполняю бланк — имя, фамилия, дата рождения — я понимаю государство; это государство отдает мне приказания, к которым я готов; я знаю, что такое гражданское состояние, что это историческое изобретение, сложившееся постепенно. Я знаю, что у меня есть личность, потому что у меня есть документ, ее удостоверяющий; я знаю, что у документа, удостоверяющего личность, есть определенное число качеств. Короче говоря, я много чего знаю. Когда я заполняю бюрократический бланк, являющийся великим изобретением государства, заполняю прошение или подписываю свидетельство, и когда у меня есть право делать это, будь то документ, удостоверяющий личность, справка о болезни, свидетельство о рождении и пр., когда я выполняю подобные операции,

---

3. «В отношении пространства вселенная обнимает и поглощает меня как точку; мыслью же своей я обнимаю ее». Паскаль Б. Мысли. М.: REFL-book, 1994. С. 78.

я прекрасно разбираюсь в государстве; в каком-то смысле я становлюсь государственным человеком, становлюсь государством, принявшим человеческий облик, и в то же время я в нем ничего не понимаю. Поэтому работа социолога в этом конкретном случае состоит в том, чтобы присвоить себе заново эти категории мысли о государстве, которые государство произвело и внедрило в каждого из нас, которые производились в то самое время, когда производилось само государство, и которые мы применяем ко всему и в особенности к государству, чтобы о нем размышлять, так что в итоге государство остается немыслимым, непомысленным принципом большинства наших мыслей, в том числе и мыслей о государстве.

### Исследовательская стратегия

Всё это может показаться вам несколько абстрактным и многословным, но я попробую привести примеры, которые покажут, что у нас на глазах происходят государственные перевороты, которые остаются незамеченными. Примером может послужить орфография, способная быть настоящим государственным делом, в особенности при нынешней ситуации, и вскоре я к ней вернусь: это прекрасная иллюстрация всего того, о чем я только что говорил. Чтобы вырваться из рамок государственной мысли, в предыдущие годы я провел ряд критических исследований: я, если вспомнить выражение «негативная теология», попытался создать своего рода «негативную социологию», которая привела к результатам, совершенно не оправдавшим ожиданий. В конце каждого года, должен вам признаться (и хотя я об этом вам не говорил, я много об этом думал), я осознавал, что не слишком продвинулся. Я понимал, что вместо тезисов, теорий, всего того, что обычно рассказывается в курсах о государстве, я часто собирал какие-то обломки теорий и крупницы, различные выкладки касательно свидетельств, заполняемых бланков, незаинтересованности, государственной службы, постепенного изобретения понятия публичности <public> в XVIII веке и т. д.

Я говорю вам обо всем этом, чтобы объяснить свой подход, потому что он может показаться непонятым, и не без причин. Я действую совершенно осознанно: такова моя исследовательская стратегия. В социологии в целом и в частности, когда речь заходит о государстве, нет других стратегий, кроме тех, что Горации применяли против Куриациев, Давид — против Голиафа, то есть нужно стать совсем маленьким, подойти к проблеме с самой, казалось бы, ничтожной ее стороны, потому что иначе всё будет слишком сложно. Таков закон общества: чем более великими чувствуют себя люди, тем больше они обращаются к «великим проблемам». Существует социальная иерархия проблем, и люди высокого полета будут, например, размышлять о международных отношениях или государстве, свысока взирая на тех, кто занимается удостоверением как документом... Эта стратегия, которая, по крайней мере на мой взгляд, принесла мне успех во многих исследованиях, состоит в том, что необходимо смириться с тем, что я занимаю позицию служанки, собираю обломки, мелкие проблемы, которые побросали крупные теоретики, потому что считаю, что именно на этом уровне мы больше всего защищены от ударов государства, от его давления.

Трудность связана не только со здравым смыслом, не только с тем, что мы умеем заполнять бланки и, не задумываясь, соглашаемся с фразами вроде «Государство принимает решение», как и с тем, что государство — это реалья, к которой можно приклеить прилагательное: скромное, амбициозное, прославленное, централистское и т. д. Мы принимаем массу вещей без каких бы то ни было объяснений. Но для ученого еще хуже научный здравый смысл, то есть тот набор обязательных проблем, который составляет основу профессии, а следовательно, и профессионализма: это проблемы, которые нужно ставить, чтобы получить признание в качестве легитимного ученого. С таким здравым смыслом трудно порвать, и чем вы моложе, чем более вы новичок и чем сильнее испытываете на себе воздействие великих проблем времени, хотя и делаете вид, что совершенно свободны, тем большую дань уважения



вы обязаны платить этим проблемам... Не нужно думать, что это циничная дань: ярые защитники орфографии не циники, это было бы слишком просто; это дань искренняя и обязательная. Большая проблема требует немалого уважения, а значит, толстых диссертаций, крупных работ и серьезных концепций.

Приведу пример. Проблема государства, которая в общем-то сперва исчезла — в науке, к сожалению, тоже есть свои моды, как и везде, — потом вернулась в интеллектуальный мир в 1960-е годы, на волне общественных движений, которые бушевали в это десятилетие по обе стороны Атлантики. В Соединенных Штатах заметный эффект произвело возвращение так называемых теорий конфликта, а также марксизма, а именно марксизма структуралистского толка (завезенного Гораном Терборном, Клаусом Оффе, Никосом Пуланзасом), и это возвращение поначалу выразилось в виде дебатов об автономии и гетерономии государства. Является ли государство зависимым, как утверждают марксисты, даже если это относителная зависимость, как говорил Пуланзас? Есть ли соответствие между государством и тем или иным классом? И каким именно классом: юнкеры ли это, промышленная буржуазия или джентри <gentry>? На эту тему было написано много работ. Ясно, что вопросы о соотношении ставятся без постановки вопроса о терминах: считается, что хорошо известно, что такое джентри, что такое класс, что такое государство, и вопросы касаются зависимости или независимости этих терминов...

Это течение вызвало ответную реакцию, наделавшую немало шума, и самым известным ее представителем стала американский социолог Теда Скочпол. Тезису о зависимости — который в те времена в Соединенных Штатах имел подрывной характер, следовал логике студенческих движений, — Скочпол противопоставила тезис об автономии, разработанный ею в книге «Государства и социальная революция», представляющей собой откорректированный и развитый тезис Баррингтона Мура, ее гарвардского учителя<sup>4</sup>. Затем под ее ре-

---

4. *Skocpol T. R. États et révolutions sociales / N. Burgi (trad.). Paris: Fayard, 1985 [1979].*

дакцией вышел сборник «Возвращение государства»<sup>5</sup>. В этой книге она показывает, что нельзя заниматься социологией, пытаться понять социальный мир, не обращая внимания на роль государства, независимую от роли тех социальных сил, в рамках которых государство действует. В этой традиции есть работы самого разного толка. В данном случае мы видим пример проблемы-преграды, на которую будут наткнуться сотни ученых. Я, например, читал очень хорошую работу, снабженную прекрасной библиографией, в которой перечислены все защитники теории зависимого государства в Соединенных Штатах<sup>6</sup>. Все это сделано очень профессионально, и то же самое необходимо сделать во Франции, но при условии, что это не единственное, что будет делаться. Автор перечисляет всех сторонников зависимости, всех сторонников независимости, он представляет две теории и пытается выяснить на эмпирическом примере Германии первой половины XVIII века, зависимо или независимо государство, используя исторические признаки зависимости или независимости. Есть множество таких работ. [Однако] работы такого типа представляются мне препятствием на пути к знанию, потому что эмпирическая работа тоже может быть способом уклонения от теоретических размышлений.

### Жилищная политика

Я со своей стороны пытался подойти к проблеме государства очень скромным, эмпирическим путем, изучая жилищную политику Франции в 1970-х гг.<sup>7</sup> Когда существует то, что называется «политикой», включающей в себя определенного рода законодательство, регламентацию жилищных субсидий, можно сказать себе, что, возможно, мы и не знаем, что такое государство, но все

---

5. *Evans P., Rueschemeyer D., Skocpol T. (dir.) Bringing the State back in.* New York: Cambridge University Press, 1985.

6. *Kohli A. The State and development // States and Social Structures Newsletter, Social Science Research Council. 1988. P. 1–5.*

7. См.: *Actes de la recherche en sciences sociales. No. 81–82.*

же эта политика близка к тому, что называют «государством». Но к этому нельзя ничего добавить: по итогам работы комиссий было принято определенное число законов, декретов, распоряжений, направленных на то, чтобы заменить так называемую поддержку строительной индустрии «поддержкой людей». Я — последователь Витгенштейна, я говорю: «Вот действие государства, — и спрашиваю себя: — В чем заключается действие государства? Как оно осуществляется и как определяется? Как это решается?» Как только у нас появляются такие вопросы, проблема зависимости или независимости государства мгновенно испаряется, потому что мы переходим к наблюдению пространства агентов, очень сложного пространства.

Комиссии — типичный в этом отношении пример: это места, в которых находятся (я скажу в двух словах, поскольку уже немного рассказывал об этом в прошлом году) агенты, которых можно назвать государством, — через десять лет они перейдут на другую сторону, в «частный сектор», в банки — агенты местных органов власти, представители службы социального жилья, агенты банков, у которых есть серьезные интересы в такого рода делах, поскольку, если изменится порядок финансирования недвижимости, изменится вся стратегия вложений. Я не буду здесь воспроизводить весь этот анализ, поскольку это увело бы меня слишком далеко. Мы видим пространство конкурирующих агентов, которые вступают друг с другом в крайне сложные силовые отношения с применением очень сложного, очень разного оружия: за одними стоит знание нормативов, прецедентов; у других есть научный авторитет и математические модели, сыгравшие очень важную роль в этой борьбе; у третьих — престиж. Например, господин Фушье накопил множество престижных качеств: знатное имя, должность инспектора финансов, должность управляющего крупнейшего французского банка. Все эти агенты вступают друг с другом в крайне сложные силовые отношения, одновременно материальные и символические, которые у многих опосредованы дискурсом, и из этих сложных силовых отношений, которые нужно уметь искусно анализировать, возникает ре-

шение, которое подкрепляет или меняет определенное соотношение сил. Я привожу лишь один небольшой пример сложности эмпирико-теоретического характера (потому что здесь больше нет ни теории, ни эмпирики), с которой приходится работать, чтобы избежать простой альтернативы — зависимое государство или независимое. Что следует из анализа такого рода? Из него следует, что слово «государство» — это своего рода стенографическое, а потому очень рискованное, обозначение целого ряда крайне сложных структур и процессов. Мне потребовалось бы немало часов, чтобы раскрыть то, что я обозначил словом «государство», сказав, что «государство решило заменить поддержку строительной индустрии поддержкой людей». Речь идет о сотнях человек, находящихся в сложных отношениях друг с другом, в соединенных, противопоставленных полях, частных полях и так далее.

### Взаимодействия и структурные связи

В Соединенных Штатах есть очень модная технология под названием *network analysis* <сетевой анализ>. Она представляет собой анализ с применением изощренных статистических методов сети взаимодействий между людьми. Один из сторонников этого метода — Эдвард Лауманн. Это социолог из Чикаго, который сначала использовал этот метод для того, чтобы изучить сети власти в маленькой деревне в Германии, а затем рискнул применить его к более широким сетям, например, политике Белого дома в некоторых вопросах, и добился интересных результатов<sup>8</sup>. Я не во всем с ним согласен, да и он очень удивился бы, если бы я с ним согласился, но, хотя я и не разделяю его теорий, его философии и политических позиций, он все же идет по пути, в конце

---

8. *Laumann E. O. Bonds of Pluralism: The Form and Substance of Urban Social Networks.* New York: Wiley, 1973; *Laumann E. O., Pappi F. U. Networks of Collective Action. A Perspective on Community Influence Systems.* New York: Academic Press, 1976; *Laumann E. O., Knoke D. The Organizational State.* Madison: University of Wisconsin Press, 1988 (см.: *Bourdieu P., Wacquant L. Réponses.* P. 87–89).

которого, может быть, удастся выбраться из колеи споров Скочпол и Пуланзаса. Поэтому я чувствую себя ближе к нему. В двух словах, различие между его взглядами и моими в том, что он описывает пространства публичной политики («*policy domains*») в большей степени как пространства взаимодействия, чем как отношения между структурами. Это один из важнейших водоразделов в социальных науках. С одной стороны, есть те, кого в изучении социального пространства (говоря о «социальном пространстве», я уже выбираю определенный лагерь) больше интересуют взаимодействия индивидов: знакомы они друг с другом или нет? Есть ли имя такого-то в телефонной книжке того-то? Перезваниваются ли они? Общаются ли они друг с другом до того, как в Белом доме принимается какое-то решение, и т. д.? Короче говоря, есть те, кого интересуют взаимодействия, то есть реально осуществляемые социальные обмены. И есть те (к их числу принадлежу и я), кто полагает, что взаимодействия очень важны, что порой они — единственное средство, при помощи которого мы можем что-то понять, и что только через взаимодействия открываются структуры. Но в то же время структуры не сводятся к взаимодействиям двух людей, общающихся друг с другом: в них происходит нечто совершенно отличное от того, что вроде бы происходит на поверхности. Пример, который я часто привожу — это стратегии снисходительности: взаимодействие двух людей может быть актуализацией структурных отношений, несводимых к этому взаимодействию, оно может выступать одновременно и проявлением, и сокрытием этих структурных отношений. Разумный анализ взаимодействия близок к анализу структуры; тем не менее различие в том, как все объясняется, как об этом говорится, так что в итоге различие остается очень важным. В любом случае, когда проводятся такого рода исследования — и здесь я согласен с Лауманном — вместо того чтобы спрашивать, зависимо или независимо государство, нужно задать вопрос об историческом генезисе политики, о том, как все происходило, о том, что привело к принятию того или иного правила, решения, меры и т. д. Тотчас выясняется, что академический *Streit* [спор] о зави-

симости/независимости не имеет никакого смысла, что нельзя дать ответ раз и навсегда. Конечно же, это напоминает капитуляцию. Теоретики приходят в ужас, когда им говорят, что не нужно давать ответ раз и навсегда: они считают это «позитивизмом». На этот вопрос нельзя ответить раз и навсегда, но это означает не то, что нельзя дать достаточно общие ответы, а то, что начинать надо с выбраковки подобных неудачных вопросов. На них нельзя ответить раз и навсегда: следует всякий раз, то есть постоянно, когда имеешь дело с какой-то конкретной страной и даже каждой отдельной проблемой, спрашивать себя, какова структура пространства, внутри которой возникнет рассматриваемая политическая мера.

Чтобы вам стало яснее: если я хочу изучить реформу системы образования, я найду определенное пространство; если я хочу изучить какой-то международный кризис, я найду другое пространство с другими агентами, и вопрос в том, что в этих агентах особенного, и прежде всего что особенного в тех, кто задействован в обоих пространствах: ближе ли они к государству, чем другие агенты? Вот главный вопрос: каковы свойства этих агентов, находящихся на пересечении всех полей, внутри которых выстраивается политика? Если я возьмусь изучать политику в области вооружений, это будет совершенное иное пространство, нежели политика национального образования, но это не значит, что я не буду задаваться вопросами об инвариантах государства, о тех вещах, которые происходят всякий раз, когда принимается решение об определенной государственной политике. Я полагаю, что у бюрократического поля есть специфическая логика, что это пространство, в котором рождаются совершенно особые ставки и интересы. Например, в случае изучавшейся мною политики есть две службы, управление мостов и управление инспекторов финансов. У двух этих служб были совершенно разные интересы, прежде всего бюрократические, связанные с их историей, положением в социальном пространстве, эти службы вступали в разные союзы с другими агентами, например, банкирами... Таким образом, есть специфические задачи, специфические интересы, которые, с одной стороны, являются следствием положения агентов

в социальном пространстве или в бюрократическом секторе этого пространства, который формирует рассматриваемая мера. Есть также специфические ограничения и регулярности, не сводящиеся к тем ограничениям, вытекающим из регулярностей, которые довлеют над людьми в целом.

Существует специфическая логика государства, и эти ограничения, регулярности, интересы, эта логика функционирования бюрократического поля могут лежать в основе зависимости или независимости от внешних интересов или, точнее, невольных соответствий этим интересам. Случается, что задним числом можно, например, сказать, что управление инженеров мостов, по очень сложным историческим причинам, занимало более «левую» позицию, чем управление социального жилья, а управление инспекторов финансов занимало позицию «правую». Но оказывается, что речь идет о совпадении (я немного преувеличиваю); в лучшем случае эти агенты, преследуя свои собственные интересы, служили, помимо этого, сами того не ведая и не желая, в большей степени интересам одной группы, чем другой. Можно даже сказать больше: «в конечном итоге», «в общем и целом», «на глобальном уровне» все эти игры государства больше служат одним, чем другим, то есть больше властвующим классам, чем подвластным. Но стоило ли ставить большие антиисторические проблемы, чтобы прийти к столь простому выводу?

Это первый момент: я, таким образом, хочу сказать, что, когда мы имеем дело с подобной проблемой, нужно обязательно занять позицию максимального недоверия по отношению к государству, такого недоверия, что даже слово «государство» я начал употреблять в своих работах всего лишь два-три года назад. Прежде я никогда не писал «государство», потому что не знал, что это такое, но знал достаточно, чтобы остерегаться пусть даже стенографического употребления этого понятия. Башляр говорит об «эпистемологической осмотристельности»: ее следует распространить и на эти слова тоже.

(Единственная привилегия устной коммуникации, которая всегда хуже письменной, поскольку нет време-

ни ее контролировать, в том, что она позволяет сообщать вещи почти что неприличные, которые нельзя записать даже в сносках, потому что вас будут читать разгневанные или недоброжелательные коллеги.)

Итак, нужно порвать с большими теориями, точно так же как нужно порвать с идеями здравого смысла и с недоверием относиться к непосредственному пониманию, потому что чем больше я понимаю, тем меньше я понимаю. Это может показаться радикальным, и потому я говорю о «негативной социологии». Чем больше я понимаю, тем сильнее я должен сомневаться; чем более простым нечто кажется, тем сложнее оно должно быть на самом деле. С особым недоверием я должен относиться к проблемам образования — очень глупо, что об этом приходится говорить в учебном заведении, — но это антиномия, присутствующая в обучении исследовательской работе, особенно в социальных науках. Верно, что обучение научным исследованиям должно быть чем-то вроде постоянного *double bind*<sup>9</sup>: «Я говорю тебе то, что говорю, но ты знаешь, что это ложь, знаешь, что это может быть ложью».

(Что касается этого последнего педагогического уточнения, хотел бы сказать, что одна из проблем преподавания, которая страшно затрудняет работу преподавателя, — это крайняя разнородность публики [к которой я обращаюсь]. Это можно проанализировать с социологической точки зрения: однородность учащихся — эффект самой школы. Это опять-таки действие исторического бессознательного. Понадобились столетия, чтобы школа сложилась: в классы стали набирать учеников приблизительно одного и того же возраста, прошедших одинаковую программу обучения и т. д. Эта практика сложилась не сразу, были периоды, когда рядом сажали восемнадцатилетних студентов и шестилетних школьников. Чем более однородна аудитория, перед которой выступает преподаватель, тем более однородной

---

9. О понятии *double bind* «двойного послания» см.: Bateson G. et al. Towards a theory of schizophrenia // Behavioral Science. 1956. V. 1 (4). См. в русском переводе: Бейтсон Г. К теории шизофрении // Экология разума. М.: Смысл. 2000.



становится его речь на формальном уровне. Одна из проблем преподавания в Коллеж де Франс связана с тем, что, к счастью или к несчастью, здесь рядом сидят слушатели, среди которых наблюдается крайний разброс в специализации, подготовленности, возрасте, и этот разброс становится тяжелым бременем, особенно когда его осознаешь; лучше этого не осознавать, но в силу своей профессии я не могу не понимать проблемы педагогики; таким образом, когда начинаешь это замечать, это очень утомляет, потому что постоянно об этом думаешь. Например, я анализирую пару взаимодействие/структура, при этом среди вас есть те, кто уже сто раз это слышал, и мне немного неприятно, что я должен снова к этому возвращаться, но есть и те, для кого было бы полезно, если бы я объяснял это часа два; тогда я пытаюсь найти «исторический компромисс»...)

### Эффект институционализации: очевидность

Я придумал для себя несколько способов избежать государственной мысли о государстве: эмпирический анализ, критика теоретических предпосылок современных теорий, критический подход к господствующим проблемам. Но самое мощное оружие против мысли государства — это генетическое мышление. Откуда у него такие привилегии? Дюркгейм написал замечательную работу под названием «Эволюция педагогики во Франции», в которой с педагогикой делается то, что я хочу сделать с государством<sup>10</sup>. Дюркгейм попытался создать не занимательную историю образования, а генетическую социологию, выделив особенности, позволяющие понять, что же оно сегодня собой представляет. Почему такой генетический анализ получает привилегию? Из предшествующих курсов мы среди прочего усвоили то, что государство создает абсолютный эффект символического навязывания, не имеющий себе равных и позволяющий оградить государство от вопроса, под который его могла бы поставить наука.

10. Durkheim É. L'Évolution pédagogique en France. Paris, 1969 [1938].

То, что можно называть установившимся государством, действующим государством, государством, которое в силе, складывается посредством символического порядка, который оно учреждает в объективном мире, в вещах (например, в виде разделения на дисциплины, на возрастные категории) и одновременно в субъективности — в ментальных структурах, в форме принципов разделения, принципов видения, систем классификации. В силу этого двойного навязывания символического порядка государство заставляет принимать за нечто само собой разумеющееся и самоочевидное немалое число практик и институтов. Например, благодаря нему мы не задаем себе вопросов о границах, о том, что во Франции говорят по-французски, а не на каком-то другом языке, об абсурдности орфографии, короче говоря, не задаем множество вопросов, которые могли бы возникнуть, но не возникают и подвешиваются, то есть ряд вопросов, которые могли стоять у истоков институтов: когда занимаешься историческими исследованиями, выясняешь, что на самом деле у истоков тех или иных институтов стояли дискуссии о вещах, которые в настоящем приходится открывать с большим трудом.

Когда я занимался образованием, меня поразила одна вещь: идея о том, что школьная система могла выполнять функцию воспроизводства, была выдвинута в 1880-х гг., когда велись дискуссии о возможности создания обязательной школьной системы. Бывает так, что на первых этапах функции, функционирование разных вещей, которые затем становятся рутинной частью сложившегося порядка, ставятся под вопрос, выносятся на обсуждение. Есть и другая ситуация, в которой тоже начинают задавать вопросы: это период распада. Происходящие в периоды распада инволютивные изменения, как их называли некоторые биологи, в «патологических» ситуациях, в моменты кризиса государства, как, например, во время получения Алжиром независимости, представляют большой интерес, потому что снова встают вопросы, даже не вытесненные, а отставленные в сторону, поскольку они считались решенными еще до того, как были поставлены: где заканчиваются границы? Нужно ли говорить по-французски,

чтобы быть французом? Остается ли человек французом, если он больше не говорит по-французски? Достаточно ли говорить по-французски, чтобы быть французом?

Иначе говоря, один из эффектов символической власти, связанный с институтом государства, состоит в том, что в форме доксы натурализуются более или менее произвольные послышки, стоявшие у истоков государства. Кроме того, только генетическое исследование может напомнить нам, что государство и все, что из него вытекает, — это историческое изобретение, исторический артефакт и что сами мы — тоже изобретение государства. Генетическое исследование, а не «генеалогия» в духе Фуко<sup>11</sup> — вот единственное реальное противоядие от того, что я называю «забвением истоков», присущим любой успешной институционализации, любому институту, которому удастся себя навязать, чем подразумевается забвение его генезиса. Институт добился успеха, если ему удалось себя навязать [как нечто самоочевидное]. Напомню вам определение института, которым я пользуюсь<sup>12</sup>: институт существует дважды, он существует объективно и субъективно, в вещах и в умах. Успешный институт, способный существовать одновременно и в объективности норм, и в субъективности ментальных структур, к этим нормам привязанных, перестает представляться институтом. О нем перестают думать как о существующем *ex instituto* <из установления>. (Лейбниц применял это выражение *ex instituto* к языку, имея в виду, что язык не имеет иного основания, кроме акта его установления.) Институт, добившийся успеха, забывает сам себя и заставляет забыть о себе как о чем-то таком, что было рождено, у чего было начало.

Генетическая мысль, как я ее определяю, пытается в каком-то смысле вывести на поверхность произвольность начала: она [таким образом] противопоставляет себя обычным применениям обычной истории. Обыч-

11. О понятии генеалогии см.: Foucault M. Qu'est-ce que la critique? Critique et Aufklärung. Conférence du 27 mai 1978 devant la Société française de philosophie // Bulletin de la société française de philosophie. 1990. V. 84. No. 2. 3. 35–63.

12. Бурдьё П. Мертвый хватает живого // Социология социального пространства. М., 1993.

ное применение обычной исторической мысли склонно выполнять, даже когда те, кто его практикуют, об этом не догадываются, функцию легитимации, что представляет собой одну из самых распространенных форм применения истории. Например, когда я читал литературу о государстве, мне попались парламентарии XVIII века, д'Агессо и др. Они начали по собственному почину писать историю парламента. Они были образованными людьми, у них была потребность легитимировать свое существование, они написали историю, целью которой было доказать то, что они хотели доказать, а именно что парламент — это очень древняя организация, что он является наследником Генеральных Штатов, а потому представляет народ. Это был способ утвердить и учредить власть, независимую от короля, показать, что у них другая легитимность. История очень часто увлекается этим оправдательным дискурсом, отчасти потому, что она знает, что произошло впоследствии, то есть основополагающую роль в работах историков играет определенная форма анахронизма. Я читаю много историков, и так уж у меня устроено сознание, что я вижу множество анахронизмов. Никто другой так часто не прибегает к анахронизмам, как историки. Например, сказать «Франция в 1000-м году» — это, по-моему, уже чудовищно: понадобилось десять столетий, чтобы образовалась Франция...

Возвращение к неопределенности, связанной с истоками, к открытию возможностей, которое характерно для начала, необыкновенно важно для того, чтобы бороться с банализацией. Я, собственно, занимаюсь не чем иным, как подведением реального содержания под понятие разрыва, которое означает именно это: перестать считать очевидным то, что не должно быть таковым, перестать рассматривать в качестве беспроблемного то, что должно создавать проблемы. Чтобы противостоять банализации и преодолеть забвение истока, свойственное институционализации, важно вернуться к первоначальным спорам, которые показывают, что там, где у нас осталась только одна возможность, их на самом деле было множество и с каждой из них было связано особое поле. Такой подход имеет очень

серьезные последствия с точки зрения философии истории, которой пользуются, рассказывая определенную историю. Всегда, когда рассказывается линейная история, появляется и философия истории. Это имеет очень важные последствия в плане того, что вы как историк должны искать, что нужно рассматривать как факт с точки зрения конструирования объекта. Там, где в любой момент есть множество возможных траекторий, — порой я сомневаюсь, что такие вещи надо говорить, настолько это общее место в философском дискурсе, — есть пространство возможностей, множество возможных становлений: то, что было принципатом, могло перейти к феодализму или превратиться в империю; то, что стало империей Габсбургов, могло стать чем-то другим... Это легко увидеть, когда я буду брать династические примеры (позднее вы поймете, что это важно). Но когда речь идет о своего рода теоретических возможностях, разглядеть это значительно труднее.

### Эффект «Это так...» и закрытие возможностей

Я приведу вполне конкретный пример, который показывает, что история в любой момент сужает спектр возможностей: можно было обойтись без атомной энергии, но ее все-таки произвели; в сфере недвижимости можно было не проводить политику, ориентированную на индивидуальные инвестиции и на поддержку частных лиц, и т. д. Есть определенная необратимость, отвечающая односторонности процессов. История разрушает возможности: пространство возможностей постоянно сужается, и, если вы свяжете эту констатацию с тем, что я только что сказал, вы поймете, что история успешного института подразумевает забвение генезиса этого института, то есть история уничтожает возможности и заставляет забывать, что эти возможности были возможны, более того, делает эти возможности невыносимыми. Есть возможности, которые были отменены раз и навсегда, это даже хуже того, чем если бы их просто запретили, потому что их сделали невыносимыми. Та историческая реальность, которую мы знаем, все эти атом-

ные электростанции, орфография, разделение между историей и географией, существование геологии и т. п., предстает в таком виде, что противоположное ей не просто исключено, оно немыслимо. Это и есть то, что я только что назвал «государственным переворотом»<sup>\*</sup>.

Главный удар, который нам наносит государство, можно было бы назвать эффектом «Это так...», «Вот так». Это еще хуже, чем сказать: «Иначе и быть не могло». Если «это так», значит говорить больше не о чем. Это как Гегель, который при виде гор говорит: «Вот так». Это означает, что социальных агентов заставили принять тысячи вещей, но они об этом даже не знали (их не заставляли принести присягу), вынудили безоговорочно принять тысячи допущений, гораздо более радикальных, чем все договоры, конвенции, соглашения.

(Я делаю отступления от темы и делаю их сознательно. Это педагогическая позиция. Я часто говорил, что проблема социологии в том, что она должна разрушать здравый смысл, отбрасывать все, что как-то связано с протоверованием, которое больше просто верования: это верование, которое само себя не знает в качестве такового. Социология должна разрушать доксу. В педагогических отношениях очень часто действует эффект авторитета, эффект «Я особо не думал», «Мне говорят, я соглашаюсь». Социологический дискурс принимают, но не по-настоящему, потому что это принятие может сосуществовать с сохранением своего рода протодоксы. Чтобы сломить это благодушное принятие, необходимо делать то, что может показаться провокацией, а именно браться за животрепещущие темы, которые могут шокировать и нарушать покой. Это единственный способ повторить операцию, которую проделывает социолог, чтобы суметь сказать то, что он говорит: он играет с огнем. Я говорю это не для того, чтобы отдать дань мифу о науке, но потому что постановка под вопрос доксы, базовых убеждений — это всегда опасная игра. В противном случае все было бы слишком просто, можно было бы сказать:

---

\* Бурдьё играет здесь на выражении «государственный переворот» (*coup d'État*), выделяя в нем буквальное значение «удар государства», «удар, который наносит государство». — *Примеч. пер.*

«Он изложил нам такой-то “сюжет”». У «сюжета» есть статус: он не истинный и не ложный. Но наука, социология — это не «сюжеты».)

### Пространство возможностей

Вернусь к своему анализу и приведу еще один пример. В настоящий момент в Национальном собрании находится законопроект, за который борется адвокатское лобби. Ранее я показал, насколько интересен процесс формирования профессии в ее англосаксонском виде, потому что он позволял увидеть, как исторически складывался капитал<sup>13</sup>. Я показал, что существует странная антиномия: эти профессии, которые во Франции называют «либеральными», которые близки либерализму, полностью зависят от государства. Я показал, что, если и есть какая-то деятельность, зависящая от государства, так это либеральные профессии: они обязаны своей малочисленностью, а значит, и монополией, защите государства, которое определяет право на вступление в эти профессии, и они ревниво следят за сохранением этой границы, границы их монополии. Я также рассказывал вам, что в 1970-е гг. в США произошло возрождение социологии права, в том же самом контексте, что и возрождение работ о государстве, о которых я недавно говорил. Некоторые социологи заинтересовались происхождением права, поставив проблемы, которые не принято было поднимать, в связи с распространением в среде левых движений альтернативных юристов, то есть людей, которые, не являясь членами корпорации, то есть профессии, за деньги или бесплатно предоставляют юридические услуги: примером могут быть феминистские ассоциации юридической помощи женщинам или ассоциации помощи пуэрториканцам, защищающие бесправное население. Во Франции существовала похожая традиция — традиция юридических консульта-

---

13. Бурдые отсылает здесь к своей лекции, прочитанной 9 февраля 1989 года и посвященной незаинтересованности. Законопроект, о котором он говорит, меняет правила работы в юридической профессии, закрепляя требование о наличии диплома.

ций при ассоциациях потребителей, партиях, профсоюзах. В этих юридических консультациях часто работали люди, у которых не было статуса юриста, подкрепляемого соответствующим дипломом. Сегодня несколько парламентариев, имеющих самую разную партийную принадлежность, но объединенных связью с правом (у них есть дипломы юристов), которая заставляет их забыть о партийных разногласиях, борются за то, чтобы вы больше не могли предоставлять юридические услуги, не будучи дипломированным юристом. Реформа предусматривает обязательное получение лицензии юриста или эквивалентного диплома любым человеком, который предоставляет юридические консультации в обычном порядке и за вознаграждение. Это восстановление монополии.

Как это связано с пространством возможностей? Поскольку эта мера еще только формулируется, идет ее обсуждение. Я могу процитировать выступление министра юстиции [социалиста], у которого по крайней мере правильный рефлекс: «Если этот текст будет принят, это будет означать, что профсоюзный активист, двадцать — двадцать пять лет отработавший в конфликтной комиссии, у которого нет диплома об образовании, уже не сможет составить юридический акт, за который получает небольшое вознаграждение». И чтобы стигматизировать корпорацию дипломированных специалистов, он заявляет: «Права предоставлять юридические консультации окажутся лишены эксперт по земельному налогу при сельскохозяйственной палате, профсоюзный эксперт по трудовому праву, эксперт по укрупнению земельных участков при Национальной федерации пользователей сельскохозяйственных земель». Иначе говоря, этим ассоциациям придется либо исчезнуть, либо нанять адвоката. Какое отношение это имеет к моей проблеме? Дело в том, что пока есть люди, которые борются, есть надежда. Потребители и профсоюзы проведут мобилизацию, в противном случае их юридические консультации через четыре года исчезнут. Я не делаю прогнозов. Предположим, что они исчезнут через десять лет: если вы не историки, вы забудете об альтернативной возможности, то есть о том, что могли существовать юридические



консультации, в которых работали непрофессионалы. Впрочем, возможно, структура изменится, профсоюзы станут выдавать стипендию людям, чтобы они получили юридическое образование, конфликтные комиссии станут другими, будут защищать людей каким-то иным способом, будут иначе понимать проблемы... В чем можно наверняка быть уверенным, так это в том, что изменятся ментальные структуры: люди будут разговаривать с членами конфликтной комиссии уже по-другому, нельзя будет сквернословить; те из них, кто мало что может сказать, кроме грубых слов, больше не сможет сказать ничего, как это и происходит сегодня в большинстве юридических ситуаций. Сложится соответствующая юридическая ситуация, а ее происхождение будет забыто. То же самое с жилищной политикой: альтернатива коллективного социального жилья и мелких частных домов — это мнимая альтернатива; есть третья возможность мелких домов, сдаваемых в наем, которой больше не существует. Ни один социолог об этом не говорит... Иными словами, альтернатива, оппозиция коллективного жилья и индивидуального отмечается историческим процессом, в результате которого проблема сложилась в той форме, генеалогию которой можно проследить. И таких проблем тысячи.

### Пример орфографии

Еще один пример: орфография — это поистине замечательная иллюстрация<sup>14</sup>. Только задумайтесь, эти дебаты, говорят, занимали в газетах, по крайней мере в «Le Fi-

14. См. документ «Исправление орфографии» («Les rectifications de l'orthographe»), представленный Верховным советом по делам французского языка в: Journal officiel de la République française, Documents administratifs, No. 100, 6 декабря 1990 года. В тот момент, когда Бурдые читал лекцию, полемика была в самом разгаре: «Ассоциация сохранения французского языка» (ASLF), созданная в декабре 1990 года, мобилизовала, среди прочих, лауреатов Нобелевской премии и членов Французской академии моральных и политических наук, чтобы те выступили в прессе против реформы. Скорее всего, именно один из ее членов через неделю оставит для Пьера Бурдые досье с газетными материалами на эту тему и, в частности, статью Клода Леви-Стросса из «Le Figaro» от 3 января 1991 года под названием «Начать все с нуля» («Tout reprendre à zéro»).

гаго», больше места, чем «Война в Заливе»: как такое возможно? Можно ли отделаться улыбкой, сказав, что это все вздор, всего лишь образец легкомыслия французов? Вот в Америке говорят, что это все смешно. Я же считаю, что, если проблема приобрела такие масштабы, значит, для людей, которых она мобилизует, это очень серьезная проблема. Вся моя социологическая работа была направлена на то, чтобы сделать понятными такого рода проблемы, объяснить, что за отменой географии, сокращением на пятнадцать минут физкультуры, добавлением лишних пятнадцати минут к уроку математики за счет урока музыки стоит борьба не на жизнь, а на смерть, что под вопросом оказываются непосредственные интересы людей, как в случае адвокатов, или же их косвенные интересы, а здесь дело обстоит еще хуже, потому что на карту поставлены интересы идентичности. Почему? На зарплате это не отражается. Чтобы понять такие проблемы, понять, что они очень серьезные, что из-за пустяков могут разгораться гражданские войны, нужно иметь объяснительную систему исключительной сложности и строгости, в которой фундаментальную роль играет государство. Здесь стоит вопрос об одной из важнейших с социологической точки зрения вещей — о социальных страстях, то есть об очень сильных, патетических чувствах, любви, ненависти, которые обычный социолог склонен исключать, считая их относящимися к порядку иррационального, непонятного. Некоторые языковые войны принимают форму религиозных войн, некоторые войны в сфере образования являются войнами религиозными, что никак не связано с противопоставлением публичного и частного, иначе это было бы слишком просто.

Чтобы дать представление о принципе анализа, скажу, что орфография — это *ortho graphia*, прямое письмо, манера писать в соответствии с правилами, правильно, то есть исправлено — в смысле исправленного языка. Очевидно, что орфография является продуктом исторического процесса. Французский язык — это артефакт, но орфография — артефакт четвертого порядка, продукт ряда более или менее случайных исторических решений, начиная с тех, что принимались средневековыми монахами, и заканчивая

мерами, одобренными разнообразными комиссиями и комитетами, которые при этом всегда были государственными. Как только речь заходит о реформе орфографии, мы тут же сталкиваемся с обороной людей, часто являющихся государственными литераторами, академиками. Они попадают в эту ловушку именно потому, что положение обязывает их отвечать на подобные вопросы. Они сталкиваются с *double bind*. Первое желание — сказать: «Государство требует от нас ратифицировать государственную меру в отношении государственной орфографии». Принимается ряд государственных решений, но эти решения стали ментальными структурами благодаря институту образования, которым было привито уважение к орфографии.

Среди наиболее интересных аргументов, вызывающих насмешки журналистов, есть и эстетические аргументы: слово *néniurphar* <водяная лилия> красивее выглядит с *ph*, чем с *f*. Это смешно, но это так: это и в самом деле красивее с точки зрения того, кто является продуктом государства, привыкшим к государственной орфографии. Здесь возникает эстетическая проблема, больше не буду об этом говорить, подумайте об этом сами... В данном случае государство общается с самим собой, и если орфография может стать государственным делом, это происходит потому, что именно немислимое государства мыслит себя через писателей. Несколько лет назад мы провели опрос защитников латинского языка. В нем выявляется определенная гомология: самые отчаянные защитники латыни попадают среди тех, кто немного ее изучал, кто преподавал в технической [сфере], потому что для них это была точка последней дифференциации, *diacrisis* [отличия], тогда как те, кто изучал латынь долго, были далеки от такой реакции. И если орфография сегодня становится местом столь чувствительных различий, причина в том числе и в поколенческих проблемах. В «Различении» есть фотография, на которой изображены молодой человек с длинными волосами и пожилой господин с усами<sup>15</sup>. В бюрократии такое бывает часто. Пожилой господин с усами выучил орфографию, я бы

15. Bourdieu P. La Distinction. P. 164–165.

даже сказал, что он ничего другого не знает, а длинноволосый юноша читает «Libération», работает на компьютере, но не знает орфографии, у него полно ошибок. Это одно из мест последнего отличия, и, конечно же, существуют люди, весь культурный капитал которых, существующий в таком реляционном режиме, связан с этим последним отличием.

Я говорю о «культурном капитале», но я должен также сформулировать связь, которая существует между ним и государством. Это предмет моего курса в этом году. Орфография — очень хороший пример. Еще один пример — французский язык. Генезис государства, как мне представляется, — это генезис пространств, в которых, к примеру, определенный способ символического выражения получает монополию: говорить нужно правильно и только так. Эта унификация языкового рынка, рынка письма, равнообъемная государству, производится самим государством по мере того, как оно, государство, производит само себя. Это один из способов, которыми государство производит себя: нормализация орфографии, нормализация мер и весов, нормализация права, замена разных видов феодального права унифицированным правом... Этот процесс унификации, централизации, стандартизации, гомогенизации, в ходе которого собственно и складывается государство, сопровождается процессом, который воспроизводит сам себя: это филогенез, воспроизводящийся в онтогенезе в каждом поколении при помощи системы образования, процесс, посредством которого формируются нормализованные индивиды, приведенные к единообразию с точки зрения письма, орфографии, манеры говорить... Этот двойной процесс полностью погружается в бессознательное (забвение генезиса), так что какая-то произвольная вещь совершенно забывается в качестве таковой. Возьмите словарь «Robert», вы найдете в нем цитаты, в том числе из Валери, об абсурдности французской орфографии.

Крайне произвольные вещи становятся, таким образом, абсолютно необходимыми, даже более чем необходимыми — естественными. Настолько естественными, что изменить их — это как лишить воздуха, сделать

жизнь для множества людей невозможной. Чтобы понять, что в таких случаях происходит, следовало бы произвести дифференциальный социологический анализ различных позиций: кто выступает за, кто — против... Это замечательная экспериментальная ситуация. Говорят, что социология не ставит экспериментов: это совершенно неверно, вот экспериментальная ситуация, достаточно только за ней понаблюдать. Разумеется, нужно сделать гораздо больше, чтобы объяснить, что фундаментальный принцип происходящего — своеобразная встреча государства с самим собой, государства, которое, будучи институтом, имеет те же свойства, что есть у любого института: оно существует объективно в форме грамматики, в форме словаря, свода орфографических правил, государственных рекомендаций, преподавателей грамматики, учебников по орфографии и т. д., и в то же время оно существует в ментальных структурах в форме предрасположенности писать правильно, то есть без ошибок, или же предрасположенности считать, что нужно писать правильно (среди защитников орфографии есть и такие, кто делает орфографические ошибки). Важно само это докситическое согласие с необходимостью орфографии. Государство может добиться того, что будут существовать преподаватели орфографии и в то же время люди, готовые за орфографию умереть.

## Лекция 17 января 1991 года

*Напоминание о направлении курса. — Два значения слова «государство»: государство-управление, государство-территория. — Дисциплинарное разделение исторической работы как эпистемологическое препятствие. — Модели генезиса государства: 1. Норберт Элиас. — Модели генезиса государства: 2. Чарльз Тилли.*

### Напоминание о направлении курса

**Н**А прошлой неделе я начал с довольно длинной преамбулы, чтобы рассказать вам об особых трудностях, с которыми мы сталкиваемся, когда хотим помыслить государство, и привел в качестве примера орфографию. Это отнюдь не анекдотический пример, потому что, когда занимаешься орфографическими войнами или же, так сказать, войнами более реальными и более волнующими, можно с одинаковой вероятностью испытать на себе влияние мысли о государстве. В обоих случаях, я думаю, есть эффект государства, сказывающийся на том, кто пытается мыслить; это тот самый эффект государства, который я попытался проанализировать, описать точнее, поскольку раньше я уже подступался к этому вопросу. Прежде чем приниматься за генетический анализ рождения государства, который представляется мне одним из способов хотя бы чуть-чуть уклониться от подобного воздействия государства, я бы хотел сегодня в общих чертах обрисовать путь, которому я буду в этом году следовать, чтобы вы не отстали от меня на всех поворотах и извилинах маршрута, который я изберу. Важно знать, куда я хочу прийти, чтобы понять, а порой и принять разрозненные и случайные, на первый взгляд, подробности, в которые я буду по ходу дела вдаваться.

Я хочу попытаться показать, каким образом образовался этот великий фетиш — государство, или, пользуясь метафорой, которую я мог бы пояснить, этот «центральный банк символического капитала», место, где производятся и получают гарантию все кредитные деньги, обращающиеся в социальном мире, и все реалии,

которые можно назвать фетишами, идет ли речь о школьном аттестате, легитимной культуре, нации, понятии границы или орфографии. Итак, мне важно изучить сотворение этого творца и гаранта фетишей, за которые вся нация или какая-то ее часть готова умереть. Я полагаю, что всегда нужно помнить о том, что государство — это символическая сила, которая может добиться, что называется, высшей жертвы — за счет таких смехотворных вещей, как орфография, или, наоборот, столь серьезных, как границы. Я отсылаю вас к прекрасной статье Канторовича «Pro patria mori»<sup>1</sup>. Вот традиция мысли, к которой следует обратиться, чтобы понять государство. Я убежден в том, что генетический анализ — одно из немногих средств, позволяющих порвать с иллюзией, свойственной синхроническому восприятию, то есть с тем докисическим согласием, которое возникает в силу того, что государство и все его творения — язык, право, орфография и т. д. — вписаны одновременно и в реальность, и в умы. Это также единственный способ порвать со всеми эффектами, которые можно назвать психологическими, но которые я для большей точности называю символическими, со всеми эффектами, заставляющими нас думать о государстве посредством мысли самого государства.

Два значения слова «государство»:  
государство-управление  
и государство-территория

Чтобы уточнить эту общую линию, напомним о различии, которое я уже проводил и которое вы найдете в словарях. Какой бы словарь вы ни взяли, «Robert», словарь Лаланда или «Larousse», в них традиционно различаются два значения слова «государство», которые, как мне кажется, тесно связаны друг с другом. С одной стороны, более узкое значение, которое в словарях приводится вторым: государство — это управление, совокупность государственных органов, форма управления. С другой стороны, более широкий смысл: государство — это

1. *Kantorowicz E. Mourir pour la patrie et autres textes. P. 105–141.*

национальная территория и совокупность граждан. Историки ведут споры о том, кто кого образует — нация государство или, наоборот, государство — нацию, это очень важные дискуссии с политической, но не с научной точки зрения. И как это часто бывает, общественно важные споры оказываются экраном и препятствием для научно важных споров. Указанная альтернатива может разделять национальные традиции, политические традиции и представлять собой очень важную ставку, поскольку в зависимости от того, чему отдается приоритет — государству или нации, используются совершенно разные инструменты легитимации. Именно поэтому это важнейшая политическая ставка.

На мой взгляд, это полезное, но все-таки искусственное различие, и модель генезиса государства, которую я хочу предложить, создана по очень простому принципу: государство в узком смысле слова, государство-1 (управление, форма правления, совокупность бюрократических институтов и т. д.) образуется, формируя государство в широком смысле слова, государство-2 (национальную территорию, совокупность граждан, объединенных отношениями признания, которые говорят на одном языке, все то, что вкладывается в понятие нации). Итак, государство-1 образуется, формируя государство-2. Вот упрощенная формулировка. Говоря точнее, построение государства как относительно автономного поля, отправляющего власть, обеспечивающую централизацию физической и символической силы, и тем самым становящегося ставкой, за которую идет борьба, неизбежно сопровождается построением единого социального пространства, которое становится ему подведомственным. Иначе говоря, если вернуться к классическому философскому различию, отношения между государством-1 и государством-2 — это отношения *natura naturans* и *natura naturata*, порождающей и порожденной природы. Вы скажете, что тем самым мы объясняем *obscurum* через *obscurum*...

(В аудитории всегда найдется тот, для кого темные вещи ясны и кто вдруг скажет про себя: «Так вот оно что!») Именно поэтому я специально использую несколько языков. Я часто говорю, объясняя мою манеру



думать и говорить, что, когда меняешь способ говорить о вещах, можно освободиться от обычной манеры, которой ты ограничен; это способ найти траектории, разные пути. Вещи, которые помогли мне найти дорогу, могут помочь и другим. Именно поэтому я с вами ими делюсь, тогда как в книге остается только что-то одно. С точки зрения коммуникации книга строже устного выступления, но в то же время она намного беднее, она менее действенна... Многие говорят мне: «Когда мы вас слушаем, все понятно; когда читаем, ничего непонятно», тогда как для меня это одно и то же. Различие именно в этой семантической открытости, которую я могу сохранить в устной речи, но вынужден убирать из письменной.)

Генезис государства как *natura naturans*, как принцип построения сопровождался, таким образом, генезисом государства как *natura naturata*. Почему об этом нужно напоминать? Потому что наивное восприятие приводит к определенной форме фетишизма: делают вид, будто государство как территория, совокупность агентов и т.д. была фундаментом для государства как управления. Иными словами, можно сказать, что фетишизм, по сути дела, переворачивает реальный процесс. Я говорю, что государство создается, делая нечто, но верно и то, что генетический подход неизменно показывает нам, что изобретение процедур, юридической техники, техники сбора ресурсов или концентрации знания (письма), все эти изобретения, тяготеющие к центру, сопровождаются глубокими изменениями, более или менее долгосрочными, на уровне собственно территорий и населения. Если придерживаться генетического порядка, возникает желание отдать определенный приоритет построению централизованного государства перед построением государства как территории, тогда как стихийное восприятие диктует обратное: так, например, национализм всегда пользуется фактом языкового единства для того, чтобы на этом основании сделать вывод о необходимости управленческого единства или чтобы легитимировать требования управленческого единства, предъявляемые единству территориальному. В реальном генезисе то, что фетишизм,

свойственный стихийному восприятию, считает перводвигателем, основой, часто оказывается на втором месте. Это еще одна причина для того, чтобы заняться генетическим анализом.

Государство как суверенная власть над определенным народом и территорией, как совокупность общих служб и ведомств нации, государственных служб, как их называют (центральная власть, государственная власть, администрация и т. д.), кажется выражением государства как «группы людей, закрепленной на определенной территории, подчиненной определенной власти и рассматриваемой в качестве юридического лица» или государства как «организованного общества, имеющего независимое управление и играющего роль юридического лица, отличного от других аналогичных обществ, с которыми оно находится в отношении»<sup>2</sup>. Ставя на первое место организованное общество, а на второе — службы и ведомства, Лаланд, поскольку у философов тоже есть бессознательное, молчаливо соглашается с общепринятым представлением о том, что службы и ведомства суть выражение общества.

Одна из функций генетического анализа, которым я буду заниматься долго и медленно, — порвать с иллюзией, свойственной синхроническому восприятию, и показать, как ряд социальных агентов, чьи характеристики в социальном пространстве поддаются определению (король, легисты, члены королевского совета и т. д.), создали государство и при этом создали самих себя как воплощение государства. Это напоминание ведет к вопросу, который я в несколько навязчивой манере ставил на предыдущих курсах. Говоря в довольно простых, если не сказать упрощенных категориях, можно задать вопрос: кто заинтересован в государстве? Есть ли интересы государства? Есть ли заинтересованность в публичном, в государственной службе? Есть ли интерес к универсальному и кто его носитель? Как только вопросы поставлены в том виде, в каком я их ставлю, мы тут же переходим к описанию и процесса построения

---

2. *Lalande A. Vocabulaire technique et critique de la philosophie*. Paris: PUF, 2006 [1926]. P. 303–304.

государства, и ответственных за этот процесс. А потому— принимая расширенное веберовское определение государства, которое я предложил в качестве мнемотехнического приема, а именно определение государства как обладателя монополии на легитимное физическое и символическое насилие — и к постановке вопроса о том, кто имеет монополию на эту монополию. Это вопрос, который не вытекает из веберовского определения и который не ставят все те, кто им пользуется, включая Норберта Элиаса.

### Дисциплинарное разделение исторической работы как эпистемологическое препятствие

Обрисовав в общих чертах свой проект, я перейду к генетическому анализу государства. На моем пути будут встречаться два типа данных: с одной стороны, исторические работы, огромные, бесчисленные, неохватные, пугающие, потому что их трудно освоить. С другой стороны, в массе общих теорий государства есть и близкие тому, что собираюсь сделать я. Чтобы вкратце дать представление об объемах данных и грандиозности моей затеи, просто процитирую отрывок из статьи английского историка Ричарда Бонни «Война, налоги и деятельность государства во Франции, 1500–1600 гг. Несколько предварительных замечаний о возможности исследования»<sup>3</sup>, которая, напомним, касается лишь небольшой исторической области: «Регионы истории, которым уделялось меньше всего внимания, были пограничными зонами, например, находились на границах разных специализаций. Так, например, изучение государственного управления требует знания теории управления, то есть истории политической мысли». Одна из сфер специальных знаний, в которую я попытался проникнуть, в высшей степени увлекательная область, по-

---

3. *Bonney R. J. Guerre, fiscalité et activité d'État en France, 1500–1600. Quelques remarques préliminaires sur les possibilités de recherche // Genèse de l'État moderne / J.-P. Genet, M. Le Mené (dir.). P. 193–201.*

лучившая развитие в англосаксонских странах,—это не история политических теорий (в узком смысле этого слова, то есть теорий, созданных теоретиками, считающимися достойными этого имени — Боденом, Монтескье, всегда одни и те же имена), а история массива дискурсов о государстве, создававшихся начиная со Средних веков и сопровождавших построение государства (я специально использую слово, которое не подразумевает каузального действия), которые были делом тех, кто строил государство и вдохновлялся Аристотелем, а позднее Макиавелли.

Эти теории [существенно отличались] от того, как их обычно представляют, когда занимаются историей идей и считают их интересными теориями, по которым и сегодня можно занять позицию: например, ставят вопрос о том, был ли прав Боден, выступая против того или иного теоретика. Преподавание этих теорий несколько напоминает преподавание в Институте политических исследований <Sciences-Po>... Но, на мой взгляд, у них совершенно иной статус. Это структуры, структурированные социальными условиями производства производителей, которые и сами располагаются в некотором государственном пространстве, в некоторых позициях, и в то же время структурирующие структуры восприятия тех агентов, которые участвовали в рождении реальных организационных структур. Например, отправляясь от аристотелевской идеи благоразумия, первые легисты приступают к определению благоразумия государственного деятеля, противопоставляемого *virtù* [доблести] рыцаря, который слишком пылок, не всегда хозяин своим чувствам и своему разуму. По этому вопросу я отошлю вас к замечательной работе Жоржа Дюби<sup>4</sup>. Таким образом, Аристотеля в этом случае нужно читать не ради досужих размышлений, а чтобы узнать, что такое государство.

Итак, вот небольшая область специальных знаний, которую нужно попытаться изучить, но, чтобы быть

---

4. *Duby G. Histoire de France. T. I: Le Moyen Âge, de Hugues Capet à Jeanne d'Arc (987–1460). Paris: Hachette, 1987; переиздано в: Pluriel, 2009.*

специалистом по этому вопросу, нужно было долго им заниматься. Я процитирую вам Мишеля Серра — это тот редкий случай, когда я с ним согласен: он говорит, что одним из важнейших проявлений цензуры в науке является разделение между науками<sup>5</sup>. Цензура осуществляется самым фактом разделения знания и такого его разделения, которое делает некоторые вещи невыносимыми по обе стороны границы. [Вернусь к цитате] из этого английского историка [Ричарда Дж. Бонни]: «Регионы истории, которым уделялось меньше всего внимания, были пограничными зонами, например, находились на границе разных специализаций. Так, например, изучение государственного управления требует знания теории управления, то есть истории политической мысли, знания практики управления». Эти легисты производили дискурсы, но мы не знаем, как они были связаны с их практикой. Все, кто пишут, что «государства слишком мало» или «государства слишком много», производят дискурсы, но нужно еще выяснить, как именно они связаны с тем, что сами эти люди делают; это весьма непростые отношения, в каждом случае разные. Я продолжу: «...знания практики управления, то есть истории институтов [которое у историков представляет собой отдельную специализацию]; наконец, знания управленческого персонала [институтов, королевского совета, кто в него входит; существуют люди, занимающиеся просопографией, люди, которые, как мадам Отран<sup>6</sup>, составляют генеалогию юристов, легистов]... то есть знания социальной истории. [Это сокращенное наименование, принятое у историков: социальная история не сводится к истории людей, делающих историю.] Однако лишь немногие историки способны с одинаковой уверенностью ориентироваться во всех этих дисциплинах. Применительно к указанному периоду [он говорит о 1250–1270 гг.] есть и другие пограничные зоны, требующие

---

5. Эта идея излагается Мишелем Серром в: *Serres M. Le Passage du Nord-Ouest*. Paris: Minuit, 1980.

6. *Autrand F. Naissance d'un grand corps de l'État. Les gens du Parlement de Paris, 1345–1454*. Paris: Publications de la Sorbonne, 1981.

изучения, например, техники ведения войны в начале Нового времени. [Среди тех факторов, которые оказали влияние на образование государств, есть и война: чтобы воевать, нужны налоги.] Без более глубокого знания этих проблем трудно оценить значение логистических усилий, предпринятых тем или иным правительством во время той или иной военной кампании; но эти усилия не должны изучаться с точки зрения всего лишь военной истории в традиционном смысле слова; военный историк должен быть еще и историком государственного управления. Кроме того, остается много белых пятен в истории государственных финансов и налогообложения, и здесь историк опять же должен быть не просто историком финансов в обычном смысле слова, нужно, чтобы он был историком управления и чуть-чуть экономистом. К сожалению, дробление исторической науки на разделы, монополия специалистов и чувство, что есть модные аспекты истории, а есть немодные, не слишком помогли этому делу». К примеру, в течение тридцати лет среди историков никто не говорил о государстве, тогда как теперь во Франции о нем говорят все, а в США, наоборот, совсем перестали.

Трудность, с которой мы сталкиваемся, когда желаем обратиться к социальной истории процесса образования государства, заключается в гигантском количестве исторических источников, их разнородности и разнообразии, то есть в дисциплинарном разнообразии на уровне одной эпохи, разнообразии эпох, разнообразии национальных традиций. Я попытаюсь выбрать из этой «чудовищной» литературы то, что показалось мне имеющим отношение к делу. Очевидно, что я постоянно оказываюсь во власти ошибок, недоразумений и в особенности риску повторить в самой претенциозной и абстрактной форме то, что уже сказали историки. До некоторой степени на это как раз и указывает система обороны историков, и, к несчастью, очень часто они правы. Таким образом, необходимо знать, с одной стороны, необъятную историческую литературу, разнородную, бессвязную, в которой самые важные теоретические догадки порой запрятаны в постраничные примечания, а с другой стороны, нужно

освоить большие теории государства и в особенности теории, принадлежавшие той категории теоретиков, которые пытались предложить модели генезиса, и которые, по моему мнению, радикально отличаются и от производства теорий, обсуждавшегося мною ранее, и от теоретиков генезиса феодального государства, рассмотренных мною в прошлом году.

## Модели генезиса государства:

### 1. Норберт Элиас

Первая теория, о которой я буду сегодня говорить, представлена Элиасом, это развитие теории Вебера. Я говорю это в несколько грубой и упрощенной форме, но, как ни странно, социологи всегда вызывали у историков нервное раздражение, и Элиас был одним из тех героев-посредников, которые позволили принять социологию, но в подслащенном виде. И поскольку историки, особенно во Франции, в силу достаточно сложных причин знать не хотели Вебера, Элиас стал для них возможностью использовать Вебера, не подозревая об этом, и, следовательно, приписывать Элиасу, который является в высшей степени оригинальным мыслителем, то, что на самом деле идет от Вебера. Я полагаю, важно знать то, что его теория возникла не на пустом месте. Элиас попытался применить в области генетического метода некоторые фундаментальные идеи Макса Вебера о государстве: он создал генетическую теорию государства, подсказанную Вебером. Его главная работа по этой теме, опубликованная на французском языке, — это «Динамика Запада»\*, где он пытается показать, как складывалось государство, то есть, если следовать формулировке Вебера, организация, которая успешно осуществляет свои претензии на отправление власти на определенной территории благодаря монополии на легитимное использование наси-

---

\* «Динамика Запада» — название второго тома французского перевода работы Норберта Элиаса «О процессе цивилизации», первый том — «Цивилизация нравов»: *Elias N. La Civilisation des mœurs* / P. Kamnitzer (trad.), Paris, Calmann-Lévy, 1973 [1939], переиздано

лия<sup>7</sup>. Насилие, которое имеет в виду Вебер, — это физическое насилие, то есть военное или полицейское насилие. Слово «легитимный», если отнестись к нему серьезно, уже указывает на символическое измерение насилия, поскольку в идее легитимности заключена идея признания. Однако Вебер в своей теории не слишком разработал этот аспект государства. У Элиаса же этот аспект — на мой взгляд очень важный, может быть, даже наиважнейший — почти полностью исчезает. Это моя главная претензия к его модели. Элиас фактически упускает из виду символическое измерение государственной власти, так что у него сохраняется лишь образование двойной монополии — на физическое насилие и на налоги. Он делает упор на описание процесса монополизации, который сопровождает процесс превращения частной монополии (монополии короля) в публичную монополию. Что у Элиаса есть, на мой взгляд, по-настоящему новаторского и на что я буду в дальнейшем опираться, разрабатывая генетическую теорию государства, так это элементы анализа перехода от частной монополии (того, что я называю династическим государством) к публичной монополии государства. Он почувствовал важность этой проблемы и описал ряд важных механизмов. Я постараюсь быть совершенно честным, когда буду говорить вам, откуда, как мне кажется, берет начало модель Элиаса, каковы ее ограничения и сильные стороны.

Во-первых, согласно Элиасу, есть два тесно связанных друг с другом процесса, и первый из них — это постепенная концентрация инструментов насилия, которые Чарльз Тилли называет инструментами принуждения, — он очень близок к Элиасу, но у него иначе

---

в: «Agora», 1989; *Idem*. La Dynamique de l'Occident // P. Kamnitzer (trad.). Paris, Calmann-Lévy, 1976 [1939], переиздано в: «Agora», 1990. — *Примеч. пер.*

7. П. Бурдьё отсылает здесь к определению государства: «человеческое сообщество, которое внутри определенной области [...] претендует (с успехом) на монополию легитимного физического насилия». Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. С. 486.



расставлены акценты, — и концентрация налогообложения в руках одного правителя или одного административного органа в каждой стране. Можно подытожить генезис государства одним словом — «концентрация», «унификация» или даже «монополизация», — но «монополия» подходит больше. Этот процесс идет параллельно с расширением территории благодаря конкуренции между главой государства и соседними властями, конкуренции, заканчивающейся уничтожением побежденных. Элиас говорит — и я полагаю, что он прав, — что можно сравнить процесс монополизации, в результате которой образуется государство, с процессом монополизации на рынке. Он усматривает аналогию между процессом государственной монополизации и процессом монополизации в результате конкуренции между фирмами на рынке — то есть знаменитым законом монополии, согласно которому те, кто покрупнее, имеют возможность поглотить тех, кто поменьше, и вырасти за их счет<sup>8</sup>. (Может быть, я здесь все несколько упрощаю, но вы сами прочитаете эту работу. Само собой разумеется, что, когда я ссылаюсь на какую-то литературу, я делаю это в надежде на то, что вы используете ее и сможете поспорить с тем, что я о ней говорю.) Две этих монополии взаимосвязаны, монополия на налоги и армию и монополия на территорию. Монополия на ресурсы, вытекающая из налогообложения, позволяет обеспечить монополию на военную силу, которая, в свою очередь, позволяет сохранять монополию на налоги.

На эту тему идут споры: нужны ли налоги для войны или же это война определяет налоги? С точки зрения Элиаса, эти монополии — две стороны одной медали. Здесь он приводит очень хороший пример: рэкет, организуемый гангстерами, вроде того, что можно, например, наблюдать в Чикаго, не столь уж отличается от го-

---

8. Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. Указ. соч. Разделы «О механизме возникновения и действия монополии», «Распределение власти и его значение для центра: образование "королевского механизма"».

сударства<sup>9</sup>. Социолог должен уметь конструировать частный случай, чтобы провести сближения, чтобы вписать его в серию других случаев, в которых проявляется одновременно и вся его особость, и вся общность. По сути дела, нет качественного различия между рэкeтoм и налогами. Государство говорит людям: «Я вас защищаю, но вы платите налоги». Конечно, «крыша», предоставляемая гангстерами, являет собой посягательство на монополию государства, то есть на монополию на насилие и на монополию на сбор налогов. Одним ударом Элиас убивает трех зайцев: 1) государство — это рэкет, но не только; 2) это легитимный рэкет; 3) это легитимный рэкет в символическом смысле. Здесь я ввожу проблему: как получается, что рэкет становится легитимным, то есть перестает восприниматься в качестве рэкета? Историк никогда бы не провел параллель между налогообложением и рэкетом, тогда как я считаю, что она верна. Одно из отличий социологов от историков в том, что социологи настроены недоброжелательно: они задают неудобные вопросы, но в то же время это научные вопросы. Элиас ставит вопрос: не является ли государство частным случаем рэкета? Что влечет за собой вопрос об особом качестве этого легитимного рэкета. На мой взгляд, первый пункт намного интереснее закона монополии. Историки этого не замечают. Именно такую дерзость в социологическом подходе они как нельзя более решительно отвергают. В этой связи следовало бы провести сравнительный социологический анализ генезиса социологов и историков: как становятся историками и как — социологами? Как пишут историки и социологи? Как воспроизводится структура, которую можно описать

---

9. Этот пункт рассматривается Норбертом Элиасом в главе 7 (часть «О социогенезе государства») «О процессе цивилизации», посвященной «Социогенезу монополии на налоги». Позднее эти вопросы поднимает Чарльз Тилли в главе 3 «Как война создала государства и наоборот» в его книге «Принуждение, капитал и европейские государства, 990–1990» (цитируемой ниже). См. у него же: *Tilly C. War making and State making as organized crime // Bringing the State back / Skocpol T. (ed.). Op. cit. (французский перевод: Idem. La guerre et la construction de l'État en tant que crime organisé // Politix. 2000. Vol. 13 (49). P. 97–117).*

в качестве психологической и которая в глобальном смысле характеризует историков (образующих самостоятельное поле) и социологов (тоже образующих поле)?

Второй пункт: процесс монополизации принимает форму — и снова аналогия с рэкетом — ряда схваток на выбывание, в результате которых один из конкурентов исчезает; мало-помалу остается только одно-единственное государство, а внутри страны после ряда войн, наконец, устанавливается мир. Элиас прекрасно чувствовал двусмысленность государства. Государство устанавливает господство, но коррелятом этого господства становится определенная форма мира. Сам факт принадлежности к государству дает выгоду порядка, распределяющуюся неравномерным образом, но которая при этом отнюдь не пустяк даже для самых обездоленных. Концентрация средств насилия в руках небольшого числа людей приводит к тому, что все меньше становится воинов, которые могут завоевывать территории, используя имеющиеся у них военные ресурсы. Постепенно их военные силы и деятельность все больше подчиняются центральному правителю. Так, абсолютистское государство создается в процессе концентрации, которая приводит к балансу сил между правителем (королем) и подданными. На мой взгляд, это самая оригинальная мысль Элиаса. Он разрабатывает что-то вроде антиномии центральной власти: чем больше король расширяет свою власть, тем больше он усиливает свою зависимость от тех, кто зависит от его власти. То же самое можно сказать проще: расширение государства ставит все больше проблем — то, что было простым на уровне кантона, становится более сложным на уровне графства... То, что обычно приписывается действию пространства, расстояния, Элиас описывает в категориях социального пространства. Принцип социологического конструирования у него работает на уровне рефлекса: Элиас не пропускает ничего в сыром, социологически не истолкованном виде. Он говорит, что концентрация — не просто пространственное расширение, которое создавало бы проблемы.

Есть много работ, посвященных проблемам коммуникации, расстояния, которые не так уж бесполезны:

римский солдат в тяжелых доспехах проходит за день столько-то километров; сколько времени потребуется гонцу, чтобы пересечь империю из конца в конец? Это реальные проблемы, но свой истинный смысл они получают в рамках теории управления. Чем больше накопленная власть, тем сложнее ее носителю за ней уследить и тем больше он попадает в зависимость от своих собственных подданных, и это происходит в силу самой его монополии. В самом генезисе государства есть противоречия, важные для понимания того, что такое государство. Носитель власти все больше попадает в зависимость от своих подданных, число которых растет.

По мере того, как зависимость короля или центрального правителя от подданных растет, растет и степень его свободы: он может играть на соперничестве между подданными. У него расширяется поле для маневра — это подходящее выражение, чтобы говорить о его свободе. Властитель может играть на расхождениях антагонистических интересов групп или классов, с которыми центральная власть может считаться. Элиас описывает частный случай, который можно обобщить. Это частный случай очень общей ситуации, которую я называю эффектом офиса: в группе из пятнадцати человек кто-то один назначается или сам себя назначает главным в офисе, центральной фигурой. Все остальные атомизированы, разбросаны и общаются друг с другом только через лицо, занимающее центральное положение. Это положение становится источником своего собственного развития и приводит к вырождению всех остальных отношений в силу одного того факта, что это центральное положение. Я полагаю, что это очень важно для понимания, к примеру, того, почему какой-то человек, один из многих, признается королем. Эту проблему очень хорошо формулируют историки, в особенности Ле Гофф: тот факт, что принц Иль-де-Франс был признан королем, дает ему символическое преимущество перед его конкурентами<sup>10</sup>. Но символического преимущества королевского титула,

---

10. *Le Goff J. L'État et les pouvoirs // Histoire de la France / A. Burguière, J. Revel, (dir.), t. 2. Paris: Seuil, 1989. P. 36.*

тем не менее, недостаточно, чтобы понять специфические преимущества короля в конкурентной борьбе с другими принципатами. Структурное преимущество центрального положения крайне важно. И именно на это указывает Элиас: «Все индивиды, группы, сословия или классы в какой-то форме зависимы друг от друга. Они являются потенциальными друзьями, союзниками или партнерами, но одновременно выступают и как потенциальные соперники, конкуренты или враги»<sup>11</sup>. Иначе говоря, король находится в метасоциальной позиции, он — тот, с кем должны себя соотносить, соизмерять все остальные, те, кто и сами находятся друг с другом в союзных или конкурентных отношениях, на которых он может сыграть. Таким образом, Элиас говорил не только о принципе концентрации, это было бы слишком просто.

Параллельно Элиас описывает другой процесс — и это самый интересный пункт, — в результате которого «На второй фазе управление централизованными и монополизированными шансами постепенно переходит от этого индивида ко все большему числу людей и в итоге становится функцией всей сети взаимозависимых индивидов». Иначе говоря — это вершина его анализа, именно это я имею в виду, говоря о поле государства или о бюрократическом поле, — идея Элиаса в том, что по мере концентрации власти вместо центрального субъекта власти мы получаем сеть взаимозависимости властей имущих. Я бы добавил: сеть взаимозависимости носителей разных принципов власти — религиозного, бюрократического, юридического, экономического. Так что структура этого пространства во всей его сложности становится принципом порождения государственных решений. Происходит переход, и в этом суть анализа, от относительно частной монополии (Элиас всегда очень

---

11. Цитаты из Норберта Элиаса переводились П. Бурдые во время лекций по немецкому изданию второго тома «Über den Prozess der Zivilisation». См.: Элиас Н. О процессе цивилизации. Т. 2. С. 162. В соответствующем французском издании (*La Dynamique de l'Occident*) они отсылают, в частности, к первой главе первой части, называющейся «Закон монополии» (р. 25–42 издания «Pocket»).

осторожен: монополия никогда не бывает совершенно частной, поскольку ее делят с семьей, с родом) к публичной монополии — я бы сказал относительно публичной, потому что монополии никогда не бывают полностью публичными. Я могу парafразировать Элиаса так: «Деперсонализация и институционализация отправления власти приводит к образованию более длинных цепочек, более плотных сетей взаимозависимости между членами общества». Здесь есть идея удлинения цепочек зависимости, которые я называю цепочками легитимации: А легитимирует В, который легитимирует С, который легитимирует А, и т. д. Это удлинение — один из процессов фундаментальной значимости, особенно если желаешь найти большие законы истории, действующие на длинном промежутке времени. Единственный общий закон о тенденции, который я могу выявить, — это процесс дифференциации, который неотделим от процесса удлинения цепочек зависимости и взаимозависимости. Для Элиаса, автора крайне сдержанного, взаимозависимость не означает взаимозависимости равных. Он не забывает о том, что могут существовать структуры взаимозависимости с доминантой. То, что говорит Элиас, можно понять как своего рода распад власти: «все равны». В 1970-е гг. во Франции шли совершенно убогие споры, дискутировали о том, откуда идет власть — сверху или снизу? Я обязан это сказать, чтобы вы отдавали себе отчет в том, насколько мы в данном случае выше вещей, которые считаются альфой и омегой французской мысли.

В «Придворном обществе» Элиаса, замечательной и очень увлекательной книге, есть одна фраза, которая совершенно меняет взгляд на классический французский мир: «Огромный сложный аппарат, на вершине которого находился Людовик XIV, во многих отношениях остается частным, он остается продолжением королевского дома, и применительно к нему можно говорить [я думаю, Элиас здесь цитирует Вебера] о патриархальной бюрократии»<sup>12</sup>: о бюрократии на службе

---

12. «Власть короля над страной была не чем иным, как продолжением и расширением его власти над домом и двором. В правление

величия, об иллюстрации наследия, одновременно материального (корона, территория) и символического (имя короля). Элиас отмечает, что тогда еще не существовало четкого различия между государственными расходами и частными тратами короля (очень веберовское замечание); только после Революции, пишет Элиас, частные монополии по-настоящему становятся публичными. Здесь, как мне кажется, он ошибается (мне очень трудно просто так пересказывать теорию другого человека). Только когда государственной монополией начинает управлять сложный аппарат, можно по-настоящему говорить о государстве: «Социальная борьба идет теперь уже не за устранение монополии на господство» (это уже не конфликты между принцем и королем за отмену монополии), «вопрос сводится к тому, в чем именно распоряжении находится этот аппарат, откуда рекрутируются управленцы, как распределяются повинности и привилегии»<sup>13</sup>. Элиас, которого я вам представляю, — не искаженный Элиас, а Элиас очищенный, смоделированный, скажем так, пропущенный через мой мозг. То есть вы должны читать оригинал, если вас это заинтересовало.

## Модели генезиса государства:

### 2. Чарльз Тилли

Второй автор, которого я хотел бы вам представить, — Чарльз Тилли. Его книга «Принуждение, капитал и европейские государства» является завершением большой серии книг и статей, некоторые из которых переведены на французский язык<sup>14</sup>. К своему большому удивлению, я открыл сходство между Тилли и Элиасом. Станным образом я ассоциировал Элиаса с немецким

---

Людовика XIV достигли своей кульминации и одновременно поворотного пункта усилия короля, направленные на то, чтобы организовать свою страну как свое личное владение, как продолжение дворцового хозяйства». *Элиас Н. Придворное общество*. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 57.

13. *Элиас Н.* О процессе цивилизации. Т. 2. С. 104.

14. *Тилли Ч.* Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992. М.: Территория будущего, 2009.

контекстом, с вещами, которые я читал двадцать лет назад, и тогда он казался мне инструментом защиты и борьбы с преобладавшей в то время социологической мыслью, то есть с американской социологией. Я не рассматривал Элиаса в связи с Тилли, которого я читал как нечто совершенно новое. И именно пытаясь сделать выжимку из того нового, что привнес Тилли, я заметил, что он очень близок к Элиасу. В любом случае у меня сложилось такое впечатление. В то же время он оригинален, иначе я бы его вам здесь не представлял.

Тилли пытается описать генезис европейского государства, обращая особое внимание на многообразие типов государства. Он сразу предупреждает: все слишком поддались влиянию английской и французской моделей, а ведь есть еще и русская, голландская, шведская. Тилли собирается уйти от эффекта навязывания того, что я считаю одним из классических паралогизмов, «универсализации особого случая», специфический характер которого игнорируется. Тилли, как мне представляется, добился некоторого прогресса по сравнению с Элиасом, поскольку он стремится построить модель с большим количеством параметров, учитывающую одновременно и общие черты, и различия между европейскими государствами. Он пытается подтвердить свою модель эмпирическим путем: он намеревается провести анализ со многими переменными, который постоянно применяют все американские социологи. Он хочет сыграть на переменных, и это хорошо. Но он совершенно обходит молчанием символическое измерение государственного господства: его это не касается, об этом нет ни строчки, а если и есть, то абсолютно случайно (хотя я, возможно, ошибаюсь). Элиасу, как и Веберу, не удастся избежать экономизма, но Тилли еще больше ограничен экономической логикой: он совершенно не восприимчив к процессу специфического образования государственной логики (к тому, как происходит переход от частного к публичному, как создаются цепочки зависимости). На мой взгляд, он игнорирует символический аспект и специфическую логику накопления символического капитала. В центре его проблематики лежит диалектика городов и государств, и это



довольно интересно. Она и в самом деле лежит в основе истории многих государств. Физическое принуждение — дело государства, а накопление экономического капитала — дело городов. Для Тилли проблема генезиса государств связана с комбинацией обоих.

Заслуга работы Тилли в том, что она позволяет понять особый характер французского и английского случаев, которые обычно принимались за основу общих теорий государства. Этот особый характер французского и английского государства определяется тем, что города, располагавшие капиталом, были в то же время столицами: Лондон устраняет антиномию между государственным принуждением и капиталом. Как представить проблему, поднятую Тилли? Всегда интересно узнать, от чего отталкивался ученый, что у него было на уме, когда он начинал свое исследование. Тогда можно гораздо лучше понять, что именно он пытался сделать.

Первый вопрос: когда мы смотрим на карту Европы, почему мы видим на ней концентрическую структуру, на периферии которой находятся обширные государства со слабым контролем — другие теоретики называли их империями, — в которых наблюдается слабая социальная интеграция и слабый социальный контроль? Некоторых деревенских общин, например в Османской империи или в России, почти не касалось существование центрального государства. В промежуточных зонах, в Центральной Европе находятся города-государства, принципы, федерации, одним словом, государственные образования с фрагментированным суверенитетом, а на Западе — государственные образования с жестким управлением, централизованные, такие как Франция.

Второй вопрос, и видно, что Тилли работает с широким полотном, как и те, о ком я рассказывал вам в прошлом году, но при этом работает иначе — это уже не Баррингтон Мур. Почему наблюдаются такие различия в интеграции олигархий и городских институтов в государство? Почему разные государства относятся к городским структурам совершенно по-разному? С одной стороны, Голландская республика, которая едва отличается от суммы городов, от сети муниципалитетов, а с другой — польское государство, практиче-

ски лишенное института города. Тилли видит здесь определенный континуум возможностей.

Третий вопрос: почему экономические и торговые силы распределяются по городам-государствам (примером которых является Венеция) или городам-империям на берегах Средиземного моря, а потом и по городам, подчиняющимся сильным государствам, на берегах Атлантики? Ответ в том, что современные государства — продукт двух относительно независимых друг от друга процессов концентрации: концентрации физического капитала военной силы, связанной с государством, и концентрации экономического капитала, связанного с городом. Будучи местами накопления экономического капитала, города и те, кто ими управляет, доминируют в государствах, контролируя капитал, кредиты и сети торговли (часто говорят о «государстве в государстве»), они располагают трансгосударственными, транснациональными властными связями. Государства, со своей стороны, концентрируют в своих руках инструменты принуждения.

Тилли описывает три фазы процесса концентрации экономического капитала. А затем он описывает три фазы процесса концентрации капитала принуждения, показывая, как мне кажется, правильно, что они соответствуют фазам концентрации экономического капитала. Первая фаза, вкратце: «[М]онархи извлекали необходимый им капитал как дань или ренту с земель и населения, находившихся под их непосредственным контролем, — часто в точно оговоренных пределах»<sup>15</sup>. Здесь мы все еще находимся в логике феодального типа, в которой государство, основываясь на догосударственных отношениях, концентрирует капитал. Например, один историк отметил, что дань в самом начале Средних веков называлась *dona*<sup>16</sup>. По-прежнему действует логика дара и ответного дара, приношения дара, как

15. Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. Указ. соч. С. 90.

16. Бурдые ссылается здесь на: *Hilton R. H. Resistance to taxation and to other State imposition in Medieval England // Genèse de l'État modern / J.-P. Genet, M. Le Méné (dir.). P. 169-177.*

будто бы понятие налога еще не возникло, не сложилось в своей объективной истине. Вторая фаза, промежуточная, 1500–1700 гг.: государство опирается на независимых капиталистов, которые предоставляют ему займы, на приносявшие доходы предприятия или же на предприятия, которые собирали для них налоги, на налоговых откупщиков. Таким образом, существовала автономная финансовая структура, наемная, которая пока еще не была интегрирована в государство. И третья фаза, начинающаяся с XVII века: многие суверенные правители инкорпорируют фискальный аппарат в государство.

В случае принуждения (инструменты силы) идет параллельный процесс. Первая фаза: монархи собирают армии, состоящие из слуг или вассалов, последние обязаны лично служить королю, но всегда в оговоренных пределах. Вторая фаза, 1500–1700 гг.: монархи в основном используют наемников, которых поставляли подрядчики, представлявшие собой аналог откупщиков налогов. Третья фаза: монархи инкорпорируют армию и флот в структуру государства, отказываясь от услуг иностранных наемников и вместо этого собирая армии путем призыва собственных граждан. Оба процесса инкорпорации завершаются в XIX веке: европейские государства включили в себя и армии, и в то же время фискальные механизмы, устранив налоговых откупщиков, военных подрядчиков и прочих посредников. Государства продолжают вести переговоры, как и в феодальную и промежуточную эпохи, но с другими контрагентами, и, что интересно, теперь они договариваются о пенсиях, субсидиях, государственном образовании, городском планировании и т. д.

Если сложить вместе аспект принуждения и аспект капитала, можно различить три фазы, которые можно охарактеризовать следующим образом: сначала идет фаза патримониализма, основанная на феодальных силах и дани; затем фаза брокеража, посредников, наемников и кредиторов; и, наконец, фаза национализации: массовая армия и интегрированный фискальный аппарат. Эта последняя фаза отмечена появлением армейской специализации и разделения на армию и полицию. Все это

происходит постепенно. А вот ответ на проблему, поставленную Тилли в самом начале: различные способы сочленения двух этих процессов позволяют объяснить различия в развитии европейских государств, потому что эти процессы, которые я представил как однородные и единые, протекали в разных странах по-разному и потому что давление различных факторов будет варьировать. Например, голландское государство избегает массового использования наемников, отдавая предпочтение сражениям на море, а потому очень рано создает государственные финансы, но тем не менее сохраняет сильную зависимость от капиталистов Амстердама и других торговых городов. В этом отношении голландское государство — город со слабым государством — противоположно польскому, то есть государству без города. В противоположном случае, в Кастилии, приоритет получают сухопутные силы, монархия опирается на кредиты торговцев, которые в результате превращаются в рантье, и на доходы от колоний, идущие на выплаты по кредитам. В этом случае имеется структура, благоприятствующая концентрации государства.

Если говорить схематически, можно различить три основных направления процесса, который привел к образованию государства: путь принуждения, отдающий приоритет государственной концентрации военных сил (Россия); капиталистический путь, отдающий приоритет концентрации капитала (Венеция); смешанный путь (Англия), когда очень рано образовавшееся государство вынуждено сосуществовать и договариваться с огромной торговой метрополией, а потому представляет синтез двух форм накопления. Англия и даже Франция — типичный пример этого третьего пути: сильное национальное государство, находящее экономические средства для того, чтобы поддерживать мощные вооруженные силы. Один из важнейших результатов анализа Тилли состоит в том, что он показал, почему Англия и Франция — это особый случай, на что я в основном и буду опираться в своем дальнейшем анализе. Но некоторые особые случаи особенно удобны для проведения генетического анализа понятий. Один

из секретов научной работы в социальных науках — ухватиться за особый случай, специфика которого неизвестна, но в котором лучше просматривается модель — при условии, что мы не забываем о его специфике. На следующей неделе мы рассмотрим третью модель, принадлежащую Филипу Корригану и Дереку Сейеру<sup>17</sup>.

---

17. *Corrigan P., Sayer D. The Great Arch. Oxford – New York, 1985.*

## Лекция 24 января 1991 года

*Ответ на вопрос: понятие изобретения при структурном ограничении. — Модели генезиса государства: 3. Филип Корриган и Дерек Сейер. — Особый случай Англии: экономическая модернизация и культурный архаизм.*

### Ответ на вопрос: понятие изобретения при структурном ограничении

**Я** БЛАГОДАРЮ авторов вопросов и того, кто оставил для меня замечательную подборку материалов о реформе орфографии. Я нашел вопрос, на который собираюсь вкратце ответить. Это сложный вопрос, который требует пространного ответа, но я дам схему, основы, то, что может послужить отправной точкой для возможного ответа: «В начале, чтобы пояснить определение слова “государство” или понятие, которое с ним соотносится, вы сказали, что ваша работа приведет нас к вопросу о генезисе государства. Затем вы отметили, что государство является решением некоторых проблем, но могли быть и другие проблемы и что изучение генезиса позволяет прояснить этот факт. Если провести аналогии с исследованиями других видов генезиса в иных дисциплинах (филогенез, онтогенез, психогенез и т. д.), всегда встает одна и та же проблема: был ли выбран путь, по которому в итоге пошли, в результате случайности или необходимости? Если верить Дарвину, в биологии выбор, как известно, определяется средой, главное, это наилучший выбор, потому что он наиболее адаптирован к среде. Было ли государство выбрано Человеком в качестве единственного решения проблемы, поскольку оно лучше всего приспособлено, или же в социологии есть, скорее, выбор или необходимость? К тому же, как можно заметить, слово “приспособление” соответствует оценочному суждению, обычно отвергаемому учеными, не занимающимися естественными науками; можно ли выносить подобные суждения в гуманитарных науках, в частности в социологии, или же следует придерживаться объективных

суждений о фактах?» Это важный вопрос, который правильно сформулирован, но на него трудно ответить, поскольку он выходит за рамки того, что может сказать о нем социолог, не став при этом философом истории. Я все же попытаюсь в какой-то мере на него ответить, поскольку вы все его себе ставите, пусть и не осознавая его в полной мере.

Во-первых, основы для ответа на вопрос о случайности или необходимости я дал в прошлом году. Я указал на то, что для понимания социальных явлений, в частности государства, можно использовать аналогию, использованную другими, в частности Гуссерлем, а именно аналогию с формированием города. В любой момент истории вновь прибывшие должны считаться с продуктами истории, уже вписанными в объективный мир в форме зданий, строений, институтов и, я бы добавил, вписанными также и в субъективность в форме ментальных конструкций. Точно так же изобретения, инновации, прогресс, приспособления — это изобретения при структурном ограничении, то есть каждую минуту универсум реально возможных возможностей сужается из-за уже совершенных в прошлом актов выбора, существующих в виде реальных, объективных ограничений и в виде ограничений интериоризированных, инкорпорированных. То есть мы сталкиваемся не с альтернативой случайности и необходимости, свободы и необходимости, а с чем-то гораздо более сложным, что я формулирую так: изобретение при структурном ограничении. Я уже говорил о том, как по мере развития истории это пространство возможностей закрывается, в том числе и потому, что забываются альтернативы, исходом которых стал исторически сложившийся выбор. И одна из сил исторической необходимости, которая действует через объективацию и инкорпорацию, связана с тем, что совозможные возможности, «побочные» возможности, как их назвал Рюйер в своей книге об утопии<sup>1</sup>, возможности, окружающие реализовавшуюся возможность, не просто отбрасываются, а стираются в качестве возможностей. Возникает своего рода

---

1. *Ruyer R. L'Utopie et les Utopies. Paris: PUF, 1950.*

эффект предопределенности реализовавшейся возможности. Одно из достоинств исторической социологии или социальной истории в том, что они пробуждают умершие возможности, побочные возможности и дают нам некоторую свободу. Говорить, что социология — инструмент, навязывающий необходимость, — наивная патетика. В действительности, социология — инструмент свободы, потому что она пробуждает, по крайней мере для мыслящего субъекта, утраченные возможности. Этот не означает, что она на самом деле выводит их на свет как исторические возможности, потому что в головах большинства социальных агентов они раз и навсегда умерли. Один из эффектов государства — внушить, что не было иного пути, кроме государства. То есть вопрос этот особенно касается государства.

Пространство возможностей закрывается, и на место мертвых возможностей «история» — здесь тоже нужно следить за тем, чтобы не персонифицировать такие сущности, как история, это делается для простоты выражения, — закрепляет интересы агентов, заинтересованных в том, чтобы некоторые возможности не пробудились. В то же время эта историческая воронка стремится к постоянному сужению. Можно было бы сказать, что историки по определению свободны от этой необходимости. Но на самом деле, они, быть может, еще менее свободны, чем все остальные, потому что находятся под влиянием, как говорил Бергсон<sup>2</sup>, «ретроспективной иллюзии»: они знают продолжение истории. Об этом часто говорили, но никто по-настоящему не задумывался, за исключением Вебера: что означает тот факт, что вам известно продолжение истории? В действительности, историки находятся не в том положении, чтобы воскрешать эти мертвые возможности, потому что, как и все остальные, они склонны принимать на веру то, что произошедшее действительно должно было произойти. Мы имеем здесь скрытую философию истории, которая вписана в то, что продолжение считается тем, что должно было произойти,

---

2. *Bergson H. La Pensée et le Mouvant. Paris: Alcan, 1934. P. 1–24.*



то есть в постулирование необходимости продолжения. Задумайтесь о всех этих драматических и зачастую смешных спорах о Французской революции, и вы поймете, что мои слова особенно применимы к этим спорам и еще больше к тем, кто намеревается ввести в историю свободу...

Второй пункт: проблема финализма. Есть проблема логики истории (случайности и необходимости) и есть проблема конца истории в двойном смысле — ее конца и цели. И большой прогресс заключается в том, что эту проблему больше не ставят. О Соссюре часто говорят, что он добился большого прогресса в науках о языке (это банальность, но думаю, что о ней стоит напомнить), отказавшись от постановки проблемы о происхождении, истоках языка. Точно так же можно добиться определенного прогресса в социальных науках, отбросив не только проблему происхождения, но и проблему конца, которая является скорее телеологической, эсхатологической проблемой. Тем не менее, проблема остается. Чтобы мыслить, наука должна откладывать в сторону некоторые проблемы, но она может держать их в уме на случай метафизической «пятиминутки». (Я ничего против этого не имею. Я говорю об этом с некоторой иронией просто потому, что у некоторых эта пятиминутка растягивается на всю жизнь. Очень трудно говорить такое об этих проблемах, поскольку это всегда выглядит сектантством. Я ничего не имею против, но только при условии, что ими не морочат голову тем, кто занимается другими вещами.) Если вы хотите двигать науку вперед, вы должны на время отставить эти метафизические проблемы, которые поначалу могут показаться крайне увлекательными и очень важными. Цена, которую приходится платить за занятия наукой, — это, среди прочего, риск, что вас обзовут неотесанным позитивистом.

Итак, ряд социологов ставили следующий вопрос: является ли государство в том виде, в каком оно существует, наилучшим потому, что, поскольку оно выжило, оно должно считаться наиболее приспособленным к среде, согласно дарвиновскому постулату? К чему приспособлялся институт — брака, семьи, молитвы,

государства? Как можно измерить степень его приспособленности? Для социального мира среда — сам этот социальный мир. Это сказал Гегель, и с тех пор за ним все повторяют то, что обществам свойственно создавать свою собственную среду и трансформироваться под действием трансформаций среды, которые их трансформируют. У социологов нет особых возможностей ответить на этот вопрос, потому что будет казаться, что общество ведет диалог с самим собой. Далее, можно задать вопрос о функциях. Именно в этих категориях ставили вопрос социологи: каковы функции государства? Есть так называемые «функционалисты» — буду делать вид, что существует одна такая категория, — и они задаются вопросом о функции институтов и пытаются их интерпретировать, исходя из выполняемых ими функций. Но есть вопрос, которого функционалисты не ставят: они предполагают, что существует глобальная, недифференцированная функция институтов, для государства — это поддержание порядка на улицах. Это один из важных вопросов, которые ставит государство: выполняет ли оно свою функцию для всех или только для некоторых? Корриган и Сейер спрашивают, не выполняет ли государство так хорошо функции для некоторых именно потому, что выполняет их для всех. Разве не потому, что оно выполняет функцию поддержания порядка для всех, оно выполняет функции для тех, кто извлекает из этого порядка особую выгоду? В данном случае мы имеем дело уже не с простыми альтернативами, как в марксистской традиции с ее дихотомиями: государство служит господствующему классу и служит ему так хорошо именно потому, что служит также и другим в достаточной мере, чтобы они чувствовали себя обязанными подчиняться приказам, императивам, посредством которых государство служит и им тоже. Вот те сложные проблемы, которых нет у биологов (у них они тоже есть, но иного рода).

Государство выполняет функции, но для кого? Оно приспособлено, но к чему? К чьим интересам? Можно согласиться с тем, что социологи должны считаться, прежде всего, с тем, что они работают с институтами,

которые в силу того, что они выжили, имеют определенные достоинства. Поскольку антропологи имеют дело с относительно недифференцированными обществами, нелегко заметить то, что институты в них одним служат больше, чем другим. В этом случае можно быть «минимальным» функционалистом, и вас не обвинят в том, что вы служите интересам господствующего класса. Такие функционалисты говорят: «Это функционирует, следовательно, я должен это объяснить». Работа науки — разобрать механизм, чтобы понять, почему он функционирует. И потому я должен постулировать, что основание *<raison>* есть, даже если оно не рационально, даже если оно служит неприглядным целям. Что бы я ни изучал — кабийский дом, систему больших школ, социальное обеспечение или жилищную политику, я неявно принимаю идею, что есть какое-то основание для того, чтобы они существовали, сохранялись, продолжали работать, и что я должен найти основание этого основания, сделать его умопостижимым: почему это существует, как оно существует, как оно может сохраняться, как оно воспроизводится?

Такого рода «постулат упомостижимости» — надо же его как-то назвать — определяет научный подход в социальных науках. Но порой такой постулат опасен, потому что может заставить нас забыть о том, что бывают человеческие поступки, у которых нет никаких оснований; в этом случае научная предвзятость, заставляющая всегда искать основания, способна привести к ошибкам: можно не понять некоторые формы насилия, воспринимаемые как «безосновательные», даже если основания для них будут найдены. (Я постоянно сам себя поправляю. Иногда это сложно, но я думаю, что все не просто, и, кроме того, я многое цензурирую, чтобы оставаться в пределах умопостижимости. Чтобы говорить о социальном мире, требуются дискурсы, подобные музыкальным партитурам с пятнадцатью уровнями, поправляемым по ходу дела. Отсюда проблема коммуникации...)

Институты работают, они имеют основание, но в том смысле, в каком есть основание ряда, который, как только это основание становится понятным, перестает

быть случайным, сложенным как попало. Например, как только мы поймем, что в кабилском доме есть сухая часть, а есть влажная, что здесь делают это, а там — то, мы разберемся, то есть начнем чувствовать необходимость там, где раньше, казалось, были только случайность, произвол. И иногда объяснение оснований имеет не только научные, но и политические преимущества: оно позволяет вырвать вещи из лап абсурда. Например, показать, что ритуалы не абсурдны, — значит подорвать основания для расистской ненависти к определенным типам поведения. Но это не цель, это привходящее последствие. Согласиться с тем, что сохранившийся, поскольку функционирующий, институт имеет под собой основание, — значит поставить перед собой задачу выявления определенной логики. Это положение нуждается в долгой проработке. «Основание» — очень опасное слово, потому что можно подумывать, что есть некое рациональное основание, что у истоков данного института лежал кем-то придуманный замысел, план, что рассматриваемое действие — продукт рациональных расчетов, в которых участвовали сознательные субъекты. У меня совсем другая философия истории. Парадокс социального мира в том, что с определенных сторон он кажется почти биологическим, едва ли не естественным: есть множество вещей, имеющих основание, не имея его в качестве принципа, то есть вещей, имеющих основание для существования в том смысле, в котором его имеет ряд, но у истоков их не было никакого рационального агента, в их основу не был положен никакой рациональный расчет.

Это одна из проблем отношений между естественными и гуманитарными науками: представители естественных наук, даже биологи, когда им приходится судить о работе историков, социологов, не всегда располагают подходящими критериями оценки, потому что применяют к наукам, предметом которых являются совершенно особые, частные основания, один-единственный принцип оценки: математическое основание, логическое основание или же формальное. Нам попадают институты или действия, у которых имеются основания, но которые не имеют логического основания,

если понимать его в качестве принципа, именно потому, что они создавались по логике, напоминающей логику города. Это изобретения при структурном ограничении, интериоризированном и объективированном, в силу которого нельзя делать всё, что вздумается. Ряд — как ряд бросков в игре, как старинный дом, в котором жили тридцать шесть поколений и который обладает странным очарованием, которое можно оправдать с эстетической точки зрения, потому что оно сложилось в силу огромного количества мельчайших актов выбора, результат которых — явление иного порядка, нежели дом, спроектированный самым искусным, самым профессиональным архитектором, продумавшим все до последней детали. Эти социальные объекты часто имеют эстетическую окраску, поскольку, подобно старинным домам, они суть продукт огромного числа интенций, в которых не осознавались ни внешние, ни внутренние их ограничения, но при этом они все же не действовали наобум.

Структурно-генетический анализ государства, как и синхронический структурный анализ, ставит своей целью ухватить эти логики, которые не относятся к порядку логики и которые формальная логика при этом очень часто разрушает. Одна из главных проблем гуманитарных наук в том, что различные логики, служащие им инструментами (теория игр, исчисление вероятностей), были созданы в противовес обычному, практическому разуму. Применение их к тому, против чего они были созданы, дает очень красивые результаты в книгах, но крайне вредно для прогресса науки: в социальных науках нужно уметь не поддаваться эффекту показной наукообразности, который создается благодаря применению к историческим основаниям плодов рассуждающего разума.

### Модели генезиса государства:

#### 3. Филип Корриган и Дерек Сейер

Я перехожу к третьей работе, к книге Корригана и Сейера «Большая арка». (*The Great Arch* — это выражение, позаимствованное у великого английского историка Эдвар-

да Палмера Томпсона<sup>3</sup>.) Эта книга решительно расходится с двумя предыдущими, как с книгой Элиаса, так и с книгой Тилли. Авторы прямо говорят об этом во введении, они выступают против теории государства как органа принуждения. С точки зрения этих авторов, марксизм и теории, которые можно отнести к экономизму, теория Тилли и частично теория Элиаса сводят государство к органу принуждения, превращая его в отражение экономической власти. Они указывают на то, что Грамши, судя по всему, отличается от этих авторов незначительно. (Можно многое сказать о Грамши как Птолемее марксистской системы, который создал видимость спасительного пути, выводящего за пределы этой системы, но, на самом деле, загнал эту систему в еще больший тупик.) Грамши считает функцией государства не только принуждение и поддержание порядка, но и, что немало важно, установление и воспроизводство консенсуса. С точки зрения Корригана и Сейера, марксистские теории забывают о «важности государственной деятельности, форм, процедур и ритуалов для образования и регулирования социальных идентичностей и, в конечном счете, наших субъективностей»<sup>4</sup>. Это центральная фраза, которая хорошо передает их тезис. Для них роль государства в том, чтобы регулировать не только объективный, но и ментальный, субъективный порядок, а также заниматься этой постоянной регулировкой субъективностей. Если бы им пришлось дать определение государства, оно бы было приблизительно таким: «Государство—это совокупность культурных форм». Они не совсем ясно высказываются на этот счет: это социологи, занимающиеся историей, они идут, как мне кажется, в правильном направлении, но им свойственна некоторая теоретическая путаница, которая, собственно, определяет богатство их книги. Но у них нет теоретических инструментов,

---

3. *Corrigan P., Sayer D. The Great Arch. English State Formation as Cultural Revolution. Cambridge: Blackwell, 1985.* Классическая статья Эдварда П. Томпсона носит название «Особенности англичан»: *Thompson E. P. The peculiarities of the English // The Socialist Register / R. Miliband, J. Saville (dir.), 1965. P. 311–362; переиздано в: Thompson E. P. The Poverty of Theory.*

4. *Ibid.*

которые соответствовали бы их амбициям, их теоретические инструменты не точны и не продуманы. Они говорят интересную вещь, играют со словом *State*: «*States state*<sup>5</sup>», это простая, непереводаемая формула: «Государство постановляет». Подобные вещи говорил Хайдеггер: «государство постановляет», «государство дает установки», «утверждения», «тезисы», «уложения»; «государство государствует». Они приводят примеры таких *state-ments*: ритуалы дворца правосудия, формулы королевского одобрения акта, принятого Парламентом, посещение школы инспекторами и т. д. Это все постановления государства, государственные акты. По своему содержанию эта книга сводится к исследованию генезиса этих институтов, позволяющих государству утверждать свои политические суждения, политические действия.

Пример, очень близкий к тому, о чем я говорил ранее, позволит нам это понять: государство определяет все кодифицированные и легитимные формы социальной жизни. Например, все кодексы: государство кодифицирует, а среди кодексов попадают и классификации. Стало общим местом говорить, что государство начинается со статистики, что слово «*statistique*» содержит слово «*État*» <государство>, но Корриган и Сейер говорят нечто большее: статистика — это типичное действие государства, потому что она представляет социальный мир в легитимном виде. В связи с этим хочу напомнить, что есть различие между государственным статистиком и социологом. Первый применяет свои категории, не ставя себе вопросов об этих категориях, он начинает их себе задавать, только когда заражается этим от социологов. Статистик на службе у государства — цензор в древнеримском смысле этого слова, он проводит *census*, ценз, то есть составляет описи личного имущества, необходимые для сбора налогов, для установления прав и обязанностей граждан. Его мышление (*censeo*) — это типичное мышле-

---

5. Corrigan P., Sayer D. The Great Arch. English State Formation as Cultural Revolution. Cambridge: Blackwell, 1985. Классическая статья Эдварда П. Томпсона носит название «Особенности англичан»: Thompson E. P. The peculiarities of the English // The Socialist Register / R. Miliband, J. Saville (dir.), 1965. P. 311–362; переиздано в: Thompson E. P. The Poverty of Theory. P. 3.

ние государства; он мыслит теми же категориями, что и государство, категориями порядка и его поддержания. Государственные статистики ставят перед собой неслучайные проблемы. Их набирают и обучают так, что они не задают себе те вопросы, которые вытекают из их статистической работы. Государство осуществляет унификацию кодексов. Типичный пример — язык, но это касается также названия профессий, всех терминов, которыми обозначаются социальные идентичности, всех обиходных таксономий, используемых для классификации мужчин, женщин... Посредством всего этого навязывается легитимное видение, противопоставляемое другим видениям, другой, скажем так, морали, которая могла бы выразить видение подвластных. Корриган и Сейер все время подчеркивают, что государство систематически навязывало свой путь подвластным против их воли. В каком-то смысле это история и государства, и в то же время устранения этим государством других возможностей, связанных с подчиненными интересами.

Вернусь к более общему изложению. Корриган и Сейер оставляют в стороне все то, что касается накопления инструментов физического насилия и экономического капитала, которыми занимались Тилли и Элиас. Их интересует культурная революция, которая лежит в основе развития современного государства. По их словам, образование государства — это культурная революция. Они занимают позиции Дюркгейма. И интересны они тем, что лавируют между Марксом, Дюркгеймом и Вебером — как, по моему мнению, и надо делать, чтобы разобраться в проблемах государства, — но довольно беспорядочно. Они не поясняют, что дает теоретический вклад каждого из этих авторов для понимания того, что такое символическая власть, которая, на мой взгляд, играет центральную роль в понимании того, что такое государство как место накопления символической и легитимной власти<sup>6</sup>. Корриган и Сейер отдают предпочтение, придерживаясь очевидно дюркгеймовского взгляда, тому, что они называют «моральным аспектом деятельности

---

6. *Bourdieu P. Sur le pouvoir symbolique. // Annales, 3, 1977.* На эту же работу Бурдьё ссылается дальше.



государства»: построение государства они описывают как создание и массовое навязывание значительного комплекса общих представлений и ценностей. Здесь они сходятся с Грамши: они рассматривают генезис государства, начиная с его зарождения, но особенно в XIX веке, как проект по закабалению подвластных. Там, где Элиас говорит о «процессе цивилизации» (со всей той политической нереалистичностью, которую несет с собой этот взгляд), Корриган и Сейер снова вводят функцию одомашнивания подвластных. Например, они показывают, как в XIX веке государство контролирует и в то же время интегрирует подвластных. Это двусмысленность всех государственных структур, связанных с государством всеобщего благосостояния, в котором никогда неизвестно, что это за институты — институты контроля или институты обслуживания. На самом деле, они являются и тем, и другим, контролируют они ничуть не меньше, чем обслуживают. Это также верно в отношении такого института, как Парламент. Парламент — это образец государственного изобретения: это место легитимной политики, в котором закрепляется легитимная манера выражать и разрешать конфликты групп и интересов. Институционализация этого места легитимной политики сопровождается молчаливой институционализацией нелегитимной политики, так что та, как бы по самой своей сути, оказывается исключенной из этих мест; некоторые формы невербального насилия исключены в силу того, что в качестве легитимной утвердилась [иная] форма насилия.

[Корриган и Сейер] связывают образование государства с созданием и массовым навязыванием целого ряда общих этических и логических представлений. Если бы они были последовательны в теоретическом плане, они бы, как я уже указывал, вслед за Дюркгеймом сказали, что государство навязывает логический и одновременно моральный конформизм. Это различие Дюркгейм проводит в «Элементарных формах религиозной жизни»: то, что он называет логическим конформизмом, — это согласие умов, ставшее возможным благодаря обладанию общими логическими категориями; моральный конформизм — то же самое, но в этическом плане,

а именно причастность к общему миру совместно разделяемых ценностей<sup>7</sup>. Таким образом, для Дюркгейма логические категории — это социальные категории, то есть группы или кланы, ставшие ментальными категориями. Логический конформизм — это фундаментальное согласие с миром и его агентами, которое позволяет приобщиться к общему миру логических категорий. [У Корригана и Сейера] рождение государства связывается с работой, направленной на то, чтобы «поощрить или заставить людей идентифицироваться, воспринимать себя преимущественно в категориях национальности, а не определять себя более локально, в качестве подданного определенного властителя, или в более широком смысле, например, через факт принадлежности к христианскому миру»<sup>8</sup>. Рождение государства, таким образом, связывается с навязыванием совокупности индивидов одной страны привилегированного взгляда на их идентичность, взгляда с точки зрения нации. Они идентифицируют себя как французы, а не как подданные Священной Римской империи, баски или бретонцы. Определяется уровень привилегированной идентификации, и этому уровню, который внедряется через фетишизацию государства и нации, приписывается совокупность вторичных свойств, прививаемых тем, кто эту идентификацию принимает. В [«Большой арке»] есть замечательное краткое описание *englishness*, то есть комплекса черт, которые ассоциируются с английским национальным характером. Я его переведу, как смогу: «Рассудительность, умеренность, прагматизм, враждебное отношение к идеологии, умение обходиться без посторонней помощи, странность»<sup>9</sup>. Есть десятки книг англичан об англичанах, писатели внесли большой вклад в создание этого своеобразного национального идеала, приемлемого для интеллектуалов, потому что у каждого класса свой собственный национализм. (В поездках за границу меня всегда поражала сила национализма в интеллектуальных кругах. Это удивительно,

---

7. Durkheim É. Les Formes élémentaires de la vie religieuse. P. 24.

8. Corrigan P., Sayer D. The Great Arch. P. 191.

9. Ibid. P. 192.

но это изощренный национализм, который связан с чтением книг, который маскируется.) *Englishness* — это эксцентричность и целый ряд свойств, образующих то, что в XIX веке называлось «национальным характером». [...] Почитайте очень хорошую статью Э. П. Томпсона «Особенности англичан»<sup>10</sup>, в которой эту уникальность он обнаруживает в застольных манерах, в манере говорить, в манере держаться. Например, лингвисты изучали расстояние, на которое принято приближаться к собеседнику. Есть существенные вариации: в зависимости от своей этнической принадлежности или нации вы в разговоре пододвигаетесь ближе к собеседнику или, наоборот, отодвигаетесь от него, в результате чего какие-то категории людей могут показаться вам излишне навязчивыми, поскольку национальная традиция предписывает разговаривать с собеседником с близкого расстояния, что [другим] кажется неприемлемым вторжением в их личное пространство<sup>11</sup>. Все эти внешние и внутренние границы, связанные с национальным характером, по большей части продукт государства, которое воздействует через образовательную систему, литературу, всевозможные способы передачи и воспитания этих глубинных бессознательных установок, привязанных к государству.

[«Большая арка»] не особенно ясная [книга], как я уже сказал. Поэтому мне трудно о ней рассказывать. Если бы я делал это на свой лад, я бы ее сделал целиком своей — она стала бы более связной, но уже не была бы их книгой. Мне трудно о ней рассказывать, потому что она в одно и то же время и очень близка, и очень далека тому, что я вам здесь собираюсь представить. Вы должны ее прочесть... Одно из средств, благодаря которому передается *englishness*, культ государства, вера в государство, в английскость или французскость, — это школьная система, образование, география и т. д. Уди-

10. Thompson E. P. The peculiarities of the English. London, 1965.

11. П. Бурдьё, вероятно, отсылает здесь к понятию «проксемики», разработанному Эдвардом Т. Холлом: Hall E. T. A system for the notation of proxemic behavior // American Anthropologist. 1963. V. 65. P. 1003–1026.

вительно, что защитники орфографии почти всегда связывают [свою борьбу] с защитой географии — это одна из элементарных, базовых дисциплин. География — это карта Франции, это часть национального или националистского либидо. Такого рода отношения со своей идентичностью как с идентичностью, образуемой национальностью, — продукт не только институтов, но и государственных ритуалов. [Идея, от которой, как я полагаю, отталкивались Корриган и Сейер] состоит в том, что государство — это комплекс ритуалов. Авторы, по всей видимости, имеют все возможности [для того, чтобы выделить этот пункт]: почему общество, совершившее промышленную революцию, оказалось именно тем обществом, в котором лучше всего сохранились архаичные государственные ритуалы? Это очень интересная проблема, которую они поднимают и которую я постараюсь обсудить позднее, говоря о Японии.

Англия и Япония — две ультраконсервативные страны в том, что касается государственных ритуалов (парики и пр.), и при этом каждая из этих стран в свое время совершила революцию в экономике. В замечательных работах Э. П. Томпсона о правосудии анализируется то, что я бы назвал символическим насилием правосудия, отправляемого посредством аппарата, — в паскалевском, а не в альтюссеровском смысле — то есть за счет выставления напоказ<sup>12</sup>. Они, думается, могли бы отослать к Паскалю, отсюда риторика государства, дискурс государства. В этих книгах приводятся примеры. Например, когда говорят «Rule of Law» «верховенство закона», этим уже все сказано. Сегодня говорят «правовое государство». То же самое — Англия как «мать парламентов»<sup>13</sup>... [...]

---

12. Hay D., Linebaugh P., Thompson E. P. Albion's Fatal Tree. Londres: Allen Lane, 1975; Thompson E. P. Modes de domination et révolution en Angleterre // Actes de la recherche en sciences sociales. 1976. No. 2–3. P. 133–151.

13. Выражение «мать Парламента» обозначает Вестминстерский парламент и, шире, Соединенное королевство как признанную и прославленную модель парламентского политического режима.

Идея Корригана и Сейера в том, что английское чудо XIX века, отнюдь не противоречащее сохранению архаичных традиций, стало возможным благодаря тому культурному единству, которое проявляется в ритуалах и воплощается в глубинных верованиях, в *englishness*. Эта общая культура — культура, понимаемая в антропологическом смысле слова, — поддерживаемая, управляемая и воспроизводящаяся государством при помощи государственных ритуалов, церемоний короны (в наши дни телевидение проникло в церемониальную сердцевину государства, этой культуры), действовала в качестве инструмента легитимации, который защищал от критики, от радикального оспаривания традиционных форм авторитета и господства. Здесь Корриган и Сейер становятся веберианцами. На самом деле, это Дюркгейм, поставленный на службу Веберу. Они правы: именно потому, что государство — инструмент, закладывающий фундамент логического и морального конформизма, оно в то же время выполняет ту таинственную функцию легитимации, которую Вебер был обязан ввести, чтобы понять эффект государства, понять, что государство — не только то, о чем говорит Маркс: оно еще и то, что заставляет себя признавать, то, за чем признают очень многое, в том числе необходимость ему подчиняться. Каким образом государство добивается подчинения? По сути дела, это и есть фундаментальная проблема.

Итак, государство — по определению инстанция легитимации, которая освящает, ратифицирует, регистрирует. В «Большой арке» можно найти очень хорошее изложение того незаметного процесса, посредством которого государство мало-помалу присваивает себе все публичные манифестации, публикацию, опубликование<sup>14</sup>. Я подробно проанализировал объявления о заключении брака. Почему брак становится браком в тот момент, когда он опубликован?<sup>15</sup> Сделать что-то публичным — это и есть образцовый государственный акт. Одновременно мы понимаем, что оно на все накладывает лапу.

14. *Corrigan P., Sayer D. The Great Arch. P. 119–120.*

15. *Бурдье П. Практический смысл. С. 138–166.*

(Я бы хотел в этой связи сделать отступление ярко выраженного политического характера. Трудность социологического анализа в том, что очень часто его путают с социальной критикой. Говорят: «Цензура—это плохо и т. д.», тогда как нужно объяснять, а объяснять — значит понимать, что государство тесно связано с цензурой: цензор, *censur*. Государство тесно связано с контролем над любыми публичными манифестациями, в особенности касающимися общественного мира. Государство по определению не любит сатирические газеты, карикатуры. Сегодня государство очень ловко решает эти проблемы, но, если цензура невидима, это не значит, что ее нет; она, возможно, еще больше усилилась с тех пор, как ее перестали проводить силами жандармов. Когда редакционные статьи некоторых прославленных журналистов становятся редакционной рекламой, это крайняя форма скрытой цензуры. Символическое насилие идеально: это насилие, осуществляемое благодаря тому, что оно совершенно не осознается теми, над кем оно творится, а следовательно, они становятся его сообщниками.)

Государство — по сути своей, легитимирующая инстанция, которая ратифицирует, торжественно отмечает, регистрирует акты или людей, выдавая за нечто само собой разумеющееся разделения или классификации, которые оно само же и устанавливает. Государство—это не просто инструмент принуждения. Корриган и Сейер то и дело осуждающе цитируют высказывание Ленина о государстве как совокупности групп вооруженных людей, тюрем, и доказывают, до какой степени оно все упрощает<sup>16</sup>. Государство не просто инструмент принуждения, но инструмент производства и воспроизводства консенсуса, отвечающий за моральное регулирование. Здесь они возвращаются к определению, данному Дюркгеймом: государство—орган моральной дисциплины<sup>17</sup>. Если я им всецело доверяю, то именно потому, что они используют Дюркгейма,

16. Ленин В. И. О государстве // Полное собрание сочинений. М.: Политиздат, 1963. Т. 39, С. 68–72.

17. Durkheim É. Leçons de sociologie. P. 79 sq.

чтобы осмыслить проблему Вебера, и в то же время не забывают Маркса, не забывают, что этот орган моральной дисциплины служит не кому-нибудь, а в основном господствующему классу. Что не мешает их доказательству быть слишком беспорядочным.

### Особый случай Англии: промышленная модернизация и культурный архаизм

Вернусь к двум проблемам, которые ставит их книга. Прежде всего, особый характер Англии: каким образом этот особый случай, если относиться к нему всерьез, позволяет особенно отчетливо поставить общую проблему государства? Случай Франции во многих отношениях предпочтительнее: это централизованное государство, но, с другой стороны, это случай, осложненный тем, что Французская революция была революцией во имя универсальности; это частный случай, выдающий себя за универсальный. Поэтому те эффекты символического господства, которые позволяет увидеть английское государство, рискуют остаться незамеченными, поскольку они специально замаскированы. Универсализация — это наилучшая риторическая стратегия маскировки. Вспомните о марксистском анализе идеологии как универсализации частных интересов. Французское государство пользуется самой мощной универсалистской риторикой: сравните французскую колонизацию с английской... Вернуться к *englishness* важно для того, чтобы понять эффекты господства в чистом виде, то есть в действительно уникальной форме. Французское государство тоже уникально, но оно может выдавать себя за универсальное. Все это очень тесно связано с актуальной ситуацией: например, это заметно в высказываниях по поводу так называемой мусульманской чадры, эта чисто французская манера ссылаться на универсальное, занимаясь частным, представляющая одну из вершин французского лицемерия...

Таким образом, первая проблема — это особый характер Англии и Японии, позволяющий усомниться в мифе о всеобщей модернизации: всегда ли промыш-

ленная модернизация сопровождается модернизацией государственного ритуала? Является ли «архаичный» государственный ритуал антагонистом экономической модернизации или же, наоборот, он представляет собой замечательный инструмент модернизации — в той мере, в какой он позволяет производить консенсус и в определенной степени подчинение?

Вторая группа теоретических проблем: конструирование легитимности. Я попытаюсь показать, что, хотя Корриган и Сейер начинают путаться, это происходит из-за отсутствия у них понятия символического капитала, символического насилия, и, кроме того, они не отдают себе отчет в том, что на самом деле представляет собой их проект, что такое добровольное подчинение, добровольная зависимость, которой добивается государство, подчинение, которое не укладывается в альтернативу между принуждением и избирательным подчинением. Сказать, что государство легитимно, значит сказать, что оно добивается подчинения без принуждения, или, точнее, за счет той формы принуждения, которую я называют символической властью и которая представляет собой совершенно особый случай. Чтобы понять, что это за принуждение, необходимо соединить, и не просто по-школярски, теорию Канта с Дюркгеймом, Марксом и Вебером.

Сегодня я хотел бы заняться первой проблемой: особым случаем Англии, сославшись также на пример Японии. Прежде всего, почему эту проблему ставят сами англичане? Любопытно, что это происходит оттого, что эти англичане — марксисты. Эти авторы — Томпсон и те, кто на него ссылаются, — столкнулись, подобно марксистам во всем мире, с вопросом, который выводится из Французской революции. Теория революции, предложенная Марксом, опиралась на Французскую революцию, поэтому все марксисты во всех странах задавались вопросом о том, почему у них не было этой Французской революции. Так, я выяснил, что большой спор идет среди японских марксистов, у которых есть два лагеря — те, кто считает, что в их стране была Французская революция, и те, кто утверждает, что ее не было, причем и те, и другие пользуются одними



и теми же историческими материалами. Но ни те, ни другие не задаются вопросом о том, имеет ли смысл спрашивать, была ли в Японии Французская революция, а также о том, была ли на самом деле Французская революция как таковая. Англичане как нельзя более серьезно поставили вопрос о том, была ли эта революция настоящей революцией и что нужно для того, чтобы произошла революция. Навязывание марксистской парадигмы революции породило уйму работ, на мой взгляд, не представляющих никакого интереса. Это одна из причин, почему марксизм так раздражает в некоторых областях социальных наук, и эта книга, которая является в определенной мере реакцией на засилье марксизма в Англии, убедительно говорит о том, что англичане «отстали» не потому, что у них не было Французской революции. По их словам, нет противоречия между тем, что у англичан не было такой революции, и тем, что у них произошла промышленная революция. Осуществление промышленной революции не обязательно означает разрыв с феодализмом. И тот факт, что они не знали символической революции, соответствующей революции политической, — которую хотели представить как неизбежную, — возможно, объясняет то, что у них смогла свершиться промышленная революция, предполагающая подчиненный, прирученный рабочий класс. Вот, собственно, тезис. По аналогии особый интерес приобретает и случай Японии.

Книга Корригана и Сейера сложна, потому что в ней смешиваются две проблемы. Парадокс состоит в следующем: «Архаичные», не бюрократические, гибкие формы английского государства в практическом смысле были гораздо более благоприятны для капиталистической трансформации, чем любая другая форма абсолютизма, благоприятная предпринимательству и частной инициативе»<sup>18</sup>. Они не только ставят под вопрос традиционную проблематику марксизма, рассматриваемую через призму Французской революции, но и переворачивают ее. Корриган и Сейер подчеркивают, что английская цивилизация характеризуется удивитель-

---

18. *Corrigan P., Sayer D. The Great Arch. P. 188.*

ной непрерывностью, постоянным присутствием огромного числа «несовременных» черт, анахронизмов, не имеющих аналогов в других обществах: «Английские политические и культурные анахронизмы лежат в основе стабильности английского буржуазного государства»<sup>19</sup>. Иначе говоря, то, что воспринимается как анахронизм, — не препятствие, не пережиток, не архаизм (когда объясняют причины, не говорят о «пережитках»), но неотъемлемая, важная часть самой буржуазной революции, ее успеха. «Все институты, считающиеся относящимися к государству, очень стары, и их переделка в “рационально-бюрократические” [выражение Макса Вебера] или капиталистические [противопоставленные феодальным] формы осуществлена лишь частично»<sup>20</sup>. [Корриган и Сейер] ставят под сомнение уравнение «промышленная революция = разрыв с феодальным государством». В качестве примера они приводят «Common Law» «обычное право», которое не было кодифицировано (в отличие от рационального римского права) и стало фундаментом для капиталистической экономики. Или же тот факт, что до XIX века не было профессиональной государственной бюрократии. Один английский историк показывает, что до XIX века высокопоставленные чиновники получали доходы со своей должности, как во Франции в XVII–XVIII вв.<sup>21</sup> Еще одна черта, которую они называют «добуржуазно-патримониальной» («дореволюционной», если говорить марксистским языком): назначения на должности часто происходили в логике отношений патронажа, то есть отношений между патроном и клиентом. Еще одна показательная черта: монархические формы продолжают занимать центральное место не только в легитимации, но и во всей машинерии центральной власти. Эта машинерия — не какой-то спектакль, разыгранный для украшения английского государства, она его неотъемлемая часть: правительство

---

19. *Corrigan P., Sayer D. The Great Arch. P. 202.*

20. *Ibid. P. 188.*

21. *Hilton R. H. Resistance to taxation and to other State imposition in medieval England. Paris, 1987.*

Ее Величества, королевская власть находится в сердцевине легитимирующего корпуса, основанного на древности, традиции, преемственности, осознавшей себя *englishness*.

Другое направление анализа, которое [Корриган и Сейер] подробно разрабатывают, — это анализ интересов национальной безопасности: они подробно показывают, почему это понятие — очень старое историческое изобретение, при помощи которого можно пробуждать страхи, влечения, фобии, остракизм, расизм и пр. Последний пример: палата лордов, имеющая законодательную власть. Исходя из этих примеров архаизма, Корриган и Сейер задаются вопросом о том, не следует ли усомниться в мифе о буржуазной революции, как его описывает Маркс, революции, выступающей мерилем всех революций. Парадокс в том, что переопределение марксистами буржуазной революции превращает истории всех современных стран, от Японии до Англии, включая Соединенные Штаты, в исключения. И случай Англии, и случай Японии становятся вариантами незавершенной буржуазной революции, обремененной пережитками — ведь политика в этих странах отстала... Я бы выдвинул тезис, пойдя дальше, чем они, о том, что ложная модель Французской революции, которая с точки зрения построения государства была вообще ложной революцией (поскольку она сопровождалась значительной преемственностью, обеспеченной «носителями мантии»<sup>22</sup>), но тем не менее послужила эталоном для революционного разрыва во всех странах, независимо от того, была она у них или нет, породила во всем мире множество абсолютно ложных вопросов. Одна из функций разбираемой нами генетической истории — избавить историков от кошмарной модели Французской революции. И достоинство книги Корригана и Сейера в том, что она заставляет взбунтоваться против этой модели.

В свою книгу «Нищета теории» (1978), где есть мощная глава о последователях Альтюссера, Э. П. Томпсон

---

22. Об этой преемственности между носителями мантии, людьми закона и технократами см.: *Bourdieu P. La Noblesse d'État. Part 4. Chap. 2, 5.*

включил статью 1965 года об особенностях Англии, которую я уже цитировал<sup>23</sup>. В высшей степени неортодоксальный марксист, он подшучивал над тем, что называл «городским уклоном» марксистских теорий революции, пытающихся любой ценой найти классическую буржуазию, живущую в городах и борющуюся с феодальным государством. Он показывает, что в Англии у истоков промышленной революции стоит обуржуазивание джентри. В Японии проблема еще более ясна в силу того, что там в промышленную революцию влились разоренные самураи. В следующий раз я вам вкратце расскажу о Японии; во второй части я попытаюсь бегло напомнить основы теории государства как власти, в особенности символической. В моей статье «О символической власти» вы можете найти схему: я попытаюсь показать, как для того, чтобы понять символическую власть, нужно объединить Канта — Канта, неокантианцев, таких как Панофский, Кассирер — и последователей Дюркгейма, а также Маркса с его теорией господства и Вебера с теорией легитимности и пространств, внутри которых создаются инструменты легитимации, то есть бюрократического поля, поля власти и т. д. Я так или иначе должен об этом сказать, учитывая логику моего изложения.

---

23. *Thompson E. P. The Poverty of Theory. New York, 1978.*



## Лекция 31 января 1991 года

*Ответ на вопросы. — Культурный архаизм и экономические трансформации. — Культура и национальное единство: случай Японии. — Бюрократия и культурная интеграция. — Национальная унификация и культурное господство.*

### Ответ на вопросы

**С**НАЧАЛА вопросы. Один касается проблемы государства в африканских обществах. Это сложная проблема, я не могу ответить на нее несколькими фразами. Затем идет ряд вопросов, автор которых полагает, что я не могу отвечать на них публично... пусть так. Наконец, вопрос о проблемах определения в социологии: допустимы ли в социологии предварительные определения? По этой проблеме есть разные мнения. Дюркгейм считал предварительное определение необходимым моментом того, что я бы назвал конструированием объекта. Мне это по духу не близко. Предварительные определения у Дюркгейма зачастую слабы, и то, что он говорит [в своем анализе], намного лучше того, что он выдвигает в определениях. В этом эпистемологическом споре я бы отнес себя к лагерю защитников временных и неопределенных понятий, потому что в социологии, как и во всех остальных науках, прогресс может быть парализован ложно понятой, предварительно затребованной формальной строгостью, которая, как учит англосаксонская эпистемология<sup>1</sup>, создает эффект закрытости. Важно знать, о чем идет речь, и попытаться наделить используемый язык определенной строгостью, но очень часто бывает, что за внешней строгостью скрывается недостаток реальной строгости и что формальная строгость дискурса выходит далеко за рамки строгости реальных, описываемых

---

1. П. Бурдьё, несомненно, имеет в виду Томаса Куна, который в «Структуре научных революций» показывает, как «кризис» «нормальной науки» при некоторых социальных условиях приводит к изменению «парадигмы».

дискурсом. В науке вообще, и не только в социальных науках, формальный аппарат часто оказывается контрпродуктивным с научной точки зрения.

Далее вопрос переходит к идее принуждения: во-первых, не является ли определение государства через принуждение оценочным суждением? Во-вторых, когда мы характеризуем государство через принуждение, не значит ли это, что мы описываем патологическую форму государства? В самом деле, говорить о принуждении, даже в самой элементарной его форме — значит выносить скрытое оценочное суждение, и здесь действительно есть определенное допущение касательно функций государства. Сегодня я хотел бы показать, что правильно устроенное государство должно в конечном счете обходиться без насилия. В этом случае ограничения, которые государство накладывает на наши сокровенные мысли, сам факт того, что оно может проникнуть в наши мысли, как раз и образуют пример «невидимого» принуждения, которое осуществляется с согласия тех, к кому оно применяется. Вот что я называю символическим насилием или символическим господством, то есть формами ограничения, которые опираются на неосознанное соответствие между объективными структурами и структурами ментальными.

### Культурный архаизм и экономические трансформации

Опираясь на книгу Корригана и Сейера, я поставил [на предыдущей лекции] две группы вопросов: первая касалась особого пути Англии к созданию государства, сюда же я добавил проблему Японии; вторая группа вопросов касается теоретических основ осмысления государства как власти и, в частности, как власти символической. Достоинство Корригана и Сейера в том, что они видят в государстве не только армию и полицию: государство привлекает совершенно особые формы господства, которые можно было бы назвать мягкими. Корриган и Сейер, скорее, задают направление анализа, чем действительно следуют ему, в том числе и в силу недостатка у них строгих понятий, позволяющих

осмыслить всю сложность символического господства. Итак, сегодня я собираюсь вернуться к этим двум моментам. То, что я скажу по поводу Англии и Японии, будет тяжеловесно и поверхностно. Я не специалист по Японии, просто по мере возможностей приобрел некоторые познания, но я понимаю, что вторгаюсь на территорию, где работают профессионалы. Не то чтобы я всю жизнь боялся ошибиться, скорее, я уважаю знания, которых у меня может и не быть. Таким образом, порой я могу показаться неуверенным, даже путаться в словах, но это только в силу уважения к предмету...

Идея, которую развивают Корриган и Сейер, состоит в том, что не существует антиномии между некоторыми культурными особенностями английской традиции, которые можно счесть архаичными, и тем, что Англия произвела на свет это английское чудо, промышленную революцию. В целом, можно сказать, что антиномии здесь не больше, чем между культурным архаизмом Японии и японским чудом. Вот одно из общих мест работ о Японии: каким образом стало возможно, что, с одной стороны, есть технологическое чудо, а с другой — весь этот фольклор государства, этот культурный ансамбль, который так пленяет туристов, а зачастую и самих наблюдателей? Как возможно, что, с одной стороны, есть ориенталисты — ужасное слово — а с другой — экономисты, специалисты по Японии, при этом ни те, ни другие друг друга не знают и не признают? Этот раскол — часть «эффекта культуры»: на самом деле, дуализм, определяющий разведение техники и культуры, является частью тех невидимых средств, при помощи которых осуществляется символическое господство и которыми социальный порядок защищает себя от тех, кто хотел бы его осмыслить. Деление на дисциплины или деление на интеллектуальные традиции — вот где зачастую производится цензура. Ориенталисты — не экономисты, специализирующиеся на Японии, и наоборот; точно так же проблема, которую я только что сформулировал, не может быть поставлена ни перед теми, ни перед другими, хотя только о ней они на самом деле и говорят.

Английское «экономическое чудо» XIX века или сегодняшнее японское чудо вовсе не противоречат



наличию всевозможных архаичных явлений. Этот парадоксальный тезис, расходящийся с академической доксой, противоречит веберовской теории рационализации<sup>2</sup>. Эта теория, получившая очень широкое распространение, принимается как нечто само собой разумеющееся, то и дело возвращаясь в обновленных формах (в США лет пятнадцать говорили о «теории модернизации»<sup>3</sup>), так вот, эта теория предполагает, не договаривая этого до конца, что есть единый исторический процесс, ведущий к настоящему, скрытый процесс, ориентированный на телос, «английское счастье», как говорил Ницше<sup>4</sup> («американское счастье», как сказали бы сегодня). Итак, с одной стороны, есть телос, а с другой — единство, последовательное движение к цели. Я не собираюсь здесь пересказывать всю веберовскую теорию рационализации, но те, кто в курсе, знают, что одна из центральных идей Вебера заключалась в том, что право, называемое им рациональным, — это право, согласующееся с рациональной экономикой: рациональная экономика не могла бы работать без рационального права, способного обеспечивать эту экономику тем, в чем она больше всего нуждается, а именно двумя критериями рациональности, исчислимостью и предсказуемостью. Вебер понимает это: он различает формальную рациональность и материальную рациональность (формально справедливое право может быть несправедливым, но в любом случае оно последовательно)<sup>5</sup>. Рациональное право, говорит Вебер, обеспечивает экономику исчислимостью, американские адвокаты по коммерческому праву могут предсказать, какие

---

2. *Whimster S., Lash S. (eds). Max Weber, Rationality and Modernity. London: Allen & Unwin, 1987.* В этом сборнике опубликована статья П. Бурдьё о теории религии у Макса Вебера: *Bourdieu P. Legitimation and structured interests in Weber's sociology of religion. P. 119–136.*

3. Критику этой теории см. в: *Bourdieu P. Structures sociales et structures de perception du monde social // Actes de la recherche en sciences sociales. 1975. No. 1–2. P. 18–20.*

4. *Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Полное собрание сочинений. М.: Культурная революция, 2012. Т. 5. С. 153.*

5. *Weber M. Économie et société. Part II. Chap. VII. § 5.*

санкции грозят фирме, когда она совершает нарушение. Рациональное право — то, которое делает возможным расчет и рациональное управление экономикой. Точно так же Вебер сказал бы о рациональной или рационализированной религии то, что она либо выступает основанием для рациональной экономики, либо совместима с ней. И то же самое относится к науке. Таким образом, у Вебера есть идея единого процесса рационализации, в котором рационализация экономики сопровождается рационализацией различных областей человеческой деятельности. Когда я говорю о рационализации у Вебера, я все крайне упрощаю, но делаю это затем, чтобы не довольствоваться просто отсылкой<sup>6</sup>. Потому что для того, чтобы понять, почему Корриган и Сейер высказывают некий парадокс, нужно держать в уме идею рационализации. Заслуга Корригана и Сейера в том, что они порывают с такого рода догматической философией, которой ошибочно придерживались социологи, считавшие, что современный мир переживает рационализацию, причем единообразную. Корриган и Сейер настаивают на том, что могут быть отступления, расхождения, непреодолимые разрывы — что само по себе отнюдь необязательно является противоречием — между автономным развитием культурных процессов (чайная церемония, кабуки, елизаветинский театр) и экономическим развитием. Вовсе необязательно, чтобы все сектора общества шли в ногу с экономикой.

Напомню вывод наших авторов: отставание и культурные странности Англии не были препятствиями для капитализма, начала промышленной революции, наоборот, культурная интеграция, которую обеспечивали эти внешне разрозненные и случайные практики, от политической традиции до традиции королевской семьи, помогли упрочить единство всего населения в целом, образующего нацию, единство, способное пережить конфликты, противоречия, связанные с развитием

---

6. Более глубокое обсуждение шести значений понятия «рациональность» у М. Вебера см. в: *Brubaker R. The Limits of Rationality: An Essay on the Social and Moral Thought of Max Weber. London: Allen & Unwin, 1984.*

промышленного общества. В своем введении к работе «О разделении общественного труда» Дюркгейм говорит, что расплатой за экономическое развитие становится аномия, отсутствие номоса, отсутствие согласия касательно фундаментального закона и все, что из этого следует. Среди признаков аномии он указывает количество самоубийств и разводов, конфликты в сфере промышленности и рост социалистических протестов<sup>7</sup>. Эту антиномию развития промышленного общества — и разделения труда как его коррелята — и социальной интеграции вокруг определенного номоса Корриган и Сейер ставят под сомнение. С их точки зрения, это всего лишь видимость; на самом деле, социальный порядок отличается гораздо большей интегрированностью, чем принято думать: он спланируется вокруг культуры. Культура — инструмент сплочения, социального единства, и промышленная революция стала возможной по большей части именно потому, что существовали спланирующие силы, способные противодействовать силам разъединения. Эти спланивающие силы связаны с культурой, понимаемой в узком смысле легитимной культуры, культуры, приобретаемой за счет воспитания — Корнель, Расин, — но также в том смысле, в котором ее понимают антропологи: культура как образ жизни, способ наливать чай, держать себя за столом, [то, что британская интеллектуальная традиция называет словом] «цивилизация». Здесь они решительно расходятся с Элиасом, который в этом отношении очень близок к Веберу: его цивилизационный процесс совершенно лишен каких бы то ни было политических составляющих, как будто у этого процесса не было ни коррелятов, ни функций...

### Культура и национальное единство: случай Японии

Итак, книга Корригана и Сейера ставит очень важный вопрос. Это вопрос о связи между национальным единством, социальной интеграцией, культурой или, со-

---

7. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М.: Наука, 1991.

ответственно, [о связи] между культурой и нацией, культурой и национализмом. Очень трудно мыслить в этих категориях, особенно французам. Например, французу кажется странным то, что школа может мыслиться как место создания нации или национализма. Именно этой проблемой я и займусь, взяв самые показательные случаи, Англию и Японию, в которых контраст бросается в глаза даже самому поверхностному наблюдателю. Что касается Японии, то без всякого кокетства прошу вас проявить снисходительность, тем более что я должен был не только освоить эмпирический материал, но и истолковать его иначе, чем он обычно толкуется. (Если бы нужно было всего лишь пересказать историю Японии, я бы потратил на это положенное время, и в итоге так или иначе справился бы с этой задачей, но дело в том, что мне пришлось пользоваться материалом, которым я не владею на уровне специалиста, чтобы делать нечто совершенно отличное от того, что обычно делают специалисты [по Японии]. И потому я уязвим для критики со стороны специалистов, которые скажут: он может все это делать, потому что не специалист... хотя я так не считаю. Я думаю, что часто называют себя специалистами именно для того, чтобы не ставить перед собой определенный ряд проблем: ориенталисты считаются ориенталистами именно потому, что они не ставят эти проблемы касательно Японии... Я не должен говорить такие вещи, но поскольку они глубоко засели у меня в голове, они сами собой вырываются наружу.)

Японские марксисты всеми силами старались выяснить, есть ли какой-то особый японский путь и почему у бедных японцев не было Французской революции<sup>8</sup>. Их поразил целый ряд бросающихся в глаза пережитков: они с отчаянием отмечали — им не терпелось дожидаться «революционного переворота», — что они лишены революции, потому что у них не было всех тех признаков, по которым опознается ее возможность. Они отметили, что

---

8. *Shibata M., Chizuka T.* Marxist studies of the French Revolution in Japan // *Science & Society*. 1990. V. 54. No. 3. P. 366–374; *Hoston G.A.* Conceptualizing bourgeois revolution: the prewar Japanese left and the Meiji restoration // *Comparative Studies in Society and History*. 1991. V. 33. No. 3. P. 539–581.

режим Мэйдзи не добился ни искоренения феодальных производственных отношений в сельском хозяйстве, ни свержения абсолютной монархии, потому что Япония сохраняла имперский режим, — это два фундаментальный признака, по которым определяется, что революция не состоялась. Отсюда следовало, что революция Мэйдзи не была настоящей революцией. Они отмечали, что система накопления, на которую опирался японский экономический и социальный порядок, в свою очередь опиралась на земельный налог, который по-настоящему так и не порвал с феодальной традицией и по-прежнему ассоциировался с отношениями феодального типа вплоть до современности. Наконец, третья черта, которая их очень волновала, заключалась в том, что политическое направление реформы Мэйдзи определялось не городской буржуазией, как во времена Французской революции и как положено в теории, но классом самураев, воинов, в конце концов превратившихся в интеллигенцию, то есть мелкой знатью. Итак, японские марксисты спрашивали себя, не была ли эта революция на самом деле дворянской революцией, как принято называть некоторые революции, произошедшие на Западе. Революция не была революцией, потому что ее субъектами были не те люди, которые обычно бывают субъектами революции, то есть не мелкая революционная буржуазия, а обедневшие воины, которые при помощи революции пытались конвертировать дворянский капитал в бюрократический. Поразительная аналогия...

(Я нахожусь в очень трудном положении: я знаю слишком много, чтобы чувствовать себя таким же свободным, как философ, когда он говорит об этих проблемах, и в то же время недостаточно, чтобы чувствовать себя столь же свободно, как историки... И так не получается, и эдак. Надеюсь, что не скажу ничего ошибочного. Надеюсь на это, а кроме того, вы меня поправите. Тех, кто мало знаком с предметом, предупреждаю заранее.)

Я полагаю, что революцию Мэйдзи можно назвать консервативной революцией<sup>9</sup>: некоторые фракции наци-

---

9. Об использовании этого понятия у Бурдье см.: *Бурдье П. Политическая онтология* Мартина Хайдеггера. М., 2003.

стов, предшественники нацистов, были консервативными революционерами, то есть теми, кто совершает революцию с целью восстановить некоторые аспекты старого порядка. Революция Мэйдзи демонстрирует много сходств с некоторыми формами дворянских реформ. Здесь я отошлю вас к прекрасной книге Арлетт Жуанна «Право на бунт»<sup>10</sup>. В ней она исследует бунты мелкой знати, которой в XVI веке угрожал подъем буржуазии и которая боролась за свободы для себя, которые она воспринимала как свободы для всех. Этот класс отвоевывает гражданские права и свободы, которые могут показаться «модернистскими», но на самом деле являются правами и свободами, определенными с точки зрения привилегированного класса, со всей двусмысленностью, которую это за собой влечет. Например, католическая лига—очень двусмысленное движение, в котором наряду с мелкой знатью участвуют и группы буржуазии, переживающие те или иные трудности<sup>11</sup>... Реформа Мэйдзи такого же типа: мелкие самураи борются за гражданские права и свободы, но в той мере, в которой они свои частные интересы выдают за всеобщие, делая вид, что борются за всеобщие права, они на самом деле борются за собственные права.

Почему в Японии этот исходный парадокс принимает максимальные размеры? Следовало бы переписать историю знати, начиная с феодальной эпохи, и до сегодняшнего Тодая<sup>12</sup>: придворная знать постоянно укреплялась, начиная с VIII века и до наших дней, периодически меняя свой облик за счет приобретения культуры, в том числе бюрократической. О древней, феодальной Японии можно было бы сказать то же, что Нидэм, великий историк науки, говорил

10. *Jouanna A.* Le Devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l'État moderne (1559–1661). Paris: Fayard, 1989.

11. Возникшая в борьбе с протестантизмом во время религиозных войн, католическая лига, или Священный союз, под руководством герцога де Гиза превратилась в мятежное движение, требующее созыва Генеральных штатов и свободы провинций от королевской власти. Здесь Бурдые опирается на работу: *Descimon R.* Qui étaient les Seize? Mythes et réalités de la Ligue parisienne (1585–1594). Paris: Klincksieck, 1983.

12. Этот университет, расположенный сегодня в Токио, считается самым престижным в Японии, из него выходит большая часть политической элиты страны.

о Китае<sup>13</sup>, что это «бюрократический феодализм». С VIII века в Японии существовало очень сильно бюрократизированное государство со всеми его отличительными признаками, как их понимал Вебер: использованием письма, разделением бюрократического труда, делегированием государственных актов чиновникам, разделением между домом и службой, разделением между королевским домом и государством и т. д. Наряду с бюрократизацией очень рано появляются люди, которые совмещают в себе качества знатных воинов и знатных ученых. Но особенно четко связь между знатью и культурой обозначается только в XVII веке: закрепляется культ самурая и его меча, но именно в тот момент, когда сам он исчезает, в какой-то мере подобно тому, как сегодня у нас есть музеи народного искусства и традиций, когда сами крестьяне исчезли. Миф о самурае, боевые искусства, весь этот культ японской цивилизации начинает развиваться в тот момент, когда самураи превращаются в чиновников и образованный класс. В XVII веке большая часть самураев была неграмотной, но их глава, носитель центральной власти, создал ряд школ, и в XVIII веке, как известно, большая часть бывших военных получила образование. Большинство было интегрировано в бюрократию, но не все: образовались лишние люди *<surnuméraires>*. Лишние люди — это всегда интересно, это один из главных факторов исторических изменений, то есть это расхождение между тем, что производит система образования, и имеющимися местами<sup>14</sup>. Поэтому я против *numerus*

---

13. *Needham J. La Science chinoise et l'Occident. Le grand titrage / E. Jacob (trad.). Paris: Seuil, 1973 [1969].*

14. См. объяснение Мая 1968, которое Бурдьё дает в «*Homo academicus*» (в частности, в главе 5 «Критический момент»). Этот механизм также играет центральную роль в анализе стратегий преобразования деклассированной буржуазии, расшифрованных в «Различении» (*Bourdieu P. La Distinction. P. 147–185*), во внутренней борьбе с участием «попавших не на свое место» и «сбившихся с пути» членов господствующего класса, описываемой в «Государственной знати» (*Idem. La Noblesse d'État. P. 259–264*), и в том «изобретении жизни деятеля искусства» во Франции конца XIX века, которое прослеживается в «Правилах искусства» (*Idem. Les Règles de l'art. Paris: Minuit, 1992. P. 85–105*).

*clausus*\*. Лишние люди — важный фактор изменений: люди, которым не хватило места, либо забирают себе места, которые они не должны были занимать, либо трансформируют эти места, чтобы их занять. В этом смысле они производят работу по трансформации истории. Эти лишние, неучтенные люди, эти образованные самураи, не имеющие чиновничьей должности, начинают заниматься бизнесом — во главе больших современных корпораций можно найти великие самурайские династии, они борются за свободу и гражданские права точно так же, как мелкая знать, которую изучала Арлетт Жуанна; в частности, они идут в журналистику, становятся интеллектуалами-маргиналами, «свободными» интеллектуалами со всеми вытекающими последствиями...<sup>15</sup>

### Бюрократия и культурная интеграция

Чтобы понять японское «чудо», нужно учитывать тот факт, что Япония бюрократизировалась очень давно, как и Англия (Марк Блок говорил, что в Англии государство появилось очень рано, задолго до того, как оно появилось во Франции). Самобытная культура и бюрократизация вполне совместимы. Бюрократизация идет рука об руку с интересом к культуре как инструменту доступа к бюрократии. Это отмечал еще Вебер, но эта мысль выходит далеко за рамки того, что он говорил. Во Франции накопление культурного капитала очень рано становится путем во власть, как только формируются бюрократические институты, которые начинают требовать если не собственно компетенции, то хотя бы школьной гарантии компетенции. Здесь имеет место связь, формирование которой мы можем наблюдать во Франции начиная с XII века. Люди связывают свои судьбы с государством и тем самым с образованием

---

\* Numerus clausus (лат.) — «ограничительная квота», например числа мест в учебном заведении. — *Примеч. пер.*

15. О развитии этих процессов во Франции периода Второй империи см.: *Bourdieu P. Les Règles de l'art.* P. 211–220. Подробнее о том, что за этим последовало, см. в: *Idem. Comment libérer les intellectuels libres? // Questions de sociologie.* P. 67–78.



и с культурой образования, во французской традиции это носители мантии. Самураи подпадают под эту категорию. Эта бюрократизированная феодальная система, которая еще больше бюрократизируется, приобретает все больше связей с дипломами. Немного стран, в которых тирания дипломов проявлялась бы с такой же силой, как в Японии. Система образования настолько патологична, что число самоубийств учащихся в ней просто невообразимо. Япония — общество, в котором диплом является первостепенным инструментом восхождения по социальной лестнице и социального признания. Когда говорят о «японском чуде», забывают об этом определяющем факторе, каковым является роль культурного капитала, с особой интенсивностью накапливавшегося в том обществе, где вся традиция склоняется к подобному накоплению. Об этом довольно редко говорится, особенно в работах экономистов.

Эта работа по накоплению культурного капитала, одновременно индивидуальная и коллективная, сопровождается огромной работой по созданию культуры. И можно сказать, что японское государство, как английское государство и французское, само создавалось, создавая этот артефакт, каковым является японская культура, принимающая вид чего-то естественного, оригинального, что для нее относительно просто в той мере, в которой она имитирует древнюю Японию. Была проведена значительная работа по натурализации культуры, натурализации, которая осуществляется через отсылки к древности, к «незапамятным временам», как говорилось в древних сводах права. Но на самом деле эта культура является историческим артефактом, который можно привязать к его авторам, изобретателям. [...] Такая культура — артефакт, собранный из подручного материала образованным классом; и только вплотную занявшись проблемой государства, я смог увидеть, что это не только легитимная, но и национальная культура. Этот политический аспект культуры я раньше никогда не замечал, и, по сути дела, все, что я буду говорить, станет продолжением ряда прежних исследований — роли легитимной культуры, роли школы, — правда, помещенных во всецело политический

контекст, в котором я связал эту культуру с ее функциями по национальной, а не только социальной интеграции, о которой говорил Дюркгейм.

Так, английская культура выстроена в противовес французской модели. *Englishness* определяется в противовес Франции: каждому из прилагательных, определяющих *englishness*, можно противопоставить характерное прилагательное, определяющее французский характер. Японская культура — это культурный артефакт, созданный ради реабилитации в противовес загранице. Япония — страна, которая была подчинена, но не колонизирована. Она согласилась подчиниться европейскому господству, но не была подчинена ему напрямую, в отличие от Китая. В то же время эта культура руководствуется идеей реабилитации, «восстановления достоинства» в противовес презрению, которым ее потчует Запад. Отошлю вас к книге Филиппа Пона, корреспондента «Le Monde» в Японии, «От Эдо до Токио. Память и современность»<sup>16</sup>. Эта книга попадает в ловушку ориенталистской мистики, которой подвержены и сами японцы (это и есть проявление символического господства), но она дает хорошее представление о культурном арсенале такого рода. Другая книга, «Идеология Токугавы» социолога и историка Хермана Омса, редкий случай разрыва с ориенталистской традицией, описывает исторический генезис идеи «японского» на основе текстов и авторов этой эпохи<sup>17</sup>.

Типичный пример культурного изобретения, чья реабилитационная цель очевидна, — это запрет в XIX веке общественных бань, бывших частью японской традиции: когда какая-то традиционная культурная практика начинает в свете западной традиции выглядеть странной, она запрещается и исключается из легитимной культуры, но в то же время в последнюю вводятся практики, имевшиеся только у небольшой горстки придворных и превращаемые в элементы общей культуры. В начале XIX века наблюдалось переизобретение

16. Pons P. D'Edo à Tokyo. Mémoire et modernité. Paris: Gallimard, 1988.

17. Ooms H. Tokugawa Ideology, Early Constructs, 1570–1680. Princeton: Princeton University Press, 1985.

традиционных искусств — боевых искусств, каллиграфии и т. д. Типичный пример — искусство чая: *sadô* — это проект своего рода ученой кодификации, доходящей до пародии, превращение повседневной практики в произведение искусства, и в этом отношении Япония интересна как предел *englishness*. Кодификация, канонизация и образование «подлинного» — это опасное слово, вспомните Хайдеггера... Япония — [место] конструирования «подлинной» японской культуры, в которую интегрируется традиция боевых искусств, крайне жесткое разделение полов — мало на свете традиций, которые противопоставляли бы женское и мужское столь же решительно.

В случае Японии государство образуется, создавая легитимное определение культуры и систематически внедряя это определение с помощью двух инструментов — школы и армии. Армию часто считают инструментом принуждения (что мы отметили у Элиаса и Тилли), но армия — это еще и инструмент прививки культурных моделей, инструмент муштры. В Японии перед школой и армией ставится задача распространять и воспитывать традицию дисциплины, самопожертвования, верности. Следовательно, мы имеем своего рода искусственную культуру, отрезанную от народных традиций. Например, спектакли японского театра совершенно недоступны зрителям: они должны читать программку, чтобы следить за развитием действия. Артефакт становится абсолютно искусственным — что не означает, что зрители не могут получить искреннее удовольствие; дело просто в том, что эти традиционные искусства — искусства, полностью потерявшие связь с публикой и сохраняющиеся только благодаря поддержке системы образования. Это не что иное, как предельный случай классического французского театра: если бы школьная система прекратила преподавать Корнеля и Расина, огромная часть репертуара полностью исчезла бы, и вместе с нею исчезли бы потребность, удовольствие, желание потреблять... Включение японской культуры в школьную программу оказывает влияние на содержание культуры и в то же время является тем, что позволяет потреблять эту культуру,

преобразованную подобным образом. Рене Сиффер называет кабуки «театром-музеем»<sup>18</sup>, доступным только посвященной публике, которая потребляет его продукты часто лишь на втором и третьем уровне рефлексии, со специальными сопроводительными материалами, комментариями и т. д.

### Национальное объединение и культурное господство

В этом примере очень ясно просматривается связь между культурой, образованием и нацией, и хорошо видно, может быть, потому, что это иностранный пример, что существует школьный национализм, что система образования — инструмент национализма. Но я думаю, что это верно повсюду. Школа, которая считает себя универсалистской, в особенности французская школа — независимо от воли, сознания и ответственности преподавателей, — представляет собой важный инструмент формирования национальных эмоций, которые «дано почувствовать только нам» или которые «может чувствовать только тот, кто родился в этой стране», за которые люди готовы умереть, как за орфографию.

Чтобы завершить эту тему, я бы сказал, что как в случае Японии, так и в английском примере, хорошо видна конструктивная и в то же время объединительная роль школьной культуры, легитимной культуры, и также заметно, что эта школьная культура — национальная культура, иначе говоря, что образование и культура выполняют функцию внутренней интеграции, которую Дюркгейм называет социальной: все дети во Франции в какой-то минимальной степени согласны с легитимной культурой, и, даже если у них нет культурных знаний, они её все равно признают. Никто не вправе игнорировать закон культуры, собственно этому в школе и учат. Когда мы проводим опросы по проблемам культуры, очень редко встречаются люди, которые бы

---

18. Бурдьё, несомненно, имеет в виду работу: *Sieffert R. Le théâtre japonais // Les Théâtres d'Asie / J. Jacquot (dir.). Paris: Éd. du CNRS, 1968. P. 133–161.*

полностью отвергали культуру. Даже самые некультурные люди стремятся соответствовать требованиям культурной легитимности, которым они совершенно не в состоянии удовлетворять. Хотя знания о культуре распределяются крайне неравномерно, признание роли культуры носит, напротив, очень широкий характер, а через него осуществляется признание всего того, что культура гарантирует: превосходства культурных людей над некультурными, того, что выпускники Национальной школы администрации занимают все посты в управлении, и т. д. — это все косвенным образом гарантируется культурным капиталом. О чем я всегда забывал в своих исследованиях, так это о том, что школа тоже выполняет функцию национальной интеграции, направленной против внешнего, того, что находится вовне: культурный институт — одно из мест национализма. Сейчас я хочу просто напомнить о ряде очень деликатных проблем.

Национальные государства образовывались при помощи процессов того же типа, посредством своего рода искусственного конструирования искусственной культуры. Для некоторых национальных государств исходной культурой, из которой они могут брать материал для создания этого артефакта, была культура религиозная: это случай Израиля и арабских стран. Как создать национальную культуру, культуру в официальном смысле слова, если материал, с которым приходится работать, имеет преимущественно религиозный характер? Как создать культуру, претендующую на универсальность, из исторической или религиозной традиции частного характера? Следовало бы подробно разобраться со всеми антиномиями, заложенными в этом вопросе. Я имею в виду совершенно особый случай Франции, которая в этом отношении является противоположностью Израиля или арабских стран: она относится к национальным государствам, которые складывались, пребывая в иллюзии собственной универсальности, отличительной особенностью которых была универсальность и рациональность. Отличительная черта французов — разум; это их субъективное представление о себе, не лишенное, однако, объективного основания. С 1789 года революционная работа проводилась под

знаком разума, то есть под знаком универсальности. Это традиция, складывавшаяся на основе притязаний на универсальность, имевшая особые отношения с универсальностью, чем объясняется неспособность французских мыслителей отрефлексировать особый характер французской мысли и отстраниться от этого вымышленного националистского интернационализма, а также традиционная позиция Франции в конфликтах.

Эта национальная традиция прав человека, разума, универсальности, к которой можно добавить также традицию интеллектуалов от Золя до Сартра, также представляющую собой национальную специализацию, несмотря на то, что в других странах тоже есть свои интеллектуалы, так вот, эта национальная специализация на универсальности, на *would be* универсальности — одна из особенностей французской ситуации с ее идеей, что национальная культура — это интернациональная культура, которую можно естественным образом экспортировать и которая должна экспортироваться. Ничего плохого в том, чтобы экспортировать французскую культуру, нет. Что может быть лучше, чем поехать обучать французскому языку греков, — я нарочно говорю о греках: что было бы, если бы речь шла о банту?.. До Второй мировой войны эти универсалистские притязания основывались на фактах. Французская литературная культура занимала господствующее положение во всем мире. Париж — националистский миф, но он имел основание в реальности: именно в Париже делают карьеру художники, художественные революции в Германии производятся с оглядкой на Париж. Такая мнимая, предположительная универсальность сопровождается своего рода практической формой универсальности, то есть господства, которое не воспринимается в качестве такового. Она очень глубоко укоренилась в бессознательном французов: у нас можно встретить ультра национализм фашистского толка именно потому, что мы — великие универсалисты, чье господство пришло в упадок...

Делая то же, что японцы сделали с искусством чая, то есть создавая искусственную культуру, французы имели определенные шансы на успех. Это не было

национальным безумством: для этого был рынок... Французы не получали по рукам, когда говорили по-французски в Анкаре: всегда можно было найти того, кто поймет, что ты говоришь. Эта претензия, объективно, социологически основанная на универсальности, предполагает империализм универсального. И я полагаю, что особое коварство французского империализма заключается в том, что это империализм универсального. Сегодня этот империализм переместился из Франции в Соединенные Штаты<sup>19</sup>. Американская демократия подхватила эстафету у французской демократии, со всем тем прекраснодушием, которое из этого вытекает. Следовало бы изучить универсалистский империализм коммунистических режимов 1917 года до, не знаю точно, какого периода (говорят, что он довольно быстро закончился), поскольку универсалистский империализм может основываться и на коммунистических идеях, приходящих из «стран революции»...

Все это я говорю к тому, что в случае, очевидно, наиболее благоприятном для культурного империализма и националистского использования культуры, то есть в случае универсалистского империализма, мы видим, что культура никогда не бывает чистой, что в ней всегда есть аспекты не только господства, но и национализма. Культура — инструмент легитимации и господства. Вебер говорил о религии, что она дает господствующим классам теодицею для их собственных привилегий. Я предпочитаю говорить о социодицее: она предлагает легитимацию существующего социального порядка. Но это еще не все. Культура приходит на смену религии, чтобы выполнять очень похожие функции: она дает властвующим чувство обоснованности их господства, она наделяет их этим чувством в масштабах не только национального, но и мирового общества, так что господствующие классы или колонизаторы могут с чистой совестью считать себя носителями универсального. Я занимаю позицию, которая может показаться попро-

---

19. *Bourdieu P. Deux impérialismes de l'universel // L'Amérique des Français / Ch. Fauré, T. Bishop (dir.). Paris: François Bourrin, 1992. P. 149–155.*

сту критической, но на самом деле она сложнее: все было бы слишком просто, если бы универалистский империализм хотя бы в малой степени не был тем, о чем он говорит и чем себя считает.

Процесс, который я буду описывать, то есть процесс объединения, посредством которого образуется государство, не лишен некоторой двусмысленности: существуют регионы, местные права, обычаи, языки, но благодаря процессу концентрации и объединения в итоге складывается единое государство с единым языком и правом. Этот процесс объединения также является процессом концентрации. Раньше были армии наемников, теперь есть [национальная] армия. Этот процесс ведет к единству, но, кроме того, он создает монополию тех, кто им пользуется, кто производит государство и занимает положение, позволяющее распоряжаться прибылями, которые государство приносит. Происходит монополизация всего, что производит государство, производя само себя, в том числе монополизация легитимности, которую обеспечивает эта монополия, монополизация универсального, разума. Процесс концентрации, который я описываю, напоминает лист бумаги с лицевой и оборотной стороной: он идет в направлении большего универсального единства, он делокализует, стирает местные особенности (в Кабилии в каждой деревне была своя система мер), движется к единому государству с единой системой мер и весов, к большему универсализму. Теперь можно понимать друг друга, переходить границы, общаться. В то же время на оборотной стороне происходит национальная, националистская концентрация; прогресс универсализма — это в то же время прогресс монополизации универсального. На уровне отношений между государствами мы снова сталкиваемся с теми же проблемами, которые существуют внутри государства.

Если в истории и есть что-то универсальное, то только потому, что люди заинтересованы в универсальности, вследствие чего универсальное оказывается генетически подпорченным, но это не значит, что оно перестает быть универсальным. В качестве примера сегодня можно было бы привести то достижение человечества,



которое в культуре носит наиболее универсальный характер, а именно математическую культуру, и показать, как использование обществом математики способствует превознесению технологии и ее распространению. Это показало бы, как формализм, формализация, чистая логика, с которыми мы стихийно связываем идею универсальности, всегда оказываются связанными, как лицевая и оборотная стороны, с эффектами господства, манипуляции; идеального господства, потому что это господство разума; непреклонного господства, потому что разуму нечего противопоставить, кроме разума или еще более разумного разума.

Корриган и Сейер, заставившие меня заговорить на эту тему, чего я не планировал, выступают против стремления марксизма свести все формы господства к его наиболее грубым аспектам, к военной силе. На примере математики я хочу показать, что есть мягкие формы господства, связанные с самыми возвышенными достижениями человечества. Эти формы господства, которые в философской традиции называются символическими, носят настолько фундаментальный характер, что у меня возникает вопрос, а может ли вообще социальный порядок, в том числе в своих экономических основах, функционировать без таких форм господства. Иначе говоря, нужно отказаться от старой схемы базиса и надстройки — схемы, принесшей большой вред социальным наукам, а если мы хотим ее все-таки сохранить, нужно ее по крайней мере перевернуть. Не следует ли, чтобы разобраться в экономическом чуде, начать с символических форм? Не основываются ли вещи, кажущиеся наиболее фундаментальными, реальными, «базисными», как говорят марксисты, на ментальных структурах, на символических формах, чистых, логических, математических формах?

[...] Поработав над темой государства и пересчитывая сегодня свою статью «О символической власти», я вижу, насколько сам стал жертвой мысли государства. Я не знал, что пишу статью о государстве: я думал, что пишу статью о символической власти. Сегодня я вижу в этом исключительную силу государства и его мышления.

# Лекция 7 февраля 1991 года<sup>1</sup>

*Теоретические основы анализа государственной власти. — Символическая власть: силовые отношения и отношения смысла. — Государство как производитель принципов классификации. — Эффект веры и когнитивные структуры. — Эффект согласованности символических систем государства. — Построение государства: школьное расписание. — Производители доксы.*

## Теоретические основы анализа государственной власти

**КАК** я уже объявил в прошлый раз, я собираюсь заняться второй группой проблем, поставленных в книге Корригана и Сейера: проблемами теоретических основ их анализа образования английского государства. Прежде чем перейти к этому анализу, чтобы вы лучше понимали цель размышлений, которые я собираюсь вам представить, я хотел бы зачитать малоизвестный отрывок из статьи Давида Юма «О первоначальных принципах правления» (из его «Эссе», опубликованных в 1758 году): «Ничто не представляется более удивительным тем, кто рассматривает человеческие дела философски, чем та легкость, с которой меньшинство управляет большинством, и то безоговорочное смирение, с которым люди отказываются от собственных мнений и аффектов в пользу мнений и аффектов своих правителей. Если мы будем исследовать, при помощи каких средств достигается это чудо, то обнаружим, что так как сила всегда на стороне управляемых, то правители в качестве своей опоры не имеют ничего, кроме мнения. Поэтому правление основывается только на мнении; и это правило распространяется как на самые деспотические и диктаторские системы правления, так и на самые свободные и демократические»<sup>2</sup>. Я нахожу этот текст крайне важным. Юм удивляется той легкости, с которой правители правят и о которой часто забывают те, кто придерживается неверно понятой

---

1. Запись этой лекции была отредактирована П. Бурдые.

2. Этот отрывок, переведенный Бурдые, можно найти в: Юм. Д. О первоначальных принципах правления // Юм. Д. Собр. соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1996. Т. 2. С. 503–504.

критической традиции (и точно так же забывают о легкости, с которой социальные системы себя воспроизводят).

Когда я только начал заниматься социологией, словом, которое социологи постоянно употребляли, был «сдвиг» <mutation><sup>3</sup>. «Сдвиг» находили повсюду: технологический сдвиг, медийный сдвиг и т. д., тогда как минимальное исследование показывает, насколько сильны механизмы воспроизводства. Точно так же очень часто нас в наибольшей степени поражают внешние эффекты: восстания, бунты, революции, тогда как удивительнее, поразительнее всего противоположное: то, что так часто наблюдается порядок. Проблемой является именно то, что проблем не создает. Почему социальный порядок так легко сохраняется, хотя, как говорит Юм, правители всегда в меньшинстве, тогда как управляемых большинство и, следовательно, на их стороне количественное преимущество? Такое удивление, собственно, и стало отправной точкой для тех строгих рассуждений, которые я намереваюсь развить. Мне кажется, что невозможно понять фундаментальные силовые отношения в социальном порядке, если не будет учтен символический аспект этих отношений: если бы силовые отношения были только отношениями физической, военной силы или даже экономических сил, вполне вероятно, что они были бы бесконечно более хрупкими и их было бы намного легче перевернуть. Фактически это отправной пункт многих моих размышлений. В своей работе я снова и снова пытался ввести этот парадокс символической силы, символической власти, которая осуществляется столь незаметно, что о ее существовании едва ли не забывают, а те, кто подвергается ее действию, первыми ее игнорируют, ведь она осуществляется именно потому, что ее наличие никем не замечается. Это образец невидимой власти. Сегодня я попробую вкратце представить теоретические основы анализа, который возвращает символической власти ее место.

---

3. См.: Bourdieu P., Passeron J.-C. Sociologues des mythologies et mythologies de sociologues // Les Temps modernes. 1963. No. 211. P. 998–1021.

## Символическая власть: силовые отношения и отношения смысла

В статье «О символической власти», опубликованной в 1977 году, я пытался создать инструменты, необходимые для осмысления этой странной действительности, основанной на мнении, но с тем же успехом можно было бы сказать, что и на вере. Как получается, что подвластные подчиняются? Проблема веры и проблема подчинения суть одна и та же проблема. Почему они подчиняются и, как говорит Юм, подчиняются столь легко? Чтобы ответить на этот трудный вопрос, необходимо преодолеть традиционные противопоставления интеллектуальных традиций, противоположность которых настолько закрепились в сознании, что до меня никто даже не попытался их как-то примирить или сочетать — я говорю это не за тем, чтобы соригинальничать. В моей работе не было школьного или школярского намерения совместить эти традиции и обойти их противоречия: только работая, двигаясь вперед, я постепенно выработал понятия — символической власти, символического капитала, символического насилия, — которые выходят за рамки противопоставления разных традиций, и в силу педагогических причин, возникших уже на втором шаге, показал, что необходимо их примирить, чтобы помыслить «символическую власть».

(Это важно, потому что я полагаю, что часто люди, особенно здесь, во Франции, имеют слишком схоластические представления о теоретической мысли: они делают вид, будто существует некий теоретический партеногенез, будто одни теории порождают другие теории и так далее. На самом деле работа идет совсем не так; теории вовсе необязательно производятся путем чтения книг по теории. Тем не менее ясно, что требуется определенная теоретическая культура, чтобы суметь произвести теории.)

Первая особенность такого подхода: я полагаю, что в качестве отправного пункта следует принять то, что силовые отношения — это отношения коммуникации, так что между физикалистским и семиологическим или символическим взглядами на социальный мир нет

никакого противоречия. Нужно отказаться от выбора между двумя типами моделей, между которыми всегда колебалась традиция социальной мысли, физикалистскими моделями и моделями кибернетического типа, которые какое-то время были в моде: это абсолютно ложная альтернатива, искажающая реальность. Самые грубые силовые отношения — а именно об этом говорит Юм — это в то же время отношения символические.

Поскольку силовые отношения неотделимы от смысловых отношений и коммуникации, подвластный — это еще и тот, кто знает и признает. (Гегель с его знаменитой диалектикой раба и господина коснулся этой проблемы, но, как часто бывает, анализ, в какой-то момент открывающий новый путь, его же и блокирует, не позволяя до конца продумать проблему. Из-за этого традиция теоретического комментария часто оказывается скорее бесплодной, чем животворной.) Подвластный знает и признает: акт подчинения предполагает акт знания, который одновременно и акт признания. В признании, естественно, есть «знание»: это означает, что тот, кто подвластен, кто слушается, кто подчиняется приказу или дисциплине, осуществляет когнитивный акт. (Я объясняю вам одни и те же вещи по-разному: сейчас много говорят о когнитивных науках; я употребляю слово «когнитивный», чтобы в вас что-то щелкнуло и вы поняли, что социология — по сути дела, когнитивная наука, хотя это постоянно забывают люди, занимающиеся когнитивными науками, и неспроста.) Акты подчинения и повиновения — это когнитивные акты, которые, будучи таковыми, приводят в действие когнитивные структуры, категории восприятия, схемы восприятия, принципы видения и разделения, все те вещи, которые ставит на первый план неокантианская традиция. В эту неокантианскую традицию я включил бы и Дюркгейма, который не скрывал того, что был неокантианцем, причем одним из самых последовательных. Итак, чтобы понять акты подчинения, нужно представлять социальных агентов не как частицы в физическом пространстве — каковыми они тоже могут быть — но как частицы, которые думают о своих начальниках или подчиненных за счет ментальных и когнитивных структур. Отсюда вопрос: связано ли то, что государству

удается так легко добиться подчинения — я снова возвращаюсь к Юму, — с тем, что оно может навязать когнитивные структуры, сообразно которым его мыслят? Иначе говоря, я полагаю, что для того, чтобы понять это почти что магическое свойство государства, нужно задать вопрос о когнитивных структурах и об участии государства в их производстве.

(Я намеренно использую слово «магический» в техническом смысле этого термина: порядок — это магический акт: вы оказываете на кого-то влияние на расстоянии, вы говорите ему «встань» и добиваетесь того, что он встает, без применения какой бы то ни было физической силы. Если вы — английский лорд, читающий свою газету (это пример, взятый из Остина, английского прагматика), вы говорите: «Джон, не кажется ли вам, что похолодало?», и Джон идет закрыть окно<sup>4</sup>. Иными словами, констативное высказывание, которое даже не имеет формы явного приказа, может вызвать физическое действие. Вопрос в том, при каких условиях подобная фраза может его вызвать. В чем сила фразы — в самой фразе, в ее синтаксисе, ее форме? Или же она еще и в условиях ее произнесения? Нужно спросить, кто ее произносит, кто ее слышит, в каких категориях воспринимает ее тот, кто является ее адресатом.)

### Государство как производитель принципов классификации

Мне кажется, что государство должно мыслиться как производитель принципов классификации, то есть структурирующих структур, приложимых ко всему на свете, а в особенности к социальным предметам. Это типично неокантианский тезис. Отошлю вас к Эрнсту Кассиреру, который обобщил кантовское понятие формы, введя понятие «символической формы», которое охватывает не только формы, образующие научный порядок, но и формы языка, мифа и искусства<sup>5</sup>. Тем,

4. Остин Дж. Как совершать действия при помощи слов. М., 1999.

5. Кассирер Э. Философия символических форм: в 3 т. М., СПб.: Университетская книга, 2002.

кто все еще не может выйти за рамки жалких дихотомий, поддерживаемых системой образования, я бы напомнил, что Кассирер в небольшом примечании к одной из своих последних книг, опубликованных в Соединенных Штатах, в «Мифе о государстве», прямым текстом пишет: «Говоря “символическая форма”, я говорю ровно то же, что и Дюркгейм, когда он говорит о “первобытных формах классификации”»<sup>6</sup>. Я думаю, что «чистые» философы от этого бы содрогнулись, но любому действительно разумному человеку это очевидно. То, что именно он это сказал, имеет некоторую доказательную ценность.

Эти символические формы являются принципами построения социальной реальности: социальные агенты — не просто частицы, которыми движут физические силы, они еще и познающие агенты, являющиеся носителями когнитивных структур. Что Дюркгейм привносит по сравнению с Кассирером, так это идею о том, что эти формы классификации — не трансцендентальные, универсальные формы, как принято было думать в кантовской традиции, а исторически сложившиеся формы, связанные с историческими условиями производства, формы произвольные — в сосюрровском понимании этого термина, то есть не необходимые, а приобретенные в данном историческом контексте. Говоря строже, такие формы классификации суть социальные формы, социально конституированные и произвольные или конвенциональные, то есть соотносимые со структурами рассматриваемой группы. Если пойти за Дюркгеймом еще дальше, то встанет вопрос о социальном генезисе этих социальных структур: больше нельзя будет говорить, что это априорные структуры, лишённые всякого генезиса. Дюркгейм в других своих работах [проведенных вместе с Моссом] подчеркивает то, что у логики есть генеалогия и что принципы классификации, обнаруживаемые в первобытных обществах, следует связывать

---

6. *Cassirer E. Le Mythe de l'État / B. Vergely (trad.). Paris: Gallimard, 1993 [1946].* Р. 33. Кассирер ссылается на статью: Дюркгейм Э., Мосс М. О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию коллективных представлений. М., 2011.

с самими структурами социального порядка, внутри которого образуются ментальные структуры. Иначе говоря, гипотеза Дюркгейма — очень сильная, даже рискованная, но оттого не менее мощная — состоит в том, что есть генетическая связь между ментальными структурами, то есть принципами, сообразно которым мы конструируем социальную и физическую реальность, и социальными структурами, так что оппозиции групп переводятся в логические оппозиции.

Я просто в общих чертах напомнил об этой традиции и связал это с тем, что я только что говорил о государстве. Если следовать этой традиции, можно сказать, что существуют формы мысли, произведенные за счет инкорпорирования социальных форм, и что государство существует в качестве института. (Слово «институт» — одно из наиболее смутных слов в социологическом языке, которому я попытаюсь придать некоторую строгость, указав на то, что институты всегда существуют в двух формах: в реальности — как гражданское положение, гражданский кодекс, бюрократический бланк — и в умах. Институт работает только тогда, когда есть соответствие между объективными и субъективными структурами.) Государство в состоянии универсальным образом, на уровне определенной территориальной юрисдикции, насаждать принципы видения и разделения, символические формы, принципы классификации, то, что часто называют «номосом» — если вспомнить об этимологии, предложенной Бенвенистом, согласно которой *nomos* происходит от *neto*, то есть «разделять», «делить», «образовывать отдельные части» при помощи своего рода *diachrisis*-а, как говорили греки, «изначального разделения»<sup>7</sup>.

### Эффект веры и когнитивные структуры

Самый парадоксальный эффект государства — это эффект веры, общего подчинения государству, например, то, что люди в большинстве своем останавливаются на

---

7. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М.: Прогресс-Универс, 1995. С. 72 и далее.



красный свет, само по себе удивительно. (Я хотел бы, чтобы вы тоже удивлялись тому, что порядок так просторен, — может быть, я задумываюсь об этом из-за моего анархистского темперамента... но я так думаю, — что этот порядок достигается минимальными средствами. Нас поражают красочные проявления беспорядка, заставляющие забыть о том огромном количестве актов, которые могли бы происходить совсем иначе, хаотично, о несметном множестве повседневных действий, благодаря которым мир становится пригодным для жизни, предсказуемым, которые позволяют предугадать, что люди будут делать, если не считать несчастных случаев. Можно было привести много примеров.)

Итак, государство — институт, который обладает необыкновенной способностью порождать упорядоченный социальный мир, не отдавая то и дело приказы, не применяя постоянно принуждение — как говорится, не нужно приставлять к каждому автомобилисту полицейского. Этот почти магический эффект заслуживает объяснения. Все остальные эффекты — принуждение посредством военной силы, о котором писал Элиас, экономическое принуждение [о котором писал Тилли] — на мой взгляд, вторичны по отношению к этому эффекту. Я думаю, что первоначальное накопление, вопреки утверждениям материалистической традиции (в ее обедненном смысле) — это накопление символического капитала: целью всей моей работы было создание материалистической теории символического, которое традиционно противопоставляли материальному. Обедненные материалистические традиции, в которых не отводится надлежащего места символическому, едва ли в состоянии объяснить это общее подчинение без обращения к принуждению и в то же время они не могут понять феномен первоначального накопления. Марксизм неслучайно испытывает такие затруднения с проблемой первоначального накопления государственного капитала, поскольку я полагаю, что первичная форма накопления реализуется именно на символическом уровне: есть люди, которые заставляют себе подчиняться, уважать себя, потому что они образованны, религиозны, святы, разумны, красивы... короче

говоря, в силу множества вещей, с которыми материализм в обычном смысле слова не знает, что делать. Повторяю, это не означает, что не может быть материалистического анализа даже самых эфемерных вещей...

Чтобы понять это чудо символической действительности, понять тот факт, что правители управляют, необходимо вслед за социологизированной неокантианской традицией сказать — здесь я пойду по стопам Дюркгейма, хотя он и не имел в виду государство, когда это писал, — что государство прививает схожие когнитивные структуры всему множеству агентов, находящихся в его юрисдикции. Государство (процитирую еще раз Дюркгейма) — это основа «логического конформизма» и «морального конформизма». Правильно социализировавшиеся агенты разделяют общие логические, если не идентификационные, структуры, все, по крайней мере, похожи друг на друга так, что напоминают монады Лейбница, которые вовсе не обязаны общаться между собой и сотрудничать, чтобы пребывать друг с другом в согласии. В этом смысле социальные субъекты — это лейбницеvские монады.

(Скажут, что я — Панглосс<sup>8</sup>, но думаю, что надо рисковать и говорить такое, чтобы донести до аудитории удивительные вещи, при этом прекрасно понимая, что их нужно корректировать. Если вы социолог, всегда нужно — процитирую один раз председателя Мао — «перегибать палку в обратную сторону». Большая часть глупых обвинений в адрес социологических работ, в которых пытаются делать то же, что и я, сводится к обвинениям в перегибании палки. Здравый смысл в своей наивности придерживается положений, которые даже не постулируются в качестве положений, то есть нететических тезисов, и чтобы опровергнуть не постулированные положения, нужно выдвигать сильные контртезисы, тезисы противоположного толка, немного преувеличивая. Когда все говорят о «сдвиге социальной

---

8. В «Кандиде» в образе Панглосса, наставника по «метафизико-теолого-космологонигологии», который, независимо от происходящих событий, утверждает, что «всё к лучшему в лучшем из миров», Вольтер в пародийном виде выводит Лейбница.

системы», нужно говорить: «Нет, она воспроизводится...». Разрыв должен быть гиперболическим, если говорить словами Декарта, поскольку люди всегда слишком доверяют видимостям, а видимости всегда существуют для видимости. Нужно уметь хватить через край, подчеркнув разрыв, зная при этом, что всё не так просто. Это одна из причин недоразумений. Некоторые могут урвать свой миг славы, чуть разогнув перегнутую палку и сказав: «Все-таки это некоторое преувеличение!» Пример: для объяснения неравенства в системе образования недостаточно учитывать лишь экономические факторы, которые не объясняют всей вариативности. Следует также учитывать культурные факторы, культурный капитал... И тогда обязательно найдется кто-нибудь, кто скажет: «Осторожно! Они забыли об экономическом капитале!» Когда я упоминаю Лейбница, говоря об отношениях с государством, я знаю, что это опасно, осознаю, что наговорил вам лишнего, но это всё равно едва ли соизмеримо с сопротивлением тому, что я сейчас говорю. Невозможно перестараться, когда речь идет о борьбе с доксой...)

Насаждая — главным образом через систему образования — общие когнитивные структуры, неявно оценочные (нельзя говорить о черном и белом, не подразумевая при этом, что белое лучше черного), производя и воспроизводя их, заставляя их признавать, усваивать их как нечто непреложное, государство вносит важнейший вклад в воспроизводство символического порядка, который, в свою очередь, вносит решающий вклад в социальный порядок и его воспроизводство. Насаждать когнитивные и оценочные структуры — значит учреждать консенсус о смысле мира. Мир здравого смысла, о котором говорят феноменологи, — это мир, касательно которого люди сходятся во мнениях, сами того не ведая, независимо от какого бы то ни было договора, даже не подозревая, что они что-то об этом мире утверждают. Государство — главный производитель инструментов построения социальной реальности. В недифференцированных или слабо дифференцированных обществах, лишенных государства, место всех тех операций, которые осуществляет государство, за-

нимают обряды институционализации — которые ошибочно называют обрядами перехода<sup>9</sup>. Обряд институционализации — это такой обряд, который устанавливает четкое различие между теми, кто его прошел, и теми, кто не прошел. В наших обществах государство организует огромное количество подобных обрядов институционализации, например экзамены. Вся работа системы образования может рассматриваться в качестве гигантского обряда институционализации, даже если она не сводится только к этому: школа передает и компетенции. Но имеющееся у нас представление о системе образования как месте распределения компетенций и дипломов, санкционирующих компетенцию, столь сильно, что нужна определенная смелость, чтобы напомнить, что это еще и место посвящения, в котором устанавливаются различия между посвященными и непосвященными, между отобранными и отсеянными. Эти различия относятся к порядку социальной магии, подобно различию между мужским и женским, и производятся конституционным актом — в философском смысле «конституирования» и в смысле конституционного права, — устанавливающим прочные, окончательные, неуничтожимые, порой непреодолимые различия, поскольку они вписаны в индивидуальные тела и поскольку социальный мир постоянно напоминает о них этим телам (например, робость крайне неравномерно распределена по классам и полам, и от нее не так-то легко избавиться).

Именно государство организует в наших обществах важные обряды институционализации, подобные акту посвящения в рыцари в феодальном обществе. В наших обществах тоже хватает обрядов посвящения: выдача дипломов, церемонии освящения здания, церкви... следовало бы поразмышлять над тем, что представляет собой такое освящение. Эту задачу я оставляю вам.

---

9. Bourdieu P. Les rites d'institution // Actes de la recherche en sciences sociales. 1982. No. 43. P. 58–63, переиздано в: *Idem*. Langage et pouvoir symbolique. P. 175–186. Здесь Бурдьё открыто критикует работу: ван Геннеп А. Обряды перехода. М.: Изд. «Восточная литература» РАН, 1999. См. примечание на с. 289.

За счет этих больших обрядов институционализации, помогающих воспроизводить социальные разделения, навязывающих и насаждающих принципы видения и социального деления, сообразно которым эти разделения организуются, государство создает и навязывает агентам категории их восприятия, которые, будучи усвоены в форме универсальных ментальных структур на уровне национального государства, согласуют действия агентов между собой и направляют их. Государство обладает инструментом создания условий для внутреннего мира, своего рода коллективного «признания-само-собой-разумеющимся», *taken-for-granted*, в масштабах всей страны. Здесь я следую неокантианской и дюркгеймианской традициям, без которых, как мне представляется, нельзя обойтись при обосновании самого существования символического и одновременно социального порядка. Один из примеров, которые я могу привести, — это календарь: когда несколько городов образуют федерацию, первое действие общественных агентов, священников — введение общего календаря, приведение к единообразию календарей мужчин, женщин, рабов и календарей других городов, что позволяет согласовать принципы деления времени. Календарь — символ образования социального порядка, который в то же время есть временной и когнитивный порядок, поскольку, чтобы внутреннее восприятие времени было согласованным, нужно, чтобы оно было упорядочено в соответствии с публичным временем. Образование государства совпадает с образованием общих временных ориентиров, категорий, составляющих фундаментальные оппозиции (день/ночь, часы работы официальных учреждений, период отпуска/период работы, каникулы и т. д.). Я вскоре покажу это на примере школьного расписания: вы увидите, что эти оппозиции, образующие объективный порядок, структурируют также и умы, которые принимают произвольные порядки за естественные.

Здесь я подхожу к вопросу о функции этого порядка. Если не уходить от неокантианской и дюркгеймианской точки зрения, то есть точки зрения социальной интеграции, [становится понятным то], что государ-

ство — инструмент социальной интеграции, которая при этом основана не только на аффективной солидарности, но и на интеграции ментальных структур как структур когнитивных и оценочных. На самом деле, чтобы осмыслить государственное господство, чего требует марксистская традиция, не то чтобы правильно его осмыслить, но хотя бы просто осмыслить, необходимо использовать традицию Дюркгейма, потому что у марксизма нет теоретических средств для осмысления государственного господства и, шире, господства как такового. Парадоксальным образом — здесь я перегну палку — марксизм не способен мыслить то, о чем постоянно твердит: чтобы понять это непосредственное подчинение, которое гораздо сильнее любого декларированного подчинения, понять это подчинение без акта подчинения, этот акт верности без присяги на верность, эту веру без символа веры, необходимо выйти за рамки инструменталистской логики, в которой в марксистской традиции принято осмыслять идеологию и в которой она воспринимается как продукт универсализации частного интереса господствующих классов, навязанного подвластными классам. (Можно вспомнить понятие ложного сознания, но в «ложном сознании» слишком много «сознания». Ничто так не разочаровывает, как марксистские дискуссии по поводу этих проблем, потому что они остаются в традиции философии классового сознания, подчинения как отношения отчуждения, основанного на своего рода неудавшемся политическом *cogito*.)

### Эффект согласованности символических систем государства

Итак, я сказал, что марксистская традиция не имела средств для того, чтобы до конца понять эффекты идеологии, о которых постоянно твердила. Чтобы пойти дальше, опираясь на социологизированную неокантианскую традицию, следует подключить традицию структуралистскую (здесь потребовалось бы слишком много времени, чтобы объяснить, в чем неокантианская традиция противоположна структуралистской).

Но чтобы передать суть различия между неокантианством и структурализмом, я возьму пример «Философии символических форм» Кассирера. Говоря о мифологии, он подчеркивает мифо-поэтическую функцию, то, что человек как деятель является творцом, генератором и производит мифологические представления, используя ментальные структуры, символические формы [которые выполняют структурирование]<sup>10</sup>. В свою очередь, структурализм совершенно не интересует активная сторона производства мифов, его интересует не *modus operandi*, а *opus operatum*\*. Он постулирует — и это вклад Соссюра, — что в языке, в мифе или обряде есть смысл, логика, согласованность. Эту согласованность нужно еще разглядеть, вычлениить и заменить «рапсодию восприятий», как говорил Кант, совокупностью черт, логически — следовало бы сказать *социо*-логически — связанных друг с другом; не будем забывать, что логика, свойственная символическим системам, — это не логика логики.

Структуралистская традиция представляется мне совершенно необходимой для того, чтобы пойти дальше генеративного понимания, предложенного неокантианцами, и увидеть одну из очень важных черт символических систем, а именно их согласованность [как структурирующих структур]. Я сказал, что у марксистов не было никаких средств для объяснения самого эффекта идеологии: дело в том, что к дюркгеймовскому аспекту нужно добавить структуралистский. Одна из сильных черт идеологий, в особенности идеологий рационального типа, таких, например, как рациональное право, обусловлена символической действительностью согласованности. Это может быть согласованность рационального или псевдорационального типа — примером выступают продукты исторической

---

10. Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 2.

\* Бурдьё обыгрывает термин «Opus operatum» (буквально «произведенное произведение», «совершенный акт»), обозначающий в учении католической церкви теорию, согласно которой таинства оказывают действие и на тех, кто недостойн их, не верит в них или принимает их пассивно. — *Примеч. пер.*

деятельности рациональных агентов процесса рационализации, в частности право. Напомнить о том, что символические системы — это не просто когнитивные формы, но еще и согласованные структуры, — значит найти средство для понимания одного из самых сокровенных, самых неуловимых аспектов символической действительности, то есть символического порядка государства, а именно эффекта согласованности, квазисистематичности, псевдосистематичности. Один из принципов символической действительности всего того, что производит государство — системы образования, правил дорожного движения, языковых правил, грамматики и т. д., — заключается в подобной согласованности или псевдосогласованности, в рациональности или псевдорациональности. Символические системы обладают структурирующей властью, потому что они сами структурированы, и обладают властью символического внушения, насаждения веры, потому что сами выстроены неслучайным образом.

Отправляясь от этого пункта, можно проследить ответвления, развивавшиеся во всех направлениях. Например, этнометодология, мода на которую сейчас наблюдается в Париже с отставанием от США на пятнадцать лет, как и неокантианская традиция, к которой, сама о том не подозревая, она принадлежит (этнометодология — наследница феноменологии и относится к конструктивистской традиции), связывает акт познания с уровнем индивидов. Она рассуждает о «социальном конструировании реальности» — это название знаменитой книги Питера Л. Бергера и Томаса Лукмана<sup>11</sup>. Говорят, что социальные агенты конструируют социальную реальность, что само по себе большой прогресс. Однако кто конструирует конструирующих? Кто дает этим конструкторам инструменты для конструирования? Здесь мы видим трудность теоретической работы. Если вы принадлежите к традиции, ставящей проблему государства, как правило, вы не читаете работы по

---

11. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М: Московский философский фонд, «Academia-Центр», «Медиум», 1995.



этнометодологии, вы занимаетесь макронаукой, планетарными проблемами. Однако, чтобы адекватно поставить проблему государства, нужно наладить коммуникацию между этнометодологами и людьми, ставящими проблемы планетарного масштаба — такими, как Валлерстайн<sup>12</sup>. А чтобы наладить между ними эту коммуникацию, нужно прийти до очень глубокого уровня осмысления, который можно назвать философским. И тогда мы увидим, что этнометодологи никогда не ставили вопрос о том, осуществляется ли государственное конструирование принципов конструирования, применяемых агентами к социальному миру. Это объяснимо, учитывая генезис их мысли. Подобно тому как феноменологи никогда не ставят вопроса об условиях докисического опыта мира, этнометодологи никогда не спрашивают себя, как получается, что агенты применяют к миру такие категории, благодаря которым мир кажется им само собой разумеющимся, а потому они упускают проблему генезиса этих категорий. (Когда ты начинающий философ, важно знать, чего ты лишаешься в силу своего философского высокомерия.) Итак, вопрос об условиях конституирования этих конституирующих принципов не ставится. И исходя из этой констатации, можно определить ограничения работ по этнометодологии, наиболее интересных с точки зрения проблемы, которую я ставлю. Что отнюдь не мешает мне читать работы по этнометодологии и находить в них замечательные вещи. Например, работы Сикуре-ла об административных регламентах, о том, что такое административный бланк для заполнения<sup>13</sup>, — работы совершенно замечательные, потому что делают банальное небанальным. Но, на мой взгляд, он останавливается на полпути, не ставя вопрос, который поставил я...

---

12. Валлерстайн И. Мир-система Модерна. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2015–2016.

13. См., среди прочего: Cicourel A. La Sociologie cognitive / J. et M. Olson (trad.). Paris: PUF, 1979 [1974]. Также отсылаем к французскому переводу статей, вышедших в сборнике под редакцией Пьера Бурдьё и Ива Винкена: Bourdieu P., Winkin Y. (dir.) Aaron Cicourel, Le Raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Paris: Seuil, 2002.

## Построение государства: школьное расписание

Существование символического порядка и социального порядка вместе с эффектами господства, которые осуществляются через насаждение этого символического порядка, можно понять только при условии обращения к неокантианской и в то же время к структуралистской традиции, необходимого, чтобы объяснить тот факт, что когнитивные структуры, которые мы применяем к социальному миру и которые к нему приспособлены, являются одновременно и конструктивными, и согласованными, наделенными исторической согласованностью, связанной с определенной государственной традицией.

В качестве подсказки я хотел бы представить вам исследование эффектов школьного расписания, проведенное психологом Анико Юсти<sup>14</sup>. Взяв за отправную точку своего эксперимента, одновременно научного и практического, школьное расписание и его деление на часы и уроки, она была поражена тем, насколько произвольным было это деление. Как случилось, что независимо от предмета и уровня образования, повсюду, от начальной школы до университета, встречается именно такое деление? Во-вторых, почему это деление было принято столь единодушно? Когда этот вопрос задают преподавателям и учащимся, выясняется, что они считают его совершенно естественным и что сама идея о том, что всё может быть по-другому, кажется им немыслимой. Но как игнорировать все те ограничения и фрустрации, которые порождает расписание? Психологи говорят об «эффекте Зейгарник»<sup>15</sup>, чтобы обозначить фрустрацию, которую испытывают люди, когда прерывается деятельность, которой они хотели бы продолжить заниматься. Расписание неизбежно постоянно создает эффекты Зейгарник: люди что-то делают,

---

14. *Husti A. Le Temps mobile. Paris: INRP, 1985.*

15. По имени психолога Блюмы Зейгарник (1900–1988), которая указала на напряжение, которое вызывает у ребенка тот факт, что он не завершил порученное ему задание.

начинают разогреваться, думать, и тут эта их деятельность прерывается, и они должны переходить к чему-то другому, от философии — к географии и т. д. Еще один эффект, который остаётся совершенно незамеченным: ограничения, связанные с делением на часы, делают невозможным ряд занятий, слишком коротких или слишком длинных, так что они исчезают из расписания, причем фактически совершенно незаметно для лишившихся их людей, не почувствовавших никаких лишений. Существует также немало оправдательных дискурсов: например, говорят, что час — это максимальная длительность внимания у детей. Это теория, основанная на неточной бытовой психологии...

У школьного порядка есть и политические основы. Власть директора проявляется в манипулировании временем преподавателей: у старых учителей может быть хорошее расписание, молодым преподавателям достается рваное расписание с окнами, которых все стремятся избежать. У преподавателей масса интересов: например, у них есть заранее приготовленные уроки, на час. Открывается множество вещей, например, согласие с каким-то рутинным порядком действий, сила которого обусловлена тем, что он не ставится под сомнение. Как только вводится «мобильное время», как его называет Анико Юсти — были проведены эксперименты (естественно, с согласия директоров, которых не так-то легко обратить в свою веру), — выясняется, что учителям приходится договариваться друг с другом, чтобы создавать периоды по два-три часа, что налаживается необходимая коммуникация; выясняется, что это пресловутое ограничение одним часом было совершенно произвольным. Юсти опрашивала детей, которые после трех часов математики говорили: «Я никак не мог остановиться...» Задания организуются иначе; учитель читает свою лекцию на двадцать минут, подключает учеников, дает упражнения, снова кратко излагает тему; меняется вся структура преподавания, и, как только исчезают тиски, обнаруживается свобода. Учителя открывают свободу, которую им это дает, например, по отношению к директору, притом что учителя, хотя они все и прогрессисты, всегда противятся любым изменениям...

Они открывают для себя свободу от директора, они освобождаются из тисков урока, этой монологической речи, которую так трудно держать.

Это пример данности, о которой нельзя сказать, что ее принцип обусловлен чем-то еще, кроме государственной регламентации, поскольку можно описать ее исторический генезис. Когда трем основным учителям дают по три часа в одно и то же время (математика, французский, история), ученики могут выбрать, на какой предмет пойти, в зависимости от того, в чем они видят свои сильные и слабые стороны. Это организационное воображение. Эта маленькая символическая революция — нечто совершенно необыкновенное, и, как справедливо указывает Анико Юсти, все реформы, направленные на изменение содержания и не ставящие перед собой предварительной цели изменить сами эти темпоральные структуры, обречены на провал. Иначе говоря, есть своего рода бессознательное, являющееся одним из самых мощных факторов инерции. Вы понимаете теперь, что, когда я вначале цитировал Юма, это были не домыслы. Образовательная система, которую постоянно ставят под сомнение, которая непрестанно сама себе задает вопросы, в фундаментальном смысле полностью защищена от сомнений, в основном благодаря самим учителям и ученикам. Не зная никакой другой образовательной системы, кроме той, в которой они существуют, они воспроизводят ее суть, сами о том не подозревая: это то, что они сами претерпевают, не зная, что они это претерпевают. Конечно же, если они хотя бы три минуты посмотрели на иную образовательную систему, они бы сразу увидели всё то, чего лишаются. Самое удивительное в том, что лишения воспроизводятся людьми по их собственному желанию. Это относится к учителям, но также это относится и к рабочему классу, и ко многим другим категориям.

### Производители доксы

Мы видим, что привлечение к анализу господства неокантианского и дюркгеймианского образа мысли позволяет понять одну совершенно фундаментальную

вещь: номос, принцип видения и разделения мира, насаждается как нечто непреложное, не ограничиваясь рамками какого бы то ни было договора. Всё, что я сейчас говорю, представляет собой абсолютную антитезу всем теориям общественного договора. Самые надежные договоры — это договоры молчаливые, бессознательные. Дюркгейм говорил: «В договоре не все договорно»<sup>16</sup> (и для своего времени это очень неплохой тезис), то есть самое главное часто остается за рамками договора. Но нужно пойти дальше: лучшие договоры — те, которые не подписываются, не воспринимаются в качестве договоров. Социальный порядок зиждется на номосе, который бессознательно ратифицирует таким образом, что основную работу проделывает инкорпорированное принуждение. По сравнению с Марксом заслуга Вебера в том, что он поставил юмовский вопрос: как получается, что правители правят? Он ссылается на признание легитимности, — это понятие было задано Вебером социологически. В той перспективе, которую я разрабатываю, признание легитимности — акт познания, который не является собственно познанием: это акт доксического подчинения социальному порядку.

Практике всегда противопоставляется знание, логика или теория. Есть акты познания, не являющиеся когнитивными актами в том смысле, в каком их принято понимать. Взять чувство игры: футболист ежесекундно производит когнитивные акты, но это не акты познания — в том смысле, в каком их принято понимать в теории познания. Это акты телесного, инфрасознательного, инфралингвистического познания: именно от таких актов познания нужно отталкиваться, что понять признание социального порядка, порядка государства. Именно соответствие между этими инкорпорированными когнитивными структурами, полностью ушедшими в бессознательное — например, расписанием, — и объективными структурами становится истинным основанием консенсуса по поводу смысла мира, веры, мнения, доксы, консенсуса, о котором говорил Юм.

---

16. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. С. 199.

Тем не менее нельзя забывать, что такая докса — это ортодоксия. Именно поэтому важен анализ государства: то, что стало сегодня доксой — расписание, правила дорожного движения и т. д., — раньше нередко было продуктом борьбы. Докса установилась в результате борьбы между властвующими и подвластными, в ходе борьбы с оппозицией, таков, например, случай налогов, о котором я буду говорить далее. Всё, что играет в государстве конститутивную роль и воспринимается сегодня как нечто само собой разумеющееся, было результатом борьбы, всё приходилось завоевывать. Ибо сила исторического развития такова, что побочные возможности не просто отбрасываются и забываются, они проваливаются в бессознательное. Достоинство анализа исторического генезиса государства как образующего принципа категорий, получивших универсальное распространение в его юрисдикции, состоит в том, что он позволяет понять как доксическое принятие государства, так и то, что эта докса является ортодоксией, что она представляет собой частную точку зрения, точку зрения властвующих, тех, кто господствует в силу того, что господствует над государством, тех, кто, возможно, не ставя перед собой такой цели, способствовал образованию государства, чтобы иметь возможность господствовать.

Это подводит нас к другой ветви теоретической традиции, к веберовской традиции. Вебер внес решающий вклад в изучение проблемы легитимности. Но докса — это не признание легитимности, это протолегитимность. С одной стороны, Вебер подчеркивал то, что все символические системы — он так их не называл, потому что интересовался не символическими системами с их внутренней логикой, в отличие от структуралистов, а символическими агентами, преимущественно религиозными, — должны быть соотнесены с [позицией] их производителей, то есть с тем, что я называю религиозным полем, — которое он тоже так не называл, что указывает на ограниченность его анализа<sup>17</sup>.

---

17. О понятии религиозного поля у Бурдьё см.: *Bourdieu P. Une interprétation de la théorie de la religion selon Max Weber. Бурдьё П. Генезис и структура поля религии // Социальное*

Его заслуга была в том, что он показал, что религиозных, юридических, культурных агентов — в частности писателей — надо обязательно принимать во внимание, если мы хотим понять религию, право, литературу. Хотя в марксистской традиции всегда можно найти тексты [идущие в этом направлении] — например, текст Энгельса, в котором он говорит, что нельзя забывать о корпусе юристов, если хочешь понять право<sup>18</sup>, — эта традиция всё равно бессознательно устраняла, обходила молчанием существование специфических агентов производства и специфических производящих миров, миров и агентов, о которых всегда нужно помнить и чью автономную логику функционирования нужно понимать, если требуется понять символические феномены. Скажу это проще: вклад Вебера, среди прочего, заключался в том, что он напомнил о том, что, если мы хотим понять религию, недостаточно изучать символические формы религиозного типа, структуру религии или мифологии, имманентную *opus operatum*, нужно задаться вопросом о том, кто эти *мифотворцы* [создатели мифа]. Как они формируются, каковы их интересы, в каком пространстве конкуренции они действуют, как борются между собой, при помощи какого оружия пророк отлучает, а священник канонизирует хорошего пророка и отлучает остальных? Чтобы понять символические системы, необходимо понять системы агентов, которые ведут борьбу вокруг этих символических систем.

То же самое относится к государству: чтобы понять государство, необходимо видеть, что у него есть символическая функция. Чтобы понять это символическое измерение эффекта государства, необходимо понимать логику функционирования мира агентов государства, которые производят дискурс государства — легистов,

---

пространство: поля и практики. С. 7–74; а также два связанных друг с другом текста: *Он же*. Социология веры и верования социологов; Разложение религиозного // Начала. С. 133–140; 147–155.

18. Энгельс Ф. Письмо Конраду Шмидту от 27 октября 1890 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. М.: Изд-во политической литературы, 1965. Т. 37. С. 414–421.

юристов, — понимать, какие у них были общие с другими агентами интересы, а также какие специфические интересы были у них в зависимости от их положения в пространстве борьбы друг с другом — например, у дворянства мантии в сравнении с дворянством шпаги.

Для полноты картины, для того чтобы объяснить эффекты рациональности, следовало бы также разобратся, почему эти люди оказались заинтересованы в том, чтобы придать универсальную форму частному выражению своих интересов. Почему юристы, легисты создали теории государственной службы, государственного порядка, государства, несводимого к династии, теории Республики, трансцендентной по отношению к социальным агентам, являющимся в какой-то определенной момент ее воплощением, пусть даже речь идет о короле, и т. д.? Какая у них была в этом заинтересованность и какова была логика их функционирования, их отбора, получения ими привилегий, капитала — в частности римского права — и т. д.? Поняв всё это, можно будет понять, как, создавая «идеологию» (слово, которое мало о чем говорит), оправдывающую их положение, они построили государство, мысль государства, образ публичной мысли; и этот образ публичной мысли находил соответствие в их образе частной мысли, отвечал их частным интересам до какого-то момента, обладал особой силой именно потому, что был публичным, республиканским, имел универсалистскую окраску<sup>19</sup>.

---

19. *Bourdieu P. La Noblesse d'État. P. 539–548.*





## Лекция 14 февраля 1991 года

*Социология, эзотерическая наука, кажущаяся экзотерической. — Профессионалы и профаны. — Государство структурирует социальный порядок. — Докса, ортодоксия, гетеродоксия. — Превращение частного в публичное: появление в Европе современного государства.*

### Социология, эзотерическая наука, кажущаяся экзотерической

**Я** ХОТЕЛ бы совсем вкратце напомнить — я делаю это иногда, когда чувствую в этом субъективную потребность, — о проблеме устного преподавания социологии, которая встает и в целом, и передо мной в данной конкретной ситуации. Я упоминаю об этом вопросе, потому что считаю, что он упростит коммуникацию. Анализ, который я хочу вам предложить, — это не взятый с потолка метадискурс; я полагаю, что он может оказать практическое воздействие на то, как вы слушаете, и позволит вам понять трудности, которые я испытываю, пытаясь сказать то, о чем сейчас говорю...

Я часто подчеркивал, что социология сталкивается с проблемой, характерной для неё одной: больше, чем какая-либо другая наука, она ставит проблемы, которые, как говорится, касаются всех и о которых все, считается, осведомлены и могут судить. Это совершенно эзотерическая наука, замкнутая, как и любая другая, на своей проблематике, на результатах, накопленных с течением времени, которая, однако, имеет вид экзотерической науки. Что позволяет вести всевозможные двойные игры: например, люди, называющие себя социологами, принимают эзотерический вид, тогда как они экзотеричны, вследствие чего исследователи, которые по-настоящему эзотеричны даже тогда, когда создают видимость экзотеричности (что требуется в случае преподавания), могут быть приняты за людей, которые, хотя они на самом деле экзотеричны, пытаются казаться эзотеричными, чтобы иметь более научно-образный вид. Это фундаментальная проблема, с которой социолог должен считаться. Журналисты легко

признают даже за самым ничтожным из социологов право на жаргон, единственной функцией которого в большинстве случаев является демонстрация дистанции и символического капитала, и при этом отказывают в этом праве [понятиям], без которых невозможен научный прогресс, потому что они необходимы для накопления результатов.

Эти проблемы особенно заметны в моей последней лекции, где я пытался, возможно, в несколько пугающей манере, совместить теоретические традиции, которые никогда не связывали друг с другом, а если и пытались совмещать, то, насколько мне известно, только по социальным причинам. Соединяя социологически несовместимые традиции и показывая, что вносит каждая из них, я делал нечто крайне эзотерическое. Когда я говорил, что этнометодология не ставила вопрос о том, кто конструирует конструирующих, думаю, этот тезис для некоторых из вас был совершенно лишен смысла, хотя о нем можно было бы часами вести научные дискуссии, в частности, с самими этнометодологами. Почему я считаю себя обязанным это сказать? Не для того, чтобы восстановить различия, которые я, порой ценой тяжелых усилий, пытаюсь преодолеть, но чтобы сломить у тех, кого я вслед за Паскалем называю полуучеными <demi-habiles>, сопротивление, которое могло бы лишить их полного понимания того, что я пытаюсь им дать.

(В курсах, подобных этому, трудность, с которой сталкиваются все преподаватели Коллеж де Франс, обусловлена крайней разнородностью аудитории. Логика образовательной системы структурирует не только время, но и возрасты; школьная система приучает нас к классам, разделяющимся по возрасту, а через них и к категориям памяти. Прекрасная книга Мориса Хальбвакса «Социальные рамки памяти» показывает, что наша память в значительной части структурирована школьной программой: «Это было в те времена, когда я ходил в шестой класс с таким-то...» Образовательная система структурирует не только нашу темпоральность, но и нашу память, а также, как правило, структурирует аудиторию. Человек, обращающийся к определен-

ной аудитории учащихся, знает, с кем имеет дело: даже если внутри класса есть определенный разброс, он принимает радикальный характер только в случае публики, которую без обид можно было бы назвать «сборной солянкой». Эта публика, очевидно, сама подбирается по тем же принципам отбора, которые можно наблюдать на входе в музей или в художественные галереи... Но даже в этом случае, если мы имеем дело со специализированным дискурсом, мы обязаны осознавать эту разнородность в плане той специфической компетенции, которая может задействоваться в рецепции дискурса, претендующего на научность.

Я очень сильно ощущаю эту разнородность, и работа над манерой речи, которую я пытаюсь проделать — именно поэтому я не читаю этот курс по бумажке, хотя он у меня есть в написанном виде, — связана отчасти с тем, что, как мне кажется, я вижу знаки, которые могут мне помочь... В устной речи, в отличие от письменной, есть одна особенность — она произносится в присутствии публики. Я могу здесь сослаться на важную модель, которая произвела революцию в понимании гомеровской поэзии, на идею о том, что устные поэты выступали перед публикой; они пользовались схемами импровизации — нельзя просто так импровизировать — и импровизировали в условии той специфической цензуры, которую создает присутствие публики, стоящей перед вами. Недавние работы эллиниста Жана Боллака о досократических поэтах<sup>1</sup>, другие работы о поэтах в традиционных обществах, мой диалог с Мулудом Маммери, крупным кабийским писателем<sup>2</sup>, показали мне, что в обществах, в которых произведения культуры передаются устно, поэты, творцы умеют играть с разной публикой. Они умеют держать речи одновременно эзотерические и экзотерические.

Например, существует отдельное пространство берберских поэтов, своего рода профессиональные школы: в кузнице люди учились слагать стихи... Я не говорю,

---

1. *Bollack J. Empédocle. Paris, 1965–1969.*

2. *Bourdieu P., Mammeri M. Dialogue sur la poésie orale en Kabylie // Actes ... 1978.*

что есть поле берберских поэтов, но у них были поэтические конкурсы, своеобразные экзамены. Эти поэты, которые были полупрофессионалами, большую часть времени посвящали сочинению стихов, умели говорить и с равными себе, с несколькими посвященными слушателями, и с обычными людьми, которые могли понять, о чем они говорят. Приведу пример, взятый у Жана Боллака: Эмпедокл играл со словом *phos*, которое по-гречески обычно, для простых смертных, говоривших на греческом языке, означало «свет», но в некоторых особых случаях могло означать «смертного», то есть стихи благодаря этому слову приобретали двойной смысл. Досократические поэты использовали весьма изощренную технику, которая наделяла, как говорил Малларме, которого я уже цитировал, «более чистым смыслом слова племени», она брала выражения, пословицы, готовые фразы из обычного языка, внося в них минимальные изменения, которые могли [скрываться] просто в интонации, — поэтому, когда мы читаем эти стихи сегодня, очень трудно их заметить, если мы не знаем, что они там есть. Эллинисты не ставят себе вопросы такого рода. Поэтам удавалось через голову обычного слушателя говорить с равными себе при помощи полисемического, почти полифонического языка — своего рода музыкальных аккордов, простых или более редких.

Я тоже пытаюсь так говорить. Конечно, поэзия подходит для этого больше научного дискурса. Работа, которую я пытаюсь провести, субъективно порой кажется крайне неблагоприятной, поскольку требует больших усилий и поскольку я постоянно ощущаю, что впустую трачу силы, как с точки зрения тех, у кого меньше всего предварительных знаний о социологии и для кого я не могу подобрать хороший пример, который им бы сразу всё объяснил, так и с точки зрения тех, кто думает, что я все время твержу одно и то же и мог бы говорить в сто раз быстрее... Я хотел найти оправдание этому чувству своего и вашего разочарования, пытаюсь донести до вас, что именно я хочу сделать: я стараюсь говорить о таких вещах всякий раз, когда о них задумываюсь, а ведь я мог бы о них и не подумать, потому что,

когда погружаешься в какую-то проблематику, перестаешь чувствовать, что она достаточно условна, начинаешь излагать как нечто само собой разумеющееся то, что может показаться очень необычным тем, кто к этому не подготовлен...)

## Профессионалы и профаны

Я вкратце напомню вам об эффектах рецепции, которые производит этот полисемический язык. Худшие я убрал, я не мазохист... Прежде всего, профаны. Слово «профан», говорящее само за себя, пришло из религиозного языка и обозначает того, кто не принадлежит к полю, не является посвященным, не изучил присущую ему проблематику, то есть историю этой проблематики, кто не знает, что Дюркгейм был против Тарда и Спенсера и т. д., кто не имеет этих исторических предпосылок, действующих в мире профессионалов, в силу которых они считают интересной ту проблему, которая совершенно не кажется таковой непрофессионалам. Один из главных эффектов научного поля — определять вещи, которые в какой-то момент становятся интересными, то есть определять то, что именно нужно искать и находить. Профан говорит себе: с чего это он придает такую важность проблеме государства? Если профан сам и придает ей какое-то значение, то лишь потому, что о ней, к примеру, пишут в газетах, или потому, что идет реформа. И, очевидно, множество полусоциологов, тех, кто больше всего производят фиктивных эзотерических эффектов, начинают интересоваться проблемами только тогда, когда ими начинают интересоваться все. Например, я недавно говорил с руководителем проекта из Во-ан-Велэн<sup>3</sup>, который сказал

---

3. За полгода до этого, когда из-за полицейского кордона в Во-ан-Велэн, пригороде Лиона, погиб мотоциклист, в этом местечке начались стычки между молодежью и силами правопорядка. П. Бурдьё начал исследование, которое позднее было опубликовано под названием «Нищета мира» (*La Misère du monde*. Op. cit.) и в котором представлено интервью, на которое он ссылается: «Миссия невозможна» («Une mission impossible», p. 229–244).

мне, что в город приехало много политиков и социологов, заинтересовавшихся им, потому что к нему проявила интерес пресса, а следовательно, о нем стало интересно рассуждать в разных медиа. То же самое с майскими событиями 1968-го: сразу после этих событий о них вышло много книг. Я потратил десять лет на написание работы о Мае 68-го, который уже потерял в этом времени актуальность и перестал приносить выгоды, которые дает непосредственный интерес<sup>4</sup>. Если я скажу вам: «По моему мнению, это не социолог», вы ответите: «Это произвол, так ведет себя только цензор, который хочет отличаться». Я дам вам очень важные критерии. Профессиональный социолог — тот, кто считает интересными проблемы, которые в какой-то момент научное поле конституирует в качестве интересных и которые порой совпадают с теми проблемами, которыми интересуются все, но отнюдь не всегда.

То, что верно для проблематики, верно и для метода. Профессионал — тот, кто ставит перед собой определенные проблемы, связанные с накопленной историей, и кто стремится решать их определенными методами, которые тоже представляют собой продукт накопленной истории. Профаны, берущиеся судить о работах профессионалов, — что сплошь и рядом происходит в газетах, при этом хуже всех полуученые, которые вдвойне профаны, — судят о них по профанным критериям, чтобы легитимировать себя как псевдопрофессионалов, то есть действительно профанов. На что смотрят профаны в научной работе, в особенности в социальных науках? В психологии ставки не так высоки. Другим наукам повезло больше, потому что большинство людей не знает, что делать с их результатами, по крайней мере в ближайшее время, — то, что происходит в лабораториях Коллеж де Франс может взволновать толпу разве что случайно. Социолог же постоянно становится объектом непосредственного суждения, поскольку то, о чем он говорит, само по себе оказывается важным большинству людей. Большинство, к которому принадлежат и журналисты, даже не сознают, что они профана-

---

4. Bourdieu P. Homo academicus. P. 234 sq.

ны в этом предмете; лучшие — те, кто знают пределы своих возможностей. Профаны смотрят на результаты. Они сводят научную работу к тезисам, к занятым позициям, которые могут обсуждаться, являются таким же предметом мнения, как вкус или цвет, о которых все могут судить, пользуясь обычными инструментами обычного дискурса: по отношению к научной работе позиции занимают точно так же, как и по отношению к войне в Заливе, с учетом разделения на левых и правых, и т. д., притом что, на самом деле, важны проблематика и методы, результат в лучшем случае имеет второстепенное значение. С точки зрения научной дискуссии интереснее, как именно он был получен: каким образом ученый пришел к этому результату? Как он проводил свое исследование?

Приведу пример из области социальных наук, но максимально далекий от политики: недавние споры о творчестве Жоржа Дюмезиля. Эти дебаты были очень некстати затеяны итальянским историком Карло Гинзбургом, который подхватил факел из рук великого историка Арнальдо Момильяно. Они касаются отношений работ Дюмезиля и нацизма, фашистских символов<sup>5</sup>. Обвинения, выдвигавшиеся противниками Дюмезиля, время от времени воспроизводятся заново без учета условий, в которых велась эта работа, и без обращения к откликам, которые она вызвала. Речь идет об индоевропейской триаде<sup>6</sup>. Сам принцип ошибки, несправедливости такого рода обвинений в том, что обвинители делают вид, будто, когда Дюмезиль писал о «Митре-Варуне»<sup>7</sup>, он находился в политическом

---

5. *Momigliano A.* Premesse per una discussione su Georges Dumézil // *Opus II*, 1983; *Ginzburg C.* Mythologie germanique et nazisme. Sur un livre ancien de Georges Dumézil // *Annales ESC*. 1985. No. 4. P. 695–715; *Dumézil G.* Science et politique. Réponse à Carlo Ginzburg // *Annales ESC*. 1985. No. 5. P. 985–989; *Гинзбург К.* Германская мифология и нацизм // *Мифы-эмблемы-приметы*. М.: Новое издательство, 2004. С. 242–274.

6. *Dumézil G.* Mythe et épopée. T. I: L'idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens. Paris: Gallimard, 1968; переиздано в: Gallimard, Quarto, 1995.

7. *Dumézil G.* Mitra-Varuna. Essai sur deux représentations indo-européennes de la Souveraineté. Paris: PUF, 1940.



пространстве, занимал позицию по вопросам, по которым в то время высказывались Даладье, Чемберлен или Риббентроп. На самом деле он работал в русле относительно автономной истории относительно автономного поля: он думал о Силвэне Леви, Эмиле Бенвенисте, о специалистах, которые в строго научных категориях, в строго научной логике ставили вопросы происхождения и единства языков и т. д. В этом случае ученых можно упрекнуть в том, что, говоря о проблемах такого рода, они не задумались о том, что другие могут думать о них иначе: это частая ошибка ученых, замкнутых в своем поле. В эзотерической проблематике поля ошибка состоит в следующем: ученые забывают о том, что наивные люди могут всё это истолковать иначе. Внимание к этой проблеме сильно усложняет жизнь: тексты усеиваются кавычками, отступлениями в скобках, а потом нас упрекают, что их невозможно читать...

Ошибка любого ученого в том, что он живет в башне из слоновой кости — в автономной логике поля, которое само по себе, аутотетическим образом, развивает свои собственные проблемы — а когда сталкивается с проблемами своего времени, происходит это совершенно случайно. Поэтому творится, по существу, несправедливость. Я здесь ставлю в упрек Гинзбургу или Момильяно, в любом случае выдающимся ученым, то, что они игнорируют специфическую проблематику, чтобы тем не менее получить символические прибыли именно в научном поле: это позволяет дискредитировать соперников... Момильяно десять лет боролся с Дюмезилем и так и не сумел его побороть, но достаточно было ему сказать: «Осторожно! Дюмезиль в некотором смысле нацист», чтобы поставить под сомнение его труды. Что делают, когда читают ученого так, будто он не включен в специфическую историю накопления проблем, тезисов, методов? Дюмезиля читают так же, как философа с телевидения, Режи Дебре, например, и всех остальных, кто на прошлой неделе разглагольствовал о проблемах войны в Заливе, то есть как людей, говорящих о демократии, обо всех тех проблемах, о которых говорят в прессе, но говорят о них так, как принято там говорить, то есть не производя [эпистемологического] разрыва,

целой серии разрывов. Прежде чем начать выдвигать некоторые позитивные положения, я много лет занимался тем, что называю «негативной социологией», разрывом с предпонятиями, и делалось это не ради удовольствия: было бы слишком просто сразу же представить результаты...

Профанам также угрожает опасность излишней доверчивости. Если мое предприятие увенчалось успехом, они могут счесть его совершенно естественным и порой спрашивают себя, почему я лезу из кожи вон, чтобы поставить проблемы, которые им после того, как я их сформулировал, кажутся очень простыми. Они поспешно приписывают мне ряд тезисов, которые не выстроены в качестве тезисов. Если мне удастся найти хороший пример, хороший аналог, «фишку», которую поймет каждый (я выбрал в качестве примера именно школьное расписание, потому что думаю, что большая часть слушателей когда-то были либо учителями, либо учениками), если я найду такую удачную фишку, они скажут: «Не такие уж абстрактные вещи он нам говорит, это все не просто домыслы — Кант, Дюркгейм, Кассирер — это касается непосредственных вещей», и я смогу их убедить. Означает ли это, что они получили доступ к знанию, которое я пытался им передать? Я бы сказал, что нет. Сказать «да» было бы демагогией, поскольку они не овладели принципами, порождающими проблемы, хотя я и пытался снабдить их кое-какими основами для этого. Что не означает, что данное знание не представляет никакого интереса.

Эта опасность парадоксальным образом является эффектом самоочевидности. Сказав, что я собираюсь разоблачить самоочевидность, я произвожу еще один эффект самоочевидности, эффект естественности, который тоже, в свою очередь, может быть воспринят как докса. У полуученых, которые немного знакомы с социологией (сожалею, что я должен так говорить, но, в конце концов, иногда нужно говорить грубо), которые читали некоторые книги по социологии, написанные мною или другими, скорее всего, мною, раз уж они здесь присутствуют, может сложиться впечатление, что они это уже слышали, что это им знакомо, известно...

Между тем, например, на прошлой неделе, входя в аудиторию, я не знал, что буду говорить то, что сказал. Не знаю, где они могли это прочесть, — и не то чтобы в данном случае я защищал собственную оригинальность.

Чувство уже виденного и уже познанного, которое я не осуждаю, но выявляю, — это защита от усилия мысли, которое нужно приложить в любой науке и в особенности в социологии, чтобы быть на высоте достижений мысли прошлого. Когда социологам удавалось быть на высоте достижений всех предшествующих социологов, это были выдающиеся социологи; но лишь немногие из них могут быть на этой высоте. Эта невосприимчивость, характерная для полуученых, приводит к ужасным последствиям — она предохраняет их от встречи со знанием, которое не боится рисковать, подставляет себя под удар.

Полуученые тоже испытывают чувство естественности, как и профаны. Я подкрепляю эту иллюзию, сознательно отказываясь от притязаний на профессиональное отличие. Если я говорил о доксе, вы, возможно, подумали о дисциплине, решили, что это отличие от Фуко. Мне не нравится эта мелкая игра, потому что, если играть в нее по-настоящему, потребовалось бы очень много времени для того, чтобы отдать должное людям, с которыми ты расходишься, с которыми себя соотносишь, когда размышляешь. Мне пришлось бы, читая лекцию, всё время уточнять, что, если я говорю о доксе, я помещаю себя в такую-то теоретическую традицию, если говорю о легитимности — то не в смысле Хабермаса. Но я не люблю в безапелляционной форме делать авторитетные заявления о моем отличии. Да и средств у меня для этого нет, разве что я могу это делать время от времени, как в случае Элиаса, в совершенно дидактическом ключе. Если бы у меня был курс на тысячу часов в год — не дай бог! — я бы мог углубиться в эзотерику...

Остаются ученые *<habiles>*\*: я собираюсь им польстить, надеюсь, что каждый увидит в себе такого ученого...

---

\* Здесь и далее Бурдьё, говоря об ученых в смысле «habiles», обыгрывает выражение Паскаля. — *Примеч. пер.*

Ученые, те, кто прочел статью, от которой я отталкивался, поняли, что я прошелся по всем тем пунктам, которые я в ней затрагивал, но скорее по спирали, чем по горизонтали. Мне вспоминается очень претенциозная метафора, которую использует Пруст, описывая свою манеру писать романы: есть люди, подобные автомобилям, чья энергия разворачивается по горизонтали, и люди, подобные самолетам, чья энергия разворачивается по вертикали. Говоря об этом тексте, я прошелся по всем этим пространствам, но смотрел на них из перспективы, которая была мне совершенно незнакома, когда я его писал. В начале курса я сказал, что, когда писал статью «О символической власти», я не знал, что, по сути дела, говорю о государстве. Знание о том, что я, сам того не ведая, говорил о государстве, позволяет мне сказать и о нем, и о том, что я сумел узнать, вещи, которых не было в исходной статье. Конечно, если бы я не написал эту статью, я не мог бы говорить о государстве так, как говорю о нем сегодня. Ученые получают удовольствие не только от наблюдения за несколько более удовлетворительной проработкой понятий, но прежде всего от выявления схем мышления, исследовательских гипотез. Люди, занимающиеся исследованиями такого же рода, что и я, выходят из этой аудитории не с «сюжетами» и не с идеями, а со схемами мысли, программами исследований и действий. (Простите мне эту апологию и одновременно иллюстрацию того, чем я занимаюсь, своего рода самовосхваление, но я должен был это сказать, потому что после недавних лекций испытывал немалое беспокойство.)

### Государство структурирует социальный порядок

Очень коротко, для ученых, которым знакомы инструменты, с которыми я работаю, одна из связей, которые я установил, готовясь к последней лекции, и которой не видел раньше, — это связь между государством и обрядом институционализации, понятием, которое я разрабатывал несколько лет назад, полемизируя с понятием

обряда перехода у Вана Геннепа<sup>8</sup>. То есть оно должно располагаться в поле, а не использоваться для поиска отличия. Ван Геннеп под видом конструирования научного понятия, которое позднее было принято повсеместно, поддерживает идею, принадлежащую здравому смыслу: переход от юности к старости... Некоторые понятия обязаны своим успехом именно тому, что не создают никакого [эпистемологического] разрыва: чтобы сделать это понятие научно значимым, я заменил его понятием обряда институционализации. За образец я взял обрезание, показав, что самое главное в обряде институционализации — создать различие не между до и после, но между теми, кто прошел этот обряд, и теми, кто его не проходил. Мое определение этого обряда отсылает к обрядам, свойственным традиционным обществам.

После этого, изучая систему образования, я постепенно открыл, что она, возможно, является огромным обрядом институционализации и что можно рассматривать этапы школьной программы в качестве этапов программы инициации, в которой иницилируемый, как в легендах и мифах об инициации, посвящается во все более глубокие истины, пока не доходит до конечной стадии посвящения, получая по ее завершении символ своей избранности, каковым является диплом об образовании. С одной стороны, обряды институционализации, система образования, производящая обряды посвящения. С другой — государство, которое приводит в действие эту систему. Я говорю себе: государство, организуя систему образования и все обряды институционализации, через нее совершаемые, учреждает крайне важные обряды институционализации, которые структурируют не только социальные иерархии (агрегированный/не агрегированный, выпускник/не выпускник Национальной школы управления), о которых мы можем прочесть в учебниках по социологии образования, но также и ментальные структуры, благодаря которым эти социальные структуры и иерархии воспринимаются. Система образования институционализирует

---

8. Bourdieu P. Les rites d'institution // Actes... 1982.

не только людей, объективно выстроенных в иерархию, не только объективные разделения в мире труда, легитимное разделение труда, но в то же самое время институциализирует умы, подчиняющиеся действию этих принципов видения и деления, соответствующих этим объективным разделениям. Государство помогает производить иерархии и в то же время принципы иерархизации, отвечающие этим иерархиям. Среди этих принципов иерархизации: «социальные рамки памяти», система ценностей, иерархия дисциплин, жанров.

Итак, государство — это не просто инстанция, которая легитимирует установленный порядок такими действиями, как «пропаганда». Государство — не просто инстанция, которая говорит: социальный порядок устроен только так и не иначе. Оно не просто универсализация частного интереса властвующих, которой удастся навязать себя подвластным (ортодоксальное марксистское определение). Оно представляет собой инстанцию, которая конституирует социальный мир в соответствии с определенными структурами. Следовало бы сыграть на понятии конституирования. Оппозиции, которые производит государство, — это не надстройка: вот еще одно слово, которое следовало бы выбросить из языка, со всей этой архитектурной метафорикой надстройки, инфраструктуры, этажей общества как дома, в котором есть подвал, чердак и т. д. (Это своего рода психоанализ, нужный, чтоб приукрасить вещи; то, что я делаю в шутку, Башляр бы назвал психоанализом научной мысли<sup>9</sup>.) Государство — не просто производитель дискурсов легитимации. Когда мы думаем о «легитимности», мы думаем о «дискурсах легитимации». Государство и те, кто посредством него управляют, оправдывают свое господство не через пропагандистский дискурс, всё гораздо сложнее.

Государство структурирует сам социальный порядок: расписание, бюджет времени, наши дела на день, вся наша жизнь структурированы государством — и одновременно наша мысль. Такого рода государственная мысль — не метадискурс о мире, она конституирует сам

---

9. *Bachelard G. La Formation de l'esprit scientifique. Paris, 1938.*

социальный мир, она вписана в него. Именно поэтому очень вреден образ надстройки, идеологий как чего-то парящего наверху, и поэтому я всю жизнь с ним борюсь. Государственная мысль конституирует — в том смысле, что является составной частью, — расписание, школьную жизнь. Государство — ее составная часть, и в то же время оно ее конституирует, делает ее тем, что она есть. И это относится ко всему, что производит государство. Государство является составляющей социального порядка в двойном смысле. Номос и аноμία — слова, с которыми я играл, чтобы установить связи для тех, кто не знаком с Дюркгеймом. Точно так же можно было бы сыграть на «конституции» в смысле конституционного права и в философском смысле «конституирования».

### Докса, ортодоксия, гетеродоксия

Конститутивные акты государства в той мере, в которой они вносят вклад в образование объективной истины и одновременно воспринимающих субъектов, — я резюмирую то, о чем я говорил в прошлый раз, — участвуют в производстве опыта социального мира как чего-то самоочевидного, того, что я называю доксическим опытом социального мира, отсылая к феноменологической традиции, которую я при этом поправляю. Социальный мир опирается на мир доксы, то есть такой веры, которая даже не воспринимает себя в качестве веры. Социальный мир — исторический артефакт, продукт истории, генезис которой забыт в силу забвения генезиса, распространяющегося на все социальные творения. Государство остается неузнанным в качестве исторического явления и получает абсолютное признание, какое является признанием неузнавания. Нет более абсолютного признания, чем признание доксы, потому что оно даже не воспринимает себя как признание. Докса — это положительный ответ на вопрос, которого я даже не задавал.

Принятие доксы — самое абсолютное принятие, какого только может добиться социальный порядок, поскольку оно располагается по ту сторону самой возможности поступить иначе: это отличает доксу от ор-

тодоксии. Ортодоксия появляется в тот момент, когда уже есть «гетеро»: когда появляются гетеродоксы, ортодоксам положено выступать в качестве ортодоксов; доксе положено разъясняться в ортодоксии, когда она ставится под сомнение ересью. Властвующие обычно молчат, у них нет философии, нет дискурса; он у них появляется, когда их начинают донимать вопросами: «Почему вы такие, а не другие?». Тогда им приходится создавать для себя ортодоксию, дискурс, специально направленный на сохранение того, что до сей поры утверждалось как нечто само собой разумеющееся за рамками любого дискурса. Здесь я играю с понятиями, которые часто использовал: неузнавание, признание, докса. Приведу пример, чтобы продемонстрировать силу доксы. У вас, без сомнения, сложилось впечатление, что образование постоянно ставится под вопрос. Так даже называются некоторые книги, в которых о нем идет речь («Вопрос образования»). И тем не менее я полагаю, что образование в основном существует как докса: на самом деле оно не ставится под вопрос. Сила системы образования в том, что, будучи способна привить структуры, в соответствии с которыми она организована, она не позволяет поставить под вопрос сами основы своего функционирования, которые не попадают даже в зону защиты корпоративных интересов, хотя корпоративные интересы часто [связаны с] защитой самоочевидного, то есть с защитой ментальных структур, которые позволяют воспринимать мир как нечто само собой разумеющееся. Поэтому-то войны в сфере образования становятся религиозными войнами, войнами не на жизнь, а на смерть...

В конце [предыдущей лекции] я упоминал Макса Вебера и вопрос «кому выгодно государство?». С этого обычно начинают и [потому] именно перестают что-либо понимать. Если ставить проблему таким образом, получается то, что называется «критикой». Одна из бед социологии в том, что ее часто путают с критикой. Кто угодно может разоблачать коррупцию, взяточничество и т. д.: социологию часто читают так же, как «*Le Canard enchaîné*», кстати, очень неплохое чтение, дающее социологу массу полезной информации. Часто бывает так,



что социология занимается теми же вопросами, которые ставит на первый план и здравый смысл, но она их ставит совершенно иначе. Например, кто пользуется государством? Не служат ли те, кто служит государству, в то же время и самим себе? Иными словами, нет ли частных выгод от общественного порядка? Частной заинтересованности в общественном порядке? Нет ли людей, которые особенно заинтересованы в общественном порядке, которые имеют на него монополию?

Здесь мы сталкиваемся с веберовским вопросом, который Вебер по поводу государства не ставил (вы видите, что можно использовать автора против него самого). Это моя главная претензия к Веберу, но при этом я ставлю применительно к государству его собственный вопрос, который он сам не поставил, — вопрос о том, кому выгодно государство, тогда как он говорит о рационализации. Я читал Вебера как нельзя более вдумчиво, учитывая все детали: Дэвидсон называет это «принципом доверия»<sup>10</sup>, [который состоит в том, чтобы] признать за автором как можно больше доводов, подтверждающих его тезис. Я применил принцип доверия к Макс Веберу (см. последнюю главу «Государственной знати»). Я читал у него всё, включая написанное в скобках. Поскольку Вебер — великий мыслитель, у него в скобках бывает то, что может опровергнуть написанное по соседству. Вебер коснулся этой проблемы, но не стал делать из нее главный принцип своей работы.

### Преобразование частного в публичное: появление в Европе современного государства

Это должно было стать кратким введением, кратко не получилось, но все равно мне пришлось идти быстро... Я подхожу к началу позитивного ответа на вопрос о генезисе государства, который я попытаюсь обрисовать,

---

10. «Принцип доверия» впервые был сформулирован философом Нилом Л. Уилсоном, затем получил теоретическое осмысление у Куайна: *Куайн У. В. О. Слово и объект*. М.: Праксис; Логос, 2000. Впоследствии был взят на вооружение Дональдом Дэвидсоном в работе: *Дэвидсон Д. Истина и интерпретация*. М.: Праксис, 2003.

отталкиваясь от того исторического материала, который мне удалось освоить. Это не кокетство и не академическая осторожность, это факт: учитывая проблематику, за которую я взялся, необходимо обладать исторической культурой, которую одному человеку не осилить. Поэтому я постоянно буду сталкиваться с тем, что мне не по силам доказать. Это просьба о помощи. Если у вас есть какие-то наблюдения, критика, ссылки, я с радостью их приму. Я попытаюсь выстроить не описание генезиса государства (для этого потребовался бы курс лет на пятнадцать), даже не набросок исследования факторов, объясняющих появление государства, но упрощенную модель его логики, какой она видится мне и большинству авторов, — ведь в итоге приходишь к довольно банальным вещам, с которыми все согласны. Я собираюсь предложить модель логики, в соответствии с которой, как мне кажется, складывалось государство (я попробую выстроить ее несколько более систематично), то есть шел процесс концентрации различных видов капитала, сопровождавшийся процессом их трансформации. Суть дела я рассказал.

Государство — продукт постепенного накопления различных видов капитала, экономического, физического, символического, культурного или информационного. Это накопление, пошедшее на пользу династическому государству, специфические особенности которого следовало бы охарактеризовать отдельно, сопровождается определенным превращением. Накопление — это не просто прибавление: происходят изменения, связанные, например, с тем, что одна и та же инстанция аккумулирует разные виды капитала, которые обычно накапливались разными категориями людей. Таким образом, нам нужна модель накопления разных видов капитала, их концентрации. На втором этапе (хотя все следовало бы делать сразу) требуется модель качественного превращения этих разных видов капитала, связанного с концентрацией. Можно было бы спросить, как частные капиталы трансформируются в публичные. Как образуется нечто вроде публичного капитала, если такой капитал вообще существует? Вот в основных чертах мой ход мысли.

Еще одно предварительное замечание: проблема специфических факторов, способных объяснить то, что Запад оказывается особым случаем в плане зарождения государства. По этой проблеме существует обширная литература: философы и даже некоторые социологи ставили вопрос о специфике европейской истории — Гуссерль, Валери, Хайдеггер... Недавно Жак Деррида занялся своего рода общей переоценкой всей этой традиции (к которой я себя не отношу)<sup>11</sup>. Даже Макс Вебер поднимал эту проблему, ставшую проблемой эпохи — эпохи между двумя мировыми войнами, — в знаменитом введении к «Протестантской этике», где он представляет все цивилизации своего рода набросками к европейской цивилизации, как если бы в Вавилоне изобрели счет и т. д.<sup>12</sup> Все эти взгляды кажутся мне опасными и евроцентричными. Однако вопрос, который я формулирую, тоже может большинству специалистов показаться евроцентричным. Исследователь вроде Жака Жерне<sup>13</sup> отверг бы некоторые различия, которые я собираюсь ввести, но, открыто постулируя их, я приветствую научную критику в свой адрес. Он [без сомнения] отверг бы различие между империями и государствами в том виде, в каком они появляются на Западе. Однако на уровне собственно научных дискуссий меня интересует специфика западного государства. Это очень сложные дискуссии, по которым имеется огромная литература. Заслуга Чарльза Тилли в том, что он попытался отделить построение модели генезиса государства от той извечной пары, которую образуют случаи Франции и Англии, чтобы распространить эту модель на всю Европу. Некоторые говорили, что, несмотря

---

11. *Derrida J.* L'Autre Cap. Paris: Galilée, 1991.

12. *Вебер М.* Протестантская этика и дух капитализма. Указ. соч.

13. Жак Жерне — французский китаист, который, в частности, возглавлял кафедру социальной и интеллектуальной истории Китая в Коллеж де Франс с 1975 по 1992 г. В 1997 году он публикует в № 118 «Actes de la recherche en sciences sociales» статью, посвященную «генезису современного государства», под названием «Государственная власть в Китае»: *Gernet J.* Le pouvoir d'État en Chine // Actes de la recherche en sciences sociales. 1997. No. 118. P. 19–27.

на все усилия, Тилли остается евроцентристом, потому что в большинстве стран мира государства образовались не по образцу западных государств... Эти дискуссии часто имеют идеологическую окраску, потому что исток — это всегда приоритет, а приоритет получает привилегии: то есть в этих спорах, которым следовало бы носить чисто научный характер, есть политические ставки.

Я опираюсь на историка Средневековья, который, как мне кажется, дает ясную формулировку, с которой я вполне согласен, — Джозефа Р. Страйера, автора «Средневекового происхождения современного государства»<sup>14</sup>. Эту книгу нужно прочитать. Она даст вам средства для критики того, о чем я говорю, поскольку в ней излагается теория генезиса государства, которая, частично совпадая с теорией, которую предлагаю вам я, в достаточной мере от нее отличается. Страйер подчеркивает, что западные государства, главным образом французское и английское, ничем не обязаны предшествующим [политическим формам]. Бесспорно, государства существовали и до появления западных государств — в форме древнегреческого полиса, Китайской империи Хань или Римской империи. Но он считает, что их нельзя рассматривать в качестве предшественников [государства западного типа], потому что люди, основавшие европейское государство, ничего не знали — это фактический довод — об азиатской модели, очень плохо знали римское государство и были знакомы с древнегреческим полисом только через Аристотеля. А главное, и это сильный довод, в том, что европейские государства, появившиеся после 1100 года, коренным образом отличаются как от предшествующих моделей, так и от слабо интегрированных империй.

Проблема специфики траектории западных государств крайне занимала меня в силу того, что, в зависимости от ответа на нее, можно заняться сравнениями в масштабах [глобальной] истории или же, наоборот, ограничиться в своих компаративистских упражнениях

---

14. Strayer J. R. Les Origines médiévales de l'État moderne / M. Clément (trad.). Paris: Payot, 1979 [1970].

рамками Европы. Очевидно, от этого существенно меняется библиография, а также способ работы с документами. Это не просто фактический вопрос, а действительно вопрос предваряющий: чем европейские государства отличаются от империй (Российской, Китайской, Римской)? Эти империи, по словам Страйера, обладали военной силой, которая обеспечивала их общим контролем над большими территориями, но по-настоящему они своих жителей не интегрировали — в политическую игру или экономическую деятельность, выходящую за рамки непосредственных местных интересов. Эти империи — и здесь, я думаю, многие согласятся — кажутся чем-то вроде надстройки — здесь можно употребить это слово, — позволявшей социальным единицам сохраняться на местном уровне в относительно независимом виде. Например, Кабилия много веков находилась под турецким игом, однако местные структуры на уровне кланов или деревень никак не затрагивались действиями центральной власти. Можно платить дань, можно стать жертвой военных операций и репрессий, обычно временных и точечных, но при этом сохранялись нетронутыми определенные структуры, например, деревенские автономии с их обычаями. Мы получаем своего рода доказательство от противного, поскольку распад империй — и это верно в случае Турецкой империи — не вызывает большого сопротивления и почти ничего не меняет, насколько мы можем судить, в социальной жизни единиц на более низком уровне.

Историки зачастую нормативны. Эта структура экстенсивного контроля кажется им пустой тратой человеческих ресурсов. У империй относительно небольшая сила мобилизации, очень слабая мобилизационная отдача. С другой стороны, они насаждают очень умеренную преданность государству, они слабо мобилизуют и в объективном, и в субъективном плане. Полная противоположность империй, города-государства — мелкие политические единицы, очень сильно интегрирующие своих граждан, заставляющие их напрямую участвовать в политической жизни и деятельности общины. Например, при посредстве института

литургии\* богатые граждане участвуют в расходах на культуру, которые есть именно что государственные расходы. В современных обществах экономика культуры — это совершенно искусственная экономика, которая не выжила бы, если бы исчезло государство: все институты — Национальный народный театр, музеи и т. д., — занимающиеся культурой, убыточны, они могут существовать только благодаря инстанции, способной забирать и перераспределять ресурсы, никакой меценат не смог бы содержать провинциальный симфонический оркестр... Это пример алхимии: государство преобразует налоги в культуру. Здесь мы видим, что есть относительная автономия логики государства: если бы провели референдум о том, стоит ли сегодня продолжать дотировать «France-Culture», и если бы не действовал эффект культурной легитимации, создаваемый государством, иначе говоря, если бы люди отвечали на основе своего реального использования «France-Culture», эти дотации были бы немедленно урезаны. Через литургию граждане участвуют в этих, по сути дела, экономически невозвратных расходах — хотя от них и остаются символические прибыли, — каковыми являются расходы на культуру...

С точки зрения Страйера, в городах-государствах преданность государству очень высока и принимает формы, напоминающие современный национализм. Это он так говорит. На мой взгляд, это априори невозможно. Даже слово «патриотизм» здесь не подходит: любовь древнегреческого гражданина к городу не имеет ничего общего с современным патриотизмом, который является плодом труда агентов, которых, как известно, в те времена не существовало (не существовало системы образования). У этих городов-государств есть способности, которых не было у империй, но они не могут вырасти выше определенного уровня, не могут интегрировать новые территории и разное население или обеспечивать

---

\* Имеется в виду «литургия» в древнегреческом смысле, то есть почетная обязанность богатых граждан жертвовать на общественные нужды города, например, финансировать выступления хоров на общественных праздниках и обслуживание боевых триер. — *Примеч. пер.*

участие больших масс населения в политической жизни; они применяют *numerus clausus*, потому что работают только в малых масштабах. Когда требуется пройти испытание расширением, город-государство либо становится ядром империи, либо аннексируется и становится жертвой всех вытекающих из этого противоречий. Таков случай итальянских городов, аннексированных Австро-Венгерской империей, которые сохраняли небольшие размеры и, будучи в военном отношении слабыми, были обречены на эту аннексию.

Страйер пишет, что европейские государства после 1100 г. сочетают в себе достоинства обеих моделей: они наделены одновременно мощью и протяженностью, они обширны, они обеспечивают общее участие и создают чувство общей идентичности. Здесь он ставит крайне важную проблему. Это очень конструктивное определение. Страйер называет государством образования, которые сумели решить проблему интеграции больших масс населения за счет специфической работы, которой пренебрегали в маленьких городах, работы, проводимой благодаря использованию специфических инстанций мобилизации. Что следует запомнить из этого различия, так это то, что нужно ставить вопрос об отношениях между государством и территорией, государством и населением, государством и контролем, который является не только внешним и военным, но также и контролем над верой, над мнением (мы снова возвращаемся к Юму), о чем я ранее говорил применительно к накоплению символического капитала.

Я очертил поле своего исследования: моя модель подходит для тех прототипических государств, которые считаются принципиально отличными от империй и городов-государств. В следующий раз я кратко изложу вам статью английского историка Виктора Кириана «Государство и нация в Западной Европе»<sup>15</sup>, обобщающую статью, в которой делается попытка описать факторы, исторически объясняющие отличие Европы с точки зрения государственности.

---

15. *Kiernan V. J. State and nation in Western Europe // Past and Present. 1965. Vol. 31. P. 20–38.*

## Лекция 21 февраля 1991 года

*Логика генезиса и возникновения государства: символический капитал. — Этапы процесса концентрации капитала. — Династическое государство. — Государство: власть над властями. — Концентрация и экспроприация видов капитала: пример физической силы как капитала. — Образование центрального экономического капитала и построение автономного экономического пространства.*

### Логика генезиса и возникновения государства: символический капитал

**С**ТАТЬЯ Кирнана интересна тем, что в ней предпринимается попытка перечислить факторы, которые могли бы объяснить уникальный характер современных государств на Западе: наличие мощного феодального общества, которое оказывало королю такое сопротивление, что он был вынужден создать администрацию; наличие права собственности, определенного более четко, чем в османской традиции, в силу существования более сильного права вообще; еще один фактор — существование множества государств, более или менее равноценных, с регулярной армией, а потому постоянно соперничающих с другими государствами, в отличие от Рима или Китая, которые, по мнению Кирнана, страдали от отсутствия равного соперника; существование централизованной и дисциплинированной Церкви, то есть корпорации-монополиста, представлявшей образцы. Это важный фактор, по поводу которого сходятся все историки: другие теоретики, такие, как Майкл Манн, [подчеркивают] важность Церкви, но уже не как строго определенной корпорации, а как массы верующих. [Манн] видит в христианском послании важный идеологический фактор формирования понятия гражданина<sup>1</sup>. Наконец, еще один фактор, на который указывает Кирнан, — город как полностью или частично независимая политическая корпорация, вступающая в сложную диалектическую игру

---

1. Mann M. The autonomous power of the State: its origins, mechanisms and results // Archives européennes de sociologie. 1985. No. 24. P. 185–123. См. также у того автора: Mann M. The Sources of Social Power. Cambridge: Cambridge University Press, 2 vol., 1986–1993.



с государством. Можно было бы добавить и другие факторы. Я перечислил их только затем, чтобы дать вам представление о такого рода размышлениях — существует обширная литература особого жанра, в которой пытаются установить совокупность уникальных факторов, определивших уникальный характер западного государства. К этому следовало бы также добавить существование римского права, что подчеркивается многими французскими историками.

Я хотел просто указать вам на путь, по которому я сам иди не собираюсь. Моя цель не в том, чтобы внести вклад в построение систем факторов, объясняющих зарождение государства, но, скорее, в том, чтобы построить своего рода модель логики генезиса государства. То, что я пытаюсь представить, — это модель, отчасти оригинальная по своей сборке и в то же время совершенно неоригинальная, поскольку собранные моменты были высказаны многими другими авторами. Анализируя одну за другой сферы — это противоречит специфической логике государства, но в анализе необходимо не изучать всё сразу, а последовательно исследовать появление налогов, права и т. д., — в которых происходило накопление капитала определенного типа, стоявшее у истоков государства, я бы хотел показать логику генезиса и одновременно логику возникновения, эмерджентности (это важное слово) реалии, не сводящейся к сумме образующих ее элементов. Когда речь заходит об этом процессе, часто используют метафору кристаллизации или, говоря более строгим языком, понятие эмерджентности, полезное тем, что оно указывает на то, как в ходе непрерывного накопления могут произойти резкие перемены, изменения «порядка», если использовать выражение Паскаля, то есть как можно перейти от одной логики к другой. Я вкратце опишу вам глобальную схему, основные направления, по которым буду двигаться, дам своего рода предварительный план, чтобы вы не потерялись в подробностях анализа, к которому я вас подведу. Я стараюсь показать, проанализировать, ухватить логику первоначального накопления различных видов капитала, которые в ходе этого накопления претерпели видоизменение. Я соби-

раюсь постепенно подключить понятие вида капитала, которое я долго разъяснял в предшествующих курсах, и буду, соответственно, использовать экономический капитал, культурный капитал (или в самой общей форме информационный капитал), социальный капитал и, наконец, символический капитал.

Два слова о символическом капитале, который представляет собой самое сложное и самое необходимое понятие для понимания того, что я собираюсь здесь делать<sup>2</sup>. Под символическим капиталом я понимаю ту форму капитала, которая рождается из таких отношений между тем или иным видом капитала и социализированными агентами, в силу которых этот вид капитала познается и признается. Символический капитал, как указывает само слово, относится к порядку познания и признания. Чтобы было понятно, я приведу простой пример, который подробно излагал в предшествующие годы: сила, как ее разбирает Паскаль. Сила в качестве силы действует путем физического принуждения, но также и через представление об этой силе, которое складывается у тех, кто испытывает на себе ее действие. Самая грубая и жесткая сила получает признание в той форме, которая выходит за рамки простого подчинения физическому действию силы. Даже в самых крайних случаях, когда вид капитала наиболее близок к логике физического мира, нет физического действия, которое в человеческом мире не сопровождалось бы символическим действием. Странность логики человеческих действий состоит в том, что грубая сила никогда не является всего лишь грубой силой: она производит некий соблазн, убеждение, связанные с тем, что ей удастся получить определенное признание.

Такой же анализ применим и к экономическому капиталу: богатство никогда не действует исключительно в качестве богатства. В разные времена, в разных обществах существуют разные формы признания богатства,

---

2. О понятии символического капитала, среди прочего, см.: *Bourdieu P. Esquisse d'une théorie de la pratique. P. 348–376; Idem. Raisons pratiques. P. 116–123; Idem. Méditations pascaliennes. P. 125.*

благодаря которым предельно грубая экономическая сила вдобавок оказывает еще и символическое воздействие, которое обеспечивает богатству его символическое признание. Социальный и культурный капитал уже подразумевают наличие символического капитала. Стремление культурного капитала выполнять функции символического капитала столь велико, что научные исследования, в которых было задано само понятие культурного капитала, оказываются особенно сложны, потому что культурный капитал отождествляется с природным даром: обладатель культурного капитала, выражающегося в виде красноречия, ума, учености, стихийно воспринимается как обладатель легитимного авторитета. Именно поэтому авторитет технократических властей отличается по своему типу от авторитета чисто военных властей, ведь он основан на разновидности капитала, стихийно признаваемой легитимной. Правители, которые пользуются авторитетом, связанным с наукой или культурой, признаются достойными отправлять свою власть в силу той компетенции, которая оказывается фундирована словно бы природой, добродетелями или заслугами. Социальный капитал, как капитал отношений, стихийно стремится функционировать в качестве символического. Символический капитал — это капитал, которым дополнительно владеет любой обладатель капитала.

Я сосредоточусь на практически чистых формах символического капитала, таких как знатность <noblesse>. Я могу сыграть на этимологии слова *noble*, знатный: *nobilis* означает известный и признанный или заметный <notable>. Политическое поле — главное место применения символического капитала: это поле, в котором быть, существовать — значит быть замеченным. Политик чаще всего — известный и признанный человек. Неслучайно политики так уязвимы перед скандалами, скандал порождает дискредитацию, а дискредитация — оборотная сторона накопления символического капитала. Гарфинкель написал очень хорошую статью о [«церемониях разжалования», к которым относятся] и ритуалы лишения военных звания — так, к примеру, срывали нашивки у капитана Дрейфуса, — ритуалы,

которые являются оборотной стороной посвящения. Они заключаются в том, что обладатель титулов, заслуживающих признания, лишается знаков этого признания, низводится до статуса обычного анонимного гражданина, лишённого символического капитала<sup>3</sup>. Я не говорю всего лишь о «престиже», потому что это слово не выражает этого явления в полной мере. Тем самым я хочу указать на трудности, с которыми столкнулся при построении этого моего понятия. Я знаю, до какой степени это было сложно, запутано. То, что я вам здесь рассказал в нескольких словах, долгое время казалось мне невыносимым. Я говорю это, чтобы гарантировать вам то, что я не просто всё это выдумал ради собственного удовольствия...

### Этапы процесса концентрации капитала

Я собираюсь показать логику этого первоначального накопления капитала. Государство образуется, концентрируя первоначально разные виды капитала вокруг короля — дальше все становится несколько сложнее. Этот двойной процесс массовой концентрации каждого из видов капитала, физической власти, экономической и т. д. и концентрации в одних и тех же руках разных видов капитала, то есть процесс концентрации и метаконцентрации, — вот что порождает эту совершенно удивительную реальность, государство. Фактически этот процесс концентрации может быть также описан как процесс автономизации отдельного пространства, отдельной игры, поля, в котором идет особая игра. Цель моего анализа — описать автономизацию бюрократического поля, внутри которого действует государственный интерес, интерес, понятый в объективном и субъективном смысле, то есть конкретная логика, не являющаяся логикой морали, религии, политики и т. д. Я прослежу четыре этапа в логическом и хронологическом порядке, потому что генезис государства проходит через этапы, в основном соответствующие порядку

---

3. *Garfinkel H.* Conditions of successful degradation ceremonies // *American Journal of Sociology.* 1956. V. 61. No. 5. P. 240–244.

исторических событий, но думаю, что не стану довольствоваться повторением хронологии.

Первая фаза: процесс концентрации и сопровождающий его эмерджентный процесс. Я проанализирую различные аспекты накапливаемого государственного капитала, показывая, что для понимания генезиса государства приоритет нужно отдать капиталу символическому. Это означает, что материалистическую трактовку в ее узком смысле надо перевернуть. Функция понятия символического капитала — помочь в создании материалистической теории символического. Можно сказать, что я собираюсь заняться расширением материализма. Некоторые, я подозреваю, скажут, что, поскольку я ставлю символический капитал выше экономического, я переворачиваю старую оппозицию базиса и надстройки, а значит, могу быть кем угодно, идеалистом, спиритуалистом и т. д. Это ошибка, потому что я отвергаю эту дихотомию. Я буду аналитически описывать процесс концентрации, аспект за аспектом, прекрасно понимая, что невозможно ограничиться одним из них: например, изучая генезис налогов, системы налогообложения, я должен буду показать, что она не может работать, если в то же время не происходит накопления символического капитала, в том числе в самой работе сбора налогов. Таким образом, я опишу этот процесс концентрации каждого вида капитала и в то же время поставлю вопрос о смысле такой концентрации. Моя игра будет строиться на оппозиции универсализации и монополизации: процесс концентрации может описываться как процесс универсализации — происходит переход от местного к национальному, от частного к универсальному — и в то же время, как процесс монополизации. Но учитывать следует оба этих процесса.

Вторая фаза: логика династического государства. Вместе с рядом историков, которые подчеркивают то, что до XVII века о государстве говорить нельзя, я попытаюсь охарактеризовать это патримониальное государство, в котором государственная собственность — это личная собственность. Во-первых, я попытаюсь описать специфику династического государства, его собствен-

ную логику, воспользовавшись концепцией, которую я разрабатывал для других целей, а именно идеей стратегий воспроизводства<sup>4</sup>. Я попытаюсь показать, что политика династического государства, которую мы выявляем уже в войнах за престолонаследие, вписывается в логику семейных войн за наследство. Соответственно, можно вполне логично перейти от моделей, созданных для домашней политики крестьянства или крупных знатных семейств, к модели, применимой в масштабах государства. Династическая политика — это в основном политика, организованная согласно системе взаимозависимых стратегий воспроизводства. На втором шаге я собираюсь изучить специфические противоречия династического государства: в той мере, в которой оно опирается на семейные стратегии воспроизводства, оно несет в себе противоречия, способствующие преодолению самой этой династической политики. Вот проблема, которую ставят историки. Например, Эндрю Льюис задается вопросом о том, как происходит выход из династического государства, переход от государства, отождествляемого с владениями короля, к государству, отделенному от личности короля<sup>5</sup>. Я полагаю, что династическая логика содержит противоречия, в частности в отношениях короля с его братьями, на уровне элементарных домашних единиц, которые заставляют выйти за пределы этой чисто патримониальной модели.

Третий этап можно было бы назвать «От королевского дома к государственному интересу»<sup>6</sup>. Я попытаюсь показать, в чем состоит процесс концентрации и трансформации. Это очень трудно, потому что не

---

4. Об этом понятии см. *Bourdieu P. Stratégies de reproduction et modes de domination // Actes de la recherche en sciences sociales. 1994. No. 105. P. 3–12.*

5. *Lewis A. W. Le Sang royal. La famille capétienne et l'État, France, Xe–XIVe siècles / J. Carlier (trad.). Paris: Gallimard, 1986 [1981].*

6. Это выражение в дальнейшем будет использовано П. Бурдьё в качестве названия статьи: *Бурдьё П. От «королевского дома» к государственному интересу. Модель происхождения бюрократического поля // Социология социального пространства. С. 255–288.*

хватает точных наблюдений процессов перехода, которые интересны социологам тем, что показывают конфликты двух принципов. Многие социальные конфликты — это конфликты между носителями старой модели воспроизводства и новой его модели. Но суть конфликтов обходится молчанием, не доходит до сознания агентов, и, чтобы уловить то, что значимо для построения модели и без чего нельзя обойтись, требуются очень тонкие наблюдения. Одна из центральных задач в этом переходном процессе — перейти от способа воспроизводства на основе семьи, способа наследования, который династическое государство довело до совершенства, к более сложному способу бюрократического воспроизводства, в котором решающим образом участвует система образования<sup>7</sup>. Способ семейного воспроизводства продолжает действовать и через образовательную модель, и в то же время наряду с ней. Люди, тесно связанные с бюрократическим государством, с полномочиями, не зависящими от короля, столь же тесно связаны со способом воспроизводства через образование и всё более нетерпимы к способу воспроизводства на семейной и наследственной основе. В общих чертах я вам всё уже рассказал. Напрасно я это сделал, потому что в итоге разрушил саспенс, но важно, чтобы вы знали, к чему я хочу выйти; в противном случае вы будете думать, что я теряюсь в исторических подробностях, в которых не до конца уверен и о которых другие могут рассказать намного лучше меня.

Есть еще четвертая фаза, которую я упомяну лишь мельком и которая представляет собой переход от бюрократического государства к государству всеобщего благосостояния и ставит проблему отношений между государством и социальным пространством, социальными классами, проблему перехода от борьбы за построение государства к борьбе за присвоение того совершенно особого капитала, который связывается с су-

---

7. Эта схема лежит в основе анализа П. Бурдьё в работе: *Bourdieu P. De Saint Martin M. Le patronat // Actes de la recherche en sciences sociales. 1978. No. 20. P. 3–82*, затем в «Государственной знати»: *Bourdieu P. La Noblesse d'État. Chap. 4.*

ществованием государства. Осуществляется процесс автономизации сугубо бюрократической логики. В этом весь смысл этого процесса, но мы имеем дело не с гегельянской логикой, линейной и кумулятивной. У бюрократического поля, как и у всякого другого, есть свои прорывы и свои отступления; можно регрессировать к патримониальному государству через президентскую республику королевского типа, имеющую все характеристики патримониального государства. Когда в 1981 году к власти пришел Франсуа Миттеран, я стал вырезать статьи [из газет], в которых говорилось: «Господин такой-то, назначенный на пост председателя Банка Франции, личный друг Президента», что было вполне открытым обоснованием легитимности назначенного лица и самого назначения. Вот пример, показывающий, что мы живем отнюдь не в линейной логике, которую предполагала веберовская концепция рационализации.

Это не просто поверхностное замечание: оно сделано для того, чтобы вы не думали, что существует процесс, становящийся все более формальным, справедливым, бюрократическим, все более универсальным. Здесь я ставлю перед собой один из центральных вопросов: не предполагает ли бюрократическая модель с ее логикой делегирования, в особенности делегирования контроля, почти неизбежно — мне как социологу говорить это просто страшно — особую склонность, а именно возникающую едва ли не неизбежно склонность злоупотребления авторитетом, злоупотребления властью, в частности, разного рода коррупцию? Исчезает ли коррупция, обычно связанная с начальной стадией развития государства, с государствами личного типа, по мере развития структур бюрократического типа, или же она вписана в саму логику бюрократического делегирования? Есть прекрасные модели, разработанные современными экономистами. Например, Жан-Жак Лаффон предлагает экономическую модель коррупции<sup>8</sup>, основанную на том, что государственному интересу не

---

8. *Laffont J.-J.* Hidden gaming in hierarchies: facts and models // *The Economic Record*. 1988. V. 64. P. 295–306.



удается до конца утвердиться, в том числе в сфере государства. В ходе подготовки к этому курсу я собрал немало материалов о проблеме незаинтересованности<sup>9</sup>, о юридических санкциях, которые применяет государство, наказывая тех, кто нарушает императив незаинтересованности. Если то, что я говорю о государстве, верно, то есть если оно действительно является процессом концентрации и накопления, понятно, почему его так трудно осмыслить — приходится думать одновременно о массе вещей. Поэтому я постоянно испытываю чувство, словно я ребенок, о котором говорит Платон, — тот, кто хочет схватить двумя руками три яблока...

### Династическое государство

Теперь я начну с самого начала, то есть с династического государства. Зачем говорить о династическом государстве? Несколько историков, озабоченных тем, как бы не допустить анахронизмов (историки часто говорят о прошлом, перенося на него идеи из настоящего, которые не были отсеяны социальной критикой), замечают, что говорить о государстве применительно к древним эпохам — значит допускать анахронизм. Сошлюсь на книгу Ричарда Дж. Бонни «Европейские династические государства (1494–1660)» и на его статью из сборника Национального центра научных исследований «Генезис современного государства»<sup>10</sup>. Бонни настаивает на том, что, применяя к простейшим формам государства концепцию национального государства в современном смысле этого слова, мы рискуем упустить его специфику: «В течение очень долгого периода, предшествовавшего 1660 г. [а в некоторых случаях и долгое время после], большинство европейских монархий не были национальными государствами, как мы их понимаем, за исключением примера Франции,

9. См. прим. 1, p. 14.

10. *Bonney R. J.* The European Dynastic States (1494–1660). New York: Oxford University Press, 1991; *Idem.* Guerre, fiscalité et activité d'État en France (1500–1660) // *Genèse de l'État moderne* / J.-P. Genet, M. Le Mené (dir.). P. 193–201.

скорее случайного. Большинство монархий были разношерстными территориальными комплексами [типичный пример — владения Габсбургов в Австрии и Испании], государствами, объединенными одной лишь личностью монарха». Эта одна из особенностей династического государства. Главная связь, одновременно и объективная, и субъективная, осуществляется через любовь к монарху, элементарный принцип патриотизма. Бонни отмечает — и это мне очень понравилось, — что большинство войн на этом этапе — войны за престолонаследие. Он подчеркивает, что отсутствие ясного различения династического и национального государств мешает нам должным образом осмыслить специфику и династического государства, и современного. Кстати, несколько лет назад я написал работу о современном спорте, расходящуюся с традицией<sup>11</sup>. Те, кто занимается исследованием спорта, непрестижным предметом в пространстве социальных наук, считали, — я сначала укажу причины, а потом скажу, что именно они делали, но для меня одно неотделимо от другого, — что для облагораживания своей дисциплины надо восстановить генеалогию современных видов спорта, то есть отыскать истоки футбола в игре в суль, хоккея — в игре с деревянным молотком в XII веке и т. д. Я показал, что это историческая ошибка, поскольку в XIX веке произошел разрыв: современные виды спорта — результат переизобретения или просто изобретения в новом контексте, определявшемся развитием английских *boarding schools* [пансионов]. Такую же работу по разрыву с традицией нужно проделать, чтобы осмыслить династическое и современное государство. Необходимо понимать, что в некотором смысле современное государство является продолжением династического не больше, чем футбол — продолжением игры в суль.

---

11. П. Бурдьё ссылается на одно из своих выступлений, опубликованное под названием «Как можно быть спортсменом?», и «Программу для социологии спорта»: *Bourdieu P. Comment peut-on être sportif? // Questions de sociologie. Op. cit. P. 173–195; Бурдьё П. Программа для социологии спорта // Начала. С. 257–275.*

Я опираюсь на еще одного автора, Йоахима Штибера, который доходит до того, что отказывает в праве называться государством тому, что Бонни все-таки согласен называть династическим государством<sup>12</sup>. Он считает, что до XVII века государства не было. Он настаивает на ограниченности власти германского императора как монарха, назначаемого через выборы, требовавшие папского согласия: вся немецкая история XV века отмечена княжеской, фракционной политикой, характеризующейся патримониальными стратегиями, нацеленными на процветание семейств и их вотчин. То есть в этом случае нет никаких характеристик современного государства. Только во Франции и Англии XVII века начинают появляться основные отличительные особенности зарождающегося современного государства: политический корпус, отделенный от личности принца, и политические корпорации, заключенные в территориальные границы нации, включая феодальную знать и церковь. С точки зрения Штибера, основная особенность современного государства — наличие бюрократии, отдаленной от короля и других властей, феодалов и церкви. С другой стороны, он показывает, что европейская политика 1330–1650 гг. отмечена собственническими взглядами. У принцев был такой именно взгляд: они относились к своему правительству и владениям как к своего рода личным благам; и они управляли политикой так, как управляют своей вотчиной. По его мнению, отсюда следует, что применение термина «государство» до XVII века — анахронизм. Я согласен с этими двумя историками, но очевидно, что они в меньшинстве в своей корпорации...

### Государство: власть над властями

Чтобы проанализировать специфическую логику династического государства как концентрации различных видов капитала, перейду к описанию процесса этой

---

12. *Stieber J. W.* Pope Eugenius IV, the Council of Basel, and the secular and ecclesiastical authorities in the Empire: the conflict over supreme authority and power in the Church // *Studies in the History of Christian Thought* / H. A. Oberman (ed.). Leyde: Brill, 1978. V. 13.

концентрации<sup>13</sup>. Эти разные формы накопления военного, экономического, символического капитала связаны между собой и образуют целое, и именно эта целостность составляет специфику государства. Накопление одной и той же центральной властью различных видов капитала порождает своего рода метакapитал, у которого есть особая способность осуществлять власть над капиталом. Это может показаться домыслами и абстракцией, но это важно. Из многих возможных определений можно выбрать то, согласно которому государство — это *мета-*, власть, стоящая над другими властями. Проанализировать накопление разных форм капитала — значит найти средства для понимания того, почему государство связано с обладанием капиталом, который имеет власть над другими видами капитала. Здесь я ссылаюсь на анализ экономиста Франсуа Перру<sup>14</sup>, который считает, что, говоря о капитале, нужно различать два его состояния: обладателя культурного капитала, который, например, имеет диплом географа, и обладателя культурного капитала, который дает ему власть над первым культурным капиталом — например, издателя книг по географии. Последний владеет метакapиталом, который позволяет ему публиковать или не публиковать обладателя простого капитала.

Это различие между обладанием простым капиталом и обладанием капиталом, который дает власть над этим первым капиталом, действует во всех областях. Государство в той мере, в которой оно накапливает в больших количествах разные виды капитала, оказывается обладателем метакapитала, позволяющего осуществлять власть над всем капиталом. Это определение может показаться абстрактным, но его можно конкретизировать, если соотнести с понятием поля власти,

---

13. Бурдьё П. Дух государства: генезис и структура бюрократического поля // Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии РАН. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб: Алетейя, 1999. С. 127–166 (*Bourdieu P. Esprits d'État. Genèse et structure du champ bureaucratique // Actes de la recherche en sciences sociales. 1993. No. 96–97. P. 49–62; переиздано в: Bourdieu P. Raisons pratiques. P. 101–133.*)

14. См. среди прочего: *Perroux F. Pouvoir et économie. Paris: Dunod, 1973.*

места, в котором обладатели капитала борются друг с другом, в том числе и за то, чтобы устанавливать курс обмена одного вида капитала на другой. Я приведу пример, и вам всё сразу станет понятно: борьба за признание дипломов или борьба за реформу Национальной школы управления <ENA> и пр. Короче говоря, есть множество разных видов борьбы, новостями о которых, интересными для обладателей капитала, переполнена газета «Le Monde» — чьи адресаты в значительной мере совпадают с полем власти — и которые можно истолковывать как акты перманентной борьбы, которую обладатели капитала ведут между собой за то, чтобы установить курс обмена, отношения господства между разными видами капитала и одновременно между различными обладателями этих видов капитала. Государство, будучи обладателем метакapиTaлa, представляет собой поле, в котором агенты борются за то, чтобы получить капитал, дающий власть над другими полями. Предположим, выходит постановление о том, что отныне возраст выхода на пенсию членов Государственного совета не семьдесят лет, а шестьдесят пять: это была бы, с точки зрения борьбы за капитал, государственная мера исключительной важности — реформа, которую было бы крайне трудно провести, потому что она затрагивает массу вещей, прежде всего силовые отношения между поколениями. Когда люди топчутся в приемной или звонят премьер-министру, чаще всего они делают это затем, чтобы поговорить о повышении по службе или о сохранении определенного вида капитала, который ставит под удар одна из тех общих для многих полей мер, которые направлены на перераспределение...

Другой пример — равноценность [степеней]. Фабиус сказал, что дипломы выпускников Высшей нормальной школы равноценны дипломам Национальной школы управления<sup>15</sup>. Это мера огромной важности с точки зрения логики поля власти, потому что она влияет на курс обмена разных видов капитала. Это то же самое, что сказать, что курс доллара уже не три франка, а пять.

---

15. Лоран Фабиус, премьер-министр (в 1984–1986 гг.) и социалист, был выпускником Высшей нормальной школы.

В данном случае акции выпускников Высшей нормальной школы выросли с трех до пяти... Государство может принимать такие распространяющиеся на множество полей меры, потому что оно постепенно складывается в своего рода метаполе, в котором производится, сохраняется, воспроизводится капитал, дающий власть над другими видами капитала. Здесь я устанавливаю связь, отношения между полем власти и государством: один из унифицирующих принципов поля власти в том, что люди, ему принадлежащие, борются за власть над государством, за тот капитал, который дает власть над сохранением и воспроизводством различных видов капитала. Это была, так сказать, «меташапка» *<métachapeau>*, чтобы вы сориентировались в том, что я сейчас делаю...

### Концентрация и экспроприация видов капитала: пример физической силы как капитала

Теперь я подхожу непосредственно к сути дела, то есть к описанию различных сторон накопления. Я начну с военной власти. Чтобы выяснить, как образовалось государство, некоторые историки, опередившие меня, перечислили ряд факторов, которые объясняют накопление и которые я тоже перечислю. Но они лишь изредка напрямую увязывают их [как это собираюсь сделать я] с теорией форм капитала. Я говорю это не затем, чтобы подчеркнуть оригинальность [своего анализа], а затем, чтобы у вас не было впечатления дежавю [...]. Есть своего рода минимальное определение генезиса государства, [которое возникает] с появлением военной власти и системы налогообложения. На самом деле все намного сложнее: этот процесс концентрации капитала физической силы впоследствии приведет к образованию того, что мы называем публичными вооруженными силами *<force publique>*\*. Такой процесс

---

\* «*Force publique*» — «силовые ведомства», включающие в себя армию, полицию и жандармерию и подчиняющиеся правительству. Далее Бурдьё обыгрывает буквальное значение этого термина — «публичная сила». — *Примеч. пер.*

концентрации — в то же время процесс отделения, образования монополии на основе экспроприации. Я всегда подчеркиваю двусмысленность: концентрация = универсализация + монополизация. Создать публичную силу — значит отнять силу у тех, кто не на стороне государства. Точно так же образовать культурный капитал на базе школы — значит обресть на невежество и варварство тех, кто не имеет этого культурного капитала; образовать капитал религиозного типа — низвести до статуса непосвященных тех, кто не принадлежит к клиру. Это очень важно [подчеркнуть], потому что об одной из этих сторон часто забывают — это особенно характерно для моделей Вебера или Элиаса. Процесс концентрации — в данном случае его хороший анализ есть у Элиаса — предполагает процесс отнятия, экспроприации. Почитайте у Элиаса о [секулярной] регрессии насилия. (Я — преданный сторонник Элиаса, но даже я начинаю беспокоиться, когда его сегодня канонизируют... На самом деле, я больше люблю его не за то, что он привнес, а за то, что растерял по дороге.)

Процесс концентрации публичной физической силы сопровождается демобилизацией обыкновенного насилия. У Элиаса есть прекрасные тексты о зарождении современного спорта и о его связи с тем процессом, в котором государство отбирает у индивидуальных агентов право применять физическое насилие<sup>16</sup>. Существенная часть того, что написал Элиас, уже содержится во фразе Вебера: государство обладает монополией на легитимное насилие. Те, кто не являются государством или не получили от него мандата, не могут применять насилие, размахивать кулаками, прибегать к самозащите... Физическое насилие может применяться только специализированной группой, получившей на это специальный мандат, четко выделяемой в обществе благодаря униформе, то есть символической группой, централизованной и дисциплинированной. Понятие дисциплины, которому Вебер посвятил замечатель-

---

16. Элиас Н. Генезис спорта как социологическая проблема // Логос. 2006. № 54 (3). С. 41–62.

ные страницы<sup>17</sup>, имеет фундаментальное значение: нельзя было концентрировать физическую силу, при этом ее не контролируя, в противном случае это было бы злоупотребление физическим насилием, которое равноценно злоупотреблению капиталом в экономическом плане, то есть хищению. Физическое насилие может концентрироваться в специальном корпусе, образованном с этой целью и четко опознаваемом всем обществом по символической униформе, то есть в корпусе специализированном и дисциплинированном, способном подчиняться центральному приказу как один человек, корпусе, который сам не отдает никаких приказов.

Совокупность институтов, имеющих мандат на то, чтобы гарантировать порядок, то есть силы полиции и правосудия, таким образом, понемногу отделяются от обычного социального мира. В этом процессе случаются регрессии. Концентрация физической силы на первом этапе династического государства происходит в борьбе с феодальным порядком: создание монополии на насилие создает, в первую очередь, угрозу для феодалов, знати, чей специфический капитал был основан на праве и обязанности применять военную силу. Законная монополия дворянства шпаги на выполнение воинской функции оказывается под угрозой в связи с образованием капитала физической силы, профессиональной армии, в особенности если эта армия состоит из наемников, которые в техническом отношении могут превосходить знать в той области, которая по праву ей принадлежит. Следовало бы проанализировать появление учителей фехтования из простолюдинов, которые порой становились наставниками законных владельцев оружия. Отсюда вопросы, ставшие в XVII веке предметом казуистических дебатов: не благороднее ли простолюдин, прекрасно владеющий оружием, дворянина, который не умеет с ним обращаться? Вы прочтете об этом

---

17. Weber M. The meaning of discipline // From Max Weber: Essays in Sociology / H. H. Gerth, C. W. Mills (ed.). New York: Oxford University Press. 1946. P. 253–264.



у Элиаса. Всё это следствие концентрации физического капитала.

Эта концентрация физического капитала проходит в двойном контексте. Основная трудность в построении модели — удерживать вместе несколько сторон: некоторые [исследователи] движутся в одном направлении лучше, чем в других. Научные дебаты часто становятся плодом однонаправленного, одностороннего взгляда. Порой достаточно сложить вместе две-три вещи, чтобы прекратить эти дебаты. Для одних развитие профессиональной армии связано с войной, равно как и развитие налогообложения; но есть и внутренняя война, гражданская война, сбор налогов как своего рода гражданская война. Государство, таким образом, складывается в двойном контексте: с одной стороны, в отношениях с другими государствами, актуальными или потенциальными, то есть с правительствами-соперниками — отсюда потребность в концентрации капитала физической силы для ведения войн за земли, территории; с другой стороны, оно складывается во внутреннем контексте, в отношениях с властью, то есть с соперничающими князьями или с подданными, выступающими против сбора налогов или призыва в армию. Эти два фактора способствуют созданию мощных армий, внутри которых постепенно проводится различие между собственно вооруженными и полицейскими силами, чья задача — охрана внутреннего порядка. Это различие армии и полиции, сегодня совершенно очевидное, развивалось очень медленно, поскольку две эти силы долгое время смешивали друг с другом.

Чтобы понять, насколько этот процесс, кажущийся нам самоочевидным, удивителен, необходимо сравнить его с так называемыми обществами без государства, в которых есть обычаи, «право», но [нет] силы [специализированной, поставленной] на службу справедливого решения. В этих обществах применение физического насилия в форме мести возложено на семью. Отсутствие метаинстанции (метадомашней, метаклановой) порождает нескончаемые циклы насилия, каждый из которых захвачен логикой вызова и ответа на вызов —

которые я описал на примере Кабилии<sup>18</sup>. Каждый из обиженных неминуемо сам становится обидчиком под страхом потерять свой символический капитал, циклы насилия продолжают без конца, потому что нет инстанции, которая бы их остановила, или, если она есть, у нее нет необходимой [концентрации капитала] физической силы... Эти общества открыто ставят проблемы, которые наши общества скрыли, а именно те этические проблемы применения физического насилия, которые мы воочию наблюдаем сегодня [в Югославии]. Существует ли метанациональная власть, то есть власть, способная вмешаться на международном уровне, обеспечив выполнение международного права?

В связи с этим отошлю к тому, что в «Орестее», трагедии Эсхила, хор говорит об Оресте: как случилось, что мы вынуждены совершить преступление, чтобы наказать преступление? Не является ли поступок Ореста, сколь бы справедливым он ни был, точно таким же преступлением, как и преступление, которое он должен покарать? Не является ли санкция не меньшим преступлением, чем преступление, за которое она карает? Это вопросы, которые признание легитимности государства заставляет нас полностью забыть, за исключением тех случаев, когда начинаются вязкие и патафизические споры о смертной казни. Это пример докситического принятия государства, вспомнить о котором можно лишь благодаря возвращению к изначальным ситуациям догосударственной эпохи. Разумеется, сразу же становится заметным то, что накопление физического капитала не обходится без накопления символического капитала, потому что физический капитал опирается на мобилизацию (неслучайно это слово перешло из военного дела в политику), а потому и на конструирование принятия, признания, легитимности. Делать из накопления физического капитала перво-причину построения государства — значит следовать наивной логике, пытающейся найти единственную

---

18. *Bourdieu P. Le sens de l'honneur // Esquisse d'une théorie de la pratique. P. 19–60.*

причину. Итак, не бывает накопления физического капитала без одновременного или предварительного накопления капитала символического.

### Создание центрального экономического капитала и построение автономного экономического пространства

Второй фактор — налогообложение, которое часто связывают с капиталом физической силы, необходимой для отъема денег. Построение государства как метаполя, как власти создавать любые поля [осуществляется] через построение каждого из полей. То, что я говорю вам, может показаться абстрактным, но это не болтовня. В своем исследовании понятия «поля» я подчеркивал этот процесс, который описывали Дюркгейм, Вебер и Маркс: со временем общества дифференцируются, образуя отдельные и независимые универсумы, — думаю, что это один из общих законов, с которым можно согласиться. Согласно Дюркгейму, в «первобытных» обществах все смешано: религиозный порядок, научный, экономический, ритуальный, политический; в них наблюдаются «мультифункциональные» или «сверхдетерминированные», как говорил Альтюссер, действия («мультифункциональные» звучит лучше). По мере того как общества [развиваются], разные порядки отделяются в них друг от друга, создаются универсумы, у каждого из которых свой собственный номос, своя специфическая легальность. Например, экономика как экономика — это тавтология: «Бизнес — это бизнес» или «В бизнесе нет места чувствам». Экономический обмен обособляется в отдельный порядок, не совпадающий с домашним порядком, чего многим обществам добиться не удалось.

Образование государства тесно связано с этим процессом дифференциации, и, повторяюсь, я понял это лишь недавно и потому особенно это подчеркиваю: государство образуется как инстанция метаполя, участвующая в образовании самих полей. Например, в экономическом поле налогообложение связано с образованием центрального экономического капитала, своего

рода центральной казны, которая дает ее держателю власть: он имеет право выпускать деньги, устанавливать курс, принимать экономические решения и т. д. Образование этого центрального экономического капитала дает государству власть, позволяющую ему участвовать в образовании автономного экономического пространства, в создании нации как единого экономического пространства. В книге «Великая трансформация»<sup>19</sup> Поланьи (один из моих кумиров) показывает, что рынок складывался не сам по себе, *motu proprio*, но становится продуктом определенной работы, в частности, работы государства, часто ориентировавшегося на меркантилистские теории. Государство сознательно участвовало в структурировании этого пространства, которое кажется нам само собой разумеющимся, при том что оно является институтом. Генезис фискальной власти и основанной на ней экономической власти идет одновременно с унификацией экономического пространства и созданием национального рынка.

Сбор налогов династическим государством, как отмечают историки, имеет одну исключительную особенность: он очень четко отличается от всех предшествующих форм тем, что деньги собираются непосредственно со всей совокупности подданных, а не как в случае феодального взимания, не с некоторого числа подданных, связанных с князем личными отношениями. Иначе говоря, происходит переход от налогообложения феодального типа, предусматривавшего, что платят только вассалы, что означало, что они сами могут собрать деньги с собственных вассалов, к чему-то более универсальному, более безличному. Можно найти предшественников этого государственного налога. (В литературе авангард всегда означает движение в будущее; у историков же он, наоборот, — движение в прошлое. У них эта регрессия в прошлое *ad infinitum* гомологична искушению авангардом для художников. Это эффект поля: те, кто находится в этом поле, испытывают искушение сказать, что это уже было. Но на самом деле самого первого начала никогда нет.)

---

19. Поланьи К. Великая трансформация. СПб., 2002.

Развитие налогообложения связано с военными расходами. Мы видим связь между двумя формами, которые я разделил произвольно: мы переходим от сбора налогов, действующего по логике дара и отдаривания, к бюрократическому взиманию. Здесь я опираюсь на работу Джеральда Харриса, который анализирует появление в Англии элементарных форм налогообложения<sup>20</sup>. Харрис подчеркивает, что феодальный сбор дани воспринимается как *dona*, «добровольное согласие на ограбление». Вот пища для размышлений о сегодняшних махинациях с налогами... Мы снова попадаем в порядок веры, подчинения, повиновения, доброй воли, а значит, символического капитала и, соответственно, легитимности. Обмен дарами отличается от отношений взаимовыгодного обмена тем, что эти отношения не воспринимаются в качестве взаимовыгодных: я приношу тебе дар, а ты его отдаришь, когда сможешь; но если ты отдариваешь сразу же, это отношения взаимовыгодного обмена, что означает, что ты отказываешься [от моего дара; или же] ты берешь паузу, приглашаешь меня вернуться недели через две... Это отдельная социальная работа — трансформировать экономический обмен в символический как отрицание экономического обмена. В феодальной системе обмена между князем и его феодалами встроены в логику дара, экономических обменов, не воспринимаемых в качестве таковых. Это форма, которую принимает экономический сбор дани в случае, когда между тем, кто взимает дань, и тем, кто ее платит, существуют отношения личной зависимости, подразумевающие личное признание<sup>21</sup>.

На смену этой логике докапиталистического налогообложения приходит логика капиталистического типа: сборы становятся обязательными, регулярными, происходят в установленные сроки. В кабийской экономике самое ужасное — указать срок; там стараются не говорить ничего конкретного, если есть реальные сроки, о них не говорят. Только женщины, у которых нет

20. Harris G. L. King, Parliament and Public Finance in Medieval England to 1369. Oxford: Clarendon Press, 1975.

21. Bourdieu P. Esquisse d'une théorie de la pratique.

чести, а значит, и заботы о символическом капитале, могут позволить себе сказать: «Отдашь мне в такой-то день», не потеряв лица. В современных семьях разделение экономического труда по-прежнему следует этой модели, когда мужчина говорит жене: «Сходи узнай цену...». Налог воспринимается как «не ограниченный иными сроками, нежели те, что для него регулярно устанавливает король»: это центральная инстанция, устанавливающая правила игры; налог в прямой или косвенной форме применяется ко всем группам населения. Разумеется, развитие такого рационального и формального налогообложения сопровождается появлением налоговой администрации и целого ряда учреждений, которые предполагают письменность: накопление экономического капитала неотделимо от накопления культурного капитала, от существования писцов, книг, проверок. Важнейшее значение имеет изобретение проверок: если бы не было государственных проверок, предназначавшихся для сбора налогов, историкам было бы нечего делать. Сбор налогов предполагает отчетность, подтверждение, архивацию, арбитраж, продажу с торгов, методы оценки имущества, то есть проверки.

Зарождение налогообложения идет параллельно с накоплением капитала, которым обладают профессионалы бюрократического управления, и с накоплением огромного информационного капитала. В этом состоит связь между государством и статистикой: государство тесно связано с рациональным познанием социального мира. Существуют причинно-следственные связи кругового типа — А вызывает В, которое вызывает А, — между созданием армии, созданием системы налогообложения и накоплением информационного капитала. Эти отношения взаимозависимости становятся особенно заметны с того момента, когда в масштабах всей территории в целом вводится налог, тесным образом связанный с наличием армии, способной обеспечить его сбор; сбор налогов в этом случае становится чем-то вроде легитимной гражданской войны. С точки зрения Ива-Мари Берсе, «налоги обязательно связаны с силой, на которую они опираются и которая делает

их возможными»<sup>22</sup>, даже если по мере укрепления документального согласия с государством силу приходится применять только в крайних случаях. Институционализация системы налогообложения — завершение своего рода внутренней войны, которую агенты государства вели, чтобы подавить сопротивление подданных. Историки справедливо задаются вопросом о том, с какого момента появляется чувство принадлежности к государству, которое не обязательно совпадает с тем, что называется патриотизмом, чувство того, что ты подданный государства. Переживание принадлежности к определенной [территориальной] единице очень сильно связано с опытом уплаты налогов. Подданного в себе открывают в тот же момент, когда и налогоплательщика. Происходит удивительное изобретение юридических и полицейских мер, направленных на то, чтобы заставить неплательщиков платить, к каковым мерам относится лишение свободы и солидарная ответственность.

И последний пункт, показывающий взаимозависимость всех факторов и зависимость накопления экономического капитала от накопления капитала символического: применение физического насилия, необходимого для сбора налогов, возможно только в той мере, в какой оно маскируется под символическое насилие. Бюрократия занимается не только созданием архивов, она еще изобретает и дискурс легитимации: налоги нужны, чтобы вести войну, война всех нас касается, мы должны защитить себя от иностранных захватчиков. Затем от налогов, взимаемых в военное время, происходит переход к налогам на нужды национальной обороны, собираемым на постоянной основе; от прерывистого переходят к непрерывному, что предполагает очень важную работу по конструированию символического. Построение государства — это в значительной мере ментальное изобретение. Для проведения самой работы по сбору налогов очень важно применение символической силы.

---

22. *Bercé Y.-M.* Pour une étude institutionnelle et psychologique de l'impôt moderne // *Genèse de l'État moderne* / J.-P. Genet, M. Le Mené (dir.). P. 164.

Историки, как и все ученые, воспринимают определенные предметы или темы в качестве важных только в той мере, в которой они вводятся в таком качестве историком, которого они сами считают важным. В период между двумя мировыми войнами Шрамм ввел тему символического аспекта королевской власти<sup>23</sup>. С тех пор появилось бесчисленное количество работ о въезде короля в город, посвящении, коронации, то есть о всей центральной символике: это самоподкрепление значимости темы за счет бюрократической рутины, которая представляет собой существенный фактор научной инерции. О всех остальных важных феноменах вдруг забывают. Историк [Ив-Мари Берсе] подчеркивает факт, который может показаться второстепенным: для того чтобы собрать налоги, требовалось выдать ливреи, особую одежду тем, кто был уполномочен королем на это дело<sup>24</sup>. Некоторые должны были собирать налоги самостоятельно, за свой счет. (Та же сама проблема встает в случае благотворительности.)

Метафора государства как легитимного рэкета у Элиаса — больше чем метафора. Речь идет о том, чтобы создать корпус агентов, которым поручено собирать налоги и которые могут действовать, не расхищая собранного. Необходимо было, чтобы агенты и методы сбора налогов легко отождествлялись с лицом, с достоинством власти, будь то власть города, сеньора или суверена. Необходимо было, чтобы исполнители носили ливрею, чтобы их авторитет подкреплялся соответствующими эмблемами, чтобы они произносили свои уведомления от имени этого суверена<sup>25</sup>. Нужно было, чтобы их воспринимали как уполномоченных представителей, имеющих *plena potentia agendi* <полную свободу

---

23. Schramm P.E. Kaiser, Rom und Renovatio. Studien und Texte zur Geschichte des römischen Erneuerungsgedankens vom Ende des karolingischen Reiches bis zum Investiturstreit. 2 vol. Berlin: Teubner, 1929.

24. Bercé Y.-M. Pour une étude institutionnelle et psychologique de l'impôt moderne // Genèse de l'État moderne / J.-P. Genet, M. Le Mené (dir.). P. 164.

25. Элиас Н. О процессе цивилизации. Гл. «О механизме возникновения и действия монополии».



действий», и чтобы эти полномочия доказывал не только подписанный указ, но и ливрея, демонстрирующая достоинство и одновременно легитимность их функции. Это проблематичное делегирование полномочий — любой полномочный представитель может злоупотребить делегированной властью для извлечения выгоды — предполагает контроль за этими уполномоченными; следовательно, нужны контролеры за сборщиками налогов. Чтобы уполномоченные представители выполняли свои обязанности, не прибегая всякий раз к физическому насилию, необходимо, чтобы был признан их символический авторитет; есть молчаливая апелляция к тому, что сбор налогов легитимен; авторитет того, кто уполномочивает людей производить подобное изымание денег, должен быть легитимным, даже если само это изымание кажется несправедливым.

Один из принципов генезиса идеи государства как инстанции, трансцендентной по отношению к агентам, которые ее воплощают, может быть связан с тем, что несправедливости агентов противопоставлялась справедливость короля — «Не может быть, чтобы этого хотел король»: [в наши дни] это «письмо Президенту республики», то есть идея верховной инстанции, не сводимой к своим эмпирическим проявлениям в чувственном мире. Можно подготовить превосходную историографию на тему возмущения злоупотреблениями, плохими слугами короля, возмущения, из которого следует, что король к этим слугам не сводится. Мы видим связь с генезисом права, трансцендентного по отношению к частным правам, в процедуре апелляции, когда король оказывается тем, к кому обращаются как к последней инстанции, — эту идею мы потом обнаруживаем и у Кафки. Эта последняя инстанция может быть связана с первоначальным опытом средневекового крестьянина, который открывал для себя государство в людях, требовавших у него денег от имени чего-то другого... Исходя из этого, можно понять трансцендентность [государства].

## Лекция 7 марта 1991 года

*Ответы на вопросы: конформизм и консенсус. — Процесс концентрации видов капитала: сопротивление. — Унификация юридического рынка. — Формирование заинтересованности в универсальном. — Точка зрения государства и обобщение: информационный капитал. — Концентрация культурного капитала и национальное строительство. — «Знать по природе» и государственная знать.*

### Ответы на вопросы: конформизм и консенсус

**Я** ПОПЫТАЮСЬ ответить на один вопрос, за который я благодарен его автору, хотя он и приводит меня в отчаяние, потому что позволяет оценить степень непонимания [моего анализа]... Я его частично зачитаю, чтобы попытаться в какой-то мере на него ответить: «Вы подчеркнули, что марксизм рассматривает государство как угнетение, а вы — как консенсус... [я не это пытался сказать]. Не кажется ли вам, что марксизм намного сложнее? Достаточно взглянуть на Грамши. Разве в марксизме не главное — рассматривать общество в качестве уже заложенного фундамента государства? Считаете ли вы государство фундаментом гражданского общества?» Этот вопрос показывает, насколько проблематика, навязанная традицией, сопротивляется даже самому методичному сомнению. Я нередко чувствовал, что топчусь на месте, двигаюсь слишком медленно, хотя и говорил себе, что, если учитывать то, о чем я хочу рассказать, быстрее идти невозможно, поскольку требуется избавиться от общепринятого образа мышления. Вопрос вроде заданного заставляет меня думать, что я иду все-таки слишком быстро. И я хотел бы напомнить то, о чем уже давно говорю, опираясь на Маркса, Дюркгейма, Вебера и других: я пытался показать, что для понимания современного государства нужно преодолеть противопоставление трех этих великих традиций вместе с их версиями, развитыми в современной науке, осмыслив государство как инструмент социальной организации, способный обосновывать логический и моральный конформизм, а также и консенсус, но в совершенно особом смысле.

Я настаивал на том, что логическая и моральная интеграция, проводимая государством, есть условие господства, которое государство может осуществлять в интересах тех, кто способен это государство присвоить. Эти два момента не составляют противоречия, когда сочленяются друг с другом особым сложным образом. Беда сложных мыслей в том, что их трудно сформулировать и очень легко поломать...

Это предпоследняя лекция в этом году. Очевидно, я сильно отстаю от своей программы — как это было во все годы — по причинам несовпадения между тем, что у меня на уме, и условиями передачи этих идей. Каждый раз мне приходится делать отступления для объяснения вводных моментов, и поэтому я иду медленнее, чем хотелось бы. В прошлый раз я зачитал своего рода предваряющий план того, что буду рассказывать, и думаю, важно, чтобы вы держали его в голове, дабы несколько затушевать разочарование, вызванное этим досрочным перерывом, и возвращались к этому плану, вспоминая о том, что я хотел сделать и чем буду заниматься еще год.

### Процесс концентрации видов капитала: сопротивление

Итак, сегодня я попытаюсь завершить описание процесса концентрации, который набросал в прошлый раз, оставив последнее занятие на то, чтобы в общих чертах описать особенности династического государства. Я упомянул две стороны этого процесса: 1) концентрация физической власти, военной и полицейской; 2) концентрация экономического капитала благодаря монополии на сбор налогов. Я показал, что, по моему мнению, предварительным условием этого процесса концентрации физической и экономической силы является концентрация символического капитала. С моей точки зрения, символический капитал — это основа. Чтобы подкрепить это положение, я указал на то, что изобретение налогообложения в современном смысле сопровождалось немалой работой по оправданию, легитимации налогов. Ссылаясь на современных историков, я сказал, что сбор нало-

гов был итогом своего рода гражданской войны; я упомянул аналогию, которую Элиас проводил между налогами и рэккетом. Необходимо помнить, что налоги — это легитимный рэккет, то есть рэккет, не признаваемый в качестве такового, а потому признаваемый легитимным. Но исходно об этом двусмысленном характере налогообложения вполне очевидно напоминает то, что люди спрашивали, почему у них отбирают деньги, то есть они не были уверены, что те, кто эти деньги отбирает, уполномочены это делать [и] что собранные деньги не идут в карман тех, кто их собирает.

Корриган и Сейер выдвигают на первый план идею, нередко упускаемую из виду, о том, что построение государства сталкивалось с очень сильным сопротивлением, которое, впрочем, не прекратилось и в наши дни. И сегодня еще встречаются различные формы жакерии. Точно так же сегодня образование европейского транснационального государства вызывает сопротивление, порой связанное именно со сбором налогов. Чтобы сломить это сопротивление, политики вынуждены проводить двойную работу. Во-первых, работу по обоснованию: мы видим, как вырабатывается, в основном силами юристов, которые становятся одними из изобретателей государства, дискурс, оправдывающий «официальное ограбление», которое должны совершить агенты короля. Вторая сторона этой работы заключается в создании налоговых органов, эффективных в техническом отношении, способных вести отчетность — что предполагает письмо, — но в то же время способных выступить в качестве легитимных. В связи с этим я говорил о важности изобретения ливрей, базовой символики государства, государственного человека, то есть чиновника, того, кто является легитимным уполномоченным представителем и имеет право сказать, что получил от имени государства *plena potentia agendi*. Ему не всегда верят на слово, и поэтому он должен представить свой мандат. Униформа или ливрея — это эмблема, которая, подобно гербам у знати, свидетельствует о легитимности данного чиновника. «Необходимо было, чтобы простые налогоплательщики могли распознавать ливреи стражи, гербовые таблички на

будках. Они отличали налоговых откупщиков, ненавистных и презренных финансовых агентов, от королевских всадников, стражей конно-полицейской жандармерии, органов суда и городского управления, а также от гвардейцев, которых считали неуязвимыми из-за их шлемов, раскрашенных в королевские цвета»<sup>1</sup>.

Вот пример символической силы, которая является частью физической силы; символика королевской власти ассоциирует эту власть со священным, которое в качестве такового выступает отталкивающей силой. «От лиц, в соответствующей форме заключивших откуп с королевским казначейством, и до последнего помощника откупщика, которому поручался сбор налогов на месте, образовался целый каскад посредников, постоянно подозревавшихся в хищении налогов и узурпации власти»<sup>2</sup>. Государство, эта таинственная сущность, воплощается в ряде индивидов, образующих иерархию, в которой они являются уполномоченными представителями друг друга, так что оно всегда оказывается конечной точкой бесконечной регрессии: это кафкианская парадигма государства как последней инстанции, на которую можно выйти, подавая одну апелляцию за другой<sup>3</sup>. Еще яснее эта модель обнаружится в праве. Подобный каскад делегированных представителей всегда вызывает два подозрения: в том, что уполномоченные представители на самом деле не уполномочены и что, даже если уполномочены, они не отдают то, что собирают, тому, кто их уполномочил. Отошлю вас к двум работам: «Социальная психология налогообложения»<sup>4</sup> и «Психология финансов и налогов»<sup>5</sup>.

Существует множество работ о коррупции, одной из важнейших проблем с точки зрения понимания гене-

---

1. *Bercé Y.-M.* Pour une étude institutionnelle et psychologique de l'impôt moderne. P. 164.

2. Ibid.

3. *Bourdieu P.* La dernière instance // *Le Siècle de Kafka*. Paris: Centre Georges-Pompidou, 1984. P. 268–270.

4. *Dubergé J.* La Psychologie sociale de l'impôt dans la France d'aujourd'hui. Paris: PUF, 1961.

5. *Schmolders G.* Psychologie des finances et de l'impôt / G. Khairallah (trad.). Paris: PUF, 1973.

зиса государства. В самом скором времени я обращусь к превосходной работе одного французского синолога о коррупции в Китайской империи, поскольку в Китае словно под увеличительным стеклом видно то, что наблюдалось на Западе на этапе зарождения государства<sup>6</sup>. Возникает вопрос о том, является ли коррупция неизбежным свойством всякого процесса делегирования или же она связана с габитусом, с предрасположенностями и системами контроля. Небольшая администрация в действительности очень коррумпирована, она становится той мишенью, на которую обращается недовольство, вызванное налогами. Я дам приблизительный перевод отрывка из статьи Хилтона<sup>7</sup>: «Существовала значительная сеть мелких чиновников, подручных сборщиков налогов, помощников шерифа, бальи; эти чиновники, что, собственно, и наблюдается в разных обществах, были надлежащим образом организованы и оплачивались, но они были коррумпированы, и это было известно как их жертвам, так и чиновникам более высокого ранга в монархии». Они подвергались двойной стигматизации. В то же время эта всем известная и всеми признаваемая коррупция могла стать одной из причин разведения реального государства и теоретического, то есть государства, воплощенного в чиновниках, и государства, трансцендентного по отношению к ним и воплощенного в фигуре короля.

Я выдвигаю гипотезу, согласно которой у народа могла появиться идея государства, трансцендентного по отношению к своим воплощениям и явленного фигурой короля, поскольку король мог воплощать в себе ту последнюю инстанцию, к которой можно обратиться. Эта отсылка к трансцендентному государству, уже

---

6. Will P.-É. Bureaucratie officielle et bureaucratie réelle. Sur quelques dilemmes de l'administration impériale à l'époque des Qing // *Études chinoises*. 1989. VIII. P. 69–141. Пьер-Этьен Виль в дальнейшем вместе с Оливье Кристэном и Пьером Бурдые станет координатором специального номера «Actes de la recherche en sciences sociales» «Наука государства» (№ 133, 2000).

7. Hilton R. H. Resistance to taxation and to other State imposition in Medieval England // *Genèse de l'État moderne* / J.-P. Genet, M. Le Mené (dir.). P. 173–174.

наличествующая в праве, — шаг на пути построения чистой и безличной государственности, соответствующей современной идее государства как абстрактной сущности, не сводимой к своим воплощениям. Наблюдатели также подчеркивают, что признание легитимности налогов или признание необходимости подчиниться требованиям налогообложения в целом развиваются вместе с зарождением своего рода национализма, шовинизма. Хилтон указывает, что именно через развитие ощущения необходимости налогов для защиты территории постепенно развивается идея патриотизма, которая сама становится главной составляющей оправдания сбора налогов.

### Унификация юридического рынка

Я хотел вкратце рассказать о процессе унификации юридического рынка. В самом начале, примерно в XII веке, в Европе сосуществовало множество взаимоисключающих видов права: церковная юрисдикция, «христианские суды»; светские юрисдикции — к которым относится в том числе и собственно королевское правосудие; сеньориальные суды; правосудие коммун или городов; корпоративное правосудие; коммерческие суды. Отошлю вас к двум авторам, Адемару Эсмену и Марку Блоку. [Эсмен — автор] «Истории уголовной процедуры во Франции и следственной процедуры с XII века до наших дней»<sup>8</sup>. Это книга, лишенная теоретических претензий, исключительно интересна, поскольку позволяет увидеть, как благодаря установлению процедуры апелляции все юрисдикции, кроме королевской, в особенности сеньориальная юрисдикция, лишаются судебной власти. Изначально сеньориальное правосудие, подобно сеньориальной военной власти, — это личное правосудие: сеньор имеет право судить своих вассалов, но только их, то есть только тех, кто проживает на его землях, включая знатных вассалов,

---

8. *Esmein A. Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire, depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours.* Paris: Larose, 1882; переиздано: Panthéon-Assas, 2010.

свободных людей и крепостных, к каждому из которых применяются разные правила. Король имеет право от-  
правлять правосудие только в королевском домене. Будучи и сам в своем роде большим сеньором, он судит  
только споры между своими прямыми вассалами и жи-  
телями своих собственных сеньорий. Компетенция ко-  
ролевского суда расширяется по мере расширения коро-  
левского домена. Прочитирую Марка Блока, второго ав-  
тора: «Королевское правосудие стремится проникнуть  
в общество в целом. [Распространение королевского  
правосудия] было относительно поздним явлением:  
приблизительно можно сказать, что оно началось толь-  
ко в XII веке, было медленным и, самое главное, про-  
исходило без какого бы то ни было общего плана, без  
законодательных текстов и, если так можно выразить-  
ся, наобум<sup>9</sup>».

Я уже цитировал вам этот текст в прошлом году, чтобы указать на философию истории, которой я поль-  
зуюсь в своем анализе государства, на этот процесс по-  
строения, по видимости случайный, но при этом произ-  
водящий необходимость. Эта формулировка Марка  
Блока очень интересна. Здесь присутствует идея о том,  
что у генезиса есть логика, которая отнюдь не являет-  
ся логикой обычной логики, но при этом производит  
продукты, обладающие логикой. Выходящий за пределы  
отдельных сеньорий и охватывающий их всех судебный  
аппарат образуется постепенно: появляются прево, ба-  
льи, Парламент и т. д. Я не углубляюсь в детали, а пыта-  
юсь дать описание общего закона этого процесса, кото-  
рый хорошо замечен в праве, но в то же время является  
общим процессом, процессом дифференциации, в ходе  
которого образуется юридическое поле как таковое,  
складывается как отдельный, автономный универсум,  
подчиняющийся собственным законам, не сводимым  
к законам сосуществующих с ним универсумов. А с дру-  
гой стороны, что ничуть этому не противоречит, идет  
процесс концентрации: происходит формирование коро-  
левской монополии на судебную власть, которая отби-  
рается у сеньоров. Два этих внешне антагонистических

---

9. Bloch M. Seigneurie française et manoir anglais. P. 85.



процесса, на самом деле, согласуются друг с другом: концентрация происходит именно через унификацию юридического рынка<sup>10</sup>.

Не следует представлять себе концентрацию как простой процесс капиталистического накопления, когда идет игра в шары, и все шары собираются у короля. Концентрация — это установление единственной игры: там, где шло множество игр — сеньориальный суд, городские суды, — теперь остается только одна игра, так что все игроки должны отныне размещаться в этом игровом пространстве, и они размещаются в нем на определенных позициях. Очевидно, что над полем можно установить господство. Монополистическая концентрация юридической власти связана с тем, что Парламент, а через него и король, стремится к господству над юридическим полем, но для того, чтобы осуществлять эту способность к господству, необходимо, чтобы юридическое поле было унифицировано и конституировано в качестве такового.

Сказав о принципе, я расскажу в основных чертах о процессе, в котором реализуется эта концентрация. Отошлю вас к недавно вышедшему сборнику под редакцией Жака Ревеля и Андре Бюргера, посвященному зарождению государства. Главу о Средневековье написал Жак Ле Гофф<sup>11</sup>. Королевское правосудие начинает прибирать к рукам уголовные дела, ранее отдававшиеся на рассмотрение сеньору или церкви. Книга Фостэна Эли «Трактат о следствии по уголовным делам» показывает, как королевская юрисдикция постепенно расширяет свою компетенцию<sup>12</sup>: «королевские дела» о посягательстве на королевские права отдаются только королевским бальи, например, дела по оскорблению величества, фальшивомонетничеству, которое суть присвоение деятельности [монополизированной] королем, и подделке печатей (*sybillum authenticum*), являю-

10. См.: Бурдьё П. Власть права. Основы социологии юридического поля // Социальное пространство: поля и практики. С. 75–128.

11. Le Goff J. L'État et les pouvoirs. P. 32.

12. Hélie F. Traité de l'instruction criminelle. T. I. Paris, 1866.

щихся материальным воплощением королевской власти, эквивалентом аббревиатуры <sigle>, обозначающей ту или иную ассоциацию, символическим воплощением коллективной сущности, корпорации, то есть сущности, существующей исключительно на бумаге. Это типичное преступление против священного — присвоение себе символической власти короля. Королевская юрисдикция забирает себе все королевские дела и понемногу забирает и сеньориальные или церковные дела, основываясь на теории апелляции, которую разрабатывают юристы. Это хороший пример заинтересованности в универсальном: юристы тесно связаны с унификацией юридического рынка, потому что это их рынок; они заинтересованы в незаинтересованности, в универсализации.

### Формирование заинтересованности в универсальном

Чтобы понять появление универсальных институтов, институтов формально универсальных или формально отнесенных к универсальному, таких как государство, правосудие, наука, можно предположить, что существует заинтересованность в универсальном, что у людей есть частный интерес к отстаиванию универсального. Юристы, очевидно, были заинтересованы в унификации права, будучи производителями трактатов по праву, поставщиками юридических услуг. В этом отношении они были чиновниками, верными воинами универсальности. Они разрабатывают теорию апелляции и настаивают на том, что феодальные суды не суверенны; они были суверенными, но перестали ими быть. Допускается, что любой приговор, вынесенный сеньором в своем суде, может быть передан обремененной стороной для пересмотра королю, если он противоречит местным обычаям. Эта процедура называется «процедурой прощения»; если апелляция — это формальная процедура, то прощение остается феодальным актом. Я хотел бы описать эту смешанную фазу, на которой такие слова, как «прошение», имеющие феодальный оттенок, уже начинают функционировать универсальным, безличным

образом. Процедура прошения постепенно трансформируется в апелляцию, которая подчиняет королю все юрисдикции королевства; мало-помалу судьи, стихийные жюри при феодальных дворах исчезают, уступая место профессиональным юристам, судебным чиновникам. Апелляция следует правилу подведомственности: от личных отношений с феодалом происходит переход к территориальным отношениям, когда территория определенным образом иерархизирована; апелляция идет от нижестоящего сеньора к вышестоящему согласно этой иерархии, от герцога к графу и, наконец, к королю. Этапы нельзя пропускать. Образуется единое иерархизированное пространство, в котором нельзя двигаться как попало. Королевская власть опирается на специфические интересы юристов, которые в это время создают всевозможные легитимирующие теории, согласно которым король представляет общий интерес и обязан гарантировать всем безопасность и правосудие; юристы развивают теории легитимации, согласно которым король ограничивает компетенцию феодальных юрисдикций и подчиняет их себе. То же самое происходит с церковной юрисдикцией; например, государственное право стремится к тому, чтобы ограничить право предоставления убежища, имеющееся у церкви, и постепенно ограничивает ее права, в итоге сводя их на нет.

Параллельно с образованием юридического поля формируется корпус юристов. Интерес понятия «поля» в том, что очень часто описание генезиса поля ограничивается описанием генезиса корпуса. Разница существенная: хотя не бывает поля без корпуса, хотя религиозное поле не может обойтись без корпуса священнослужителей и пророков, поле не сводится к корпусу<sup>13</sup>. Для оправдания наличия теории относительной автономии права в марксистской традиции часто ссылаются на один текст Энгельса. В нем он отмечает, что можно наблюдать формирование корпуса юристов<sup>14</sup>. На самом

13. См.: Bourdieu P. Effet de champ et effet de corps // Actes de la recherche en sciences sociales. 1985. No. 59. P. 73.

14. Энгельс Ф. Письмо Конраду Шмидту. С. 414–421.

деле юридического корпуса недостаточно для образования юридического поля. Тем не менее в той мере, в которой юридическое поле складывается как унифицированное пространство, внутри которого дела могут решаться только юридически (поля всегда определяются тавтологически), в соответствии с господствующим определением права, то есть в соответствии с государственным определением права, складывается корпус людей, которые заинтересованы в существовании этого поля и обязаны ему своим легитимным существованием.

Это судебное поле самоорганизуется, устанавливает внутри себя иерархии: прево, бальи, сенешали; они закрепляются за подведомственной территорией, их компетенции, гарантированные государством, неотделимы от этой территории. Это современное определение чиновника: он является тем, чья компетенция институционально гарантирована, действительна в границах его ведомства; за его пределами она перестает действовать, и он не может ее осуществлять. Чиновники перестают выступать теми, кто уполномочил самих себя, становясь наместниками *plena potentia agendi*, то есть уполномоченными, выполняющими функцию, занимающими место верховной власти; судебные чиновники становятся несменяемыми.

Наряду с образованием корпуса наблюдаются кодификация и формализация процедур: унификация сопровождается стандартизацией, гомогенизацией, что очевидно в случае мер и весов, когда пределом оказывается создание всеобщего эталона. Создаются универсальные юридические эталоны и формальные юридические процедуры, во многом аналогичные алгебраическим процедурам. Юридический закон должен действовать для любого  $X$  на всей территории юрисдикции, пусть и с некоторыми оговорками, которые тоже формально определены. Мы наблюдаем процессы концентрации и кодификации, которые исторически, судя по всему, были завершены ордонансом 1670 года, ратифицировавшим прогрессивные завоевания юристов: 1) компетенция, привязанная к месту преступления, становится правилом (связь между компетенцией и территориальной юрисдикцией);

2) превосходство королевских судей над судьями сеньоров; 3) списки королевских дел; 4) отмена церковных и общинных привилегий, судьи апелляционного суда — только королевские судьи. Компетенция в пределах некоторой территориальной юрисдикции, делегированная наместникам королевской властью, приходит на смену прямой личной зависимости. Этот процесс, ведущий от личного к безличному, можно обнаружить во всех процессах концентрации.

### Точка зрения государства и обобщение: информационный капитал

Еще одна сторона этого процесса — концентрация капитала, который можно назвать культурным или, точнее, информационным, чтобы придать ему более общий характер, поскольку культурный капитал — всего лишь один из аспектов информационного капитала. Эта концентрация происходит одновременно с унификацией культурного рынка, примером может быть национальный диплом, свидетельство, действительное на всех рынках. С самого начала (что подтверждается во всех традициях — в Древнем Риме, Китае) появление государственной инстанции сопровождается стремлением публичной власти измерять, считать, оценивать и познавать. Зарождение государства неотделимо от накопления огромного информационного капитала. Например, секретные службы — неотъемлемый элемент современных государств — получают развитие именно с появлением государства. Публичная власть проводит проверки состояния ресурсов, которые должны быть «оценены». Жорж Дюби указывает, что в 1194 году производится «сержантская оценка», опись, которую производят сержанты: «Подсчет гужевого транспорта и вооруженных людей, которых восемьдесят три города и королевских аббатства должны предоставить королю, собирающему свою армию». Здесь хорошо видна связь между накоплением информационного капитала и накоплением капитала военного. Еще один пример, взятый у Дюби: в 1221 году в зачаточной форме появляется бюджет, когда проис-

ходит разделение на доходы и расходы. Государство не довольствуется концентрацией информации, оно ее обрабатывает и перераспределяет (это дефицитный ресурс), причем перераспределяет по-разному и с разными целями<sup>15</sup>.

Эта работа по концентрации — в то же время работа по унификации; это теоретическая унификация. Я люблю цитировать фразу Вирджинии Вульф об общих, генеральных идеях: «Генеральные идеи — это идеи генералов»<sup>16</sup>. Эта замечательная фраза напоминает теоретикам о том, кем они являются. Если теория в состоянии соблазнить юного мыслителя, то именно потому, что он мечтает стать генералом... Такой анализ научного разума является частью социологического анализа специфических влечений, которые могут нас вдохновлять: важно знать, что глобальное, обобщенное видение, взгляд сверху, всеохватный, теоретический взгляд — *theorein* значит «созерцать», «видеть», «смотреть сверху», «[иметь доступ к] точке зрения» — связывается с государством. Именно вместе с государством возникает ряд вещей, которые кажутся нам самоочевидными: например, географическая карта. Когда я был этнологом, мне пришлось проделать теоретическую работу, чтобы деконструировать у себя в голове идею плана. Я рисовал планы домов, деревень<sup>17</sup>; я не знал, что веду себя как генерал. Понимание того, что это действие генерала, позволило мне освободиться от того [что этим подразумевалось], от этой совершенно особой конструкции, которая мешала мне увидеть то, что люди перемещаются не по планам, а по маршрутам, как говорят феноменологи; они [движутся] в годологическом пространстве, в пространстве перемещения. Когда мы создаем генеалогии, мы, ученые, ведем себя как генералы.

15. *Duby G. Histoire de France. T. I. P. 283–284.*

16. См.: Бурдье П. Мужское господство // Социальное пространство: поля и практики. С. 286–364.

17. См. то, что Бурдье пишет об этих исследованиях, в работе: *Bourdieu P. Esquisse pour une auto-analyse. Paris: Raisons d'agir, 2004. P. 64–102; касательно применения на практике см: Idem. La maison ou le monde renversé // Esquisse d'une théorie de la pratique. P. 61–82.*

Накопление государством символического капитала сопровождается работой по созданию генеалогий: назначаются официальные лица, ответственные за генеалогии знати. Генеалогия — базовая операция для антрополога, и нет такого антрополога, который бы не составлял генеалогий, но антрополог не знает, что делает то же, что делал король... Большинство описаний — план, карта, генеалогия — всё это действия, совершаемые с верховной, вышестоящей позиции, с высоты. В журнале «*Les Actes de la recherche*» была опубликована очень хорошая статья Светланы Альперс о теории голландской живописи, опиравшейся на картографию: в голландской живописи используется точка зрения картографа<sup>18</sup>.

Государство — теоретический унификатор, теоретик. Оно производит унификацию теории. Оно занимает центральную, верховную точку зрения, точку зрения обобщения. Неслучайно статистика — важнейший инструмент государства: она позволяет обобщать индивидуальную информацию и тем самым получать информацию, которой ни один из индивидов, предоставивших информацию, не обладает. Статистика и есть трансцендентная техника, позволяющая производить обобщение (всё, что я говорю о государстве, верно и для статистики), но получить средства для «добычи» информации не так-то легко. Некогда сборщики налогов должны были иметь ливреи. Сегодня, если вы хотите провести исследование потребления, необходимо показать удостоверение, люди не соглашаются давать информацию. Государство должно иметь средства для ее сбора; оно говорит, что это обязательно, что вы обязаны отвечать. Затем у него должны иметься средства фиксации информации, ее обработки (компьютеры, бухгалтеры), интерпретации и выведения из нее статистических закономерностей, отношений, трансцендентных по отношению к индивидам и не осознававшихся (индивиды ими не управляют). Путем обобщения со-

---

18. *Alpers S. L'oeil de l'histoire. L'effet cartographique dans la peinture hollandaise au XVIIe siècle // Actes de la recherche en sciences sociales. 1983. No. 49. P. 71–101.*

циального мира государство овладевает искусством, которым не владеют социальные агенты. Еще одна типичная государственная операция: сводка, чем выше вы поднимаетесь по административной иерархии, тем больше вы делаете сводок.

Государство тесно связано с объективацией и со всеми ее техниками: оно относится к социальным фактам как к вещам, к людям как к вещам: оно было дюркгеймианским еще до Дюркгейма. Поэтому Дюркгейм в качестве теории государства использовал само государство, которое было им интериоризировано. Будучи государственным чиновником, не считавшим себя таковым, в вопросах государства он чувствовал себя как рыба в воде; у него была объективистская теория социального мира, отражавшая то неявное представление, которое государство имеет о своих подданных. Государство — это единообразный взгляд с высоты птичьего полета на пространство, которое теоретически унифицировано и гомогенизировано актом своего конструирования. По сути дела, это картезианское пространство. Если бы мы хотели заняться социологией знания, можно было бы сказать, что есть связь между зарождением философии пространства картезианского типа и зарождением государства. Я остерегался выдвигать эту гипотезу, но вот я все-таки ее высказал, и теперь поступайте, как знаете...

Точка зрения государства — это точка зрения письменности, которая представляет собой первейший инструмент объективации и накопления: именно она позволяет преодолеть время. Отошлю вас к Джеку Гуди и его книге «Графический разум»<sup>19</sup>: в пределе этнолог может отделить себя от своих информантов потому, что делает записи и, следовательно, может обобщить то, что эти информанты не обобщают, потому что лишены средств, которые бы позволили это сделать. У вас появляется идея, но, если вам нечем ее записать, эта идея сменяется следующей и исчезает; вот что происходит, когда нет письменности. Без сомнения,

---

19. Goody J. La Raison graphique. La domestication de la pensée sauvage / J. Bazin (trad.). Paris: Minuit, 1978 [1977].



в бесписьменных обществах развиваются навыки, которые мы сегодня утратили; тем не менее без письменности обобщение дается с трудом. Превосходство опрашивающего над респондентом в том, что опрашивающий знает, что он ищет (по крайней мере, должен знать), а респондент не знает; кроме того, у опрашивающего есть средства для обобщения всего того, что респондент говорит в разные моменты. Через это обобщение он получает синтетическое и синоптическое восприятие, которое зачастую и образует собственно понимание.

(Томас Бернхард замечательно сказал о государстве: «Мы все огосударствлены»<sup>20</sup>. Приведу пример общенациональной выборки. Мне надо было дожить до моего возраста и заняться этой работой о государстве, чтобы понять, что общенациональная выборка предполагала идею государства. Принято говорить: «Выборка репрезентативна и общенациональна», но почему не сделать выборку по провинции Бос, по Пикардии? То есть в самом факте общенациональной выборки есть некая необычная посылка. Что касается статистических теорий, я всегда говорю, что самые большие теоретические ошибки происходят из-за того, что внимание, размышление, попадая в символические ловушки, как в цирковом фокусе, отвлекается на нечто второстепенное, и благодаря этому от вас скрывают главное. Таковы главные эпистемологические ошибки. Вам говорят: «Важна степень репрезентации, репрезентативность, необходимо подсчитать погрешность, [проверить] качество выборки». Но при этом забывают сказать: «Внимание! Важно, что собой представляет урна, из которой мы вынимаем шары...» Вы можете сделать прекрасную выборку по всем правилам, даже если в вашей урне только черные шары или если вы сделали выборку по Пикардии, а не по Франции. В силу самого факта принятия общенациональной выборки вы соглашаетесь принять фундаментальное определение объекта, вам навязываемое.)

---

20. *Bernhard T. Maîtres anciens / G. Lambrichs (trad.). Paris: Gallimard, 1988 [1985]. P. 34.*

## Концентрация культурного капитала и национальное строительство

Итак, письменность — это типичный инструмент государства, инструмент обобщения: первые письменные знаки связываются с ведением реестров, в особенности учетных книг. Таким образом, это специфический инструмент когнитивного накопления, он позволяет произвести кодификацию, то есть когнитивную унификацию, которая, в свою очередь, позволяет провести централизацию и монополизацию, выгодную обладателям кода. Кодификация, задаваемая грамматикой, — это тоже работа по унификации, неотделимая от работы по монополизации.

Следовало бы подробнее разобрать связь между концентрацией культурного капитала и рождением государства. Я упоминал эту тему применительно к Японии и Англии и собираюсь вернуться к ней на более общем уровне. Построение государства неотделимо от создания национального культурного капитала, который в то же время является национальным символическим капиталом: например, построение любого государства сопровождается созданием пантеона великих людей. Этот пантеон по самой своей сути является государственным актом: это могила избранных великих людей, которая указывает на людей, заслуживающих восхищения (то же самое касается общенациональных похорон), и в то же время неявно указывает на сами принципы отбора этих великих людей. А когда принципы скрыты в самих отобранных продуктах, они навязываются еще более искусным и незаметным образом.

В вопросе культуры государство относится к меценатам так же, как королевское правосудие к сеньориальному: государство присваивает монополию на культурное действие и при этом отбирает у частных лиц право тратить деньги на культуру. Если и принято жаловаться на отсутствие меценатов — которое меня лично [радует], поскольку меценатство является ужасной формой господства над культурным миром — или на трудности развития меценатства во Франции, то именно потому, что процесс монополизации культурной

деятельности прошел здесь в особо концентрированном виде, причем очень давно. Приведу вам одну историческую подробность, которую я отметил для себя, чтобы использовать для объяснения. В одном и том же году [1661] Людовик XIV устанавливает свою личную власть и арестовывает Николя Фуке, последнего из великих меценатов. Он тут же нанимает на службу всех деятелей искусства, которым покровительствовал Фуке, [художника Шарля] Лебрена, [ландшафтного архитектора Андре] Ленотра и т. д. Не нужно забывать, что это странная монополия, монополия на невозвратные расходы. Одна из особенностей экономики культуры в том, что это не экономика в узком смысле слова. Но экономические расходы проецируются и на символический план, иначе бы не было никаких культурных расходов... Итак, культурная практика без публики, каковой представляется большинство культурных практик, может существовать только при условии, что невозвратные расходы оплачиваются государством. Парадоксальным образом государство захватывает монополию на эти расходы, что может показаться противоречием, если не понимать того, что сосредоточение этих расходов неотделимо от концентрации прибылей от культурной логики и символической отдачи, получаемой от невозвратных расходов, поскольку во всех обществах за акты, поступки, нарушающие закон экономической выгоды, дается символическое вознаграждение. Таким образом, государство сосредоточивает в своих руках культуру, и здесь следовало бы вернуться к теме унификации ментальных структур, к тому, что государство присваивает ментальные структуры, производит унифицированный культурный габитус, генезисом и одновременно структурой которого оно само управляет.

«Знать по природе» и государственная знать

Говоря о концентрации юридического капитала, я упомянул о концентрации символического капитала, поскольку право можно рассматривать в качестве аспекта символического капитала. Я вкратце опишу процесс концентрации почестей, и фактически я буду придержи-

живаться следующей линией: происходит переход от чести к почестям [честь, о которой идет речь]—это родовая честь, например, знати, испанских сеньоров, о которых пишет Кирнан, «знатных по природе», в отличие от знати благодаря государству. Этот процесс концентрации символического капитала, осуществляемый государством и находящий свое завершение в праве назначения на должности, присуждения наград, ученых степеней, титулов бюрократической знати—например, Ордена Почетного легиона—или ученых званий, хорошо заметен в эволюции отношения к знати, когда государство переходит от сеньориальной модели к модели, которую ошибочно называют абсолютистской и которую следовало бы назвать централистской, то есть к модели Людовика XIV.

Государство мало-помалу превращается в центральный банк символического капитала, и наступает момент, когда больше нет иной знати, кроме государственной. [В наши дни] знать назначается Национальной школой управления, выбирающей самых знатных из знатных: 5–6%, не больше. Сегодня нет ни одной инстанции посвящения, которая тем или иным образом не была бы связана с государством. В таком случае одна из основных проблем интеллектуального или научного поля—учредить легитимность, независимую от государства. Во все эпохи, особенно недавно при левых, государство старается вмешаться и навязать свою юрисдикцию обособленным юридическим инстанциям, чтобы начать присуждать награды в живописи, фотографии и пр. Министры культуры очень «интрузивны», как сказали бы англосаксы, когда речь заходит о суждениях об искусстве: они всегда склонны оспаривать притязания интеллектуалов на то, чтобы говорить, что интеллектуально, а что нет, и [притязания] художников говорить, что является искусством и т. д. Именно об этом процессе я хотел бы сказать.

Старая знать—это «знать по природе», как говорили джентльмены у Арагона, то есть знать, чей статус унаследован и основан на публичном признании: знатный человек—тот, кого другие знатные люди признают

в качестве такового, потому что он — сын знатного человека, внук и правнук знатного человека и т. д. — то есть имеет этот статус искони. Это форма феодального, личного посвящения. Как только устанавливается центральная государственная власть, она тут же вмешивается в автономное управление знатностью, чтобы создать государственное дворянство: в период с 1285 по 1290 год. Филипп Красивый посвящает в дворяне простолюдинов. В это время никто против этого не бунтует, потому что нотабли не особенно нуждались в королевских грамотах, чтобы вступить в ряды знати, они могли сделать это при помощи брака и потому что новые титулованные особы, особенно в Южной Франции, не могли извлечь особых выгод из своих титулов, поскольку не могли получить признание от других знатных особ. Иначе говоря, видно, что логика относительно автономного поля знати достаточно сильна, чтобы помешать государству (аналогия с сегодняшним интеллектуальным полем будет постоянно присутствовать в моем анализе).

Я отсылаю вас к книге Арлетт Жуанна «Право на бунт. Французская знать и формирование современного государства (1559–1561)»<sup>21</sup>, которая меня немало вдохновила. Это книга, которая, представляясь обычной монографией, ставит общие проблемы — а это и есть, на мой взгляд, формула хорошей научной работы — и изучает частный случай таким образом, что он отлично передает очень общие проблемы. Жуанна анализирует постепенное накопление в руках короля власти, позволяющей создавать знать. Этот процесс стремится к тому, чтобы заменить традиционную честь, которая передавалась, но которую нужно было защищать, почестями, которыми награждает государство. Для поддержания этого капитала требовался определенный труд: подвиги, вызов, ответ на вызов. И неслучайно, что вызов был главным испытанием для чести, а ответ на покушение на честь, как дело чести, выступал главным императивом для знатного человека, [как во] всех культурах чести. [Отныне же] почести раздаются госу-

---

21. *Jouanna A. Le Devoir de révolte. Paris, 1989.*

дарством, и поручения все больше воспринимаются как награда, подразумевающая получение титула: видно, как на смену логике чести приходит *cursus honorum*\*. Есть *cursus honorum* для знати — точно так же, как существует бюрократический *cursus honorum*. Знатность бюрократизируется из-за введения королевской монополии на возведение в дворянство, то есть распределение символического капитала, гарантированного государством. И опять же Элиас одновременно и сумел, и не сумел это разглядеть: «перемещение знати к королевскому двору» бросается в глаза, тогда как механизм, благодаря которому знать удерживается, гораздо более тонкий<sup>22</sup>. Почему она должна была появляться при дворе? Почему, если знать туда не ходила, для неё все было кончено? Почему министр культуры зовет к своему двору интеллектуалов и почему те, кто к нему не ходят, находятся в опасности? Абсолютно точная аналогия...

Подчинение знати королевской власти — это одновременно и бюрократизация, и клерикализация, то есть знать становится назначенной, а не самопровозглашенной. Один из показателей этого: при Людовике XIV государство занимается не только составлением кадастров и описей, оно также проводит перепись знати. Кольбер, который стоит у истоков всех этатистских мер, создает Академию: он наносит на карту писателей, наносит на карту знать. Ордонанс 1666 года повелевает «учредить каталог, содержащий все имена, прозвища, адреса и оружие истинных дворян», интендантам поручается придирчиво изучить дворянство. Государство берется судить о качестве знати, что стало проблемой для знати. (То же самое сегодня относится к интеллектуалам, которые вечно борются за то, кто настоящий интеллектуал, а кто нет, и ссорятся друг с другом: если государство вмешивается, ему достаточно натравить

---

\* *Cursus honorum* (лат.) — буквально «путь чести», последовательность военных и политических магистратур, через которые проходила карьера древнеримских политиков сенаторского ранга. — *Примеч. пер.*

22. Элиас Н. Придворное общество. М., 2001.

одних на других, сказав: «Это я вам скажу, кто тут настоящий интеллеktуал». Возможно, единственный способ мобилизовать интеллеktуалов — сказать им: «Осторожно! Государство собирается вмешаться». К сожалению, они мыслят недостаточно ясно. Знать поняла это намного быстрее интеллеktуалов.) Итак, интенданты придирчиво изучают дворянские титулы, создаются специалисты по родословным, судьи для гербов, противоречащих друг другу, и т. д. Здесь следовало бы изучить появление дворянства мантии, которое представляет особый интерес, будучи переходным этапом между знатью на старинный манер, феодальной знатью и современной знатью, каковой являются выпускники Больших школ. Это дворянство, назначенное государством, но на базе самого государства, то есть полученных дипломов и степеней.

Итак, постепенно происходит переход (описываемый мной процесс продолжается несколько столетий) от диффузного символического капитала, основанного на коллективном взаимном признании, к капиталу объективированному, кодифицированному, делегированному, гарантированному государством, то есть к капиталу бюрократизированному: существуют доспехи, гербы, иерархии, титулы с родословными, генеалогии. Этот процесс можно осмыслить через то, о чем, насколько мне известно, почти никто не задумывался, через знаменитые законы против роскоши, которые регулировали внешние знаки символического богатства, внешний вид фасадов зданий, одежду. На мой взгляд, эти законы против роскоши могут пониматься как вмешательство государства в область символического. Государство определяет, какие люди имеют право носить тот или иной предмет одежды, и устанавливает систему различий. В нашем обществе игра отличий подчиняется закону рынка: каждый выпутывается сам, тогда как тогда они управлялись, устанавливались государством, говорившим: «Вы имеете право на три ряда горностаевой отделки, но не на четыре, если будет четыре, это уже будет считаться узурпацией знаков отличия». Я отошлю вас к статье Мишель Фожель «Модель государства и социальная модель расходов. Законы против роскоши

во Франции в период 1545–1560 гг.»<sup>23</sup>, где она показывает, как государство управляет отличиями между представителями знати и простолюдинами, а точнее, между различными степенями знатности. Желание членов Парижского парламента, а за ними и всех официальных лиц получить свою долю государственной роскоши, жалобы знати, в том числе на Штаты 1559 года, а также игра крупной знати против мелкой в этот период кризиса аристократии — всё это признаки вмешательства государства. Государство регламентирует использование тканей, золотых и серебряных украшений и шелка; этим оно защищает знать от самозванцев, но в то же время расширяет и укрепляет иерархию внутри самой знати. Это способ контролировать демонстрацию символического капитала, который не существует иначе, как посредством демонстрации: соответственно, контролировать демонстрацию символического капитала — значит контролировать сам этот капитал.

Я закончу прекрасным текстом [историка права Фредерика Уильяма] Мэйтланда из его книги «Конституционная история Англии». Это конституционная история, одно из самых скучных чтений, какое только можно себе представить, но там можно найти совершенно замечательные вещи, например то, как устанавливается власть назначать и снимать высокопоставленных официальных лиц. [Мэйтланд] пишет: «Король имеет очень широкие права назначать не только тех, кого мы относим к коллективному составу министерства, но всех или почти всех, кто занимает публичные должности первостепенной важности. [Уильям] Блэкстоун называет короля “источником почестей, должностей и привилегий”»<sup>24</sup>. Иначе говоря, это единственный

23. *Fogel M.* Modèle d'État et modèle social de dépenses. Les lois somptuaires en France de 1545 à 1560 // *Genèse de l'État moderne* / J.-P. Genet, M. Le Mené (dir.). P. 227–235.

24. *Maitland F. W.* The Constitutional History of England. Cambridge: Cambridge University Press, 1948 [1908]. P. 429. Сэр Уильям Блэкстоун (1723–1780) был юристом, членом британского парламента. Эта формулировка приводится в седьмой главе его «Комментариев к английским законам»: *Blackstone W.* Commentaires sur les lois anglaises. Bruxelles, 1774–1776 [1758].



источник символической власти: «Посвящение в рыцари и баронеты, учреждение новых рыцарских орденов, пожалование церемониальных привилегий не так важны». А вот власть назначать пэров важна: «Посмотрите на всю юридическую структуру общества, и вы увидите, что обладатели главных государственных должностей назначены королем и обычно сохраняют свой пост столько, сколько он пожелает»<sup>25</sup>. [Мэйтлэнд] описывает то, что называют «абсолютизмом», ту власть создавать и аннулировать должности вместе с теми, кто их занимает, которая, собственно, и является властью государства. Он подробнейшим образом описывает очень тонкие процессы делегирования, в особенности делегирования подписи, благодаря которым сосредотачивается и образуется эта власть делегирования: король подписывает, канцлер заверяет подпись, тот, кто заверяет, подтверждает, что это подпись короля и при этом контролирует короля; если король подписал какую-нибудь глупость, ответственность несет и тот, кто его подпись заверил; затем вице-канцлер заверяет акт, подписанный канцлером. Возникает многоступенчатая цепочка делегирования, внешне становящаяся всё более анонимной. Символическая власть сконцентрирована, и в то же время она распространяется и пронизывает собой всё общество (метафора источника, ручейка). Тирания же появляется, когда эта центральная власть теряет контроль над собой.

---

25. *Maitland F. W.* The Constitutional History of England. P. 429.

## Лекция 14 марта 1991 года

*Отступление: переворот в интеллектуальном поле. — Две стороны государства: господство и интеграция. — Jus loci и jus sanguinis. — Унификация рынка символических благ. — Аналогия между религиозным и культурным полем.*

### Отступление: переворот в интеллектуальном поле

**В** КАЧЕСТВЕ исключения я собираюсь поговорить о вчерашней телепередаче об интеллектуалах, потому что это социально важный феномен, даже если в интеллектуальном плане он ничтожен<sup>1</sup>. Я взял себе за правило никогда не говорить об этих полуинтеллектуальных продуктах. И помню, как осуждал Жилия Делеза, когда он написал памфлет против «новых философов», поскольку я считал, что он оказал им слишком много чести<sup>2</sup>. Тем не менее я думаю, что это мелкое событие, которое, конечно же, станет большим событием в прессе и неспроста, заслуживает пары слов. Я полагаю, что такого рода речь, написанная в стиле Алена Деко и произнесенная тоном Фредерика Миттерана, имеет значение, потому что представляет собой одну из стратегий, которые всё больше ставят под угрозу автономию интеллектуального поля, которая не обязательно является автономией интеллектуалов, потому что в автономном интеллектуальном поле одни интеллектуалы всегда автономнее других, а другие, наоборот, гетерономнее.

---

1. П. Бурдые говорит о телепередаче «Превратности свободы» (Les aventures de la liberté), вышедшей в эфир 13 марта 1991 г. на канале «Antenne 2», автором которой был Бернар-Анри Леви, который, говоря о коммунистических режимах в восточно-европейских странах, поставил вопрос: «Каким образом интеллектуалы тех времен могли свыкнуться со всеми этими преступлениями, процессами, этим архипелагом страдания, этим кошмаром?»

2. Deleuze G. Supplément à propos des nouveaux philosophes et d'un problème plus général // Minuit, приложение к № 24, май 1977, доступен на сайте: [www.acrimed.org/article2989.html](http://www.acrimed.org/article2989.html).

Автономия интеллектуального поля — это историческое завоевание, которое носило исключительно долгий, трудный характер<sup>3</sup>. С некоторого времени этой автономии систематически угрожает комплекс действий, [исходящих] от политического поля, а также действий со стороны журналистов и прессы, в которых принимают участие и «медийные интеллектуалы», ставшие слугами гетерономии. Некоторые еженедельники — «Le Nouvel Observateur», «L'Événement du jeudi» — берутся указывать, какие люди заслуживают звания интеллектуалов: составление подобных рейтингов представляет собой узурпацию власти, потому что говорить, кто является интеллектуалом, а кто нет, положено самим интеллектуалам, даже если они спорят об этом между собой, подобно тому как математикам положено решать, кто является математиком<sup>4</sup>. Произошло несколько силовых переворотов, пределом которых выступает вчерашнее событие: это типичный государственный переворот особого рода. Собственно, мои предшественники в этом учреждении протестовали против Наполеона III<sup>5</sup>. У них был достойный соперник, который был на их уровне. К сожалению, я вынужден выступать против гораздо более смехотворных соперников, но опасность — такая же, если не хуже. Она такая же, но она и хуже потому, что кажется менее опасной.

Подобное вмешательство — своеобразный государственный переворот. Я часто ссылался на паскалевскую теорию тирании<sup>6</sup>. С точки зрения Паскаля, тирания состоит в том, что один порядок навязывает свои нормы

---

3. См.: *Bourdieu P. Les Règles de l'art*. Op. cit.; см. также первое приближение к теме в: *Bourdieu P. Champ intellectuel et projet créateur // Les Temps modernes*. 1966. No. 246. P. 865–906.

4. *Bourdieu P. Le hit-parade des intellectuels français, ou qui sera juge de la légitimité des juges? // Actes de la recherche en sciences sociales*. 1984. No. 52–53. P. 95–100; переиздано в: *Idem. Homo academicus*. P. 275–286.

5. Бурдые имеет в виду увольнение из Коллеж де Франс Жюлья Мишле, Эдгара Кине и Адама Мицкевича в 1852 году, после государственного переворота, совершенного Наполеоном III, которому они отказались присягать.

6. Разъяснение можно найти в: *Bourdieu P. Méditations pascaliennes*. P. 149–150.

другому: военный порядок навязывает свою силу интеллектуальному порядку; порядок благодати — порядку человеколюбия и т. д. Поле оказывается под гнетом тирании тогда, когда испытывает на себе ограничения, которые не являются его собственными ограничениями, — автономия, как ее определял Кант, состоит в подчинении законам, данным самому себе, а гетерономия — в повиновении внешним ограничениям, подчиняющимся другим принципам, таким как медийное присутствие, тиражи и, в конечном счете, деньги, успех, рейтинги и т. д. Это давление всё сильнее ощущается в интеллектуальном поле и создает серьезную угрозу определенному типу интеллектуальной работы и определенному типу интеллектуалов. Именно поэтому я позволил себе воспользоваться этой трибуной, чтобы предупредить вас об этой опасности. Это особый государственный переворот в том смысле, что для совершения переворота используется сила, внешняя по отношению к логике интеллектуального поля. Когда это Пиночет, то сразу всё понятно, но когда переворот полунтеллектуальный, он не так бросается в глаза, и в то же время множество людей могут дать себя обмануть в силу эффекта аллодоксии. Беда этих интеллектуалов, как в известном анекдоте, в том, что они знают мотив интеллектуальной жизни, но не знают слова...

Интеллектуал (образцовым интеллектуалом является Золя) — тот, кто, основываясь на специфическом авторитете, заработанном в борьбе внутри интеллектуального, художественного, литературного поля, в соответствии с ценностями, присущими этим относительно автономным универсумам, вмешивается в политическое поле, опираясь на свой авторитет, работы, компетенции, доблесть, мораль<sup>7</sup>. Что совершенно не относится к тем, о ком я сейчас говорю, потому что у них очень мало работ, авторитета, компетенции, морали, доблести... Этот государственный переворот опасен, прежде всего, потому, что он сказывается на том, какое

---

7. Об этом см. в: *Bourdieu P. The corporatism of the Universal // Telos. 1989. V. 81. P. 99–110, переиздано в: Idem. Les Règles de l'art. P. 544–558.*

представление об интеллектуальной работе могут составить себе молодые исследователи. Можно посвятить одной работе двадцать лет, ни разу не отметившись в прессе, но при этом все больше становится людей, публикующих свои работы только затем, чтобы следующей осенью появиться на телевидении. Этот переворот угрожает специфическому авторитету интеллектуалов, приобретенному в борьбе и очень полезному. Под угрозой оказалось историческое завоевание, и это, в свою очередь, создает опасность для возможности появления интеллектуалов, отвечающих тому определению, которое я только что сформулировал, определению, которое позволяет говорить от имени определенной работы и связанных с этой работой ценностей и выступать в политическом поле. Под угрозой оказываются именно эти выступления, которые приносят пользу. Вот почему это также очень важная политическая проблема.

### Две стороны государства: господство и интеграция

Я подхожу к частичному завершению моего курса, так что хотелось бы, чтобы у вас сложилось первое впечатление о том общем результате, которого я хочу достичь. Очень часто, например, в критических работах, посвященных моему творчеству — голландских, английских, немецких, — заметно противопоставление двух теорий функции образовательной системы в современном социальном мире: с одной стороны, той теории, которая признает за системой образования функцию господства, поддержания общественного и символического порядка, а с другой — той, что подчеркивает функцию интеграции, унификации и связывает зарождение массового образования, [начавшегося с] обязательного начального образования, с развитием государства. В этом видят антиномию между господством и унификацией или интеграцией. Я бы хотел показать, что это не антиномия двух теорий, но антиномия, присущая реальности социального мира и самому функционированию государства. Государство — реалия с двумя сторонами.

Развитие современного государства можно было бы описать как поступательное движение к более высокой степени универсализации (делокализация, департикуляризация и т. д.) и одновременно как поступательное движение к монополизации, концентрации власти, то есть к образованию условий для централизованного господства. Иначе говоря, два этих процесса [одновременно связаны] и антиномичны. В какой-то степени можно сказать, что интеграция — которую следует понимать в дюркгеймовском смысле, но также и в том смысле, в котором говорят об интеграции Алжира и с которым связывают идею консенсуса, — такая интеграция выступает условием господства. По сути дела, это центральный тезис, который я хотел бы развить. Унификация культурного рынка — это условие культурного господства: например, патуа, неправильный акцент, второстепенные языки возникают именно вместе с языковой унификацией<sup>8</sup>. Эта мнимая антиномия очень сильна в обычном сознании и создает мнимые проблемы.

Этот тезис знаменует радикальный разрыв с Вебером и его процессом рационализации, а также с Элиасом и его процессом цивилизации. Я могу пройти часть пути с двумя этими авторами, которые наиболее важны, когда речь идет о государстве, но им не хватает данного аспекта, связанного с процессом универсализации: они скрывают — возможно, от самих себя — то, что унификация является в то же время монополизацией. Второй процесс, который я буду описывать в следующем году, — это переход от личного к безличному государству (или частично безличному), от династического государства, воплотившегося в короле, к государству, которое я называю полубюрократическим, поскольку в бюрократическом государстве, нам известном — и это еще одно решительное расхождение с Вебером, — остаются следы династического государства. Поэтому свою последнюю книгу я назвал «Государственная знать»: в бюрократических обществах остаются механизмы

---

8. Об этом см. в: *Bourdieu P. Langage et pouvoir symbolique*. P. 59–131.

передачи экономического и культурного наследия за счет семьи, которые имеют некоторое сходство с механизмами, служившими условиями для воспроизводства династического государства.

Изложив основной тезис, чтобы всё было понятно, перейду к аргументации. Каким образом процесс унификации можно описать как процесс универсализации? Образование дифференцированных и относительно автономных полей (экономического, культурного поля) сопровождается унификацией соответствующих пространств (экономического, культурного рынка) и образованием унифицированного пространства. Построение самого государства как обладателя метакapиTaлa, дающего возможность частичного господства над разными полями, сопровождается образованием унифицированного социального пространства. Когда в своей статье «Социальное пространство и генезис “классов”»<sup>9</sup> я говорил о глобальном социальном пространстве (противопоставленном полям) как о пространстве пространств, поле полей, на самом деле я говорил о национальном социальном пространстве, которое образуется одновременно с образованием государства, то есть пространстве, которое государство образует, образуясь само.

Генезис династического государства, начиная с феодальных приципатов, может быть описан как трансформация феонов, определявшихся через личность, в провинции, определявшиеся привязкой к местности, то есть прямой власти, основанной на личных отношениях между сеньором и его вассалами, в косвенную власть, зачастую осуществляемую через посредничество уполномоченных лиц, на территориальной основе. Образование династического государства сопровождается видоизменением ранее существовавших разделений: там, где раньше были провинции, образования, суще-

---

9. Бурдьё П. Социальное пространство и генезис «классов» // Социология политики. С. 53–97. (*Bourdieu P. Espace social et genèse des “classes” // Actes de la recherche en sciences sociales. 1984. No. 52. P. 3–14; переиздано в: Bourdieu P. Langage et pouvoir symbolique. P. 293–323.*)

ствовавшие в себе и для себя, рядом друг с другом, появляются провинции, которые становятся частями национального государства; там, где раньше были автономные правители, появляются правители делегированные, получившие свою власть от центрального государства. Наблюдается двойной процесс: процесс образования унифицированного пространства и гомогенного пространства, имеющих такие качества, что в конечном счете все точки пространства могут быть соотнесены друг с другом и с центром, исходя из которого образуется это пространство. Такого рода централизация достигает своего предела в случае Франции (но это верно и в отношении английского и американского государств). Эта унификация пространства, сопровождающая зарождение центральной власти, предполагает унификацию и приведение к единообразию как географического, так и социального пространств. Такая унификация характеризуется негативно: она предполагает работу по департикуляризации. Можно говорить о региональном, языковом партикуляризме; суть работы по централизации в том, чтобы департикуляризовать господствующие формы выражения и сделать из неофициальных культур более или менее завершенные формы господствующего определения культуры. Партикуляризм, связанный с локализацией в социальном или географическом пространстве, уничтожается, превращаясь из автономного элемента, который может мыслиться в себе и для себя, в часть, соотносимую с центральной нормой.

### Jus loci и jus sanguinis

Когда говорят, что генезис государства сопровождается образованием единой территории, не совсем четко понимают, что включает в себя идея территории и что образование групп осуществляется уже не по принципу личных отношений, который можно было бы назвать *jus sanguinis* <законом крови>, представляющим собой личную связь между властителем и подданными, а по принципу *jus loci*, местного права, принадлежности к одной и той же территории. В конце концов кузена меняют на



соседа. Это экстраординарное изменение. В Кабилии [при колониальном господстве] на местном уровне существовал конфликт между двумя принципами унификации, клановым и территориальным. Французская администрация, [одновременно] централистская, территориалистская и локалистская, навязала деревню в качестве базовой территориальной единицы. А деревня, которую я изучал, состояла из двух кланов с агнатическим родством: все члены считались потомками одного и того же предка, как бы кузенами — термины обращения были терминами родства — они имели общую более или менее мифическую родословную. В то же время такая единица, как деревня, объединяла эти две половины по территориальному признаку и поэтому происходило некоторое колебание между двумя этими структурами. Я с трудом что-либо понимал, потому что, бессознательно держа в голове местную структуру, не до конца понимал эту территориальную единицу — деревню, — которой, как в итоге оказалось, не существовало. В отличие от семьи, клана и племени, деревня как отдельная единица выступала артефактом, который в конечном счете был произведен на свет как следствие бюрократических структур, существования мэрии... Во многих обществах всё еще заметно это колебание между двумя формами принадлежности, принадлежности к группе с общим происхождением и принадлежности к месту. Государство, таким образом, учреждает унифицированное пространство и ставит географическую близость выше социальной, генеалогической близости.

(Социальная сегрегация возникает, когда социальные принципы распределения по доходам и уровню культуры совпадают с принципами территориального деления. В одной статье о Пятой авеню, аналоге предместья Сен-Оноре в Париже, статье, одновременно очень умной и очень наивной, описывается единица, имеющая локальную основу и представляющая собой вершину всех возможных полей и их пересечения<sup>10</sup>. Социологи часто попадают впросак, потому что единицы

---

10. *Minton A.* A form of class epigraphy // *Social Forces*. 1950. Vol. 28. P. 250–262.

с локальной основой, санкционированные административной нарезкой и существующие объективно — так уж устроены переписи, что их проводят по улицам, потому что почта сортируется по названиям улиц, — и одновременно субъективно, мешают видеть истинные принципы конструирования реальности, которые могут быть по своей сути как генеалогическими, например в докапиталистических обществах, так и социальными, структурированными в поля. Я делаю это небольшое замечание в скобках, чтобы показать вам, что то, что я вам говорю, — не общий «сюжет», абстрактный и, по сути дела, довольно банальный. За этими банальными вещами скрываются важные теоретические ставки.)

Переход от феода к провинции сопровождается полным изменением механизмов господства. Администрация провинции — и это применимо к великим империям античности, к Китайской империи — фактически лишена автономии по отношению к центру, за исключением тех случаев, когда империи распадаются, и тогда провинция может снова превратиться в автономный феодал. В некоторых случаях бывшая провинция империи может продолжать играть на мифе полученной от центра легитимности, чтобы выступать судьей в соперничестве глав провинции. Администрация провинций лишена настоящей автономии по отношению к центру, директивы которого она выполняет. В то же время местные чиновники — это одно из важных изменений, происходящих по мере образования больших империй, — не должны набираться из местных жителей, но должны рекрутироваться за пределами области, находящейся в их ведении. Таков случай Китая; во Франции это правило до сих пор действует для епископов.

Это очень важный показатель бюрократизации, которая стремится заранее противодействовать соблазнам кумовства, партикуляризма, а также желанию опереться на ресурсы местной родословной, чтобы оспорить решения центральной власти, одним словом, превратить провинцию, всего лишь одну из частей целого, в автономный феодал, существующий в себе и для себя. Можно либо назначать децентрализованное руководство

на места, либо делокализовать местное население, что часто практиковалось во времена античности: целью массовых депортаций было разрушение этой генологической связи ради укрепления территориальной связи. Все это могло бы привести к размышлениям о противопоставлении *jus sanguinis* и *jus loci*, являющемся очень важным и до сих пор еще сохраняющемся, особенно в актуальных дискуссиях — в которые большую путаницу внесли медийные интеллектуалы, упоминавшиеся мною вначале, — об иммиграции, хиджабе или секулярности. Здесь всегда замешана эта двойственность принципа построения идентичности: *jus sanguinis*, тот факт, что кто-то ведет свою родословную от кого-то, кто был частью нации в соответствии с немецкой моделью, или *jus loci*, факт рождения на такой территории, как Франция. Что касается первой стороны процесса этатизации, универсализации, я бы сказал, что каком-то смысле *jus loci* более прогрессивен, более универсален, чем *jus sanguinis*, поскольку он дает критерии принадлежности более абстрактные, более формальные, менее нагруженные идеологией крови и почвы... Если так сформулировать, то это вполне вровень с тем, что я критиковал вначале; но если вы помните о всем том, что я сказал в других местах и о чем я не могу здесь напоминать, не сделав огромное отступление, которое разрушит логику моей речи, вы можете сами добавить обоснование к тому, что я говорю в несколько безапелляционной манере.

### Унификация рынка символических благ

Итак, государство, образуя себя, унифицирует и универсализирует. Этот двойной процесс можно было бы проследить для каждого из пространств, и в частности для экономического пространства, где создается единый рынок. Поланьи подчеркивает то, что политика государства — например, меркантилистская политика — необходима для противодействия местнической тенденции рынков. В соавторстве с другими учеными он написал прекрасную книгу о рынке, встроенном (*embedded*) в отношения родства или в социальные отно-

шения<sup>11</sup>. Он описывает общества, в которых рыночным отношениям не удалось установиться в качестве универсальных, независимых от агентов отношений, поскольку они всегда были подчинены социальным императивам, управляющим работой рынков. Тот рынок, который мы знаем, который экономисты принимают за универсальную данность, за природу, на самом деле артефакт, во многом сконструированный государством. Вклад, который социология может внести в экономику, не претендуя на то, чтобы ее исправлять или ставить под сомнение, состоит в напоминании о том, что понятие, которое экономисты считают естественным, на самом деле является более или менее завершенной исторической и социальной конструкцией.

То же самое относится к культурному рынку. Я задержусь на этом побольше, потому что здесь можно увидеть ту антиномию, о которой я упоминал вначале, антиномию между сторонами монополизации и универсализации. Акцент часто ставился на наличии своего рода устойчивой связи между построением национального общества и созданием системы образования, основанной на идее всеобщей способности к обучению, ставшей прогрессивным завоеванием Реформации (все имеют право читать и писать) и Просвещения. Эта идея универсальной способности индивида к обучению согласуется с решительным эгалитаризмом, состоящим в том, что к индивидам надо относиться как к равным, с культурной точки зрения, в правах и обязанностях. Эта идея сопровождается изобретением функции, которой наделяется государство, — функции образовывать. Государство должно дать всем гражданам, чтобы они были достойны так называться, основы образования, которые позволяли бы им пользоваться своими правами [и обязанностями] просвещенным образом. И великие реформаторы XIX века, например Жюль Симон, подчеркивали связь между минимальными политическими способностями и образованием.

---

11. *Polanyi K., Arensberg C., Pearson H. W. Les Systèmes économiques dans l'histoire et dans la théorie. Paris, 1975 [1957].*

(Эта связь была совершенно забыта, так что, когда несколько лет назад я напомнил, что способность формулировать осознанное, самостоятельное мнение тесно связана с уровнем образования и что, как следствие, некоторое число опросов общественного мнения форсируют результаты, когда игнорируют отказ отвечать и делают вид, что все социальные субъекты равны в вопросах общественного мнения, я вызвал самый настоящий кризис и сильнейшее удивление просто потому, что есть такая вещь, как забвение генезиса<sup>12</sup>: совершенно забыли, что этот вопрос уже становился предметом обсуждения в конце XIX века и что система образования наделена функцией сохранения социального порядка. То, что было ставкой сознательной борьбы в момент создания института, очень быстро забывается, — социология порой занимается не чем иным, как пробуждением, возвращением вытесненного.)

Итак, есть связь между унификацией национального государства и обязательным обучением, связь, которая устанавливается за счет идеи всеобщей способности к обучению, которая соединяется с идеей долга просвещенного гражданина, при этом государство должно заполнить разрыв, который порой обнаруживается между способностями, не получившими образования. Тогда выдвигается возражение, утверждающее, что школа — институт не господства, а интеграции, поскольку ее функция — снабдить всех инструментами, нужными гражданину, экономическому агенту, то есть способностью, необходимой для того, что [участвовать хотя бы на минимальном уровне] в различных полях. На самом деле — и это вторая сторона — я бы сказал, что школа — действительно инструмент интеграции, но это интеграция, делающая возможным подчинение.

---

12. Бурдьё П. Общественное мнение не существует // Социальное пространство: поля и практики. С. 272–285. (*Bourdieu P. L'opinion publique n'existe pas // Les Temps modernes. 1973. No. 318. P. 1292–1309; переиздано в: Idem. Questions de sociologie. P. 222–235.*)

Итак, подытожу: государство — инструмент унификации, который помогает получить доступ к соответствующим социальным процессам (культуре, экономике) на более высоком уровне абстракции и универсализации. Во всех случаях оно помогает отделить их от партикулярности местного, чтобы сделать доступными в национальных масштабах. Множество сегодняшних дебатов — о национальности, об интеграции иммигрантов и т. д. — неосознанно выводят именно на эти проблемы. Из-за этой свойственной государству двусмысленности невозможно занять простую позицию по проблеме национализма, потому что национализм, как и нация, всегда имеет две стороны: регрессивную и освободительную. Этот политический вывод крайне затрудняет оценку национальных движений: они нам симпатичны, если носят освободительный характер, но они также могут принести беды. Я обсуждал это с [Эриком] Хобсбаумом, которого трудно заподозрить в консерватизме, и он сказал мне, что больше нельзя поддерживать национализм. Он сказал это простодушно, как в дружеской беседе. Недовольство, которое вызывают некоторые виды национализма, может быть обосновано именно этой двусмысленностью, которую я сейчас описываю.

Первая сторона [государства], таким образом, — это универсалистская интеграция; вторая — отчуждающая интеграция как условие господства, подчинения, лишения. И эти две стороны неотделимы друг от друга. Унификация рынка — культурная, экономическая, символическая — имеет оборотную сторону, коррелят: она влечет за собой экспроприацию, которая вписана в установление на унифицированном рынке признанного господства того или иного способа производства или продукта. В экономическом плане всё сразу же становится понятно. Я приведу пример, чтобы показать вам, что эти положения, которые могут показаться абстрактными, имеют вполне конкретное применение. В одной из своих первых работ я изучал феномен безбрачия у мужчин в Беарне. С тех пор эта тема стала модной у журналистов, но в те времена в центре о ней еще не знали. Я заметил, что

крестьянам определенного поколения, включая владельцев относительно крупных хозяйств, никак не удастся жениться, из-за чего очень переживали старые женщины, которые, следуя логике разделения труда, должны были женить своих сыновей. Скромные деревенские танцы, о которых я уже говорил, предстали передо мной в качестве воплощения, материальной реализации матримониального рынка. [Что бы там ни говорили] экономисты, [конкретный] рынок на площади Мобер имеет некоторую связь с [абстрактным] рынком, о котором они рассуждают. Я увидел в этих танцах воплощение матримониального рынка. Там были молодые женщины, танцевавшие с молодыми мужчинами городского вида, часто это были военные из соседней казармы или служащие; а в сторонке сидели крестьяне (легко узнаваемые по одежде и повадкам), которые смотрели, но сами не танцевали. Я проанализировал появление [на этом] маленьком рынке продукта нового типа: мужчин, которые умеют танцевать, общаться с девушками, одеты по городской моде и которые отбирали у крестьян их «традиционный предмет».

Эти танцы были воплощением унификации рынка символических благ, на котором циркулируют женщины. Даже сегодня в некоторых средах женщины представляют собой циркулирующий предмет, и лучше, если он перемещается снизу вверх: женщина может выйти замуж за человека старше себя или человека с более высоким социальным положением. Этот рынок был проявлением унификации местного рынка, ранее защищенного своего рода протекционизмом. Существовали местные матримониальные обычаи, которые я изучал через генеалогии: каждый агент имел набор потенциальных партнеров, «суженых» *«promis(es)»* — замечательное слово, — то есть людей, которым он был суженым и которые были сужеными ему по законам статистики, подкрепляемым социальными нормами и работой, которую выполняли «свахи», [каковыми являются] матери. Этот рынок суженых для суженого, на котором крестьяне имели определенную ценность (благодаря телесному *hexis'y*, манере

говорить), был защищенным рынком. Высказывание «Это крепкий крестьянин» означало, что у него хорошая земля, неважно, как он ходит, как одет, как говорит... Этот защищенный рынок с появлением школьной системы и средств коммуникации оказался включен в более широкий рынок. Подобно тому, как самодельная посуда была заменена эмалированным тазиком, так и унификация рынка символических благ оттеснила на танцах тех, кто мог предложить только довоенный, деревенский телесный *hexis*, на обочину. Неслучайно слово «деревня» стало у автомобилистов ругательством. Крестьяне превратились в «разинь»...

Вот вполне конкретный пример связи между унификацией и господством: чтобы крестьяне стали «деревней», иначе говоря, чтобы они проиграли на рынке, на котором у них была привилегированная ценность, необходимо, чтобы этот рынок была аннексирован национальным рынком, необходимо проделывать значительный труд по унификации, в основном силами школы, но также силами прессы. Подчинение и лишение — не антагонисты интеграции, интеграция является их условием. Этот несколько извращенный способ мысли труден, потому что очень сильна привычка рассматривать интеграцию как противоположность исключения: трудно понять, что, чтобы стать исключенным, как и подчиненным господству, нужно быть интегрированным. Если взять в качестве примера борьбу за «Французский Алжир», почему те, кто относились к интеграции как нельзя хуже, в какой-то момент стали ее сторонниками? Потому что, чтобы управлять арабами, нужно было их интегрировать и сделать из них «чурок» *bougnoules*, подвластных и глубоко презираемых. В социальном мире все не просто, и я все усложняю не ради собственного удовольствия — после лекции я даже часто сожалею, что всё так упростил по сравнению с тем, что собирался сказать.

Я привел пример матримониального рынка, но точно так же можно было привести пример унификации



языкового рынка<sup>13</sup>. Произношение, воспринимаемое как «неправильное», — продукт унификации языкового рынка. Сыграем в дерридеанскую игру: скажем, что есть связь между капиталом <le capital> и столицей <la capitale>, и что столица, когда она складывается в качестве места концентрации всех видов капитала, высшей точкой которого становится предместье Сен-Оноре, производит провинцию. Провинциал заведомо стигматизирован: он отстал, он не в курсе, у него акцент и т. д. Производство государства подразумевает производство провинции как умаленной сущности, как лишения [всего того, что дает] столица. Тем самым провинциал [оказывается обладателем] меньшего символического капитала: чтобы получить доступ к тому капиталу [которого ему не достает], нужно, чтобы он стремился его получить, и в то же время у него такой вид, словно он обезьянничает.

Метафора обезьяны очень уместна. Есть одна очень хорошая сказка у Гофмана, которую я часто привожу в качестве примера: немецкому канцлеру пришла в голову идея выучить обезьяну, обезьяна танцевала менуэт, вела беседы с дамами, но всегда непроизвольно вздрагивала, когда кололи орехи... Вот основополагающая парадигма расизма: провинциал знает, что он провинциал. Он изо всех сил старается не быть им, и именно поэтому он провинциален. Концентрация капитала производит столицу, и тогда провинциал оказывается определен тем, что он лишен монополий, которые ассоциируются со столичным местожительством. Интеграция лишенных капитала — условие определенной формы лишения и формы подчинения.

### Аналогия между религиозным и культурным полем

Я вкратце остановлюсь на парадигме образования религиозного капитала, так как считаю, что это парадигма всех форм экспроприации. Неслучайно о «профа-

13. Bourdieu P. La production et la reproduction de la langue légitime // Ce que parler veut dire. Переиздано в: *Idem*. Langage et pouvoir symbolique. P. 67–98.

нах» говорят применительно к тем, кто не принадлежит к клиру. В этом случае хорошо заметно, что профанное порождается именно образованием Церкви. Это в неявном виде есть уже у Вебера, но странно то, что он сам этого аспекта не замечал, по каким-то своим причинам (правда, он столько всего заметил, что было бы странно ставить ему это в упрек, потому что большую часть того, что я сам могу увидеть, я могу увидеть благодаря ему...). Когда Вебер описывает образование корпуса священнослужителей, он прекрасно понимает, что оно сопровождается религиозной экспроприацией, которой подвергаются миряне: иначе говоря, именно священнослужитель создает мирянина. Нельзя стать, как говорил Вебер, «религиозным виртуозом» без того, чтобы не сделать остальных профанами и невеждами в области религии. Оппозиция религии и магии, о которой говорит Дюркгейм, без связи с тем, что я хочу сказать, — это оппозиция мужского и женского, господина и слуги. Например, когда было проведено *aggiornamento* <обновление> [католической литургии] в 1960-е годы, священники не отменили обряд зажжения восковой свечи или взятия воды из святого источника в Лурде, но преобразили его, потребовав от обычных мирян, которые были превращены в профанов, его одухотворить. Аналогия с культурой очевидна<sup>14</sup>. Я хотел написать статью о сравнении народной живописи и народной религии: это та же самая оппозиция культурного и некультурного, церковного и профанного, выраженная именно в этих категориях, и совершенно неслучайно *aggiornamento* сопровождалось очищением храмов в соответствии с эстетическими вкусами клира. Учреждение Церкви, легитимной религии, сопровождающееся проводимой силами клира работой по кодификации, очищению, рационализации, удваивает дистанцию между профаном и клиром — клир владеет монополией на чтение священных текстов. (Марксоведы делают то же самое: альтюссериянство было в значительной

---

14. Эмпирическое развитие этой идеи см. в: Bourdieu P., Delsaut Y. Le couturier et sa griffe: contribution à une théorie de la magie // Actes de la recherche en sciences sociales. 1975. No. 1 (1). P. 7–36.

мере восстановлением монополии клира на чтение текстов Маркса, которого, впрочем, и так больше никто кроме марксоведов не читает.)

Следовало бы перенести всё это из религиозного поля на культурную монополию, которую присваивает себе школа. Школа для культурного поля — то же, что Церковь для поля религиозного, и потому все сказанное мною можно легко на нее перенести. Институт государственного образования — обладатель монополии на легитимное образование, то есть на передачу легитимной культуры или, скорее, на формирование культуры как чего-то легитимного путем передачи этого корпуса в легитимном порядке (классики — это канонические авторы культуры), с легитимной санкцией на освоение этого корпуса, каковой является экзамен. Обратной стороной школы, которая представляет собой наиболее продвинутую форму монополии в области культуры, также является экспроприация: система образования производит необразованного, лишенного культуры. Люди, занятые в образовании, и я сам в первую очередь, не любят, когда им это говорят, но это так. Необходимо объяснить, почему это так. В силу неравного доступа к системе образования, на которую теоретически возложена задача прививать в универсальном режиме культуру, претендующую на то, чтобы быть универсальной, универсализация культурных требований — то, что мы вправе требовать по части культуры, — не сопровождается универсализацией доступа к средствам удовлетворения этих универсальных требований. Существует расхождение между универсальным распределением культурных требований и весьма специфическим распределением средств удовлетворения этих требований. Именно из-за этого расхождения интеграция в случае образования неотделима от господства.

Я еще буду говорить о журналистах, которые с ходу набрасываются на мой анализ образования, ничего в нем не понимая. Существуют иерархии культурной легитимности, [...] объективный социальный порядок, в соответствии с которым тот, кто упоминает на экзамене Далиду, получает 0, а тот, кто Баха, — 18 баллов:

это факт, по поводу которого мне не нужно занимать позицию. Люди путают такое высказывание, которое Вебер называл обоснованным «отнесением к ценностям», с «ценностным суждением»<sup>15</sup>. В реальности существуют ценности, на которые социолог ссылается и которые [он] констатирует: незнание и непризнание этой иерархии ценностей сделало бы реальность абсурдной. Путая отсылку к ценностям с суждением о них, социологу приписывают ценностные суждения, тогда как он работает через отнесение к ценностям, [существующим в реальности]. Люди, которые этим занимаются, особенно рьяно борются за легитимность: порой это «белая культурная нищета» — так я их называю с некоторой издевкой, потому что нужно защищать себя от тех, кто занимается эскалацией культурной ортодоксии и не выносит объективного характера культурных иерархий. Авангардные художники, например, очень легко относятся к социологической объективации; и часто, к несчастью для социологов, пользуются ею для своих художественных акций...

Процесс образования универсального сопровождается процессом монополизации универсального и в то же время процессом экспроприации универсального, который мы вправе описать как своего рода уродование. Социология культуры обладает критическим аспектом, она может показаться очень жестокой именно потому, что демонстрирует людям, которые считают себя гуманистами, что часть человечества в какой-то мере лишена человечности во имя культуры. Если верно то, что культура универсальна, ненормально то, что доступ к универсальному имеется не у всех, когда сам он не универсализуется. Вместо того чтобы говорить: «Бурдые говорит, что Азнавур ничем не хуже Бартока», нужно говорить: «Бурдые говорит, что культура с универсальными притязаниями, универсально признанная в качестве универсальной в пределах определенного

---

15. Weber M. *Essais sur la théorie de la science* / J. Freund (trad.). Paris: Plon, 1965; Вебер М. Наука как призвание и профессия // Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.; СПб., 1913.

универсума, распределяется таким образом, что только часть ее легитимных с этической точки зрения (эгалитаризма) адресатов получает доступ к этой универсальности; значительная часть человечества лишена наиболее универсальных завоеваний человечества». Это констатация факта, и это совершенно нормально. Если бы я занимал нормативную позицию, я бы сказал: «Будьте последовательными и не говорите, что Бурдые хочет все релятивизировать, что интегральное исчисление ничем не лучше таблицы умножения. Скажите, что Бурдые утверждает, что, если мы хотим принимать всерьез исследование, констатирующее такое распределение, нужно заниматься политической работой, нацеленной на универсализацию условий доступа к универсальному». Даже проблемы, признаваемые политическими, могут ставиться рациональным образом, пусть это и не помогает продвинуться в поисках решения...

Сегодня я хотел сказать о том, что исторический анализ развития государства показал эту фундаментальную двусмысленность: отрицание партикуляризма, регионализма (преодоление всего узкого, мелкого, косного) и при этом создание за счет унификации монополий. Ни Вебер, ни Элиас не ставят вопрос о монополии на государственную монополию, который нужно поставить, потому что он [встает в] самой реальности: если государство имеет монополию на легитимное насилие, кто имеет монополию на эту монополию? Если верно то, что процесс этатизации — это процесс универсализации, концентрация сопровождается монополизацией, сосредоточенной в руках определенной категории, которую я называю государственной знатью. Те, кто имеют привилегированное право на присвоение монополий, связанных с существованием государства, имеют если не монополию, то, по крайней мере, преимущественное право на получение государственной монополии.

Государство производит господствующий национализм, национализм тех, кто заинтересован в государстве. Он может быть сдержанным, благопристойным, не оскорбляющим чувств. Государство порождает

у тех, кто стал жертвой оборотной стороны этого процесса, у тех, кто оказался обездоленным в результате образования национального государства, вторичный, реакционный национализм: у тех, у кого был язык, а теперь не осталось ничего, кроме стигматизированного акцента (как у аквитанцев). Многие нации строятся на основе переворачивания стигмата. Этот индуцированный, вторичный национализм вызывает у меня двойственные чувства. Очевидно, что он совершенно легитимен в той мере, в которой он пытается обратить стигматы в эмблемы. Например, вы можете сказать, что официант-баск, который подает пиво в Сен-Жан-де-Люз и говорит с вами по-французски, неплохо говорит для баска, или же вы можете подумать, что он говорит с ужасным акцентом... Это существенная разница. Но что с этим делать? Нужно ли быть баском? Двусмысленность двух видов национализма вписана в сам процесс создания государства.

Действительно ли этот процесс, неизбежность которого мы должны отметить — он присутствует во всех известных примерах государства, — такой уж универсальный? Нельзя ли представить себе, в рамках реализации права на экспериментальную утопию, основанную на изучении реальных случаев, путь к универсальному, который не сопровождался бы монополизацией? Это вопрос, которые ставили философы XVIII века в форме одновременно искушенной и простодушной. Под конец хочу предложить вам прекрасный текст Спинозы, поблагодарив вас, как говорил Лакан, за вашу помощь/присутствие <assistance>: «Поэтому государство (*imperium*), благоденствие которого зависит от чьей-либо совестливости и дела которого могут вестись надлежащим образом только при том условии, что занимающиеся ими захотят действовать добросовестно, будет наименее устойчивым; но для того, чтобы оно могло устоять, его дела должны быть упорядочены таким образом, чтобы те, кто направляет их, не могли быть склонены к недобросовестности или дурным поступкам, все равно, руководствуются ли они разумом или аффектами. Да для безопасности

государства и неважно, какими мотивами руководствуются люди, надлежащим образом управляя делами, лишь бы эти последние управлялись надлежащим образом. Ибо свобода или твердость (*fortitudo*) души есть частная добродетель, добродетель же государства — безопасность (*securitas*)»<sup>16</sup>.

---

16. Спиноза Б. Политический трактат. Избранные произведения. М.: Государственное издательство политической литературы, 1957. Т. 2. С. 289–290.

**1991–1992**





## Лекция 3 октября 1991 года

*Модель трансформации династического государства. — Понятие стратегий воспроизводства. — Понятие системы стратегий воспроизводства. — Династическое государство в свете стратегий воспроизводства. — «Королевский дом». — Юридическая логика и практическая логика династического государства. — Задачи следующей лекции.*

### Модель трансформации династического государства

**О**ПИСАВ [в предшествующие годы] процесс концентрации различных видов капитала, сопровождающий рождение государства, я хотел бы теперь попытаться обрисовать занявшее несколько веков превращение личной власти, сосредоточенной в личности короля, в распределенные, дифференцированные власти, связываемые отныне с идеей государства. Процесс, который я сегодня буду описывать, можно было бы назвать, чтобы у вас была общая схема, так: «От королевского дома к государственному интересу»<sup>1</sup>. Как произошел переход от власти, сосредоточенной в одной личности, пусть даже с самого начала заметны признаки дифференциации, разделения труда господства, к разделенной власти, распределенной между различными лицами, находящимися друг с другом в отношениях конкуренции и конфликта внутри того, что я называю «полем власти»?<sup>2</sup>

Я попытаюсь построить некую модель. Как я уже не раз говорил, у меня нет никакого намерения конкурировать в этом деле с историками, и я постоянно без ложной скромности подчеркиваю: я осознаю, что не в состоянии мобилизовать достаточный запас исторических знаний, который был бы необходим, чтобы

---

1. См.: Бурдьё П. От «королевского дома» к государственному интересу: модель происхождения бюрократического поля // Социология социального пространства. М.; СПб., 2007.

2. Об этом понятии см.: Bourdieu P., Wacquant L. From ruling to field of power // Theory, Culture & Society. 1993. Vol. 10 (1). P. 19–44; а также текст, не изданный при жизни: Bourdieu P. Champ du pouvoir et division du travail de domination // Actes de la recherche en sciences sociales. 2011. Vol. 190.

в полной мере обосновать предлагаемую мной модель. Я хотел бы построить модель логики династического государства, то есть государства, отождествленного с личностью короля или с королевским родом, и в то же время модель процесса, в котором это государство видоизменяется. То есть я хотел бы описать логику династического государства и в то же время противоречия, внутренне присущие его работе, которые, как мне кажется, обуславливают переход от династического государства к более безличным формам государства.

Чтобы построить модель династического государства, я воспользуюсь работой о крестьянах в Беарне, которую я провел давным-давно. Я имею право так поступить, потому что впоследствии эта работа послужила основой для исторических исследований, и я думаю, что ряд историков, в частности Эндрю Льюис, на которого я буду ссылаться, опираются, когда им нужно продумать логику функционирования королевской семьи, на антропологические работы вроде проведенных мной. Я могу сказать — пусть и не без бахвальства, — что мои работы о родстве в Беарне<sup>3</sup> отметили собой некий разрыв с господствующей в те времена традицией, в которой я как раз работал, а именно с традицией структуралистской: эти работы стремились показать, что матримониальные обмены, ни в коей мере не являясь, как тогда считалось, продуктом сознательных правил или бессознательных моделей, выступают продуктом стратегий, заданных «интересами» дома. После этой работы Леви-Стросс<sup>4</sup> и другие стали говорить о «системах дома», обозначая этим термином тот тип отношений родства, который наблюдается, в частности, на юго-востоке Франции. В этих домашних обществах глава семьи называется «сартаусоуэ», то есть «глава дома». Король — это «сартаусоуэ», и я еще вернусь к этому моменту, это глава дома, причем главы домов в определенном смысле являются агентами инстанции, которая по отношению к ним трансцендентна и которая называется домом.

3. *Bourdieu P.* Le Bal des célibataires. Paris, 2002.

4. *Lévi-Strauss C.* L'ethnologie et l'histoire // *Annales ESC*. 1983. No. 6. P. 1217–1231.

Например, в Беарне человека называют по имени, прибавляя к нему название дома. Говорят так: Жан из дома такого-то. Предметом конкретных действий, в частности матримониальных, оказывается в таком случае дом, у которого есть свои интересы, трансцендентные по отношению к интересам индивидов, дом, который должен быть увековечен в своем материальном наследстве — в качестве земель и т. п., разделения которых нужно всячески избегать, — и одновременно [в своем] символическом наследстве, которое еще важнее: имя должно остаться незапятнанным, оно должно избежать вырождения, утраты статуса и т. д.

Неслучайно то, что именно американские социологи и историки перенесли на королевскую власть эту модель, разработанную для описания самых низких слоев французского общества. Несомненно, у [французских] историков было определенное бессознательное сопротивление — хотя они и увлекаются этнологией, крайне у них модной, — сопротивление, не позволяющее применять для осмысления вершин государства модели, разработанные для описания самых отсталых регионов сельской Франции. Были и другие препятствия, и я думаю, что историки, столкнувшись с такими проблемами, часто кидаются из одной крайности в другую... то есть от одной ошибки к другой: первая заключается в том, что древние общества в силу бессознательного анахронизма ассимилируются, а вторая, напротив, в том, что они изображаются абсолютной экзотикой. В действительности, надо просто попытаться увидеть то, как достаточно общая модель может объяснить феномены, кажущиеся очень и очень разными, в рамках логики, [согласно которой] одна и та же причина приводит к одним и тем же следствиям. Если у нас есть род с материальным и с символическим наследством — в одном случае его назовут «короной», а в другом «домом», — которое надо увековечить, выявляя очень схожие логики практик; а социальные агенты, будь они королями Франции или мелкими собственниками 15 гектаров, будут демонстрировать поведение, которое можно в достаточной мере понять, руководствуясь одними и теми же принципами.

## Понятие стратегии воспроизводства

Отправляясь от этой модели, я пришел к идее системы стратегий воспроизводства, которую я бы хотел разьяснить чуть подробнее, поскольку она необходима для понимания того, как я буду впоследствии использовать модель. Я попытался дать ее систематическую формулировку в «Государственной знати» (*La Noblesse d'État*. P., 1989. P. 387–388), где я вкратце комментирую то, что понимаю под системой стратегий воспроизводства, подчеркивая, с одной стороны, идею «системы», а с другой — что конкретно нужно понимать под «стратегиями». Вначале «система»: я думаю, что для понимания поведения королевских или некоролевских домов, а также социальных агентов как таковых, нужно сгруппировать в единое целое практики, которые социальными науками изучаются порознь, практики, которые в тот или иной момент времени часто [относят к] разным социальным наукам: демография занимается стратегиями рождаемости, право — стратегиями наследования, педагогические науки — образовательными стратегиями, экономика — экономическими стратегиями и т. д. При помощи понятия габитуса, выступающего генеративным принципом систематического поведения, и понятия стратегий воспроизводства я пытаюсь объяснить то, что для понимания ряда фундаментальных видов человеческого поведения, ориентированных на сохранение или же повышение позиции, занимаемой семейством или индивидом в социальном пространстве, нужно принять в расчет определенное число стратегий, на первый взгляд кажущихся не соотносимыми друг с другом, то есть стратегиями без связи на уровне феноменов.

Я перечислю эти стратегии<sup>5</sup>. В первую очередь, они могут относиться к рождаемости: это стратегии регулирования рождений<sup>6</sup>, к примеру те, что могут рабо-

5. Это перечисление получит систематическую форму в тексте: Бурдьё П. Стратегии воспроизводства и способы господства // Социология социального пространства. СПб., 2007.

6. Bourdieu P., Darbel A. La fin d'un malthusianisme? // Darras (ed.). Le Partage des bénéfices. Expansion et inégalités en France. Paris: Minuit, 1966. P. 135–154.

тать за счет матримониальных стратегий, и в этом случае мы сразу же видим связь между различными стратегиями. Хорошо известно, что во многих обществах один из способов регулировать рождаемость — повысить брачный возраст. Стратегии рождаемости могут работать прямо или косвенно: в логике воспроизводства они должны предугадывать опасности дележа; так что, к примеру, факт ограничения рождений имеет очевидное отношение к стратегиям наследования. Далее, собственно стратегии наследования, которые часто регулируются обычаями или законами о наследовании. К примеру, в крестьянских семьях на юго-востоке Франции, как и в королевских семьях, право первородства или старшинства ограничивает наследование старшими детьми в ущерб младшим и обязывает находить решения, позволяющие куда-то пристроить младших. В Гаскони младшие дети становились жертвами закона о наследовании, из-за которого они были обречены играть роль, как говорили беарнские крестьяне, «бесплатных слуг» или же «эмигрантов». Стратегии наследования могут управлять стратегиями рождаемости, поскольку они зависят друг от друга. Далее, образовательные стратегии в наиболее широком смысле: когда говорят о короле, можно вспомнить, очевидно, о воспитании дофина. В книге «Семейство Капетингов и государство»<sup>7</sup> Эндрю Льюис не раз подчеркивает модус наследования, зависящий от стратегий наследования, а также привилегии, которыми наделяется наследник, и компенсации, которые нужно обязательно выплатить младшему ребенку — в виде апанажа и т. п. Но, поскольку у него нет идеи стратегической системы наследования — и именно поэтому, по моему мнению, интересно заняться созданием моделей, — он совершенно не учитывает образовательные стратегии.

Итак, чтобы могла функционировать система вроде той, что я буду описывать, и той, что разбирает Льюис, необходимо, чтобы агенты были подготовлены управлять ею, то есть чтобы у них были соответствующие

---

7. *Lewis A. W. Le Sang royal. La Famille capétienne et l'État, France, Xe-XIVe siècles. Paris, 1986 [1981].*

предрасположенности. Парадокс в том, что наследники не всегда приобретают соответствующие установки самопроизвольно, — это не удивит тех, кто слушает меня давно, но тем из вас, кто пришел на мой курс впервые, покажется странным, что одна из проблем обществ с наследованием заключается в производстве наследников, расположенных к тому, чтобы наследство вступило во владение ими. Несколько лет назад я написал длинный комментарий о «Воспитании чувств» Флобера<sup>8</sup>, главный герой которого Фредерик — это как раз наследник, который не хочет вступать в наследство, а потому постоянно балансирует между разрывом с наследством (он хочет стать художником) и принятием этого наследства. Это парадокс, о котором часто забывают, поскольку, придерживаясь наивно-критического взгляда на социальный порядок, думают, будто наследники рады получить наследство; но это совершенно не так, бывают недостойные наследники, причем на всех уровнях социальной лестницы: например, встречается намного меньше, чем можно было бы подумать, сыновей шахтеров, которые не желают спускаться в шахту, и причина именно в том, что система воспроизводства работает; с другой стороны, бывают королевские дети, у которых нет желания принимать наследство, которые своим поведением показывают, что они на самом деле не вступают во владение наследством, то есть не являются теми, кем следует быть, чтобы быть достойным получения наследства.

То есть роль образовательных стратегий крайне важна, поскольку для производства короля, желающего вступить в наследство и достойного этого, необходима значительная работа по внушению определенных установок. Если вспомнить об обучении девушек в обществах, в которых очень важен капитал чести, легко понять, в какой мере это образование является фундаментальной стратегией в системе стратегий воспроизводства: именно девушки оказываются косвенной причиной бесчестия,

---

8. См. об этом: *Bourdieu P. L'invention de la vie d'artiste // Actes de la recherche en sciences sociales. 1975. No. 2. P. 67–94; Idem. Les Règles de l'art. P. 19–81.*

чрезмерной рождаемости и т. д. В этих обществах пристальное внимание к девичьей чести является элементом системы воспроизводства, понять которую несложно. Я говорил об образовательных стратегиях, но также мог бы в каждом из случаев долго расписывать отношения между различными стратегиями, перечисляемыми мной по отдельности в целях анализа, хотя на самом деле они тесно связаны друг с другом. Стратегии, которые я называл *профилактическими*, становятся очень важными в некоторых обществах, таких как наше: это стратегии, призванные гарантировать сохранение, в каком-то смысле, хорошего биологического состояния рода. Также становятся очень важными медицинские стратегии, например, расходы на здоровье: это стратегии, благодаря которым воспроизводится рабочая сила, сила воспроизводства и т. д.

Теперь я перейду к более очевидным стратегиям, которые сразу приходят на ум, — стратегиям собственно экономическим, таким как стратегии инвестирования, экономии и т. д., являющиеся одним из элементов системы. В той мере, в какой наследство состоит из земель, материального наследства, экономические стратегии увековечивания дома не могут обойтись без стратегий создания сокровищ, инвестирования, накопления и т. д. Также существуют стратегии инвестирования и накопления социального капитала, которые нацелены на поддержание уже сложившихся отношений: например, в таких обществах, как кабийское, значительная часть труда, выполняемого агентами, — это работа по поддержанию отношений с родственниками в широком смысле слова, причем родство может определяться как союзами, так и наследованием; эта работа, заключающаяся в визитах, обменах дарами и гостинцами, чрезвычайно важна, поскольку именно благодаря ней закрепляется символический капитал семьи. Иметь большую семью — это значит, к примеру, уметь пройти процессией в триста человек, из которых двести — это мужчины, которые будут стрелять из ружей. [В этих обществах] процессии и всевозможные групповые демонстрации играют ту же роль, что манифестации в наших обществах: это демонстрации символического капитала,



то есть социального капитала, накопленного за многие годы общения, обменов, любезностей и т. д., капитала, который можно в случае необходимости показать, например, когда речь о том, чтобы подчеркнуть торжественность бракосочетания, или же когда нужно соединить кого-то узами брака.

Накопление наследственного капитала, таким образом, очень важно, а матримониальные стратегии наследования возможны только на основе методических, умелых, непрерывно применяющихся и т. д. стратегий поддержания социального капитала, реализация которых, впрочем, часто возлагается на женщин. [...] Я как-то написал статью о мужском господстве<sup>9</sup>, в которой развил ряд моментов, но не подумал [...] об одном аспекте разделения труда между полами, который еще весьма силен и в наших обществах: женщинам делегируется работа по поддержанию социальных отношений, тогда как мужчины [сосредоточены] на стратегиях наследования. В силу разделения между полами эти стратегии поддержания социального капитала возлагаются преимущественно на женщин в большинстве обществ, хотя не осмелюсь сказать, что во всех, поскольку всегда возможны исключения. Например, есть любопытные американские работы, в которых был изучен стереотип, утверждающий, что женщины проводят много времени за телефоном, — это стереотип во всех современных странах. Изучая телефонные счета, исследователи выяснили, что этот стереотип соответствует действительности: женщины проводят за телефоном намного больше времени. Но, будучи хорошими учеными, эти социологи не удовлетворились глупыми констатациями, которые встречаются в стихийной социологии, которой нас ежедневно потчуют журналы; они попытались понять, почему это так, и выяснили, что в большинстве семей, причем чем ниже по социальной иерархии, тем больше, поддержка семейных отношений, в том числе отношений с семьей главы семьи, — это задача, возложенная на женщину: женщина

---

9. Бурдье П. Мужское господство // Социальное пространство: поля и практики. С. 286–364.

рассылает поздравительные открытки, звонит по случаю годовщин и по праздникам и т. д. То есть ясно, что понятие стратегии социального инвестирования важно для того, чтобы наделить определенным статусом всю эту невидимую работу. Кабильцы постоянно говорят: «Женщина — как муха в склянке с молоком, она барахтается, но никто не видит, что она там делает». Работа по поддержанию социальных отношений не просто невидима, это табу: «Она торчит у телефона, черт знает зачем... и т. п.» [...].

Вернусь к матримониальным стратегиям в собственном смысле слова, играющим, очевидно, центральную роль. В этот вопрос мне не нужно углубляться: во многих обществах они выступают главным местом инвестирования [дома]; именно за счет брака можно увеличить материальное наследство и, главное, символический капитал — можно приобрести союзников и т. д. То есть матримониальные стратегии — это предмет постоянных инвестиций, необычайного внимания, тонких подходов, виртуозности, значительно превышающей возможности большинства этнологов, — поэтому-то они стали строить математические модели, это намного проще...

Далее, у меня осталась последняя категория, которую я называю стратегиями социодицеи, — объяснюсь вкратце: это слово я придумал по образцу лейбницевской<sup>10</sup> «теодицеи», то есть «оправдания Бога»; так что социодицея — это оправдание общества. Это понятие обозначает стратегии, функция которых — оправдать вещи в том виде, в каком они существуют. То, что вкладывают в расплывчатое понятие идеологии, кажется настолько смутным и неопределенным, что я предпочитаю отказаться от него и заменить его социодицеей, которая звучит грубее, зато точнее. Стратегии социодицеи указывают на всю работу, которую выполняет группа, от семьи до государства [достигая этого эффекта. О ней забывают, но] существует значительная работа, нацеленная на оправдание того, что семья есть то,

---

10. Лейбниц Г. В. Опыты теодицеи о благости Божьей // Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1989. Т. 4.

что она есть и как она есть: существует символический порядок семьи, который непрерывно поддерживается дискурсом, мифологией; существуют официальные мифы об истоках, например браке и т. д., но также есть семейные легенды или альбомы, то есть с семейным альбомом или семейным склепом надо проводить значительную работу...

Итак, повторю: стратегии рождаемости, стратегии наследования, образовательные стратегии, профилактические стратегии, экономические стратегии, стратегии социального инвестирования, матримониальные стратегии и стратегии социодицеи. Это длинный список, но я считаю, что он важен. Если вы хотите узнать больше об отношениях между этими различными стратегиями, вы можете обратиться к страницам 387–388 книги «Государственная знать».

### Понятие системы стратегий воспроизводства

[Вернемся] теперь к понятию системы. Система означает то, что эти разные стратегии относятся к одной и той же объективной интенции. Если смотреть на них извне, с точки зрения наблюдателя, они представляются продуктом систематической интенции, у них есть определенное стилистическое родство, нечто общее... Я часто использую пример аналогии, которую взял у Мерло-Понти<sup>11</sup>: можно узнать почерк человека, на чем бы и чем бы он ни писал — на листе чернилами, шариковой ручкой, «Паркером», карандашом, на доске и т. д.; сохраняется единство стиля, по которому узнают почерк, сохраняется своего рода физиономия. Я думаю, что продукты габитуса имеют такое же качество, у них есть общий стиль или, как говорил Витгенштейн,

11. Мерло-Понти М. Знаки. М.: Искусство, 2001. С. 44–94 («Косвенный язык и голоса безмолвия») (*Merleau-Ponty M. Le langage indirect et les voix du silence // Signes. Paris: Gallimard, 1960. P. 40–104*; переиздано в: *Merleau-Ponty M. Oeuvres. Paris: Gallimard, «Quarto», 2010. P. 1474–1512, особенно P. 1493*). См. также главу I, разделы 3 и 6 «Феноменологии восприятия»: Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. М: Ювента, Наука, 1999.

«семейные сходства»<sup>12</sup>. Неслучайно то, что метафора Витгенштейна говорит о семье.

Все эти упомянутые мной стратегии, когда они проводятся одной семьей, обладают общими семейными чертами, поскольку вдохновляются одними и теми же интенциями, заметными извне. Почему? Потому что их принципом является один и тот же порождающий габитус, одни и те же ограничения или же одни и те же объективные цели. В случае беарнских крестьян или же королевской семьи речь идет об увековечивании дома или короны, то есть реалии, трансцендентной по отношению к индивидам, не сводимой к ним, реалии, чьим временным воплощением они являются и которая должна быть увековечена именно по ту сторону индивидов. Часто слово «стратегия» оказывается поводом для недоразумений, поскольку оно очень сильно ассоциируется с финалистской философией действия, с идеей, будто задавать стратегию — значит задавать явные цели, на которые должно ориентироваться актуальное действие. На самом деле я придаю этому слову совсем не этот смысл; я полагаю, что стратегии отсылают к последовательностям действий, упорядоченных по отношению к определенной цели, но это не значит, что их принципом выступает объективно достигнутая цель или же что объективно достигнутая цель задается в качестве явной цели действия.

Это очень важная проблема, а не просто мелкая подробность. [...] Льюис не без основания критикует тех историков, которые [исповедуют] дурную философию действия: все мы стихийные интенционалисты, особенно когда речь идет о других и, очевидно, когда речь о королевской семье, у которой, как может показаться, не было иных целей, кроме приращения королевства, необходимого, чтобы оно достигло того состояния, в котором короли нам его оставили. [Льюис подчеркивает] — я несколько упрощаю и приукрашиваю его формулировку, которая у него выглядит намного более благородной, — что не нужно из построения Франции

---

12. Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы. Ч. 1. М.: Издательство «Гнозис», 1994. С. 111.

делать проект, которым якобы занимались сменявшие друг друга короли. Вот пример, который я добавлю от себя, но есть историки, которые занимают определенную позицию по институту апанажей — апанажи представляют собой компенсации, выделяемые младшему ребенку, который лишился наследства в пользу старшего; так вот, историки осуждают эти апанажи, заявляя: «Это глупо, это ведет к расчленению королевского государства, Франция была бы больше, если бы не нужно было оставлять маленький кусочек герцогу Бургундскому». Иначе говоря, финалистская теория действия, являющаяся стихийным подходом к осмыслению человеческих поступков, может подкрепляться бессознательными инвестициями, наивными интересами. Этой наивности легко избежать, если помнить о том, что бывают стратегии без [явных] целей. Субъектом стратегий является не сознание, в явной форме определяющее свои цели, и не бессознательный механизм, а смысл игры — вот метафора, которой я постоянно пользуюсь: смысл игры, практический смысл, [управляемый] габитусом, предрасположенностью к тому, чтобы играть не только по правилам, но также в соответствии с неявными регулярностями игры, в которую люди включаются с самого раннего детства.

Например, сегодня утром я прочитал описание одной сцены, когда Франциск I присоединился к заседанию Парламента<sup>13</sup>: канцлер от имени Парламента говорит ему что-то такое, что ему не нравится, и внезапно он встает и уходит, совершенно неожиданно. Конечно, подробности происшествия не приводятся, но хотел бы я знать, не сказал ли ему кто-то: «Сир, нужно уйти», не встал ли он потому, что подумал, что его королевское достоинство было оскорблено и что он не может выслушивать такие вещи; потому, что, останься он, и он бы легитимировал эту речь, которая на самом деле была направлена на увеличение власти Парламента в ущерб его собственной власти, и т. д. Историк даже не ставит

---

13. Речь о книге: *Hanley S. Le Lit de justice des rois de France. L'idéologie constitutionnelle dans la légende, le rituel et le discours* / A. Charpentier (trad.). Paris: Aubier, 1991 [1983].

себе вопроса, и, может быть, он прав... но точно можно сказать, что у такого действия есть определенный принцип, поскольку потом [Франциск I] встречается со своим канцлером и изобретает стратегию, позволяющую осадить Парламент и наделить ретроспективным смыслом то, что первоначально было, возможно, проявлением дурного настроения, то есть габитуса, поскольку проявления габитуса часто вписываются в стратегии, — [...] беспричинным гневом или, быть может, стратегией того, у кого больше нет стратегии. Зачастую вспышки гнева — это стратегии бедняка, того, кто не может возразить словами... Я не могу сказать об этом больше, но [вы увидите,] что действия как Франциска I, так и крестьянина, ведущего переговоры по поводу женитьбы своих сыновей, могут внешне совпадать с тем, чем эти действия были бы, будь они просчитаны, и при этом быть продуктом не расчета, но того, что можно назвать настроением, чувством достоинства и т. д.

Стратегии и системы стратегий — вот два основных понятия, которые я разъяснил. Остается воспроизводство, [связанное с] системами стратегий, ориентированными на закрепление положения определенной социальной единицы в социальном пространстве.

### Династическое государство в свете стратегий воспроизводства

Определив этот инструмент анализа, я могу теперь перейти к беглому описанию династического государства, в котором стратегии воспроизводства представляют собой суть того, чем занимается эта династическая власть. Например, войны за престолонаследие вписываются в стратегии наследования: [они связаны с] рождаемостью и, как большие ритуалы символической демонстрации, с воспроизводством символического капитала. Определив модель, я думаю, можно систематически и экономно объяснить совокупность действий властей, правящих в определенный момент времени, на определенной стадии развития государства.

Вернусь к книге Эндрю Льюиса «Королевская кровь», вкратце перескажу ее вам и на основе этой простой сводки

двинусь дальше. Он критикует телеологический взгляд, основанный, как говорил Бергсон, на «ретроспективной иллюзии», состоящей в том, что Франция связывается с проектом, который якобы осуществляли сменявшие друг друга короли. Его тезис в том, что королевская семья и престолонаследие неразрывно связаны друг с другом; иначе говоря, королевство определяется именно модусом наследования, то есть, как я говорю, модусом воспроизводства. Истина всего политического механизма заключается в логике наследования.

Королевская власть — это наследуемая *honor* «честь», а государство сводится к королевской семье. Прочитирую Льюиса: «В обществе, в котором не было ни этнического, ни территориального единства, национализм означал преданность королю и короне; то есть прославление королевского рода могло смешиваться с восхвалением французского народа»<sup>14</sup>. Династическая модель утверждается в своего рода освящении королевской семьи, которое влечет ряд следствий: чтобы королевская семья увековечивалась, сохраняла свое постоянство или же прирастала, необходима наследственная передача по агнатической линии, то есть передача через мужчин, за счет права первородства, права старшинства и приоритета, отдаваемого передаче наследства перед любым иным императивом. По Льюису, эта модель постепенно изобреталась в королевской семье, а потом шаг за шагом распространилась и на других феодалов, поскольку она была удобным решением общей проблемы, а именно проблемы сохранения и максимально возможного уклонения от дележей. Беарнские крестьяне были просто одержимы ею — нужно было любой ценой избежать дележа, и один из способов — иметь одного ребенка или одного мальчика для наследства и одну девочку для обменов (это идеальный вариант)...

Если бы рождаемость можно было контролировать, все бы захотели сначала родить мальчика, а потом девочку, мальчика для наследства и чтобы можно было привести в дом наследницу, а младшую дочь — для под-

---

14. *Lewis A. W. Le Sang royal. La famille capétienne et l'État, France, Xe-XIVe siècles.* P. 163.

держки отношений с другой семьей, поскольку ее можно выдать за наследника. Но из-за непредсказуемости рождаемости встречаются люди, у которых по шесть дочерей, что, с точки зрения стратегий и смысла династической игры, настоящая катастрофа, особенно если пытаться любой ценой завести наследника; очень хороший игрок может выпутаться из такой ситуации, может завести много связей, но это очень плохая игра. И бывают семьи, которые на протяжении четырех-пяти поколений расплачиваются за плохие стратегии рождаемости, за превратности любви и случая, которые подарили отцу шестерых дочерей. Часто обнаруживается, что стратегии наследования нужны для того, чтобы восполнить промахи стратегий рождаемости. Недавно я прочитал статью одного японского демографа, который опирался на эту модель и изучил, используя довольно сложные статистические методы, связь между стратегиями рождаемости и стратегиями наследования в Японии<sup>15</sup>, — и всё это подтвердилось. Чисто демографические явления нельзя понять, не связав их с другими стратегиями.

Право старшинства — это очевидный способ защитить наследство от раздробления, но младшим детям надо предложить компенсацию: апанажи служили компенсацией, нужной для достижения согласия между братьями и устранения опасности дележа. Этот вопрос также следовало бы рассмотреть подробнее. Были и другие решения: уйти в армию или в Церковь, если речь о благородных семьях; эмигрировать, если это крестьянская семья; еще одно решение — крайний случай воспитания, благодаря которому младший сын или особенно дочь остается в семье и играет роль бесплатной прислуги, заботится о детях своего брата, как о своих собственных, и т. д. С этим решением связаны различные возвышенные речи, и я думаю, что можно было бы подробно обсудить феномены господства внутри дома как социальной единицы. Я только что сказал, что существует социодидея, внутренне присущая семье: младший сын, который

---

15. *Hiroshi K.* A demographic evaluation of P. Bourdieu's "fertility strategy" // *The Journal of Population Problems.* 1990. Vol. 45 (4). P. 52–58.



остается в семье, работает на своего брата, — это одно из наиболее странных достижений этой идеологии; и всё это выражается в форме любви, любви к семье, к детям, к детям брата, в чувстве солидарности и т. п. То есть апанаж в случае королевских семей был той компенсацией, которая должна была ограничить конфликты внутри дома как социальной единицы. Во многих обществах эта проблема отношений между братьями весьма остра: к примеру, в арабских обществах, поскольку там есть система равного дележа, уравниваемая принципом неделимости, отношение между братьями — это одна из уязвимых точек социальной структуры, так что брак с кузиной по параллельной линии [по отцовской линии, то есть с дочерью брата отца], выступающий своего рода исключением в универсуме возможных матримониальных обменов, является, по моему мнению, одним из способов закрепить братские узы вопреки имеющимся причинам для конфликта, связанным с возможностями дележа и т. д.

То есть апанажи представляют собой определенное решение... В противоположность тем историкам, которые, придерживаясь телеологического взгляда на приращение Франции, оплакивают апанажи, Льюис показывает, что они совершенно необходимы для закрепления единства королевской семьи. Я к этому еще вернусь, поскольку это одно из противоречий, которые приходится преодолевать всем рождающимся государствам, — среди которых, с одной стороны, противоречие, возникшее из конфликта братьев, то есть легитимных с точки зрения династической логики наследников, и, с другой стороны, противоречия между легитимными наследниками и обладателями технической власти, которых главный наследник часто поддерживает, используя их как силу против своих братьев. Это, если угодно, великий визирь. Великий визирь — тут можно вспомнить об Изногуде<sup>16</sup>, хотя нет, это не лучший пример... вспо-

---

16. Изногуд (Iznogoud) — герой комиксов с тем же названием, созданных Рене Гошинни (René Goscinny) и Жаном Табари (Jean Tabary), в которых визирь багдадского халифа Гарун аль-Пусаха пытается в каждом эпизоде убить последнего, чтобы стать «калифом на час».

мните о Баязете<sup>17</sup>, это больше подходит: это тот, у кого есть пожизненная\* власть, которая умрет вместе с ним, то есть это, следовательно, очень могущественный человек, которому можно делегировать власть, поскольку он не сможет ее передать, и [которому ее делегируют], чтобы помешать обладать ею тем, кто, если бы они ее имели, передали бы ее. Я вскоре вернусь к этому моменту. Следовательно, противоречия внутри династии чрезвычайно важны, они являются принципом динамики, которая в итоге позволит преодолеть династию.

Вернусь к книге [Льюиса] и семейным стратегиям Капетингов: главная *honor* и наследственные земли переходят старшему сыну, который становится наследником; потом младшим детям отдаются некоторые территории, апанажи, являющиеся приобретенными территориями (они не включаются в наследство). У греков было два разных термина — для того, что сохраняется в качестве наследуемой собственности, и того, что было приобретено при жизни главы семьи. Новые приобретения выдавались в форме апанажа. Книга Льюиса очень важна, но с точки зрения системы стратегий наследования она не совсем полна, поскольку он, по сути, ограничивается стратегиями наследования, то есть работает так, словно бы центром всех действий по увековечиванию наследства были стратегии наследования, тогда как есть много других стратегий, о чем я еще буду говорить. Пересказав вам эту книгу, которую вы, если захотите, сможете посмотреть сами, я попробую, опираясь на нее, развить несколько более сложную модель династического государства.

---

17. В «Баязете» (1672) Расин опирается на историю совершенного в 1635 году османским султаном Мурадом IV (Амуратом в пьесе) убийства своих братьев и потенциальных соперников Баязида (Баязета) и Оркана.

\* Термин «пожизненный» (*viager*), обычно имеющий положительные коннотации (например, пожизненная должность — та, которую невозможно отнять у ее обладателя), в данном контексте используется Бурдьё в том смысле, что некая должность, привилегия или статус ограничены сроком жизни конкретного физического лица и не могут быть переданы по наследству. — *Примеч. пер.*

## «Королевский дом»

Одно из качеств династического государства состоит в том, что политическое предприятие не отделено от дома как социальной единицы. Такое различие Макс Вебер проводит, когда обсуждает рождение капитализма: он подчеркивает, что рождение капитализма сопровождается разделением предприятия и дома, разделением, которое часто выражается и в пространственном различии. Одно из качеств династического государства заключается в том, что политическое предприятие и домашнее остаются не разделенными — отсюда выражение «королевский дом», — причем вплоть до довольно поздней стадии. В работе под названием «Французская сеньория и английское поместье» Марк Блок, к примеру, говорит, что средневековая сеньория основана, я цитирую, «на слиянии экономической группы и группы суверенитета»<sup>18</sup>; точно так же Жорж Дюби говорит о средневековой собственности: «Власть заключена в домашнем хозяйстве»<sup>19</sup>, и это слово, «заключено», заставляет вспомнить о термине «embedment», который употребляет Карл Поланьи, чтобы сказать, что в докапиталистических обществах экономика погружена в отношения родства в рамках домашнего хозяйства. Иначе говоря, в этой модели отцовская власть оказывается центром всей структуры власти и одновременно моделью, по которой мыслится всякая власть. Например, в древней Кабилии политическое не определялось в качестве политического, так что использовать слово «политика» в этом случае — анахронизм, поскольку всякое возможное отношение вплоть до уровня конфедерации, которая была своего рода собранием племен, мыслилось по образцу отношений родства, отношений отца с сыном или отношений между братьями. Другими словами, модель семьи оказывается там принципом конструирования любой возможной социальной реальности.

---

18. *Bloch M.* Seigneurie française et manoir anglais.

19. *Duby G.* Le Chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France féodale. Paris: Hachette, 1981; переиздано в: *Idem.* Féodalité. Paris: Gallimard, «Quarto», 1996. P. 1161–1381.

В этом случае — я ссылаюсь на Дюби — власть еще опирается на личные, аффективные отношения, заданные социально: это классическая тема дюркгеймианцев. У Марселя Мосса есть знаменитая статья о смехе и слезах<sup>20</sup>, [в которой показано], что аффективные отношения конструируются социально. Дюби рассматривает пример трех понятий — верности, любви и доверия, то есть, можно сказать, трех добродетелей или предрасположенностей, которые лежат в основании того исходного государственного порядка, который он описывает. Он показывает, что три этих понятия социально конструируются и в то же время социально поддерживаются. Например, доверие следует поддерживать за счет даров, щедрости, и это говорили сто раз — аристократическая щедрость является экономическим расчетом в области символического.

Таким образом, государство смешивается с королевским домом — процитирую Дюби еще раз: «Король является также и главой рода». Дюби называет так Филиппа Красивого: это глава рода, окруженный ближайшими родственниками. Семья разделена на палаты, являющиеся специализированными службами, сопровождающими короля в его разъездах. Власть, очевидно, трактуется обычно как наследство, передаваемое в соответствии с логикой дома, и главным принципом легитимации выступает в этом случае генеалогия. Генеалогия — это идеология социальной единицы домашнего типа. Все наиболее характерные черты модели, которую можно построить для такого рода функционирования, проистекают из дома как этой единицы власти: глава дома социально уполномочен выполнять то, что можно было бы назвать «политикой дома» — «политикой» в кавычках. Матримониальные стратегии, составляющие ее центр, должны увеличивать наследство рода, как в материальной, так и в символической форме.

В таком случае можно объяснить тайну трансцендентности короны по отношению к ее обладателю,

---

20. *Mauss M.* Salutations par le rire et les larmes // *Journal de psychologie*. 1922. Vol. 21 ; а также: *Idem.* L'expression obligatoire des sentiments // *Journal de psychologie*. 1921. Vol. 18; переиздано в: *Idem.* Oeuvres. P. 269–279.

тайну, на которую было потрачено немало чернил. Есть знаменитая работа Канторовича «Два тела короля»<sup>21</sup>. Я очень люблю эту книгу, которую сто раз цитировал, поскольку в ней выявлена очень важная вещь: на самом деле я все больше думаю, что тайна двух тел короля — это просто тайна трансцендентности дома по отношению к тем, кто в нем живут, то есть дом как *domus*, как строе- ние существует дольше своих обитателей. Если занима- ешься социологией потребления дома, приходится со всем этим иметь дело: когда люди покупают дом<sup>22</sup>, это даже не то же самое, что купить автомобиль, пусть даже психоаналитики многое вкладывают в покупку автомо- билия. Дом нагружен огромным историческим бессозна- тельным, в значительной мере потому, что дом — это обитель, то, что может долго просуществовать, что га- рантирует длительное сохранение семьи и может сохра- няться лишь в том случае, если сохраняется и сама се- мья; где есть дом, там можно найти семейный альбом, семейный склеп и т. д. Глава дома — это в каком-то смыс- ле временное воплощение этой трансцендентной еди- ницы, дома, и его действия можно понимать на основе этого принципа. Это само собой разумеется для матри- мониальных стратегий, которые в случае королевских семей часто выступают основанием для территориаль- ных аннексий. Не выходя за рамки своей ограниченной исторической эрудиции, я приводил пример династии Габсбургов, но мог бы привести и сотню других приме- ров. Это очень хороший пример: династия наращивает свое наследство безо всяких войн, в результате ряда рас- четливых браков. Максимилиан I приобретает Франш- Конте и Нидерланды благодаря браку с Марией Бургунд- ской, дочерью Карла Смелого; его сын, Филипп Краси- вый, который стремится к большему символическому капиталу, женится на Хуане Безумной, королеве Ка- стильской, и из этого брака возникнет Священная Рим-

21. Канторович Э. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015.

22. См.: Actes de la recherche en sciences sociales. 1990. Vol. 81–82 (номер посвящен «Экономике дома»), переиздано в: Bourdieu P. Les Structures sociales de l'économie. P., 2000.

ская империя, Карл V и т. д.; но, к сожалению, после Карла V логика дележа снова вступает в действие, так что логика наследования разрушает то, что было создано матримониальной стратегией: после Карла V происходит раздел между Филиппом II и братом Карла V, Фердинандом I, и т. д. В любых крестьянских историях полно таких рассказов о дележах...

Очень важная часть матримониальных стратегий зависит от стратегий воспроизводства; то же самое можно сказать о стратегиях наследования [...], я отсылаю вас к книге, которую цитировал много раз, «Генезису современного государства», в которой есть статья Ричарда Бонни<sup>23</sup>, который приводит длинный список войн за престолонаследие, принципом которых выступают конфликты, связанные с интерпретацией закона о наследовании, поскольку война является средством продления стратегий наследования другими средствами. Во многих случаях война — это стратегия наследования, начинающая применять насилие. Значительную часть стратегий разных династий можно понять в качестве стратегий воспроизводства. [...] Я заранее представил модель, и вы можете применять ее самостоятельно: очевидно, что небольшую часть политик воспитания, в частности членов королевских семей и дворянства, можно понять только в логике системы стратегий воспроизводства.

### Юридическая логика и практическая логика династического государства

У династического государства есть своя практическая логика, оно формируется постепенно, в ряде изобретений, которые историки имеют возможность датировать: сначала придумывают апанаж как особое решение, потом его уточняют, вводят Салический закон. С другой стороны, беарнские крестьяне представляют для анализа немалый интерес, поскольку они позволяют наблюдать династические стратегии, не затронутые работой юристов, о которой я буду далее говорить: это

---

23. *Bonney R. J. Guerre, fiscalité et activité d'État en France, 1500–1660.* Paris, 1987.

династические стратегии в чистом виде, которые формируются именно как антитеза работе юристов, поскольку беарнским крестьянам удалось сохранить свою стратегию до XX века вопреки Гражданскому кодексу, запретившему право старшинства; то есть они стали обманывать юридическую логику.

Династические стратегии королевской власти были теоретизированы и рационализированы легистами — и, прочитав много работ историков, которые смешивают в одну кучу стратегии в чистом виде и эксплицитные нормы права, регулирующие обычаи наследования, я думаю, что здесь следует провести важное различие, то есть считая, что именно в переходе от практической логики к явно сформулированной идеологии можно было бы увидеть различие между династическим государством и абсолютистским. (Те, кто в курсе, должны подумать, что я позволяю себе крайнюю наглость, а те, кто не в курсе, [должно быть, не поймут], что здесь такого интересного. Я чувствую некоторую неловкость, но по поводу абсолютизма идет большой спор: с моей точки зрения, абсолютизм, собственно то, что называют абсолютизмом, — это, можно сказать, факт трансформации, произошедшей при поддержке сгодившегося для этой цели римского права, трансформации практической логики династического типа в юридическую логику с правом крови и т. д.)

Юристы крайне заинтересованы в этой работе [по рационализации], они участвуют в ней, преследуя собственные цели, поскольку в элементарных формах разделения труда господства один из первых внешних для королевской семьи агентов — это юрист, то есть юристы весьма заинтересованы в легитимации и одновременно в самолегитимации, в получении автономии благодаря той власти легитимации, которая у них имеется. Они будут пользоваться этой имеющейся у них властью легитимации королевской власти, чтобы легитимировать самих себя в качестве тех, кто, например, способен делать ремонстрации королю: «То, от имени чего я тебя оправдываю, позволяет мне тебе сказать, что у тебя нет права делать это...». Но определенная часть юридической работы — это работа по сопровождению отправления власти: римское право позволяет в какой-то

мере легализовать династический принцип и перевести его на государственный язык — когда я говорю «государственный», я имею в виду, что этот язык уже универсализирован в качестве государственного, то есть сгодившегося для этой цели языка римского права, в котором, к примеру, было понятие крови, права крови. Уже во времена Капетингов проявляются первые признаки этой работы по юридической рационализации определенной родовой практики: королевскую семью начинают представлять в качестве сущности, юридически гарантированной государством. Именно в это время начинают изобретать «принцев цветов лилии», «принцев королевской крови», а в XV веке и «принцев крови». Метафора королевской крови, опирающаяся на принципы римского права, будет играть центральную роль в качестве оправдательной идеологии, и парадокс в том, что эта оправдательная идеология становится все более необходимой — я разовью [этот момент] в следующий раз. Одно из противоречий династической логики состоит в том, что она сосуществует и совмещается с нединастической логикой: юристы не воспроизводятся наследственно, по крайней мере официально, хотя и существует наследование благодаря системе образования, сохраняющееся и в наши дни. Несмотря на такие явления, как покупка должностей и т. п., сосуществуют два модуса воспроизводства: королевский модус воспроизводства, который, соответственно, основан на праве крови, и модус воспроизводства королевских чиновников, в частности юристов, который имеет совершенно иную природу. Этот конфликт, который юристы определяют самым своим существованием и в то же время помогают решить, является, как мне кажется, одним из факторов (есть и другие) перемены в эволюции династического государства, направляющейся к государству более «обезличенному» — иначе я пока не могу его назвать.

### Задачи следующей лекции

В следующий раз я попытаюсь точнее описать противоречия и дать своего рода феноменологию... Это очень сложно и очень важно, но, в конце концов, я описал



своеобразную феноменологию этого процесса, который нам очень сложно помыслить, поскольку все наши категории мышления являются его продуктом: например, что такое делегирование подписи? Что такое наложение печати? Кто такой хранитель печатей? Почему есть король и есть хранитель печатей? Я попытаюсь проанализировать такое постепенное разделение труда господства... К сожалению, историки не уделяют этому внимания, за исключением историков права, которые более внимательны, — я имею в виду Мэйтланда, которым часто пользуюсь<sup>24</sup>. Эти историки открыли роль символического, например, в отправлении власти (я часто говорю, что история, несмотря на ее триумфальную наружность, — это наука, очень сильно подчиненная другим социальным наукам). Были канонические статьи, которые послужили основой для большого количества работ, но я думаю, что, к сожалению, они в интеллектуальном смысле не интересны, если требуется восстановить то, что, по-моему, как раз и надо восстановить, а именно своего рода повседневность государственной бюрократии, высокопоставленной государственной бюрократии: король ставит подпись, а хранитель печатей ее заверяет: что значит «заверять», кто тут ответственен?

Наконец, я хотел бы описать генезис такого рода, создание цепочки подписей, гарантирующих другие подписи, цепочки агентов, которые одновременно контролеры и контролируемые, лишенные ответственности и ответственные. То, что я собираюсь рассказать, — вещь довольно рискованная, но, возможно, она послужит программой тем из вас, кто вдруг захочет взглянуть на документы, поскольку я думаю, что есть [на что] посмотреть... То есть, развивая то, что я сказал сегодня, я собираюсь сказать довольно-таки неочевидные вещи.

---

24. *Maitland F. W. The Constitutional History of England. Cambridge, 1948.*

## Лекция 10 октября 1991 года

*Модель дома против исторического фетишизма. — Задачи исторического исследования государства. — Противоречия династического государства. — Трехчастная структура.*

### Модель дома против исторического фетишизма

**Я** ХОТЕЛ бы начать свое изложение с того места, где я его прервал, и попытаться показать вам, почему мне кажется интересным и важным выстроить функционирование института королевской власти в качестве дома.

Модель дома важна в двух отношениях: она, во-первых, позволяет ясно поставить вопрос о генезисе политического из домашнего и, во-вторых, объяснить династические стратегии в политической сфере. Я хотел бы поставить две проблемы. Первая упоминалась в книге Эндрю Льюиса, которую я вам цитировал в прошлый раз, эта проблема может показаться наивной, но, если ее переформулировать, она станет в определенном смысле необходимой: кто субъект процесса концентрации различных видов капитала, который я описывал в прошлом году? Является ли субъектом этого процесса попросту король, как наивно полагают некоторые историки, или же речь идет о субъекте, трансцендентном по отношению к личности короля? Я хотел бы сослаться здесь на одну книгу — «Историю монархического управления во Франции» Шерюзеля<sup>1</sup>. Это огромный труд, в общем-то очень полезный благодаря собранной в нем информации. Но в нем абсолютно наивно разделяется описываемая мной позиция: желание короля, Капетингов и их наследников создать королевский домен кладется в основание процесса построения

---

1. *Cheruel A. Histoire de l'administration monarchique en France depuis l'avènement de Philippe Auguste jusqu'à la mort de Louis XIV. Genève: Slatkine, 1974 [1855].*

государства, и всё ограничивается этим объяснением через монархические намерения создать Францию. И даже в более современных работах о Франции, выполненных коллективом историков, можно в скрытом виде найти все ту же вечную идею о наличии некоего субъекта, создавшего Францию. Тогда можно спросить себя, не нужно ли эти довольно наивные вопросы, понижающие собой исторические работы, поставить под вопрос, чтобы выявить ряд проблем, которые ими скрываются.

В данном случае я считаю, что для понимания процесса концентрации нужно привлечь два важных фактора. Первый можно назвать «мыслью дома», как раньше говорили о «мысли Мао»: способ мыслить в категориях дома является принципом, объясняющим, как я думаю, значительный комплекс стратегий, кажущихся разрозненными, — что я в прошлый раз говорил о системе стратегий воспроизводства. В этом способе мышления нет ничего естественного, это исторический способ, разработанный в определенных традициях, но не в других. Например, я читал одну книгу о японском доме, которая только что вышла в коллекции «*Terre humaine*»<sup>2</sup>: в ней замечательно описана история одной японской семьи, принципы функционирования которой точно совпадают с тем, что я проанализировал в прошлый раз, — это мышление в категориях дома, поскольку дом выступает реальностью, трансцендентной по отношению к тем, кто его занимает, как одновременно строение, наследство, совокупность всего рода и т. д. Трансцендентная по отношению к индивидам сущность такого рода может быть субъектом ряда действий, которые продолжают определенное время; одно из свойств дома, настолько самоочевидное, что я забыл о нем сказать, состоит в том, что дом долговечен: главное качество самого дома в том, что он стремится увековечить себя в бытии, стремится длиться; и значительная часть действий, [требуемых] им от тех, кто

---

2. *Caillet L.* La Maison Yamazaki. La vie exemplaire d'une paysanne japonaise devenue chef d'une entreprise de haute coiffure. Paris: Plon, 1991.

в нем живут, указывает именно на то, что [они действуют], не ограничиваясь своими временными интересами, своим собственным существованием.

Именно трансцендентная сущность такого рода — и тип мышления, прививаемый ею тем, кто к ней причастен, — представляется мне, таким образом, истинным субъектом процесса концентрации, а вовсе не воля королей. Но чтобы понять, как такая воля, трансцендентная по отношению к королю, могла осуществляться в истории, необходимо, по моему мнению, поставить вопрос о специфических козырях, имевшихся у короля. Странно, хотя это, возможно, следствие моего невежества, но я не видел, чтобы кто-то открыто ставил этот вопрос. [Историки говорят] всегда так: «Король Франции или тот, кто стал королем Франции, одержал победу над другими феодалами»; они ставят вопросы об экономических и т. п. козырях, но я думаю, что они не ставят в явной форме вопрос о том, как тот факт, что кто-то был королем, мог стать козырем в борьбе с другими феодалами, частной особенностью которых было то, что они не короли. Иначе говоря, предлагаемый мной объяснительный принцип, который может показаться даже смешным, поскольку он чисто символический, один из принципов, объясняющих успех короля, состоит попросту в том, что он был королем, то есть занимал особое место в игре, место короля, а потому я назову эту тему так: «место короля». Я хотел бы разъяснить [этот момент], поскольку он не столь очевиден, как кажется.

Я только что сказал, что, по-моему, никто не поставил этот вопрос в явной форме. Но есть одно исключение — Норберт Элиас, и я процитирую вам из него отрывок, где ему как раз удалось поставить эту проблему. Но я думаю, что ответ, который он дает, совершенно тавтологический, а поскольку я совершенно не уверен в своем мнении, раз речь о таком великом мыслителе, я просто прочитаю вам текст, и вы решите сами. Элиас называет это «механизмом монополии»: «Когда в большом социальном объединении имеется множество мелких, образующих его посредством взаимосвязи друг с другом, которые обладают примерно одинаковой

социальной силой, являются свободными, поскольку им не препятствует уже имеющаяся монополия, и способны конкурировать за социальные шансы, т. е. прежде всего за средства производства и средства существования, то появляется очень высокая вероятность того, что в конкурентной борьбе одни из них одержат верх, а другие потерпят поражение»<sup>3</sup>. То есть он говорит так: когда есть много борцов, выигрывает один, и власть концентрируется. Почему она концентрируется? Потому что концентрируется... Вы можете перечитать этот отрывок: «...появляется очень высокая вероятность того, что в конкурентной борьбе одни из них одержат верх, а другие потерпят поражение». Это железный закон олигархии<sup>4</sup>... Я думаю, что решение Элиаса не вполне удовлетворительно, однако его заслуга уже в том, что он поставил вопрос, и, быть может, без него я и сам бы не смог его поставить.

То есть у нас есть некое феодальное поле, совокупность социальных агентов, конкурирующих друг с другом и имеющих козыри, примерно равные в плане ресурсов, военного, экономического и т. п. капитала, — если еще раз перечислить виды капитала, о которых я уже говорил. Но все эти агенты кое в чем проигрывают: в плане символического капитала им не хватает [именно этого качества, которое отличает их от других] и выделяет их уникальность, то есть им не хватает способности назвать себя королем. Приведу цитату из предисловия, написанного Дюби к книге Льюиса: «Король обладал властью, природа которой наполовину была литургической и которая ставила суверена особняком от всех остальных властителей, с ним конкурирующих»<sup>5</sup>. Важное для меня здесь слово — «особняком». Конечно, важна и «власть, природа которой наполовину была литургической» — король обладал властью по божественному праву, но и остальные тоже

3. Элиас Н. О процессе цивилизации. Т. 2. С. 105.

4. Отсылка к знаменитому «железному закону олигархии», сформулированному Робертом Михельсом в его работе: *Михельс Р. Социология политической партии в условиях современной демократии*. М.: Академический проект, 2000.

5. *Duby G. Préface / Lewis A. W. Le Sang royal*. P. 9.

всегда были помазаны, освящены или утверждены церковью. То есть я считаю, что, если соглашаться с тем, что действительно имелась литургическая специфика, последняя имела значение, поскольку применялась именно к тому, кто отличался и чья особость отмечалась тем, что он получал особое помазание. Следовательно, мне показался важным именно тот факт, который отмечает и Дюби, а именно то, что суверен стоит особняком от других.

Простите меня за то, что я должен был еще в самом начале заявить: помимо того, что я называю «местом короля», есть и другие аргументы. У короля, очевидно, есть другие козыри, которые выделялись историками: он накапливает суверенитет (то есть, в логике римского права, суверенитет, который приписывают ему канонисты) и сюзеренитет. Таким образом, он может играть в своего рода двойную игру. Как монарх, он может играть с феодальной логикой, то есть требовать подчинения феодалов и помимо этого претендовать на особый статус, который внутри феодальной логики дает ему факт отличия от всех остальных. Следовательно, он может пользоваться самой логикой феодальной игры, чтобы эту феодальную игру изменить, что является достаточно банальным парадоксом: нужно воспользоваться игрой, чтобы изменить правила игры. То есть он может пользоваться феодальной логикой, превращенной в династическую, как я уже отмечал в прошлый раз, чтобы накапливать свое наследие и усиливать свое отличие. Но к этим обычно приводимым аргументам я присовокупляю то, что королю удалось провести первоначальное накопление символического капитала, связанного с эффектом отличия: король — это, соответственно, феодальный владыка, особое свойство которого в том, что он может с разумными шансами на успех добиться социального признания своей претензии на то, что он король. Говоря в категориях Вебера, король — это тот, кто может претендовать на то, что он король, имея определенные шансы на то, что ему поверят, а символический капитал, если вы помните, — это капитал, опирающийся на веру. Следовательно, он может назвать себя королем, имея определенные шансы на то,

что с ним согласятся. Здесь я могу сослаться на недавнее открытие экономистов, которые, описывая подобные феномены, говорят о «спекулятивных пузырях» — это ситуации, в которых социальный агент имеет основание делать то, что он делает, поскольку знает, что другие социальные агенты согласны с тем, что он есть тот, кем он претендует быть, и что у него есть право делать то, что он делает: это своего рода зеркальная игра. Логика символического всегда имеет такой характер.

Поскольку это достаточно сложные рассуждения, я буду разворачивать их медленно, читая свой текст: король имеет основание считать себя королем, поскольку другие верят в то, что он король, — и это рационально, у экономики символического есть своя рациональность. Иначе говоря, небольшого различия достаточно для создания максимального зазора, поскольку этот небольшой зазор отделяет его от всех остальных. Такое символическое отличие, раз оно известно и признано, становится реальным различием, поскольку каждый из феодалов должен считаться с тем, что другие феодалы считаются с тем, что король — это король. Я повторю эту фразу, поскольку это промежуточный результат: каждый из феодалов, то есть каждый из всех остальных, кто не король, определяется попросту этим фактом лишенности, тем, что он не король; каждый из феодалов должен, следовательно, считаться с тем, что он не король, и с тем, что другие считаются с тем, что король — это король.

(Я считаю, что это очень общая модель, и, если подумаете, вы сможете понять, что она действует во многих универсумах, функционирующих благодаря символическому, например в интеллектуальном поле. Почему, к примеру, Жан-Поль Сартр был ведущим интеллектуалом в интеллектуальном поле 1950 гг.? Потому что другие должны были считаться с тем, что другие считались с тем фактом, что Сартр был ведущим интеллектуалом. Это очень сложные процессы, способ инициирования которых не особенно понятен... Я часто использую одну картинку для описания борьбы между интеллектуалами. Я расскажу вам о ней, потому что она и правда смешная: это эксперимент [Кёлера], психолога, который долго изучал интеллект обезьян. [Кёлер] расска-

зывает, что однажды ему пришла в голову идея подвесить банан, который обезьяны достать не могли; и тогда [одна из наиболее проворных] в какой-то момент [толкает другую обезьяну] под банан, забирается на нее и хватается банан; после этого бросились и все остальные обезьяны, все тянут руку вверх, все пытаются взобраться на других, но уже никто из них не хочет оставаться внизу, поскольку все поняли, что нужно быть наверху<sup>6</sup>... Это кажется мне метафорой борьбы интеллектуалов... Если вы попадете на какие-то интеллектуальные дебаты, вспомнив об этой метафоре, вы почувствуете облегчение и свободу, поскольку у вас пропадет желание поднять руку, вам будет намного проще сохранить самообладание. Интеллектуальное поле имеет такой же характер: каждый говорит, что хотел бы считаться с тем, что другие считаются с тем фактом, что он первый. Эти процессы, выглядящие замкнутыми циклами, в какой-то момент достигают точки остановки: есть феномены первоначального накопления, есть люди, которые накапливают, и потом им уже не нужно тянуть руку вверх — понятно, что они уже накопили...)

Я думаю, что эта модель является очень общей; и случайно то, что парадигма короля столь сильна в бессознательном: все знают о той удивительной роли, которую играет эта парадигма короля, поскольку король — этот тот, кому удастся навязать остальным то представление, какое есть у него о самом себе. Это мечта всех людей — сделать так, чтобы другие думали о тебе то же, что ты сам думаешь о себе [...]. Так вот, король — этот тот, кто, как сказал бы опять же Вебер, может, имея шансы на успех, думать, что он король; то есть это безумец, который с одобрения других принимает себя за короля. Тут есть своего рода круговая логика... *Homo homini lupus, homo homini deus*<sup>7</sup>... Король — этот тот, кто

6. Köhler W. L'Intelligence des singes supérieurs / P. Guillaume (trad.). Paris: Alcan, 1927 [1917]. P. 42.

7. Буквально: «Человек человеку бог», парафраз знаменитого высказывания Гоббса «Человек человеку волк» (*homo homini lupus*). В своей вступительной лекции в Коллеж де Франс П. Бурдьё уже говорил, что «именно потому, что человек человеку бог,



имеет божественное право навязывать свое собственное представление. Здесь можно было бы подумать о роли искусства или, говоря точнее, об отношениях между искусством и властью: отличительным свойством короля является то, что у него могут быть конные памятники, то есть он может навязывать объективированные представления о самом себе, которыми навязывается его точка зрения на самого себя и на господствующую точку зрения: он на коне и т. д. Он выстраивает и навязывает свою собственную конструкцию в качестве универсальной; он находится в положении, позволяющем ему универсализировать свою частную точку зрения на самого себя, что является поразительной привилегией, очень похожей на божественную: он сам распоряжается тем, как его воспринимают. Я далее не буду развивать этот образ, поскольку это достаточно сложно сделать в режиме импровизации, но можно точно сказать, что следовало бы проработать значительную область символического, которая выводится из этой модели едва ли не дедуктивно, — король-солнце и т. п. Надо было бы провести обширное исследование короля как места, в котором бесконечность суждений, выносимых людьми друг о друге, останавливается: это место, где истина о себе, субъективная истина и объективная истина совпадают. Король является своего рода последней апелляционной инстанцией, он тот, кто всегда выше высшего, он по ту сторону той стороны.

Представился удобный случай, чтобы показать вам, что эта модель не просто спекулятивна, что она соответствует реальности, — один из моих слушателей любезно предоставил мне библиографию по проблемам королевской власти в Индии, и в одной из этих книг я нашел очень точный пример этой модели места короля<sup>8</sup>. В этой книге, которую я не могу полностью пересказать, поскольку еще не освоил ее, как следует,

---

человек человеку волк» (*Bourdieu P. Leçon sur la leçon. Paris: Minuit, 1982. P. 52*).

8. *Alam M. The Crisis of Empire in Mughal North India: Awadh and the Punjab, 1707–1748. Oxford-New Delhi: Oxford University Press, 1986. P. 17.*

[Музафар Алам] описывает упадок Могольской империи. Я думаю, что [он] расходится с историографической традицией Индии, в которой упадок империи обычно представляется процессом политической фрагментации, связанной с экономическим упадком. С точки зрения [Музафара Алама], этот пессимистический взгляд скрывает процесс возникновения нового порядка, новой структуризации, которая должна опираться на неизменное место короля, в том смысле, если я правильно понял, что местные вожди, боровшиеся друг с другом и так или иначе извлекавшие выгоду из ослабления и разложения имперской власти, для усиления своей власти и своей локальной автономии, на самом деле продолжают ссылаться на «то, что по крайней мере выглядит имперским центром» (перевод мой). Иначе говоря, от империи остается не что иное, как идея о том, что есть империя и что у империи был центр. В силу этого факта тот, кто занимает центральное место, оказывается в привилегированном положении: чтобы легитимировать себя, легитимировать какое-либо завоевание или злоупотребление властью, феодалы вынуждены так или иначе ссылаться на этот центр, остающийся местом легитимации. Приведу цитату: «В условиях безграничного военного и политического авантюризма, сопровождавшего упадок имперских властей и ставшего его следствием, ни один из авантюристов [не уверен, что так можно перевести] не был достаточно силен, чтобы завоевать поддержку остальных и заменить собой имперскую власть. Каждый боролся за себя, независимо от остальных [тут уместна метафора обезьян, которые тянут руку вверх], стремясь сколотить состояние, но при этом угрожая положению и успеху любого другого. Только некоторые могли каким-то образом подчинить себе других, когда искали признания или институциональной легитимации своих трофеев; и для этого им был нужен центр, который только и мог легитимировать их приобретения». Вот вам и иллюстрация: если бы король не существовал, его следовало бы выдумать.

Мне кажется, что эта история показывает следующий момент: когда сталкиваются соперничающие друг

с другом власти, того факта, что среди этих властей есть та, что может утвердить себя в качестве превосходной, отличной, уже достаточно, чтобы задать ее в качестве обязательной отсылки; эффект такого рода является важным для объяснения процесса концентрации, который я ранее изучал. Я сказал вам: есть определенное отношение между столицей <la capitale> и капиталом; и я мог бы сказать также: есть определенное отношение между центром и концентрацией. Но я тогда еще не выдвинул эту гипотезу: процесс концентрации в определенной мере обусловлен самим наличием центра. Это кажется тавтологией, но я думаю, что эта гипотеза отличается от предположения Элиаса: факт существования в качестве центра дает определенное преимущество в борьбе за концентрацию — центра в том смысле, о котором я говорил, то есть признанного центра, а не просто географического; хотя бывает и так, что можно получить дополнительные выгоды от центра в географическом смысле. В общем, это был первый вопрос, который я собирался поставить, и я думаю, что мышление в категориях дома, соединенное с моделью места короля, а также с традиционными объяснениями историков, о которых я вкратце рассказал (сюзеренитет, суверенитет и т. д.), — всё это позволяет понять, почему получилось так, что, независимо от всякой централистской воли короля, происходит централизация, этому королю выгодная.

### Задачи исторического исследования государства

Я хотел бы поставить второй ряд вопросов, который более важен с точки зрения логики [модели]: почему интересно изучать генезис государства, которым я занимаюсь уже несколько лет, и какова задача такого исторического исследования? Задача в том, чтобы сделать вклад в объяснение генезиса государства, то есть генезиса политического как особой логики. Если мы говорим, что даже на достаточно позднем историческом этапе во Франции и в Англии в королевском доме вместо политики использовались домашние стратегии, это

означает, что в качестве политических описываются вещи, которые сами не являются политическими, которые еще не учреждены в качестве политических; если мы говорим, что такая-то война за престолонаследие — это пример стратегии наследования определенного дома, значит война не учреждена еще в качестве политической; если же мы говорим, что матримониальные стратегии вдохновляются стремлением увековечить дом, значит еще не произошло разрыва между личностью или семьей короля и государственным аппаратом, и т. д. Важно довести гипотезу функционирования в качестве дома до конца, чтобы попытаться увидеть то, что не получается ею объяснить. [В примере] Людовика XIV [речь о том, чтобы] взять всё, что он сделал (во внешней или внутренней политике и т. д.), и определить всё то, что позволяет мне объяснить модель функционирования в качестве дома, поскольку остаток будет, по моему мнению, первым проявлением собственно политического: то, что я не смогу объяснить, и есть то, что я буду называть «собственно политическим». Так, в прошлый раз я сказал вам, что предлагаемая мной тема могла бы называться «От королевского дома к государственному интересу»...

Есть одна книга, о которой я буду вам говорить, это книга Этьена Тью о государственном интересе<sup>9</sup>, о генезисе дискурса «государственного интереса» как дискурса легитимации, привлекающего государственный принцип в качестве оправдания действий короля; появление этого дискурса обосновано разрывом с логикой дома. Я еще вернусь к этой книге, показывающей, как понятие государственного интереса появляется у юристов, которые в своих попытках дать такие оправдания государственной политике, которые не были бы чисто личными или этическими, опираются, с одной стороны, на Тацита и на пессимистическую традицию истории, а с другой — на Макиавелли. В той мере, в какой, например, логика дома — это логика этическая, то есть определенная мораль (я несколько упрощаю

---

9. *Thuaud É.* Raison d'État et pensée politique à l'époque de Richelieu. Paris: Armand Colin, 1966; переиздано в: Albin Michel, 2000.

и огрубляю: то, что мы относим к категории морали, по моему мнению, в 90% случаев является домашним мышлением), для изобретения политической логики требовалось порвать с домашним мышлением и сказать: «В этом случае недостаточно повиноваться, король не может удовлетвориться следованием собственным чувствам; например, он мог бы захотеть помиловать де Ту<sup>10</sup>, но он должен его казнить». Государственный интерес сильнее домашнего, сильнее чувства, жалости, доброты, феодальной любви и т. д. То есть именно этот процесс я хотел бы попытаться описать, обратившись к этому чрезвычайно длительному переходному периоду, который начинается в XII веке.

В прошлый раз я цитировал вам тексты историков, показавших, что начиная с XII века появляется мышление юридического типа, которое начало отделяться от традиционной логики дома, пусть и путем ее рационализации. Часть юридического дискурса сводилась к облачению мысли дома в римское право. Но приводить основания для того, что нужно подчиниться мысли дома, — значит уже идти на разрыв с этой мыслью дома. У Мерло-Понти есть прекрасное высказывание о Сократе: Сократ ставит людей в затруднительное положение, поскольку он приводит основания для повиновения, а если приводят такие основания, значит можно и не повиноваться<sup>11</sup>. Приводить основания для мысли дома — значит уже занимать место, из которого

---

10. Речь идет об обезглавливании Франсуа-Огюста де Ту (François-Auguste de Thou, 1607–1642), государственного советника при Людовике XIII, казненного за участие в заговоре Сен-Марс.

11. Цитата из работы «В защиту философии»: Мерло-Понти М. В защиту философии. М.: Издательство гуманитарной литературы, 1996. С. 28–29. Эта отсылка развивается в «Уроке об уроке»: «Можно вспомнить то, что Мерло-Понти говорил о Сократе: “Он приводит доводы в пользу того, чтобы повиноваться законам, а это уж слишком — иметь доводы для повиновения... От него ждали того, чего он не мог дать: бездумного признания вещей.” Раз те, кто заинтересованы в установленном порядке, каким бы он ни был, не любят социологию, значит она дает ту свободу от первичного согласия, благодаря которой даже покорность принимает вид ереси или иронии». Bourdieu P. *Leçon sur la leçon*. P. 54.

мысль дома необходимо оправдывать: раз она оправдывается, значит уже открывается дверь для возможной ереси, отступления. В этом как раз и заключается различие между доксой и ортодоксией. По сути, мысль дома, так сказать, в беарнском стиле — это мысль доксы, поскольку противоположность просто немыслима; тезисы доксы — те, у которых нет противоположности: так устроено, это традиция, об этом нечего говорить, «так повелось с незапамятных времен», как говорилось в беарнских сводах обычного права, то есть всё было так, как есть, со времен, о которых люди уже не помнят. Традиционализм начинается, когда традиция перестает быть самоочевидной: как только начинают говорить, что надо иметь традицию или уважать ее, это значит, что традиция сама по себе больше не работает; как только начинают говорить о чести, это значит, что честь поругана; как только заходят разговоры об этике, значит этос больше не действует — ведь этос заключается в том, что «само собой» разумеется...

Эта работа, в которой юристы играют главную роль, заставляя доксу превращаться в ортодоксию, напоминает нам о том, что право — это ортодоксия: это докса, о которой говорят, что она правильна, это право, о котором говорят, что оно правильно, это должное бытие, которое не утверждается самим фактом своего бытия, в модусе «так делают», это такое «так делают», которое утверждается в модусе «так следует делать». Этот переход от доксы к ортодоксии, в который наиболее важный вклад вносят юристы, приводит к созданию совершенно иной вещи, которой как раз и оказывается государственный интерес. Есть превосходная книга Пьера Видаль-Наке под названием «Государственный интерес»<sup>12</sup>, которая была написана во время Алжирской войны, и в ней он ставит вопрос о том, есть ли у государства в определенных случаях основание взывать к собственному интересу, который считается чем-то превышающим мораль, чтобы преступить эту мораль, например, занимаясь пытками и т. п. Государственный

---

12. *Vidal-Naquet P. La Raison d'État*, textes publiés par le comité Maurice-Audin. Paris: Minuit, 1962; переиздано в: *La Découverte*, 2002.

интерес *<raison d'État>* — это резон *<raison>* \* такого рода, который выходит за пределы морального резона — и в этом вся проблема, — то есть за пределы домашнего резона. Вот так.

Я собираюсь изучать, не подробно, конечно, поскольку это, очевидно, потребовало бы многочасового анализа, принцип этого очень длительного перехода, который привел от «резона дома» к государственному интересу. Этот процесс трансформации сталкивается со значительными трудностями: создается впечатление, что специфическая логика государства так и не смогла окончательно отделиться от логики дома... Процесс не закончен: когда говорят о коррупции, кумовстве, фаворитизме, становится понятно, насколько проблематичен публичный резон *<raison publique>*. Когда-то я назвал свою книгу «Государственная знать» именно для того, чтобы сказать, что государство могут присваивать люди, которые используют его точно так же, как другие используют наследство, поскольку таким наследством у них является государство. Всегда остается искушение вернуться от государственного интереса к «резону дома». Серьезные нарушения публичной морали почти всегда связаны со стратегиями воспроизводства: это для моего сына, моего дяди, моего кузена. «Резон дома» всегда остается темным фоном государственного интереса. Вот что я хотел бы проанализировать (хотя, естественно, провести подробное историческое исследование этого процесса — задача, превышающая мои компетенции; здесь есть преподаватели, которые могут этому научить). Я попытаюсь поставить вопрос об этом процессе, в котором нет ничего очевидного, и даже если вам кажется, что я топчусь на месте и двигаюсь слишком медленно, я сам думаю, что иду слишком быстро: мы настолько привыкли ко всему этому, что даже не удивляемся тому, насколько сложно совершить этот переход. Время от

---

\* Здесь и далее Бурдьё обыгрывает многозначное слово «la raison» (разум, основание, причина, резон), входящее в устойчивый термин «raison d'État» (государственный интерес) и выражение «raison maison» (резона дома, дом-как-резон). — *Примеч. пер.*

времени об африканских государствах говорят: «А, эти новые государства, просто ужас, им не удастся расстаться с домом, у них нет государственного интереса», и это называют «коррупцией»...

Эта необычайная сложность построения особой государственной логики [связана с] процессом автономизации поля нового типа, аналогичной автономизации литературного поля, научного и т. д. В каждом из таких случаев начинает разыгрываться какая-то новая игра, внутри которой начинают действовать экстраординарные правила — когда я говорю «экстраординарные» [я понимаю] это слово в смысле Вебера, то есть это правила, не являющиеся правилами ординарного мира. По сути, проблема государственного интереса — это проблема образования отдельного мира, оторванного от обычного. В обычном мире нужно любить родителей, поддерживать детей и т. д. Напротив, [известно, что] «администрация не дарит подарков»: тогда как, например, в отношениях отца и сына хороший отец должен делать подарки, но в публичном порядке это, наоборот, нарушение. Ставкой в игре является изобретение поля, чьи правила игры расходятся с правилами игры обычного социального мира: в публичном мире не делают подарков, в нем никто никому не брат, не отец и не мать, по крайней мере теоретически... В публичном мире (или в «Евангелиях») принижаются домашние или этнические связи, в которых [проявляют себя] все формы зависимости, коррупции. Здесь становишься своего рода публичным субъектом, определение которого состоит в том, что он должен служить той реалии, трансцендентной по отношению к местным, частным, домашним интересам, которой является государство.

То есть вот что я собираюсь описать. Каковы факторы [...], которые могли способствовать такому переходу от домашнего резона к государственному интересу? Первый из них состоит в том, что сама логика дома обладает особым качеством, которое роднит ее с логикой государства. И чтобы понять знаменитый парадокс двух тел короля, изученный Канторовичем, можно воспользоваться исключительно логикой дома: есть



дом, и есть король. Иначе говоря, в той мере, в какой дом—это определенный корпус (в том смысле, в каком говорят о больших корпусах, например *corpus corporatum*, как говорили схоластики, о корпусе как корпорации), благодаря принадлежности дому приобретается логика «мысли дома», преданности дому, то есть сущности, трансцендентной по отношению к агентам. В течение всего переходного периода, когда королевский дом становился государством, двусмысленность дома, несомненно, в какой-то мере способствовала переносу, в том числе и в голове самого короля, преданности семейному дому на династию, которая в то же время является короной, государством и т. д. Иными словами, следует учитывать саму двусмысленность понятия дома как реалии, трансцендентной по отношению к личности, чтобы понять этот переход к образованию такой трансцендентной сущности. Мне вспоминается эта знаменитая, но, без сомнения, апокрифическая фраза: «Государство — это я». Это значит: «Государство — это мой дом». Такое мышление в категориях дома [впоследствии] объективируется, канонизируется, кодифицируется юридическим дискурсом. Я не буду на этом долго задерживаться, но думаю, что это решающий фактор. [В курсе, который был до курса про государство] я зачитал вам один текст из д'Агессо<sup>13</sup>, верховного судьи, который был одним из тех, о ком я буду говорить в следующий раз, одним из этих великих изобретателей государства, — это люди, которые создали государство, поскольку они были заинтересованы в его создании, — и в этом тексте д'Агессо меня поразило, в тот самый момент, когда я его читал (хотя я это сам тогда не понял), что он то и дело переходит от современного языка (например, он говорил о республике, об общем деле <*chose publique*>, о публике и т. д.) к формам, которые, по моему ощущению, являются досовременными, вкладывая в понятие государства смыслы, которые я считал архаичными, и причина в том, что этот переход между двумя логиками осуществлялся непосредственно у него в голове.

13. См. выше, р. 84.

## Противоречия династического государства

Сегодня я хотел бы просто подчеркнуть то, что можно было бы назвать специфическими противоречиями династического государства [...]. Попросту говоря, [...] логика дома содержит в себе противоречия, которые запускают процесс преодоления династического мышления.

[...] Поскольку философия истории Франции и политическая позиция Ролана Мунье сделали его более внимательным к тем вещам, которые историки с большей якобинской жилкой и больше верящие во «Французскую революцию», не видели, он смог выявить в институтах Франции, в том числе и весьма позднего периода, пережитки моделей поведения, имеющих типично наследственный и домашний характер<sup>14</sup>. Например, он часто указывает на отношение между покровителем и креатурой — и мы хорошо это понимаем, поскольку всё это сохранилось до наших дней: быть чьей-то креатурой — значит быть [обязанным] своим социальным бытием, своей бюрократической карьерой другому человеку. Отношение покровителя и креатуры — один из примеров стремления домашнего мышления к собственной генерализации и к захвату политического. Династическое мышление значимо не просто в качестве принципа поведения, нацеленного на увековечивание королевского рода и его наследства; оно становится общим модусом мышления, применимым к чему угодно: всякое человеческое отношение начинает мыслиться по домашнему образцу, к примеру, как отношение братства или же как отношение отца к сыну и т. д. Отношение покровителя и креатуры — это один из примеров этой захватнической природы домашнего мышления, которое становится принципом любой политической мысли. Нет социальных отношений, которые было бы невозможно

---

14. *Mousnier R. Les Institutions de la France sous la monarchie absolue (1598–1789)*, 2 t. Paris: PUF, 1974–1980. Обычно считается, что этот историк занимал правокатолические позиции. Будучи предшественником изучения социальной истории в Сорбонне, он не принадлежал ни к школе «Анналов», ни к марксистскому направлению.

подвести под эти домашние категории. Это, впрочем, хорошо заметно и сегодня, во всех движениях, вроде бы освобожденных от какого бы то ни было династического мышления, например в профсоюзных движениях и т. п., [и в том, как они используют] понятия братства: эти домашние понятия захватывают политические понятия и в то же время запрещают им учреждаться в качестве собственно политических (в частности, понятие гражданина...).

Процитирую захватывающий текст [Ричарда Бонни] об отношении патронажа и клиентелы, которое сохраняется как неотъемлемый элемент даже весьма развитого династического государства: «Именно система патронажа и клиентелы составляла силу, действующую за фасадом официальной системы администрации, которую, несомненно, описать проще». Иначе говоря, внешне все выглядит как современная бюрократия. «Ведь в силу самой своей природы отношения патронажа ускользают от историка». Они не сохраняются в текстах, тогда как бюрократическая сфера тесно связана с письменными текстами, с правом и т. д. «Однако важность того или иного министра, государственного секретаря, финансового интенданта или королевского советника зависела не столько от его титула, сколько от его влияния или же от влияния его патрона. Это влияние в значительной степени определялось личностью данного лица, но еще больше патронажем»<sup>15</sup>. И в этом случае патронаж — определенный капитал, который образуется вокруг определенного имени собственного. Семейные логики пронизывают собой бюрократическую структуру, и я как раз хочу подойти к тому, что они в силу порождаемых ими противоречий вносят вклад в развитие процесса бюрократизации.

Я бегло перечислю основные противоречия династического государства. Первое: король экспроприирует частные полномочия ради частной власти. Отсюда необходимость универсализировать этот частный случай. Одна из задач юристов, легистов, которые будут

---

15. *Bonney R. J. Guerre, fiscalité et activité d'État en France, 1500–1660.* P. 199.

работать идеологами короля, — универсализировать этот частный случай, сказав: «Этот частный случай, это частное — не такое частное, как остальные, такое частное является публичным». Поступая так, действуя в духе благочестивого лицемерия, — это понятие *благочестивого лицемерия*, о котором я говорил здесь не меньше сотни раз, крайне важно для понимания социального мира<sup>16</sup>: можно было бы сказать, по примеру теоретиков идеологии, что юристы мистифицируют, поскольку, чтобы мистифицировать, нужно мистифицироваться, то есть лицемерие оказывается благочестивым, — поступая так, они участвуют в разработке дискурса, который сам является отрицанием того, что они легитимируют, то есть если для легитимации частного его нужно деприватизировать, значит не-частное лучше частного. Вот где кроется двусмысленность этих идеологических дискурсов: публичное изобретается в попытке решить противоречие частной собственности на экспроприированные частные собственности.

Второе противоречие, самое важное: король и королевская семья закрепляют модус воспроизводства домашнего типа, то есть модус воспроизводства на основе семьи (наследство передается от отца к сыну и т.д.), в универсуме, в котором постепенно внедряется другой модус воспроизводства — модус воспроизводства чиновников, реализующийся за счет системы образования. На самом раннем этапе, уже в XII веке, первые государственные служащие — это люди с дипломами, которые могут использовать свою компетенцию как аргумент против власти династического типа. Мы видим, как в самом сердце государства задается оппозиция, гомологичная классическому для истории коммерческих предприятий противопоставлению, описанному в работе Берла и Минса<sup>17</sup>, предложивших теорию разделения собственников и менеджеров. Берл и Минс выдвинули

---

16. Bourdieu P. Les juristes, gardiens de l'hypocrisie collective // Normes juridiques et régulation sociale / F. Chazel, J. Commaille (dir.). Paris: LGDJ, 1991. P. 95–99.

17. Berle A. A., Means G. C. The Modern Corporation and Private Property. New York: Macmillan, 1933 [1932].

представление о переходе от эпохи собственников предприятий к эпохе менеджеров, так что предприятия выступают местом борьбы между собственниками и техническими специалистами или функционерами. В сердцевине государственной структуры имеется противопоставление такого же типа, которое, конечно, не нужно овеществлять. То есть, с одной стороны, у нас есть наследники, власть которых покоится на династическом принципе, крови, природе, на переносе по кровной линии, а с другой — менеджеры, то есть те, кто, чтобы упрочить свою власть, должны обращаться к другим принципам власти, а именно к заслугам и компетенции.

В своих заметках я нашел то, что говорил Бернар Гене в работе «Запад в XIV и XV веках»: до конца XIV века функционеры хвалились своей верностью, то есть сохранялась логика личной зависимости, политических отношений, понимаемых по образцу домашних; а после они начинают хвалиться своей компетенцией<sup>18</sup>, то есть последняя становится автономным принципом власти, наделенным, наконец, собственной логикой. Начиная с определенного момента, да и, по сути, с самого начала, обладатели династической власти, чтобы одержать победу над своими династическими соперниками, вынуждены пользоваться услугами обладателей военных, технических, бюрократических и иных знаний; то есть они, чтобы защитить династический принцип, вынуждены опираться на людей, чье существование опирается не на династический принцип. Парадокс в том, что, как я недавно говорил, логика партий (в которых можно увидеть пережиток домашней логики, сохранившейся в политическом состоянии) заставляет короля пользоваться публичными ресурсами, чтобы подкупать лидеров партий; иначе говоря, королевская казна идет на жертвования. Это означает, что бюрократическая логика неизбежна — династия без нее обойтись не может — и в то же время она по самому своему принципу противоположна династии.

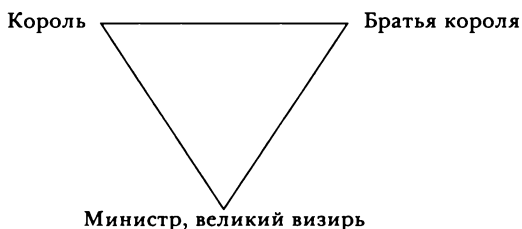
---

18. *Guenée B.* L'Occident aux XIVe et XVe siècles. Paris: PUF, 1971. P. 230.

Вы, наверное, помните, насколько поразителен текст д'Агессо: он делает набросок своего рода теологии, идеологии бюрократа <clerc>, власть которого — это власть не крови, а компетенции. В этом тексте он постоянно перескакивает [от одного принципа к другому]: дворянство мантии может в то же время быть дворянством [шпаги], то есть оно обращается и к доводам крови; в итоге мы увязаем в удивительных противоречиях, которые, как мне кажется, составляют самую основу разделения труда господства.

### Трехчастная структура

Теперь я в двух словах расскажу вам о схеме, которая показалась мне способной очень многое прояснить, и я могу легко ее развить. То есть у нас есть структура с королем, братьями короля и всеми династическими соперниками, то есть другими феодалами и т. п.



Здесь [у нас братья короля] принцип легитимации — это семья, логика крови, природы, поскольку способ воспроизводства является домашним. На другой стороне стоит королевский министр, которого можно назвать делегатом, уполномоченным, и его принципом легитимации часто является образование как гарантия компетенции. С одной стороны, компетенция, заслуга, достижения и т. д., а с другой — природа. Мы в итоге приходим к своего рода треугольнику, трехчастной структуре в стиле Дюмезиля<sup>19</sup>, которая обнаруживает-ся во множестве больших империй. Королю нужны такие люди [министры], чтобы упрочить свою власть перед лицом [его братьев, но люди эти] могут обратить

19. Dumézil G. Mythe et épopée. Paris, 1968.

против короля ту самую компетенцию, которую они должны поставить ему на службу, и вместе с тем легитимность, которой их эта компетенция обеспечивает.

Есть разные решения, которые я вам вкратце опишу. Например, очень часто [министры династического государства] дают обет безбрачия, а крайним случаем выступают евнухи, которым запрещено воспроизводство: они, как и визирь, обладают властью, но властью не воспроизводимой, пожизненными полномочиями. Другие частично или полностью исключены из власти, но они могут воспроизводиться. Иначе говоря, у нас есть безвластные воспроизводящиеся и не воспроизводящиеся властители. И совершенно ясно, почему важна проблема наследования, почему важно мыслить в категориях воспроизводства. С одной стороны, есть наследники, с другой — те, кого можно было бы назвать «облатами», то есть те, кто были пожертвованы Церкви, обычно бедняки, которых семьи отдавали Церкви еще в раннем детстве. Облаты — это те, кто всем обязаны королю, способному добиться от них абсолютной преданности. Это, я полагаю, «железный закон» всех организаций. Партии, в частности коммунистические, давали облатам серьезные карьерные возможности. Аппаратный закон состоит в том, что аппараты не продвигают людей, имеющих капитал вне аппаратов; это относится как к Церкви, так и к партиям: Церкви любят облатов, поскольку они, будучи всем обязанными Церкви, полностью ей преданы. Например, часто епископами являются облаты, у которых Церковь может все отнять.

Эта трехчастная структура, как мне кажется, очень многое объясняет; она, например, позволяет понять, почему во многих древних империях существовали бюрократии, состоявшие из парий: очень часто бюрократы — это парии, то есть они исключены из политического воспроизводства. Это евнухи, священники, давшие обет безбрачия — все то же «запрещенное воспроизводство», — чужестранцы, не состоящие в родстве с местными людьми, служащие, например, [в] преторианской охране дворцов, [в] финансовых службах империй, в которых часто оказывались евреи, — [это] рабы, являющиеся собственностью государства, так что их имущество и посты

могут в любой момент отойти этому государству<sup>20</sup>. Можно было бы привести тысячу примеров, но [польза определенной структуры в том, что она] не требует выкладывать все исторические данные, ее подкрепляющие, как и указывать на их ограничения... Я мог бы найти примеры в Древнем Египте, античной Ассирии, [где] функционер, называвшийся *wadu*, — это одновременно и раб, и функционер: слово означает и то и другое<sup>21</sup>. Также можно найти пример в персидской империи Ахеменидов: там высокопоставленными чиновниками часто бывали греки. В Османской империи, как показано в прекрасной книге Мантрана, после XV века было найдено радикальное решение этой проблемы: братьев короля отстраняют [...] как только он занимает трон<sup>22</sup>. Неопределенность принципа домашней передачи исчезает, поскольку у короля больше нет в этом плане соперников, так что у него остается лишь проблема главного визиря [министров], которую он решает по-своему [...]: ее решают, нанимая на чиновные посты чужестранцев, то есть в основном христиан-перебежчиков, принявших ислам, которые получают должности высоких сановников.

[...] То есть у нас есть фундаментальный закон — разделение труда господства. Если, с другой стороны, вернуться к истории французской королевской власти, можно заметить, что уже на ранних ее этапах важные позиции занимаются, как тогда говорили, *homines novi*, новыми людьми, облатами, которые всем обязаны государству и которые при этом обладают небезопасной специальной компетенцией. [...] Легко понять, что государство выстраивается как антитеза природе, что государство — это *antiphysis*<sup>23</sup>: никакого воспроизводства,

20. П. Бурдые ссылается здесь на работу: *Hopkins K. Conquerors and Slaves. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.*

21. *Garelli P., Durand J.-M., Gonnet H. et al. Le Proche-Orient asiatique, t. I: De ses origines aux invasions des peuples de la mer. Paris: PUF, 1969.*

22. *Mantran R. L'Empire ottoman, du XVIe au XVIIIe siècle. Administration, économie, société. London: Variorum, 1984; см. также: Mantran R. (dir.). Histoire de l'Empire ottoman. Paris: Fayard, 1989. P. 27, 165–166.*

23. От греческого «*physis*», «природа».



никакого биологического наследования, никакой передачи, даже никакой земли, тогда как король и семья занимают сторону крови, земли, природы.

Первая мера, лежащая в основе современного государства, — это, следовательно, отказ от всякой возможности наследования и всякой возможности долговременного (то есть не ограниченного сроком жизни) присвоения средств производства и, в частности, земли, с которой всегда связывается статус средства производства, но также гарантии социального статуса. К примеру, в Османской империи высокопоставленным чиновникам назначается доход с земель, но никогда не выделяется земельная собственность. Другое средство: наследуемые должности; то есть возникает порядок пожизненной должности, с двумя [антагонистическими] темпоральностями, [первая — наследника и вторая] — функционала. Например, в опросе чиновников, который я проводил<sup>24</sup>, были такие вопросы: «Знаете ли вы своего предшественника?», «Можете ли вы повлиять на назначение вашего преемника?». Это один из важных разрывов: мышление в категориях предшественника и преемника исключается, по крайней мере официально, из бюрократической мысли. В то же время у чиновника совершенно особое отношение к своему посту, отношение, отсеченное от наследования и с точки зрения структуры восприятия — от будущего и т. п. Точно так же Макс Вебер в своей социологии религии попытался [выделить] для каждой из важных позиций в социальном пространстве особый тип религиозности, который ею поддерживает<sup>25</sup>: есть религии купцов и т. п. Я думаю, что для понимания философии истории, религиозной философии чиновников нужно помнить о структуре, задающей саму темпоральность их позиции. [...]

Следовало бы изучить роль специализированных меньшинств. В книге Геллнера о государстве показана

24. См.: Darbel A., Schnapper D. Les Agents du système administratif // Les Cahiers du Centre de sociologie européenne. La Haye: Mouton, 1969.

25. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Избранное: Образ общества. СПб., 2012.

роль групп-парий в образовании бюрократического государства, и я считаю, что это единственная интересная идея этой книги. Например, он не раз подчеркивает то, что евреи, поскольку они были известны своей профессиональной надежностью и способностью оказывать точно оговоренные услуги, поставляя указанный товар точно в срок, были в этой структуре необходимы, но очевидно, что их нужно было лишить сил в военном, а также политическом отношении, чтобы они могли получить разрешение работать с инструментами, которые в других руках были бы опасны именно для тех, кто им их доверил<sup>26</sup>. Случай наемников — не более, чем частное применение этой общей модели. В следующий раз я попытаюсь продвинуться далее в [анализе] этого переходного процесса.

---

26. См.: Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991. С. 214–218.



## Лекция 24 октября 1991 года

*Повторение логики курса. — Семейное воспроизводство и государственное. — Отступление об истории политической мысли. — Историческая работа юристов в процессе построения государства. — Дифференциация власти и структурная коррупция: экономическая модель.*

### Повторение логики курса

**С**ЕЙЧАС я вкратце повторю логику моего рассуждения. На первом этапе я попробовал выделить специфическую логику династического государства и показать, почему некоторыми своими качествами оно было обязано тому факту, что организовывалось одним фундаментальным принципом, а именно наличием стратегий воспроизводства на базе рода. На втором этапе я проанализировал принцип динамики, которая привела к переходу от династического государства к более безличному государству, известному нам. В прошлый раз я описал то, что можно назвать специфическим противоречием династического государства, заключающимся в том, что оно является местом структурного напряжения, возникающего между двумя категориями агентов и, по сути, двумя модусами воспроизводства: одной группой, то есть королевской семьей, которая воспроизводится на основе принципа биологической передачи, и другой, которая воспроизводится опосредованно и чей очевидный принцип — это система образования. Я думаю, что противоречие между двумя этими категориями агентов — один из главных двигателей истории государства, который позволяет понять, как произошел переход от власти личной и передаваемой напрямую по наследству к власти более безличной и, скажем так, передаваемой по наследству лишь частично. Вот путь, которого я придерживался.

Сегодня я сначала хотел бы отметить то, что составляет противоречие между двумя этими способами воспроизводства, поскольку только при условии

досконального понимания принципа этого противопоставления можно понять другие вещи, кажущиеся от него довольно далекими. Не претендуя на переворот в науке, я думаю, что можно было бы намного лучше понять Французскую революцию, если бы мы поняли, что она, возможно, является победой безличного способа воспроизводства над личным. Наконец, — и я скажу это для того, чтобы у вас было общее представление о направлении моего курса, — категории людей, которые в те времена были наиболее заинтересованы [в Революции], представляют собой как раз те категории, которые закрепляют свои властные [позиции], завися от системы образования, культурного капитала и т. д.; они заинтересованы в продвижении определения государства, которое было бы более универсальным, чем это нужно социальным категориям, для которых власть и ее передача зависят исключительно от наследственности. Конфликт двух этих принципов, если помнить о нем, позволяет объяснить многие вещи. Например, я в следующий раз буду рассказывать вам об одной замечательной книге американского историка о королевском «ложе правосудия»<sup>1</sup>, весьма торжественной церемонии, во время которой король посещал парламент и отправлял свою власть законодателя, что являлось экстремальной ситуацией. Эта американка занимается историей этой церемонии, и в ней можно увидеть удивительные вещи, состояния и этапы борьбы между властью на основе династии и властью на основе не генеалогии, а компетенций, [в частности] юридических. В последней главе ее книги описывается заключительный период, пришедшийся на правление Людовика XV: церемониал, введенный при Людовике XIV, когда король восседал на троне, стоявшем на возвышении, в окружении всей королевской семьи, а перед ним стояли подданные, в ее работе противопоставляется тому распорядку ложа правосудия, когда король, хотя он все так же находился на возвышении, был окружен уже людьми, авторитет которых имел юридический характер. Она противопоставляет две этих совершенно разных карти-

---

1. Hanley S. Le Lit de justice des rois de France. Paris, 1991 [1983].

ны, которые выступают своего рода видимым воплощением этого противопоставления [двух модусов воспроизводства]. Из этого вы можете понять, какого направления я хотел бы придерживаться.

### Семейное воспроизводство и государственное

Гипотеза, которую я имел в виду, состоит в том, что один из главных факторов изменений, результатом которых является современное государство, — это указанный антагонизм двух этих разных принципов воспроизводства, один из которых можно назвать семейным, а другой [культурной или образовательной компетенцией]. Два этих принципа продолжают работать, и даже сегодня государство ощущает в себе это противоречие между наследниками и новичками. Система образования, которая на изучаемом мной этапе представлялась принципом воспроизводства, не зависимым от династического принципа и ему противоположным, тоже стала, в силу самой логики своей работы, едва ли не династическим принципом воспроизводства, выступая основанием для государственной знати, своего рода синтеза двух ранее указанных принципов воспроизводства. То есть мы имеем дело с двумя модусами воспроизводства, которые скоординированы друг с другом, которые обосновывают два принципа верности или лояльности группам, объединенным двумя совершенно разными формами связей. Очевидно, предпосылка того, что я говорю о модусах воспроизводства, состоит в том, что власть движима своего рода *conatus*'ом, если говорить в категориях Спинозы, то есть стремлением закрепить саму себя, упорствовать в бытии. (В социологии это постулат, который следует открыто принять, иначе не поймешь, как работает социальный мир; и это вовсе не какой-то метафизический принцип: мы обязаны предполагать, что люди, обладающие определенной властью, капиталом, действуют, осознанно или неосознанно, таким образом, чтобы закрепить или преумножить свою власть и свой капитал.) Этот *conatus*, являющийся постоянным движением,

поддерживающим социальное тело, заставляет различные корпуса, обладающие капиталом, сталкиваться друг с другом и применять на практике ту власть, которой они обладают, в борьбе, нацеленной на поддержание или преумножение самой этой власти.

Вот общее направление, которому я следую. Теперь же я собираюсь уточнить характеристики двух этих модусов воспроизводства. Рассматриваемый переходный период чрезвычайно длителен; его начало можно отнести к самым ранним этапам, поскольку с самого начала Средневековья обладатели пожизненной власти, новички, часто являвшиеся учеными, клириками, а потом и светскими юристами и т. п., сталкиваются с династическими наследниками. [Этот переходный период] продлится с XII века до Французской революции. Он интересен потому, что по мере дифференциации поля власти становится заметным наличие противоречивого и двусмысленного модуса воспроизводства. Противоречие рождается из того, что неродовой модус воспроизводства сам по себе, в силу своей собственной логики, выступает критикой наследственного модуса. Это два модуса воспроизводства, которые по своей сути оказываются антагонистами друг друга: бюрократический модус воспроизводства, поскольку он связан с системой образования, самим своим существованием подрывает основания родового модуса; и подрывает он его в самой его легитимности. Развитие образования и рост числа чиновников, власть которых основана на компетенции, приводят, независимо от всякой идеологической проработки, к оспариванию наследственности, основанной на кровных узах. И можно сказать, что в определенном смысле государственная знать, то есть знать компетенции, чьим воплощением станет дворянство мантии, изгоняет старую знать.

Всё, конечно, не так просто, поскольку, как показали историки, дворянство мантии разделяется внутри себя в силу того, что дворянство крови остается легитимной знатью. Книга Франсуазы Атран об истории дворянства мантии в XIV и XV веках очень интересна<sup>2</sup>:

---

2. *Autrand F.* Naissance d'un grand corps de l'État. Paris, 1981.

мы видим, что дворянство мантии в каком-то смысле разрывается между коллективными интересами корпуса и частными интересами, ведь коллективные интересы склоняют ее к утверждению своего отличия от дворянства крови, а частные — к растворению в дворянстве крови за счет союзов. То есть историки раскритиковали бы мою конструкцию, и не без основания. Они, я думаю, сказали бы так: «Эта схема слишком проста. Вы противопоставляете два модуса воспроизводства, но на самом деле они смешаны друг с другом; в числе тех, кого называют дворянством мантии, 40% людей, которые на самом деле — дворяне шпаги, прошедшие обучение, и т. д.». В самом деле, по мере того, как всё более важным становится воспроизводство за счет системы образования, часть дворян крови переkreщаются и превращают свой капитал дворянства крови в капитал дворянства мантии за счет приобретения дипломов. Всё и правда намного сложнее. Но это означает не то, что модель неверна, а то, что социальные агенты, обладающие тем или иным видом знатного капитала, постараются как можно лучше сыграть на своих частных и коллективных интересах, чтобы максимизировать прибыли, связанные с обладанием тем видом знатного капитала, который у них есть.

Две эти формы, которые я в прошлый раз выделил, несовместимы. [Когда] речь о королевском доме и группе сановников, обладающих унаследованными, врожденными дворянскими качествами, мы оказываемся на стороне природы, дара, передаваемого естественным образом, и профессиональной идеологией этой категории является своего рода натуралистическая идеология. В той мере, в какой всякая идеология стремится натурализовать ту или иную привилегию, знать всегда задает образец для всех идеологий. [...] Напротив, чиновники обладают приобретенным капиталом, они занимают сторону пожизненного, временного, заслуги, даже если они говорят о даре — понятие дара чрезвычайно важно. Харизма принадлежит знатности, и кровная передача легитимирует именно потому, что через кровь передаются необычные, харизматические качества,



например, одним из таких качеств является способность излечивать золотуху<sup>3</sup>.

Итак, с одной стороны, у нас есть харизматическая идеология кровной передачи, в особенности даров, а с другой — идеология, которая тоже станет харизматической, — как всем известно, идеология образования имеет типично харизматический характер, поскольку она опирается на идею дара, природного дара, который ничем не обязан приобретению. Но в рассматриваемый период эти вещи пока еще противопоставляются друг другу более четко: с одной стороны, врожденное, с другое — приобретенное; с одной — кровь, с другой — заслуга и, главное, право. И неслучайно то, что носители универсалистской претензии — это юристы, которые, будучи обязанными своей властью праву, свои юридические знания направят на универсализацию своих частных интересов, имеющих у них как у владельцев особого юридического капитала. Юристы, очевидно, играют фундаментальную роль в создании государства, поскольку они судьи и в то же время заинтересованные стороны: они те, кто могут легитимировать монарха, — теории абсолютизма, наиболее радикально оправдывающие династическую передачу власти, созданы юристами. Но это не исключает того, что юристы, всё больше функционирующие в качестве обособленного поля, также разделены внутри себя, так что другие юристы применяют свои юридические знания для защиты другого возможного основания власти, а именно конституционного. В постоянной борьбе с королевской властью они первыми попытались обосновать то, что королю и дворянам необходимо найти другое основание для самолегитимации, отличное от простой наследственной передачи.

(Вот сцена, как я ее вижу, и с этими двумя антагонистическими принципами, которые сталкиваются друг

---

3. Отсылка к тому, что в Средневековье во Франции и Англии королям приписывали способность излечивать эту болезнь туберкулезного происхождения. См.: Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998.

с другом, связаны, очевидно, определенные интересы и группы агентов. Очень часто [...] мы встречаем какую-нибудь большую подборку текстов юристов, в которых предлагаются либо оправдания монархического государства, либо критика, в большей или меньшей степени опирающаяся на Руссо. Историки, создающие такого рода книги, обычно трактуют тексты как нечто изолированное и самодостаточное, не соотнося их с их производителями. Если следовать принципу, о котором я здесь напоминаю, я думаю, что для понимания какого-либо текста всегда нужно помнить о том, что у нас, с одной стороны, есть пространство текстов и [с другой] пространство производителей текстов, и мы обязаны соотнести структуру пространства текстов со структурой пространства их производителей, чтобы понять, почему тексты именно такие, а не другие. Для понимания того, почему такой-то провинциальный юрист развивает руссоистские тезисы в памфлете против монархии, важно знать, что это мелкий адвокат из большой семьи, что его кузен занимает важную позицию в Бордо, тогда как он сам принадлежит, скорее, к зачатей ветви семьи, и т. д. Всё это важно знать: положение, которое он занимает в юридическом поле, власть, которая у него имеется, кто он — парижанин или провинциал, канцлер Парижского парламента или же мелкий адвокат из юго-восточной провинции, сидящий без дел, и т. д. То есть нужно соотнести пространство текстов с пространством их производителей.)

По мере того как власть дифференцируется, мы, таким образом, получаем определенный комплекс протагонистов: тех, кто по своим интересам связан с правом и пожизненными полномочиями, и тех, кто зависит от кровных уз и наследственности. Два этих [комплекса] протагонистов отделяются друг от друга, так что сталкиваются друг с другом теперь агенты, занятые конкурентной борьбой внутри каждого из полей, а также между полями. Эти крайне сложные формы борьбы порождают новаторские практики, изобретения. Например, в судах благодаря некоторым хитростям и после определенной борьбы люди из Парламента [вводят правило ношения] красной мантии, что нам

кажется смешным, но это очень важное завоевание, поскольку им теперь разрешено заседать в красных мантиях, а не в черных, это символическое завоевание, которое уравнивает их с потомками династической линии. Таким образом, мы [наблюдаем] всевозможные виды борьбы, практические и одновременно символические, причем символические виды, очевидно, более свойственны тем, кто занимает сторону пожизненного, права, дискурса: у них есть способность добиться изменений в практиках (в рангах, иерархиях, внутри церемониала и т. д.), а с другой стороны, [способность вести] символическую борьбу, [производить] теории. И ряд политических теорий, изучаемых в институтах политических наук, родились именно из борьбы, в которой различные группы, участвующие в разделении труда господства, пытаются продвинуть свои фигуры.

### Отступление об истории политической мысли

Я считаю, что следовало бы переписать всю историю политической мысли (к сожалению, у меня нет для этого ни времени, ни компетенции). Когда я говорю «переписать», на самом деле она уже «пишется», поскольку есть прекрасные работы, на которые я опираюсь и которые уже сделали полдела. Объяснюсь в двух словах: важно, чтобы вы понимали контекст моего изложения. Существует история традиционных политических идей [иллюстрацией которой служит], к примеру, книга Шевалье<sup>4</sup>, в которой по одной главе на каждого автора (Платона, Бодена и т. д.), но непонятно, почему именно эти авторы, а не другие, и точно так же непонятно, как определенные авторы попадают, к примеру, в историю философии.

К счастью, сейчас уже начали заниматься исследованиями по социологии философии или социологии литературы, которые не довольствуются тем, что берется уже готовый корпус, а потом социологически исследуются люди, в него попавшие. Напротив, теперь начали

---

4. *Chevallier J.-J.* Histoire de la pensée politique. Paris: Payot, 3 t. 1979–1984.

заниматься социологией самого этого *корпуса*: почему он именно такой, а не другой? Почему вышло так, что во Франции Кант — обязательная фигура, и еще в большей степени Декарт, тогда как в англосаксонской традиции Юм и Локк занимают гораздо более важное место? Иначе говоря, [речь о том, чтобы продумать] формирование «исторического рейтинга». С политической философией надо провести такую же работу, и тогда выяснится, что наряду с Боденом существует примерно пятнадцать фигур, которые также создавали теории государства, правления, но потом были забыты. Если продвинуться дальше, можно изучить, как это делала Сара Хэнли, публичные позиции канцлера, Парламента и секретаря, которые зафиксированы в протоколах, и тогда можно будет заметить, что эти люди также были производителями теорий о государстве, правлении и властях. Выясняется, что крупные фигуры, которые остались в истории политической философии, прорисовываются на фоне некоего постепенно создаваемого универсума. Рефлексия такого типа [позволяет] открыть то, что политическая философия рождается в политическом действии, в политической работе и что она составляет часть самого предмета. Например, один из историков, который был секретарем суда и одним из первых написал историю ложа правосудия, совершил стратегический переворот: он воссоздал своего рода фиктивную историю ложа правосудия, которая в определенной мере стала реальной, поскольку один из королей, прочитавший его труды, принял ее всерьез, и затем ложе правосудия было построено в соответствии с моделью, развитой этим автором<sup>5</sup>.

Иными словами, теоретические построения, которыми занимались политические философы, составляют часть конструирования реальности, изучаемой собственно историками. Это не просто сопроводительный дискурс. Именно поэтому понятие идеологии крайне опасно: оно заставляет верить в то, что сначала существует инфраструктура, а потом появляются дискурсы. Это не так: дискурс составляет часть реальности,

---

5. См.: *Hanley S. Le Lit de justice des rois de France. Paris, 1991.*

и в данном случае хозяева дискурса, то есть юристы, обладают удивительным козырем: они могут заставить верить в то, что говорят; у них есть определенная власть, они, прежде всего, обладают способностью сказать, причем авторитетно; имея же эту способность, они могут заставить поверить в то, что отвечающее их интересам является истинным. Заставляя верить в эту их истину людей, которые обладают властью, позволяющей приводить истину в исполнение, то есть властью властителей, они могут осуществить то, что говорят. Сегодня похожую роль играют опросы общественного мнения... Вы еще подумаете об этом, я не буду на этом долго останавливаться, но бывают случаи, когда у дискурса есть сила, позволяющая ему в большей или меньшей степени самоподтвердиться. Весь этот экскурс важен для изменения нашего образа мысли. Я часто повторяю то, что марксизм «непреодолим»<sup>6</sup>, но лишь при условии, что он будет преодолен. Из-за марксизма у нас в голове полно ложных проблем, непреодолимых оппозиций и невозможных дистинкций. Так, дистинкция идеологии и реальности — одно из подобных драматических разделений, мешающих нам понимать процессы вроде тех, что я буду описывать и что как раз заключаются в постоянных переходах от дискурса к реальности ритуала.

Я хотел упомянуть о том, что государство стало продуктом множества бесконечно малых актов. В исторических книгах можно, к примеру, найти сцены собрания парижского Парламента: толпы людей и возвышающийся над ними король. Каждый из этих персонажей, вне всякого сомнения, существует; прежде чем отправиться на эту торжественную церемонию, каждый сказал своему соседу: «У нас есть право ремонстраций!» Потом они послали делегацию к королю, который ее вежливо выпроводил, но все же сделал уступку: «Из пяти ремонстраций

---

6. Намек на высказывание Жана-Поля Сартра в «Проблемах метода» (введении к «Критике диалектического разума») о том, что марксизм «остается философией нашего времени, его невозможно преодолеть». См.: *Сартр Ж.-П.* Проблемы метода. М.: Академический проект, 2008. С. 32–33.

я приму только одну», например о бедности. Нет ничего ужасного в том, что твоя обязанность — напомнить королю, который по определению защитник бедных, что он ими не занимается... Четыре других [ремонстрации] остаются без внимания и т. д. Все эти переговоры, эти тысячи незначительных действий, которые просто пересказываются в повествовании без начала и без конца, должны быть объединены в теоретических моделях, имеющих социологическое обоснование.

Чтобы действительно объяснить генезис государства, нужно было бы составить хронику всех этих актов, всех этих незначительных действий, образующихся групп давления, этих хитростей, благодаря которым в ритуал вводится небольшое изменение и одним из проявлений которых являются изучаемые нами теоретические курсы. К сожалению, я не смогу довести работу до конца, но я могу указать на ее принцип... Я думаю, что речи Бодена следует поставить на одну доску с незначительной фразой того самого канцлера, сказанной соседу до того, как отправиться на королевское заседание: всё это отдельные ходы, отдельные стратегии. [Речь не о том, чтобы] дискредитировать или дисквалифицировать большие теории, но думаю, что мы должны развернуться в другую сторону: все настолько привыкли обращаться на Макиавелли больше внимания, чем на пересуды, что я просто обязан указать на другую сторону.

### Историческая работа юристов в процессе построения государства

Вернусь к своему тезису. Итак, у нас есть противоположные принципы воспроизводства, социальные агенты, интересы которых в большей или меньшей степени связаны с тем или другим из принципов воспроизводства. Эти агенты сами участвуют в крайне сложных играх — юридической игре, династической и т. д., — в которых эти коллективные интересы дворянства мантии или шпаги обособляются, разделяются, фрагментируются; каждый из этих людей ведет внутри этих небольших, но чрезвычайно сложных игр свою игру, используя свои козыри и свои инструменты. По моему

мнению, юристы — это двигатель универсального, универсализации. На их стороне право, то есть дискурс с универсальной претензией, а также особая, профессиональная способность объяснять, удостоверить правоту, приводить и производить основания, то есть переводить вещи, относящиеся к порядку фактов («это так», «это невозможно», «это нетерпимо» и т. д.), в порядок разума, причем двумя разными способами: за счет обращения к универсальным юридическим принципам (например, нет государства без Конституции) и за счет обращения к истории. Юристы стали первыми историками конституционного права, они первыми попытались найти прецеденты, разобрать архивы. [Интересно отметить то], что люди, крайне увлеченные спорами о том, могут ли члены Парламента быть одеты в красное, то есть с головой погруженные в эти микроскопические сражения, стали в то же время авторами неслыханных исторических работ: они начали разбирать архивы, чтобы выяснить, как выглядела первая церемония ложа правосудия в XIII веке — шел ли кто-то перед королем или нет, ставил ли он в первый ряд пэров и т. д. Эта историческая работа составляла часть труда по построению государства. То есть я просто хочу сказать, что эти люди в силу своих характеристик и позиций, чтобы отстоять свои интересы, были вынуждены продвигать универсальное. Таково было их качество, то есть они не могли просто сказать: «Это вот так». Даже когда они служили королю и абсолютизму, они удостоверяли правоту того, что может утверждаться по произволу, они были теми, кто приводит основания, и тем более это относится к тем случаям, когда они хотели отстоять свои интересы.

Вот, собственно, схема и основной принцип моего способа читать документы, читать историков, однако по причинам, которые мне не известны, об этих вещах не говорят. Я представляю вам результаты своего исследования, работы, того, что я вывел из прочитанного, и я попытался рассказать вам о той философии истории, если ее можно так назвать, которая ориентирует мое прочтение, — я мог бы использовать язык диалектики, рассказав о противоположности струк-

туры и истории, индивидуального агента и коллективного, индивидуальной рациональности и коллективной, то есть о всех этих оппозициях, которыми набиты наши головы и которые не имеют никакого смысла... Я думаю, что не бывает такого действия, которое было бы столь случайным, что оно не имело бы смысла в сложной системе действий. Вот в чем смысл этого экскурса.

Итак, у нас есть два конфликтующих друг с другом модуса воспроизводства. А король, как я показал в прошлый раз в своей схеме, — это третья сторона, в каком-то смысле он стоит над этой противоположностью обладателей пожизненных должностей и наследников. Он даже может воспользоваться их антагонизмом в целях правления — разделяй и властвуй. Это означает, что он может воспользоваться компетенцией обладателей пожизненных должностей для дискредитации власти братьев или кузенов; и наоборот, он может поставить этих обладателей на место, напомнив, где их место в системе кровных уз. Чтобы в полной мере понять действия и поступки короля, нужно, как я уже показал в прошлом году, знать, что первый этап построения государства — это процесс накопления различных видов капитала в руках короля. Иначе говоря, это человек, который оказывается обладателем власти, позволяющей управлять этим капиталом, то есть, по существу, его распределять. Об этом говорили сотни раз, особенно антропологи, которые изучали генезис государства: например, в африканских обществах первая форма легитимного накопления власти обнаруживается вместе с распределением. Но при этом нужно все-таки проанализировать то, что понимается под «распределением». Историки, говоря о французской или английской королевской власти, не раз подчеркивали материальное распределение, то есть тот факт, что король способен распределять доходы от налогообложения по тем направлениям, которые он сам определяет. Деньги, накопленные за счет налогов, распределяются среди определенных категорий подданных: в форме оплаты военным, жалованья чиновникам, владельцам аптек, управленцам, судейским служащим и т. д.



Историки подчеркивали то, что генезис государства неотделим от генезиса определенной группы людей, которые заинтересованы в государстве и чье существование с ним связано. Этот момент следовало бы развить, чтобы понять поведение отдельных агентов, понять, почему сегодня определенные люди отдают свои голоса той или другой стороне сообразно тому, что, к примеру, можно было бы назвать «религиозными убеждениями». Как объяснить связь между религиозными убеждениями и некоторыми политическими позициями? Очень часто усматривают прямую и непосредственную связь: быть католиком — значит голосовать за правых. Это может быть и верно в определенный период, однако, на самом деле, отношение гораздо сложнее. Чтобы понять, почему определенное вероисповедание приводит к определенной политической позиции, необходимо понять, что значит быть связанным с самим существованием Церкви: например, следует спросить себя, у каких людей жизнь изменилась бы, если бы Церковь исчезла. Вспомните о продавцах свечей, которые сами не обязаны быть католиками... Остановлюсь пока на этом.

С государством дело обстоит примерно так же. Кто заинтересован в государственной службе? Если бы мы составляли опрос по повседневному гражданскому сознанию и ставили вопросы о том, кто, к примеру, позволяет своей собаке справлять нужду в водосток, а кто — нет, кто выбрасывает пластик, а кто — нет, и т. д., можно было бы спросить себя, какие принципы способны дифференцировать всех этих людей, и ответить на такой вопрос непросто. Я лично обычно задаю себе вопросы о тех вещах, которые близки к упомянутому мной примеру производителя свечей: какие люди связаны своими интересами с общественным порядком? Действительно ли у них государственные зарплаты? Закончили ли они государственное учебное заведение? Искал следовало бы в этом направлении. Вот вещи, которые следует подвести под категорию «интереса». Внешне будет казаться, что люди делятся совершенно беспорядочно. Но гипотеза социолога состоит в том, что под этой внешней анархией скрывается закономер-

ность: люди не сумасшедшие, они делают не что угодно, у них есть «интересы». Я не имею в виду интересы в смысле Бентама, это интересы не материальные или попросту экономические, а очень сложные интересы, интересы, связанные с принадлежностью: *inter esse* — это значит «принадлежать», «быть при деле». Кто при деле, когда речь о публичном? Чья жизнь переворачивается, когда закрывают государственный канал? Возможно, что здесь есть определенная зависимость от статуса чиновника. Историки правы, когда [связывают] государство с жалованием, заработными платами и т. п. Но за всем этим скрывается формирование определенного, более или менее многочисленного корпуса людей, которые тесно связаны с государством. То есть изучать материальную сторону создания государства — значит уже изучать нечто другое; благодаря факту получения зарплаты устанавливается определенная форма принадлежности, зависимости, которую нельзя понимать как раболепие. Говорят так: «Чиновники довольствуются тем, что повинуются»; но на самом деле это не раболепие, это глубокая заинтересованность, которая не доходит до уровня сознания, которая открывается лишь в критические периоды. Торговец свечами открыл бы свои интересы лишь в том случае, когда бы Церковь действительно исчезла. Иначе говоря, существуют формы привязки, принадлежности, связи, которые нужно схватить. В зарплате выявляется форма зависимости, связь, которую можно было бы назвать моральной.

Я отошлю вас к статье Дени Крузе «Кризис аристократии во Франции XVI века»<sup>7</sup>, чтобы показать вам разницу с тем, что я вам только что рассказал. В этой статье Дени Крузе занимает совершенно обычную материалистическую позицию: он показывает, как различные формы борьбы вокруг власти были борьбой за влияние, ставкой которой было получение главных постов, то есть тех, что способны принести финансовую прибыль. Он попросту говорит, что эта борьба была такой ожесточенной

---

7. Crouzet D. Recherches sur la crise de l'aristocratie en France au XVI<sup>e</sup> siècle: les dettes de la Maison de Nevers // Histoire, économie et société. 1982. No. 1. P. 7–50.

потому, что для сохранения своего образа жизни дворянам были нужны деньги. Так что, отправляясь от этой борьбы за распределение, можно понять происходящее. Он приводит примеры: присоединение графа Невера к Генриху II и присоединение герцога де Гиза к Генриху IV ради двенадцати миллионов ливров, предназначенных для уплаты его долгов, и т. д. Вот случаи, когда хорошо видно, что власть государства осуществляется преимущественно через распределение ресурсов. Но при всем при этом, и я хотел бы это подчеркнуть, зависимость от государственной власти значительно шире материальной зависимости... Вот первый момент.

Второй момент: государство, распределяя материальные ресурсы, производит символический эффект. Это очень простая вещь, и ее легко увидеть в докапиталистических обществах, где первичные формы накопления основываются как раз на распределении. Сегодня известно, что некоторые вещи, кажущиеся бессмысленным разбазариванием ресурсов, например перераспределение покрывал или клубней ямса, в действительности являются определенной формой накопления. Символическая алхимия заключается именно в перераспределении: я получаю деньги и, отдавая их кому-то еще, превращаю их в дар, порождающий признание, причем «признание» тут может пониматься двояко — и как благодарность, и как признание легитимности. Логика централизации, действуя через перераспределение, приводит, таким образом, к новой форме накопления, накопления символического капитала, легитимности. Этот алхимический труд по перераспределению особенно хорошо заметен в главной королевской привилегии, а именно в праве назначать на должности, номинировать.

В своих первых выкладках, которые вам представил<sup>8</sup>, я часто подчеркивал необходимость удивляться базальным вещам, например таким: «Его назначили профессором». Назначение — это как раз один из этих актов, предполагающих концентрацию символического

---

8. См. развитие темы назначения у П. Бурдьё в работе: *Bourdieu P. Langage et pouvoir symbolique*, особенно р. 307–321.

капитала и способность распределять его по определенным каналам. У [Уильяма Блэкстоуна]<sup>9</sup> есть такая фраза: «Король — это источник почестей». Этот образ короля как источника всевозможных благодеяний, в частности символических, то есть тех, что можно было бы назвать благодеяниями, определяющими идентичность, [обнаруживается, когда король решает, кто] знатен, а [кто] нет, [кто будет] канцлером, а [кто] нет. Власть назначать — это власть социального творения, которая заставляет назначенного человека существовать в соответствии с этим назначением. Это едва ли не магическая власть. Материальное перераспределение, вполне обоснованно описываемое историками, дублируется, таким образом, социальными эффектами лояльности, которые я недавно попытался отметить, а также эффектами признания. Иначе говоря, перераспределение производит легитимность<sup>10</sup>. В то же время этот процесс остается крайне двусмысленным. Это процесс накопления, в котором капитал идет к капиталу, поскольку, даже когда король перераспределяет его, он не перестает его накапливать. Даже перераспределение является одной из главных форм накопления в силу превращения экономического капитала в символический. Однако накопление такого типа выполняется в интересах определенного лица: это своего рода «патримониализация» (в смысле Вебера) общественного блага. Король пользуется общественными ресурсами, накопленными государством в виде налогов, титулов и привилегий, и пользуется ими в своих интересах.

### Дифференциация власти и структурная коррупция: экономическая модель

Процесс построения государства — эту тему я буду развивать в следующий раз — сопровождается дифференциацией корпуса руководителей. В соответствии с логикой

9. См. *supra*, p. 346.

10. Об этой идее см.: *Bourdieu P. Les modes de domination // Actes de la recherche en sciences sociales. 1976. No. 2-3. P. 122-132; а также: Бурдьё П. Практический смысл. С. 238-265.*

делегирувания король вынужден отписать часть власти, которой он располагает, другим, которые могут быть либо членами его рода, либо просто компетентными людьми (юристами, служащими и т. д.). Таким образом создаются цепочки зависимости и на каждом из их звеньев возникает возможность хищения. Иными словами, то, что король делает для самого себя, каждый из его уполномоченных также может делать для себя. И если король может направить [процесс] в своих интересах, даруя символический капитал, который извлекается им из перераспределения, точно так же интендант из Нанси может воспользоваться полномочиями, полученными им от короля, чтобы накопить власть и престиж, особенно благодаря побрякам, и эту власть с престижем он впоследствии может использовать против короля. То есть процесс развития государства следует представлять себе как процесс деления: вначале есть индивид, а потом [власть] делится; появляется больше агентов, владеющих частицами власти, которые связаны друг с другом, которые зачастую образуют определенную иерархию вследствие процессов делегирувания. На следующей неделе я буду анализировать процесс делегирувания подписи, который в историческом плане является одним из наиболее интересных, поскольку каждый, ставящий подпись или заверяющий ее, сам должен получить удостоверяющую его подпись, и т. д. Этот процесс делегирувания сопровождается, таким образом, своего рода размножением власти и приводит к возникновению возможности хищения власти на каждом из ее отрезков. Следовательно, коррупция, ставшая предметом многочисленных работ, особенно посвященных большим империям, в частности Китаю и т. д., в каком-то смысле [вписана] в саму структуру: потенциальная возможность коррупции — это попросту то же самое, что делает король, но на более низком уровне; это выгодное определенному лицу хищение прибылей, полученных в силу полномочий, которыми это лицо наделено и которые оно получило благодаря делегируванию.

Можно придумать довольно простую модель [для объяснения] возможности хищения, то есть прямого

изъятия. В обычном случае всемогущий, действительно абсолютный король должен был бы иметь возможность контролировать весь процесс концентрации и распределения ресурсов. Он не должен был бы позволять накапливаться чему бы то ни было, если оно не проходит через него, или же распределяться тому, что он сам не распределяет; в таком случае не было бы потери власти. К примеру, весь экономический капитал превращался бы в символический капитал, который бы заносился на счет короля. Но на самом деле в цепи есть утечки: на каждом из участков этой чрезвычайно сложной сети, составляющей государство, люди, занимающие посты, могут осуществлять прямое изъятие, то есть получать прямую прибыль, не доходящую до короля, и могут также осуществлять символическое хищение этих вычетов, напрямую и самостоятельно перераспределяя их на уровне провинции и т. д. Одна из проблем, возникающих, соответственно, во всех империях и во всех [политических] системах, — это проблема отношения между главой провинции и самой провинцией. Например, даже сегодня в Церкви епископа не назначают в его родную епархию или же в соседние епархии; это правило, встречающееся во многих режимах и империях: очень важен разрыв, поскольку предполагается, что наличие прямой связи может привести к прямому изъятию и прямому распределению, то есть короткому замыканию. А коррупция — это и есть такое короткое замыкание.

Государственное накопление, наделяющее короля властью над всеми другими агентами, участвующими в господстве, имеет свои пределы. В той именно мере, в какой, чтобы накапливать капитал, королю нужны помощники, он включается в логику компромисса. Здесь я скажу пару слов, чтобы закончить с проблемой посредников, которая была очень хорошо изучена экономистами на базе некоторых моделей, особенно двумя экономистами, имена которых я назову, но не дам ссылок на работы по той простой причине, что эти тексты я сам получил, но они еще не опубликованы: это Жан-Жак Лаффон, профессор экономики в Тулузе и в Школе высших исследований [в социальных науках],

который написал статью о «Скрытых играх в иерархиях»<sup>11</sup>, и Жан Тироль, который анализирует логику фаворитизма<sup>12</sup>, которую я попробовал с грехом пополам описать. Я вкратце изложу вам их модель, а в следующий раз вернусь к исторической реальности. Экономисты, в противоположность этнографам, которые много описывают, но не анализируют, отличаются как раз своей способностью к анализу, но слишком часто они строят модели, не зная реальности. Я думаю, что создание реалистических исторических моделей требует стремления к моделям, способным подчинить себе сложность исторических фактов, что, конечно, может разочаровать и создателей чистых моделей, и решительных историографов.

Их модель очень интересна, поскольку они исходят из так называемой теории контрактов — я не буду ее подробно описывать, поскольку это увело бы меня в сторону. Они различают три уровня во всякой интеракции, соответствующих трем категориям агентов: есть тот, кого они называют «принципалом» (это, к примеру, предприниматель с капиталом, который хочет нанять рабочую силу), с другой стороны есть индивиду-

---

11. Насколько нам известно, эта статья никогда не публиковалась на французском, но она публиковалась ранее в двух версиях на английском: *Laffont J.-J. Hidden gaming in hierarchies: facts and models. Idem. Analysis of hidden gaming in a three-level hierarchy // The Journal of Law, Economics, and Organization // 1990. Vol. 6 (2). P. 301–324.*

12. Статья, которая имеется в виду, была написана вместе с Ж.-Ж. Лаффоном: *Tirole J., Laffont J.-J. Auction design and favoritism // International Journal of Industrial Organization. 1991. Vol. 9. P. 9–42.* В 1990 г. Жан Тироль и Жан-Жак Лаффон опубликовали статью под названием «Политика правительственного принятия решений: регулирующие институты» (*Tirole J., Laffont J.-J. The politics of government decision making: regulatory institutions // The Journal of Law, Economics, and Organization. 1990. Vol. 6 (1). P. 1–32*), а в 1991 году статью «Политика правительственного принятия решений: теория регулирующего захвата» (*Tirole J., Laffont J.-J. The politics of government decision making: a theory of regulatory capture // The Quarterly Journal of Economics. 1991. Vol. 106. P. 1089–1127*). Затем они вместе издали основополагающий труд по новой экономике регулирования: *Tirole J., Laffont J.-J. A Theory of Incentives in Procurement and Regulation. Cambridge: MIT Press, 1993.*

альные работники; тогда как между ними находится контролер <supervisor>, мастер, посредник. Их модель очень интересна, поскольку они показывают, что принципал, которым в нашем случае может быть король, должен, к примеру, обеспечить поступление денег (собрать налоги) или же добиться повиновения (призвать солдат). Он сам не может заняться контролем, поскольку издержки слишком велики. То есть он вынужден обратиться к мастерам, интендантам, уполномоченным. Уполномоченный оказывается при этом в очень сильной позиции (теория контрактов всегда мыслит в категориях информации), поскольку у него есть важная часть информации, которую принципал может получить только от него. [Представим себе] трех рабочих, из которых два ничего не делают, а один работает, и король хотел бы выдать награду: если король захочет узнать, только контролер может сказать ему, кто работает, а кто нет; то есть [контролер] обладает информацией, которой нет [у короля]. Однако контролер может не выдать эту информацию и заключить договор с рабочими: «Я не скажу, кто работает, а кто нет, а вы мне заплатите денег».

То есть посредник может извлекать прибыль из обладания этим редким ресурсом, информацией. И если принципал видит лишь результат труда работников, общие показатели, то контролер знает, кто работал хорошо, зависел ли результат от случайности и другие подобные вещи. Следовательно, контролер находится в очень сильной позиции, хотя может показаться, что наоборот — можно было бы подумать, что он зажат между двух сил, тогда как на самом деле он занимает стратегическую позицию, поскольку может угрожать работникам тем, что скажет правду, или же, напротив, может скрыть ее от принципала. И если король должен блокировать тенденции, внутренне связанные с прибылью, возможность которой обязательно появляется у мастера или посредника, он должен изобрести стимулы, которые сильнее прибылей, которые такой мастер способен извлечь из двойной игры с двумя своими контрагентами. То есть он должен ввести систему наград, чтобы [привязать к себе] посредников. Но для



этого он должен пойти на уступки. Модель экономистов не говорит о том, что на определенном уровне уступок посредники могут [присвоить себе роль] принципала: чтобы добиться от посредника выполнения возложенной на него работы, например, чтобы он контролировал [или] отправлял правосудие, необходимо считаться с этой возможностью отступничества, основанной на способности использовать стратегические возможности, созданные самой позицией посредничества, нахождения между двух мест, колебания; и чтобы заблокировать эту возможность отступничества, он должен делать уступки, которые могут оказаться такими, что под вопрос будет поставлена его собственная власть делегирования. Если вспомнить о случае короля [Франции] и парламента, последний находится именно в этом положении [...], с агентами, одни из которых тянут в одну сторону, а другие — в другую: «Мы как английский парламент, мы выражаем волю народа» или «Мы заодно с королем».

Конечно, модель эта слишком проста, ее следовало бы дополнить, но [она] показывает это противоречие, которое я хотел бы развить, поскольку, как мне кажется, именно здесь скрывается динамика [возникновения государства], в том числе и Французской революции, а может быть и не только. Весь процесс развития государства вписывается в это противоречие; коррупция носит структурный характер, тем более что даже у обладателей пожизненных должностей есть семьи, и они только и мечтают о том, чтобы стать династией — за счет либо объединения с родовым дворянством, либо узаконивания продаваемости должностей или же их передачи. У обладателей пожизненных должностей есть интересы в воспроизводстве, которые заставляют их эксплуатировать возможности, предлагаемые им их структурным положением в сети делегирования, то есть коррупция является структурно обоснованным явлением. Как найти государственные стимулы, способные блокировать эту склонность к коррупции? Создавая контролирующие системы внутри сетей? Ведь коррупционеры и потенциально коррумпируемые люди [взаимно контролируют друг друга]. Однако центра-

листская логика, описываемая экономистами, очень опасна, и король пребывает в этом противоречии: он не может делать уступки, не порождая власть, способную его уничтожить. Например, можно заметить некий возвратно-поступательный процесс, и в этом плане очень интересна история отношений с парламентом: король уступает чуть больше, чем нужно, желая добиться верности, лояльности в сложных обстоятельствах, когда он слаб, когда он молод, в ситуации регентства. Отношения, очевидно, колеблются; структуры отношений варьируют в строгой зависимости от фактической силы короля — его возраста, авторитета, побед и т. д.

Меня в какой-то мере беспокоит то, что я хотел бы попробовать построить модель исторической реальности, не слишком ее обедняя, то есть рассказывая в то же время ее историю, но это слишком сложно... хотя в следующий раз я попробую разобраться с этим получше.



## Лекция 7 ноября 1991 года

*Преамбула: сложности с коммуникацией в социальных науках. — Пример институционализированной коррупции в Китае (1): двусмысленная власть бюрократов низшего звена. — Пример институционализированной коррупции в Китае (2): «чистые». — Пример институционализированной коррупции в Китае (3): двойная игра и двойное «я». — Генезис бюрократического пространства и изобретение публичного.*

### Преамбула: сложности с коммуникацией в социальных науках

**[П]**РЕЖДЕ чем начать, я попытаюсь ответить на два вопроса], первый о социальном пространстве, а второй о замечании насчет марксизма, которое я сделал, когда речь шла об идеологии и инфраструктуре.

Сначала преамбула: эти вопросы заставляют меня в который раз осознать то, что я обращаюсь к публике, у которой, как сегодня говорят, «много скоростей», и это одна из причин, по которой преподавание в этом институте оказывается особенно сложной задачей... В одной и той же аудитории сидят люди, которые слушали мои курсы с самого начала, то есть уже на протяжении почти десяти лет, которые [...] понимают предпосылки того, что я говорю, и люди, которые, как говорится, «не в курсе», и это не упрек, а факт, с которым я должен считаться. Есть также люди, которые находятся на очень разных стадиях социологического образования, и они могут подумать, что некоторые мои категорические утверждения совершенно произвольны, тогда как на самом деле всё это опирается на работу, исследования и т. д. Однажды по поводу проблемы коммуникации между социальными науками и социальным миром я сказал, [что] самое сложное—это передать саму проблематику: слушатели социолога, которому случилось выступить по телевидению, интерпретируют его речь в соответствии с неявно заданной проблематикой, которая почти всегда остается политической; то есть они сводят исследования к тезисам, иными словами, к критике или защите. Я думаю, что к нашему случаю это относится в меньшей степени, но, судя по всему, все же относится.

Я говорю всё это для того, чтобы объяснить, почему все мои коллеги по этому институту — я в этом не одинок — чувствуют, насколько сложно здесь преподавать, хотя большинство из них вели многие курсы в разных институтах. Я думаю, что одна из причин этой чрезвычайной сложности связана с тем, что невозможно постоянно заново вводить все предпосылки, которые обязательно задействованы в речи, тогда как, к примеру, на письме это можно сделать. Поэтому мы постоянно возвращаемся к уже сказанному, говорим что-то в скобках и т. п.; и чувство такое, что ничего не нравится, то есть никогда не получается сказать настолько быстро и хорошо, как хотелось бы, сказать то, что задумал сказать, но в то же время не получается сказать так полно и обоснованно, как следовало бы, чтобы то, что задумал сказать, стало абсолютно понятным. Очень болезненное ощущение. Я говорю это, поскольку это еще и способ помочь вам помочь мне рассказывать, но также потому [...], что мне это полезно...

Эти два вопроса заставили меня задуматься об этом, потому что, конечно, они говорят о совершенно фундаментальных вещах, а именно об отношениях между полем и пространством. Я, по-моему, посвятил одногодичный или двухгодичный курс понятию поля<sup>1</sup>, надеясь, кстати говоря, опубликовать его между делом. (Вот еще одно из противоречий этих институтов: [в них] накапливаются вещи, которые нет времени опубликовать, поскольку нужно уже готовить курс на следующий год.) Я долго развивал [этот момент], и я не могу в нескольких фразах описать основания понятия поля. Здесь я понимаю бюрократическое поле так, словно бы это нечто самоочевидное, особенно в части отношений между полем и пространством: эти два понятия я использую поочередно, и в некоторых случаях они равнозначны, но не в других. Так что я сделаю одну вещь, которую не должен был бы делать: [я скоро опубликую] с одним из моих студентов, который сейчас

---

1. В действительности П. Бурдье разбирает понятие поля во всех курсах, прочитанных в 1982–1986 гг., но особенно в курсах 1982 и 1984 годов.

в США, книгу, сложившуюся из вопросов<sup>2</sup>. Я поехал в Чикагский университет, и американские студенты, обучающиеся не в тех же условиях, что французские, а потому намного более техничные, более активные и строгие, задали мне при встрече две сотни вопросов, которые возникли из прочтения, причем весьма серьезного, очень многих, если не всех моих работ, по крайней мере доступных на английском языке; и я устно ответил на эти двести вопросов. Это заняло у меня много времени, затем ответы были переписаны, обработаны и т. д., и вскоре эта работа будет опубликована в издательстве «Seuil» под названием «Ответы» (Réponses).

Я позволяю себе отослать вас к этой книге не для того, чтобы ее разрекламировать; в ней вы найдете удобные инструменты, поскольку там рассматриваются и те вопросы, с которых я начал. Я пытаюсь ответить в этой книге на эти возражения [которых очень много], поскольку эти студенты проделали значительную работу: они собрали все критические рецензии на мои работы на всех языках и т. д. То есть они сделали своего рода сводку, что не может не ужаснуть меня как адресата всех этих возражений, которые высказывались мне в разных странах. Вполне вероятно, что ваши возражения уже включены в этот список. С другой стороны, воспользовавшись этим случаем, я чрезвычайно сжато и, полагаю, просто сформулировал свои позиции по понятиям поля, габитуса, капитала, по отношениям между различными видами капитала и т. д. Мне следовало бы каждый год начинать снова с вводного курса, но я лучше отошлю к этой книге.

Что касается второго из поставленных мне вопросов, о проблеме марксизма, это сложнее, поскольку [...] в целом [я просто упоминаю о ней мимоходом] не заканчиваю фразы и говорю: «Смотрите, к чему я клоню...» Я допускаю, что сказал о ней слишком много, поскольку знаю, что это и правда много, учитывая условия восприятия и передачи. Если бы [я говорил]

---

2. Bourdieu P., Wacquant L. An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago, Cambridge: University of Chicago Press, Polity Press, 1992 (частичный французский перевод; *Idem*. Réponses.).

всё то, что [хочу] сказать, мне потребовался бы целый год; в то же время мне кажется важным подавать мимоходом кое-какие знаки, не задерживаясь на них, поскольку я думаю, что это одно из преимуществ устного преподавания, которое позволяет быстро проговорить вещи, которые, собственно, на письме мы обязаны излагать подробно. То есть я мимоходом сказал: «Внимание, марксизм, который вроде бы говорит об этих проблемах, на самом деле является препятствием для определения этих проблем». Этого слишком мало. И доказывается это тем, что меня теперь спрашивают: «Но разве марксизм не занимался упомянутой вами проблемой отношений между базисом и надстройкой, между социальной реальностью и так называемыми идеологическими представлениями и т. д., например отношениями между правом, философией и искусством, тремя инстанциями, которые Маркс все время ритуально поминает, когда говорит об идеологии?». Конечно, эти проблемы рассматривались, и меня спрашивают: «Разве они не были решены, разве их не решает понятие диалектики...?» И тут я опять же выскажусь категорично и кратко: я думаю, что нет, не решает. Я думаю, что слово «диалектика» играет в теории роль фигового листа и часто оказывается, как говорил Спиноза, прибежищем невежества, к тому же проблема еще не решена, если ее просто назвали, хотя, конечно, в том, что ее назвали, тоже большое достижение. Примерно это я хотел на днях сказать, коснувшись вкратце этого вопроса, и я углубился в анализ деталей, что было практическим ответом на эту проблему, которую марксистская традиция не решает.

Итак, я возвращаюсь к другой проблеме, которая постоянно встает передо мной. На следующей неделе я буду рассказывать вам о книге под названием «Ложь правосудия», я недавно на нее уже ссылался. Если бы я прочел эту книгу пять лет назад, я бы ничего не понял или сказал бы: «Это все анекдоты из истории отношений короля и парламента». Если бы я и прочитал ее до конца, то разве что из научного прилежания, но сегодня я думаю, что мог бы говорить о ней очень долго. Но сможете ли вы из сказанного мной узнать то,

благодаря чему я могу сказать вам о ней то, что скажу? Вот в чем настоящая проблема. Я не собираюсь играть в посвященного, которому сложно передать свое знание [профанам], но проблема и правда очень серьезна, понадобилось бы много времени, и нет гарантий, что у вас, сидящих в этой аудитории, хватило бы терпения, чтобы всё это выслушать. На исследовательском семинаре можно двигаться намного медленнее, можно взять время на обсуждение той или иной страницы... Я часто вынужден просить вас поверить мне на слово. Когда я говорю вам, что нечто, к примеру, важно, или когда прошу вас поверить мне на слово, мне это неприятно: я хотел бы, чтобы в каждом из таких случаев у меня было время на обоснование.

Итак, я не ответил ни на один из двух вопросов, но я попытался объяснить, почему я не могу этого сделать, но это не значит, что вы не должны ставить мне вопросы, поскольку может случиться и так, что я смогу ответить...

### Пример институционализированной коррупции в Китае (1): двусмысленная власть бюрократов низшего звена

Вернусь к тому, что говорил в прошлый раз. Повторим: я подчеркивал то, что процесс концентрации, описанный в прошлом году, служит основанием для очень сложного процесса распределения, и я предполагал просто-напросто то, что концентрация ресурсов в руках одного-единственного человека, роль которого выполняет король, могла стать основанием для процесса перераспределения, полностью контролируемого этим одним человеком. Этот идеал достигнут — по крайней мере, если верить работам антропологов, — во многих архаических обществах, например благодаря системе потлача: есть общества, в которых перераспределение может контролироваться едва ли не одним человеком, который, таким образом, может получать весь объем символических прибылей, обеспечиваемых превращением ресурсов в символический капитал, гарантируемым перераспределением. Но я показал также, что,



когда политические системы дифференцируются, перераспределение уже не контролируется одним человеком: в схемах перераспределения происходят своего рода утечки, каждая из которых образует пункт превращения экономического капитала в символический или же юридического и бюрократического капитала в символический, изымаемый на переправе обладателем делегированной власти. Серия таких утечек — это, с моей точки зрения, одна из причин для жалоб на бюрократию.

Эти утечки в цепи перераспределения особенно заметны в некоторых системах, и [в связи с этой темой] я хотел бы вкратце пересказать вам статью о бюрократии в Китае и о коррупции, которая кажется мне образцовой. Было написано очень много исторических работ о коррупции практически во всех политических системах, но эта статья мне кажется очень интересной, быть может потому, что китайский случай сам является образцовым, но также потому, что и синолог в этом случае выдающийся. (Это очень важная проблема, возникающая при чтении научных работ: обычно уникальность описания связываешь с уникальностью страны, но также она может объясняться уникальностью исследователя. То есть дело может быть в более проницательном, более искусном исследователе, который лучше понимает вещи, который, соответственно, лучше разбирает механизмы и поэтому особенно интересен, ведь потом можно снова изучить реалии, которые не были в достаточной мере исследованы или сформулированы, их можно изучить в более полном объеме, основываясь на другой, более проницательной точке зрения.) Это статья Пьера-Этьена Вилля, которого только что избрали в Коллеж де Франс<sup>3</sup>.

Статья эта иллюстрирует модель структурной коррупции, созданную экономистами, о которых я говорил вам в прошлый раз, модель, в которой исполнитель приказов может воспользоваться своим положением посредника, чтобы извлекать выгоду с обеих сторон. Одна из главных тем этой статьи — конфликт,

---

3. Will P.-É. Bureaucratie officielle et bureaucratie réelle... 1989.

который быстро обнаруживается между интересами семьи и государства. Как примирить требования службы государству с требованиями службы семье? Вилль показывает, как ряд китайских теоретиков, опиравшихся на Конфуция, но споривших с ним, попытались создать идею лояльности государству, которая бы не сводилась к верности семье. Конфуцианская традиция ставит проблему перед изобретателями общественного порядка, поскольку она проповедует верность семье, особенно сыновнюю верность, превращая ее в образец любого рода лояльности, делая из нее высочайший род лояльности. То есть теоретики должны были считаться с авторитетом, который выступал препятствием для формирования лояльности государству: значительная группа мыслителей, которых [П.-Э. Вилль] называет «легалистами», группа государственных деятелей в военных государствах IV века до н. э., попыталась воспрепятствовать использованию этой сыновней преданности как инструмента оправдания коррупции; они постарались изобрести дискурс, в котором повиновение императору стояло бы выше повиновения семейному долгу. В целом, очевидно, они предложили некое компромиссное решение, которое выразилось в нормативных положениях, например в том, что называют «законом избегания», который я упоминал в прошлый раз и который запрещает назначать чиновника в его родную область, чтобы избежать коррупции.

Правда, выясняется, что, странным образом, этот закон, нацеленный на предотвращение коррупции, благоприятствует ей, поскольку гораздо больше возможностей эксплуатировать людей, когда они не являются земляками, так что, можно сказать, хитростям домашнего резона нет числа. В императорском Китае существовали относительно низкооплачиваемые чиновники высшего уровня, их было мало и они отбирались благодаря конкурсной системе мандаринов. Но также было намного больше мелких чиновников низкого уровня, которые жили на то, что удастся собрать на подведомственной им территории. Вилль, описывая эту структуру, говорит об «институционализированной коррупции», понимаемой в том смысле, что все знают

о том, что низшие чиновники не могут прожить без этих незаконных поборов.

Далее я расскажу об одной статье об английской бюрократии, которая стремится показать (я об этом не знал, но мне указал на это мой друг Эрик Хобсбаум), что в английской бюрократии вплоть до середины XIX века высокопоставленным чиновникам разрешалось извлекать свои ресурсы, то есть частные ресурсы, из своего округа<sup>4</sup>. Система государственной бюрократии, в которой чиновники получают заработную плату, является, таким образом, весьма недавним и относительно ограниченным изобретением. Хотя в Англии традиция государственного назначения чиновников сложилась намного раньше, чем во Франции, государственное вознаграждение чиновников как замена прямого изъятия ресурсов была введена там гораздо позже.

[Если вернуться] к Китаю, там существовала система прямого изъятия, «поток незаконных средств, который оmyвает всю систему сверху донизу». Подобное изымание финансовых средств необходимо для оплаты личных и профессиональных расходов чиновников, а также заработных плат подчиненных чиновников, которых эти чиновники должны содержать, чтобы выполнять свои задачи. В описании этой институционализированной коррупции [П.-Э. Вилль] упоминает «регулярные нерегулярности». Затем, обрисовав общую логику системы, он переходит, как он сам говорит, к описанию структуры бюрократии: он показывает, что центральные чиновники полностью отрезаны от своих региональных корней в силу закону избегания; далее, у этих чиновников есть частные сотрудники, работа которых частично оплачивается этими чиновниками и которым каким-то образом привита верность своим хозяевам; наконец, и это самое главное, есть «под-бюрократия» <sub-bureaucratie>, как он ее называет, которую набирают из провинциального общества и чьи посты устойчивы, поскольку эта устойчивость позволяет создавать сети, и вот эту под-бюрократию не сдержива-

---

4. *Hilton R. H. Resistance to taxation and to other State imposition in Medieval England.* Paris, 1987.

ет ни лояльность государству, ни, в отличие от частных сотрудников, лояльность хозяину. Следовательно, у этих подчиненных чиновников, под-бюрократов есть цель извлечь как можно больше денег за минимальное время. Проблема именно в том, как это сделать, и здесь мы снова сталкиваемся с моделью экономистов: они могут добиться цели, поскольку по рангу они, очевидно, стоят ниже центральных чиновников, которые должны их контролировать и управлять ими, но при этом реально они выше, поскольку долговечность их должностей обеспечивает их, во-первых, сетями, о которых я упоминал, а во-вторых, знанием местной ситуации, благодаря которому они могут блокировать приказы, приходящие сверху, и информацию, идущую снизу. Такая позиция *gatekeeper*'а, привратника, которая позволяет им что-то перехватывать, что-то не пропускать, когда им это удобно, ставит их в положение, благодаря которому они могут постоянно шантажировать центральных руководителей.

Эта модель, кажущаяся очень далекой, может широко применяться и к современному французскому обществу. Я могу отослать вас к № 81–82, который я уже несколько раз цитировал, журнала «*Actes de la recherche en sciences sociales*», который был посвящен жилищной политике и экономическим проблемам производства домов, их продажи, а также проблемам разрешений на строительство и т. д.: там можно найти совершенно аналогичные феномены, и я отсылаю вас к моей последней [статье] в этом номере, которая называется «Право и поблажка»<sup>5</sup>, где я пытаюсь показать, придерживаясь той же логики, следующее: всегда забывают о том, что обладатель определенного права может извлечь выгоды из факта чрезвычайно строгого исполнения права или же, наоборот, приостановить его действие и сделать поблажку.

Но вернусь к Китаю. Итак, у низшего чиновника определенное структурное положение, положение посредника, которое, я считаю, встречается очень часто. Вот почему модель экономистов, пусть она не очень

---

5. Bourdieu P. Droit et passe-droit. Actes... 1990. No. 81–82.

гибкая, весьма привлекательна. Руководствуясь этой моделью, можно подумать о структурных прибылях, связанных с таким промежуточным положением — например, положением мелкой буржуазии, которая находится между крупной буржуазией и рабочим классом и т. д. В промежуточном положении есть свои структурные неудобства, структурные свойства людей, которые «не те и не эти» или, напротив, «и те, и эти...», людей, у которых куча свойств, которые связаны не с их условиями (работы, заработной платы и т. д.), но именно с их промежуточным положением... Я часто говорю о социальной топологии, и это как раз типичный случай, когда видно, что существует топологический аспект социологического анализа, есть люди, которые ни то ни се, [которые] нейтральны — в смысле латинского *neuter*, — которые между одним и другим, но при этом «ни то ни другое». У них есть общие качества, и в анализе можно пользоваться этой моделью, чтобы понять кучу вещей о положении посредников<sup>6</sup>.

И снова вернусь к Китаю: власть этих посредников берется, с одной стороны, из того, что они могут продавать вышестоящему чиновнику жизненно важную информацию, у них имеющуюся. Вспомните модель, которая утверждает следующее: принципал не знает, кто хорошо работает, а кто ничего не делает; посредник может согласиться сказать это или, напротив, отказаться. То есть посредники могут злоупотребить частью своей власти, контролируя информацию, которой они располагают, а с другой стороны, они могут применять власть, преграждая доступ к хозяину, принципалу. Это типичный случай того, что по-английски называется *access fees*, платой за доступ: я плачу за то, чтобы провести интервью, я плачу за разговор. И наоборот, секретари часто находятся в положении посредников. (Я это говорю для социологов и тех, кто об этом не знает: но на самом деле хорошо известно, что для того, чтобы провести интервью, лучше обратиться к секретарше, лучше соблазнить

---

6. О положении посредника см.: *Bourdieu P. Condition de classe et position de classe // Archives européennes de sociologie. 1966. Vol. VII. No. 2. P. 201–223.*

ее, а не начальника, поскольку она может найти окно в его расписании, может представить дело таким образом, что [начальник] сразу же скажет: «Да, очень хорошо, я согласен», или же наоборот пошлет [вас] на все четыре стороны. Вот пример использования структурного положения посредника. *Access fees* могут принимать форму денег, но также улыбок, чего угодно...)

### Пример институционализированной коррупции в Китае (2): «чистые»

Подытожу: посредники находятся в положении, позволяющем контролировать поток информации снизу вверх и сверху вниз, а также поток прибылей, связанных с информацией (это следовало бы развить в конкретных анализах). Один из интересных результатов затрагивается в статье Пьера-Этьена Вилля о Китае мимоходом, может быть даже в сноске, — это опасность, которую в подобной системе представляют «чистые». Странное дело, но моральное возмущение в социальном пространстве распределяется не случайно [...]. «Чистые» часто удивляются тому, что их не награждают и даже наказывают... Это вещи, которые постепенно узнаешь с возрастом: начинаешь понимать, что царство справедливости не от мира сего... Дело не только в том, что добродетель не вознаграждается, но и в том, что можно считать, что тебе повезло, если тебя не наказали за какое-то хорошее дело, вот, думаю, подходящая формулировка! Например, в современной системе образования люди, которые делают то, что система образования официально предписывает, становятся теми, кто мешают рутине, а потому подвергаются наказаниям. Социология, которая должна понимать всё, должна понимать и такие вещи. Этот случай интересен, поскольку мы имеем тут дело с феноменом структурной коррупции: Вилль говорит об «институционализированной коррупции», то есть структурной коррупции, официально признаваемой институтом. Я же говорю о «структурной коррупции»: это коррупция, которая неизбежна, но не обязательно вписана в институт и не обязательно признана.

(Вы знаете, что сегодня во французском институте, в атмосфере неолиберализма, рынка и т. п., хорошим тоном в высоких бюрократических сферах стало разоблачать [...] «профсоюзную косность», например, косность рабочих, не желающих поступиться «приобретенными льготами», а ведь это так мелкобуржуазно, это большой минус [...]) Но при этом забывают, что люди, которые так говорят, сами получают огромные премии, сумму которых узнать крайне сложно. Я пытался: выяснить это можно, поскольку каждый разоблачает надбавки других, но это все-таки сложно. Во всяком случае, документов никогда не найдешь, а если их и публикуют, вам скажут: «Нет, это все ерунда, не будьте наивным...» Здесь тоже присутствует институционализированная коррупция, форма государственной привилегии. И такая институционализированная коррупция является уделом разоблачителей коррупции посредников. Я говорю это неслучайно, поскольку модель, которую я описываю, могла бы подкрепить сюжет в стиле Клозе<sup>7</sup>, — я все-таки упомяну его, поскольку это социальный факт, он — один из тех людей, которые подхватывают тему, которая витала в воздухе и стала частью общественного климата, например, на собраниях управленцев, на которых спрашивают, как можно было бы заставить рабочих работать лучше, и тема эта поддерживается всей мощью медиа, а потому становится реальной социальной силой, с которой мы вынуждены считаться. Мы поступили бы наивно, если бы оттолкнули книгу Клозе, сославшись на то, что это плохая книга. Очевидно, эта модель может послужить оправданию технократического взгляда, который против мелких начальников, прежде всего профсоюзных, но

---

7. Журналист Франсуа де Клозе (François de Closets) в 1980 гг. стал одним из самых продаваемых авторов, написал несколько книг — «Все больше и больше!» (*Closets de F. Toujours plus!* Paris: Grasset, 1982, продано около двух миллионов экземпляров), «Все вместе» (*Tous ensemble*), «Покончить с властью профсоюзов» (*Pour en finir avec la syndicatie*. Paris: Seuil, 1985), в которых обличался застой во французском обществе и особенно острой критике подвергался предположительный корпоративизм чиновников и профсоюзов.

также речь может идти о средних кадрах в телекоммуникационных компаниях, которые не всегда следуют «корпоративным правилам», как их называют сегодня, — и такое оправдание указывает на сложность с передачей результатов социальной науки. Нужно помнить о том, что люди, стоящие наверху, принципалы, располагают способами изымать прибыли другой природы и другой величины, не такие, как у мелких посредников начального уровня, которые крутятся из всех сил, чтобы и себе что-то урвать...)

Вернусь к «чистым». Был один знаменитый мандарин, о котором была написана отдельная статья в «*Actes de la recherche*», его звали Ли Ци, и это был мандарин против мандаринов<sup>8</sup>, который в своих совершенно необычных книгах (одна называлась «Книгой для сожжения», что само по себе прекрасно) разоблачал коррупцию мандаринов, структуру их воспроизводства (например, Национальная школа управления <ENA> — это институт, состоящий целиком из мандаринов). Такая порода людей для [системы] совершенно невыносима. Эти «чистые» чаще обнаруживаются в высоких сферах: существуют социальные условия доступа к чистоте — так, Аристотель говорил о том, что добродетель требует определенного достатка...<sup>9</sup> Также бывают «чистые» среди подчиненных, но их скорее воспринимают в качестве наивных людей, и они не оказывают особого воздействия — им затыкают рты. Журнал «*Actes de la recherche*» должен опубликовать в следующем номере мой разговор с одной руководительницей проектов по городской политике, которые были направлены на борьбу с бедностью в самых нищих районах Франции, и она рассказывает, что всё намного сложнее, чем можно подумать, что, чем большего успеха она добивается,

---

8. Billeter J.-F. Contribution à une sociologie historique du mandarinat // *Actes de la recherche en sciences sociales*. 1997. Vol. P. 3–29.

9. «Ведь необходимо, чтобы граждане были состоятельными, а гражданами являются именно они. Ремесленники не принадлежат к гражданам, как и вообще всякий другой слой населения, деятельность которого направлена не на служение добродетели». См.: Аристотель. Политика // Сочинения: в 4. т. М.: Мысль, 1983. Т. 4. С. 605.



тем большее ее наказывают, чем больше она делает то, что ей говорят, тем больше наказывают... Я думаю, что одной фразой можно сказать так: это называется «миссия невыполнима»<sup>10</sup>. Еще один случай, который не был опубликован, но будет: случай судьи, которому заткнули рот именно тогда, когда он сделал то, что от него требовали, он отвечал за адаптацию бывших заключенных и т.п.<sup>11</sup> Вот вещи, которые на самом деле есть, не думайте, что такое бывает только в Китае... Но тогда получается, что Китаем я воспользовался как зонтиком мандаринов...

Итак, «чистые» — так говорит Вилль — разрушают равновесие, связанное с функциональной коррупцией, поскольку неподкупная честность играет роль откровения: она разоблачает истину структуры в целом, так что она оказывается упреком всем остальным. «Чистого» упрекают в том, что он живой упрек: [...] он [неявно] говорит другим то, что они негодяи. «Чистый» — тот, кто выводит на чистую воду, кто предает, особенно группу ему равных. В недавней истории можно найти разных людей, с которыми случаются несчастья, поскольку они всего лишь делают то, что, считается, делают и другие, хотя на самом деле другие этого не делают; просто потому, что они делают это, они показывают совершенно очевидным образом то, чего другие не делают. [Пока речь] о внешних разоблачителях, можно сказать: «Это из-за зависти, самообмана, недостатка информации и т. д.»; но когда это делается внутри самой ситуации тем, кто уполномочен делать то, что он делает, это производит эффект образцового пророчества и совершенно поразительного разрыва. Интересно то, что в дискурсе, в идеологии эти чистые становятся предметом особого отношения: [сначала] их подозревают и говорят: «Не может быть, чтобы чистый был чистым».

(У социолога в силу самой его профессии реакция такого же типа, и он всегда спрашивает себя, что скры-

10. См. *supra*, p. 283, note 1.

11. *Lenoir R.* Un reproche vivant. Entretien avec un magistrat // P. Bourdieu (dir.). *La Misère du monde*. P. 465–492.

вается за чистотой: даже если он восхищается тем, что есть «чистые», его ремесло обязывает его (и этого не понимают другие, которые думают, что социолог злой, подозрительный, что он дышит рессентиментом) предполагать, что у действий людей всегда есть причины, так что он обязан задать себе вопрос: «Почему он чистый?», «Что в нем такого особенного, что делает его особенно “чистым”?» Вот так поступает стихийная социология. Научная же социология сложна потому, что она должна делать то, что в повседневной жизни каждый делает по отношению к своим противникам [...]: все мы очень хорошие социологи с нашими противниками, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы увидеть то, что они сами не видят или же скрывают.)

Так что «чистых» подозревают, с ними борются, их обличают и в то же время ими восхищаются, поскольку невозможно не признать того, что они отдают дань уважения, пусть и лицемерно, добродетелям, которые всеми официально превозносятся...

### Пример институционализированной коррупции в Китае (3): двойная игра и двойное «я»

Еще одно примечание: эта ситуация институциональной коррупции ставит чиновников в вечно двусмысленное положение, Вилль говорит о «постоянной шизофрении» или «институционализированном лицемерии». Я думаю, что это самый главный момент, быть может, всеобщее качество бюрократов. Что касается бюрократии, я написал статью о делегировании, которая применима к профсоюзным делегатам, к политическим [представителям], уполномоченным и т.д.<sup>12</sup> Я, опираясь на разные документы и инструменты, попытался показать, что существует своего рода структурное лицемерие делегата, который всегда может говорить на двух языках: он может говорить либо от своего собственного имени, либо от имени института, от чьего

---

12. Бурдьё П. Делегирование и политический фетишизм // Начала. *Bourdieu P. Langage et pouvoir symbolique.* P. 259–279.

имени он говорит. Это своего рода двойная игра и двойное «я». Робеспьер говорит: «Я народ», и это главная форма обмана, которым заняты мандарины. Ницше, которого крайне раздражало надувательство, которым заняты священники и которое типично для профессиональных служащих в целом, не только церковников, но также и интеллектуалов, — [писал], что обман со стороны священников состоит в том, что легитимная личность узурпируется для того, чтобы иметь возможность осуществлять интересы реальной личности<sup>13</sup>. Такого рода постоянная прозопопея — «Я — Франция», «Я — Республика», «Я — государство», «Государство — это я», «[Я] — государственная служба» — выступает основой для положения уполномоченного, делегата, также она типична для чиновников, которые всегда слуги публичного, то есть универсального. Подобную шизофрению я обнаружил [...] год или два назад [в] одной статье Гордона<sup>14</sup>, американца, который рассказывал, что американские *lawyers* [юристы, адвокаты], которые отнюдь не невинные дети, демонстрировали своеобразный двойной дискурс: наряду с их более чем реалистической практикой у них была выявлена достаточно массивная идеологическая конструкция, относящаяся к профессиональному идеалу, деонтологии и т. д. [Автор] использовал именно это слово — «шизофрения». Я думаю, что [Гордон и Вилль] не читали друг друга, но тот факт, что они наткнулись на один и тот же образ, показывает, что они действительно схватили нечто важное, причем в совершенно разных контекстах.

Это означает, что бюрократия — это предмет, двоящийся в своем собственном образе, склоняющем к шизофрении: она видится одновременно как нечто рациональное, прозрачное и как нечто коррумпированное;

---

13. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Полное собрание сочинений в 13 томах. М.: Культурная революция. М.: 2012. Т. 5. Раздел 3. С. 59.

14. Gordon R. W. "The ideal and the actual in the law". *Fantasies and practices of New York City lawyers, 1870–1910* // G. W. Gawalt. *The New High Priests. Lawyers in Post-Civil War America*. Westport, CT: Greenwood Press, 1984.

все дискурсы, о которых сообщает Вилль, говорят о двух этих образах. В то же время у чиновников двойной образ самих себя, так что чистые — это те, кто, возвращая вещам их простоту, показывают во всей красе противоречия, которые [скрывает] эта постоянная двойная игра с другими и, главное, с самим собой, поскольку она представляет собой сартровский самообман, то есть факт лжи самому себе, рассказывания самому себе того, что речь об универсальном, тогда как универсальное присваивается ради частных интересов. И здесь я еще раз напомним о теме, которую рассматривал в прошлом году: это частное присвоение универсального, которое обычно считают злоупотреблением властью [...], все-таки заставляет универсальное развиваться. Я всегда напоминаю об этом моменте, поскольку нарушение, которое [надевает] маску универсального, лучше просто нарушения. Я никогда не сказал бы так еще несколько лет тому назад. Нарушение, которое прикрывается универсальным, хоть в чем-то помогает универсальному, [поскольку] можно будет использовать универсальное против этого нарушения, для его критики... Этими достаточно грубыми формулировками я хочу напомнить об исследованиях, на которые в прошлом я потратил довольно много времени<sup>15</sup>. Мое введение было полезно, поскольку оно позволяет мне сказать это, иначе бы я его отцензурировал.

Я думаю, что основное содержание этой статьи я вам пересказал. [П.-Э. Вилль] приводит отличные примеры способов оберегания прав и поблажек, соответствующих этой логике. Например, у меня есть определенное право, я, скажем, работаю во французском муниципалитете и выдаю разрешения на строительство. Существуют определенные инварианты, [можно вспомнить] о Китае: я могу передать прошение или не передать, передать его быстро или медленно; я, очевидно, могу извлечь определенные прибыли, могу попросить помощи... Взять пример трансакций между нотаблями

---

15. См.: *Bourdieu P.* Un acte désintéressé est-il possible? (в статье воспроизводятся некоторые материалы из курса в «Коллеж де Франс», прочитанного в 1988–1989 гг.).

и бюрократами: это одни из основных трансакций, на которые опирается работа государственной службы. [Возьмите пример] члена генерального совета, который заходит к ответственному за выдачу разрешений на строительство: почему получается так, что этот ответственный за разрешения на строительство может выдать разрешение сразу, если к нему приходит член государственного совета? Причина в том, что между ними давние отношения, обмены, но не обязательно денежные: бывает обмен любезностями, например, они могут встречаться за коктейлем; или в обмен на покровительство в случае X будет предоставлена защита в случае Y; обмениваются также побрякушками и т. п.

Другой пример: один из важных аспектов всего этого — время. Постоянно говорят о «бюрократической инерции», но у этих слов только и есть, что усыпительная сила, они на самом деле ничего не объясняют. Логика, которую я пытаюсь изложить, логика права и побрякушки, заключается в применении значительного спектра всевозможных подходов, начиная с ригоризма и заканчивая попустительством. Вот как это работает: есть определенное правило, и я могу сыграть и получить прибыль от того, что выберу крайне ригористический или, напротив, попустительский подход, сыграть на основе всех позиций, которые стоят за таким спектром стратегий, имеющихся у любого обладателя определенного права; даже операционист, работающий в окошке кассы, имеет в какой-то мере власть такого рода. Не нужно забывать, что, когда есть только такая власть, возникает большое искушение ею воспользоваться. Эта власть над входящими документами и исходящими — власть над временем, которая часто выражается во времени, — как-то довольно давно у меня была реплика по поводу Кафки<sup>16</sup> [на тему] игры со структурой времени, то есть воздействия на темпоральную структуру, внутренне присущего власти, и я прочитал целый годовой курс о «времени и власти», посвященный тому, что во многих случаях власть давала власть над временем другим людям... Есть очень хоро-

---

16. Bourdieu P. La dernière instance. Paris, 1984.

ший китайский пример, позволяющий понять инварианты бюрократии: это отметки на документах, от которых зависят повышения по службе, отставки и т. п. Они составляют возможность капитализировать влияние, накопить символический капитал, поскольку, осуществляя контроль, можно накопить капитал за счет снисходительности или, наоборот, строгости.

Нужно было бы разобрать подробности, но у меня впечатление, что вы можете подумать, будто я слишком разбрасываюсь, тогда как на самом деле работа начинается как раз там, где я останавливаюсь, в точном анализе ситуаций, случаев. Конечно, — я говорю это мимоходом, поскольку сейчас феноменология под видом этнометодологии снова входит в моду, — ясно, что эти тонкие анализы являются в то же время структурными анализами и что речь идет не исключительно о тонком описании интеракций, а о том, что надо тонко описывать интеракции, которые сами структурно ограничены<sup>17</sup>. Этнометодология часто отвлекается от структурных ограничений. Например, есть прекрасные исследования того, что значит заполнять бюрократический бланк, у Сикурела<sup>18</sup>, это этнометодолог, которого я всегда ставлю особняком, поскольку у него, по крайней мере, есть интуитивное понимание того, что структуры существуют: что значит заполнять бланк, когда «бюрократия» приравнивается к «бланку», что вообще такое бланк, что значит его заполнять, кому он адресуется, что ожидают от того, кто его заполняет, что нужно знать о том, что такое бланк, чтобы вообще иметь представление о том, что его нужно заполнить, и т. д. Но тем не менее самый что ни на есть тонкий феноменологический анализ опыта заполнения бланка не приведет к истине бланка, поскольку для того, чтобы открыть, что такое власть и отправление власти, необходима вся история бюрократии, государства, структур, а также

---

17. Пример такого исследования, проведенного автором в тот же период, см. в: *Bourdieu P., Bouhedja S., Givry C. Un contrat sous contrainte // Actes de la recherche en sciences sociales. 1990. No. 81. P. 34–51; переиздано в: Idem. Les Structures sociales de l'économie.*

18. *Cicourel A. La Sociologie cognitive. Paris, 1979.*

нужны модели вроде тех, что я вам излагаю. В частности, заниматься феноменологией бюрократической темпоральности — это, возможно, круто, но это ни к чему не приведет, если не пойти кружным путем через Китай...

### Генезис бюрократического пространства и изобретение публичного

Теперь я набросаю другую тему. Я попытался показать, как на основе идеи о сконцентрированной власти и людях, которые могут ее перераспределять, само перераспределение может стать условием для накопления вторичных форм власти. Я, очевидно, уже наметил описание и структуру генезиса этого бюрократического пространства, внутри которого будут иметь место все эти эффекты недолжного изъятия. И теперь именно этим я хотел бы заняться. Я разовью три пункта, один за другим [...].

Во-первых, проблема удлинения цепочек взаимозависимости: в начале у нас есть король и подданные, хотя это, конечно, голая схема, ведь на самом деле так никогда не было и уже в самом начале власть немного дифференцирована, [но] мы выдвигаем гипотезу, что есть главный [агент] и обычные агенты... Тогда нужно понять, как это первичное ядро дифференцируется, как создаются цепи зависимости, как постепенно формируется поле власти: там, где был один человек, возникнет большой комплекс агентов, являющихся друг для друга одновременно сообщниками и противниками — сообщниками в применении власти и противниками в конкуренции за монополию на власть и в конкуренции за монополию на легитимное использование власти или же за монополию на определенную форму власти, которая претендует на то, что только она является легитимной: именно в этом будет причина конфликта между парламентом и королем, и т. п. [Нужно изучить], как удлиняются цепи и как в силу этой дифференциации возникает проблема отношений между властителями, например в связи с дворцовыми войнами и т. д.

Во-вторых, я пытаюсь в то же время проанализировать, как наряду с этим процессом дифференциации проводится коллективная работа — [контуры] которой я уже обрисовал, когда речь шла о китайских юристах, старавшихся примирить Конфуция с бюрократической логикой, — по формированию публичного; как выполняется работа по изобретению публичной логики, противопоставленной частной. Это, несомненно, одно из наиболее важных человеческих изобретений, поскольку нужно изобрести то, что противоречит частным или эгоистическим интересам в наивном смысле этого слова [и] одновременно интересам, связанным с принадлежностью к первичной группе, то есть семье и т. п.

В-третьих, описав то, как удлинялись сети и как изобреталось публичное, я попробую показать, какова логика конфликтов, в которых столкнулись агенты, включенные на разных позициях в эти сети, образующие структуру власти.

Если говорить очень кратко — сегодня я лишь обозначу тему, — процесс формирования государства в одной из его частей можно было бы назвать «дефамилизацией» — это неологизм, но я ввожу его ради удобства. Речь о том, чтобы выйти из логики семейного, домашнего, чтобы прийти к другой логике, о которой еще не известно, что она собой представляет. Можно сказать об этом и по-другому. Вам известно название знаменитой книги Мальро «Разменная монета абсолюта»<sup>19</sup> — он хочет сказать, что искусство стало заменителем религии (это банальная идея, которую до него высказывали сотню раз, и то же самое можно сказать о большинстве идей Мальро в области эстетики, ведь он представлял своего рода здравый научный смысл, для которого умел придумывать талантливые аранжировки). [То есть] можно было бы сказать, играя словами, — но нужно помнить, что игры слов полезны, они всегда применялись мудрецами, чтобы передать свое знание, поскольку это что-то вроде очень плотных конфет, которые можно долго сосать, найдя в них много

---

19. *Malraux A. Psychologie de l'art, t. III, La Monnaie de l'absolu. Genève: Skira, 1950.*



всего разного, — что государство представляет собой разменную монету абсолютизма; есть король, и это [главная] фигура, и есть куча мелких фигур... Я думаю, что это важная схема, поскольку она резюмирует смысл того, что я скажу.

То, что я хочу сказать, является совершенно тривиальным моментом в работах по государству, но я не уверен, что это столь же тривиально для всех вас, присутствующих в этой аудитории. Постоянно говорят о процессе «дефеодализации» — я упоминал эту проблему в прошлом году, [но подчеркивал] то, что рождение государства сопровождается разрывом «естественных связей» родства, причем, конечно, связи родства — это социальные связи, а также заменой способа воспроизводства, основанного на кровных узах, таким способом, который опосредуется институтами, главным из которых становится институт образования. Следовательно, по трем основным направлениям государство противопоставляется семье. Во-первых, оно заменяет первичную семейную верность формальными видами верности, оно осуждает кумовство. Во-вторых, оно заменяет прямую, семейную преемственность воспроизводством, основанным на образовании. В-третьих, оно заменяет самоназначение начальников и их помощников, как и их назначение местными инстанциями, центральным назначением; оно концентрирует власть номинации.

Я хотел бы в общих чертах показать вам то, что три этих процесса вполне реальны и наблюдаемы. Я хотел бы намекнуть, в чем они заключаются, но также показать, что они не закончены: мы так и не покончили с семьей и семейным модусом мысли, которые по прежнему присутствуют в самой логике функционирования социального мира. Можно сразу же рассмотреть пример образования, поскольку он наиболее известен. Иллюзия XIX века состояла в том, что думали, будто в школе имеешь дело с заслугой и даром — [это слово] уже немного подозрительно, но особенно напирала на «заслугу», — и что, следовательно, школа обрезает повинину, связывающую с семейным воспроизводством. Но теперь благодаря работам социологов мы знаем, что в системе образования социальная наследственность

и передача наследства от одного поколения другому выполняется, хотя и с определенными потерями, [которыми] в статистическом плане можно пренебречь: даже если они носят драматический характер на уровне личного опыта, со статистической точки зрения, если учесть все факторы, они совершенно не драматичны.

Я указываю [на это], не слишком задерживаясь, поскольку это самый банальный момент из всего, что я хочу сказать, и в следующий раз я смогу двигаться быстрее: я буду опираться на книгу Корригана и Сейера, которую цитировал в прошлом году<sup>20</sup>. Они показывают, что в Англии разрыв между простым воспроизводством семейного типа и воспроизводством, опосредованным государством, произошел очень рано; также они, к примеру, показывают, как назначения на местные посты — шерифов, королевских чиновников и т. д. — становятся уже с XIII или XIV века делом государства. Государственная должность <public office>\*, публичная позиция уже на очень ранних этапах начинает отличаться от феода, и обладатель такого поста становится на этих ранних стадиях назначенным королевским чиновником, а не наследственной фигурой, которая в каком-то смысле тождественна собственному феоду. Иначе говоря, корона сопротивляется всем тем процессам, которые стремятся расщепить власть и установить власть местных правителей, [выходцев] из местного универсума. Это центральная проблема, позволяющая показать вам то, что общие модели важны. Все современные споры по поводу децентрализации имеют отношение к этой проблеме: если мы выигрываем нечто в плане близости к основанию власти, не теряем ли мы ровно столько же в универсальности этой власти? Это двусмысленный вопрос, поскольку эти процессы никогда не бывают простыми, у них всегда две стороны, так что неясно, не будет ли это во многих случаях регресс к менее универсальным формам управления властью?

---

20. *Corrigan P., Sayer D. The Great Arch.*

\* Бурдые использует здесь английский термин. — *Примеч. пер.*

Другой процесс, на который указывают Корриган и Сейер: переход от центрального уровня к локальному. Шериф, я думаю, — это важный для анализа персонаж: его назначают, то есть он не сам себя назначает и не получает должность по наследству. На центральном уровне, по мнению Корригана и Сейера, примерно в 1530-х гг. происходит общий переход от домашнего хозяйства (*household*) к демократическим формам правления; при этом они подчеркивают то, что аристократия демилитаризуется. То же самое во Франции: показано, как начиная с XII–XIII веков разделяется центральная управленческая структура, то есть *curia regis* [королевский двор, королевский совет]; и мы видим, как постепенно рождается управление — вместе с Большим советом, правительственными советами, советами по правосудию и т. д. Те же самые историки подчеркивают параллельный процесс, сопровождающий эту дифференциацию, а именно рождение общего права, юридического пространства, конституционного права, благодаря которому все властные отношения опосредованы ссылкой на универсальное; их больше невозможно поддерживать запросто и напрямую.

Вот примерно то, что я хотел сказать; в следующий раз я попытаюсь описать чуть более точно процесс разделения власти <l'authorité>.

## Лекция 14 ноября 1991 года

*Построение Республики и построение нации. — Создание публичного в свете одного трактата по английскому конституционному праву. — Применение королевских печатей: цепочка гарантий.*

### Построение республики и построение нации

[ВЕРНУСЬ] к размышлениям, представленным мной в прошлый раз, чтобы вы не теряли нить рассуждения. Цель, к которой я медленно приближаюсь в этих, по возможности подробных, исследованиях, которые я вам представляю, — это вопрос о генезисе публичной власти: как образовалась власть, которая потеряла частный и феодальный характер, перестала быть личной? Соответственно, я пытаюсь выделить два процесса, смешанных друг с другом в истории и в то же время относительно независимых: с одной стороны, процесс создания публичной реальности, схватываемой словом «республика»; во-вторых, процесс создания национальной реальности. Можно было бы сказать, что всё, что я рассказываю на протяжении уже нескольких лет, — это длинный комментарий к формуле «Французская республика»... Как образуются две эти реалии? Они символизируются, с одной стороны, определенной аббревиатурой, сиглой «RF» — и я вернусь к важности слова «сигла» <sigle><sup>\*</sup>, — а с другой стороны, флагом, символом Марианны и т. д., определенными лицами, скажем президентом Французской Республики. Этот комплекс реалий является продуктом чрезвычайно сложной исторической работы.

На первом этапе я буду заниматься в основном созданием республики. На втором — когда я буду двигаться быстрее, поскольку думаю, что это проще, то есть одновременно проще и понять, и рассказать, я попытаюсь

---

<sup>\*</sup> «Sigle» — сокращение, аббревиатура, условное обозначение. — *Примеч. пер.*

показать, как выстраивается идея нации, как производится и воспроизводится нация, а благодаря ей и национализм. Один из политических или философских вопросов, возникающих в силу соотнесения двух этих процессов, — это вопрос о необходимости связи между ними: можно ли получить республику без нации? Можно ли в каком-то смысле выиграть на двух досках сразу? Можно ли получить прибыли от универсализации, приносимые государством, но без убытков, без издержек партикуляризации, национализации и национализма, которые исторически неотделимы от образования республики и государства?

Если придерживаться чисто нормативного подхода, переход от феодализма к абсолютизму можно описать как получение доступа к более высокой степени универсализации; то есть это прогресс в [области] универсального. Но этот прогресс сопровождается построением нации, одновременно в объективных социальных структурах и в головах. Как я уже не раз говорил, построение публичного сопровождается едва ли не неизбежно, по крайней мере в исторически известных случаях, частным присвоением этого публичного. Существуют собственники, которых я сегодня называю государственной знатью, которые занимаются этим присвоением, этой патримониализацией публичного. Я думаю, что именно здесь стыкуются два указанных процесса — эту гипотезу я пока оставлю без подтверждения, но через какое-то время к ней вернусь. Можно спросить себя, не через такое ли частное присвоение публичного то универсальное или универсалистское, которое присутствует в государстве, начинает склоняться к национализму. Не оказываются ли подчас сторонники национализма людьми, у которых есть частный интерес к присвоению публичного? Об этом я буду говорить в связи с одной важной работой под названием «Воображаемые сообщества»<sup>1</sup>.

Доказано, что очень часто основным социальным фактором националистических движений становились

---

1. *Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализмов. М.: КАНОН-Пресс-Ц», «Кучково поле», 2001.*

мелкие носители культурного капитала: авторы словарей, грамматик. Это важно, поскольку мелкие носители культурного капитала — это еще и те, кто пишут о нациях, о национализмах, и неспроста они всегда изымаются из исторических описаний, так что в конечном счете забываешь, что за определенными конструкциями с универсальными претензиями стоят частные интересы. Вот вопрос, который я хотел поставить, чтобы вы понимали, куда я хочу прийти; но не то чтобы моя цель этим определялась, это было бы неправильное представление о моем анализе. На данный момент я собираюсь изучить чрезвычайно сложный генезис, который потребовал бы многих часов подробного разбора, генезис реалий, которые мы считаем публичными и которые в какой-то мере стали очевидными, само собой разумеющимися, — например, если бы мы решили обсуждать «Французскую Республику», я не знаю, чего бы мы добились, но наверняка не того, что я собираюсь рассказать. На самом деле, я хочу показать вам, что есть два процесса, из которых я пока хочу изучить первый, оставив второй на потом.

### Создание публичного в свете одного трактата по английскому конституционному праву

Теперь я постараюсь углубиться в достаточно подробное описание — в прошлый раз я занимался историей Китая, а на этой неделе займусь английским конституционным правом. (Вы видите, что гордыня социолога не знает границ...) Я говорю это, чтобы вы знали, что мне приходится идти буквально на цыпочках: я отлично понимаю, что по вопросам, которые я буду с вами обсуждать, есть специалисты, которые всю жизнь потратили на их изучение... Я могу сказать что-то наобум, но я думаю, что выводы, которые я извлекаю из текстов, на которые опираюсь, обоснованы, если не брать отдельных ошибок в деталях, которые я могу допустить, в том числе и потому, что, к примеру, используемые мной источники не обязательно являются последним словом науки. (Отмечу в скобках: часто бывает так, по крайней мере в изученных мною областях, в которых

я чувствую себя относительно сведущим, что старые авторы говорят вещи, которые были забыты или затемнены в современных исследованиях. [Эти старые авторы] вытаскивают проблемы, которые считаются решенными; я думаю, что у нас как раз такой случай, но я в этом полностью не уверен.) Я попытаюсь показать, как постепенно сложилось бюрократическое поле, административное поле, как эта власть, которая была сосредоточена в руках короля, постепенно разделилась и как образовалась эта первичная сеть взаимозависимости, на базе которой постепенно развилась сложная бюрократия, состоящая из агентов, связанных сложными связями, двоякими связями контроля и делегирования. Я смогу — хотя, впрочем, я займусь этим в следующий раз, — описать важнейшие направления этого процесса, то есть образования автономных полей, и тогда мы смогли бы описать процесс, в котором церковь отделяется от государства или государство от церкви, юристы [получают независимость] и т. д.

Сегодня я буду медленно читать и комментировать один трактат по английскому конституционному праву, ужасно скучный, в котором я выделил два отрывка, которые кажутся мне важными. Сначала ссылка: автор, о котором я уже говорил вам, — это Ф. У. Мэйтланд<sup>2</sup>. Это переиздание классического трактата, курса по конституционной истории, который читал Мэйтланд. Я начну с описания процесса дифференциации двух типов руководителей: династических руководителей королевского дома и бюрократических руководителей. Мэйтланд описывает этот процесс подробно, и я буду двигаться медленно, поскольку считаю, что это важно, чтобы не застрять на слишком грубых противопоставлениях. Вы помните, что я противопоставлял два модуса воспроизводства: людей, который воспроизводятся за счет кровного родства, и людей, воспроизводящихся опосредованно, через бюрократию. Мэйтланд [считает, что] описывает генезис тех, кого он называет «большими государственными чиновниками». Такие официальные фигуры существовали всегда. И он гово-

---

2. *Maitland F. W. The Constitutional History of England. Cambridge, 1948 [1908].*

рит, что было бы интересно рассмотреть каждого из этих больших чиновников по отдельности, но у меня нет времени. Когда-то, в старые времена, главные чиновники были служителями королевского дома: был *steward* (управитель, интендант), *butler* (дворецкий), мажордом, камергер, *marshall* (маршал) и т. д. Деятельность этих людей постепенно распространяется за пределы королевского дома, охватывает всё королевство в целом. И самые важные люди в королевстве гордятся тем, что у них такие должности, которые вначале могли считаться домашними, то есть должностями «слуг». [Мэйтланд] также приводит ряд примеров из Священной Римской империи: пфальцграф Рейна был *steward*’ом, герцог Сакский — *marshall*’ом, король Богемии был *cup-bearer*’ом, то есть виночерпием, маркграф Бранденбурга был камергером... Иначе говоря, самые могущественные люди выполняли функции прислуги, и [Мэйтланд] подчеркивает то, что все эти функции были наследуемыми. В доме Лестера пост *haut-steward*’а был наследуемым, должностью коннетабля или *constable*’я владела определенная семья и т. д.: должности [были] приписаны тому или иному роду.

И вот здесь начинается самое интересное: «Но постепенно в Англии формируется то, что мы можем считать общим правилом: пост, становящийся наследственным, теряет свое политическое значение», [— пишет Мэйтланд]<sup>3</sup>. Иначе говоря, родовой модус воспроизводства постепенно уступает место другому модусу; [все эти приписанные посты] становятся маловажными, [они] становятся показательными, *show*, должностями, то есть демонстративными и церемониальными. Иными словами, эти должности сдвигаются в сторону символического. И это очень важно, поскольку [те, кто занимают такие посты] не получают оплаты, они на стороне символического, художественной части церемоний — и [Мэйтланд] приводит соответствующие примеры. Сегодня аристократы часто выступают в роли дипломатов или телеведущих, то есть они на стороне *show*, и это

---

3. *Maitland F. W. The Constitutional History of England. Cambridge, 1948 [1908].*  
Р. 391.



неслучайно. Они на стороне церемоний, церемониала, [труда] по поддержанию символического капитала королевской власти за счет демонстрации. Если мы говорим, что они на стороне символического, это не значит, что они не важны, и ошибка автора, его наивный утилитаристский предрассудок состоит в том, что он думает, будто символическое не имеет никакого значения. Когда мы имеем дело с чисто символическим франком, мы говорим: «Это чисто символически», и думаем, что он ничего не стоит, поэтому не имеет никакого значения. Но символическое стоит и окупается. Тот факт, что им платят символически, «фантиками», если можно так сказать, не означает, что они не важны, как раз наоборот... Я не раз подчеркивал особое качество английской королевской власти и проводил также сравнение с Японией, с обществами, в которых управление символическим является важным аспектом управления коллективным наследием государства. Постепенно они становятся демонстративными фигурами церемоний, некоторые из них получают искусственные должности, в частности, в церемониях коронования или же в помпезных представлениях, в демонстрациях. Мэйтланд приводит пример: когда одного пэра избирают другие пэры, это обязательно должен быть человек благороднейшего происхождения, выбираемый из категории держателей наследственного символического капитала.

Интересно то, что эти большие должности являются исключительно почетными. Впрочем, и в этом случае «почетные» или «исключительно почетные» — не значит «выведенные из игры»; [а значит], что они больше не выполняют техническую часть работы, так что пост нужно удвоить: у всех этих людей есть дублеры, которые выполняют реальную работу. Вместо того чтобы ограничиваться глупой утилитаристской позицией, которая заявляет: «Это неслыханно, это растрата денег, поскольку появляются те, кому платят за то, что должны делать другие», необходимо понять, что на более глубоком уровне здесь имеет место нечто вполне функциональное. [Мэйтланд] приводит примеры: наряду с главным камергером, который ничего не делает и ничего не касается, есть *Lord High Chamberlain* «лорд обер-камергер», ко-

торый отвечает за королевскую резиденцию и получает за это жалование. Он приводит и другие примеры.

То есть на одной стороне у нас даровое, символическое, чистое, незаинтересованное, благородное — есть много слов, чтобы сказать «благородный», — а на другой, домашнее, служебное, в ругательном значении термина, то есть те, кто получают жалование и являются наемниками (вот какое слово я безуспешно искал), кто действительно выполняют технические задания. После такого описания Мэйтланд продолжает: наряду с чиновниками, обладающими должностями высокого ранга, постепенно складывается другая группа обладателей должностей, но уже не наследственных. Среди них и *capitalis justitarius Angliae*<sup>4</sup> — я не знаю, как это перевести. Это первый назначенный, а не наследственный чиновник. Точно так же две наиболее древние должности высокопоставленных чиновников, перед именем и титулом которых всегда ставится звание «лорд», чтобы отличать их от других, — это канцлер и канцлер казначейства, первые высшие чиновники. Еще примеры: при Тюдорах постепенно появляются люди, которые дублируют тех, кто занимает почетные должности, и вклиниваются между ними. Например, есть *Lord Keeper of the Privy Seal*, лорд-хранитель личной печати. Иными словами, есть король, есть канцлер, но между ними появляется тот, кто хранит печать короля. Затем, спустя какое-то время, между королем и хранителем личной печати вклинивается другая фигура, которого называют секретарем короля. В 1601 году — то есть по прошествии значительного времени, ведь я начал с XII века, — он становится главным государственным секретарем. То же самое — линию можно было бы продолжить — происходит в канцелярии: государственные секретари появляются в том же самом процессе. Иными словами, мы имеем дело с процессом, в котором есть две точки А и В; а потом между ними ставят третью точку посередине,

---

4. Maitland F. W. The Constitutional History of England. Cambridge, 1948 [1908]. P. 392. *Capitalis justitarius* — это главный из королевских судей Англии, председатель королевского суда, хранитель королевства в отсутствие короля.

затем точку между ними, на расстоянии одной четвертой от исходного, потом на расстоянии одной восьмой и т. д. Так у нас появляется ряд отдельно стоящих точек, которые все больше и больше связываются друг с другом за счет помещения между ними фигур-посредников, которых специально назначают, дают полномочия на выполнение определенной функции, чтобы они решали задачи, которые первоначально должны были выполнять исходные официальные обладатели соответствующих постов...

Я иду дальше, хотя это всё стоило бы прочитать подробно. Важно то, что эти назначенные служащие получают юридические гарантии и наказываются тоже в соответствии с юридическими правилами: они подчиняются *Common Law*, и это отличает их от других; они подчиняются общему праву и имеют легальные полномочия. Иначе говоря, поступательное развитие бюрократизации сопровождается развитием легализации: каждый акт *commissioning* сопровождается прояснением правил, согласно которым порученцу дают поручения. В то же время должность или пост определяются юридически: создается служебная инструкция: «Он будет делать это и только это, но будет обязан делать это, причем полностью...» То есть происходят разработка и прояснение.

Очевидно, пока мы в династической логике, правилом остается неопределенность. Знать не выносит бюрократической строгости, она [предпочитает] нечеткое, неопределенное, символическое (в нашем обществе символическое сохраняется среди интеллектуалов; и всё, что я здесь сказал, применимо к интеллектуальному полю). Определение, отграничение, юридическое — все это несовместимо со специфической логикой знати. Право, которое довлеет над порученцем, довлеет и над тем, кто дает ему поручение: сам король постепенно окутывается правом в силу легализации отношений, которые объединяют его с теми, кто обязаны отправлять королевскую власть как делегаты. Предположим, что королева желает выделить кому-то определенную сумму, в таком случае нужно израсходовать какие-то деньги из королевской казны и иметь дело с канцлером казначейства. Каков порядок действий? Во-первых, необходимо, что-

бы деньги действительно были израсходованы и чтобы этот расход был заверен; есть поручитель такого рода расхода, то есть слова короля самого по себе уже не достаточно. Нужно, чтобы кто-то гарантировал, что деньги израсходованы по правилам. И поскольку гарантия, данная таким человеком, не является самодостаточной, необходимо, чтобы она сама была гарантирована печатью, то есть большой печатью или личной печатью. Словесного приказа короля больше недостаточно: чтобы дать сто франков бедняку, необходимо, чтобы кто-то дал гарантию и чтобы тот, кто ее дает, сам получил гарантию в виде печати. Необходимо, чтобы сама эта печать была заверена секретарем печати. То есть нужно, чтобы была большая печать, но также и малая, которая заверяет большую... Постепенно [для осуществления] этой операции — расходования денег из королевской казны, — «порождается масса законов, которые начинают применяться к этому простому предмету. Для некоторых целей необходима большая печать; для других достаточно было малой печати. Для других нужен штамп, который хранился у секретаря. В некоторых случаях достаточно устного приказа короля, например, он может распустить парламент одним своим словом, но в большинстве ситуаций акты и приказы приводятся в действие лишь при соблюдении ряда чрезвычайно сложных условий, среди которых и применение этих инструментов правления, печатей»<sup>5</sup>.

[Здесь можно сослаться] на один из самых ранних курсов, посвященных мной этой проблеме, когда речь шла о теории Канторовича касательно генезиса современных бюрократических корпусов по образцу церковных<sup>6</sup>. Канторович подчеркивал, что корпуса были исторически заинтересованы в том, что он называл *sigillum authenticum*, то есть в подлинной печати, способной заверять; определенный акт становится государственным актом, когда он носит печать. Наконец, печать, *sigillum* — это также сигла, аббревиатура: например,

---

5. *Maitland F. W. The Constitutional History of England. Cambridge, 1948 [1908].*  
Р. 394.

6. *Канторович Э. Два тела короля. С. 289–304.*

печать или сигла «RF» — это своего рода магический отпечаток, который сосредотачивает в себе всю государственную реальность и преобразует частный приказ, который [в противном случае мог бы быть] блажью сумасшедшего короля — это важно, историки много занимались этим: король может быть или безумным, или слабым, также им могут помыкать женщины (этой проблемой были крайне обеспокоены китайцы: что делать с безответственным королем?). Юридический акт распоряжения становится легальным, официальным, государственным только в том случае, когда на него налагается печать. Откуда эта печать берет свою магическую силу? Та же самая ситуация, конечно, и у диплома: если нет подписи, диплом ничего не стоит, и тогда можно подать жалобу и т. п. Откуда *sigillum* в таком случае черпает свой авторитет?

Эта проблема похожа на ту, что ставит Мосс в связи с магией, — если вы не читали его «Эссе о магии»<sup>7</sup>, обязательно прочитайте. В этом эссе Мосс спрашивает себя, в силу чего маг является магом, в силу чего его признают за мага и почему он оказывает действие благодаря, в сущности, тому факту, что его признают за мага? Может быть, дело в используемых им инструментах, в печати, волшебной палочке или же в других магах? Он задает ряд вопросов и в конечном счете говорит, что магическая действенность мага заключается во всем универсуме в целом, внутри которого находится сам маг, другие маги, магические инструменты и верящие ему люди, которые приписывают магу силу и именно поэтому вносят вклад в само существование этой силы... Примерно так же дело обстоит с государственным актом: благодаря чему у печати, *sigillum authenticum*, есть эта волшебная способность превращать какого-то произвольного человека в того же профессора, благодаря акту назначения? В *sigillum* воплощается именно эта чрезвычайно сложная сеть, манифестацией которой и становится печать.

---

7. Mauss M. Esquisse d'une théorie générale de la magie // L'Année sociologique, 1902–1903, переиздано в: *Idem*. Sociologie et anthropologie. Paris: PUF, 1950. P. 1–141.

[Я представил] один из аспектов этого механизма, но он намного сложнее. Вначале есть две противоборствующие категории: я не раз подчеркивал противоположность королевского дома и функционеров, показывая, что это были два антагонистических, конкурентных, конфликтных принципа господства, причем король мог играть, сталкивая одних с другими и т. д. Я считаю, что это инвариант, который обнаруживается во всех зарождающихся государственных системах. Сегодня же я пытаюсь показать, как две эти власти постепенно дифференцируются, поскольку одни уходят на символическую сторону, а другие на сторону техники. Но Мэйтланд не говорит того, что разделение не является абсолютным: было бы наивно описывать этот процесс как отмирание династической власти, уступающей место власти бюрократической; по крайней мере, в случае Англии две власти продолжают действовать, сохраняя антагонизм, в котором они дополняют друг друга. И я думаю, что в наших обществах президент Республики, если уж вернуться к нему, — это тот, в ком две линии примиряются, так что он является одновременно техническим и символическим.

### Применение королевских печатей: цепочка гарантий

Теперь я перехожу ко второму аспекту этого процесса, описываемого Мэйтландом; я могу указать на страницы тем, кто хотели бы потом сами посмотреть, — это было бы неплохо, поскольку я лишь пробежал по тексту: то, что я только что рассказывал, относится к страницам 390–395. А то, что я буду вам рассказывать теперь, можно найти к главе под названием «Учение о королевских печатях», страницы 202–203 той же книги. В этой главе рассматриваются отношения между королем и его советом, но те же проблемы мы обнаружим в отношениях короля и парламента... Какую власть король может применить к советам, а какую — совет к королю? [Мэйтланд] ставит общую проблему: первоначально единственная власть, которую может применить совет, — это власть короля; совет выступает

попросту уполномоченным, и в конечном счете — я упомяну об этом далее — борьба между королем и парламентом в Англии и Франции будет идти именно по этому вопросу. Что такое парламенты — всего лишь руки короля, выражение его воли, или же они обладают определенной независимостью от него? Могут ли они обратить против него эту власть, делегированную самим королем? В самом начале у парламента не было иной власти, кроме делегированной королем, так что власть, которую совет мог применить, была попросту королевской властью. В действительности, по словам Мэйтланда, этот теоретический принцип оказывается ограниченным в практике, связанной с королевскими печатями; он описывает, как применение королевских печатей постепенно ввело ограничение на власть короля — и это также дифференциация, которую я хочу описать.

Первый этап: генезис цепочки ответственных лиц, о которой я упоминал в предыдущем тексте. Со времен норманнских королей до наших дней королевская воля выражается актами, хартиями, королевскими грамотами, секретными письмами и другими актами, которые скреплялись королевской печатью. Большая печать короля вручалась канцлеру, который был главой секретариата. Он выступал государственным секретарем для всех управлений. С конца Средневековья и до Тюдоров канцлер был премьер-министром короля. Его важная роль символизируется владением королевской печатью. Мы видим, как наряду с большой королевской печатью постепенно появляются и другие печати. У канцлера столько разных дел, особенно в юридической сфере (он должен исполнять роль судьи и т. д.), он настолько загружен повседневной бюрократической рутинной, что в вопросах, напрямую касающихся короля, появляется личная печать, которую я недавно упоминал: используя личную печать, король дает указания канцлеру, касающиеся применения большой печати. То есть здесь уже появляется промежуточный пункт. В то же время личная печать доверяется на хранение отдельному чиновнику, служащему, а именно хранителю личной печати. Затем, по прошествии определенного вре-

мени, [этот хранитель сам требует себе секретаря], которого называют «государственным секретарем». Таким образом, мы приходим к конечному состоянию, к установлению стандартного порядка действия: можно было бы нарисовать схему этих актов, всю эту большую цепочку.

(Здесь я сделаю небольшой комментарий в скобках [касательно] очень известной книги по истории идей Лавджоя, которая называется «Великая цепь бытия»<sup>8</sup>. Это замечательная книга, в которой показано, что в очень разных произведениях — начиная с сочинений Платона, Плотина и вплоть до Шекспира, то есть у самых разных авторов, обнаруживается одно и то же представление, которое можно назвать «эманационистским»: на самом верху находится Бог, Небеса, а все создания являются лишь выродившимися формами этой высшей и совершенной формы. Здесь есть очевидная аналогия с королем, и это интересно, поскольку модель, которую я сейчас описываю, возможно, является ментальной структурой. Эта знаменитая великая цепь бытия, действительно обнаруживаемая в текстах, могла бы иметь метафизические и одновременно политические основания, как это часто бывает. Иными словами, великая цепь бытия — это, возможно, политическая онтология. То, что я здесь описываю, — это великая цепь бытия, вершиной которой является король; затем, спускаясь все ниже и ниже, мы доходим до мелкого исполнителя. Эта метафора, по моему мнению, присутствует в бессознательном всех людей, живущих в бюрократических обществах. У всех у нас в бессознательном есть это представление об образце и исполнении. Например, — я могу показаться легковесным, но я просто пользуюсь тут некоторыми свободами, связанными с моей задачей, — я полагаю, что лингвистическая, структуралистская и т. д. теория быстро получила признание именно потому, что она опирается на противопоставление образца и исполнения, языка и речи, ведь речь является лишь исполнением языка, а также потому,

---

8. Лавджой А. Великая цепь бытия. М.: Дом интеллектуальной книги, 2011.



быть может, что у нас бюрократическое бессознательное, которое заставляет соглашаться с философией великой цепи бытия. Такая модель теории/практики обнаруживается во многих областях, и исследование бюрократических структур, как я уже сто раз говорил, — это исследование нашего бессознательного... На этом я закрою скобку.)

На конечном этапе мы видим примерно следующее: устанавливается стандартный порядок действий, документы подписываются. Сначала есть слово короля, но когда дела серьезные, приказ записывается, подписывается рукой короля и заверяется секретарем короля, который выступает хранителем королевской печати. Это государственный секретарь. То есть на первом уровне ставится подпись короля, которая заверяется другой подписью. На следующем уровне текст заверяется подписью хранителя личной печати, и соответствующие акты становятся указаниями для канцлера, который, в свою очередь, ставит большую печать королевства, и в этот момент акт становится действительно удостоверенным. Вернусь к тексту Мэйтланда, поскольку в этих актах делегирования происходит нечто очень важное: власть разделяется — вы помните, что в прошлый раз я придумал не слишком удачный каламбур «разменная монета абсолютизма». Власть дробится, это очевидно, но дело этим не ограничивается. Мы возвращаемся к проблеме безумного короля, которая всегда волновала канонистов: тот, кто скрепляет своей подписью, осуществляет контроль, и король сам контролируется тем, кто его заверяет; если король совершил глупость, тот, кто заверил своей подписью, соглашается с этой глупостью и становится виновен в том, что не сообщил королю о его ошибке. Такая практика контрподписи порождает в то же время ответственность министров за королевские акты. И это удивительно, поскольку в определенном смысле ответственный предполагает возможную безответственность короля. Речь идет не просто о разделении королевской власти, но также о создании делегированной власти, причем эта делегированная власть обращается против того, кто ее делегировал. Каждый акт вступает в силу

лишь в том случае, если он заверен, и на каждом уровне тот, кто заверяет, удостоверяет своей контрподписью то, что он участвует в этой воле короля. [...] Тот, кто получает поручение, участвует, и тот, кого привлекают к делу, тоже участвует, то есть, говоря бытовым языком, «он замешан». Когда говорят, что бюрократия подстраховывается, это можно понять: бюрократ, который заверяет, контролирует и участвует в деле, оказывается под ударом. Могу сослаться на Мэйтланда: министры сами заинтересованы в закреплении такого порядка дел; они довольны тем, что заверяют своей подписью, но также и тем, что их тоже заверяют, поскольку они боятся попасть под удар из-за королевских актов. Сначала они боятся не получить фактических доказательств того, что это именно королевские акты, а потом того, что они станут крайними. Иначе говоря, они хотят получить гарантии и сверху, и снизу.

Я не осмелюсь [продолжить], поскольку вы подумаете, конечно, что я топчусь на месте, хотя сам я считаю, что двигаюсь очень быстро... По сути, я пытаюсь заниматься своего рода исторической феноменологией бюрократических актов: если бы я излагал вам анализ эмоции, вы бы посчитали нормальным то, что я топчусь на месте и иду медленно, но у нас нет привычки поступать точно так же с политическими и юридическими предметами, которые чрезвычайно сложны и которые, как и тот или иной феноменологический опыт, затемнены банализацией, очевидностью. Я считаю, что упражнение такого рода было нужно, чтобы вы начали удивляться тому, как, к примеру, врач подписывает справку; то есть благодаря этому анализу удастся восстановить понимание того, что такие вещи работают именно в силу общей заинтересованности в них; [...] то, что теряют во власти, выигрывают в надежности, в гарантии власти.

Продолжу в быстром темпе. Итак, есть канцлер и все министры, все делегаты, отсюда *ministerium*, что значит «уполномоченный». Это еще одна тема Канторовича — *mysterium, ministerium*. Он показывает, что у канонистов это одно и то же слово; он играет словами: «тайна

министерства» <mystère du ministère><sup>9</sup>. По сути, вот что я описываю: министерство как отправление определенным человеком власти, ему не принадлежащей, что как раз и составляет тайну чиновника, которая состоит в делегировании. То, что чиновник теряет во власти, он выигрывает в надежности отправления этой власти и в гарантиях от ее последующего оспаривания, то есть тут имеется определенная заинтересованность. Канцлер боится ставить большую печать, колеблется, если документ, который ему предоставили, не скреплен личной печатью, которую он может представить как гарантию. Очень важно и другое слово, «гарантия», *warrant*; [ему нужна определенная] гарантия того, что достоверность акта, который он собирается заверить, уже гарантирована. Он ручается за нечто гарантированное, гарантированное государством. Я ручаюсь за нечто с большей охотой именно тогда, когда ручаюсь за нечто гарантированное. Когда вы приходите получать какой-то диплом, вас просят предоставить предшествующий диплом. Я думаю, что здесь можно увидеть основания того, что описывается критикой бюрократии, и, как всегда, обычная критика касается важных вещей, но так, что лишь еще больше их запутывает. Говорят, к примеру: «Бюрократы прикрывают себе спины», «Бюрократы подстраховываются» и т. п.; это базовая критика бюрократической работы, которая совершенно не интересна, поскольку она [забывает], что, [если] это так, это неслучайно: благодаря этому выполняются очень важные функции, и достаточно определить полную логику процесса, чтобы понять, что иначе не сделаешь.

Итак, канцлер боится ставить большую печать, если документ не скреплен малой печатью, личной печатью, которую он мог бы представить как поручительство. Хранитель личной печати озабочен тем, как получить

---

9. См. статью П. Бурдьё, опубликованную впоследствии: Bourdieu P. Le mystère du ministère. Des volontés particulières à la "volonté générale" // Actes de la recherche en sciences sociales. 2001. No. 140. P. 7–11. Эта тема уже рассматривалась в работе «Ce que parler veut dire» (переиздано в: *Idem*. Langage et pouvoir symbolique. Paris, 2001.).

подпись короля, за которую ручается секретарь короля. Для короля же это тоже выгодный распорядок: в целом все находят это для себя выгодным. И это очень важно. Вот что такое, в общем и целом, социальный механизм: все, в том числе зачастую и подвластные, находят в нем для себя выгоды. И об этой вещи обычно забывают. (Это не значит, что нужно заниматься функционализмом, не приписывайте мне то, чего я не говорю, а поскольку кто-нибудь наверняка так подумает, я обязан об этом сказать.) Для короля это тоже выгодное дело, поскольку такой порядок полезен: обязанность его чиновников — помнить об интересах короля; у них есть интерес разделять интересы короля, и [можно было бы сказать то же самое] о государственной службе, о государственном интересе; они заинтересованы в том, чтобы знать, как обстоят дела короля. И по мере того, как дела короля становятся сложнее и многообразнее, необходимым становится разделение труда, поскольку, чтобы быть в курсе дел короля, нужно много людей, много тех, кто ручаются друг за друга, то есть образуется цепочка. (Тут можно привести сравнение с наукой: всем известно, что каждый отдельный ученый работает над постоянно сужающимся участком огромного пространства. Один крупный теоретик науки подчеркивает то, что научный универсум крепится гигантской цепью делегирования<sup>10</sup>: «Я не могу судить о таких вещах, но я сужу того, кто судит, я доверяю»; то есть в таком случае работает цепочка гарантов.) Наконец, бюрократия — это поле того же самого типа, поле, где очевидно, что никто не может гарантировать всё и быть гарантированным всем.

Вернусь еще раз к вопросу о «подстраховке», к тому, что прикрыть себе спину — это неотъемлемый момент логики, генезис которой я описываю. Он присущ самому процессу: с того момента, как у нас больше нет единственного харизматического вождя, который

---

10. П. Бурдье, несомненно, ссылается здесь на книгу Джозефа Бен-Дэвида «Роль ученого в обществе: сравнительное исследование»: *Ben-David J. The Scientist's Role in Society: a Comparative Study*. Chicago: University of Chicago Press, 1971.

способен решать любые вопросы на основании своей харизмы, то есть своего исключительного дара, испытываемого в исключительных ситуациях, мы вступаем в процесс подобного типа, так что, естественно, на каждом участке цепи появляются мандарины, которые привлекают выгоду из гарантий, производимых системой. Но забывают о том, что эти гарантии являются еще и условиями функционирования всей системы. Продолжу. Поскольку мы говорим, что дела короля становятся необходимыми, необходимым становится и разделение труда: то, что я описываю, — это генезис определенного универсума, разделения труда господства. То есть в каждом управлении должен иметься человек, занимающий высший пост, следящий за тем, чтобы короля не обманули и не дезинформировали. Риск пренебречь интересами короля сокращается по мере того, как процесс управления делами короля дифференцируется и разделяется. Тогда встает проблема вариаций: здесь описывается структура, но в ней могут быть вариации в зависимости от относительного веса лиц, занимающих посты. Когда у нас слабый король, вся структура будет работать на отъем у него власти; но могут также быть неравные силы, агенты, занимающие разные положения в цепочке. Важно в этом комплексе то, что, вопреки наблюдениям историков, которые видят лишь концы цепочки, но не всю ее целиком и не ее логику, это глобальная цепь людей, каждый из которых в отношении к другим оказывается контролером и одновременно контролируемым. Король, по видимости, находится в исключительном положении, но постепенно его исключительность сходит на нет, и в пределе его позиция уподобляется всем остальным, поскольку цепочка дифференцируется, и король начинает контролировать все больше и больше людей, но в то же время и сам контролируется все большим их числом.

Вот в общих чертах процесс, который я хотел описать. Какой вывод из этого можно сделать? Я думаю, что с точки зрения того вопроса, который я ставлю себе с начала этого года, описание этого процесса важно для того, чтобы увидеть, как осуществляется своего рода деперсонализация власти. Король по-прежнему

остается «источником почестей, должностей и привилегий», если говорить словами Блэкстоуна, и эманационистская метафора, используемая в этом высказывании, очень важна, то есть он остается источником всего того, что случается. Но тем не менее даже отправление этой власти возможно лишь ценой своего рода упадка абсолютной власти, и такой упадок как раз и представляет собой рождение государства, публично-го. Верно, что звено цепи, кажущееся первым, управляет всеми остальными, но на деле такое простое, линейное, транзитивное представление (А командует В, [которое] командует С) является слишком упрощенным, поскольку на каждой стадии делегирование сопровождается передачей части контроля. В пределе можно спросить себя, кем является это первое звено, правитель — управляемым или же правителем, и политические деятели, когда разговариваешь с ними, часто именно так и говорят. Очевидно, что в сложных обществах первое звено часто оказывается в положении «Жана-Кристофа»<sup>11</sup>, это роман, который больше никто не читает и в котором один из главных героев отдавал приказы облакам: он указывал им идти в том направлении, в котором они уже шли — «Иди на восток!» (Часто правители находятся в этом положении, и в этом нет ничего удивительного. Беспокоит то, что правители считают, будто управляют облаками, и порой им удастся уверить в этом подчиненных, опираясь на людей, которые составляют часть сети и в роли которых сегодня выступают, к примеру, журналисты, которые начинают волноваться из-за малозначительных фраз и пытаются внушить, будто такие фразы оказывают воздействие, журналисты, которые, не зная ничего о механизмах вроде тех, что я описываю, то есть о схемах сетей и причин, в которые включены правители, почти никогда ничего не знают о реальных цепочках причин. [Журналисты], соответственно, отвлекают [внимание и ставят во главу угла] персоналистский взгляд на власть и на формы критики власти, которые

---

11. *Rolland R. Jean-Christophe*. Paris: Cahiers de la quinzaine, 17 vol., 1904–1912.

в применении к частным лицам часто дают дурные результаты.)

Прошу у вас прощения за то, что двигался не очень быстро и топтался на месте, [я спрашивал себя]: «Можно ли рассказать об этом на лекции?» Я долго колебался, у меня было желание перейти к более общим вещам, о которых проще рассказывать, но я считаю, что, по сути, это самое важное из того, что я должен сказать. Я хотел не просто передать достаточно простое представление о переходе от власти, монополизированной одним человеком, к власти, отправляемой сетью, к сложному разделению контролеров, которые сами контролируются, я хотел также дать понять, что значит заниматься антропологией публичного, государства. В следующий раз я попытаюсь описать более объемные предметы, которые для меня, впрочем, проще: процесс, маленький кусочек которого я описал, — это всего лишь история королевских печатей в Англии, и нужно понимать, что государство, конечной точкой которого мы сами являемся, — это продукт тысяч подобных небольших изобретений, и даже если так, это все равно весьма упрощенная история. Эти тысячи изобретений каждый раз сталкивают одних людей с другими в той или иной конкурентной борьбе, которая сначала прорабатывается на практике, а потом теоретизируется, или же, наоборот, сначала теоретизируется, когда в дело вступают юристы, специалисты по конституционному праву, а потом превращается в практику людьми, которые в этом заинтересованы. Может случиться так, что король воспользуется крупными юристами, чтобы придать легальную форму своему произволу: между теорией и практикой происходит, в частности, своего рода обмен; и знаменитая книга [Сары Хэнли] «Ложь правосудия», о которой я вам уже говорил и еще буду рассказывать подробнее, показывает наличие таких обменов, например, между техническим отправлением власти и ритуалом власти, о котором кое-кто скажет: «Это чисто символически, это не имеет никакого значения». [И наконец я возьмусь] за проблему юридической, то есть символической легитимации власти.

Я попробую показать, в каком смысле юристы, которые играли огромную роль в период до Французской революции и в ней самой, являются ключевым элементом, поскольку они те, кто упорядочивают практики делегирования, и в то же время те, кто разрабатывают конституционную теорию, способную эти практики обосновать, очень часто подвергая на уровне дискурса некоторому видоизменению те вещи, которые изобретены на практике, в силу частных интересов юристов, не являющихся ни канцлерами, ни хранителями печатей. Они представляют собой третью сторону, и юрист — это тот, кто находится в [положении] третьего; юристы — это арбитры, но это не значит, что у них, как арбитров, нет интересов: наступает момент, когда арбитр хочет вступить в игру, и, возможно, Французская революция была в каком-то смысле таким моментом...





## Лекция 21 ноября 1991 года

*Ответ на вопрос о противопоставлении публичного и частного. — Превращение частного в публичное: нелинейный процесс. — Генезис метаполя власти: дифференциация и разведение двух властей, династической и бюрократической. — Программа исследования Французской революции. — Династический принцип против юридического на примере ложа правосудия. — Методологическое отступление: кухня политических теорий. — Юридическая борьба как символическая борьба за власть. — Три противоречия юристов.*

### Ответ на вопрос о противопоставлении публичного и частного

[Н АЧАЛО лекции не записано. Пьер Бурдьё отвечает на вопрос о значении противопоставления публичного и частного.]

Это сложный вопрос; я могу отослать вас к работе по теме французского предпринимательства, которую провел несколько лет назад<sup>1</sup>, когда благодаря статистическому анализу и другим инструментам была выявлена одна из главных оппозиций в универсуме предпринимателей — близости и удаленности по отношению к публичному. Один из главных параметров, организующих пространство предпринимателей, — это, оказывается, именно противоположность публичного и частного. Если отвечать на заданный мне вопрос в самых общих чертах, можно сказать, что так называемое частное, например предприятие, в изрядной степени захвачено публичным. Можно сказать даже больше: в пределе вообще нет никакого частного. Я довольно много времени потратил на изложение так называемой теории профессий<sup>2</sup>, которая была развита в США с использованием целого ряда не слишком четких понятий, которых полно в англосаксонской социологии. Я показал, что это понятие профессии тащит за собой фундаментальное заблуждение, поскольку профессии противопоставляли государству, тогда как само их существование на него опирается, в том числе потому, что профессии защищены различными формами *numerus clausus* и, в частности, дипломом, как особой формой, как

---

1. Bourdieu P., de Saint Martin M. Le patronat // Actes... 1978. No. 20.

2. См. с. 139, прим. 19 наст. изд.

правом на вхождение, гарантированным государством. И неслучайно то, что представители <либеральных> профессий выступают против государства: [...] даже самые наивные наблюдатели поняли, что есть нечто странное в единодушном объединении столь разных людей. То есть я полагаю, что понятие профессии и точно так же понятие предпринимательства отсылает к корпусам, которые разделены внутри себя в соответствии с дистанцией от публичного, и я считаю, что нет таких секторов предприятий, которые не находились бы в крайне сильной зависимости от государства.

Все наши речи о либерализме весьма наивны, и государство важно исследовать именно для того, чтобы показать, в какой мере дифференцированные общества пронизаны сверху донизу государственной логикой. Это взаимопроникновение, очевидно, влечет определенные следствия, так что двусмысленность, присутствующая в объективных структурах, наличествует также и в головах, в идеологических стратегиях: один из принципов стратегий властвующих — это, в конечном счете, иметь всё, но ничего не платить, что, собственно, и утверждает здравый смысл. Парадокс многих современных политических стратегий, которые числят себя образцом либерализма, заключается в том, что эти стратегии должны гарантировать властвующим прибыли либерализма, прибыли свободы и одновременно прибыли государственной зависимости... (Этот тезис является довольно грубым и простым, но я попытаюсь в другой раз привести более подробные аргументы.)

([...]) Очевидно, что нельзя говорить о государстве, не давая ответов, напрямую касающихся актуальной политической жизни. Я часто предоставляю вам возможность самостоятельно осуществить этот перенос, но, возможно, я не прав, поскольку вы, возможно, не сделаете его или же сделаете не так, как я. В то же время я думаю, что моя работа, в том числе и потому, что «публичное пространство» — отвратительное понятие, пришедшее к нам из Германии<sup>3</sup>, — занято идеологами,

---

3. Намек на работу Юргена Хабермаса: *Habermas J. L'Espace public.* Paris, 1978 [1962].

которые говорят много всякой ерунды о демократии, политике, государстве и т.д., мои усилия нацелены на то, чтобы выйти на совершенно другой уровень, на котором можно попробовать поставить под вопрос всё то, что считается известным, все эти проблемы, которые считаются решенными теми, кто говорит что попало о государстве, публичном, частном, о том, что надо больше государства, меньше государства и т.д. Существует своего рода сознательная аскеза, которая не имеет ничего общего с уклонением от политики: это способ говорить о ней серьезнее, во всяком случае иначе. Быть может, в конце я еще вернусь к этому, [...] это проблема, которая может быть поставлена в категориях профессиональной этики: можно ли использовать кафедру как трибуну? Не знаю, не уверен. Есть пределы, которые я сам себе ставлю, может быть и неправильно, но я вам скажу, что осознаю эти пределы и предлагаю вам спросить самих себя, какие именно политические следствия могут быть у исследований, которые я могу провести.)

### Превращение частного в публичное: нелинейный процесс

Итак, вернусь к моему рассуждению. Как я говорил с самого начала этого курса, я пытаюсь проанализировать занявший много времени процесс превращения частного в публичное; мой предмет — это длительный исторический период, с XII по XVIII век, на протяжении которого срабатывает незаметная алхимическая реакция, несколько примеров которой я привел. По аналогии я отошлю вас к прекрасной книге Кассирера (те, кто ее знают, сразу же поймут, почему я о ней говорил, а тех, кто не знает, я призываю ее прочитать), она называется «Индивид и космос»<sup>4</sup>, это превосходная история мысли Ренессанса. В ней он описывает этот сумрачный период, с которого начинается мысль Нового времени, когда еще не известно, что это — астрономия или астрология, химия или алхимия, и кто такие

---

4. Кассирер Э. Избранное. Индивид и космос. СПб.: Университетская книга, 2000.

Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола (назову пару имен этой эпохи) — первые крупные современные ученые или же последние риторы-схоласты. И я думаю, что с точки зрения государства возникает ситуация такого же типа, делаются шаги вперед и шаги назад, создаются двусмысленные политические структуры, которые можно прочесть двояко, как двусмысленные «гештальты»; то есть их можно понять как феодальные пережитки или же как ростки нововременных форм. Этот двойственный период очень впечатляет, поскольку именно в этой исторической работе, нацеленной на своего рода очищение, — во всяком случае такова моя гипотеза, иначе я бы не интересовался этим, — может быть шанс лучше понять логики, которые в силу своей банализации [впоследствии] становятся темными и труднодоступными.

Итак, есть определенный процесс, и он нелинейный, что крайне важно. Сегодня я буду рассказывать вам о двух книгах, одна о ложе правосудия, а другая о предреволюционных идеологиях: в двух этих работах мы находим свидетельства того, что не было непрерывного процесса очищения, дефеодализации, изобретения, процесса, который бы вел, как я вроде бы утверждаю, от частного к публичному. Мы видим прогрессивные шаги и отступления; так, история ложа правосудия, о которой я вам расскажу, показывает, что в XVI веке был сделан в каком-то смысле шаг вперед к конституционной теории, разработке каких-то публичных вещей, *res publica*, республик, но вследствие подъема так называемого абсолютизма он сменился отступлением.

Первая идея: речь идет не о линейном процессе. Во-вторых, пусть даже историки идей создают противоположное впечатление, я уже как-то говорил об этом, — но думаю, что неплохо об этом напомнить, — если в логике художественного или философского авангарда всегда нужно быть по ту сторону, всегда быть впереди авангарда, в логике истории всё наоборот: всегда нужно найти источник источника источника. Пример: кто написал первый роман? Какой роман первый — «Новая Элоиза» [Руссо], «Пантагрюэль» [Рабле], «Сатирикон» [приписываемый Петронию]? Мы, таким

образом, уходим всё дальше и дальше: всегда можно найти предшественника предшественника предшественника. Я думаю, что эти поиски прецедента — одна из иллюзий исторического исследования, которая приводит к ошибкам: мне кажется, что ученые стремятся датировать тот или иной феномен все более ранними историческими этапами, поскольку неплохо предстать перед коллегами в роли открывателя чего-то еще более древнего, то есть это эффекты поля, научные эффекты. Вот почему я подчеркивал то, что, в конечном счете такие вопросы о первоначалах не имеют никакого смысла. О [Фердинанде де] Соссюре всегда говорят, что он освободил лингвистику от вопроса о происхождении языков. Я думаю, что практически всегда, по крайней мере в областях, которые мне известны, вопрос о первоначале не имеет никакого смысла: это просто вопрос престижа историков, не слишком интересный. А если сказать, как я только что сделал, что интерес представляют как раз эти длительные переходы с прогрессивными и регрессивными шагами, сама проблема исчезнет: легко понять, что нет большого смысла знать, что именно позаимствовал некто у кого-то другого.

Из этого следует, что первые образцы нововременной мысли относятся к слишком ранним датам. Если взять исторические работы, выясняется, что понятие публичного обособляется лишь с большим трудом, что его вообще было трудно мыслить. Например, [как мы видим у] Мэйтланда, которого я цитировал на прошлой неделе, для проведения различия между публичной правоспособностью короля и частной понадобилось очень много времени. То же самое относится к различию между национальным доходом Короны и частным доходом короля: всё это различия, которые одновременно проведены и не проведены, которые могут проводиться в определенных областях мысли, но не в других; они могут проводиться в голове главного канцлера, но не в голове короля. То есть всегда случаются регрессии.

Точно так же у Мэйтланда (на с. 226–227 его книги) есть прекрасный анализ понятия предательства, играющего центральную роль: когда предают, то кого?

Кого именно предают — короля или нацию? И здесь мы тоже видим наличие своего рода путаницы: долгое время предательство считается, по сути, предательством короля; в династической логике это своего рода личное оскорбление короля, которое сам же король может снять, то есть объявить, что не считает себя оскорбленным. Но постепенно и предательство начинает трактоваться как предательство чего-то абстрактного. Например, в деле Дрейфуса предательство, очевидно, направлено на государство; ко времени «Манифеста 121»<sup>5</sup> об Алжирской войне предатель становится тем, кто посягает на идею государства. Это очень длительный процесс. Такое разведение дома и *curia*, курии, как говорили в Средние века, дома и кабинета, как говорят в англосаксонской традиции, осуществляется очень медленно, сопровождаясь рядом отступлений.

Здесь мы касаемся момента, который мне представляется ключевым: возможно, во всей истории, которую я собираюсь вам сегодня рассказать, господствует одно противоречие, связанное с наследованием, которое я уже много раз упоминал. Обладатели должностей находятся в чрезвычайно противоречивой ситуации, поскольку их идеология, их мировоззрение и интересы склоняют их к тому, чтобы они заняли сторону права и передачи, контролируемой правом, тогда как их интересы как корпуса, претендующего на знатность, а также на передачу должностей благодаря их продаваемости, [...] заставляют их поддерживать наследуемость. Как они могут критиковать династическую наследственную модель короля, если они сами собираются стать дворянством мантии и добиться наследуемости привилегией, пусть и в особой форме? Можно купить должность в Государственном совете, а потом передать ее по

---

5. Петиция, подписанная 121 французским интеллектуалом и художником 5 сентября 1960 года в момент начала процесса по «сети Жансона», сети «носильщиков», которых обвиняли в предательстве, поскольку они поддержали бойцов алжирского «Фронта национального освобождения» (FLN); их поддержка права неповиновения и их призыв к прекращению боевых действий запустили волну цензуры и увольнений подписантов из числа университетских работников.

наследству. Следовательно, мы имеем дело с первичной формой передачи культурного наследства. Поскольку обладатели должностей находятся на стороне культурного капитала, образования и выступают против обладателей благородного титула, дворянства шпаги, которая сама занимает сторону природы, крови, они впадают в противоречие, когда желают стать наследственными, когда они хотят, чтобы должности стали своего рода обязанностью, передаваемой по закону крови и природы. Двусмысленности их стратегии по отношению к королю связаны с этим противоречием: «В конце концов, у династического принципа есть и хорошие стороны...» Они так не говорят, ничего такого вы никогда не прочтете, но хорошо заметно, что их двойственность связана с тем, что у них есть скрытая заинтересованность в этой модели.

Генезис метаполя власти:  
дифференциация и разведение двух властей,  
династической и бюрократической

Продолжу то, что сказал в прошлый раз. Я не уверен, что выделил главную для моего рассуждения идею; думаю, что я о ней сказал, но она, скорее, была высказана самими фактами, представленными мной, чем выделена в качестве собственно идеи, так что напомним ее. Я описал вам два процесса. Во-первых, процесс дифференциации: благодаря анализу делегирования печатей, процесса разделения подписи, я описал образование дифференцированного пространства правления; я описал процесс удлинения цепочек власти, за счет чего я попытался описать генезис такой вещи, как публичное, то есть определенной формы власти, в которой каждый обладатель власти является одновременно контролером и контролируемым. Иными словами, я попытался описать генезис структуры, которая выступает относительной защитой от произвола, поскольку отправление власти разделяется между людьми, связанными и объединенными отношениями взаимного контроля. Исполнитель, очевидно, контролируется тем, кто его делегирует, но в то же время он защищен,



это и есть логика подстраховки; с другой стороны, исполнитель контролирует того, кто его делегирует, он защищает его и гарантирует. Я специально подчеркнул то, что министр должен был защищать короля от ошибок и, ручаясь за короля, он его в то же время контролирует, наблюдает за ним. Он может предостеречь короля, указав ему на угрозу общественным интересам. Вот что мы увидим в отношениях короля и парламента, которые я буду анализировать: парламент играл на этой структурной двусмысленности уполномоченного, которую я только что описал. Уполномоченный всегда может использовать мандат против того, кто ему его выдал; уполномоченный может обратить против короля власть, им от этого короля полученную. Это первый процесс. Из него вытекает закон, который я показал на конкретном примере: я указал на то, что современный правитель в пределе не слишком многим управляет, поскольку — если сформулировать здесь этот закон — чем больше [расширяется] сеть, чем больше растет власть, тем больше увеличивается зависимость людей от сети передачи власти. Иначе говоря, одно из следствий этой дифференциации властей в том, что правитель все больше управляется теми, кем он управляет, из чего рождаются все эти парадоксы бессилия власти, которая на первый взгляд может показаться самой что ни на есть абсолютной.

Этот первый процесс дифференциации связан со вторым процессом, но мне самому было очень сложно понять связь между ними, хотя она, как мне представляется, играет главную роль: этим вторым процессом является разведение династической власти, то есть дома короля, его братьев и наследников, и бюрократической власти, воплощенной в королевских министрах. В случае Франции, как мы увидим на примере истории ложа правосудия, этот процесс разведения, как мне представляется, был в какой-то момент частично заблокирован: по сути, его стали тормозить при Людовике XIII, и, совершенно очевидно, при Людовике XIV, с возвращением принцев крови и династического принципа, основанного на природе, как антитезы юридического принципа, который начал было закрепляться. Тогда как,

насколько я понимаю, в Англии, хотя это еще нужно проверить, разведение символической власти и бюрократической, о котором рассказывает Мэйтланд, происходило гораздо более последовательно. Впрочем, это разведение так и не завершилось, поскольку и сегодня королевская власть, относящаяся к разряду символического, сосуществует с властью правительства, относящейся к порядку техническому. Это различие представляется мне важным [для] объяснения [различия между французским и английским политическими режимами], следуя логике знаменитой статьи Э. П. Томпсона об особенностях англичан<sup>6</sup>, ведь идентичность всегда является определенным отличием...

Сегодня я хотел бы заняться следствиями взаимопроникновения двух этих процессов. Там, где было два человека, король и канцлер, постепенно появляется семь, восемь, девять или десять человек, то есть мы наблюдаем процесс лейбницевской фрагментации, [процесс] дифференциации. Чтобы разобраться во всех его аспектах, нужно понимать, что каждая точка, которую я называю звеном, является на самом деле вершиной определенного поля: процесс дифференциации печатей, описанный мной, затрагивает на самом деле людей, которые сами включены в определенные поля. Общий тезис о генезисе современного государства, который я хочу проиллюстрировать как можно более точными историческими данными, мог бы формулироваться так: происходит постепенное формирование дифференцированного пространства, комплекса полей — юридического, административного, интеллектуального, собственно политического поля, которое появится после Революции, — и каждое из этих полей является местом [особых] форм борьбы. Здесь скрывается одна из ошибок, совершаемых, по-моему, историками, когда они говорят, к примеру, о юридической культуре: что значит «юридическая культура»? Есть юристы, которые сражаются друг с другом по вопросам права, есть пространство юристов, у которых есть разные юридические стратегии, и есть, следовательно, отдельное

---

6. *Thompson E. P. The peculiarities of the English. P. 311–362.*

пространство юридических текстов. Точно так же есть интеллектуальное поле, отдельное поле тезисов об общей воле и т. д. То есть у нас есть совокупность полей, которые сами дифференцированы и которые находятся в конкурентных отношениях друг с другом. Другой пример—бюрократическое поле: во второй книге, о которой я буду вам рассказывать, Кит Бейкер<sup>7</sup> долго разбирает одного автора, который выражает бунт юридического поля против вторичного бюрократического поля, которое как раз формируется; возникает своего рода критика бюрократии, технократии, рождающаяся в парламенте.

То есть эти поля конкурируют друг с другом, и именно в этой конкуренции появляется то, что можно назвать государством, изобретается своего рода власть «метаполя», которая воплощается в короле, пока есть король, а потом становится собственно государством. Каждое из полей желает воздействовать на это метаполе, чтобы одержать победу одновременно над другими полями и в своем поле. Это очень абстрактно, но, когда я перескажу вам историческую хронику, вы сможете вполне конкретно убедиться в том, [что эта модель] очень хорошо работает. То есть создается отдельное властное пространство, которое я называю полем власти. По сути, я не знал, чем занимаюсь, но по ходу работы понял: я хотел описать генезис государства, и на самом деле я думаю, что проясняю генезис поля власти, то есть отдельного пространства, внутри которого различные обладатели власти борются друг с другом за то, чтобы их власть была легитимной. Одна из ставок борьбы внутри поля власти—это власть над государством как метавласть, способная действовать на различные поля<sup>8</sup>.

---

7. *Baker K. M. Inventing the French Revolution. Essays on French Political Culture in the Eighteenth Century. Cambridge-New York, Cambridge University Press, 1990* (французский перевод опубликован после купца: *Idem. Au tribunal de l'opinion. Essai sur l'imaginaire politique au XVIIIe siècle / L. Évrard (trad.). Paris: Payot, 1993*).

8. См. по этому поводу главу 4 работы П. Бурдьё «Государственная знать (*La Noblesse d'État*.), а также его неопубликованный текст «Поле власти и разделение труда господства» (*Champ du pouvoir et division du travail de domination // Actes... 2011. Vol. 190*).

Я уже говорил это в прошлом году. Я мог бы привести примеры. Есть один очень простой пример — пенсионный возраст. Изменение возраста выхода на пенсию затрагивает все поля: например, добиться общего понижения пенсионного возраста — один из способов урегулировать внутренние конфликты каждого поля; таким понижением хотят сказать: «Дорогу молодым!», «Прочь геронтократию!» Еще примеры — ввести квоты, определяемые по некоему этническому или половому признаку, и т. д. Это общий закон, который тотчас приведет к определенным последствиям в каждом из полей. Следовательно, борьбу, имеющую универсальный замах, то есть борьбу поверх полей, следует понимать на основе тех ставок, которые она представляет внутри логики каждого поля.

### Программа исследования Французской революции

Вот в целом общая линия, и, если бы у меня было десять жизней, я бы очень хотел сделать одну вещь: думаю, что можно было бы заняться социологией государства, поля власти накануне Французской революции, и — вот до чего может дойти моя гордыня — я думаю, что это был бы правильный дискурс о Французской революции. Это вполне можно сделать, но для этого нужно много времени: следовало бы изучить этот мир индивидов, каждый из которых расположен в определенном частном поле, обладает определенными качествами, то есть нужно было бы выяснить, кто был янсенистом, а кто галликанцем, где они учились — в иезуитском колледже или где-то еще, читали ли Руссо, у кого было место в парламенте или еще где-то. Нужно было бы, как при проведении обычного опроса, получить все их значимые качества, а потом соотнести их с их тезисами, которые историки изучают так, словно бы они свалились с неба и составляют определенную культуру. (Некоторые историки работают так, словно бы речь шла о культуре, что совершенно ничего не объясняет, тогда как другие историки, увлекшиеся философией, а философия — это порок Франции, поступают еще хуже, дела

вид, что речь о политической философии. Когда историки берутся за философию, это совсем никуда не годится. Я имею в виду «Словарь Французской революции»<sup>9</sup>: Франсуа Фюре и несколько других историков в настоящее время изобретают историю без истории, в которой история политических стратегий сводится к истории идей. Так что моя малая программа очень серьезна; к сожалению, у меня нет сил на ее осуществление, а так, я думаю, она могла бы избавить нас от многих заявлений, регулярно появляющихся в «Le Nouvel Observateur».)

Существует пространство агентов, ввязавшихся во Французскую революцию, у которых есть свои имена: Марат занимает достаточно низкую позицию в интеллектуальном поле; он сводил счеты с Кондорсе, которому перерезал глотку<sup>10</sup> (и сегодня многие интеллектуалы, ограничивающиеся полемикой, охотно отправили бы на гильотину некоторых своих соперников, представься им такая возможность.) Революция стала поводом свести посредством физического насилия счеты, которые обычно сводят путем символического насилия. Итак, есть интеллектуальное поле, религиозное поле, административное поле или бюрократическое, юридическо-парламентское поле: у каждого из этих полей своя логика, и следовало бы расположить агентов в этих пространствах и соотнести тезисы, которые они смогли сформулировать (о парламенте, о конституционном праве, об общей воле и т. д.), с позицией в этих пространствах и с теми индивидуальными качествами, которые позволяют определить их позицию в этих пространствах. Я думаю, что тогда можно было бы намного

---

9. Furet F., Ozouf M. (dir.). Dictionnaire critique de la Révolution française. Paris: Flammarion, 1988.

10. Кондорсе, осужденный за предательство Конвентом, на самом деле умер в тюрьме при невыясненных обстоятельствах. Хотя злопамятность Марата, вызванная тем, что его работы были отвергнуты Академией наук, и перекинувшаяся на политическую сферу, и правда засвидетельствована, сам Марат, к тому времени больной, не играл практически никакой роли в Конвенте в период, когда математик попал в опалу, более того, Марат был убит за год до него.

лучше понять историческую генеалогию идей, называемых «республиканскими» и являющихся продуктом различных видов борьбы между агентами, занимающими разные позиции в разных пространствах и стремящимися определить сообразно своим интересам такие сущности, как парламент, король, право, природа, культура, наследственность и т. д. Это очень сложный вопрос; я могу развивать только одну исследовательскую программу, но те из вас, кто достаточно подкован в исследовательской работе, могут понять, что это очень серьезная программа, и если кто-то из вас, в одиночку или организовав группу, возьмется за это, я готов поучаствовать и помочь всем, чем смогу, — думаю, что это была бы очень полезная задача.

Теперь перейду к работам,двигающимся в этом направлении. Я смог сказать вам то, что только что сказал, нашел мужество, только потому, что есть работы, которые идут в этом направлении, работы, к сожалению или к счастью, американских историков. (Когда я говорю «к сожалению», дело, как я уже не раз отмечал, не в национализме: чем старше я становлюсь, тем больше читаю только по-английски, когда занимаюсь Мане, Флобером, Французской революцией и т.д. ...Это многое говорит о состоянии французской науки.) Книжки, о которых я буду вам рассказывать, — это работы Сары Хэнли<sup>11</sup> и Кита Майкла Бейкера<sup>12</sup>. Две эти книжки, особенно первая, с моей точки зрения, являются подлинными шедеврами исторической работы, правда с одной небольшой оговоркой насчет того, что главные агенты в них не характеризуются в полной мере своими социальными качествами: хотя [Сара Хэнли] отходит от изучения политики, чтобы заняться исследованием политических агентов и их действий, она всё же не идет до конца и не приводит всех сведений, значимых для анализа социальных условий возможности дискурсов и практик, изобретаемых этими людьми, а они изобретают новые практики, новые способы отношения к королю и трактовки проблем наследования,

11. *Hanley S.* Le Lit de justice des rois de France. Paris, 1991 [1983].

12. *Baker K. M.* *Inventing the French Revolution.* Cambridge—New York, 1990.

так что хотелось бы больше знать о том, на каком основании, в силу какого именно интереса. Она дает много составляющих, намного больше, чем обычно, но всё же недостаточно.

### Династический принцип против юридического на примере ложа правосудия

Почему две эти книги кажутся мне важными? Потому что в них, особенно в первой, составляется своего рода историческая хроника необычных отношений короля и парламента — я подчеркиваю, что это «необычные отношения»... Я могу дать вам определение, которое приводится для них в «Словаре институтов Франции» Мариона<sup>13</sup>: «Поскольку полномочия судебных собраний были делегированы сувереном, они прекращались, когда король приходил, чтобы самостоятельно исполнить свой королевский долг, вершить правосудие». Король делегирует судебным собраниям, то есть парламенту, судебные полномочия; эти полномочия перестают действовать, когда король приходит сам: он отменяет делегирование, приходя лично в то самое место, где должно действовать это делегирование. Ложе правосудия — институт, действующий тогда, когда король приходит, чтобы в каком-то смысле отменить собственное делегирование. Следовательно, и это очень важная вещь, не существует возможного определения такого института, как ложе правосудия. Прочитав эту книгу, вы поймете, что она интересна именно тем, что показывает, как на протяжении шести веков боролись за то, чтобы сказать, что же такое ложе правосудия, за то, чтобы навязать его определение, сообразное интересам короля. Приведенное определение выгодно, скорее, королю, [хотя его дает] современный историк, сочувствующий королевской партии, пусть он и думает, что решает позитивистскую задачу. Парламентарий говорит: «Вовсе нет! Когда король приходит, это, напротив, момент, когда мы вместе с ним отправляем зако-

---

13. *Marion M. Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles*. Paris: Picard, 1972 [1923].

нодательную власть, мы делаем ремонстрации, мы выполняем нашу функцию контроля, которая вписана в делегирование». Продолжу, однако, читать Мариона: «Поскольку полномочия судебных собраний были делегированы сувереном, они прекращались, когда король приходил, чтобы самостоятельно исполнить свой королевский долг, вершить правосудие. Отсюда обыкновение королей посещать свой парламент, чтобы заставить своей властью зарегистрировать эдикты...» Когда говорят: «Вот король», это удивительно, поскольку в этом высказывании выражается точка зрения самого короля... Поскольку король понял, что делегирование, когда он приходит, прекращается, он приходил, чтобы совершить властный акт, то есть принудить парламент к подчинению. «Отсюда обыкновение королей посещать свой парламент, чтобы заставить своей властью зарегистрировать эдикты, декларации и т. д., которым парламент сопротивлялся, и это называлось ложами правосудия»<sup>14</sup>.

Книга Сары Хэнли выбирает направление, обратное по отношению к этому определению, впрочем небесполезному: она представляет собой историю всех конфликтов по поводу лож правосудия, которых с XVI века насчитывалось около пятидесяти. Первое состоялось при Франциске I в 1527 году, а после этого было проведено множество лож. Каждый раз вопрос заключался в том, кто из уполномоченных и делегированных играет. У каждого были свои интересы: задача парламентариев, к примеру, состояла в том, чтобы получить чрезвычайные символические прибыли, которые давало им посещение короля, тот факт, что они сидели рядом с ним в красных мантиях, и т. п., но при этом не понести чрезвычайных издержек, которые влекло насилие, вписанное в определение, которое я только что прочел, ведь король одной рукой забирал то, что давал другой. То есть всё дело в том, как получить выгоды от заседания вместе с королем, не утратив законодательную власть, подразумевавшуюся статусом парламента. Я, конечно, не буду пересказывать вам подробности

---

14. *Marion M. Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles*. Paris: Picard, 1972 [1923]. P. 336–337.



различных лож правосудия. Если вы откроете книгу, то найдете там разные случаи. Я, возможно, несколько огрубляю в силу собственного социологического уклона, но мне кажется, что, если у нас есть модель отношений между королем и парламентом, можно вывести едва ли не дедуктивным путем сменяющие друг друга формы, принимаемые разными ложами правосудия. В этих встречах короля и парламента разыгрывается определенная борьба между двумя властями внутри поля власти, которое постепенно оформляется, борьба, в которой силовые отношения варьируют в зависимости от разных переменных. Например, мы видим, что несколько лож правосудия состоялись, когда королю [Людовику XIV] было четыре года... И в этом случае чрезвычайно важно знать, кто приводит короля; ему что-то шепчут на ухо и толкуют то, что он говорит: в этом случае королевская власть особенно слаба, даже если есть регент...

Другой чрезвычайно интересный случай, ставший началом революционных процессов: в 1715 году король [Людовик XV] еще слишком молод, чтобы править, и герцог Орлеанский хочет получить признание в качестве законного регента. Поскольку сам он не обладает достаточной легитимностью, он идет на чрезмерные уступки парламенту: «Вы меня признаете...» — конечно, дело не решается в таких словах; и эта книга очень интересна описанием всех этих опосредующих актов, сделок и т. п.: всё решается до коллективного, публичного и ритуального представления. [Герцог Орлеанский] выходит из положения, заявляя: «[Вы меня признаете и] я вам дам право ремонстрации», которое, конечно, было отменено в абсолютистский период — при Людовике XIV больше не было ремонстрации, а ложе правосудия стало большой версальской церемонией, грандиозным зрелищем, основной фигурой которого был уже не главный канцлер, а распорядитель церемоний. Итак, парламент видит, что ему возвращают право ремонстрации в обмен на признание легитимности регента, но главное то, что, помимо этого права, ему дается другое право, для парламента наиболее важное, — иметь свое слово в номинации короля.

История становится достаточно монотонной, как только становится понятной ставка этой символической борьбы, то есть одна из проблем, встающих перед любыми властями. Макс Вебер, строивший общую теорию, показывает, к примеру, что харизматическая власть наиболее уязвима в период передачи власти: харизматический правитель может увековечить себя, лишь уничтожая себя в качестве харизматика, что Макс Вебер называет «рутинизацией харизмы»<sup>15</sup>. Харизматический правитель экстраординарен, его легитимность рождается в кризисе, и он сам является основанием собственной легитимности; то есть харизматический правитель — это тот, кто показал свою необычность в необычный период. Тогда как же превратить эту харизму, это необычное качество, в нечто обычное? Как, собственно, передать ее кому-то обычному? Это может быть сын, дофин и т. д. Макс Вебер создал теорию способов решения этой проблемы передачи власти — невозможно создать теорию политических режимов, не создав при этом проработанной теории способов гарантии режимом собственного сохранения. Даже традиционный режим, например, наследственная королевская власть, должен решать эту проблему. И в XVI веке в силу ряда кризисов — у Франциска I были проблемы с Империей [Священной Римской империей], он потерпел ряд военных поражений, а также пострадал от предательств, — парламент, уполномоченный королем контролировать публичное право, конституционное право, всё то, что касается государства, оказывается в сильном положении; он способен сказать: решает право, и передача [власти] гарантируется правом.

Вот ставка борьбы: коронация, к примеру, — это ратификация юридического акта, тогда как в периоды, когда король силен, а парламент ослаблен, династический принцип берет верх над юридическим, как его противоположность; король — это король, поскольку он сын короля, то есть он король не в силу *nomos*, как говорили греки, не «по закону», а по природе, он наследственный король. Сара Хэнли прекрасно показывает,

---

15. Вебер М. Типы господства // Личность. Культура. Общество. 2008. Т. 10. Вып. 1–6. Т. 11. Вып. 1–2.

как меняется словарь: это может быть небольшое, почти незаметное изменение в терминах, которое, однако, меняет всё, и, очевидно, в подобных случаях люди борются за слова, то есть, казалось бы, за пустяки, но на самом деле за то, чтобы поставить одно слово вместо другого. В XVI веке сказали бы так: «Королевство никогда не пустует», а в XVII веке говорят: «Король никогда не умирает». То есть происходит переход от королевства к королю, от публичной вещи к династической частной вещи. Параллельно вся лексика, в которой выражается передача власти, меняется, совершается переход от логики с юридическими коннотациями к естественным коннотациям, сопровождающимся соответствующей символикой, — отсюда метафора Феникса, возрождающегося из пепла, или же вечно сияющего солнца. «Король мертв, да здравствует король!»: такая символика является своего рода оркестровкой династического принципа, основанного на природе.

Я только что сформулировал вам принцип, теперь надо бы [развить его]: я не знаю, важно ли это, поскольку мне понадобилось бы на это много часов, но я попробую справиться побыстрее. Мы имеем дело с историей, с ее взлетами и падениями, с превратностями силовых отношений двух властей: одна — королевская власть, основанная на династическом принципе, как я вам его вначале описал, с его принципом рода, кровной наследственности, семьи, братьев короля и т. д.; вторая — юридический принцип, согласно которому все действия должны гарантироваться правом, в том числе и тот инаугурационный акт королевского правления, которым является коронация или номинация. И временной промежуток может быть ничтожным: например, когда в 1610 году умирает Генрих IV, партию короля очень попрекают тем, что она короновала его преемника [Людовика XIII], когда Генрих IV еще присутствовал в виде эффигии. Этот период междоцарствия опасен тем, что это разрыв, когда две власти особенно сильно сталкиваются друг с другом: обладатели права стремятся во что бы то ни стало показать себя в такие моменты, тогда как партия короля действует силой,

чтобы не допустить посягательства юридической компетенции на компетенцию династическую.

В период, который Сара Хэнли называет юридическим, развивается, судя по ее книге, процесс, который ведет от юридической королевской власти к авторитарной и династической. Мне кажется, что это небольшое заблуждение: как я уже показал, королевская власть с самого начала мыслилась в династической логике, и именно благодаря взаимодействию с юристами династический принцип был вынужден сделать определенные уступки юридическому принципу — особенно в XVI веке, когда происходит возврат к династическому принципу, который, однако, утверждается не как способ бытия, как у Капетингов, а как «идеология», поскольку этот династический принцип становится идеологией, оправдывающей королевскую власть. Очевидно, можно было бы [составить такую последовательность]: династический принцип 1, юридический принцип, династический принцип 2: и я согласен с тем, что в этот период название «абсолютизм» можно было бы зарезервировать исключительно для династического принципа 2, то есть для того момента, когда династической идеологией начинают пользоваться для оправдания особого способа передачи власти. Но, в конечном счете, это все маловажные различия, которые, однако, поставили меня в некоторое затруднение, поскольку мне было сложно их распутать.

### Методологическое отступление: кухня политических теорий

С моей точки зрения, очень важный вклад Сары Хэнли в том, что, не [довольствуясь] тем, что делали многие историки, например, так называемая Кембриджская школа, такие люди, как Скиннер<sup>16</sup>, которые много изучали политические теории, в частности XVI века, [...] она

---

16. Skinner Q. The Foundations of Modern Political Thought, 2 t. Cambridge: Cambridge University Press, 1978 (французский перевод опубликован после купца: *Idem*. Les Fondements de la pensée politique moderne / J. Grossman, J.-Y. Pouilloux (trad.). Paris: Albin Michel, 2001.

изучает еще и [большие] политические [ритуалы], в данном случае лежа [правосудия] или «королевские заседания», то есть заседания, когда король приходит в парламент, [показывая,] что у них две функции. Первая — в том, чтобы, как и на любых церемониях, показать социальную структуру, иерархию. (Когда я изучал предпринимателей, то описал пышные похороны члена семейства Вендель, о которых сообщалось в «Paris-Match»: мы видим, что похоронный кортеж является пространственной проекцией определенной социальной структуры<sup>17</sup>. В так называемых архаических обществах, например у кабилцев, свадебные процессии были демонстрациями символического капитала: на них приводили родственников, стреляли из ружей, демонстрировали свой символический капитал, чем занимаются и многие теоретики, ведь «демонстрационные теории» часто являются попросту поводом показать символический капитал...) Такие большие церемонии, например лежа правосудия, служили, следовательно, демонстрациями капитала и его дифференцированному распределению, то есть они были проекцией социального пространства — в форме протокола, людей в красном, людей в черном и т. д. Всё это определялось постоянной борьбой, речь шла о более высоком или более низком кресле, с подушками или без, справа или слева, то есть всё это прорабатывалось для систематического выражения социальной иерархии. Сара Хэнли показывает, что эти ритуалы были очень важны, что для присутствующих партий, то есть партий короля и парламента, они были поводом поспорить друг другом и одержать незначительную победу. В этих стычках оружием был дискурс, то есть они производили дискурс. Риторическими стратегиями, которые должны были оправдать протокольные, то есть символические выигрыши, стали стратегии изобретения конституционного права, конституционной теории, производства политических дискурсов.

Эта книга интересна тем, что она показывает, пусть автор и не делает этого специально, территорию, на ко-

---

17. Bourdieu P., de Saint Martin M. Le patronat. P. 28.

торой родились все эти трактаты по политике, которые теперь изучают в «Институте политических исследований» <Sciences-Po> или других заведениях. Боден и компания были вскормлены этими речами канцлера, да и сами, впрочем, часто выступали с ними; им, бывало, поручали прочитать вступительную речь на той или иной церемонии. Это очень важно, поскольку вы можете подумать, что я здесь сближаю вещи, между которыми нет ничего общего. Одна из заслуг книги Фрица К. Рингера, в которой рассказывается о немецких мандаринах<sup>18</sup>, близка к достоинствам книги Сары Хэнли: желая изучить идеологию немецких мандаринов в период 1890–1930 гг., он взял не только официальные тексты, например работы Хайдеггера и т. д., но и все тексты, которые для этих фигур можно считать тривиальными, то есть речи по случаю вручения наград, инаугурационные речи, выступления в академии и т. д., иными словами обычную идеологию этих людей. Он показывает, что проблемы, с которыми мы сроднились благодаря изучению философии («объяснять или понимать», «качество и количество» и т. д.), были темами банального академического дискурса, теми вещами, о которых спорят преподаватели и которые составляют часть учебных ритуалов. Конечно, существует своего рода «прославляющая» точка зрения: для философов Хайдеггер существует не в его ректорской речи. Но, к сожалению, он присутствует и в ней тоже, и мне кажется, что дело тут вовсе не в удовольствии, получаемом от принижения, от проникновения на чью-то кухню, хотя сам Хайдеггер любил цитировать отрывок из Гераклита, который однажды сидел у себя на кухне, к нему пришли гости и, смущенные, сказали ему: «Учитель, мы застали вас на кухне...», на что он ответил: «Нет, нет, здесь тоже есть боги»; Хайдеггер обожал этот анекдот, но на самом деле он не любил, когда к нему забирались на кухню, как и все философы. Я думаю, что вот такое у людей представление о социологии, которая принижает, [которая занимает] точку

---

18. Рингер Ф. Закат немецких мандаринов. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

зрения подозрения, все эти глупости, которые можно услышать о социологии.

Есть прекрасная книга, которая была опубликована четыре или пять лет назад по-французски, сборник текстов крупнейших немецких философов об университете<sup>19</sup>. И дело не в злобе, я думаю, что университетские преподаватели просто универсализируют свой взгляд на университет. Очень часто они говорят: «Дело плохо, варвары у ворот», но на самом деле это означает, что стало много студентов... То есть очень важно как раз соотнести официальные речи, то есть те, что в конечном счете признаются таковыми, речи, которые канонизированы в образовательном каноне, с комплексом производства [речей], хорошо понимая, что каждая речь обязана рядом своих качеств обстоятельствам, в которых она была произнесена, и нельзя относиться к речи по поводу награждения премией так же, как к какому-нибудь «Философскому трактату», о чем нам хорошо известно... Но то, что делает Сара Хэнли, чрезвычайно важно, ведь она показывает, что эти абстрактные речи Бодена о Республике и т. д. являются речами людей, которые участвуют в делах своего времени, которым было дело до Республики, у которых были интересы, но не в утилитаристском смысле, а, скорее, ставки...

### Юридическая борьба как символическая борьба за власть

Вернусь к своей теме. Во время этих встреч, ассамблей парламентарии, канцлер, хранитель печатей, первый председатель парламента — все эти люди спорили друг с другом, произнося длинные речи, которые, очевидно, имели функцию легитимации, работали в качестве непосредственной политической стратегии в поле власти и во вторичном юридическом поле королевской власти. Когда читаешь тексты такого рода, нельзя не заметить,

---

19. *Philosophies de l'Université. L'idéalisme allemand et la question de l'Université*, textes de Schelling, Fichte, Schleiermacher, Humboldt, Hegel présentés par Luc Ferry, Jean-Pierre Pesron et Alain Renaut. Paris: Payot, 1979.

разве что специально закрыть глаза на это, что [защита общественного порядка таким-то канцлером, читающим речь на латыни,] имеет отношение к тому, что [ее автор] поддерживает публичное, что это способ раскритиковать стремление короля ограничить компетенции парламента, способ оспорить его желание ограничить передачу постов, которой стали заниматься сами парламентарии. Иначе говоря, нельзя не увидеть, что это требование универсального имеет определенное отношение к частным интересам парламентариев, занимающих определенное положение в пространстве парламентариев. Вот главная заслуга книги Сары Хэнли.

Теперь я попытаюсь в нескольких словах пересказать вам основные линии истории лож правосудия, то есть силовых отношений двух властей, сталкивающихся друг с другом. [...]

Юристы будут сражаться друг с другом одним и те же оружием, отстаивая противоположные цели, например, они будут играть несколькими формулами, которые пришли либо из канонического права, либо из римского, либо из той смеси канонического права с римским, которая образовалась в период XII–XVI веков. В любой борьбе в архаическом обществе выигрывает тот, кому удастся обратить себе на пользу каноническую формулу. Собственно, логика символической борьбы заключается именно в том, чтобы сказать последнее слово, особенно о слове племени, то есть очень важном слове, которому все обязаны повиноваться. Есть прекрасные примеры в греческой мысли, примеры слов, которые проходят через всю историю мысли, с Гомера и до Аристотеля, слов, с которыми работали несколько поколений мыслителей, поскольку присвоить такое конститутивное для мысли слово — значит одержать победу. Подобная игра этих людей очень интересна, причем она приведет к уже упоминавшейся мной путанице: это совсем не очевидный переход, вроде перехода от алхимии к химии, поскольку всё дело тут в мельчайших изменениях, которые понятны только людям, которые внутри этого универсума, что, кстати говоря, является еще одним качеством людей. Внутри определенного поля люди убивают друг друга за вещи, которые непонятны людям, сидящим



за соседней дверью. Взять, к примеру, дворян шпаги, которые никуда не делись, хотя автор не называет их и возвращает их в повествование лишь в самом конце в качестве победителей, одержавших победу благодаря возврату к абсолютизму, — я думаю, что все эти споры на латыни не слишком их трогали, они не были [достаточно] образованы, чтобы знать, нужно ли говорить: «Король мертв, да здравствует король!»

То есть идет мелкая борьба на основе общего капитала, общей культуры. Я думаю, это правильное слово. Чтобы сражаться с кем-то, нужно иметь с ним что-то общее, и это еще одно свойство полей: чтобы сражаться, нужно иметь кое-что общее — латынь, признание ценности латыни, кучу вещей. Иными словами, чтобы в определенном поле шла борьба, необходимо, чтобы было согласие относительно участков разногласий, относительно легитимного и легитимно применяемого в этой борьбе оружия, а также относительно самих критериев победы, и в силу этого можно, судя по всему, говорить об определенной культуре. Но все эти инструменты, составляющие консенсус, обосновывают консенсус касательно разногласия. Бесконечно малые различия, проведенные за какое-то время, оказываются завоеваниями: [...] публичное станет продуктом этих незначительных семантических сдвигов, бесконечно малых изобретений, которые в определенном смысле могли быть незаметными даже для тех, кто их придумывал. Те, кто их изобретает, настолько увлечены символическими прибылями, которые им дает победа, что они даже не подозревают, что пилат сук, на котором сидят. Очень часто властвующие могут поспособствовать развалу оснований своего господства, поскольку, увлекшись, если можно так сказать, логикой игры, то есть логикой борьбы в поле, они могут забыть о том, что заходят чуть дальше нужного и что их речи может подхватить какой-нибудь простолюдин, который не из этого поля, у которого нет ни знатного, ни ученого капитала. Такое ослепление, иллюзия — то то, что я называю *illusio*<sup>20</sup>, это ослепление, свя-

---

20. См. в числе прочих работ: Бурдьё П. Практический смысл. С. 13.

занное с инвестированием в поле и являющееся одним из принципов объяснения упадка элит. Это еще одна большая историческая проблема, и вы знаете, что Парето, по-моему, — это единственный, кто ее открыто ставил: как получается, что прежняя «элита» приходит в упадок? Он говорил, что причина в деморализации [ее членов]<sup>21</sup>. Я же, напротив, думаю, что очень часто один из механизмов, в силу которого элиты совершают самоубийство, является подобным механизмом поля, и это может показаться невероятным, поскольку обычно [мыслят в категориях деморализации]. Из-за ожесточенности внутренней борьбы, как в троцкистских сектах, за деревьями не видно леса, и последнее различие с ближайшим врагом, то есть другом, заставляет забыть об этом элементарном логическом принципе. [Отошлю к] кабийской поговорке: «Мой брат—это мой враг, но враг моего брата—мой враг...»

Задержусь на этом еще ненадолго. Династический тезис подрывает юридическая критика, складывавшаяся на протяжении всего XVI века, то есть претензия юристов парламента быть наравне с королем, разделять с ним законодательную власть, а не только судебную. Абсолютная королевская власть заново утверждала тождество должности и ее обладателя, тогда как работа юристов состояла в том, чтобы выполнить это разведение, характерное, по Веберу, для современной бюрократии, в логике которой чиновник не совпадает со своей должностью, он независим от нее, а потому его можно заменить. Ослабление династического тезиса приводит уже в начале XVII века [к парадоксальному возрождению других принципов]. У нас есть канонический для XVI века принцип: *dignitas non moritur*\*.

---

21. Pareto V. Traité de sociologie générale // Oeuvres complètes. Vol. 12. Paris-Genève: Droz, 1968 [1916]. Эта же проблематика встречается и в других работах, особенно в «Социалистических системах» (*Idem*. Les Systèmes socialistes // Oeuvres complètes. Vol. 5. Paris-Genève: Droz, 1965 [1902]. См. также сборник текстов: *Idem*. The Rise and Fall of Elites. An Application of Theoretical Sociology. New Brunswick: Transaction Publishers, 1991.

\* По поводу этой формулы см.: Канторович Э. Два тела короля. С. 503 и далее. — *Примеч. пер.*

*Dignitas*: пост не умирает; король умирает, но не *dignitas*. Сказать «*dignitas non moritur*» — значит сказать, что есть король и даже два тела короля, отсюда эта знаменитая теория: есть король как чин, который вечен, и есть биологический король, смертный. Это различие будет стерто возвращением к династическому принципу, работающему в качестве идеологии, и должность опять будет смешана с ее обладателем: «Королевство никогда не пустует», «Королевская власть никогда не умирает». В XVI веке формулировки становятся такими: «Король никогда не умирает» или же «Мертвый хватает живого», это формула юристов. И в то же время монархический порядок легитимируется юридическим порядком: представление о парламенте как относительно независимой инстанции, способной пользоваться властью, делегированной ей королем, для контроля короля и даже для воспрепятствования ему во имя общественного порядка, в некоем смысле трансцендентного по отношению королю, порядка, хранителями которого выступают парламентарии, это представление исчезает, тогда как юристы оказываются низведены до инстанции легитимации и освящения королевской власти.

### Три противоречия юристов

Однако, и я остановлюсь на этом, — но я хотел все же дойти до этого, чтобы мое изложение имело связный вид, — юристы находятся в очень неприятном положении, они существуют в своего рода постоянном *double bind*, двойном ограничении, которое связано со многими вещами. Во-первых, будучи юристами, они, очевидно и по определению, за право и против природы. По меньшей мере, они за право как инструмент легитимации того, что есть. Самое малое, что может сделать юрист, — это сказать: «Это так, но еще лучше, если я скажу, что так должно быть». Это минимум, который может сделать юрист, в противном случае он упраздняет себя в качестве юриста; если именно шпага говорит, что хорошо, а что плохо, для юриста это конец. Следовательно, юрист как юрист выступает за удвоение того, что есть, высказыванием долженствования, на которое

у него имеется монополия: это минимальная функция легитимации. Он не может просто и без оговорок согласиться с династической формулой естественной передачи от отца к сыну. Но, как обладатель привилегий, как обладатель своего поста, он постоянно работает над приобретением права наследственной передачи своих постов. Как владельцы культурного капитала, противопоставляющего их знати, юристы оказываются на стороне заслуги, достигнутого, а не врожденного, дара и т. д.; тем не менее они начинают мыслить свои достижения как нечто врожденное, что должно быть передано, а потому впадают в противоречие: они не могут оправдать королевскую власть, фактически не ограничивая ее, поскольку ограничение подразумевается уже тем, что она нуждается в оправдании. Но еще вернее можно сказать, что с того момента, как они начинают аргументировать, предлагать основания для повиновения королю, они связывают короля этими основаниями, объясняющими, почему ему нужно повиноваться. Это первый пункт.

Второй пункт в том, что они на стороне короля, но они также причащаются знати в силу наследственной передачи должностей. Третий пункт — это противоречие юристов, о котором я только что упомянул: они обладатели технической компетенции, а компетенция предполагает «зону ответственности», то есть некоторые границы и конфликт по поводу этих границ; все крупные сражения внутри поля власти представляют собой различные виды борьбы, ведущейся вокруг компетенции. Слово «компетенция» очень важно, это юридическое и одновременно техническое понятие: компетенция — это право осуществлять определенную техническую компетенцию в некоторой области. Те виды борьбы за компетенцию, в которых юристы сталкиваются с королем, — это, конечно, технические стычки, однако у них есть и символическое измерение, поскольку невозможно легитимировать короля или ограничить его компетенцию, не утвердив своего отличия от него, отличия, которое должно быть признано королем. Это начинается в Средневековье: есть работы о юристах Болоньи, [в которых показано], что эти юристы всегда

находятся в этом крайне парадоксальном положении: они вынуждены вырывать у короля власть, которую они просят короля признать, то есть они вырывают у власти власть контроля, и эта власть становится легитимной лишь в том случае, если она признана. То есть они находятся в положении *double bind*, которое заметно в их отношении к символическим наградам, получаемым от короля. В действительности, таким же кричащим противоречием является для них и ложе правосудия. Например, нужно определиться, что именно происходит: король приходит в ним или же они идут к королю? Король приходит в парламент или же они отправляются во Дворец? Посетить Дворец — это большая честь, поскольку в этом случае они должны вести переговоры, легитимировать, оправдывать; и все эти противоречия, в которые они попались, порождают определенные теории, я думаю, что противоречия лежат в основе самых удивительных юридических изобретений.

Последний пункт: у них всегда есть искушение в какой-то мере отказаться от компетенции в плане контроля в обмен на символическое признание. И мне кажется, что нужно помнить о трех этих противоречиях, чтобы понять превратности истории парламентариев. Короли могут играть на этих противоречиях, которые более или менее сильны в зависимости от силы короля, и здесь я сошлюсь на то, что недавно говорил о проблемах передачи власти в детском возрасте и о регентстве. Короли могут играть на этих противоречиях, чтобы сократить власть парламента, то есть это крайне сложная игра. Я вернусь к ней в следующий раз, когда перейду ко второй книге, в которой [разбираются] предпосылки Французской революции, наметившиеся в период серьезного кризиса Мопу, о котором часто рассказывают и который был связан с передачей должностей, то есть с династической проблемой юристов<sup>22</sup>. Проблема

---

22. Вследствие многочисленных конфликтов, в которых парижский парламент выступал против верховных судов, Людовик XVI и Рене Николя де Мопу, его канцлер и хранитель печати, реформировали в 1771 году судебную систему, и в частности

передачи должностей состоит в следующем: должен ли династический принцип применяться еще и к должностям? Мопу стал пугалом, поскольку хотел ввести не-династический принцип для юристов, которые были критиками династического принципа, что стало толчком для восстания дворянства мантии, — а также для целого ряда работ, которые очень близки к тому, что привело к Французской революции...

---

принцип продаваемости должностей, являвшийся условием относительной независимости парламентариев от королевской власти.



## Лекция 28 ноября 1991 года

*История как ставка борьбы. — Юридическое поле: исторический подход. — Должности и чиновники. — Государство как *fictio juris*. — Юридический капитал как языковой капитал и как практическое мастерство. — Юристы в отношении к Церкви: автономизация корпорации. — Реформация, янсенизм и юридизм. — Публичное: беспрецедентная реалья, которая никак не возникнет.*

### История как ставка борьбы

[Н А последней лекции я проанализировал] эту странную историю отношений между королем и парламентом на примере института под названием королевское ложе [правосудия]. Я попытался показать, что этот институт был ставкой постоянной борьбы двух фигур, противостоящих друг другу, и что это противостояние распространялось и на сам смысл этого института. Я думаю, что это очень общий принцип социальных реалий: социальные сущности, институты постоянно оказываются ставками борьбы тех самых агентов, которые участвуют в этих институтах, борьбы за смысл, применение и т. д. В частном случае королевского ложа [правосудия] этот институт был ставкой властной борьбы, развернувшейся вокруг практических деталей, подробностей протокола и церемониала, но в то же время и вокруг самой истории института. Это обращение к истории интересно тем, что заставляет историка заметить тот факт, что предмет истории выступает ставкой исторической борьбы, о чем не все историки в полной мере догадываются. Часто они думают, что рассказывать историю — значит рассказывать то, что было в исторической реальности, тогда как на самом деле исторические реалии, как и любые социальные реалии, — это те, в которых под вопросом реальность того, что изучает ученый. Это сущности, которые сами для себя являются предметами конструирования, в любом случае конфликтного. Два историка [на которых я опираюсь], Сара Хэнли, о которой я вам говорил, и Кит Бейкер, о котором буду говорить сегодня, неоднократно подчеркивают, — поскольку не



могут не видеть этого, — тот факт, что люди, вступившие в эту борьбу вокруг институтов, постоянно пользуются историей как оружием, позволяющим мыслить институт, а также навязать свою конструкцию института, а благодаря последней и свою власть над ним.

Например, Луи Адриен Ле Пэж, о котором я буду сегодня говорить, был своего рода судебным секретарем, занятия которого были связаны с историей, и он ввел в оборот наполовину реальную, наполовину мифическую историю парламента как собственно института. То есть история внутри самой истории является инструментом и ставкой борьбы, и это, я думаю, важный урок, о котором нужно помнить, когда работаешь с историческим материалом. В этой борьбе две партии — королевская и партия парламента — пользуются историей и особенно историей права, историей юридических прецедентов, чтобы навязать свое собственное представление об институте: королевская партия видит в парламенте исключительно судебный институт, ограниченный функциями регистрации решений короля, тогда как парламентская партия видит в королевском ложе [правосудия] институт, который дает парламентариям возможность осуществлять свое право регистрации и утверждать, таким образом, свой статус равных с королем законодателей, то есть свою законодательную, а не только судебную власть. Юристы разделены внутри себя — я это указывал в прошлый раз, но подчеркну еще и сегодня: с XVI века они начинают образовывать поле, то есть пространство, внутри которого люди борются именно за коллективную монополию тех людей, которые в этом пространстве. Иначе говоря, юридическое пространство — это место, где всегда стоит вопрос о том, кто является легитимной частью этого пространства и чем нужно быть, чтобы быть ему причастным, и т. д. С XVI века заметна эта дисперсия, и одна из претензий, которую я предъявляю этим работам, — которые в остальных отношениях считаю выдающимися, иначе бы я не говорил о них, — состоит в том, что в них это пространство обычно забывается или же описывается слишком просто и слишком неполно. Юристы, которые вели эту борьбу, оказались в сложном

положении, — и это, я считаю, важно, хотя это и очень общий социальный феномен, — они оказались разделены не только между собой, но и внутри каждого из них, то есть каждый оказался разделен внутри самого себя именно потому, что их положение является структурно двусмысленным.

Чтобы понять это разделение в себе и между собой, я мог бы взять пример преподавателей. Несколько лет назад я провел опрос по изменениям в университете, произошедшим в связи с движением мая 1968 года<sup>1</sup>, и меня поразило, в частности, то, что преподаватели на разные вопросы отвечали в соответствии с разными принципами — об этом все знают, но нужно ясно рассмотреть этот факт, чтобы понять его значение. В некоторых случаях они отвечали как родители учеников и в таком случае были очень суровы к образованию; в других они могли отвечать как преподаватели, и тогда были, наоборот, весьма снисходительны; наконец, они могли отвечать также как граждане, то есть могли занять и третью позицию. Иными словами, такого рода часто выявляемое разделение «Я», влекущее противоречие в занимаемых позициях, особенно по политическим вопросам, соответствует тому, что нередко заинтересованные агенты занимают противоречивые позиции в поле или же относятся к тому полю, которое само раздирается противоречием. [В данном случае] преподаватель, поскольку он родитель ученика, является клиентом системы образования и в то же время агентом системы образования, ведь он еще и преподаватель. Юристы находятся в таком же положении, что я и показал в прошлый раз. Одно из противоречий юристов обусловлено тем, что, будучи обладателями постов, которые они хотели бы передать своим наследникам, они склоняются к династическому принципу; но как юристы и обладатели культурной власти, основанной на институте и свободном решении, они на стороне права, то есть они могут быть разделены внутри самих себя и настроены против себя. Эти разделения,

---

1. См. разработку этого вопроса в: *Bourdieu P. Homo academicus.* P. 209–250.

противопоставляющие всех каждому, дублируются разделениями, связанными с различными позициями внутри юридического пространства, которое само разделено. Вот так.

Я не пересказал вам концовку заключения Сары Хэнли. Она подчеркивает то, что в конце XVIII века реформа Мопу, о которой я говорил, что она ударила по чувствительному месту, — это государственная реформа, которая касалась юристов именно в том месте, которое у них болело, в вопросе их собственного воспроизводства, — стала весьма неловкой реформой: если из юристов хотели сделать врагов, тогда ее нужно было проводить... (Эквивалент можно найти и в случае преподавателей: очень просто настроить преподавателей против себя, и именно по этой причине некоторые реформы системы образования никогда не проводятся...) То есть реформа Мопу ударила по больному месту юристов, вытолкнув их из их двусмысленного положения в сторону юридического полюса, противоположного династическому. Следовательно, их традиционная оппозиционность королю была подкреплена и удвоена.

### Юридическое поле: исторический подход

Я забыл вам сказать, что на абсолютистской стадии, при Людовике XIII и Людовике XIV, партия короля пополнилась в какой-то мере партией писателей. И это очень важно для понимания истории литературного поля. Вы, конечно, знаете книгу Алена Виала «Рождение писателя»: он показывает, как в XVII веке появляется писатель как признанная профессия<sup>2</sup>. Но, вопреки тому, на что порой указывает Виала, литературное поле не образовалось в XVII веке, поскольку деятели искусств платят за их признание в качестве профессии, в качестве писателей отказом от автономии, являющейся условием функционирования в качестве поля. Иными словами, писатели, чтобы быть действи-

---

2. *Viala A. Naissance de l'écrivain. Sociologie de la littérature à l'Âge classique. Paris: Minuit, 1985.*

тельно признанными в качестве таковых и получить причитающиеся выгоды, то есть пенсии, заказы, почести, должны были пойти на достаточно важные уступки в плане автономии. Писатели — и в их числе Расин, о чем часто забывает история литературы, — были за партию короля: свой вклад в королевскую агиографию они часто вносили в роли историографов, то есть история опять же выступала инструментом борьбы двух разных партий.

Перейду теперь к книге Бейкера, которую я вам цитировал в прошлый раз, «Изобретению Французской революции». Бейкер приводит интересные сведения, дополняющие предшествующую книгу; например, он приписывает значительную роль человеку по имени Луи Адриен Ле Пэж, который упоминался и в книге Хэнли, которая пишет, что [она] отправлялась от необходимости поставить под вопрос мифологию, получившую развитие в начале XVIII века, в частности в работах Ле Пэжа, мифологию, утверждающую, что королевское ложе — это древний институт, восходящий к Средневековью. Эта мифология стала своего рода профессиональной идеологией парламентариев, которые, дабы обосновать свой авторитет, придумывали себе древнюю генеалогию и говорили, что они всегда существовали в качестве законодательного корпуса, независимого от короля, — то есть парламент видел в себе синтез Генеральных штатов и парламента. Эта мифология Ле Пэжа, которую книга Хэнли стремится поставить под вопрос, сложилась накануне Французской революции; а в книге Бейкера описывается политическая культура, которая изобретается в период 1750–1780 гг. при участии ряда основных агентов, среди которых и Ле Пэж, глашатай или идеолог парламента. По моему мнению, заслуга книги Бейкера в том, что в ней дается набросок анализа юридического пространства как поля, то есть, говоря о юридической культуре в целом, он выделяет [несколько категорий юристов] — немного произвольно и, по-моему, слишком поверхностно. Это, скорее, классификация: он читал разных авторов в «Национальной библиотеке», и их нужно было как-то упорядочить; он разбил их на три категории, что все

же лучше, чем сваливать их в одну кучу. Он пытается показать, что различные идеологи, пытающиеся создать конституционную философию, все эти философы, историки или юристы, распределяются по трем основным позициям, соответствующим трем позициям в пространстве поля власти. Таким образом, он различает три типа дискурса (на страницах 25–27 его книги).

Главная идея его книги в следующем: в этот предреволюционный период (1750–1760 гг.) происходит разведение атрибутов монархической власти, традиционно считавшихся неделимыми. Монархическая власть покоилась на трех принципах: разуме, справедливости и воле, и три этих принципа начинают расходиться в связи с появлением трех групп интересов. С одной стороны, это парламент, который владеет юридическим дискурсом, ставящим акцент на справедливости; с другой стороны, то, что можно было бы [назвать] «народом», хотя на самом деле речь идет о юридических служащих низкого уровня, которые владеют политическим дискурсом с акцентом на общей воле (это руссоисты); наконец, административный дискурс, который ставит акцент на разуме. [Бейкер] иллюстрирует три этих дискурса анализом работ, представляющихся ему наиболее репрезентативными для каждой из этих форм дискурса. Как и [автор] предшествующей книги, он обнаруживает борьбу за прошлое. И он показывает это, в частности, на примере Луи Адриена Ле Пэжа, янсениста, который первым попытался реконструировать полную историю парламента — он хранитель архивов, он пользуется своим положением, чтобы вывести на политический уровень воображаемую историю парламента и состряпать своего рода идеальное представление о функции парламента, обосновывая ее историей. Я попытаюсь вкратце пересказать вам основные моменты его захода. Ле Пэж описывается Бейкером как теоретик, представляющий требования парламентариев, он становится их идеологом<sup>3</sup>. С точки зрения Бейкера, он

---

3. *Le Paige L. A. Lettres historiques sur les fonctions essentielles du Parlement, sur le droit des pairs et sur les lois fondamentales du*

в это время намного важнее Монтескье, хотя последний предложил известную идеологию, хорошо знакомую парламентариям, например д'Агессо, которого я уже упоминал и который постоянно ссылался на Монтескье. Ле Пэж настаивает на тождестве тогдашнего Парижского парламента и ассамблеи франков, занимавшихся обсуждением и судопроизводством: то есть он возводит парламент к началам монархии, подчеркивая двойную функцию королевского двора, парламента. Парламент, с его точки зрения, — это одновременно королевский двор с ложем правосудия и национальная ассамблея вроде Генеральных штатов; таким образом, эта ассамблея нужна для того, чтобы ограничивать королевскую власть, то есть не просто регистрировать, но делать ремонстрации, критиковать. В этом контексте ссылка на английский парламент, представляющийся образцом ремонстрации, очень важна, и мы понимаем, почему в XVIII веке на него в этих средах так часто ссылаются. То есть Ле Пэж представляет парламентскую позицию. Затем, всё в том же произведении, Бейкер довольно быстро разбирает трех других авторов — их там много, но я выделил этих трех, поскольку они в наибольшей степени представляют позиции, охарактеризованные автором. Первый — это Малерб, второй — Тюрго, третий — это Гийом-Жозеф Сэж. Я вкратце перескажу вам, что он о них говорит (это не освобождает вас от чтения книги, но я позволю вам пока без нее обойтись).

Малерб написал книгу «Ремонстрации высшего податного суда», в котором он был первым председателем<sup>4</sup>. Его судебный дискурс того же типа, что и у Ле Пэжа, однако у него используется синхроническая логика: если Ле Пэж пытался обосновать специфику парламента историей, Малерб упирает на актуальное состояние и долго разбирает полномочия

---

royaume, 2 vol. Amsterdam (?), 1753–1754. См.: *Hanley S. Le Lit de justice des rois de France*. P. 11–23.

4. *Malesherbes*. Très humbles et très respectueuses remontrances, que présentent au roi, notre très honoré souverain et seigneur, les gens tenants sa Cour des Aides à Paris. Paris, 1778. При Старом порядке в высших податных судах разбирались налоговые дела.

и задачи по контролю и ограничению, которые возлагаются на парламент. С точки зрения Бейкера, Малерб — представитель судебного полюса в этом трехчастном разделении, описанном им вначале, тогда как представитель бюрократического полюса — это Тюрго; последний в своих «Мемуарах муниципалитетов»<sup>5</sup> развивает дискурс, оправдывающий бюрократический абсолютизм. Бейкер в какой-то мере становится жертвой своей таксономии, что он и сам признает, поскольку дискурс Тюрго сложнее, чем можно было бы подумать по той узкой категории, к которой отнесен: он составляет сложные речи, с административной доминантой, но в то же время с акцентами, которые можно найти и у парламентариев. Но в конечном счете Бейкер видит в Тюрго представителя административного дискурса.

Третья категория: дискурс, который на стороне воли. Бейкер обнаруживает его у Гийома-Жозефа Сэжа, который написал книгу под названием «Катехизис гражданина»<sup>6</sup>, представляющую то, что Бейкер называет политическим дискурсом, акцентирующим волю — волю гражданина, народную волю, общую волю, говоря языком Руссо. Сэж — единственный, кто получает в этой работе социологическую характеристику: он родился в большей парламентской семье Бордо, но он относится к пришедшей в упадок ветви семейства — вот почему я недавно говорил о юридическом люмпен-пролетариате, юристах низшего уровня. Его кузен и соперник — мэр Бордо, у него очень важные позиции, он собственник стекольной мануфактуры и т. д., тогда как Сэж — наследник зачахшей ветви семьи, и ему хочется сделать себя глашатаем коллективной воли, народной воли и т. д., что соответствует трансгисторическому союзу между «пролетарской интеллигенцией», как ее называет Макс Вебер, и народными классами. Итак, [Сэж] развивает критику бюрократии и даже парламентаризма, критику, которая получит очень сильное развитие

5. *Turgot*. Des administrations provinciales: mémoire présenté au Roi. 1788.

6. *Saïge G.-J.* Catéchisme du citoyen, ou Éléments du droit public français, par demandes & réponses, s. l. 1788 [1775?].

в памфлетной литературе, распространившейся после реформы Мопу. [Бейкер] собирает большую коллекцию критических высказываний о бюрократии, в частности из Мерсье<sup>7</sup>, о специфическом бюрократическом деспотизме. Ценой определенного анахронизма Бейкер вычитывает в этих памфлетах Макса Вебера, но я думаю, что по самим этим цитатам, которые он приводит, видно, что эта критика бюрократии не имеет ничего общего с тем ее анализом, который предлагает Вебер. В пересказе книги я закончу на этом, хотя она интересна тем, что углубляется в анализ мира носителей мантии как отдельного поля, то есть особого пространства.

Мы находим это и в книге Дональда Р. Келли под названием «Начало идеологии»<sup>8</sup>, в которой описывается достаточно интересная история юридической профессии со Средних веков и до XVI века, [а также] даются определенные составляющие для анализа юридического мира в категориях поля—он даже предоставляет принцип кодирования, и легко понять, как следовало бы кодировать юристов, чтобы сделать точный статистический анализ. Этот автор основное внимание уделяет определенной фракции юристов, в которых видит оплот абсолютизма, партии короля, то есть он понимает вклад юристов в построение авторитарного государства, действительно реальный, но это относится лишь к одной из фракций юридического поля.

Дав вам эти ссылки и сказав, что у большинства авторов есть общая черта, поскольку они видят юридический мир в качестве целого, отдельного корпуса со своей границей, я бы хотел подчеркнуть, что с XVI века юридический корпус становится полем: юридический мир является полем, способным производить эффекты корпуса,—это различие я долго развивал в одном из курсов прошлых лет<sup>9</sup>. [...] Невозможно понять политические эффекты,

---

7. *Mercier L.-S. Tableau de Paris*, Amsterdam, 12 vol. 1783 [1781?]-1788. В этом знаменитом свидетельстве о нравах той эпохи одной из мишеней Мерсье становится «автомат» или «служащий-писец».

8. *Kelley D. R. The Beginning of Ideology. Consciousness and Society in the French Reformation*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

9. См.: *Bourdieu P. Effet de champ et effet de corps // Actes de la recherche en sciences sociales*. 1985. No. 59. P. 73; а также: *Бурдьё П. Власть*



произведенные в истории юристами, если не видеть того, что все они тесно связаны с тем фактом, что юристы очень рано начали работать в качестве поля. В частности, невозможно понять историю Французской революции или Реформации, не соотнеся ее с юристами. Теперь я дам вам еще одну ссылку: Уильям Фарр Черч «Конституционная мысль во Франции шестнадцатого века»<sup>10</sup>, это книга по истории конституционных идей, в которой приводится немало сведений о юридическом поле в том виде, в каком оно функционирует с XVI века. В этой книге Черч анализирует идеи ряда авторов: Клода де Сейселя, Шарля Дюмолена, Жана Бодена, Ги Кокийя — который очень интересен, поскольку это провинциал, тулузец, придерживавшийся протестных позиций, — Гийома Бюде и некоторых других. Он приводит сведения не только по содержанию их мыслей, как это обычно делается в истории идей, но также по социальным позициям этих авторов, как в социальном пространстве — по их происхождению и т. д., — так и в юридическом; например, он реконструирует иерархию университетов, где преподавалось право. То есть позиции, занятые по конституционной проблеме, можно привязать к позициям в юридическом пространстве и в социальном пространстве, и можно увидеть, что есть прозрачная связь между позициями, занимаемыми в этом ограниченном юридическом пространстве или же в социальном пространстве, и позициями как мнениями по конституционным проблемам. Например, он подчеркивает, что юристы, придерживающиеся абсолютистского дискурса, почти всегда связаны с королевской, то есть центральной, властью, — это довольно очевидно, но все же об этом надо сказать, ведь есть очевидности, которые, стоит их только открыто высказать, полностью меняют способ мышления о предмете мысли. И если Келли, которого я только что упоминал, говорил, что юристы являются абсолю-

---

права. Основы социологии юридического поля // Социальное пространство: поля и практики. СПб., 2005.

10. *Church W. F. Constitutional Thought in Sixteenth-Century France. A Study in the Evolution of Ideas.* Cambridge: Harvard University Press, 1941.

тистами, Черч показывает, что есть определенная склонность [принимать абсолютистские тезисы].

В целом же можно было бы построить шкалу и создать индекс близости к королевской власти, который соответствовал бы индексу близости к абсолютистским тезисам. Конечно, это небольшое упрощение, ведь социальные пространства никогда не бывают одномерными, но, наверное, это было бы первым измерением, первым фактором объяснения, а затем можно было бы найти и вторичные факторы, также заслуживающие изучения. Например, [Черч] указывает на то, что абсолютистский дискурс, который разделяли люди, близкие к центральной власти, всегда стремится провести четкое различие между королем и подданными, управляющими и управляемыми, а также отменить всякую ссылку на промежуточные власти, соответствующие конституционалистской логике, такие как Генеральные штаты, парламенты и т. д. Члены парламента сами находятся в двойственном положении, поскольку парламент — это частное поле внутри поля, и среди парламентариев, в зависимости от занимаемой ими позиции в парламенте, есть люди, которые склоняются больше в сторону короля или же больше [к другим властям]. В общем, я не знаю, представляете ли вы себе эти пространства и включенные в них частные пространства, но нужно мыслить их в многомерном пространстве<sup>11</sup>: одни вещи сдвигаются по отношению к другим, и люди занимают определенные позиции по отношению к этим подвижным предметам, так что их мнения касательно предмета, который движется там, где они находятся, и по поводу других вещей, которые движутся вокруг них, зависит от позиции, занимаемой ими в каждом из пространств. (Здесь, чтобы вы сразу поняли, о чем речь, мне было бы достаточно провести сравнение с университетским полем.) Вот что касается первого пункта из того, что я хотел рассказать вам сегодня.

---

11. О многомерности социального пространства см. главу 2 работы: Bourdieu P. *La Distinction*, особенно p. 128–144.

## Должности и чиновники

В этом длинном переходе, описанном мной, от абсолютизма к определенной [форме] юридизма, различные агенты оказываются в двусмысленном положении, не в ладах с самими собой. Я хотел бы процитировать вам здесь текст, который я уже упоминал на прошлой неделе, но у меня не было его под рукой, поскольку я его не нашел. Это прекрасный текст Дени Рише, крупного историка периода, который я сейчас изучаю, и я отошлю вас к его книге «Современная Франция. Дух институтов». Это совершенно фундаментальный текст, который следовал бы читать сегодня, когда так много и так бестолково говорят о Французской революции и ее корнях. [Рише] подчеркивает то, что в процессе автономизации бюрократического пространства агенты все время связаны своими отношениями; существует особый вид привязывания человека к должности... Я скажу об этом вкратце. Макс Вебер настаивает на том, что бюрократическая логика в идеале и в пределе, то есть, как говорится, в «идеальном типе», устанавливается тогда, когда чиновник полностью отделен от своей должности, когда он ничего не добавляет к ней и ничего у нее не заимствует: например, он не заимствует харизму должности, не пользуется престижем, с ней связанным, чтобы произвести личный эффект — это своего рода чистое состояние, предельное. В период, изучаемый мной, — я отмечал это тысячу раз, проводя сравнение с Кассирером, — мы видим своего рода вязкое состояние, в котором агенты как раз смешаны с должностью: они инвестированы в нее, и она инвестирует их.

Прочитаю отрывок из книги Дени Рише: «То, что мы называем “государственной должностью”, было настолько слито с лицом, ее занимающим, что просто невозможно описать историю такого-то совета или поста, не описав историю индивидов, которые в нем председательствовали или его занимали». Именно личность могла придать посту, который прежде был вторичным, исключительное значение или же, наоборот, отодвинуть на второй план должность, считавшу-

юся ранее основной благодаря тому, кто ее раньше занимал. Человек создавал должность в той мере, которая сегодня просто немыслима»<sup>12</sup>. Также у него есть статья в одном малоизвестном журнале, где он анализирует династию крупных государственных чинов, которые, окружив себя значительной клиентелой, действовали в качестве собственников своих должностей<sup>13</sup>. Это очень важно для понимания одной вещи, которую я хотел бы теперь прояснить, а именно специфической логики функционирования этой государственной знати, которая в те времена формировалась и которая существует и сегодня. Я уделяю такое большое время этой идее перехода только потому, что переход этот не закончился, мы все еще в переходном процессе, который я попытался описать и в конце которого мы должны были бы получить этого чистого чиновника, полностью отделенного от своей должности и не извлекающего из нее никакой личной выгоды.

### Государство как *fictio juris*

Теперь я перехожу к тому главному, что хотел сказать сегодня, то есть к общему описанию вклада этого странного корпуса, называемого дворянством мантии, в генезис современного государства. Таким образом, я подытожу все, что уже успел сделать: я излагаю некую длительную, состоящую из больших этапов историю возвышения корпуса профессиональных служащих <clercs>, корпуса носителей мантии, то есть возвышения культурного капитала, противопоставленного знатному капиталу как частной форме капитала символического. По сути, главный независимый от королевской власти корпус, помимо деловой буржуазии, которая только-только зарождается и которая, в общем-то,

---

12. *Richet D.* La France moderne. L'esprit des institutions. Paris: Flammarion, 1973. P. 79–80.

13. *Richet D.* Élite et noblesse: la fonction des grands serviteurs de l'État (fin XVIe-début XVIIe siècle) // *Acta Poloniae Historica*. 1977. Vol. 36. P. 47–63.

и сама часто связана с мантией, единственная власть или, если можно так сказать, относительно сложившаяся контрвласть связана с носителями мантии. Описать возвышение носителей мантии — значит описать постепенное формирование новой власти и нового основания власти — власти, основанной на праве, образовании, заслуге, компетенции и способной противостоять властям, основанным на рождении, природе и т. п. Я буду идти большими шагами, хотя следовало бы вернуться к XII веку и еще более ранним этапам, я напомним вам о всех тех вещах, которые рассказывал в прошлые годы.

Историки Средних веков показывают, что профессиональные служащие с самого начала были в определенной мере инструментами рационализации власти: именно они вводят строгие правила, письмо, регистр, регистрацию — все эти операции, отождествляемые с бюрократией, а бюрократия представляет собой бюро, письмо, счета, записи. С XII века служащие получают монополию на определенную категорию ресурсов, оказавшихся чрезвычайно эффективными во внутренней борьбе только-только зарождающегося поля власти, а именно монополию на право. Здесь нужно вкратце проанализировать право с точки зрения этой внутренней борьбы в поле власти, этой конкуренции за осуществление господства: право очень сильно, поскольку оно дает своего рода запас техник мысли и техник действия. Обладатели юридического капитала являются обладателями социального ресурса, образованного, по существу, словами или понятиями, — но слова и понятия являются инструментами конструирования реальности, и в частности реальности социальной. Например, — это хорошо показал Канторович — юристы, в частности канонисты, заимствуют из канонического права, религиозного или римского права, такое понятие, как *corporatio*. От понятия *corporatio* происходит наше понятие «корпуса», как и вся теория социального корпуса, отношений между социальным корпусом и его представителем, теория, характерная именно для Нового времени; я думаю, что один из наиболее сильных дискурсов

принадлежит канонистам. Я ранее уже анализировал роль сиглы, *sigillum authenticum*. Когда читаешь таких историков, как Канторович, непонятно, как их читать — как историков старых институтов или же как мыслителей, социологов или специалистов по социальным наукам, которые сами предлагают инструменты, позволяющие мыслить современный социальный мир. Канонисты — это изобретатели, а юристы — это обладатели капитала слов и понятий: очень часто, когда речь об изобретении социального, найти слово — значит уже сделать дело<sup>14</sup>.

Подытожить общую линию того, что я собираюсь вам сегодня рассказать, можно так: государство — это *fictio juris*. Это верно, но это фикция юристов, и слово *fictio* надо понимать в сильном смысле, от *ingere* [«конструировать», «фабриковать»]: это фабрикация, конструкция, концепция, изобретение. То есть я хочу сегодня описать необычайный вклад, коллективно сделанный юристами в создание государства, особенно благодаря этому ресурсу, состоящему из капитала слов. К социальному миру применима та знаменитая теория языка, которую называют гипотезой Сепира — Уорфа (в англосаксонских странах) или Гумбольдта — Кассирера<sup>15</sup> (в Германии): слова не просто описывают действительность, но и конструируют ее. Эта гипотеза, весьма спорная, если отнести ее к [физическому] миру, абсолютно верна в случае мира социального. Вот почему борьба за слова, борьба вокруг слов так важна: сказать последнее слово — значит иметь власть над легитимным представлением реальности; в определенных случаях навязать представление — значит навязать реальность,

14. Канторович Э. Два тела короля. С. 163–188.

15. «Гипотеза Сепира-Уорфа», согласно которой ментальные представления проистекают из языковых категорий, а потому определяются культурами, получила название от имен Эдварда Сепира и Бенджамина Ли Уорфа. Лингвисту Вильгельму фон Гумбольдту, а потом и философу Эрнсту Кассиреру приписывают сходную идею, согласно которой каждый язык содержит в себе мировоззрение. О применении этих гипотез П. Бурдьё см.: Бурдьё П. О символической власти // Социология социального пространства. СПб., 2007.

когда вопрос в том, что ее еще надо создать. Если вы назовете то, что доселе было неназываемым, вы сделаете такую вещь публичной, публикуемой; возможность сказать «гомосексуалисты», а не «педики» — это уже возможность о них говорить — и в области сексуальности это очевидно. Факт именования неименованного, означает то, что мы даем себе возможность его произвести, дать его узнать и признать, легитимировать. Во многих случаях власть слов и власть над словами — это политические власти; в пределе политическая власть в значительной части является властью над словами, поскольку слова — это инструменты построения реальности. А поскольку политика — это борьба за принципы видения и деления социального мира, навязывание нового языка социального мира в значительной степени меняет реальность. Я напоминаю об этих изъезженных темах, повторявшихся мной сотню раз, но они важны для того, что я говорю.

### Юридический капитал как языковой капитал и как практическое мастерство

Итак, у юристов есть капитал слов, капитал понятий, и поэтому они могут участвовать в построении реальности<sup>16</sup>. Я напоминаю об этой теме еще и для того, чтобы развить ряд работ этнометодологического направления, хотя мне совершенно не близки эти концепции, остающиеся индивидуалистскими и субъективистскими: работа по построению социальной реальности — это работа коллективная, но не все вносят в нее одинаковый вклад. Есть люди с большим, чем у других, весом в символической борьбе за способность конструировать социальную реальность. Я, собственно, изучаю тот случай, когда юристы (как отдельный корпус и т. д.) благодаря наличию у них специфического капитала оказывали в поле борьбы за построение социальной реальности чрезвычайно сильное по сравнению с другими

---

16. См. *Бурдье П.* Власть права // Социальное пространство: поля и практики. М., СПб., 2005.

обычными агентами влияние. Этот капитал слов и понятий является также капиталом решений и прецедентов, применимых в сложных ситуациях. Это очень хорошо заметно в так называемых архаических обществах, в которых поэт, то есть стихийный юрист, без доктринального корпуса и доктрины — и это большая разница, — оказывался тем, у кого было последнее слово, когда больше никто не знал, что говорить; он тот, к кому обращались за советом в беде, когда группа не знала, что и думать, особенно в тех случаях, когда, чтобы выкрутиться, нужно было нарушить определенное правило. Как говорят кабилы, поэт тот, кто говорит: «Всегда есть дверь». У каждого правила есть дверь. Это тот, кто способен на языке правила сформулировать нарушение этого правила, и это же одна из важнейших ролей юристов. Для нее нужно особенно хорошо знать правило, а кроме того быть уполномоченным владельцем правила, то есть единственным, кто может легитимно его нарушить.

Такой капитал решений, применимых в сложных ситуациях, — это капитал опыта во всех смыслах термина «опыт», то есть подтвержденного опыта, официально признанных *homologuées*\* опытов, причем это слово *homologein* надо понимать в сильном смысле, означающем «то же самое» [на греческом]. Речь об опыте, который получил социальное подтверждение и с которым общество согласилось: «Все согласны с тем, что надо сказать так» или же «Все думают, что», наконец «*Satis constat*» [«Хорошо известно», «Совершенно определено то, что...»]. И, быть может, наиболее важно то, что это капитал организационных техник, владение которыми требуется сегодня от специалистов по коммуникации или организации. С XII века эта функция в значительной степени возлагалась на юристов, которые могли пользоваться огромным тезаурусом — римским правом и т. д. — техник, систем стандартных и социально утвержденных средств решения проблем. Все это очень банально, но обычно о праве в таком

---

\* *Homologuer* (фр.) — официально признавать, регистрировать, утверждать. — *Примеч. пер.*



разрезе не думают: юристы предлагают социальные формулы — возможно, некоторые из вас присутствовали на гражданских похоронах, и бывает, что группа приходит в беспокойство, когда не знает, что делать, и тогда кто-то находится и говорит: «Нужно возложить цветы», и все за ним повторяют, довольные тем, что он нашел решение. Институциональное решение — это сущий пустяк, но очень важный: «Для этого существует кюре», он скажет какие-то вещи, он, несомненно, выполняет и другие функции, но главное, что он выполняет организационную функцию, предлагает заранее подготовленные, проверенные, кодифицированные и всеми признанные решения, так что никто не скажет: «Да он сумасшедший, этот ваш кюре!» И я думаю, что юрист играл ту же роль: он позволял обойтись без импровизации, без всех этих рисков конфликтов в критических ситуациях.

Вернусь к примеру кабийской свадьбы, в которой сочетаются семьи, живущие очень далеко друг от друга. Это очень престижные свадьбы; чем дальше друг от друга семьи, тем престижнее, но в то же время тем опаснее, поскольку в этом случае люди друг друга не знают... В подобных ситуациях кодификация, протокол становится жизненно важным элементом, поскольку он позволяет избежать всевозможных трений, особенно когда встреча групп представляется своего рода вызовом тому, кого больше всего уважают, у кого больше всего людей, оружия, кто наделает больше шума и т. д., — то есть здесь возникает опасность перебора. Служащие — это те, кто в этом соревновании располагают определенными козырями, капиталом, который можно назвать организационным капиталом с юридической основой. (Я, быть может, слишком долго задерживаюсь на этом моменте, но меня всегда тянет в две стороны сразу: рассказать вам всё так, словно бы это само собой разумеющиеся вещи, то есть как я их вижу, но еще и рассказать их так, чтобы они стали само собой разумеющимися для вас, а потому я должен углубляться в вещи, о которых не собирался говорить, так что я не успеваю сказать вам то, что задумал.)

## Юристы в отношении к Церкви: автономизация корпорации

Вернусь к своему рассуждению. Со времен Средневековья юристы занимают это положение *juris peritus*, того, кто эксперт по праву и кто в силу этого может предоставлять решения для пройденных проблем, для которых есть прецеденты, но также и для неслыханных проблем, беспрецедентных. Чтобы очертить общие контуры этой истории юристов, [нужно понять, что] юристы очень рано получили свой особый институт, парламент. С XIV века они становятся в каком-то смысле постоянными делегатами короля, обязанными блюсти закон. Часто они получают дворянские титулы; очень часто и очень быстро они приобретают право выбирать преемников, то есть в плод уже прокрался червь, природа проникает в мир права, то есть контр-природы. Они являются носителями рационального габитуса — в этом пункте я просто следую Дюби. Они связаны с Реформацией, с янсенизмом. Дюби подробно обсуждает осторожность как добродетель, определяющую для корпуса [юристов], которую еще и сегодня можно встретить, когда занимаешься социологией работников судейского ведомства: «Они должны упражняться в сдержанности аффективных влечений, должны поступать трезво, ориентируясь на свет разума, у них должно быть чувство меры. Это резонеры»<sup>17</sup>. Дюби много внимания уделяет куртуазности как своего рода изобретению служащих: куртуазность, куртуазная любовь и т. д. [определяются] как противоположность влечений, дикости *juvenes*, то есть определенной разновидности малокультурных странствующих рыцарей<sup>18</sup>. Здесь, кстати говоря, можно сопоставить Дюби и Элиаса, признав правоту обоих, первого в том, что именно куртуазность способствует формированию государства, а второго в том, что именно генезис государства обуславливает появление куртуазности: легко понять, что это ложная проблема, что одно определяет другое,

17. *Duby G. L'Histoire de France, t. I. Le Moyen Âge. P. 288.*

18. *Juvenes* не допускались к разделу ленных владений.

и наоборот. Это можно назвать «диалектикой», но это ничего не значит, поскольку в реальности это процесс борьбы в определенных полях...

Профессиональные служащие в определенной своей части связаны с церковью, например, канонисты (я выскажу тут ряд категоричных и не слишком точных вещей, но я мог бы обосновать их подробнее). На том уровне, на котором я работаю, я должен говорить очень общие вещи, но я думаю, что они полезны, поскольку порой историки по причине мне неизвестной, о них не говорят. Юристы, по сути, пользуются церковью, ресурсами, в значительной мере предоставленными церковью, чтобы обратить государство против церкви. Этим тезисом можно подытожить очень разные работы, в частности Канторовича, и здесь нужно было бы представить историю эмансипации служащих, их возвышения как власти, историю дифференциации юридического поля, а потом и интеллектуального, по отношению к полю религиозному. Проблемы светскости, отношений между государством и частной жизнью сохраняют вплоть до XIX века свое центральное значение, поскольку это просто продолжение чуть ли не тысячелетней борьбы служащих и государства против церкви. Здесь нужно было бы углубиться в подробности, но можно показать, пользуясь, в частности, Канторовичем, — пусть даже есть много других работ, — что самые древние государства созданы по образцу папского государства, но против него: этого своего рода фрагмент церкви, обращенный против нее же. Я только что говорил о расколе «эго» у преподавателей и юристов: если брать раскол, присутствующий в каждом служащем, неслучайно то, что философы со времен Канта желают придерживаться celibата; следовало бы подумать об этом celibате, принимаемом по собственному почину; в каждом служащем, даже сегодня, есть церковник, обращенный против церкви. (Я говорю категоричные и резкие вещи, но лишь для того, чтобы пробудить в вас чувства, способные породить рефлексии, но я думаю, что это не какие-то остроты и, главное, не мои личные взгляды.)

То есть можно сказать, что церковь дала исходный образец, не только в части римского и канонического права, но также благодаря своим организационным структурам. Например, есть разные работы по возникновению модели Ассамблеи; для нас это очевидность, но на самом деле изобрести Ассамблею было чрезвычайно трудно, и именно в церкви, а потом и в реформированной церкви историки ищут сегодня первые формы этих очень странных вещей: людей собирают в одной комнате, они спорят друг с другом, потом голосуют, это просто удивительно и совершенно не очевидно; как именно они проголосуют — единогласно, большинством голосов? Все эти вещи изобретались в том числе и людьми, которые могли пользоваться тезаурусом опыта, почти всегда религиозного, но при этом они рвали отношения [с церковью].

Вернусь к Канторовичу: самое главное, что служащие извлекли из церкви, порвав с нею, — это идея корпуса и мистического тела, идея *corporatio* как целостности, не сводимой к сумме своих членов и способной найти выражение лишь в определенной личности. Гоббс, напротив, — это схоластический мыслитель, который опирался на схоластические модели. То есть схоластику: я высказываюсь крайне категорично, но мог бы привести ссылки...<sup>19</sup> Следовало бы расширить это описание конфликтного противостояния внутри взаимопроникновения церкви и государства, которое, я думаю, не закончилось еще и сегодня, присутствуя по-прежнему в каждом государственном деятеле, в государственных мыслях, в каждом государственном человеке, то есть в каждом из нас, поскольку государство сидит у нас в голове, как говорил Томас Бернхард<sup>20</sup>.

Чтобы чуть подробнее представить этот процесс постепенного разведения, следовало бы вкратце напомнить

19. См., например: Бурдые П. Делегирование и политический фетишизм // Начала. С. 231–256.

20. Эту критику повсеместности государства со стороны австрийского драматурга Томаса Бернхарда см. в: *Bernhard T. Maîtres anciens* / G. Lambrichs (trad.). Paris: Gallimard, 1988 [1985]. P. 34.

о роли крупнейших религиозных переворотов в построении государства. Я подготовил сегодняшнюю речь, но я отошлю вас к книге, считающейся классикой так называемой Кембриджской школы, к работе Квентина Скиннера «Основания современной политической мысли»<sup>21</sup>. В этой огромной истории, грандиозной генеалогии современной политической мысли от Италии XII века с ее маленькими и независимыми республиками до Французской революции, в двух главах этой работы Скиннер отводит важную роль изобретению в период Ренессанса того, что он называет «гражданским гуманизмом», то есть изобретению своего рода секуляризованной политической теории, в которой Конституция занимает место королевского произвола. По этому вопросу я отошлю вас к очень важной книге эллиниста Луи Жерне «Греки без чуда», старой книге, переизданной в 1983 году<sup>22</sup>, в которой он много внимания уделяет изобретению в Греции идеи конституции, идеи, которая вернется затем через римское право: он показывает, что понятие конституции можно мыслить, лишь если порвать с идеей божественного установления, божественного права, то есть такое изобретение совершается, когда политика утверждается как нечто отдельное от религиозного, поскольку религиозное изначально является, по существу, делом совести; автономия обеих функций увеличивается, причем обе они двигаются в сторону свободы... Иначе говоря, он подчеркивает эту идею разрыва между трансцендентностью и имманентностью, связанную с личной свободой, личным осуществлением свободы. Это греческое открытие заново всплывает в период Ренессанса благодаря вышеупомянутому гражданскому гуманизму... Это огромная книга, которую я не могу вам вкратце пересказать, но я доволен тем, что упомянул вам о ней, чтобы побудить вас к ее прочтению.

---

21. Skinner Q. Les Fondements de la pensée politique moderne. Paris, 2001.

22. Gernet L. Les Grecs sans miracle. Paris: Maspero, 1983 (на самом деле речь идет о сборнике текстов, собранном из статей, выходивших в разных журналах и опубликованных в период с 1903 по 1960 г.)

Именно в этом контексте изобретается идея автономии политического, то есть особого политического порядка: и в этом случае также именно юристы в своей борьбе внутри юридического поля создают своего рода практическую метафору того, что станет политическим полем, то есть относительно независимым универсумом, внутри которого борются только политическим оружием, а борьба идет за социальный мир. Очевидно, исторически теоретиком автономии политического является, несомненно, Макиавелли, который первым высказывает идею о том, что у политики есть принципы, не совпадающие с принципами морали или религии. Политическое — это политическое. То, что называют «макиавеллизмом», хотя это глупость, поскольку теория Макиавелли не имеет ничего общего с макиавеллизмом, отсылает к этой главной идее: существует определенная политическая логика, безразличная к этическим целям, логика правления и реалий, подчиненных такому правлению. Макиавелли появился не на пустом месте, не один как перст: он появляется в определенном пространстве, в поле гуманистической мысли. В книге Скиннера есть глава, посвященная [...] лютеранству, о связях между Реформацией и развитием конституционалистской мысли, в которой возникают теории, решительно оспаривающие любой трансцендентный принцип правления, то есть любой принцип правления, основанный на отсылке к трансцендентному авторитету. Наконец, есть и очень важная глава о кальвинизме и изобретении, так сказать, права на сопротивление. Вот проблема, с которой столкнулись кальвинисты, ставшие жертвой преследований и религиозных репрессий: как оправдать право сопротивляться временной власти? От имени чего?

### Реформация, янсенизм и юридизм

Что нам выделить во всём этом? Во-первых, нужно прочитать эту книгу; затем нужно отметить другие вещи, о которых я собираюсь сказать вам, соотнеся их с моим доказательством, если только о нем вообще можно

говорить. Нужно выделить мысль, что это политическое изобретение вывело на первый план юристов, и здесь я сошлюсь на другие работы: я не говорю, что можно полностью отождествить Реформацию или такие критические религиозные движения, как янсенизм, с юристами, но, во всяком случае, их пересечение весьма значительно, то есть возвышение служащих и параллельное развитие мысли о политическом — два взаимосвязанных феномена. Отошлю вас к другому источнику (раньше я никогда их столько не приводил): речь о книге под редакцией Катрин Мэр «Янсенизм и революция»<sup>23</sup>: это материалы одного коллоквиума, который состоялся в период, когда проходило много коллоквиумов по Французской революции, и этот был очень интересным.

В этом коллективном труде есть статья Дейла Ван Клейя под названием «От янсенистской партии к партии патриотической»<sup>24</sup>. Вы могли заметить, что Ле Пэж, о котором я вам недавно говорил, идеолог парламента, был янсенистом. В этой книге на основе исторических работ утверждается, что существует определенная связь между янсенистской партией, состоящей из судей, адвокатов и мелких конторских служащих 1750-х гг. — то есть периода, который изучался также и Бейкером, которого я недавно упоминал, — и патриотизмом, проявляющимся накануне Французской революции в сопротивлении реформам Мопу. Дейл Ван Клей использует термин «партия», и здесь я могу опять же сказать, что социологические понятия важны («партия» в историческом, а не современном смысле<sup>25</sup>). Он подчеркивает быстрое распространение памфлетов, на которое указывал и Бейкер, и анализирует пятьсот патриотических памфлетов, во всех из которых есть отсылка к понятию общественного мнения, одному из

23. *Maire C.* (dir.). *Jansénisme et révolution*. Paris: Chroniques de Port-Royal, Bibliothèque Mazarine, 1990.

24. *Kley D. V.* Du parti janséniste au parti patriote. L'ultime sécularisation d'une tradition religieuse à l'époque du chancelier Maupeou (1770–1775) // *Ibid.* P. 115–130.

25. Партия была кланом, фракцией, часто имевшей семейную основу и защищавшей общие интересы.

изобретений тех лет. Он пытается охарактеризовать янсенизм как «партию», но, если вкратце, так можно было бы попытаться охарактеризовать левое движение, а с моей точки зрения, янсенизм — это разновидность левого движения, то есть позиция, которая имеет смысл лишь относительно других позиций; невозможно понять янсенизм иначе, как в отношении к определенному пространству — этих понятий в статье [нет], — в котором можно найти почти всё, но не что угодно... Почти всё, но не что угодно — это и есть определение того или иного движения, например левого, то есть это идеологическая комбинация... Во-первых, в людях, которые собираются вокруг этого движения, можно найти почти всё, и одновременно почти всё обнаруживается в его идеологическом содержании. Я помню, как в 1968 году говорили, что [движение возникло под] влиянием Маркузе; но очевидно, что 90% людей не читали Маркузе, они его сами себе придумывали. Левое движение было совокупностью поз, крайне смутных слов — «репрессия», «репрессивный», «анти-репрессивный» и т. д. — совокупностью понятий-лозунгов, то есть понятий, работающих гораздо больше в логике мистического причастия, чем в логике рациональной мысли. Я попытался охарактеризовать склонность к левым взглядам в «Номо academicus»: почему социологи во всех странах были, скорее, за левых? Нужно [учесть] позицию социологии в пространстве дисциплин...

Янсенисты не уводят нас в сторону, они нужны, чтобы попытаться выбраться из субстанциализма и ложных проблем, ведь в этом вопросе историки могут поколениями сражаться друг с другом, заявляя: «Нет, янсенисты на самом деле были совсем другими...», и они никогда придут к согласию ни по идеологическому содержанию, ни по социальному составу движения. Характеризуя янсенизм, можно честно сказать: «Да, все же в нем присутствовало галликанство», то есть [янсенисты] были скорее за галликан, чем за папистов; «был конституционализм», то есть они были скорее за парламент, чем за короля; наконец, был и собственно религиозный янсенизм, в разных пропорциях...



Современные техники анализа [множественных] соответствий очень полезны для изучения как этих идеологических пространств, нечетких и рыхлых, но при этом все же детерминированных, так и соответствующих групп. В той же статье [Дейла Ван Клейя] мы встречаем Ле Пэжа, идеолога парламента, который был в каком-то смысле Маркузе янсенистского движения: именно у него мы находим в высокой концентрации все эти разрозненные элементы, которые в том или ином виде, в более низкой концентрации, обнаруживаются чуть ли не повсюду. То есть мы видим эти родственные связи между юридическим миром, парламентариями и янсенизмом, похожие на связи с Реформацией, имевшиеся в другую эпоху. Теперь я скажу вам, чем хочу сегодня в итоге закончить.

Публичное: беспрецедентная реалья,  
которая никак не возникнет

Это длительное и медленное возвышение профессиональных служащих так и не закончилось. Следуя этой логике, можно сказать, что Французская революция была вовсе не разрывом, это важный этап в возвышении служащих, но это важное движение в определенном континууме, что, конечно, не значит, что Французской революции не было, это просто глупость. Когда я критиковал Фюре, дело было не в том, что он говорит, будто Французской революции не было, — он так не говорит, хотя и близок к этому. Я критиковал метод, говорил, что так невозможно понять [такое событие]; нужно построить пространство, в котором производятся [феномены]... всё то, что я в ускоренном ритме пытаюсь сделать сегодня. То есть речь не о том, была Французская революция или нет, а о том, что надо понять процессы, и продолжение того, о чем я уже не рассказываю сегодня, вы можете найти в последней главе «Государственной знати», где я попытался в структурированном и кратком виде выписать этот процесс, который ведет к образованию внутри поля власти определенной категории социальных агентов, специфическая власть которых в борьбе, внутренней для поля власти, опира-

ется на обладание культурным капиталом и, говоря конкретнее, той частной формой культурного капитала, коей является капитал юридический, то есть не просто капитал теорий, — и это я хотел бы разъяснить в связи со Скиннером, но уже мимоходом упоминал это несколько раз на прошлых лекциях. Книга о ложе правосудия очень интересна именно тем, что она показывает наличие постоянного обмена между практически инновациями — в части протоколов, в отношениях короля с парламентом — и теоретическими инновациями, призванными легитимировать эти небольшие практические победы, красную подушку, красную мантию. То есть проводится огромная работа по построению публичных практик, неотделимая от работы по построению дискурса государственной службы *<service public>*, призванного описывать и одновременно конструировать, согласно теории Сепира — Уорфа, эту беспрецедентную реалию, которая никак не возникнет, а именно публичное.

Последний момент. [...] Скиннер важен для анализа отношений между служащими и религией, но он важен при том условии, что мы прочитаем его так, как я говорю: он пересказывает ряд теорий, которые не просто политические теории, о которых можно спорить, как делают философы. Это политические теории, которые участвовали в построении политического мира, в котором мы говорим об этих теориях и в котором мы занимаем позицию на основе позиций, этими теориями созданных. Если сегодня еще встречаются люди, которые говорят, что Макиавелли интересен, — я не буду специально называть имена, — причина именно в том, что существуют определенные публичные позиции, а также люди, тесно связанные с этими позициями, но при этом располагающие сопутствующими этим позициям свободами и способные поэтому занимать позицию по проблемам, созданным этими людьми. Но они создали не только проблемы, они создали еще и позиции, на основании которых можно эти проблемы ставить. И в силу этого анализ оказывается чрезвычайно трудным. Вспомните, как я целый год, наверняка не оправдавший надежд моей аудитории,

потратил на то, чтобы сказать: невозможно проникнуть в государство таким вот образом, поскольку государство в наших мыслях, необходимо [заронить] радикальное сомнение касательно государства... И я надеюсь, что вы начинаете понемногу понимать причину: вся эта история — это история нашей мысли об этой истории.

## Лекция 5 декабря 1991 года

*Программа социальной истории политических идей и государства. — Интерес к незаинтересованности. — Юристы и универсальное. — (Пожняя) проблема Французской революции. — Государство и нация. — Государство как «гражданская религия». — Национальность и гражданство: противоположность французской модели и немецкой. — Борьба интересов и борьба с участием бессознательного в политическом споре.*

### Программа социальной истории политических идей и государства

**С**ЕГОДНЯ я хотел бы вкратце повторить то, что пытался представить в последний раз, и дать вам нечто вроде обзорного описания процесса построения нации послереволюционного периода. Я обрисовал постепенный подъем профессиональных служащих, то есть культурного капитала как условия доступа к власти и как инструмента воспроизводства власти. По сути, постепенно складывается не что иное, как социальное пространство того типа, что нам известно сегодня и чья структура опирается на два больших принципа: экономический принцип и культурный. Иначе говоря, благодаря возвышению служащих возвышается и культурный капитал как инструмент дифференциации и воспроизводства. В прошлый раз я упоминал о борьбе между служащими и указал на то, что значительная часть юридических продуктов, как и культурных, может и должна пониматься в соотношении с пространством производителей этих представлений. Я указал, как формировалось юридическое поле, что привело к дифференциации пространства позиций, которому соответствует пространство поддерживаемых мнений. Я хотел также показать, как на основе самого юридического поля постепенно стало формироваться бюрократическое пространство. Я вкратце упомянул пересечения между религиозным полем, бюрократическим и собственно юридическим. Наконец, я мимоходом указал на то, что для понимания этого процесса создания представлений, элементом которых является государство, необходимо учитывать рождающееся литературное поле, которое, по крайней мере в абсолютистский период

и, несомненно, впоследствии, в частности при посредстве философов, участвовало в процессе выработки этих представлений.

Я предположил, что для понимания этого процесса изобретений, итогом которого является государство и в котором определенную роль играет изобретение теорий государства, нужно или хотелось бы — это скорее программа [исследования], а не констатация — описать и тщательнейшим образом проанализировать различные качества производителей и соотнести их с качествами продуктов. Я также указал вам на то, что эти теории государства, которые преподают, следуя логике истории идей, и которые некоторые современные историки берутся изучать как нечто независимое и самостоятельное, не соотнося их с социальными условиями их производства, связаны с социальной реальностью двумя способами, а потому нет никакого смысла изучать эти идеи так, словно бы они свалились с некоего интеллигибельного неба, то есть безо всякой отсылки к агентам, их производящим, и, главное, к условиям, в которых эти агенты их производят, или, в частности, к конкурентным отношениям, в которых эти агенты находятся. То есть идеи связаны с социальным с этой стороны, и в то же время они играют роль несомненного детерминирующего фактора, поскольку вносят вклад в построение тех социальных реалий, которые нам известны. Сегодня [мы наблюдаем] некое возвращение к наиболее «первобытным» формам истории идей, то есть к своего рода идеалистической истории идей, подобной, например, религиозной истории религии. При таком методологическом регрессе часто сохраняется отношение между идеями и институтами, но забывают, что эти идеи сами рождаются в борьбе внутри институтов и что понять их в полной мере можно только в том случае, если видеть в них одновременно продукт социальных условий и производителей социальных реалий, строителей социальной реальности.

Иначе говоря, история философии, как ей занимался бы социолог, отличается от истории политической философии, как ею обычно занимаются. [Взять пример] такого вот смешного трактата, который вышел

во Франции, под авторством Франсуа Шателе, Оливье Дюамеля и Эвелин Пизье, которая сегодня занимает важную должность<sup>1</sup>: это, с моей точки зрения, совершенно невообразимое сочинение, в котором политические идеи трактуются так, словно бы они были продуктом своего рода теоретического партеногенеза, словно бы теоретические идеи рождались от других теоретических идей и сами заводили себе маленькие теоретические идеи... В действительности социальной историей политической философии и философии в целом нужно заниматься не так: история философии по рекомендованному мной рецепту уже существует, но пока на ранних этапах<sup>2</sup>. То же самое относится к праву: философия и право — две дисциплины, которые сохранили монополию на свою собственную историю и которые по этой причине занимаются внутренней историей, то есть историей без агентов. Тогда как [социальная] история политической философии — та, что учитывает пространство, внутри которого производятся политические идеи, вместе со всем тем, о чем я говорил, то есть, с одной стороны, вместе с определенными конфликтами короля и парламента, с борьбой между парламентариями, борьбой между различными секторами юридическо-бюрократического поля и, с другой стороны, вместе с той историей политической философии, которая включается просто в историю. Одна из трагедий истории как науки, которой занимаются [в наши дни], состоит в том, что она согласилась с разделением дисциплин и позволила отрезать от себя историю наук, историю техники и историю права. Знаменитая школа «Анналов», которая претендует на интеграцию [этих аспектов], в действительности ничего такого не делает: она фактически соглашается с этим разделением, поскольку история наук является обособленной специальностью, гораздо больше, кстати говоря, занятой

---

1. *Châtelet F., Duhamel O., Pisier-Kouchner É.* Dictionnaire des œuvres politiques. Paris: PUF, 1986. В 1989 году Эвелин Пизье была назначена руководителем департамента книги Министерства культуры.

2. *Bourdieu P.* Les sciences sociales et la philosophie // Actes de la recherche en sciences sociales. 1983. P. 47–48. P. 45–52.

эпистемологией, то есть претенциозными размышлениями о практике науки, чем собственно историей наук.

То, что я говорю здесь, имеет программный характер, но это довольно важная программа, поскольку речь должна идти об истории философии, истории права, истории наук, в которых идеи изучались бы как социальные конструкции, способные обладать определенной независимостью от социальных условий, продуктом которых они являются — я этого не отрицаю — но при этом способные вступать в отношение с историческими условиями, причем не так, как говорят историки идей, не за счет влияния: они вступают в игру на гораздо более сильных правах. Вот почему уступка, которую я сделал истории идей, была ненастоящей — ничего особенного я ей не уступаю, — поскольку идеи вступают в игру в качестве собственно инструментов построения реальности. У них есть материальная функция: всё, что я говорил на этих лекциях, опирается на мысль о том, что идеи делают вещи, что идеи создают реальность, так что мировоззрение, точка зрения, нос, все эти вещи, которые я упоминал сто раз, участвуют в построении реальности, а потому даже самые чистые, самые абстрактные виды борьбы, которые могут разворачиваться внутри религиозного, юридического и т. д. поля, всегда в конечном счете соотносятся с реальностью, как в своем истоке, так и в своих последствиях, которые очень даже действенны. И я думаю, что невозможно заниматься историей государства, если соотносить государство в той форме, в какой мы его знаем, с экономическими условиями, в которых оно функционирует, как того требует определенная разновидность марксистской традиции.

Всё это, следовательно, нужно для того, чтобы сказать, что мои наброски, программу, мной намеченную, еще только предстоит исполнить и для этого потребуются история другого типа. [...] Я уже сто раз говорил: историки из всех ученых самые нерелексивные, и они очень редко применяют к самим себе историческую науку, которой могут овладеть; история такого типа интересна еще и тем, что [она означала бы необходи-

мость] написать рефлексивную историю, историю нашего собственного мышления. То, что я называю «габитусом», — это своего рода «историческое трансцендентальное»: наши «категории восприятия», если говорить словами Канта, исторически сконструированы, и очевидно, что заниматься историй генезиса государственных структур — значит заниматься историей нашего собственного мышления, то есть реальной историей наших собственных мыслительных инструментов, нашей собственной мысли. Иначе говоря, это означает, по моему мнению, действительную реализацию одной из бесспорных программ философской традиции... Я сожалею о том, что не могу представить вам эту программу. Быть может, она будет осуществлена, но она поистине огромна: намного проще рассуждать об априорных категориях, у которых действительно выявляются все признаки априори, но лишь по причине забвения генезиса, что является одним из эффектов обучения чему бы то ни было. Успешное обучение — это обучение, которое заставляет о себе забыть. Вот в каком-то смысле философия, если можно так сказать, описывающая то, как я работал с генезисом государства, и это первый вывод из моих исследований.

### Интерес к незаинтересованности<sup>3</sup>

Второй вывод: эти теории государства, которые вносят вклад в построение государства и, следовательно, в реальность того государства, которое нам известно, являются продуктами социальных агентов, расположенных в социальном пространстве. Как я уже неоднократно указывал на предыдущих лекциях, носители мантии, юристы — это люди, которые заинтересованы в государстве и которые, чтобы добиться победы своих интересов, должны добиться победы государства: они заинтересованы в публичном

---

3. Тема всего этого раздела связана с работой Бурдьё «Возможен ли незаинтересованный акт: *Bourdieu P. Un acte désintéressé est-il possible?* См. также постскрипtum к «Правилам искусства»: *Idem. Pour un corporatisme de l'universel / Règles de l'art.* P. 459–472.



и универсальном. Мысль о том, что определенные социальные категории заинтересованы в универсальном, — это материализм, который нисколько не умаляет универсальное. Я думаю, что любой ценой желать того, чтобы чистые вещи были продуктом чистых актов, — это своего рода идеалистическая наивность. Если мы занимаемся социологией, мы начинаем понимать, что принципом самых чистых вещей могут быть совершенно нечистые влечения. Наиболее яркий пример являет собой наука, в которой совершенно очевидно то, что ученые, которых либо прославляют, либо списывают со счетов, — такие же люди, как и все, что они вступили в игру, вступить в которую сложно, причем эта сложность все время увеличивается; и даже в этой игре они вынуждены играть по правилам, являющимся правилами незаинтересованности, объективности, нейтральности и т.д.<sup>4</sup> Иначе говоря, чтобы выразить свои влечения, — то, что Кант называл «патологическим субъектом», — они должны их сублимировать. Научное поле, юридическое или религиозное поле — это место сублимации, с определенной цензурой: «Не геометр да не войдет»<sup>5</sup>. [...] Я показал это на примере Хайдеггера<sup>6</sup>: ему надо было высказать какие-то нацистские мысли, но он мог выразить их лишь в том случае, если они казались чем-то иным; впрочем, он думал, что они не нацистские, и взялся за Канта...

Логика чистых универсумов, этих чистых игр — это своего рода алхимия, которая создает чистое из нечистого, незаинтересованное из интереса, поскольку есть люди, у которых есть интерес к незаинтересованному:

---

4. Бурдьё П. Поле науки // Социология под вопросом. Социальные науки в постструктуралистской перспективе. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. М.: Практика; Институт экспериментальной социологии, 2005. С. 15–56. П. Бурдьё вернется к этому вопросу в своем последнем курсе в Коллеж де Франс в 2000–2001 гг., который будет опубликован под заглавием «Наука о науке и рефлексивность»: *Bourdieu P. Science de la science et réflexivité*. Paris: Raisons d'agir, 2001.

5. По преданию, такая надпись была сделана над воротами платоновской Академии.

6. Бурдьё П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера.

ученый—это тот, кто заинтересован в незаинтересованности. С точки зрения исследователя, который всегда ищет то или иное основание, можно даже подумать, что, имея дело с самыми бескорыстными из действий, всеми теми вещами, которые неизменно прославляются, гуманитарными акциями, всегда можно поставить вопрос: какой у этого человека интерес делать всё это? Почему он это делает? Я уже упоминал несколько лет назад проблему *salos* [безумца], очень странного персонажа, которого изучал мой друг Жильбер Дагрон<sup>7</sup>, героя, который в Византии X века выступал против любых моральных норм, бросая своего рода этический вызов фарисейству в этике. Опасаясь того, что он получит выгоду, состоящую в респектабельности, почтенности, достоинстве, — то есть все те типичные выгоды фарисейства, которые многие интеллектуалы присваивают ежедневно, — он поставил себя в невозможное положение, делал ужасные вещи, вел себя как свинья и т. п. Именно этот своеобразный парадокс чистоты в нечистоте весьма наглядно поднимает вопрос: делает ли он добро? Какое благо он извлекает из того факта, что делает добро? Не существует ли порочного способа утверждать свою непреклонность, чистоту, свое благородство и достоинство, например, в своего рода показном ригоризме?

Вот вопросы, которые являются вопросами историческими и социологическими. Это не обязательно приводит к цинизму; на самом деле в результате можно себе сказать, что в основе самых добрых дел не обязательно лежит ангельская природа. Социальная наука учит своего рода реализму... Я считаю, что намного спокойнее, когда люди делают хорошие вещи, потому что они вынуждены, думаю, что это намного спокойнее. Собственно, Кант говорил, что, возможно, никогда не было ни одного нравственного поступка: он хорошо

---

7. *Dagron G. L'homme sans honneur, ou le saint scandaleux // Annales HSS. 1990. No. 4. P. 929–939.* В православной церкви *salos* означает «во Христе юродивого», то есть аскета, который добровольно усваивает повадки и язык сумасшедшего, чтобы добиться аскетического совершенства.

понимал, что, если силы, на которые мы можем рассчитывать в нравственных поступках, мы должны черпать исключительно в самих себе, мы далеко не уйдем. Это подразумевается в анализе, мной проведенном, это своего рода реалистическая философия идеала, философия, которая, быть может, является единственным реалистическим способом защиты идеала, и это никакой не цинизм: чтобы был возможен идеал, необходимо, чтобы были выполнены условия, допускающие наличие у многих людей интереса к идеалу. Из этого вытекают определенные следствия [в плане] политических стратегий, например, если мы хотим, чтобы в партиях не было коррупции... Я не буду это дальше развивать, этого достаточно, чтобы вы поняли, какая философия стоит за моим анализом<sup>8</sup>.

### Юристы и универсальное

Итак, эти юристы продвигают универсальное: они изобрели ряд социальных форм и представлений, специально заданных в качестве универсальных. Я хотел показать, что у них были разные интересы к универсальному, и в [в силу этого] они создали этот универсум, юридический универсум, в котором, чтобы добиться победы, нужно было апеллировать к универсальному. То есть нужно было уметь показать, что одни тезисы или предложения универсализировать проще других, — [это соответствует] кантовским критериям, — то есть что они меньше зависели от частных интересов: «Я говорю это потому, что это хорошо для всех людей, а не только для меня». Естественно, тот, кто так говорит, тут же подвергается марксистской критике: «А не является ли твоя речь идеологической?»; «Не довольствуешься ли ты тем, что обобщаешь свою частную заинтересованность?» Профессионалы универсального — это виртуозы искусства универсализации своих частных интересов: они производят универсальное и одновременно стратегии универсализации, то есть

---

8. См.: Bourdieu P. Un fondement paradoxal de la morale // Raisons pratiques. P. 237–243.

они умеют виртуозно имитировать универсальное и выдавать свои частные интересы за всеобщие... Вот и проблема: мы не можем ограничиваться такими [четко разделенными позициями]. Социальный мир [...] — это мир, в котором очень сложно мыслить по-манихейски, и именно поэтому очень мало хороших социологов: социология требует мышления, которое редко встретишь в обыденной жизни, нестихийного мышления...

Итак, эти юристы заинтересованы в публичном. Например, как многие отмечали, задолго до Революции 1789 года они начинают бороться за то, чтобы признали их прерогативу, то есть их культурный капитал. Они связывают эту прерогативу, которая также и привилегия, с идеей государственной службы, с идеей гражданской добродетели. Наконец, борясь за перенос иерархии чинов, за то, чтобы дворяне мантии стали важнее дворян шпаги, они проводят идеи, связанные с юридической компетенцией, идею универсального: это люди, у которых есть частный интерес к общественному интересу. Этот вопрос можно поставить в очень общих категориях... Очевидно, я лишь поставлю этот вопрос, но думаю, что порой полезно просто поставить вопрос, даже если не знаешь, как на него полностью ответить; и я ставлю его по поводу одного конкретного случая, но думаю, что нужно было бы поставить вопрос об интересе к публичному в его наиболее общей форме. Как в дифференцированном обществе распределяется интерес к публичному? Например, кто больше заинтересован в публичном — богатые или бедные? Существует ли значимое статистическое отношение между интересом к общему интересу и позицией в социальном пространстве? Есть и мистические решения этого вопроса: пролетариат как всеобщий класс — один из ответов на такой вопрос; наиболее обездоленные, наиболее угнетенные и всего лишенные заинтересованы в универсальном. И, как всегда у Маркса, это почти так... Я говорю «почти так», поскольку [это было если не опровергнуто, то, по крайней мере, скорректировано] работами ряда экономистов, которые много занимались публичными интересами, тем,

что такое публичный интерес, спецификой общественных благ и специфической логикой их потребления.

(Один из этих экономистов, Джеймс Бьюкенен, в статье, которая показалась мне очень яркой, о клубах, об интересе к функционированию в форме клуба<sup>9</sup>, пишет: «Оптимальный размер клуба для произвольного количества благ стремится к уменьшению по мере того, как реальный доход индивида увеличивается». Иначе говоря, чем более высокие у вас доходы, тем больше вы заинтересованы в ограниченных клубах: «Клубы [демонстрирующие публичный характер (*publicness*), когда доходы низки, стремятся] стать частными по мере того, как доходы увеличиваются»<sup>10</sup>. [Бьюкенен] в качестве примера берет кооперативы и показывает, что чаще они встречаются среди групп с низким доходом, чем среди групп с высоким доходом, при прочих равных условиях. Иначе говоря, то, что было общественным <public>, стремится стать частным: общественного мы держимся только тогда, когда не можем иначе... Есть и более старая статья Сэмюэльсона в журнале «Economics and Statistics» за 1954 год по теории общественных благ<sup>11</sup>. В этой статье можно найти начало ответа на вопрос, который я поставил в наиболее общей форме. Можно было бы сказать, что индивидуализм, о котором сегодня много говорят, усиливается вместе с ростом дохода и, наоборот, что солидарность стремится к росту с понижением дохода, то есть когда растет бедность. Это просто гипотеза: ассоциации бедных — это вынужденные ассоциации людей, которые более других расположены к ассоциации, у которых более ассоциативный габитус, поскольку в период взросления и после него они, чтобы выжить, должны ассоцииро-

---

9. Buchanan J. M. An economic theory of clubs // *Economica*. 1965. Vol. 32.

Р. 1–14. Этот американский экономист получил в 1986 году Нобелевскую премию по экономике за свои работы по «теории общественного выбора», в которой развивается критика государственного вмешательства, связываемая с государственными агентами.

10. *Ibid.* Note 9.

11. Samuelson P. The pure theory of public expenditure // *The Review of Economics and Statistics*. 1954. Vol. 36 (4). P. 387–389.

ваться. То есть можно подумать, что применение ассоциации стремится сойти на нет, как только от нее можно избавиться, то есть когда появляются средства без нее обойтись, — что не означает, что это линейное развитие: существуют ассоциации бедных, но существуют также и ассоциации богатых. [...] Ассоциации богатых, то есть избирательные ассоциации, вроде клубов, независимы, это ассоциации людей, которые преумножают свой капитал, объединяясь с людьми, у которых есть капитал, то есть они не детерминированы нуждой. В работах, проведенных мной, когда писалась книга «Различение», я смог заметить, что созданием клубов, этих предприятий по созданию коллективно контролируемого социального и символического капитала, управляют почти что рационально: нужны свадебные генералы, нужно провести большую работу по отбору, выбору членов<sup>12</sup>, — совсем не та логика [что в случае обычных ассоциаций]... Это я просто отмечаю в скобках, чтобы вы помнили о проблеме. Вернусь к Французской революции.)

### (Ложная) проблема Французской революции

Французская революция... Я очень боюсь использовать такие термины. Я не хочу покончить с Французской революцией за четверть часа (примерно столько времени я ей уделю), я просто хочу сказать, что в той логике, которой я придерживался до сего момента, можно поставить ряд вопросов касательно Французской революции, на которые я могу, как мне кажется, ответить за четверть часа... Один из вопросов как раз в том, каким именно образом этот длительный процесс, про который я говорил, выражается во Французской революции. И как вписать ее в этот процесс? Я уже сказал, что, по моему мнению, Французская революция вполне вписывается в этот длительный процесс. Несомненно, она отмечает собой определенный порог, но уж точно не разрыв: она является одним из этапов процесса утверждения, этого возвышения профессиональных служащих,

---

12. *Bourdieu P. La Distinction. P. 182.*

носителей мантии, и она, по сути, отмечает собой триумф носителей мантии. Иначе говоря, она является скорее завершением длительного процесса, который начинается в XII веке, чем абсолютным началом... Скажем, по крайней мере, что она представляет собой как завершение, так и начало. Это дворянство мантии, которое задолго до революции разработало новое представление о государстве, то есть создало целый универсум понятий — таких, как понятие республики, — станет господствующей категорией, государственной знатью, создав территориальное государство и единую нацию. Иначе говоря, ее триумф — это триумф современного государства, то есть национального государства. Таким образом, эта государственная знать одновременно создает новый институт и присваивает себе квазимонополию на специфические прибыли, с ним связанные.

На прошлой неделе я упоминал Дени Рише, который говорил о фискальном капитализме, существовавшем в XVIII веке: он показал, как государство по мере своего развития порождало новый вид капитала, специфический государственный капитал, одновременно материальный и символический, функционирующий в качестве метакapиTaлa, то есть своеобразной власти над другими видами капитала; это капитал, который дает власть над другими видами капитала, включая экономический. В то же время этот публичный капитал, капитал общего интереса или публичная власть, — это инструмент социальной борьбы и при этом главная ставка различных видов социальной борьбы. «После-революционное» государство — и здесь я, если бы мог, поставил бы кавычки вокруг всех слов, которые говорю, — является местом определенной борьбы, одновременно инструментом и ставкой непрерывной борьбы за присвоение специфических прибылей, которые оно дает, то есть, в частности, за перераспределение этого метакapиTaлa, в нем сосредоточенного. Много говорили об экономическом капитале и перераспределении экономических прибылей, например в форме заработной платы и т. п., но [надо также проанализировать] перераспределение символического капитала в форме кредита, доверия, авторитета и т. д.

Все споры о Французской революции как революции буржуазной — это ложные споры. Я думаю, что проблемы, поднятые Марксом по поводу государства, Французской революции и революции 1848 года, — это все катастрофические проблемы, которые были навязаны всем, кто думает о государстве, причем в любой стране: японцы спрашивают себя, действительно ли у них была Французская революция; англичане говорят: «Нет, у нас ее не было, это просто невозможно». Во всех странах люди говорят себе: «Но если у нас не было Французской революции, значит мы не современны...» Марксистская проблематика была навязана и марксистскому универсуму, и за его пределами как проблематика абсолютная, и все революции стали мерить аршином революции французской, что сопровождалось совершенно невероятным этноцентризмом. Я хочу сказать, что, по моему мнению, эти проблемы можно устранить, по крайней мере, я в этом убежден, поэтому и говорю вам, но это не значит, что нет других вопросов, кроме тех, что я пытаюсь поставить. Я думаю, однако, что марксистские сюжеты заслонили вопрос, который я хочу сформулировать, вопрос о том, не поставили ли себя основатели современного государства в такое положение, в котором они могли гарантировать себе монополию, не монополизировали ли они ту монополию, которую создавали.

Макс Вебер говорит, что государство — это монополия на легитимное насилие. Я же поправляю его так: это монополия на легитимное физическое и символическое насилие. Борьба за государство — это борьба за монополию над этой монополией, и я думаю, что основатели современного государства поставили себя в положение, в котором у них были все шансы выиграть в этой борьбе за монополию, о чем свидетельствует сохранение того, что я называю государственной знатью. Я опубликовал книгу «Государственная знать» в 1989 году, чтобы показать, что Французская революция в самом главном вопросе ничего не изменила... Монополизация юридического капитала и культурного капитала при посредстве доступа к государственному капиталу как разновидности культурного капитала



обеспечила закрепление господствующей группы, власть которой опирается в значительной степени на культурный капитал, — отсюда значение всех исследований, показывающих отношение между распределением культурного капитала и позицией в социальном пространстве. Все исследования образования на самом деле представляют собой исследования государства и его воспроизводства. Я не буду развивать здесь далее эту тему, я развил ее в прошлом году, и здесь я просто в какой-то мере возвращаюсь к предшествующим выкладкам.

### Государство и нация

Тем не менее эти носители мантии, непосредственно заинтересованные в создании государства, заставили государство двигаться в сторону универсальности: если вспомнить приведенное мной противопоставление, династический принцип был заменен юридическим, причем как нельзя более грубым и решительным образом: его попросту казнили на гильотине... О смерти короля было много споров: возможно, физическая смерть короля стала символическим разрывом, необходимым, чтобы утвердить необратимость установления принципа юридического типа, противоположного принципу династическому. [Юристы] своей собственной борьбой, обусловленной их интересами, произвели — о чем говорили сто раз — национальное государство, государство, унифицированное вопреки наличию регионов и провинций, но также вопреки разделению классов: они провели работу по унификации, которая является одновременно «трансрегиональной» и «трансклассовой», то есть, если можно так сказать, «трансоциальной». Здесь я хочу вкратце описать три наиболее важных достижения: появление понятия государства, нации в современном смысле слова — я объясню, что это значит; затем рождение «публичного пространства» — я говорю «публичное пространство», следуя всем этим вербальным автоматизмам, но мне очень не нравится это выражение и то, что пришлось так сказать, — [то есть появление] обособленного политического поля,

легитимного политического поля; наконец, генезис понятия гражданина как противоположности понятия подданного. (Эту лекцию мне, несомненно, прочесть сложнее всего, поскольку здесь мы постоянно касаемся тривиальных вещей, которые всеми повторялись по сотне раз, и на каждом слове возникает впечатление, что всё это уже видели и слышали, хотя стараешься сказать нечто совершенно другое, не будучи в этом уверен... Я рассказываю вам о собственных психологических состояниях, чтобы вы понимали мои колебания.)

[Юристы] создают национальное государство; вкратце можно сказать так: они создают государство, которому поручают создать нацию. Я думаю, что [этот момент] совершенно оригинален; я вскоре сравню его с немецкой ситуацией. Немецкая модель очень интересна, поскольку это романтическая модель (тогда как французская модель более характерна для XVIII века): сначала есть язык, нация, Гердер<sup>13</sup>, а потом государство, и государство выражает нацию. Французские революционеры ничем таким не занимаются: они создают универсальное государство, и это государство создаст нацию за счет образования, армии и т. д. Есть одно высказывание Тальена, которое можно было бы вынести в эпиграф: «Единственные иностранцы во Франции — это плохие граждане»<sup>14</sup>. Это очень хорошая формулировка, типично французская политико-юридическая максима: гражданином является всякий, кто соответствует определению хорошего гражданина, то есть всякий, кто универсален; следовательно, у каждого человека есть права человека, и все — граждане. Это юридическо-политическое, универалистское представление,

---

13. Философ и поэт Иоганн Готфрид Гердер, считающийся вдохновителем романтического движения «Sturm und Drang», является также автором определения нации, основанной на почве и общем языке.

14. Высказывание журналиста и парламентария Жана-Ламбера Тальена передается, скорее, так: «Я не скажу [...], что во Франции нет других иностранцев, кроме плохих граждан» (заседание 27 марта 1795 года Национального собрания, дебаты опубликованы в: *Le Moniteur universel*. No. 190. 30 mars 1795).

очевидно, соответствует компетенции и одновременно интересам юристов, это мысль юриста... но нужно прояснить аналогию. Я не раз упоминал книгу Бенедикта Андерсона «Воображаемые сообщества»<sup>15</sup>, важную книгу, в которой сообщества, нации описываются как воображаемые сущности, созданные коллективной работой ряда агентов, среди которых писатели, лингвисты, специалисты по грамматике. Иначе говоря, нации в значительной части представляют собой творение интеллектуалов, которые — и это я говорю от себя — заинтересованы в нации. Интеллектуалы тесно связаны со всем тем, что касается культурного капитала; тогда как культурный капитал тем больше национален, чем больше он связан с национальным языком, и тем больше интернационален, чем более он независим от национального языка — юристы и преподаватели французского более национальны, чем математики или физики.

Итак, у интеллектуалов есть своя заинтересованность в национальном культурном капитале, более или менее выраженная в зависимости от их специальности, и в то же время у них гораздо больше, чем можно было подумать, национальных и националистических интересов. [...] Например, украинский национализм, о котором сегодня много говорят, — это дело специалистов по грамматике: часто это мелкие интеллектуалы, которых Макс Вебер называл «интеллектуалами-пролетариями», не слишком признанные центральными инстанциями империи или нации, интеллектуалы, которые ради того, чтобы извлечь доход из своего небольшого, но специфического капитала, который должен стать национальным, — всякие филологи, авторы словарей, фольклористы и т. д. утверждают долженствование социальной сущности, полностью отвечающей их интересам и оправдывающей их существование... Очень приятно узнать, что в национальных ссорах всегда есть что-то от ссор филологов... Я был просто ошеломлен, когда, прочитав эту книгу, начал замечать это повсюду: ситуация

---

15. Андерсон Б. Указ. соч.

такова в гораздо большей степени, чем я мог раньше подумать.

Воображаемые сообщества — это продукт определенного конструирования: достаточно взять эту тему и присоединить ее к другой, к которой я обращался много раз в начале этого года, чтобы получить корректную в целом теорию нации. Я неоднократно подчеркивал идею номоса, принципов видения и разделения [социального мира], идею, согласно которой государство покоится на ряде предпосылок касательно способа построения социальной реальности. Государство в пределах своей территории способно универсализировать эти категории восприятия. Согласно этой логике нация — это совокупность людей, у которых одни и те же категории восприятия государства и которые, поскольку они получили одну и ту же прививку от государства, то есть от обязательного образования, располагают [общими] принципами видения и разделения ряда фундаментальных, достаточно близких проблем. Так что понятие «национального характера», являвшееся очень модным в XIX веке, на самом деле представляется просто ратификацией национальных стереотипов и предрассудков: оно призвано зачистить всё теоретическое пространство, то есть это слегка сублимированная форма расизма. При всем при этом оно указывает на нечто бесспорно существующее, на имеющийся в головах продукт работы по прививке общих категорий восприятия и оценки, работы, осуществляющейся за счет бесчисленных видов воздействия, но прежде всего за счет образования, школьных учебников, в частности по истории. Я недавно говорил о великих строителях нации; [во Франции] государство создает нацию: оно создает образование. Например, III Республика — это республика Лависса<sup>16</sup>, учебников по истории и т. д.

---

16. По школьным учебникам историка Эрнеста Лависса (Ernest Lavissee, 1842–1922), среди которых и знаменитый «Малый Лависс» для начальной школы, учились несколько поколений школьников, которым они прививали патриотический и гражданский дух, воспетый республиканцами.

## Государство как «гражданская религия»

То есть государство — это центр того, что называли «гражданской религией»<sup>17</sup>. Один американский социолог, Роберт Белла<sup>18</sup>, говорил об этом в связи с церемониалом, которым пропитана американская жизнь, — всеми этими религиозными, этико-политико-гражданскими ритуалами [...]. Проводится определенная работа по производству гражданской предрасположенности за счет гражданской религии, церемоний, годовщин, празднований и, естественно, истории, которая играет определяющую роль.

Здесь я хотел бы также очень вкратце пересказать очень важную книгу одного крупного специалиста по нацизму Джорджа Мосса. Мосс — один из тех немецких эмигрантов, которые всю жизнь задавались вопросом о том, как мог возникнуть нацизм, и он предложил ряд первостепенных идей, важных для понимания массовых нацистских движений. В [«Кризисе немецкой идеологии»] он ставит вопрос о кризисе немецкой идеологии и об интеллектуальных корнях Третьего рейха, анализируя то, что сам он называет процессом «национализации масс», то есть то, как из масс делают нацию<sup>19</sup>. Он выдвигает парадоксальный, на первый взгляд, тезис, который я считаю совершенно обоснованным: нацизм, с точки зрения этого функционирования гражданской религии, является всего лишь пределом демократий, поскольку он довел до крайности

17. «О гражданской религии» — это название восьмой главы четвертой книги работы Жана-Жака Руссо «Об общественном договоре».

18. П. Бурдые, несомненно, имеет в виду работу Роберта Беллы «Нарушенный договор: американская гражданская религия в период испытаний»: *Bellah R. N. The Broken Covenant. American Civil Religion in Time of Trial*. New York: Seabury Press, 1975.

19. *Mosse G. L. The Crisis of German Ideology. Intellectual Origins of the Third Reich*. New York: Grosset & Dunlap, 1964 (французский перевод: *Idem. Les Racines intellectuelles du Troisième Reich* / C. Darmon (trad.). Paris: Calmann-Lévy, 2006. См. также: *Mosse G. L. The Nationalization of the Masses: Political Symbolism and Mass Movements in Germany from the Napoleonic Wars through the Third Reich*. Ithaca, London: Cornell University Press, 1975.

ту работу по насаждению однородных коллективных представлений, которая проводится и в демократических обществах. Он подчеркивает то, что еще с наполеоновских времен национально-буржуазные идеи порождали публичное воображаемое; а вместе с Первой мировой войной возник новый политический порядок, основанный на национальной ауторепрезентации, опосредованной «литургией гражданской религии»<sup>20</sup>. Говоря проще, нации даны самим себе в качестве зрелища, они дают себе жизнь, объективируясь в зрелище, в котором они представляют самих себя самим себе. В эту литургию власти как раз и внедряется нацизм с его специфическими чертами; [Мосс] показывает, в чем эта литургия власти родственна иррационализму массовой политики, которая нацелена на практическое утверждение своего рода руссоистской общей воли. По сути, нацизм, по мнению Мосса, является детищем Руссо (это очень парадоксально, и он сам не говорит об этом такими именно словами. Мне жаль, ведь мне не следовало так говорить, но высказать эти вещи очень сложно, и на них понадобилось бы очень много времени...)

Мосс хочет сказать, что эту мифическую общую волю, существующую только на бумаге и ставшую проблемой для всех комментаторов Руссо, можно в каком-то смысле сделать вполне осязаемой за счет грандиозных демонстраций коллективного единодушия. [Общая воля] демонстрируется таким образом в коллективной эмоции. Эмоция — это как раз причина и одновременно следствие демонстрации, то есть это продукт демонстрации, который предполагает коллективную работу по построению. Часто эмоциональное, аффективное единство не распространяется за пределы небольших сект, малых групп, но такое социальное построение эмоционального единства может выполняться и на уровне всего народа, а не только малых групп. Эту работу нацизм довел до крайности,

---

20. Об этом см.: *Mosse G. L. Les Racines intellectuelles du Troisième Reich*. Особенно предисловие 1964 года (Р. 7–13) и главу 2 «Германская вера» («La foi germanique», Р. 50–72).

до предела. Можно сказать, что он представляет собой доведение до предела тенденций, которые наличествуют и в определенном типе демократического церемониала. Нация — это воображаемое воплощение народа, национальная ауторепрезентация, и эта ауторепрезентация покоится на демонстрации того общего, что есть у народа, языка, истории, пейзажа и т. п. Наконец, фашистское государство, по словам Мосса, — это государство-зрелище, которое эстетизирует политику и политизирует эстетику за счет своего рода гражданской религии, которая стремится освободиться от власти времени, используя доиндустриальные, вечные символы. В своем тексте Мосс несколько перегибает палку, описывая завершение процесса, который начался с Французской революции, но его заслугой является демонстрация того, что определенный тип коллективного построения нации уже включает в себя экстремальные возможности, которые мы обычно относим к другому пространству...

Итак, первый пункт: создавая государство, [юристы] создали не нацию, но социальные условия производства нации. Здесь стоило бы вернуться (о чем я уже говорил) ко всей этой работе по созданию и консолидации нации, в которой важную роль сыграли республиканские историки XIX века — Огюстен Тьерри, Жюль Мишле, Эрнест Лависс. Также следовало бы вспомнить о роли образования и армии... Второй пункт, к которому я теперь перейду, — это парламент, построение легитимной политики — чтобы затем сразу заняться третьим моментом, проблемой гражданина, так что мое изложение сегодня приобретет определенную связность; в следующий раз я вернусь назад.

### Национальность и гражданство: противоположность французской модели и немецкой

Вы знаете, что сегодня много спорят о гражданстве и эмиграции: вопрос именно в том, у кого есть право на статус гражданина... Если совсем вкратце — здесь я опять же выскажусь поверхностно и программно, но

я хотел бы, по крайней мере, донести до вас проблему, чтобы в следующий раз я мог двинуться дальше, — в разговорах о построении современного государства упоминалась так называемая территориализация правила. Под этим понималось то, что на основе несколько утопической конструкции юридического государства — не правового государства, как сейчас говорят, а юридического государства — на основе этого юридического представления о чисто юридическом государстве, поставили задачу построить в рамках определенной территории юридическое пространство, являющееся в каком-то смысле воплощением права. Этому строительству сопутствовало изобретение понятия гражданина, поскольку гражданин является той юридической единицей, которая существует, поддерживая с государством правовые отношения и выполняя определенные обязательства. По сути, гражданин — это тот, кто состоит в юридических отношениях с государством, у кого есть обязанности по отношению к государству и кто вправе потребовать от государства отчета. Например, история *Welfare State*, часто описываемая как своего рода разрыв [с гражданскими правами], с моей точки зрения, является их логичным развитием... И в этом случае именно Маркс, противопоставлявший права человека и права гражданина, внедрил в наше сознание идею разрыва. Тогда как идея *Welfare State* содержалась уже в понятии гражданина: *Welfare State* — это государство, которое дает гражданину то, на что у него есть право, то есть не только гражданские права, но и права человека, право на труд, право на здоровье, право на безопасность и т. д. То есть гражданин определяется правами, и здесь мы обнаруживаем юридический мотив Французской революции: национальность во французском смысле этого термина не синонимична гражданству; она может определяться этнокультурными категориями, владением определенным языком, национальной культурой, историей и т. д. Всё то, что в немецкой романтической традиции относится к национальности, не является гражданством. Гражданин определяется исключительно юридически: нация как этнокультурное качество, которое может определяться



легально, отличается от того гражданства, которое записано во [французской] конституции. Я уже приводил цитату из Тальена, которая очень типична для этого определения: в пределе гражданин — это тот, кто признается таковым конституцией; и о нем больше нечего сказать, он не обязан иметь конкретные качества, связанные, к примеру, с кровью (*jus sanguinis*).

Такое абстрактное гражданство должно воплощаться благодаря политической работе: например, языковое единство не является условием государственного единства, оно является продуктом последнего... Я в некотором затруднении, поскольку получается, что я постоянно использую оппозицию Франции и Германии, которую пока еще не сформулировал [в явном виде]: в случае Франции государство создает нацию, то есть все граждане нации X должны говорить на языке X; следовательно, нужно поставить их в положение, в котором они ему научатся. В немецкой модели сама нация выражается в государстве, так что все немецкоязычные люди оказываются гражданами Германии: все те, у кого одни и те же этнические, языковые, культурные качества, оказываются гражданами Германии, что объясняет многие вещи, связанные с проблемами воссоединения<sup>21</sup>. [Во французской модели] задается политическая единица: это юридически-территориальная единица, территория, образованная в качестве таковой определенной правовой формулировкой, это юрисдикция, на которой действует такая-то конституция, а гражданин — это тот, кто относится к этой юрисдикции. Он может говорить на региональных языках, у него могут быть разные культурные традиции, обычаи, но задача государства — создать такое единство посредством работы по прививанию, нацеленной, к примеру, на формирование языкового единства. Наконец, философия политического, предлагаемая революционерами, — это философия универалистская, следовательно, ассимиляционистская: она является универалистской, поскольку мыслится в качестве универалистской и в силу

---

21. Имеется в виду воссоединение Германии, объявленное 3 октября 1990 г.

этого факта она не может предложить любому человеку, кем бы он ни был, ничего, кроме его ассимиляции. Она относится к нему как к человеку, то есть наделяет его тем, чем наделяет каждого человека, обеспечивает его достоинством гражданина, под которым подразумевается французский гражданин; наконец, чтобы были выполнены условия осуществления этого права гражданина, нужно предоставить гражданам реальные средства, которые могут быть культурными (единство языка) или экономическими.

Немецкий путь совершенно другой: я опишу его совсем кратко, займусь своего рода дилетантской философией истории. Если английская модель родилась у юристов XVI века, французская — у космополитических философов XVIII века, тогда можно сказать, что немецкая модель появилась у романтических мыслителей XIX века, а затем была скорректирована прусскими реформаторами, — всё это, конечно, сильно упрощенно, но так можно сориентироваться. Французская модель — просвещенческая: космополитизм, рационализм, универсализм, абстрактный и формальный универсализм; в этом случае Маркс прав, это действительно философия ассимиляции, понимаемой в качестве универсализации, то есть отождествления всякого человека — отождествления априорного и, если возможно, апостериорного — с этим универсальным гражданином, коим является гражданин французский. Тогда как немецкий путь связан с XIX веком, с романтизмом; следовало бы выделить все его моменты, тему нации, темноты, глубины, *Kultur* против *Zivilisation* и т. д. С этой точки зрения, нация — это индивидуальность с историческими корнями, развивавшаяся органически, объединенная благодаря *Volksgeist*, то есть общему народному духу, который отличает ее от других наций и выражается в языке, обычае, культуре и государстве. Государство, очевидно, может всё это юридически ратифицировать, но оно является скорее выражением, продуктом, а не производителем. Конечно, это противоположность в ее крайнем виде, но я закончу на этом пункте и вернусь к проблеме иммигрантов, чтобы сказать пару слов.

Можно было бы заново поставить всю проблему [отношений нации и гражданства], отправляясь от указанной противоположности. На практике французы и немцы относятся к иммигрантам примерно одинаково, то есть одинаково плохо, но в теории они относятся к ним по-разному; и чтобы понять эту разницу, я думаю, небесполезно обратиться к государственной философии двух этих традиций. Универсалистская и космополитическая, французская политико-юридическая трактовка, берущая начало в XVIII веке, ведет к *jus soli* [праву земли]: государство — это территория, то есть юрисдикция определенного закона. То есть это сообщество на территориальной основе: чтобы стать гражданином, достаточно родиться на этой земле; это автоматическая натурализация, соответствующая ассимиляционистской логике, в которой государство должно создавать нацию за счет работы по интеграции и т. д. Что касается Германии, государство в этом случае отсылает к романтической философии XIX века, к духу народа и т. д., это концепция, которую можно назвать этнокультурной или же этнолингво-культурной, и она ведет к *jus sanguinis* [праву крови]. [Гражданство в таком случае] связано с наследственностью, с кровью, с передачей как «естественной», так и исторической. То есть это сообщество на языковой и культурной основе: у немецкоязычных людей призвание стать немцами, тогда как иностранцы, рожденные в Германии, — не немцы; нет автоматической интеграции и ассимиляции. Говоря конкретно, на основе двух этих философий государства мы получаем две совершенно разные политики иммиграции: пусть даже реальное отношение похоже — к туркам относятся примерно так же, как к алжирцам, — есть существенное различие на уровне теории.

### Борьба интересов и борьба с участием бессознательного в политическом споре

Весь этот спор осложняется тем, что в обоих случаях у интеллектуалов, которые говорят обо всем этом, есть *vested interests*, то есть скрытый интерес ко всем этим ве-

щам: у них есть заинтересованность как у поэтов, музыкантов, юристов или философов. Важно связать то, что я говорил в начале [этой лекции], с тем, что я говорю сейчас, чтобы понять, в какой мере дифференциальная социология высказываемых мнений, соотносимых с позициями, способна прояснить положение дел. Как только кто-то начинает вам говорить об этих проблемах, обязательно спросите себя: почему ему важно сказать мне то, что он говорит? Как говорили после 1968 года: откуда он говорит? В совершенно точном смысле: чей это дискурс — преподавателя математики, преподавателя права? Это дискурс интеллектуала первого поколения или третьего? Когда я говорю «интерес», я всегда поясняю, что это не интерес в смысле утилитаристов, не непосредственная материальная выгода; речь о намного более сложных интересах, вроде тех, что я упоминал в прошлый раз, когда говорил вам: иметь интерес — значит быть в деле. Например, это означает, что, если ты чиновник или сын чиновника, этот факт уже склоняет тебя, даже если ты об этом не знаешь, к поддержке публичного, в каком-то смысле на бессознательном уровне.

Чтобы связать то, что я говорил вначале, с тем, чем хочу завершить сегодня, скажу, что эти чрезвычайно запутанные и вязкие споры, в которые люди вкладывают свои предельные ценности, проясняются (они стали бы намного яснее, если бы я развил эту тему, но я взял перед собой обязательство закончить на следующей неделе, а потому должен обрисовать вам общую картину всех этих вещей, которые я мог бы развить, будь у меня больше времени), [если помнить] о том, что нужно иметь в виду всю социальную историю проблематики, по которой мы занимаем позицию: нужно понимать, что есть английская история государства, французская, американская, немецкая, что есть логики, общие этим историям, иначе теория генезиса государства (связанного с ролью юристов и т.д.) была бы невозможной. При всем при этом есть различные философии, особенно в период, начавшийся с Французской революции. Первый момент: эти философии расходятся. Второй: по заданным таким образом, то есть по исторически

заданным проблемам, мы занимаем позиции в зависимости от тех позиций, которые мы занимаем по отношению к этим проблемам в пространстве, в котором они производятся, в пространстве, где они обсуждаются. Крайняя запутанность и ожесточенность споров по этим проблемам обусловлены тем, что всё это случаи столкновения разных людей с разным бессознательным: люди не знают, что говорят, когда говорят об этих проблемах. Я попытался [сделать нечто] весьма сложное, поскольку в каждый момент у меня возникают отвергаемые мной ассоциации, которые я хотел бы высказать, чтобы рассеять недоразумения и не допускать упрощений, ведь в случае этих проблем никакая осторожность не будет лишней. К сожалению, логика политического спора не имеет ничего общего с логикой спора научного. И мы далеки от момента, когда можно будет заставить политиков заинтересоваться добродетелью...

## Лекция 12 декабря 1991 года

*Построение политического пространства: парламентская игра. — Отступление: телевидение как новая политическая игра. — От государства на бумаге к реальному государству. — Одомашнивание подвластных: диалектика дисциплины и филантропии. — Теоретический аспект построения государства. — Заключительные вопросы.*

### Построение политического пространства: парламентская игра

**Я** СОБИРАЮСЬ прочитать последнюю лекцию, и это не самая простая задача, поскольку я хотел бы распространить проведенный мной анализ на наше время и попробовать выделить если не выводы, то, по крайней мере, некоторые из составляющих этого анализа, представленного мной на данный момент.

В прошлый раз я специально указал на то, что, с одной стороны, рождается юридическое государство, государство как территория, юридически упорядочиваемая благодаря процессу, который один автор назвал «территориализацией правила», а с другой — одновременно с ним рождается гражданин как фигура, совершенно новая по отношению к понятию подданного. Но чтобы завершить анализ, необходимо вспомнить о другом крайне важном процессе, который в случае Франции происходит одновременно с двумя указанными, — рождение некоего политического пространства, выстроенного социально и юридически, а именно парламента в англосаксонском смысле этого термина, Палаты депутатов и т. д. Продолжая проводить общие исторические сравнения, я считаю очень интересным то, что некоторые из аспектов нововременного государства, которые в других странах, например в Англии, складывались как нечто более органичное, более равномерное, которые формировались медленнее, так что их становление заняло больше времени, во Франции появляются в один момент, вместе с Французской революцией. Я думаю, что исключительность Французской революции — которая, несмотря ни на что, все же является фактом, — и необычный символический

эффект, который она произвела и продолжает производить, возможно, объясняются тем, что все эти разные процессы осуществляются одновременно. В частности, два этих условия производства гражданина, как я их понимаю, а именно государство как юридически урегулированная территория и в то же время место урегулированного применения прав, связанных с принадлежностью государству, то есть парламент, — две эти вещи появляются одновременно. Я вкратце пройду по последнему пункту: наряду с появлением юридического пространства как совокупности граждан, связанных правами и обязанностями с государством и друг с другом, нужно учитывать и появление парламента как места организованного консенсуса или, лучше, места урегулированного разногласия.

Некоторые авторы подчеркивали, что парламент, особенно английский, является историческим изобретением, в котором, если хорошенько вдуматься, нет ничего очевидного: это место, в котором борьба между группами, то есть группами интересов или, если угодно, классами, должна проходить в соответствии с правилами игры, в силу которых все внешние для этой борьбы конфликты становятся чем-то почти преступным. Говоря об этой «парламентаризации» политической жизни, Маркс провел сравнение с театром: в парламенте и парламентаризме он видел своего рода коллективный обман, на который ловятся граждане; такой театр теней затемняет, по его мнению, истинную борьбу, которая проходит в каком-то другом месте<sup>1</sup>. Я думаю, что это систематическое заблуждение Маркса. Я говорил это сто раз, это один и тот же принцип: марксистская критика, вполне верная, становится ложной, как только она забывает включить в теорию то, против чего создается теория<sup>2</sup>. Не было бы смысла говорить, что парламент — это театр теней, если бы люди не считали его чем-то другим. И у такой

---

1. Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. М.: Государственное издательство политической литературы, 1957. Т. 8.

2. См., в частности: Бурдьё П. Начала. С. 32–33.

теории не было бы никакой заслуги. В определенном смысле Маркс преуменьшает свои собственные заслуги, забывая о том, что нечто, против чего он утвердил свою теорию, эту его теорию переживает: Парламент может быть этим местом урегулированных споров, в какой-то мере мистифицированным и мистифицирующим, поскольку эта мистификация составляет одно из условий функционирования режимов и, в частности, закрепления так называемых демократических режимов. Следовательно, парламент — это такое место урегулированного консенсуса или разногласия, ограниченного определенными рамками, которое может исключать как некоторые предметы разногласий, так и, самое главное, некоторые способы выражения разногласий. Люди, не владеющие хорошими манерами выражения разногласий, исключаются из легитимной политической жизни.

### Отступление: телевидение как новая политическая игра

[Этот анализ] можно, не слишком задерживаясь, соотнести с телевидением, которое, к несчастью, стало одним из заменителей парламента. Я говорю то, что может показаться несколько легковесным, но тех, кто хотели бы убедиться, что дело тут сложнее, я приглашаю прочитать книгу Патрика Шампани под названием «Производить мнение»<sup>3</sup>, в которой показано, что современное политическое пространство включает в себя те вещи, которые мы при описании политической сферы обычно не учитываем, а именно организации, занимающиеся опросом общественного мнения, телевидение, политические передачи на телевидении и т. д., — все эти [ставшие теперь значимыми] элементы реального политического пространства. Если вкратце проанализировать логику телевизионных дебатов, как это неоднократно делалось в журнале «Actes de la

---

3. *Champagne P. Faire l'opinion. Le nouveau jeu politique. Paris: Minuit, 1990.*



recherche en sciences sociales»<sup>4</sup>, сразу становится понятным, что речь идет о дебатах, полностью соответствующих определению парламента, которое я только что привел: это споры, урегулированные [таким образом], что для участия в них нужно иметь определенные качества, быть легитимным, быть представительным, что уже достаточно существенное ограничение. Время от времени привлекают, как говорится, «гражданское общество», то есть неполитические фигуры, которых всецело поддерживает население, но это исключение, которое подтверждает и в действительности подкрепляет правило. На самом деле, нужно быть архиепископом Парижа, председателем партии или генеральным секретарем какого-нибудь движения, что уже является ограничением. Наконец, среди классических условий обнаруживается и владение определенным языком, определенной манерой речи... Достаточно вспомнить обо всех инцидентах в тех случаях, когда, к примеру, разгневанные граждане захватывают телестудию, — тотчас отключают антенну и т. д.

[Эта аналогия парламента и телевидения должна показать], что эти вроде бы формальные определения, сформулированные мной, не такие уж невинные: одно из достоинств, о котором я вскоре скажу подробней, генетического анализа в том, что он дебанализирует банальное, и эти определения кажутся нам невинными именно потому, что мы уже настолько интериоризировали их предпосылки, что нам всё это кажется самоочевидным. Я просто хотел дать вам почувствовать то, в какой степени парламентское определение парламента является искусственным и в какой степени исход многих игр в каком-то смысле решается, как только игра определяется в качестве таковой, — и это, естественно, вовсе не антипарламентаризм. Чтобы дать вам

---

4. См., в частности: *Bourdieu P., Boltanski L. "À armes égales": la parade de l'objectivité et l'imposition de problématique // Actes de la recherche en sciences sociales. 1976. No. 2-3. P. 70-73; Champagne P. L'Heure de vérité // Actes de la recherche en sciences sociales. 1988. No. 71-72. P. 98-101.*

это почувствовать, нужно было бы в полной мере развить моменты, на которые я вам просто указываю, надеясь, что вы разовьете их сами.

### От государства на бумаге к реальному государству

Итак, парламент — это институт, пространство, заданное и контролируемое юридически, внутри которого конфликты подлежат урегулированию, и можно сказать, что официальная политика — это то, что допустимо обсуждать в парламенте. Очевидно, это неявное определение само обычно забывается: всякое определение является ограничением, и в конечном счете мы забываем всё то, что им исключено, что фактически вынесено за пределы, задающие это определение, то есть все конфликты, которые, как я бы сказал, немного преувеличивая, в каком-то смысле криминализированы уже тем, что они не соответствуют нормам. Это проблема, преследовавшая рабочих на протяжении всего XIX века: что делать — присоединяться к парламентской игре или же оставаться в стороне? В общем-то, эти дискуссии стоило бы подвергнуть тому историческому анализу, способному сделать банальное небанальным, который я попробовал провести: вступать в игру или не вступать? Какой путь выбрать — устраивать забастовки и манифестации или же обратиться к посредничеству парламентариев?<sup>5</sup> Эти споры были забыты, но их результаты сохранились в нашем бессознательном и в наших институтах.

Два этих института, изобретенных во Франции одновременно, то есть государство как юридическое пространство и парламент, являются в каком-то смысле основанием гражданства: чтобы существовал гражданин в современном смысле этого слова, нужно иметь две эти вещи, которые сами собой не появятся. Гражданин — тот, у кого есть право на ту политическую игру, что была определена ранее, и у кого в определенном

---

5. См.: *Bourdieu P. La grève et l'action politique // Questions de sociologie.* P. 251–263.

смысле есть долг участвовать в политической игре, — так что обязанность голосовать является, к примеру, лишь логичным выводом из определения гражданина. Этот новый институт, французская республика, считающая себя универсальной, — я уже подчеркивал эту двусмысленность, — определяется как национальная, даже если в случае Франции и Французской революции это образование национального сопровождается чувством универсальности. Как я уже говорил, невозможно понять специфическую логику французского колониализма и деколонизации, которая приняла особенно трагические формы, если не знать, что Франция в силу фактических обстоятельств своей истории и революции всегда мыслила себя в качестве носителя универсального. Так что даже ее империализм ощущает себя «империализмом универсального». И я думаю, что даже сегодня для тех же французских интеллектуалов характерно невыносимое высокомерие по отношению к большинству других стран, поскольку они считают себя, к счастью или к несчастью, носителями универсального. Его воплощением является тотальный интеллектual в стиле Сартра<sup>6</sup>: речь не только о политических [деятелях], о голлистской иллюзии, но также об определенной составляющей национального бессознательного, к которому причастны и интеллектуалы, считающие себя вправе поучать [весь остальной] мир. Над этим вопросом следовало бы поразмыслить в связи с проблемами Европы, но я остановлюсь на этом...

Эта французская республика представляет собой юридический институт, опирающийся на конституцию. Соответственно, одна из основных проблем заключается в осуществлении права — в конечном счете, именно это было задачей всех поколений после Французской революции. Как добиться того, чтобы эта французская республика стала тем, чем она желает быть, чтобы это должное, эти обязанности гражданина стали действительными? То, что я собираюсь сказать, можно было бы, в общем-то, подытожить простой фор-

---

6. См.: *Bourdieu P. Pour un corporatisme de l'universel*. P. 459–472.

мулировкой: как сделать так, чтобы «народ» в смысле народных классов стал частью «французского народа»? Слово «народ», как всем известно, имеет два основных значения.

(Я стремлюсь подчеркнуть преемственность, во-первых, потому, что считаю это верным, а во-вторых, потому, что один из простых способов добиться эффекта, создаваемого интеллектуалами, — указать на разрывы: весь шик в том, чтобы заявить, что с чем-то «покончено», — а потому покончили с марксизмом, с социальным, теперь можно говорить о «возвращении» того-то или о «конце» чего-то еще. Это простейшая профетическая стратегия, из-за которой делают немало глупостей. Социологи, особенно французские, постоянно заявляли о появлении новых классов, новых разрывов, мутаций и т. п. Мое ремесло, напротив, состоит в том, чтобы понимать, насколько разрывы и мутации сложны и насколько редко они встречаются... Это своего рода профессиональный перекося, который, возможно, подкрепляется тем впечатлением, которое возникло у меня от всех этих открытий невиданного<sup>7</sup>.)

Одна из проблем, следовательно, в том, чтобы реализовать эту правовую республику. Для этого нужно выполнить работу по построению нации. То есть недостаточно построить государство на бумаге, а государство юристов, государство Французской революции — это именно что государство на бумаге; нужно создать реальное государство. И если не углубляться в подробности — я перепрыгну от Французской революции к 1935 году, но потом вернусь к промежутку между ними, — можно сказать, что *Welfare State* является абсолютно логичным развитием предшествующего: оно лишь выполняет в одном важном пункте, а именно в экономических условиях применения права гражданина, то, что содержалось уже в Декларации прав человека. Маркс проводил различие между правами человека и гражданина или же между формальной свободой и действительной; он говорил о том, что

---

7. Bourdieu P., Passeron J.-C. Sociologues des mythologies et mythologies des sociologues.

Французская революция дала права гражданина, но не права человека. Одна из проблем — сделать так, чтобы права человека соответствовали правам гражданина, а для этого надо каким-то образом ввести в игру «народ». Это удачное выражение: ввести в игру — значит взять в игру, но также дать долю в этой игре. Вся эта диалектика, которую не стоит описывать в макиавеллиевских категориях, в наивных категориях «теории заговора», никоим образом не означает, что кто-то говорит: «Надо дать людям ровно столько, чтобы они приняли участие». Никто так не мыслит... Проблема — сделать так, чтобы народ вступил в игру и увлекся игрой, то есть был захвачен политической иллюзией, но для того, чтобы быть принятым в политическую игру, нужно иметь хотя бы минимальные шансы в этой игре.

Фундаментальный закон теории полей: если у вас в игре нет хотя бы минимальных шансов, вы не будете играть. Чтобы было желание играть, нужны минимальные шансы на выигрыш. Если вы играете в бильярд со своим сыном, нужно дать ему время от времени выигрывать, иначе он скажет: «Не буду больше с тобой играть, ты все время выигрываешь...» Можно сказать, что в определенном смысле весь XIX век представляет собой своего рода работу на этой границе: как дать достаточно, чтобы они нам не мешали? Достаточно, чтобы участвовали, и не слишком много, чтобы они оставили нас в покое? Это тоже очень общий закон: «скромные» категории всегда поднимают такую проблему, — впрочем, и само слово «скромный» интересно. Приведу другой пример: в XIX веке вопрос был в том, как дать учителям начальной школы достаточно образования, чтобы они стали учителями, но не достаточно, чтобы они считали себя преподавателями. Это одна из проблем управления учителем начальной школы, которая, впрочем, возникает постоянно. Как дать людям достаточно для того, чтобы они инвестировали в игру, вложились в нее? Это очень общая модель, [которую можно, к примеру, перенести] на пресловутое «участие» рабочих в делах предприятия. Как дать достаточно, чтобы [наемные работники]

принимали участие, чтобы они вкладывались, увлекались, верили, чтобы они делали то, что нужно, отдавались работе?

### Одомашнивание подвластных: диалектика дисциплины и филантропии

*Welfare State* — продукт [этой дилеммы]. Очевидно, никто не ставит проблему в таких категориях. Например, в «Институте политических исследований» <Sciences-Po> несколько лет назад это преподавали, но сегодня перешли к [другим темам], и об этом больше не говорят. То есть появляется проблема, как управлять социальным. Всё [кажется] противоречивым, в каждом случае возможно утверждать что-то одно и прямо ему противоположное, но никакого противоречия не возникает: государство будут создавать с народом, но также и против народа. Например, будут работать над «одомашниванием подвластных» — это не мое выражение, я цитирую Макса Вебера. (Специалисты по Макс Веберу никогда не читают Макса Вебера, который стал важным оружием против Маркса, тогда как сам он себя называл марксистом, что смущает как марксистов, так и веберianцев.) Макс Вебер говорил об «одомашнивании подвластных»: определенная часть работы государства ориентирована на эти опасные классы, которые надо приручить, ввести в игру. В то же время можно сказать, что речь о том, чтобы помочь подвластным, вырвать их из того невыносимого состояния нищеты, в котором они пребывают. Соответственно, у филантропов крайне важная роль в изобретении современного государства, особенно государства всеобщего благосостояния, по отношению к которому они выступают тем же, чем юристы Средневековья были для революционного государства, если следовать моему описанию: филантропы были людьми, которые, ничтоже сумняшеся, смешали одно государство с другим... Теории в стиле Элиаса и Фуко меня немного раздражают, поскольку в них фиксируется исключительно дисциплинарный аппарат государства. Но государство не смогло бы работать, если

бы оно было исключительно одомашниванием: на самом деле оно представляет собой еще и помощь, филантропию и т. п.

Строить нацию, государство, строить нацию на основе государства — значит поддерживать «интеграцию» подвластных. Интеграция — это слово, которое часто использовалось в различных политических контекстах и которое иногда всплывает и сегодня, но у него два значения. Это движение к центру, это участие в *illusio* (вступление в игру), и в то же время интеграция противопоставляется отделению, факту выхода из государства. Один из моментов, о котором забывают и который обнаруживается, к примеру, когда движения против государства принимают национальную форму, в том, что одна из альтернатив, встречающихся в ситуации борьбы, — альтернатива между интеграцией или ассимиляцией и отделением, причем отделение может принимать форму раскола. Мы стали свидетелями распада государства<sup>8</sup>; вся моя работа состояла в том, чтобы показать, как образуется государство, но можно было бы провести работу почти с тем же успехом, отправляясь от распада государства. Генезис и инволюция, как говорили некоторые эволюционисты, имеют одну и ту же способность к дебанализации: распад государства позволяет увидеть всё то, что было заложено в функции государства и что является само собой разумеющимся, в частности границы и все условия единства. Распад государства позволяет увидеть, что создание национального единства осуществляется в противовес сепаратистским тенденциям, которые могут быть региональными, но также могут [брать начало] в [социальных] классах. Могут происходить отделения по типу гражданской войны, но также бывает и фактическое отделение, когда, например, гетто Чикаго оказывается в положении изолированной территории: полиция туда больше не заходит, это государ-

---

8. Курс читался в период, позже названный «Балканской войной», которая помимо прочего привела к распаду Югославии: в Словении война шла в июне-июле 1991 года, в Хорватии она началась в августе того же года, а в Боснии — с апреля 1992 года.

ство в государстве или негосударство в государстве<sup>9</sup>; существуют формы преступности, являющиеся формами отделения...

Вернусь к центральному моменту. Создавать государство, создавать нацию — значит каким-то образом управлять двумя относительно независимыми комплексами феноменов. Во-первых, управлять последствиями взаимозависимостей властвующих и подвластных — здесь я упомяну мимоходом работу одного голландского антрополога, социолога и историка, Абрама де Сваана, который изучал роль, которую в рождении государства сыграли крупные эпидемии<sup>10</sup>. Это сложная книга, пересказ которой потребовал бы не менее часа, но я скажу кратко и просто обрисую схему: эпидемии, как и аварии на атомных станциях — это интересная аналогия, — не имеют классовых границ. Аварии на атомных станциях не удержишь внутри границ, и, быть может, именно от них следует ждать появления универсального государства, поскольку в такой ситуации у всех один и тот же общий интерес, — во всяком случае у всех правителей всех стран достаточно понимания и в то же время заинтересованности в том, чтобы ограничить распространение опасности, и от этого можно ждать появления того, чем мы частично обязаны эпидемиям. Например, именно эпидемиям мы обязаны канализационной сетью. (Я схематизирую и прошу у вас за это прощения, поскольку это кажется простоватым лозунгом.) Канализационная сеть, представляющаяся типичным государственным проектом, является организованным коллективным ответом на то, что опасные

---

9. По этой теме см. No. 124 (1998) журнала «Actes de la recherche en sciences sociales» «От социального государства к уголовному» («De l'État social à l'État pénal») и статью Лоика Вакана «Америка как утопия наоборот»: *Wacquant L. L'Amérique comme utopie à l'envers* // *La Misère du monde* / P. Bourdieu (dir.). P. 169–179.

10. *Swaan A. de. In Care of the State: Health Care, Education and Welfare in Europe and the USA in the Modern Era.* Cambridge, Polity Press, 1988 (французский перевод опубликован после курса: *Idem. Sous l'aide protectrice de l'État* / L. Bury (trad.). Paris: PUF, 1995).



классы объективно опасны: они являются носителями микробов, болезней и т. п.

В политике, соответствующей правильно понятому интересу филантропов XIX века, всегда содержался такой элемент: опасные классы, подвластные, объективно являются опасными, поскольку они носители нищеты, заразы, инфекции и т. д. Я думаю, что в коллективном бессознательном все эти вещи все еще присутствуют: достаточно намекнуть на это, заговорив о «психическом СПИДе»<sup>11</sup>; когда ультраправые манипулируют метафорой болезни, они пробуждают пережитки всех этих вещей, которые, я думаю, по-прежнему заперты где-то в глубине коллективного бессознательного. Подвластные классы объективно опасны, и правильно понятый интерес склоняет к тому, что было названо «коллективизацией рисков»: нужно ответить коллективными мерами на опасности, которые грозят всем. То есть можно сказать, что один из двигателей филантропии и в то же время *Welfare State* — и это всегда была одна из сторон роли филантропов, которые интересовались политикой здравоохранения и политикой поддержания экономического и символического порядка, — [заклучался] в одомашнивании подвластных, в их обучении калькуляции и экономии. Важная роль школы в XIX веке состояла в минимизации угроз — как говорят сегодня — со стороны подвластных. Один из способов минимизировать эту опасность как раз в том, чтобы учесть все случаи, когда интересы властвующих и подвластных зависят друг от друга, как, например, при холере.

Второй аспект: подвластные опасны еще и потому, что они мобилизуются, протестуют, устраивают голодные бунты, угрожают не только общественному здоровью, но также коллективной безопасности и общественному порядку. В то же время существует заинтересованность

---

11. Во время манифестаций лицеистов и студентов против законопроекта Деваке, одна из мер которого состояла в расширении прав поступления в университет, основатель журнала «Figaro» Луи Повель заявил, что молодые манифестанты больны «психическим СПИДом».

в порядке, которая, очевидно, тем больше, чем выше место человека в социальной иерархии, но при этом она никогда не равна нулю: Альберт Хиршман показал, что всегда есть выбор между *exit* (выходом) и *voice* (протестом)<sup>12</sup> — альтернатива несколько очевидная, но все равно полезная. У подвластных есть выбор между выходом, исключением, диссидентством или отделением и протестом, который является способом остаться в системе. Эта альтернатива, однако, не учитывает того, что подвластные несут свои издержки в случае отделения, связанные с утратой прибылей от порядка; и я повторю, что прибыли от порядка никогда не бывают ничтожными. Подвластные в каком-то смысле принуждают властвующих к уступкам, и в значительной части эти уступки связаны с угрозой отделения, они нацелены на то, что называют социальным, социальными преимуществами.

(Филантропы XIX века, которые в каком-то смысле являются левым флангом правых или правым флангом левых, — это крайне двусмысленные люди, и именно поэтому очень интересные. Например, в определенных контекстах эту роль сыграли протестующие собственники предприятий, в других — еврейская буржуазия и т. д. Часто это подвластные властвующие, у которых есть характеристики властвующих, но при этом они имеют вторичные качества, в силу которых относятся к подвластным, — и часто это применимо к интеллектуалам, которые тоже подвластные властвующие. Эти филантропы — я скажу об этом вкратце, но это на самом деле большая история со многими этапами — создали дискурс, объединяющий в себе два качества, а именно взаимозависимость властвующих и подвластных, что в логике правильно понятого интереса требует уступок подвластным. Если вспомнить о сегодняшней проблеме иммиграции, вы можете понять: мне кажется, что

---

12. Hirschman A. O. Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge: Harvard University Press, 1970 (французский перевод опубликован после курса: *Idem*. Défection et prise de parole // C. Besseyrias (trad.). Paris: Fayard, 1995).

к ней напрямую применимо то, что я говорю: «В любом случае они уже здесь, нужно жить вместе с ними, следовательно, нужно дать им тот минимум, чтобы они были спокойны». Мы опять же сталкиваемся с этой взаимозависимостью властвующих и подвластных, а также с предвосхищением возможного насилия, предвосхищением опасностей. То есть филантропы — это люди, которые всегда находятся в специфическом дискурсе, одновременно дескриптивном и нормативном. Часто это ученые; а социологи — это стихийные филантропы... Вот к чему примерно я хотел прийти, так что закрою на этом скобку.)

Филантропы как авангард властвующих, являющиеся при этом подвластными среди властвующих, превратили себя в пророков унификации: они постоянно выступают пророками унификации всех рынков, в особенности культурного рынка. [С этой точки зрения,] максимально большому числу людей следует дать доступ к культуре, поскольку доступ к национальным кодам, например к национальному языку, понимается в качестве условия возможности осуществления прав гражданина; начальное образование считается поэтому условием осуществления гражданских прав. Филантропы стали пророками двух форм распределения: они хотят, чтобы распределялся доступ к национальным кодам, в частности к национальному языку, письму и т. д.; одновременно они хотят, чтобы распределялись минимальные экономические и социальные условия осуществления прав гражданина, ставшего возможным благодаря доступу к национальным кодам, — то есть они требуют политического участия, участия, обеспеченного, к примеру, гарантированной минимальной заработной платой. Можно сказать, что это чрезвычайно сложная и сверхдетерминированная работа по интеграции в центральный порядок, работа по морализации подвластных: филантропы — большие моралисты. Это работа по политизации — можно даже сказать национализации. Это работа, нацеленная на создание национального габитуса, который может включать в себя усвоение через гражданскую религию национальных, даже националистических ценностей, — здесь следова-

ло бы развить всё то, что связано с этой морализацией, которая время от времени снова всплывает на поверхность, когда, к примеру, начинают говорить о закредитованных семьях. Но в XIX веке вопрос, преследовавший филантропов, а потому и систему образования, формулировался так: как дать подвластным элементарные средства управления экономикой домашнего хозяйства? То есть как приучить подвластных к рациональному экономическому подсчету и к рациональному распорядку времени, привив им экономность и разоблачив их желание получить все и сразу, как научить их сдерживать себя, копить, регулировать рождаемость... научить всем тем вещам, которые связаны друг с другом и чьим основанием выступает определенная установка по отношению ко времени, перспективное представление времени<sup>13</sup>. Нужно было бы всё это развить, но я лишь обозначаю тему. Я хотел бы, напротив, чуть больше задержаться на идеальном, концептуальном и теоретическом аспекте построения современного государства как государства всеобщего благосостояния, хотя основное я уже сказал между строк всего того, что успел на сей момент сказать.

### Теоретический аспект построения государства

Я хотел бы вкратце рассмотреть этот теоретический аспект, важный по ряду причин: я полагаю, что он важен для понимания, во-первых, того, чем являются современные государства, а во-вторых, происхождения сегоднего, то есть разрушения этой столетней конструкции<sup>14</sup>. Мне нужно было бы провести по этому вопросу работу,

---

13. *Bourdieu P.* La société traditionnelle. Attitude à l'égard du temps et conduite économique // *Sociologie du travail*. 1963. No. 1. P. 24–44, переиздано в: *Idem.* Esquisses algériennes. Paris: Seuil, 2008. P. 75–98. См. также: *Idem.* Algérie 60. Structures économiques et structures temporelles. Paris: Minuit, 1977.

14. Эта тема будет использована в выступлении П. Бурдьё по поводу социального движения в 1995 г.: *Bourdieu P.* Contre la destruction d'une civilisation // *Contre-feux*. Paris: Raisons d'agir, 1998. P. 30–33.

равнозначную той, что я проделал с юристами. Есть несколько работ, которые идут в этом направлении, например американских юристов, [неразборчиво]: это исследование развития прав на возмещение ущерба, компенсации; это очень хорошее исследование, являющееся на самом деле исследованием политической философии, генезиса философии управления виной и нищетой. Является ли нищета чьей-то виной? Типичный для XIX вопрос, который снова входит в моду. Отвечает ли за нее индивидуальная свобода — сегодня объявляют о возвращении индивида, либерализма и свободы — или же с ней можно работать коллективно, поскольку она связана с коллективными причинами? Вот вопросы, которые ставили многие теоретики, филантропы, философы и т. д. Я просто напому их контекст, очень поверхностно.

Один из главных вопросов, с точки зрения построения государства в XIX веке, — это вопрос об ответственности за ошибки: кто виноват? И неслучайно то, что французские философы и социологи конца XIX века столько рассуждали об ответственности: что такое ответственность — частное это дело или общественное? Призывать ли к ответственности индивидов или же общественные инстанции должны брать ответственность на себя? Поскольку, в конечном счете, именно государственные власти ответственны за истинные причины, скрытые под мнимой ответственностью агентов. Вторым способом поставить этот вопрос: нужно ли винить виновника или его нужно понимать? Разве общая функция определенного типа либеральных теорий, которые расцвели сегодня и против которых была изобретена теория *Welfare State*, не состоит в том, чтобы создать возможность винить жертв, сказав: «Они бедны, но это их вина»?<sup>15</sup> Например, видно, что коллективное сознание постоянно испытывает скрытое, глубоко спрятанное, но непреходящее желание дать такой ответ больным СПИДом... Нужно было бы изучить социальную историю этой этической революции, которая произошла, я думаю, в XIX веке, отыскав свидетельства именно

15. См.: Ryan W. Blaming the Victim. New York: Pantheon Books, 1971.

в юридической системе, играющей, разумеется, главную роль. Это старый рецепт Дюркгейма: если вы хотите изучить мораль, возьмитесь за право<sup>16</sup>. Нужно было бы взять право и посмотреть, как был осуществлен переход от логики социального обвинения к логике социальных издержек — это понятие сегодня стало совершенно банальным, но на самом деле это удивительное изобретение. В журнале «*Actes de la recherche en sciences sociales*» вышла статья Реми Ленуара о несчастных случаях на производстве<sup>17</sup>: если упрощать, вопрос в том, кто должен отвечать за несчастный случай на производстве — рабочий, который является его очевидной причиной, или же структуры, в которые он включен? На стадии зарождения капитализма жертвы индустриализации сами несли ее издержки в соответствии с логикой, которую можно было бы назвать принципом обвинения, принципом вины: жертва ответственна за собственную ошибку, за случившееся. Изучая право, можно было бы увидеть, как эта логика вины и халатности постепенно сменяется логикой общественного интереса и коллективного риска: халатность является делом индивида, тогда как риск является объективной данностью, которая может измеряться через вероятности, что, в частности, играет очень важную роль в страховании. Следовательно, к чему отсылает несчастный случай — к индивиду или же к коллективной способности платить, то есть к социальным издержкам?

Среди вас есть люди, которые, несомненно, знают эту историю лучше меня, но я думаю, что стоило бы перечитать историю права не на ее собственном уровне, а на более высоком, принимая каждое событие в области права за индикатор чего-то другого и как объективированный продукт всех этих дискуссий, в которых чрезвычайно важен теоретический аспект [построения государства]. Я хотел сказать, что филантропы для

---

16. *Durkheim E.* Morale et science des moeurs // Textes. T. II. P. 255 ff.

17. *Lenoir R.* La notion d'accident du travail: un enjeu de luttes // Actes de la recherche en sciences sociales. 1980. No. 32–33. P. 77–88.

*Welfare State* являются тем же, чем юристы были для дореволюционного государства, то есть их [представления о государстве] — это не просто теории, это теории, которые создают реальность. Сказанное мной о юристах применимо к филантропам. Очевидно, что социальные науки участвуют [в этом процессе]. В этом курсе по государству я как-то делал критическую прерамбулу, которая заняла очень много времени, когда я попытался выявить все эти накатанные дорожки мышления, всю путаницу, связанную с государством, и особенно всё то бессознательное, которое мы можем тащить за собой из-за того, что социология сама участвовала в рождении государства. Я, по-моему, посвятил четыре лекции социальной истории отношений государства и социальных наук. Последние сыграли важнейшую роль, можно сказать, что они были напрямую заинтересованы в социализации рисков, в социальном, в публичном, вот почему их презирают во времена вроде нашего... Я процитирую одного социолога, одного из основателей социологии, но это либеральный социолог, Спенсер, которого больше никто не читает: «Индивид — это действенное творение»<sup>18</sup>. Индивид — это действенное творение, в обычном случае это хозяин своей собственной судьбы, а потому он отвечает за свою жизненную ситуацию: вот определение индивида, это чистое определение либерализма, который не рискует себя утвердить. Эссеисты говорят сегодня о «возвращении индивида», эссеисты — это всегда люди перформатива, полная противоположность филантропов, и современные эссеисты разрушают то, что создали филантропы. Когда они говорят о «возвращении индивида», это одновременно и констатация, и пророчество; это способ сказать: «Да здравствует возвращение к ответственному индивиду!», творению, являющемуся действующей причиной и, как правило,

---

18. Здесь П. Бурдьё, несомненно, переводит непосредственно с английского. Об отношении Спенсера к государству см., например: *Spencer H. L'Individu contre l'État / J. Gerschel (trad.)*. Paris: Alcan, 1885 [1884]; *Idem. Le Droit d'ignorer l'État / M. Devaldès (trad.)*. Paris: Les Belles Lettres, 1993 [1892].

хозяином своей судьбы, а потому ответственному за собственную жизненную ситуацию, то есть творению, которое можно винить, если оно стало жертвой, которое можно ругать за дефицит социального страхования, и т. д.

С одной стороны, социальные науки были построены в противовес этой философии индивидуализма, существовал своеобразный общий фронт всех социальных наук, включая биологию. Есть одна замечательная статья, в которой развитие мышления в категориях коллективного риска связывается с открытием микробов, с Пастером<sup>19</sup>: открытие микробов работало на коллективизацию рисков; если микробы существуют, значит индивиды не ответственны за собственные заболевания. В те времена открытие микробов стало одним из доводов в пользу социализации рисков и растворения индивидуальных ответственностей в социальном — можно было бы провести аналогию с современной генетикой. Я недавно написал предисловие к книге американского социолога Тройя Дастера<sup>20</sup>, эта книга показывает [социальное] использование генетики, за которое генетики не несут ответственности. Сегодня генетика все больше распространяется среди правящих кругов [США], и мы видим, что к ней все чаще обращаются, чтобы объяснить генетическими факторами нищету, школьную неуспеваемость, преступность и т. д.

Социальные науки по своим интересам связаны с заменой индивида системами отношений, в которых он состоит. Если дать социологу, даже очень плохому,

---

19. Здесь П. Бурдьё, несомненно, ссылается на статью Джеральда Л. Джейсона: *Geison G. L. Les à-côtés de l'expérience // Les Cahiers de Science & Vie* («Pasteur: La tumultueuse naissance de la biologie moderne»). 1991. No. 4. P. 69–79. Спустя несколько лет этот автор опубликует книгу «Частная наука Луи Пастера» (*Idem. The Private Science of Louis Pasteur*. Princeton: Princeton University Press, 1995), которую П. Бурдьё будет цитировать в «Науке науки и рефлексивности» (*Bourdieu P. Science de la science et réflexivité*. Paris, 2001.)

20. *Duster T. Backdoor to Eugenics*. New York: Routledge, 1990 (французский перевод опубликован после курса: *Idem. Retour à l'eugénisme / C. Estin (trad.)*. Paris: Kimé, 1992).



задание изучить аварию с автобусом на дороге Париж — Авиньон, он очень быстро придет к мысли, что это не вина шофера, — что как раз было бы простым и монокаузальным объяснением, — поскольку дорога была скользкой, поскольку народ возвращался из отпуска, поскольку было сильное движение, поскольку шоферам плохо платят и они, соответственно, вынуждены много работать и сильно устают и т. д.; объяснение в категориях прямой ответственности, возлагаемой на свободного индивида, он заменит системой сложных факторов, вес которых необходимо оценить... У социальных наук была очень важная роль в создании того умонастроения и той философии, которые стали частью *Welfare State*. Я говорю это, чтобы показать, что *Welfare State* возникло не в один миг после большого кризиса [1929 г.], оно подготавливалось в течение длительного времени, в работе всех этих идеологов, юристов, филантропов и т. д. Нужно было бы исследовать также и принципы этой этико-политической трансформации на предприятии. Есть очень известная, классическая книга Бернхема, в которой описывается то, что потом вошло в оборот и повторялось всеми подряд, а именно переход от *owners* (собственников) к *managers*, то есть от предприятия, находящегося во владении одного человека, руководителем которого был его собственник, к предприятию, управляемому группой людей<sup>21</sup>. На уровне коммерческого права, на уровне логики функционирования предприятий осуществляется значительная работа, которая сопровождает только что упомянутый мной процесс, то есть переход от систем, ответственность за которые можно вроде бы возложить на одного человека, к сложным системам, в которых наблюдается взаимопереплетение публичного и частного, разных решений, а также руководителей, принимающих решения, и их подчиненных. Все эти изменения обнаруживаются и на уровне государства; этот момент следовало бы развить, но я не буду останавливаться... По сути, этим наброском исследовательской

---

21. Burnham J. L'Ère des organisateurs / H. Claireau (trad.). Paris: Calmann-Lévy, 1947 [1941].

программы я хотел сказать то, что так называемое государство всеобщего благосостояния было подготовлено рядом реальных изменений в институтах, которые сами находились с теоретическими изменениями, изменениями образа мысли, в перформативном отношении того типа, что я описывал на примере отношений юристов и государства.

Наконец, невозможно понять современное государство, не понимая такой культурной революции — я думаю, этот термин здесь уместен, — которая совершенно необычна, которая расходится со всеми мыслительными привычками. Я намеренно заговорил о вине шофера, чтобы напомнить вам, что стихийно мы думаем именно так: обыденное мышление, даже у социологов, когда они разнервничаются, является монокаузальным, упрощающим суть дела, [оно скрывает в себе] все те ошибки, в противовес которым были выстроены научные методологии. Обычные агенты стихийно совершают такие ошибки, особенно в критической ситуации: когда происходит несчастный случай или катастрофа, начинают искать виновных. И верно то, что одна из сложностей истории [как дисциплины] состоит в том, что историки должны постоянно бороться с этим искушением, заставляющим искать виновных. Вместо того чтобы, к примеру, изучать то, какова была структура отношений в III Республике или при Петене, они часто подпадают под власть своего бессознательного и исходящего от публики требования ответить на вопрос: кто на самом деле виноват? При применении правильного метода такой вопрос должен исключаться, что не означает, что нет людей, которые несут ответственность в большей мере, чем другие.

Я упомянул об этом предреволюционном процессе, который привел от частной ответственности к публичной, — его следовало бы описать подробнее, но я просто обозначу вопрос. Этот процесс связан круговым причинно-следственным отношением, но не диалектикой, — которая, в отличие от такого кругового отношения, мало что объясняет, — с развитием процесса страхования. Есть прекрасные работы по рождению системы страхования, самого мышления в категориях

вероятностей, рисков, просчитываемых рисков, то есть рисков, которые можно разделить и принять коллективно<sup>22</sup>. Следовало бы проанализировать здесь развитие ментальности, которую можно назвать «страховой». Страхование может быть социальным, то есть страхованием, которое предоставляет государство, или индивидуальным, причем государство может сделать индивидуальное страхование обязательным. Эта коллективная философия далеко не невинна, что я попытался показать в своей книге о Хайдеггере<sup>23</sup>, поскольку последний критиковал понятие социального обеспечения — *Soziale Fürsorge*, причем это понятие <Fürsorge> было у Хайдеггера фундаментальным понятием теории времени, которое часто переводят «предвидением», «опекой», «предвосхищением»<sup>\*</sup> и т. д. Это понятие связано с коллективным страхованием, в противовес которому строится философия Хайдеггера: весь хайдеггеровский дискурс подлинности, свободы и т. п. является своего рода экзальтацией спенсеровского индивида, хозяина своим поступкам, который никому не делегирует, особенно государству, заботу об управлении собственным будущим. Хайдеггеровский индивид — это идеальный индивид современной технократии, то есть индивид, который решительно идет навстречу рискам, угрожающим безопасности, всему тому, что гарантирует социальное обеспечение, в том числе навстречу смерти. Эта философия, разработанная коллективно, стала частью бессознательного, в том числе у людей, которые сегодня с ней борются: забавно видеть, как философия *Welfare State* возвращается в дискурсы методологических индивидуалистов и других этнометодологов — представляющих другую форму возвращения индивидуализма.

---

22. См., например: *Allo É. L'émergence des probabilités // Actes de la recherche en sciences sociales. 1984. No. 54. P. 77–81; Idem. Un nouvel art de gouverner: Leibniz et la gestion savante de la société par les assurances // Actes de la recherche en sciences sociales. 1984. No. 55. P. 33–40.*

23. *Бурдые П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера. М., 2003.*

\* Перевод В. Бибикина — «заботливость». — *Примеч. пер.*

## Заключительные вопросы

У меня есть пять минут на то, чтобы попробовать сделать некоторые выводы. Прежде всего и если вкратце, почему нужно было делать столь длинный исторический заход? Почему нужно было ставить эти генетические вопросы, практически нескончаемые, но все равно очень поверхностные? Я совершенно убежден, что никогда не удастся полностью освободиться от очевидности социального; и среди инструментов производства очевидности, чувства очевидности государство, несомненно, является наиболее мощным. Я уже приводил вам цитату из замечательного текста Томаса Бернхарда, который в своих «Старых мастерах» говорит, что государство у всех нас сидит в голове. Сделать такой кружной путь через генезис — значит дать себе некоторый шанс уйти от мысли государства, что является одним из эмпирических способов осуществления радикального сомнения. Это, с моей точки зрения, главная задача истории: дать инструменты, позволяющие сделать банальное небанальным и естественное неестественным [...]. Особенность удавшейся социализации состоит в том, что она заставляет забыть о социализации, дает иллюзию врожденности приобретенного, что я называю амнезией генезиса. Против амнезии генезиса есть только одно средство — генетическое мышление. Можно было бы пойти иным путем и изучить распад государства — можно взять распад современного Советского Союза, но также и всё то, что происходило в момент отделения от Франции Алжира, территории, которая считалась частью национальной территории. Всё естественное, всё то, что исключалось из обсуждения, внезапно становится вопросом: вопрос о границах, вопрос о том, кто гражданин, а кто нет, вопрос об условиях гражданства. Сепаратистские войны — еще один пример, который можно было бы продумать в этой логике: такие войны являются социологическими войнами, своего рода социологическими экспериментами, которые выводят на поверхность сознания и дискурса всё то непродуманное, что обычный порядок считает достигнутым и допущенным. Сепаратистские войны

принадлежат числу самых жестоких — об этом говорит пример Югославии, — и причина, несомненно, в том, что они ставят под вопрос ментальные структуры.

В революциях всегда присутствует определенный символический аспект. Например, символическими революциями являются великие религиозные революции. Май 68 был [возможно] ложной революцией, но он воспринимался как истинная революция, и это по-прежнему оказывает воздействие, поскольку он коснулся ментальных структур всего академического корпуса во всем мире. Символические революции приводят к ужасному насилию, поскольку они посягают на здравость рассудка, поражают самое существенное, что есть у людей, то есть это вопрос жизни и смерти. Символические революции, внешне совершенно невинные, вроде той, что была произведена в живописи Мане (революция, которую я в настоящее время изучаю и по которой, возможно, когда-нибудь опубликую работу), [способны поставить] вопросы о том, почему это приводит к такому ожесточению, ведь это всего лишь революция в живописи. Собственно, я поставил себе задачу понять, почему внешне символическая революция — в смысле «это чисто символически», то есть «это ничего не значит», — почему революция, внешне кажущаяся совершенно невинной, могла привести к вербальному насилию ничуть не меньше, чем речи Маркса: Мане точно так же ненавидели, презирали, его точно так же поносили и ругали, как и Маркса. Я думаю, что все эти случаи представляют собой революции, затрагивающие ментальные структуры, то есть фундаментальные категории восприятия, принципы видения и разделения, номос: эти революции заставляют вас сказать, что дальнее стало близким, высокое — низким, мужское — женским и т. д. Именно потому, что эти революции бьют по духовной целостности, они порождают значительное насилие. Революции, связанные с сепаратизмом, то есть бьющие по национальному единству — что мы и видим в случае Югославии<sup>24</sup>, — интересны тем, что они действуют на манер экспериментов, проясняющих

---

24. См. примечание к с. 650.

те самые вещи, которые обнаруживает генетический анализ.

Оправдав обращение к генетическому методу, я хотел бы [напомнить его результаты] с точки зрения того, чем является государство. Я не буду повторять все выводы, касающиеся современной структуры государства, поскольку считаю, что высказал их по мере изложения [курса], когда, к примеру, говорил о монополии на символическое насилие. Я хотел бы просто напомнить то, что можно понять в актуальной работе государства, отправляясь от этой исторической реконструкции генезиса.

Прежде всего, пара слов по поводу того, что можно назвать бюрократическим полем, то есть пространством агентов и институтов, у которых есть этот вид метавласти, власти над всеми полями: бюрократическое поле представляется полем, возвышающимся над всеми остальными полями, полем, где утверждаются различные меры — например, экономические, скажем субсидии, или юридические, такие как правила выхода на пенсию, и т. д. Бюрократическое поле как поле, в котором утверждаются нормы, касающиеся других полей, само является полем борьбы, в которой замечен след всех предшествующих эпизодов борьбы. Я считаю, что это чрезвычайно важная вещь. Например, постоянно проводят различие, даже в Институте политических исследований, между финансовыми министерствами и расходными, различие, которое является следом истории: расходные министерства — это в целом министерства государства всеобщего благосостояния, они рождены в процессе, который я сегодня в общих чертах описал, это место, в котором в каком-то смысле закреплены следы завоеваний, — и их можно назвать иначе: это социальные министерства. Тогда как агенты, которые заняты в этом универсуме, ведут борьбу внутри государства, в котором обнаруживаются все общественные подразделения. Борьба за государство, борьба за присвоение метавластей, которые держит в своих руках государство, проходит также в самом государстве — здесь я пытаюсь описать в несколько кавалеристском стиле крайне сложные вещи. Главная цель политической

борьбы привлекает агентов, внешних бюрократическому полю, которые, однако, гомологичны агентам, вписанным в это бюрократическое поле и в борьбу, ему свойственную.

Я еще раз очень вкратце это объясню. Государство — это определенное пространство. Возьмем пример, который в настоящее время изучает Реми Лемуар<sup>25</sup>, — я возьму его, поскольку вы знаете его благодаря детективным романам. В детективах всегда есть комиссар и судья: две категории государственных агентов. В описании социального пространства они находятся относительно близко друг к другу. Но в то же время они разделены рядом систематических различий: у комиссаров более простое и провинциальное социальное происхождение (часто они с юго-востока Франции), часто они первыми в своем роду получают такую должность; судьи же более буржуазны, чаще парижане, более ревностные католики. Это в каком-то смысле близко к различию левых и правых, но это не схема, в которой большие левые противостоят большим правым. Они начинают бороться друг с другом, и в государстве в результате начинается маленькая «гражданская война», — я мог бы найти пример и в системе образования, где всё примерно то же самое, — в которой протагонисты начинают использовать оружие, данное государством, государственные инструменты: один будет применять устав, а другой делать упор на расписание; один будет затягивать, а другой ускорять и т. д. Все эти формы борьбы в микрокосме бюрократического поля гомологичны: это означает, что они имеют одну и ту же структуру. Обобщить это можно так: есть государство правой руки и государство левой руки<sup>26</sup>. Взять те же ранги выпускников «Национальной школы управления» <ENA>: если вы выпускаетесь с первым рангом, вы станете инспектором финансов, то есть вы будете за госу-

---

25. *Lenoir R.* Un reproche vivant. Paris, 1993.

26. Об этом вопросе см.: *Bourdieu P.* La démission de l'État // *La Misère du monde*. P. 219–228. Дополнительное развитие этой темы см. в: *Idem.* La main droite et la main gauche de l'État // *Contre-feux*. P. 9–17.

дарство правой руки; если же вы заканчиваете с низким рангом, вы окажетесь в социальных министерствах, в образовании и т. д. Иерархия рангов отражает социальную иерархию, следовательно, внутри государства постоянно идет борьба между двумя этими государствами — правой руки и левой. И это не простой фронт, это целый ряд вторичных полей.

В работе, которую я посвятил правительственной жилищной политике и которую я вам неоднократно цитировал, я выстроил пространство людей, работавших в комиссиях, которые должны были определить новые нормативы, по которым будут выдаваться государственные займы на строительство. Это чрезвычайно важная ставка, поскольку она включает, в частности, выбор между коллективным жильем и индивидуальным. В этом пространстве было как раз то, что я только что вам описал: были инспектора финансов, которые в начале исследования находились на стороне государства, но к концу часто оказывались в частном банке, что создало для меня определенные проблемы с кодированием; были также инженеры из горнодобывающего управления, инженеры управления мостами, которые в этом случае воплощают в себе государство левой руки, поскольку они тесно связаны с коллективом, с муниципальным жильем и т. д., — если бы закон изменился, их позиция в государстве оказалась бы ослаблена; были избираемые лица и т. д. Все эти люди образовали определенное поле, пространство игры, в котором они обмениваются оскорблениями и ударами, в котором они призывают верховные власти, занимаются лоббированием, пишут письма президенту республики и т. д. Это пространство игры по своей структуре само гомологично социальному пространству; и наименее защищенные интересы, которые были тесно связаны с муниципальным жильем, защищались людьми, которые сами были тесно связаны с интересами подвластных, поскольку они находились в институтах, обязанных своим существованием борьбе подвластных или деятельности филантропов, говорящих от лица подвластных.

Государство левой руки всегда находится под угрозой, и особенно в этот момент, при левом правительстве.



Я думаю, что это стоило бы развить, и я мог бы снова рассмотреть каждый из моментов, которые я изучал в связи с рождением философии государства всеобщего благосостояния, моменты в области права, в социальных науках, коммерческой деятельности и в государстве; я мог бы показать в каждом из этих пунктов, как двадцать последних лет привели к разрушению всего того, что строилось начиная с XVIII века. Идет систематическая работа, в которой значительное участие принимают идеологи, которых мы часто видим в газетах; это значительная работа по демонтажу коллективной морали, публичной морали, философии коллективной ответственности и т. д. В ней участвует и ряд социологов, что представляется в каком-то смысле парадоксом, поскольку социология едва ли не по определению за коллективность. Но есть люди, которые совершают такой переворот, занимаются социологией, противоречащей фундаментальным постулатам своей дисциплины, социологией, которая выступает за снос, если можно так сказать, всего того, что связано с публичным, с государственной службой, с этой формой универсализации посредством публичного.

Я сейчас закончу — и на этот раз это действительно конец, хотя мне никак не удастся закончить, поскольку мне еще столько всего надо сказать и я мог бы, на самом деле, говорить еще очень долго. Недавно я прочитал статью Хельмута Бруннера о кризисе древнеегипетского государства под названием «Религиозный ответ на коррупцию в Египте»<sup>27</sup>. Перескажу вам основную мысль статьи: в период после амарнской ереси<sup>28</sup> наблюдается своего рода разложение духа государственной службы, идеи божественной воли, связанной с идеей государства. Упадок представления о справедливости государства, о том, что оно является выра-

---

27. *Brunner H. Die religiöse Antwort auf die Korruption im Ägypten // Wolfgang Schuller (dir.). Korruption im Altertum, Colloque de Constance. Munich, Vienne, Oldenbourg, 1982. P. 71–77.*

28. Амарнской ересью называют религиозную реформу Аменхотепа IV (Эхнатона), который, ведя борьбу со священниками, навязал единобожие бога Солнца, исключив весь остальной египетский пантеон.

жением божественного, сопровождается двумя вроде бы не связанными друг с другом явлениями: с одной стороны, развитием коррупции, а с другой — развитием личной набожности. Сегодня много говорят о «возвращении религиозности», и я сам мог констатировать, что в регионах, пострадавших от кризиса, например в Лонгви, где люди потеряли всякую надежду на политическую или профсоюзную помощь<sup>29</sup>, наблюдаются некоторые формы возвращения к религиозности, которые, согласно этой статье о Египте, служат примером проявления разочарования, но не в политике, как говорят сегодня, а в государстве. На стендах мы видим выпуски газет «Le Nouvel Observateur» или «Le Point», в которых заявляется о «возвращении религиозности», «возвращении индивида» и т. п., но не обусловлена ли в какой-то мере эффективность этих доксихеских дискурсов [об этих феноменах], которые не всегда ложны, тем, что они плохо именуют вещи, которые в какой-то мере истинны? Не состоят ли все эти феномены, которые нам описывают в модусе пророчества, в некотором отношении с упразднением ряда вещей, которые постепенно создавались? Не разочарованность ли в государстве, не это ли своеобразное отчаяние выражается в коррупции, распространяющейся как на тех, кто, участвуя в делах государства, должен был бы выступать высшим выражением духа государственной службы, так и на установки тех, кто, не будучи задействованным в государстве, не получает больше материальной помощи и замыкается в мечтаниях, обращенных на духовность? Не является ли «возвращение религиозности» в действительности следствием отступления государства?

---

29. Несомненно, во время курса П. Бурдьё уже начал проводить опросы в этом неблагоприятном металлургическом регионе. См.: *Bourdieu P. (dir.). La Misère du monde. Paris, 1998 [1993].*



# ПРИЛОЖЕНИЯ



## Резюме, опубликованные в «Ежегоднике» Коллеж де Франс

1989–1990

**В** ЛЕКЦИЯХ, которые я посвятил проблеме государства, я в первую очередь продолжил предварительную критику этого института, который, как «организованный фидуциар, наделенный автоматизмом и не зависимый от людей» (Валери), имеет странное свойство существовать также посредством представлений и в основном именно посредством их. Таким образом, я занялся анализом официального как точки зрения *officium*, а именно инстанции, наделенной монополией на легитимное символическое насилие, или чиновника, обладателя *officium*, который говорит и действует *ex officio*, как законное лицо, уполномоченное действовать от имени «воображаемого сообщества» (Маркс). Опираясь на проведенный мной эмпирический анализ работы комиссий, которые в начале 1970-х гг. разрабатывали новую политику в сфере жилищных субсидий, я попытался определить логику работы официализации, которая утверждает частную точку зрения в качестве легитимной, то есть универсальной. Отсюда я перешел к анализу наиболее характерных приемов риторики официального, которая навязывается «официальным лицам» и в какой-то мере всем тем, кому приходится иметь дело с «публикой» или «общественным мнением», воплощениями «generalized other» (Дж. Г. Мид), который функционирует в качестве цензуры, апеллирующей к универсальным ценностям, то есть к ценностям, официально провозглашенным группой. Прозопопея — образцовая форма «заклинательного колдовства», при помощи которого официальный агент инсценирует воображаемый референт (нацию,

государство и т. д.), от имени которого он говорит и который он в процессе говорения производит, следуя при этом определенным формам. Чтобы стать эффективной в символическом плане, прозопопея должна сопровождаться театрализацией консенсуальной и согласной группы и интересом к общему интересу со стороны того, кто претендует на то, чтобы его воплощать, то есть его незаинтересованностью. Анализ условий нарушения границы между частным и публичным, публикации в самом широком смысле слова (условий, которые наглядно демонстрирует логика скандала как покушения на официальный образ «официальных лиц») подводит к принципу сугубо политического фетишизма: этот специфический фетишизм, основанный на переворачивании причин и следствий, стремится представить государство, понимаемое как совокупность агентов или институтов, отправляющих суверенную власть над совокупностью народа, закрепленного за определенной территорией, в качестве легитимного выражения этой группы людей.

После изложения этих критических посылок становится возможно наметить исследовательскую программу, которую они открывают, а именно программу генетической социологии (или социальной истории) института государства, которая должна в конечном итоге привести к анализу специфической структуры этого института. Но в столь хорошо изученной области нельзя напрямую заняться исторической работой, не изучив предварительно крупные работы по сравнительной истории или исторической социологии, посвященные социогенезу формирования государств. Не претендуя на исчерпывающее изложение работ, принадлежащих этому направлению, я представил критический обзор авторов, которые, как мне кажется, предложили наиболее интересные решения данной проблемы (это Шмуэль Ной Эйзенштадт, Перри Андерсон, Баррингтон Мур, Рейнхардт Бендикс, Теда Скочпол). Я сделал это с двумя целями: выявить общие гипотезы, которые могли бы сориентировать анализ исторических работ, и подвергнуть критике различные способы понимания и применения сравнительного метода. Этот крити-

ческий анализ заставил меня принять следующее методологическое решение: ограничиться исследованием генезиса государства в Англии и во Франции, двумя единичными случаями, рассматриваемыми как частные случаи в универсуме возможностей. У этого проекта две цели: с одной стороны, выявить генезис государственной логики или, иными словами, возникновения того специфического социального универсума, который я называю бюрократическим полем; с другой стороны, установить, как образуется эта «концентрированная и организованная социальная сила» (Маркс), которую мы называем государством, или, иначе говоря, как концентрируются различные виды чисто бюрократических ресурсов, которые становятся и орудиями, и ставками в борьбе, для которой бюрократическое поле само и место, и ставка (в политическом поле как таковом).

1990–1991

Прежде чем представить собственную модель генезиса государства, я счел необходимым проанализировать три предшествующие попытки, которые показались мне весьма показательными, даже учитывая их ограничения: это попытка Норберта Элиаса, который вслед за Максом Вебером прекрасно описывает концентрацию инструментов насилия и сбора налогов в руках одного управляющего или одного административного органа, а также расширение территории в ходе борьбы с конкурирующими правителями, но игнорирует при этом символическое измерение процесса концентрации; попытка Чарльза Тилли, который, будучи близок к Элиасу и Веберу в главном, применяет своеобразный анализ со множеством переменных для объяснения общих черт и различий, наблюдаемых в процессе образования государства, то есть концентрации физического капитала вооруженной силы, связанной с государственной бюрократией, и концентрации экономического капитала, связанного с городом; попытка Филипа Корригана и Дерекка Сейера, заслуга которых состоит в том, что они сумели порвать с экономизмом двух предшествующих



моделей и обратиться к той действительно «культурной революции», которая, по их мнению, лежит у истоков современного государства, то есть к построению совокупности легитимных и кодифицированных «форм», которые регулируют социальную жизнь (национальный язык, парламентские формы, суды и т. д.).

Чтобы пойти дальше этих частичных моделей и при этом интегрировать их в свою модель, необходимо объединить теории, которые традиционно считались взаимоисключающими. Одно из главных следствий деятельности государства — насаждение общего принципа видения и разделения (номоса), фундирующего логический и моральный конформизм (говоря словами Дюркгейма) вместе с консенсусом касательно смысла и ценности мира. Государство — главный производитель инструментов конструирования социальной реальности: именно оно организует основные обряды институционализации, которые помогают производить большие социальные разделения и прививать принципы разделения, в соответствии с которыми они воспринимаются. Этот общий код, официальный набор инструментов, структурированных знанием и коммуникацией (таких как национальный язык и культура), состоит в родстве со структурами государства, а значит, находится в согласии с теми, кто имеет над ним власть.

Исходя этих предварительных размышлений, можно приступить к построению модели генезиса государства как процесса концентрации различных видов капитала (физического, экономического, культурного и символического), который приводит к появлению своего рода «метакапитала», способного осуществлять власть над другими видами капитала, и государства как поля, в котором разворачивается борьба за власть над другими полями, а именно за власть, воплощенную в праве и во всех видах регламентации универсального толка (действующей на определенной территории). Путем концентрации символического капитала, один из аспектов которой — сосредоточение юридического капитала — и которая, в частности, стремится заменить честь знати как отдельной касты почестями, раздаваемыми

центральной властью, государство постепенно превращается в центральный банк символического капитала, наделенный властью *номинации*, в «источник почета, должностей и привилегий», говоря словами Блэкстоуна (приведенными Мэйтландом).

Таким образом, раскрывается двусмысленный характер как процесса, который привел к возникновению современного государства, так и самого этого государства: процесс концентрации (и унификации) — это всегда процесс универсализации и в то же время процесс монополизации, поскольку интеграция является условием отдельной формы господства, состоящей в монополизации государственной монополии (силами государственной знати).

#### 1991–1992

Описав процесс концентрации капитала (в его разных формах), я попытался построить модель генезиса государства. Для начала я попытался понять логику первоначального накопления символического капитала и, в частности, преимуществ, связанных с самим фактом занимания места короля, *Primus inter pares* <первого среди равных>. Династическое государство, в центре которого, как дома, находится королевская семья и ее вотчина, — место специфического противоречия, связанного с сосуществованием личной власти и зарождающейся бюрократии, то есть сосуществованием двух противоположных принципов господства (воплощенных в братьях короля и в королевских министрах) и двух способов воспроизводства — через семью и через образование. Именно конфликты, определяемые этим различием, приведут к переходу от *королевского дома* к *государственному интересу*, обеспечив постепенную победу «этического» принципа над династическим. Ряд институтов, препятствующих естественному воспроизводству знати (крайним случаем которых становится передача бюрократической власти иностранным технократам или даже рабам), порывают с личным присвоением государственных институтов и прибылей, ими приносимых, делая государство чем-то вроде

*antiphysis* (это хорошо видно из анализа процедур, которые постепенно начинают применяться для противодействия тенденции к коррупции, вписанной в саму бюрократическую логику).

Изобретение новой государственной логики — продукт коллективной работы по созданию совокупности совершенно новых социальных реалий, которыми становятся институты, причастные идее *публичного*. Корпус агентов, которые, как, например, юристы, тесно связаны с государственной логикой, в принципе более «универсальной» (или универсалистской), чем логика династическая, играет определяющую роль в построении государства как «публичной вещи» и пространства (бюрократического поля), в котором изобретаются бюрократические институты (кабинет, секретарь, подпись, печать, указ о назначении, свидетельство, удостоверение, регистрация и т. д.). Анализ процесса, в результате которого складывается длинная цепочка агентов, которым поручено следить за *royal seals* «королевскими печатями», позволяет выявить логику генезиса разделения труда господства, которое завершается превращением династического авторитета в бюрократический авторитет, основанный на ограниченном делегировании полномочий агентам, которые взаимно гарантируют и контролируют друг друга.

Процесс, посредством которого власть, поначалу сосредоточенная в руках небольшого числа людей, дифференцируется и распределяется между агентами, связанными друг с другом органической солидарностью, подразумеваемой разделением труда господства, приводит к образованию более или менее автономного бюрократического поля как места конфликтов между конкурентами, целью которых является бюрократическая власть над всеми остальными полями. Эти конфликты, которые, как показывают дебаты вокруг «королевского ложа [правосудия]», могут затрагивать детали бюрократической практики (например, ее церемониала) или историю институтов, представляют собой один из способов осуществления работы по коллективному созданию «публичных» институтов. Постепенный подъем носителей бюрократического принципа, профессио-

нальных служащих, авторитет которых основывается на культурном капитале, в ущерб династическому принципу, получает в случае Франции значительное ускорение с началом Французской революции, когда в неразрывном единстве друг с другом утверждаются универсальные принципы бюрократической республики и привилегированное право обладателей культурного капитала на присвоение универсального: государственная знать утверждается в качестве таковой по мере того, как она создает территориальное государство и единую нацию, забирая себе управление публичным капиталом, контроль над ним и перераспределение приносимых им прибылей.

Именно в долгосрочной перспективе можно понять коллективную работу, в которой государство создает нацию, то есть работу по выстраиванию и насаждению общих принципов видения и разделения, определяющую роль в которой играют армия и в особенности образование. (Замечу в скобках, что социальное конструирование реальности, о котором здесь идет речь, не сводится к механической агрегации индивидуальных конструкций, но совершается в полях, испытывающих на себе структурное давление действующих силовых отношений.) Создание нации как юридически регулируемой территории и создание гражданина, связанного с государством (и с другими гражданами) совокупностью прав и обязанностей, неотделимы друг от друга. Но бюрократическое поле — это всегда еще место борьбы и ставка в этой борьбе, так что работа, необходимая для того, чтобы обеспечить участие граждан в публичной жизни, — в особенности в официальной политике как управляемом несогласии — должна найти продолжение в социальной политике, той политике, которая определяет государство всеобщего благосостояния, ставящее перед собой цель обеспечить всем минимальные экономические и культурные (через посвящение в национальные кодексы) условия для реализации прав гражданина, помогая им, экономически и социально, и в то же время дисциплинируя их. Построение государства всеобщего благосостояния подразумевает подлинную символическую революцию, в центре которой

стоит расширение публичной ответственности, приходящей на смену частной ответственности.

Знание о том, что бюрократическое поле несет в себе следы всех конфликтов прошлого, помогает лучше понять борьбу, местом которой оно становится, и отношения, в силу позиционных гомологий поддерживаемые этой борьбой с теми видами борьбы, предметом которых является это поле и ставкой которых является та власть, которую оно контролирует.

## Место курса о государстве в творчестве Пьера Бурдьё

**Н**ЕКОТОРЫЕ из курсов, которые Бурдьё прочел за те двадцать лет, что возглавлял кафедру социологии в Коллеж де Франс, уже вышли в свет, будучи отредактированы и исправлены им самим, например, его последний курс, посвященный «науке о науке»<sup>1</sup>. Это первое издание из готовящейся к печати серии, в которой предполагается опубликовать не только неизданные лекции в Коллеж де Франс, но и многочисленные семинары, которые Бурдьё проводил в 1970-е гг. в Практической школе высших исследований (EPHE), а затем и в Высшей школе социальных наук (EHESS). Настоящее издание содержит в полном виде курс, посвященный государству, длившийся три учебных года (декабрь 1989 — февраль 1990; январь — март 1991; октябрь — декабрь 1991 г.).

Ничто не дает оснований предполагать, что Бурдьё хотел сделать из этого отдельную книгу, поскольку он не занимался ее подготовкой. Конечно, он опубликовал множество отдельных текстов, посвященных возникновению юридического поля<sup>2</sup>, функционированию административного поля (на основе исследований жилищной политики во Франции)<sup>3</sup>, а также генезису

---

1. Science de la science et réflexivité. <Здесь и далее работы Бурдьё указываются без его имени>

2. Les robins et l'invention de l'État // La Noblesse d'État. P. 539–548.

3. L'État et la construction du marché // Les Structures sociales de l'économie. P. 113–153 (переиздание статьи: La construction du marché // Actes de la recherche en sciences sociales, No. 81–82, 1990. P. 65–85).

и структуре бюрократического поля<sup>4</sup>. Сюда также следует добавить различные выступления (конференции, интервью)<sup>5</sup>. В самом начале статьи «От «королевского дома» к государственному интересу» (1997) Бурдьё указывает в примечании, что, на его взгляд, это всего лишь «слегка подправленная транскрипция лекции, прочитанной в Коллеж де Франс: будучи промежуточным итогом, предназначенным, прежде всего, для того чтобы служить инструментом исследования, [текст] является продолжением анализа того процесса концентрации различных видов капитала, который ведет к образованию юридического поля, способного контролировать другие поля»<sup>6</sup>.

Итак, несколько неожиданно обнаружить у Пьера Бурдьё программу по социологии государства. Если взглянуть на весь корпус его научных работ, само слово «государство» появляется в них только в начале 1980-х гг. во вступительной лекции в Коллеж де Франс<sup>7</sup>. Даже когда его исследования, начиная со второй половины 1960-х гг., касались того, что во Франции принято связывать с государством — «господствующей идеологии», «политического представительства», «эффектив-

4. Бурдьё П. Дух государства: генезис и структура бюрократического поля // Социология социального пространства. М., СПб., 2007; От «королевского дома» к государственному интересу: модель происхождения бюрократического поля // Социология социального пространства (там же); Стратегии воспроизводства и способы господства // Социология социального пространства (там же).

5. См., например: Социальное пространство и символическая власть (текст лекции, прочитанной в Университете Сан-Диего в марте 1986 г.) // Начала. С. 181–207. Réponses (там же). P. 86–90 (avec L. Wacquant); L'État et la concentration en capital symbolique (Paris, janvier 1993) // L'État, la finance et le social. Souveraineté nationale et construction européenne / B. Théret (dir.). Paris: La Découverte, 1995. P. 73–105; и в особенности неопубликованное выступление «Социолог перед лицом государства» (Le sociologue devant l'État) в «Ассоциации франкоязычных социологов» в октябре 1982 года.

6. Он же. De la maison du roi à la raison d'État. Un modèle de la genèse du champ bureaucratique. P. 55. Note 1. <это примечание отсутствует в русском переводе>

7. Он же. Leçon sur la leçon. Paris, 1982.

ности политического действия», «науки о государственном управлении» и, шире, «модусов господства»<sup>8</sup> или «стратегий воспроизводства»<sup>9</sup>, обсуждавшихся в его получивших развитие работах о структурах и функциях французской системы образования<sup>10</sup>, — Бурдьё использовал это слово только в его обиходном значении, например, «государство всеобщего благосостояния» или «национальное государство», не делая его предметом критического анализа. Кроме того, исследования структуры господствующих классов, которые он начал проводить с конца 1970-х гг. в рамках Центра социологии образования и культуры, независимо от того, были ли они посвящены предпринимательству (1978)<sup>11</sup>, епископату (1982)<sup>12</sup>, высокопоставленному чиновничеству или системе Больших школ<sup>13</sup>, касались той части высших классов, которая играла структурирующую и деятельную роль в «поле власти»<sup>14</sup>.

В 1982 году в сборнике «Что значит говорить» был объединен ряд исследований по символической эффективности дискурса власти, и в частности в него вошла статья «Описывать и предписывать: условия возможности и пределы политической эффективности»<sup>15</sup>.

8. Бурдьё П. Les modes de domination // Actes... 1976. No. 2-3.

9. Он же. Стратегии воспроизводства и способы господства. СПб., 2007.

10. La transmission de l'héritage culturel // Darras. Le Partage des bénéfices. P. 135-154; Reproduction culturelle et reproduction sociale // Informations sur les sciences sociales. 1971. No. X (2). P. 45-99.

11. Le patronat. (avec M. de Saint Martin).

12. La sainte famille. L'épiscopat français dans le champ du pouvoir // Actes de la recherche en sciences sociales. 1982. No. 44-45. P. 2-53 (avec M. de Saint Martin).

13. Agrégation et ségrégation. Le champ des grandes écoles et le champ du pouvoir // Actes de la recherche en sciences sociales. 1987. No. 69. P. 2-50 (avec M. de Saint Martin).

14. Champ du pouvoir, champ intellectuel et habitus de classe // Scolies. 1971. No. 1. P. 7-26. В 1971 году он дает следующее определение: «Поле власти — это объективная структура отношений, которые устанавливаются между системами агентов и инстанциями, стремящимися поддерживать структуру отношений, установленных между классами». Семинары в Высшей школе социальных наук (готовятся к печати).

15. Décrire et prescrire: les conditions de possibilité et les limites de l'efficacité politique // Actes de la recherche en sciences sociales. 1981. No. 38. P. 65-79; Ce que parler veut dire. Этот сборник был



Но в этих текстах государство нигде не уподоблялось политическому полю, функционирование которого исследовалось в статьях об опросах общественного мнения<sup>16</sup> и о политической репрезентации<sup>17</sup>. Тогда как подобным смещением грешили, с одной стороны, большинство юристов, изучающих государство само по себе, как нечто независимое, а с другой — теоретики марксизма, которые сводят государство к инструменту или «аппарату» на службе у господствующих классов независимо от того, какова история государства, в частности история агентов, которые его произвели, и экономических и социальных факторов, определяющих его функции и структуры.

Слово «государство» используется только в 1984 году в «*Homo academicus*», где оно кратко определяется как «официальная инстанция, признаваемая в качестве легитимной, то есть в качестве обладательницы монополии на легитимное символическое насилие»<sup>18</sup>. В дальнейшем Бурдьё будет пользоваться им в полной мере, в частности, в названии книги «Государственная знать», изданной в 1989 году, чтобы «по-иному» отпраздновать двухсотлетие Французской революции, а также в ряде текстов, в которых анализируется «наука государства»<sup>19</sup>, «дух государства»<sup>20</sup> или «магия государства»<sup>21</sup>. Это

---

переиздан в 2001 г. в расширенном виде под названием, указывающим на предмет исследований, — «Язык и символическая власть»: *Langage et pouvoir symbolique* (подзаголовок второго подраздела в предыдущем варианте).

16. Бурдьё П. Общественное мнение не существует // Социальное пространство: поля и практики. (*L'opinion n'existe pas* // bulletin Noroit. 1971, No. 155, переиздано в: *Questions de sociologie*. P. 222–225); см. в особенности: *Questions de politique* // *Actes de la recherche en sciences sociales*. 1977. No. 16. P. 55–89.
17. Он же. Политическое представление. Элементы теории политического поля // Социология социального пространства. Делегирование и политический фетишизм // Там же; или же: *Le mystère du ministère. Des volontés particulières à la "volonté générale"*.
18. Он же. *Homo academicus*. P. 42.
19. Он же. Sur la science de l'État // *Actes de la recherche en sciences sociales*. 2000. No. 133. P. 3–9 (avec Olivier Christin, Pierre-Étienne Will).
20. Он же. Дух государства: генезис и структура бюрократического поля. М.; СПб., 2007.
21. Он же. *Le mystère du ministère. Des volontés particulières à la volonté générale* // *Actes...* 2001. No. 140.

выражения, которые могут показаться несколько загадочными, если не знать, что после работ о поле власти Бурдьё использует термин «государство» для обозначения институтов и социальных агентов, которые, будучи производителями государства, в то же время являются его обязательным продуктом.

В этих формулировках понятие государства отсылает к тому, что во Франции традиционно связывается с государством, точнее, с бюрократической системой, а именно к понятиям «государственной службы», «общественного блага», «общественного интереса» и незаинтересованности, генеалогию и механизмы которых Бурдьё прослеживает в своих курсах в Коллеж де Франс 1986–1992 гг.<sup>22</sup> Наконец, понятие государства часто используется в «Нищете мира», работа над которой ведется в 1990–1991 гг. и которая вышла в свет в 1993 году, но сначала была представлена в «Actes de la recherche en sciences sociales», где были опубликованы отрывки из нее (одно из интервью два раза цитируется в его курсе<sup>23</sup>). В этой книге, которая сразу стала популярной и успех которой многократно усилился благодаря тому, что Бурдьё публично занял позицию в поддержку забастовщиков во время протестов против пенсионной реформы в декабре 1995 года, он анализирует последствия неолиберальной политики в категориях, перекликающихся с его лекциями: «разрушение идеи государственной службы», «отступление и капитуляция государства»<sup>24</sup>, «демонтаж общественных интересов»

---

22. См.: *Pouvoir d'État et pouvoir sur l'État // La Noblesse d'État*. P. 533–559, и курсы о юридическом поле, бюрократическом поле и государстве, которые Бурдьё прочел в Коллеж де Франс (1986–1992, готовятся к печати) и которые в сокращенном виде представлены во многих статьях: *Власть права: основы социологии юридического поля // Социальное пространство: поля и практики*; *Un acte désintéressé est-il possible?*; *Дух государства: генезис и структура бюрократического поля*; «От “королевского дома” к государственному интересу. Модель происхождения бюрократического поля».

23. См.: *La souffrance // Actes de la recherche en sciences sociales*. 1991. No. 98.

24. См.: *La Misère du monde*. P. 340, 350.

и обесценивание «анонимной преданности коллективному интересу»<sup>25</sup>.

Таким образом, становится понятным то центральное место, которое этот трехгодичный курс, часто оставаемый комментаторами без внимания, занимает в социологии Бурдьё. Постепенное усиление внимания к государству в его творчестве связано не столько с тем, что он начинает чаще выступать по политическим вопросам<sup>26</sup>, сколько с работами о генезисе и структуре полей, которые он одно за другим исследует с точки зрения общей теории социального пространства. В интервью, данном в 1988 году, Бурдьё заявил, что исследования, которые он вел после «Различения» (1979) и которые были посвящены литературному, художественному, университетскому, интеллектуальному, предпринимательскому, религиозному, юридическому и бюрократическому полям, вытекали из естественной логики (его) работы и, в частности, «попытки понять процесс генезиса поля»<sup>27</sup>. То же самое относится к полю государственных институтов: государство — поле, занимающее в структуре полей такую позицию, которая позволяет ему в значительной мере определять их функционирование.

Более того, государство может оказаться образцовым полем и даже, по его собственному выражению, «метаполем», потому что «государство — это мета...», то есть поле, в котором идет борьба за то, чтобы определить позицию, которую различные поля (экономическое, интеллектуальное, художественное и т. д.) должны легитимно занимать по отношению друг к другу. Поэтому можно выдвинуть идею, что государство — почти что необходимый продукт двойного процесса: с одной стороны, дифференциации обществ на относительно независимые поля и, с другой — появления пространства, которое концентрирует в себе власть над

---

25. Bourdieu P. La main gauche et la main droite de l'État, entretien avec Roger-Pol Droit et Thomas Ferenczi // *Le Monde*, 14 janvier 1992, переиздано в: *Contre-feux*. P. 10, 12.

26. Idem. *Interventions (1961–2001)*. Sciences sociales et actions politiques. Marseille: Agone, 2002.

27. Idem. *Le Sociologue et l'Historien*. Marseille: Agone, 2010. P. 90 (avec Roger Chartier).

ними и в котором борьба ведется между сами этими полями, этими новыми агентами истории.

В своем выступлении перед «Ассоциацией франкоговорящих социологов» в октябре 1982 года<sup>28</sup> Бурдьё разъяснил эпистемологические и социологические причины, в силу которых государство должно анализироваться как «поле публичных институтов» и как «сектор поля власти»<sup>29</sup>. Бюрократическое поле, «как и все поля, является утвердившимся в какой-то момент результатом прошлой и нынешней борьбы и столкновений противоположных интересов агентов, которые находятся как внутри, так и вовне поля, но все находят в этом поле позиции, поддержку и средства, например юридические, для того чтобы защищаться в соответствии с присущей этому полю логикой [...]». Поле государственных институтов — и это основа того эффекта нейтральности, реального и идеологического, который оно производит, — тяготеет к тому, чтобы отводить всё больше места институтам, которые являются продуктом трансакций между классами и которые частично располагаются или делают вид, что располагаются, по ту сторону классовых интересов [...]». А точнее: «Не будучи служителем универсального, о котором писал Гегель, поле государственных институтов через саму борьбу, местом которой оно является, может производить политику, более или менее независимую по сравнению с политикой, которая бы непосредственно отвечала интересам власть имущих: это происходит потому, что оно предлагает набор специфических, институционализированных полномочий и средств, таких как право собирать налоги, право требовать выполнения правил (например, таможенной защиты или правил кредитования) или же чисто экономическое право получать прямое (пример — наши субсидии) или не прямое (как в случае строительства автомобильных или железных дорог) финансирование»<sup>30</sup>.

---

28. Bourdieu P. Le sociologue devant l'État // Association des sociologues de langue française. Paris, octobre 1982.

29. См. в частности: Мертвый хватает живого. С. 122, где намечаются первые подходы к критике понятия государство.

30. Idem. Le sociologue devant l'État.

Здесь Бурдье анонсирует программу, которой он будет следовать начиная со второй половины 1980-х гг. и кульминацией которой станет трехгодичный курс, непосредственно посвященный государству. Проблематика курса опирается на три предшествующих исследования, к которым Бурдье не перестает возвращаться, чтобы прояснить историческую перспективу этого курса: это прежде всего исследования, проведенные им в Кабилии, в которых он разработал понятие символического капитала, занимающее центральное место в его творчестве; во вторую очередь, это его давнее исследование матримониальных стратегий и стратегий наследования у беарнских крестьян, к которому он обращается, чтобы понять структуру и функционирование династического государства; и, наконец, исследования высокопоставленного чиновничества, которые проводятся под его руководством сотрудниками «Центра европейской социологии», а также исследования жилищной политики 1970–1980-х гг. (в частности, производства одноквартирных домов), которые он проводил вместе со своими коллегами.

При разработке генетической модели государства Бурдье опирается на многочисленные работы, представление о которых дает библиография, приведенная в конце книги: на работы историков, но также авторов, которых историки чаще всего не «воспринимают всерьез» и которые представляют «интерес для постановки вопросов, которые не ставят перед собой историки»<sup>31</sup>. Так, он отталкивается от определения государства как монополии на легитимное физическое насилие, которое дает Макс Вебер, но распространяет его на любую символическую деятельность, которую он кладет в основу функционирования и легитимности институтов, изучавшихся в рамках предыдущих курсов, посвященных праву, антропологическим основам понятия интереса

---

31. Что касается отношений Бурдье с французскими историками в конце 1980-х гг. и в начале 1990-х гг. см.: Sur les rapports entre la sociologie et l'histoire en Allemagne et en France. Entretien avec Lutz Raphael // Actes de la recherche en sciences sociales. 1995. No. 106–107. P. 108–122.

и общественного интереса, «устанавливающего в качестве официального закона обязательство незаинтересованности»<sup>32</sup>.

Наконец, значение курса о государстве заключается в том чисто социологическом анализе, которому Бурдьё подверг все формы господства. Ведь в каждом из полей, как в их генезисе, так и в их функционировании, присутствует государство, и общая теория, которую он намеревался создать, требовала отдельного анализа, посвященного именно государству. Государство не сводится ни к аппарату власти на службе у власть имущих, ни к нейтральному месту разрешения конфликтов: оно образует форму коллективного верования, которое структурирует всю совокупность общественной жизни в сильно дифференцированных обществах. Отсюда следует значение для творчества Бурдьё этого курса — о котором в одном из своих последних интервью он сказал: он хочет, чтобы «от него что-то осталось»<sup>33</sup>.

*Редакторы французского издания*

---

32. Résumé des cours et travaux // Annuaire du Collège de France, 1988–1989. Paris, 1989. P. 431.

33. Entretien sur l'esprit de la recherche, avec Yvette Delsaut // Delsaut Y., Rivière M.-C. Bibliographie des travaux de Pierre Bourdieu. Pantin: Le Temps des cerises, 2002. P. 224.



# Список основных источников<sup>1</sup>

## 1. Работы, относящиеся к теме государства, поля власти или истории политических идей

- Альтюссер Л.* Идеология и идеологические аппараты государства // Не-прикосновенный запас. 2011. № 3 (77).
- Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001.
- Андерсон П.* Переходы от античности к феодализму. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2007.
- Андерсон П.* Родословная абсолютистского государства. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2010.
- Блок М.* Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии М.: Языки русской культуры, 1998.
- Блок М.* Феодальное общество М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003.
- Валлерстайн И.* Мир-система Модерна: в 2 т. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2015–2016.
- Вебер М.* Наука как призвание и профессия // Избранное: протестантская этика и дух капитализма. М.; СПб: Центр гуманитарных инициатив, 2013.
- Вебер М.* Протестантская этика и дух капитализма // Избранное: протестантская этика и дух капитализма. М.; СПб: Центр гуманитарных инициатив, 2013.
- Вебер М.* Социология религии (типы религиозных обществ) // Избранное: Образ общества. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.
- Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат // Философские работы. Часть I. М.: Гнозис, 1994.
- Гегель Г. В. Ф.* Феноменология духа / Сочинения. Т. 4. М.: Академия наук СССР, 1959.
- Канторович Э.* Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. М.: Издательство Института Гайдара, 2015.

---

1. Это библиография материалов, использованных П. Бурдые при подготовке курса о государстве, была составлена на основе его личного архива. Также добавлены ссылки на доступные тексты, не включенные в записях к лекциям, но упомянутые во время лекций. <В начале списков добавлены имеющиеся русские переводы.>



- Ленин В. И. О государстве // Полное собрание сочинений. М.: Политиздат, 1963. Т. 39. С. 68–72.
- Мур-младший Б. Социальные истоки диктатуры и демократии. М.: Издательский дом ВШЭ, 2016.
- Нозик Р. Анархия, государство и утопия. М.: ИРИСЭН, 2008.
- Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический проект, 2000.
- Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект-Пресс, 1997.
- Паскаль Б. Мысли. М.: REFL-book, 1994.
- Рингер Ф. Закат немецких мандаринов. Академическое сообщество в Германии, 1890–1933. М.: НЛО, 2008.
- Спиноза Б. Политический трактат. Избранные произведения. М.: Государственное издательство политической литературы, 1957. Т. 2.
- Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 1990–1992. М.: Территория будущего, 2009.
- Элиас Н. О процессе цивилизации. М.; СПб.: Университетская книга, 2001.
- Элиас Н. Придворное общество: Исследования по социологии короля и придворной аристократии. М.: Языки славянской культуры, 2001.
- Энгельс Ф. Письмо Конраду Шмидту от 27 октября 1890 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. М.: Изд-во политической литературы, 1965. Т. 37. С. 414–421.
- Actes de la recherche en sciences sociales. 1990. N 81–82 (специальный номер, посвященный «Экономии дома» («L'économie de la maison»), со статьями авторов: Rosine Christin, Salah Bouhedja, Claire Givry, Monique De Saint Martin).
- Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne (материалы круглого стола, организованного CNRS и l'École française de Rome 15–17 октября 1984). Rome: École française de Rome, 1985 (со статьями авторов: Daniel Arasse, Attilio Bartoli Langeli, Jean-Louis Biget, Jean-Claude Hervé Et Yvon Thébert, Marie-Thérèse Bouquet-Boyer, Alain Boureau, Roger Chartier, Michael Clanchy, Janet Coleman, Claudio Finzi, Michèle Fogel, Wilhem Frijhoff, Carla Frova, Claude Gauvard, Antonia Gransden, Martine Grinberg, Christian Jouhaud, Christiane Klapisch-Zuber, Jacques Krynen, Jean-Claude Mairevigueur, Christiane Marchello-Nizia, Cesare Mozzarelli, Claude Nicolet, Ezio Ornatto, Michel Pastoureau, Armando Petrucci, Diego Quaglioni, Gérard Sibatier, Claude Tardits).
- Daedalus. 1979. № 108 (4) (специальный номер по теме «Государство» со статьями авторов: Clark C. Abt, Hedley Bull, Harry Eckstein, James Fishkin, Richard Haas, Michael Howard, George Armstrong Kelly, Annie Kriegel, John Logue, Douglas Rae).
- Journal officiel de la République française (Le). Cent ans au service des citoyens, 1981.
- Nuovi Argumenti. décembre 1985. «La piazza et la città — La place et la ville» (итало-французское издание Итальянского культурного института в Париже).
- Revue internationale des sciences sociales. 1980. N 32 (4) (специальный номер на тему «О государстве» («De l'État») со статьями авторов: Nicos

- Poulantzas, Maurice Godelier, Shmuel N. Eisenstadt, Romila Thapar, Pierre Birnbaum, Aristide R. Zolberg, Guillermo O'Donnell, Issa G. Shirji, Immanuel Wallerstein, Silviu Brucan, Zevin Zalmanovich). *Revue nouvelle (La)*. 1984. N 79 (3) (специальный номер на тему «неолиберализмы» («Néo-libéralismes»)).
- Abrams, Philip*. Notes on the difficulty of studying the State // *Journal of Historical Sociology*. 1988. V.1. N 1. P. 59–89.
- Aguesseau, Henri François D'*. Oeuvres. Paris: Les Libraires associés, 1759.
- Alain*. Le Citoyen contre les pouvoirs. Paris: Sagittaire, 1926.
- Alam, Muzaffar*. The Crisis of Empire in Mughal North India. Awadh and the Punjab, 1707–1748. Oxford-New Delhi: Oxford University Press, 1986.
- Alphandéry, Claude (et al.)*. Pour nationaliser l'État. Réflexions d'un groupe d'études, Paris, Seuil, 1968.
- Althusser, Louis*. Idéologie et appareils idéologiques d'État (Notes pour une recherche) // *La Pensée*, 1970. N 151, переиздано в: *Ibid*. Positions (1964–1975). Paris: Éditions sociales, 1976. P. 67–125.
- Altwater, Elmar*. Some problems of State interventionism. The particularization of the State in bourgeois society // *State and Capital. A Marxist Debate / John Holloway Et Sol Picciotto (ed.)*. London: Edward Arnold, 1978. P. 40–43.
- Alvesson, Mats*. On focus in cultural studies of organizations // *Scandinavian Journal of Management Studies*. 1985. V. 2. N 2. P. 105–120.
- Aminzade, Ronald*. History, politics, and the State, рецензия на: *Charles Bright, Susan Harding*. Statemaking and Social Movements Essays in History and Theory (Ann Arbor, University of Michigan Press, 1984) // *Contemporary Sociology*. 1986. V. 15. N 5. P. 695–697.
- Anderson, Benedict*. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1983 (фр. перевод опубликован после курса: *Idem*. L'Imaginaire national. Réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme / P.-E. Dauzat (trad.). Paris, La Découverte, 1996).
- Anderson, Perry*. Les Passages de l'Antiquité au féodalisme. Paris: Maspero, 1977 [1974].
- . L'État absolutiste. Ses origines et ses voies, t. I: L'Europe de l'Ouest; t. II: L'Europe de l'Est. Paris: Maspero, 1978 [1975].
- . Arguments within English Marxism. New York: Schoecken Books, 1980.
- Anonyme*. The reason of the Welfare State. An inquiry into ethical foundations and constitutional remedies (портат, без даты).
- Antoine, Michel*. La monarchie française de François Ier à Louis XVI // *Les Monarchies, Actes du colloque de Paris, 8–10 décembre 1981/ Emmanuel Le Roy Ladurie (dir.)*. Paris: PUF, 1986. P. 185–208.
- Apter, David E*. Notes on the underground. Left violence and the national State // *Daedalus*. 1979. V. 108. N 4. P. 155–172.
- Archambault, Paul*. The analogy of the “body” in Renaissance political literature // *Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance. Travaux et documents*. 1967. T. XXIX. Genève: Droz. P. 21–53.
- Ardant, Gabriel*. La codification permanente des lois. Règlements et circulaires // *Revue de droit public*. 1951. P. 35–70.

- . Technique de l'État. De la productivité au secteur public. Paris: PUF, 1953.
- . Théorie sociologique de l'impôt. 2 vol. Paris: SEVPEN, 1965.
- Argyriades, Demetrios*. Neutralité ou engagement politique. L'expérience de la fonction publique en Grande-Bretagne // Bulletin de l'ITAP. 1978. N 38. P. 277–308 (cité in Dominique Chagnollaud, L'Invention des hauts fonctionnaires. Lille: ANRT, 1989. P. 494n).
- Aron, Raymond*. Paix et guerre entre les nations. Paris: Calmann-Lévy, 1962.
- Arriaza, Armand*. Mousnier and Barber. The theoretical underpinning of the "society of orders" in early modern Europe // Past and Present. 1980. V. 89. P. 39–57.
- Auby, Jean-Marie, Drago, Roland*. Traité de contentieux administratif. 2 vol. Paris: LGDJ, 1984.
- Autrand, Françoise*. Naissance d'un grand corps de l'État. Les gens du Parlement de Paris, 1345–1454. Paris: Publications de la Sorbonne, 1981.
- . Genèse de l'État moderne. Prosopographie et histoire de l'État (материалы круглого стола, организованного CNRS и l'École normale supérieure de jeunes filles, Париж, 22–23 октября 1984). Paris: École normale supérieure de jeunes filles, 1986.
- Aylmer, Gerald E*. The peculiarities of the English State // Journal of Historical Sociology. 1990. V. 3. N 2. P. 91–107.
- Badie, Bertrand*. Le Développement politique. Paris: Economica, 2e éd., 1980.
- . Contrôle culturel et genèse de l'État // Revue française de science politique. 1981. V. 31. N 2. P. 325–342.
- Badie Bertrand, Birnbaum, Pierre*. L'autonomie des institutions politico-administratives. Le rôle des cabinets des présidents de la République et des Premiers ministres sous la cinquième République // Revue française de science politique. 1976. V. 26, N 2. P. 286–322.
- . Sociologie de l'État. Paris: Grasset, 1979.
- Baker, Keith M*. Inventing the French Revolution. Essays on French Political Culture in the Eighteenth Century. Cambridge-New York: Cambridge University Press, 1990 (trad. fr postérieure au cours: Au tribunal de l'opinion. Essai sur l'imaginaire politique au XVIIIe siècle. Paris: Payot, 1993).
- Balazs, Étienne*. Les aspects significatifs de la société chinoise // Asiatische Studien. 1952. N 6. P. 79–87.
- . La Bureaucratie céleste. Recherches sur l'économie et la société de la Chine traditionnelle. Paris: Gallimard, 1968.
- Balibar, Étienne*. Es gibt keinen Staat in Europa. Racisme et politique dans l'Europe d'aujourd'hui // Intervention au Kongress Migration und Rassismus in Europa, Hambourg, 27–30 septembre 1990.
- Bancaud, Alain*. Considérations sur une "pieuse hypocrisie". Les magistrats de la Cour de cassation et l'exégèse (портатор, без даты).
- . Une "constance mobile": la haute magistrature // Actes de la recherche en sciences sociales. 1989. N 76–77. P. 30–48.
- Barber, Bernard*. Some problems in the sociology of the professions // Daedalus. 1963. V. 92. P. 669–686.
- Barret-Kriegel, Blandine*. L'État et les esclaves. Paris: Calmann-Lévy, 1979.

- . *Les Chemins de l'État*. Paris: Calmann-Lévy, 1986.
- Bercé, Yves-Marie*. Pour une étude institutionnelle et psychologique de l'impôt moderne // *Genèse de l'État moderne* (Actes du colloque de Fontevraud, 16–17 novembre 1984) / Jean-Philippe Genet Et Michel Le Mené (dir.). Paris: Éd. du CNRS, 1987.
- Bergeron, Gérard*. *Fonctionnement de l'État*. Paris: Armand Colin, 2e éd., 1965.
- Bernard, Yves, Cossé, Pierre-Yves*. *L'État et la prévision macroéconomique*. Paris: Berger-Levrault, 1974.
- Bien, David D.* Les offices, les corps et le crédit d'État. L'utilisation des privilèges sous l'Ancien Régime // *Annales ESC*. 1988. V. 43. N 2. P. 379–404.
- Billeter, Jean-François*. Contribution à une sociologie historique du mandarinat // *Actes de la recherche en sciences sociales*. 1977. N 15. P. 3–29.
- Birnbaum, Pierre*. *La Fin du politique*. Paris: Seuil, 1975.
- . La conception durkheimienne de l'État. L'apolitisme des fonctionnaires // *Revue française de sociologie*. 1976. V. 17. N 2. P. 247–258.
- Birnbaum, Pierre, Chazel, François*. *Sociologie politique*. Paris: Armand Colin, 1971.
- Bloch, Marc*. *Seigneurie française et manoir anglais*. Paris: Armand Colin, 1960 [1934].
- . *La Société féodale*. Paris: Albin Michel, 1968 [1939].
- . *Les Rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale, particulièrement en France et en Angleterre*. Paris: Gallimard, 1983 [1924].
- Bloch-Lainé, François, Vogüé, Pierre de*. *Le Trésor public et le mouvement général des fonds*. Paris: PUF, 1961.
- Block, Fred, Cloward, Richard A., Ehrenreich, Barbara (et al.)*. *The Mean Season. The Attack on the Welfare State*. New York: Pantheon Books, 1987.
- Bluche, François*. *Les Magistrats du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, 1715–1771*. Paris: Les Belles Lettres, 1960.
- Bonney, Richard J.* Guerre, fiscalité et activité d'État en France, 1500–1600. Quelques remarques préliminaires sur les possibilités de recherche // *Genèse de l'État moderne* (Actes du colloque de Fontevraud, 16–17 novembre 1984) / Jean-Philippe Genet et Michel Le Mené (dir.). Paris: Éd. du CNRS. 1987. P. 193–201.
- . *The European Dynastic States (1494–1660)*. New York: Oxford University Press, 1991.
- Borgetto, Michel*. Métaphore de la famille et idéologies // *Le Droit non civil de la famille*. Paris: PUF, 1983. P. 1–21.
- Braibant, Guy*. *Le Droit administratif français*. Paris: Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1988 (notamment le fascicule 1, 1982–1983).
- Brelot, Claude J.* *La Noblesse réinventée. Nobles de Franche-Comté de 1814 à 1870*. Paris: Les Belles Lettres, 1992.
- Brubaker, William Rogers*. Immigration, citizenship, and nationhood in France and Germany. A Comparative Historical Analysis // *Intervention au colloque «Rethinking the theory of citizenship» de l'American Sociological Association*, 1990 (портатив).

- . Rethinking nationhood. Nation as institutionalised form, practical category, contingent event // Intervention au Sociological Research Association Annual Banquet, Miami, 14 août 1993 (ротагор).
- Burawoy, Michael.* Two methods in search of science: Skocpol versus Trotsky (ротагор, без даты).
- Burdeau, Georges.* L'État, Paris: Seuil, 1970.
- Burdillat, Martine.* La difficile démocratisation industrielle. L'expérience des conseils d'administration des filiales du secteur public // Rapport du Groupement d'intérêt public «Mutations industrielles». N 10, 15 octobre 1987.
- Burguière, André, Revel, Jacques (dir.).* Histoire de la France. t. II. Paris: Seuil, 1989.
- Carneiro, Robert L.* A theory of the origins of the State // Science. 1970. N 169.
- . The Chiefdom: precursor of the State // The Transition to Statehood in the New World / Grant D. Jones, Robert Kautz (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- Carnoy, Martin.* The State and Political Theory. Princeton: Princeton University Press, 1984.
- Carré De Malberg, Raymond.* Contribution à la théorie générale de l'État. Paris, Sirey: Éd. du CNRS, 1962 [1920–1922].
- Cassirer, Ernst.* Le Mythe de l'État. Paris: Gallimard, 1993 [1946].
- Catach, Nina.* La bataille de l'orthographe aux alentours de 1900 // Histoire de la langue française, 1800–1914 / Gérald Antoine et Robert Martin. t. XIV. Paris: Éd. du CNRS, 1985.
- Cazelles, Raymond.* Société politique, noblesse et couronne sous Jean le Bon et Charles V. Genève-Paris: Droz, 1982.
- Chagnollaud, Dominique.* L'Invention des hauts fonctionnaires. Lille: ANRT, 1989.
- Chandler, Alfred Dupont.* Strategy and Structure. Cambridge, MIT Press, 1962 (trad. fr.: Stratégie et structure de l'entreprise. Paris: Éditions d'organisation, 1972).
- Chapus, René.* Droit administratif général. Paris: Montchrestien, 1987.
- Charle, Christophe.* Les grands corps. Rouge, noir et or (ротагор, без даты).
- . рецензия на: Marie-Christine Kessler. Les Grands Corps de l'État (Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1986) // Annales ESC. 1987. V. 42. N 5. P. 1177–1179.
- . Où en est l'histoire sociale des élites et de la bourgeoisie? Essai de bilan critique de l'historiographie contemporaine // Francia. Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte. 1991. V. 18. N 3. P. 123–134.
- Chartier, Jean-Luc.* De Colbert à l'Encyclopédie. T. I: Henri Daguesseau, conseiller d'État, 1635–1716. Montpellier: Presses du Languedoc-Max Chaleil éditeur, 1988.
- Chartier, Roger, Revel, Jacques.* Université et société dans l'Europe moderne: position des problèmes // Revue d'histoire moderne et contemporaine. 1978. V. 25. P. 353–374.
- Chaunu, Pierre, Gascon, Richard.* L'État et la ville // Histoire économique et sociale de la France / Fernand Braudel, Ernest Labrousse (dir.), t. I: De 1450 à 1660, vol. 1. Paris: PUF, 1977.

- Cheruel, Adolphe.* Histoire de l'administration monarchique en France depuis l'avènement de Philippe Auguste jusqu'à la mort de Louis XIV. Genève: Slatkine, 1974 [1855].
- Chevallier, Jean-Jacques.* Histoire de la pensée politique. Paris: Payot, 3 t., 1979–1984.
- Chiroi, Daniel.* Ideology and legitimacy in Eastern Europe // States and Social Structures Newsletter. 1987. N 4. P. 1–4.
- Church, William Farr.* Constitutional Thought in Sixteenth-Century France. A Study in the Evolution of Ideas. Cambridge: Harvard University Press, 1941.
- Citron, Suzanne.* Enseignement secondaire et idéologie élitiste entre 1880 et 1914 // Le Mouvement social. 1976. P. 81–101.
- Constant, Jean-Marie.* Clans, partis nobiliaires et politiques au temps des guerres // Genèse de l'État moderne (Actes du colloque de Fontevraud, 16–17 novembre 1984) / Jean-Philippe Genet et Michel Le Mené (dir.). Paris, Éd. du CNRS, 1987. P. 221–226.
- Coronil, Fernando, Skurski, Julie.* Reproducing dependency: autopoly and petrodollar circulation in Venezuela // International Organization. 1982. V. 36. P. 61–94.
- Corrigan, Philip, Sayer, Derek.* The Great Arch. English States Formation as Cultural Revolution. Oxford-New York: Blackwell, 1985.
- Coulborn, Rushton (dir.).* Feudalism in History. Princeton: Princeton University Press, 1956 (статьи авторов: Joseph R. Strayer, Williams F. Edgerton, Edwin O. Reischauer).
- Crouzet, Denis.* Recherches sur la crise de l'aristocratie en France au XVI<sup>e</sup> siècle: les dettes de la Maison de Nevers // Histoire, économie et société. 1982. V. 1. P. 7–50.
- Crozier, Michel.* État modeste, État moderne. Stratégie pour un autre changement. Paris: Seuil, 1991 [1987].
- Crozier, Michel, Friedberg, Erhard, Grémion, Catherine, Grémion, Pierre, Thoenig, Jean-Claude, Worms, Jean-Pierre.* Où va l'administration française? Paris: Éditions d'organisation, 1974.
- Cunéo, Bernard.* Le conseil d'administration et les rapports État/entreprise à Air France // Rapport du Groupement d'intérêt public «Mutations industrielles». N 9, 15 septembre 1987.
- Dale, Harold E.* The Higher Civil Service of Great Britain. Oxford: Oxford University Press, 1941.
- Darbel, Alain, Schnapper, Dominique.* Les Agents du système administratif. La Haye: Mouton, 1969.
- Day, C. Rod.* The making of mechanical engineers in France: the École des Arts et Métiers, 1903–1914 // French Historical Studies. 1978. V. 10. N 3. P. 439–460.
- De Jasay, Anthony.* The State. Oxford: Basil Blackwell, 1985 (trad. fr. Postérieure au cours: L'État. La logique du pouvoir politique. Paris: Les Belles Lettres, 1993).
- Dessert, Daniel, Journet, Jean-Louis.* Le lobby Colbert. Un royaume ou une affaire de famille? // Annales ESC. 1975. V. 30. P. 1303–1336.

- Dewald, Jonathan.* The Formation of a Provincial Nobility. The Magistrates of the Parlement of Rouen, 1499–1610. Princeton: Princeton University Press, 1980.
- Douglas, Mary.* How Institutions Think. Syracuse: Syracuse University Press, 1986 (французский перевод опубликован после курса: *Idem.* Comment pensent les institutions. Paris: La Découverte/MAUSS, 1999).
- Dubergé, Jean.* La Psychologie sociale de l'impôt dans la France d'aujourd'hui. Paris: PUF, 1961.
- Duby, Georges.* Le Chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France féodale. Paris: Hachette, 1981 (переиздано в: *Idem.* Féodalité, Paris. Gallimard, «Quarto», 1996. P. 1161–1381).
- Duccini, Hélène.* Un aspect de la propagande royale sous les Bourbons. Image et polémique // Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne (материалы круглого стола, организованного CNRS и l'École française de Rome, 15–17 октября 1984). Rome: École française de Rome, 1985. P. 211–229.
- . Histoire de France. T. I: Le Moyen Âge, de Hugues Capet à Jeanne d'Arc (987–1460). Paris: Hachette, 1987 (rééd. in «Pluriel», 2009).
- Dufour, Alfred.* De l'École du droit naturel à l'école du droit historique. Étude critique pour le bicentenaire de la naissance de Savigny // Archives de philosophie du droit. 1981. V. 26.
- . La théorie des sources du droit dans l'École du droit historique // Archives de philosophie du droit. 1981. V. 27.
- Duguit, Léon.* Traité de droit constitutionnel. T. I. Paris: De Boccard, 3e éd., 1927.
- Dumézil, Georges.* Mitra-Varuna. Essai sur deux représentations indoeuropéennes de la souveraineté. Paris: PUF, 1940.
- . Mythe et épopée. T. I: L'idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens. Paris: Gallimard, 1968 (rééd. in «Quarto», 1995).
- Dupont-Ferrier, Gustave.* La Formation de l'État français et l'unité française. Paris: Armand Colin, 3e éd, 1946 [1934].
- Dupuy, François, Thoenig, Jean-Claude.* Sociologie de l'administration française. Paris: Armand Colin, 1983.
- Durkheim, Émile.* L'État // Textes. Paris: Minuit, 1975. T. III. P. 172–178.
- Eckstein, Harry.* Division and Cohesion in Democracy. A Study of Norway. Princeton: Princeton University Press, 1966.
- . On the "Science" of the State // Daedalus, numéro spécial «The State». 1979. V.108. N 4.
- Eckstein, Harry, Apter, David E.* Comparative Politics. A Reader. New York: Free Press of Glencoe, 1963.
- Eckstein, Harry, Gurr, Ted Robert.* Patterns of Authority. A Structural Basis for Political Inquiry. New York: Wiley-Interscience, 1975.
- Egret, Jean.* L'Aristocratie parlementaire française à la fin de l'Ancien Régime // Revue historique. 1952. N 208. P. 1–14.
- Eisenstadt, Shmuel Noah.* The Political System of Empires. New York: Free Press of Glencoe, 1963.
- Elias, Norbert.* Über den Prozess der Zivilisation. Bâle: Haus zum Falken, 1939 (французский перевод: *Idem.* La Civilisation des mœurs. Paris: Cal-

- mann-Lévy, 1973, переиздано в: «Pocket», 1989; *Idem*. La Dynamique de l'Occident, Paris: Calmann-Lévy, 1976, переиздано в: «Pocket», 1990).
- . La Société de cour. Paris, Calmann-Lévy, 1974 [1969] (rééd., Flammarion, «Champs», 1984).
- Elliot, John H.* Concerto Barroco, рецензия на: José Antonio Mapavall, Culture of the Baroque. Analysis of a Historical Structure (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986) // New York Review of Books. V. 34. N 6. 9 avril 1987.
- Elster, Jon.* Négation active et négation passive. Essai de sociologie ivanienne (à propos d'Alexandre Zinoviev, Les Hauteurs béantes, Lausanne, L'Âge d'homme, 1977, et L'Avenir radieux, Lausanne, L'Âge d'homme, 1978) // Archives européennes de sociologie. 1980. V. 21. N 2. P. 329–349.
- Engels, Friedrich.* Lettre à Conrad Schmidt // Lettres sur Le Capital. Paris: Éditions sociales, 1964. P. 366–372.
- Esmein, Adhémar.* Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire, depuis le XII<sup>e</sup> siècle jusqu'à nos jours. Paris: Larose, 1882 (переиздано: Panthéon-Assas, 2010).
- Evans, Peter B.* Embedded Autonomy. States and Industrial Transformation. Princeton: Princeton University Press, 1995.
- Evans, Peter B., Rueschmeyer, Dietrich, Skocpol, Theda (dir.).* Bringing the State back in. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Ferraresi, Franco.* Los elites periferiche dello stato: il quadro comparativo. La burocrazia central (портатор, без даты).
- Finer, Samuel E.* State and nation-building in Europe. The role of the military // The Formation of National States in Western Europe / Charles Tilly (ed.). Princeton: Princeton University Press, 1975. P. 84–163.
- . Five Constitutions. Brighton: Harvester Press, 1979.
- Fogel, Michèle.* Modèle d'État et modèle social de dépenses. Les lois somptuaires en France de 1545 à 1560 // Genèse de l'État moderne (материалы коллоквиума в Фонтевро, 16–17 ноября 1984) / J.-P. Genet, M. Le Mené (dir.). Paris: Éd. du CNRS, 1987. P. 227–235.
- Foucault, Michel.* La gouvernementalité // Actes. Les Cahiers d'action juridique. 1986. N 54, numéro spécial «La gouvernementalité. Foucault hors les murs».
- Fougeyrollas, Pierre.* La Nation. Essor et déclin des sociétés modernes. Paris: Fayard, 1987.
- Frankel, Boris.* Marxian theories of the State. A critique of orthodoxy // Arena Monograph (Melbourne). 1978. N 3. P. 1–64.
- Frèche, Georges, Sudreau, Jean.* Un chancelier gallican: Daguesseau, et un cardinal diplomate: François Joachim de Pierre de Bernis. Paris: PUF, 1969.
- Friedberg, Erhard.* Generalized political exchange and interorganizational analysis // Workshop sur «Political exchange: between governance and ideology» organisé par Bernd Marin et Alessandro Pizzorno, abbaye Fiesolana, Florence, 15–18 décembre 1986 (портатор).
- Frijhoff, Wilhem, Julia, Dominique.* L'Éducation des riches: deux pensionnats, Belley et Grenoble // Cahiers d'histoire. 1976. V. 21. P. 105–131.



- . Les grands pensionnats de l'Ancien Régime à la Restauration // *Annales historiques de la Révolution française*. 1981. N 243. P. 153–198.
- Furet, François, Ozouf, Mona* (dir.). Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, Flammarion, 1988.
- Fussman, Gérard*. Le concept d'empire dans l'Inde ancienne // *Le Concept d'Empire / Maurice Duverger* (dir.). Paris: PUF, 1980. P. 378–396.
- . Pouvoir central et régions dans l'Inde ancienne. Le problème de l'empire maurya // *Annales ESC*. 1982. N 4. P. 621–647.
- Garelli, Paul, Durand, Jean-Marie, Gonnet, Hatice et al.* Le Proche-Orient asiatique. T. I: De ses origines aux invasions des peuples de la mer. Paris: PUF, 1969.
- Gaudemet, Paul-Marie*. Le Civil Service britannique. Paris: Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1952.
- Gellner, Ernest*. Nations and nationalism. Paris: Payot, 1989 [1983].
- Genet, Jean-Philippe, Vincent, Bernard* (dir.). État et Église dans la genèse de l'État moderne (материалы colloквиума, организованного CNRS и Casa de Velázquez, Мадрид, 30 ноября—1 декабря 1984). Madrid: Casa de Velázquez, 1986.
- Genet, Jean-Philippe, Le Mené, Michel* (dir.). Genèse de l'État moderne. Prélèvement et redistribution (материалы colloквиума Фонтевро, 16–17 ноября 1984). Paris: Éd. du CNRS, 1987.
- Genet, Jean-Philippe* (dir.). L'État moderne, genèse. Bilans et perspectives (colloквиум CNRS, 19–20 сентября 1988). Paris: Éd. du CNRS, 1990.
- Gernet, Jacques*. Histoire sociale et intellectuelle de la Chine (потатор, без даты).
- . Fondements et limites de l'État en Chine (потатор, без даты).
- . L'Homme ou la paperasse. Aperçu sur les conceptions politiques de T'Ang Chen, 1630–1704 // *State and Law in East Asia / Dieter Eikemeier, Herbert Franke* (dir.). Wiesbaden: Harrassowitz, 1981. P. 112–125.
- . Clubs, cénacles et sociétés dans la Chine des XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles (лекция, прочитанная на ежегодном публичном заседании 21 ноября 1986 года). Paris: Institut de France, 1986.
- Gordon, Robert W.* "The ideal and the actual in the law": fantasies and practices of New York City lawyers, 1870–1910 // *The New High Priests. Lawyers in Post-Civil War America / Gerard W. Gawalt* (dir.). Westport: Greenwood Press, 1984. P. 51–74.
- Goubert, Pierre*. L'Ancien Régime. Paris: Armand Colin, 1963.
- Gramsci, Antonio*. Cahiers de prison. 3, Cahiers 10, 11, 12 et 13. Paris: Gallimard, 1978 [1975].
- Grawitz, Madeleine, Leca, Jean* (dir.). Traité de science politique. Paris: PUF, 1985.
- Grémion, Pierre*. Le Pouvoir périphérique. Bureaucrates et notables dans le système politique français. Paris: Seuil, 1976.
- Griffin, Larry J., Devine, Joel A., Wallace, Michael*. Accumulation, legitimation and politics. Neo-marxist explanation of the growth of welfare expenditures in the United States since the Second World War (рукопись, без даты).
- Guenée, Bernard*. L'histoire de l'État en France à la fin du Moyen Âge vue par les historiens français depuis cent ans // *Revue historique*. 1964. N 232. P. 331–360.

- . L'Occident aux XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles. Les États. Paris: PUF, 2<sup>e</sup> éd., 1981 [1971].
- Gusfield, Joseph R.* The Culture of Public Problems. Drinking-Driving and the Symbolic Order, Chicago-London, University of Chicago Press, 1981 (французский перевод опубликован после курса: *Idem.* La Culture des Problèmes publics. L'alcool au volant: la production d'un ordre symbolique / D. Cefaï (trad.). Paris, Economica, 2009).
- Habermas, Jürgen.* Legitimation Crisis. Boston: Beacon Press, 1975 [1973].
- Hall, John A.* Powers and Liberties. The Causes and Consequences of the Rise of the West. Oxford: Basil Blackwell, 1985.
- Hall, John A.* (dir.). States in History. Oxford: Basil Blackwell, 1986.
- Hamelin, Jacques, Damien, André.* Les Règles de la profession d'avocat. Paris: Dalloz, 1987.
- Hanley, Sarah.* Engendering the State: family formation and State-building in early modern France // French Historical Studies. 1989. V. 16. N 1. P. 4–27.
- . Le Lit de justice des rois de France. L'idéologie constitutionnelle dans la légende, le rituel et le discours. Paris: Aubier, 1991 [1983].
- Harris, Gerald L.* King, Parliament and Public Finance in Medieval England to 1369. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- Harsanyi, John C.* Measurement of social power in n-person reciprocal power situations // Behavioral Science. 1962. V. 7. N 1. P. 81–91.
- Haskell, Francis.* L'art et le langage de la politique // Le Débat. 1987. N 44. P. 106–117.
- . Past and Present in Art and Taste. New Haven: Yale University Press, 1987.
- Hay, Douglas, Linebaugh, Peter, Thompson, Edward P.* (ed.). Albion's Fatal Tree: Crime and Society in Eighteenth-Century England. London: Allen Lane, 1975.
- Hegel, Georg Wilhelm.* La Phénoménologie de l'esprit. T. I. Paris: Aubier-Montaigne, 1939 [1807].
- Held, David* (ed.). States and Societies. New York: New York University Press, 1983.
- Hélie, Faustin.* Traité de l'instruction criminelle. T. I. Paris, 1866.
- Henry, Louis.* Perspectives d'évolution du personnel d'un corps // Population. 1975. N 2. P. 241–269.
- Hilton, Rodney H.* Resistance to taxation and to other State imposition in medieval England // Genèse de l'État moderne (материалы colloquiuma Фонтевро, 16–17 ноября 1984) / Jean-Philippe Genet, Michel Le Ménégé (dir.). Paris: Éd. du CNRS, 1987. P. 169–177.
- Hirsch, Joachim.* Staatsapparat und Reproduktion des Kapitals. Frankfurt-sur-le-Main: Suhrkamp, 1974.
- . The State apparatus and social reproduction. Elements of a theory of the bourgeois State // State and Capital. A Marxist Debate/ John Holloway, Sol Picciotto (ed.). London: Edward Arnold, 1978. P. 57–108.
- Hirschman, Albert O.* How Keynes was spread from America // States and Social Structures Newsletter. 1989. N 10. P. 1–8.

- Hopkins, Keith.* Conquerors and Slaves. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
- Hoston, Germaine A.* Conceptualizing bourgeois Revolution: the prewar Japanese left and the Meiji Restoration // Comparative Studies in Society and History. 1991. V. 33. N 3. P. 539–581.
- Hunt, Lynn.* Politics, Culture and Class in the French Revolution. Berkeley-Los Angeles: University of California Press, 1984.
- Hunter, Floyd.* Community Power Structure. A Study of Decision Makers. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1953.
- Hurst, James W.* The Growth of American Law. The Law Makers. Boston: Little Brown, 1950.
- Jessop, Bob.* Putting States in their place: State systems and State theory. Texte présenté au Historical Sociology Workshop, University of Chicago, ноябрь 1988 (потапов).
- Jobert, Bruno, Muller, Pierre.* L'État en action. Politiques publiques et corporatismes. Paris: PUF, 1987.
- Jobert, Bruno, Théret, Bruno.* La conversion républicaine du néolibéralisme // Le Tournant néo-libéral en Europe / Bruno Jobert (dir.). Paris: L'Harmattan, 1994. P. 21–85.
- Johnson, Terence J.* Professions and Power. London: Macmillan, 1972.
- Jouanna, Arlette.* Le Devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l'État moderne (1559–1661). Paris: Fayard, 1989.
- Kantorowicz, Ernst H.* Les Deux Corps du roi. Paris: Gallimard, 1989 [1957].
- . Pro Patria Mori in mediaeval political thought // Selected Studies. Locust Valley: J. J. Augustin, 1965.
- . Kingship under the impact of scientific jurisprudence // Selected Studies. Locust Valley, J. J. Augustin, 1965. P. 151–166 (французский перевод: *Idem.* La royauté médiévale sous l'impact d'une conception scientifique du droit // Philosophie. 1988. N 20. P. 48–72).
- . Mysteries of State. An absolutist concept and its late mediaeval origins // Selected Studies. Locust Valley: J. J. Augustin, 1965 (французский перевод: *Idem.* Mystères de l'État. Un concept absolutiste et ses origines médiévales, bas Moyen Âge // Mourir pour la patrie et autres textes. Paris: PUF, 1984 [1961]).
- . La souveraineté de l'artiste. Notes sur quelques maximes juridiques et les théories de l'art à la Renaissance // Mourir pour la patrie et autres textes. Paris: PUF, 1984. P. 31–57.
- Karpik, Lucien.* Avocat: une nouvelle profession? // Revue française de sociologie. 1985. V. 26. P. 571–600.
- Katznelson, Ira, Pietrykowski, Bruce.* Rebuilding the American State. Evidence from the 1940s // Studies in American Political Development. 1991. V. 5. P. 301–339.
- Keane, John.* Public Life and Late Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- Kelley, Donald R.* The Beginning of Ideology. Consciousness and Society in the French Reformation. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- Kelsall, Roger K.* Higher Civil Servants in Britain. From 1870 to the Present Day. London: Routledge & Kegan Paul, 1955.

- . Recruitment to the Higher Civil Service: how has the pattern changed? // *Elites and Power in British Society* / Philip Stanworth, Anthony Giddens (ed.). London: Cambridge University Press, 1974.
- Keohane, Nannerl O.* Philosophy and the State in France. The Renaissance to the Enlightenment. Princeton: Princeton University Press, 1980.
- Kiernan, Victor J.* State and nation in Western Europe // *Past and Present*. 1965. V. 31. P. 20–38.
- Kingsley, Donald J.* Representative Bureaucracy. Yellow Springs: Antioch Press, 1944.
- Kingsley, Donald J., Stahl, Glenn O., Mosher, William E.* Public Personnel Administration. New York: Harper, 3e ed, 1950; 5e ed., 1962.
- Kleiman, Ephraïm.* Fear of confiscation and redistribution. Notes towards a theory of revolution and repression. Communication au séminaire de l'Institut for International Economic Studies, Stockholm, 1983.
- Klein, Jacques-Sylvain.* La procédure des fonds de concours ou l'art de tourner les règles budgétaires // *La Revue administrative*. 1981. N 203. P. 466–471.
- Kohli, Atul.* The State and development // *States and Social Structures Newsletter*, Social Science Research Council. 1988. N 6. P. 1–5.
- Laffont, Jean-Jacques.* Hidden gaming in hierarchies: facts and models // *The Economic Record*. 1988. V. 64. N 187. P. 295–306.
- . Analysis of hidden gaming in a three-level hierarchy // *The Journal of Law, Economics, and Organization*. 1990. V. 6. N 2. P. 301–324.
- Laitin, David B., Lustick, Ian S.* Hegemony, institutionalization and the State (рогатор, без даты).
- . Hegemony and the State // *States and Social Structures Newsletter*. 1989. N 9. P. 1–8.
- Lattimore Owen.* Feudalism in History, рецензия на: *Rushton Coulborn.* Feudalism in History (Princeton, Princeton University Press, 1956) // *Past and Present*. 1957. V. 12. P. 50–57.
- . *Studies in Frontier History. Collected Papers 1928–1958.* Paris-La Haye: Mouton, 1962.
- Laumann, Edward O.* Bonds of Pluralism: The Form and Substance of Urban Social Networks. New York: Wiley, 1973.
- Laumann, Edward O., Pappi, Franz U.* Networks of Collective Action. A Perspective on Community Influence Systems. New York: Academic Press, 1976.
- Laumann, Edward O., Knoke, David.* The Organizational State. Madison: University of Wisconsin Press, 1988.
- Leca, Jean, Bouvier, Jean, Muller, Pierre, Nizard, Lucien, Barel, Yves, Nicolai, André, Hermann-Origet, Claude, Leyral, René, Gottelmann, Gabriele.* Recherches sur l'État. Élaboration d'un bilan interdisciplinaire des travaux concernant l'État français d'aujourd'hui. Rapport de l'Institut d'études politiques CERAT, Commissariat général du Plan. CORDES, t. I, 1980.
- Leff, Gordon.* History and Social Theory. London: Merlin Press, 1969.
- Legendre, Pierre.* Histoire de la pensée administrative // *Traité de science administrative* (coll.). Paris: Mouton, 1966.

- . La facture historique des systèmes. Notations pour une histoire comparative du droit administratif français // *Revue internationale de droit comparé*. 1971. V. 23. N 1. P. 5–47.
- Le Goff, Jacques*. L'État et les pouvoirs // *Histoire de la France* / André Burguière, Jacques Revel (dir.), t. II. Paris: Seuil, 1989.
- Lénine, Vladimir*. De l'État. Conférence du 11 juillet 1919 à l'Université de Sverdlov (полный текст доступен на сайте marxists.org).
- Lenoir, Remi*. Un reproche vivant. Entretien avec un magistrat // *La Misère du monde* / Pierre Bourdieu (dir.). Paris: Seuil, 1993. P. 465–492.
- Le Paige, Louis Adrien*. Lettres historiques sur les fonctions essentielles du Parlement, sur le droit des pairs et sur les lois fondamentales du royaume. 2 vol. Amsterdam: Aux Dépens de la Compagnie, 1753–1754.
- Le Pors, Anicet*. L'État efficace. Paris: Robert Laffont, 1985.
- Levenson, Joseph Richmond*. Confucian China and its Modern Fate. A Trilogy. Berkeley: University of California Press, 3 t., 1958–1965.
- Lewis, Andrew W.* Le Sang royal. La famille capétienne et l'État, France, Xe–XIVe siècles. Paris: Gallimard, 1986 [1981].
- Lieberman, Jethro K.* The Tyranny of Experts. How Professionals are Closing the Open Society. New York: Walker, 1970.
- Lindenberg, Siegwart, Coleman, James S., Nowak, Stefan (ed.)*. Approaches to Social Theory. New York: Russell Sage Foundation, 1986.
- Lindblom, Charles E.* Politics and Markets. New York: Basic Books, 1977.
- Lipietz, Alain*. Crise de l'État-providence: idéologies, réalités et enjeux pour la France des années 1980. Intervention au Congrès de la Société québécoise de science politique «Crise économique, transformations politiques et changements idéologiques», Trois-Rivières, mai 1983. Document CEPREMAP, 8306, 1983.
- Lowi, Theodore J.* The reason of the Welfare State. An inquiry into ethical foundations and constitutional remedies (потатор, без даты).
- Lowie, Robert H.* The Origin of the State. New York: Harcourt, Brace & Co, 1927.
- Loyseau, Charles*. Traité des ordres et simples dignités. Châteaudun, 1610.
- Macpherson, Crawford B.* Do we need a theory of the State? // *Archives européennes de sociologie*. 1977. V. 18. N 2. P. 223–244.
- McClelland, Charles E.* Structural change and social reproduction in German universities, 1870–1920 // *History of Education*, 1986. V. 15. N 3. P. 177–193.
- Maire, Catherine (dir.)*. Jansénisme et révolution. Actes du colloque de Versailles tenu au Palais des congrès les 13 et 14 octobre 1989. Paris: Chroniques de Port-Royal, Bibliothèque Mazarine, 1990.
- Maitland, Frederic W.* English Law and the Renaissance. Cambridge: Cambridge University Press, 1901.
- . The Constitutional History of England. A Course of Lectures Delivered. Cambridge: Cambridge University Press, 1948 [1908].
- . Equity. The Forms of Action at Common Law. Cambridge: Cambridge University Press, 1913.
- Manley, John*. Neopluralism: a class analysis of pluralism I and pluralism II. *American Political Science Review*. 1983. V. 77. N 2. P. 368–384.
- Mann, Michael*. States, ancient and modern // *Archives européennes de sociologie*, numéro spécial sur l'État. 1977. V. 28. N 2. P. 262–298.

- . The autonomous power of the State. Its origins, mechanisms and results // Archives européennes de sociologie. 1984. V. 25. N 1. P. 185–213.
- . The Sources of Social Power. Vol. 1: A History of Power from the Beginning to AD 1760. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Mantran, Robert*. L'Empire ottoman, du XVI<sup>e</sup> au XVIII<sup>e</sup> siècle. Administration, économie, société. London: Variorum, 1984.
- Mantran, Robert* (dir.). Histoire de l'Empire ottoman. Paris: Fayard, 1989.
- Marion, Marcel* (dir.). Dictionnaire des institutions de la France aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles. Paris: Picard, 1972 [1923].
- Marsch, Robert M.* The venality of provincial office in China and in comparative perspective // Comparative Studies in Society and History. 1962. V. 4. P. 464–466.
- Meisel, James H.* The Myth of the Ruling Class. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962.
- Memmi, Dominique*. Savants et maîtres à penser. La fabrication d'une morale de la procréation artificielle // Actes de la recherche en sciences sociales. 1989. N 76–77. P. 82–103.
- Mesnard, Pierre*. L'Essor de la philosophie politique au XVI<sup>e</sup> siècle. Paris: Vrin, 1969.
- Michels, Roberto*. Les Partis politiques. Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties. Paris: Flammarion, 1914 [1911].
- Miliband, Ralph*. The State in Capitalist Society. An Analysis of the Western System of Power. New York: Basic Books, 1978 [1969].
- Miller, Benjamin*. The colonial polo club: an examination of class processes in the suburban-rural fringe // Cities of the United States / Leith Mullings (ed.). New York: Columbia University Press, 1987. P. 198–218.
- Miller, Delbert C.* Power, complementary, and the cutting edge of research // Sociological Focus. 1968. V. 1. N 4. P. 1–17.
- Mills, Charles Wright*. The Power Elite. New York: Oxford University Press, 1956 (trad. fr.: L'Élite du pouvoir. Paris: Maspéro, 1959).
- Moore, Barrington*. Les Origines sociales de la dictature et de la démocratie. Paris: Maspéro, 1983 [1966].
- Mosse, George L.* The Crisis of German Ideology. Intellectual Origins of the Third Reich. New York: Grosset & Dunlap, 1964 (французский перевод опубликован после курса: *Idem*. Les Racines intellectuelles du Troisième Reich. Paris: Calmann-Lévy, 2006).
- Mousmier, Roland*. La Vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII. Rouen: Maugard, 1945.
- . Le trafic des offices à Venise // Revue historique de droit français et étranger. 1952. V. 30. N 4. P. 552–565.
- . La Plume, la faucille et le marteau. Institutions et société en France du Moyen Âge à la Révolution. Paris: PUF, 1970.
- . La fonction publique en France du début du XVI<sup>e</sup> siècle à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle // Revue historique. 1979. N 530.
- . Les Institutions de la France sous la monarchie absolue, 1598–1789. T. I: Société et État. Paris: PUF, 1974; T. II: Les Organes de l'État et la société. Paris: PUF, 1980.
- Müller, Wolfgang, Neuss, Christel*. The illusion of State socialism and the contradiction between wage labor and capital // Telos. 1975. N 25. P. 13–91.

- Murray, Robin.* The internationalization of capital and the national State // *New Left Review*. 1971. N 67. P. 84–109.
- Naudé, Gabriel.* Considérations politiques sur les coups d'État, 1667 (rééd. Galimard, 2004).
- Nicolai, André.* Les efficacités de la planification // *Planification et société* / Lucien Nizard, Pierre A. Bélanger (dir.). Grenoble: PUG, 1975. P. 583–598.
- Nordlinger, Eric A.* On the Autonomy of the Democratic State Cambridge: Harvard University Press, 1981.
- Nozick, Robert.* Anarchy, State and Utopia. Oxford: Basil Blackwell, 1974 (французский перевод: *Idem.* Anarchie, État et utopie. Paris: PUF, 1988).
- O'Connor, James.* The Corporations and the State. New York: Harper & Row, 1974.
- Offe, Claus.* Laws of motion of reformist State policies. An Excerpt from Berufsbildungs Reform eine Fall Studie über Reform Politik (рукопись, без даты).
- . Structural problems of the capitalist State. Class rule and the political system. On the selectiveness of political institutions // *German Political Studies*. Claus Von Beyme (ed.). Vol. 1. London: Sage, 1974. P. 31–55.
- . Disorganized Capitalism. Contemporary Transformations of Work and Politics. Cambridge: Polity Press, 1985.
- Offe, Claus, Keane, John (dir.).* Contradictions of the Welfare State. London: Hutchinson & Co, 1984.
- Olesen, Virginia, Whittaker, Elvi W.* Critical notes on sociological studies of professional socialization // *Professions and Professionalization* / John A. Jackson (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
- Ooms, Herman.* Tokugawa Ideology, Early Constructs, 1570–1680. Princeton: Princeton University Press, 1985.
- Orloff, Ann Shola, Skocpol, Theda.* Why not equal protection? Explaining the politics of public social spending in Britain, 1900–1911, and the United States, 1880–1920 // *American Sociological Review*. 1984. V. 49. N 6. P. 726–750.
- Ory, Pascal (dir.).* Nouvelle histoire des idées politiques, Paris: Hachette, 1987.
- Pareto, Vilfredo.* The Rise and Fall of Elites. An Application of Theoretical Sociology. New Brunswick: Transaction Publishers, 1991 [1901].
- . Les Systèmes socialistes (Œuvres complètes, vol. 5). Paris-Genève: Droz, 1965 [1902].
- . Traité de sociologie générale (Œuvres complètes, vol. 12). Paris-Genève: Droz, 1968 [1916].
- Parsons, Talcott.* Éléments pour une sociologie de l'action. Paris: Plon, 1955 [1937].
- . Sociétés. Essai sur leur évolution comparée. Paris: Dunod, 1973 [1966].
- Pascal, Blaise.* Pensées. Paris: Le Livre de Poche, 1972 (éd. Léon Brunschvicg, 1897) [1670].
- Péan, Pierre.* Secret d'État. La France du secret, les secrets de la France. Paris: Fayard, 1986.

- Perez-Diaz, Victor.* Estado, burocracia y sociedad civil. Discusión crítica, desarrollos y alternativas a la teoría política de Karl Marx. Madrid: Alfaguara, 1978; английский перевод: *Idem.* State, Bureaucracy and Civil Society. A Critical Discussion of the Political Theory of Karl Marx. London-New York: Macmillan-Humanities Press, 1978.
- . El proyecto moral de Marx cien años después // Marx, economía y moral / Angel Rojo Luis, Victor Perez-Diaz (dir.). Madrid: Alianza Editorial, 1984.
- Perlin, Frank.* State formation reconsidered // Modern Asian Studies. 1985. V. 19. N 3. P. 415–480.
- Perroux, François.* Pouvoir et économie. Paris: Dunod, 1973.
- Petot, Jean.* Histoire de l'Administration des Ponts et Chaussées (1599–1815). Paris: Marcel Rivière, 1958.
- Peuchot, Éric.* L'obligation de désintéressement des agents publics. Thèse pour le doctorat d'État, Université de Paris-2, 1987.
- Pirotte, Olivier.* Vivien de Goubert. Paris: LGDJ, 1972.
- Pisier-Kouchner, Évelyne.* Le Service public dans la théorie de l'État de Léon Duguit // Revue internationale de droit comparé. 1973. V. 25. N 4. P. 970–971.
- Pocock, John Greville Agard.* The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton: Princeton University Press, 1975 (французский перевод опубликован после купца: *Idem.* Le Moment machiavélien. La pensée politique florentine et la tradition républicaine atlantique. Paris: PUF, 1997).
- Pollock, Sheldon.* From discourse of ritual to discourse of power in Sanskrit culture // Journal of Ritual Studies. 1990. N 4–2. P. 315–345.
- Post, Gaines.* Studies in Medieval Legal Thought. Princeton: Princeton University Press, 1964.
- Poulantzas, Nicos.* Pouvoir et classes sociales. Paris: Maspero, 1968; английский перевод: *Idem.* Political Power and Social Classes. London: New Left Books, 1973.
- Przeworski, Adam.* Capitalism and Social Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- . Marxism and rational choice // Politics and Society. 1985. V. 14. N 4. P. 379–409.
- Przeworski, Adam, Wallerstein, Michael.* Structural dependence of the State on capital, manuscrit, sd.
- . Corporatism, pluralism and market competition, manuscrit, sd.
- Putnam, Robert D.* The Comparative Study of Political Elites. Engliwood: Prentice Hall, 1976.
- Quadagno, Jill.* Theories of the Welfare State // Annual Review of Sociology. 1987. V. 13. P. 109–128.
- Rampelberg, Renée-Marie.* Aux origines du ministère de l'Intérieur, le ministère de la maison du Roi, 1783–1788. Paris: Economica, 1974.
- Rév, Istvan.* The advantages of being atomized. Communication présentée à l'Institut for Advanced Study, Princeton, février 1986 (поратоп).
- Richet, Denis.* La France moderne. L'esprit des institutions. Paris: Flammarion, 1973.



- . *Élite et noblesse: la fonction des grands serviteurs de l'État (fin XVIe-début XVIIe siècle)* // *Acta Poloniae Historica*. 1977. N 36. P. 47–63.
- Riker, William H.* Some ambiguities in the notion of power // *The American Political Science Review*. 1964. V. 63. N 2. P. 341–349.
- Ringer, Fritz K.* *The Decline of the German Mandarins. The German Academic Community (1890–1933)*. Cambridge: Harvard University Press, 1969.
- Rolland, Patrice.* L'enjeu du droit // *Georges Sorel / Michel Charzat (dir.)*. Paris: Éd. de l'Herne, «Cahier de l'Hern», 1986. P. 28–44.
- Rosanvallon, Pierre.* *La Crise de l'État-providence*. Paris: Seuil, 1981.
- Ross, George.* Redefining political sociology, рецензия на: *Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer, Theda Skocpol (dir.)*. *Bringing the State Back in* (Cambridge, Cambridge University Press, 1985) // *Contemporary Sociology*. 1986. V. 15. N 6. P. 813–815.
- Rouquié, Alain.* Changement politique et transformation des régimes // *Traité de science politique / Madeleine Grawitz, Jean Leca (dir.)*. Paris: PUF, 1985. P. 601.
- Rousselet, Marcel.* *Histoire de la magistrature française. Des origines à nos jours*. 2 vol. Paris: Plon, 1957.
- Rubinstein, William D.* Wealth, elites and the class structure of modern Britain // *Past and Present*. 1977. V. 76. P. 99–126.
- Runciman, W. Garry.* Comparative history or narrative history // *Archives européennes de sociologie*. 1980. N 21. P. 162–178.
- Rupp, Jan C. C. De Lange, Rob.* Social order, cultural capital and citizenship. An essay concerning educational status and educational power versus comprehensiveness of elementary schools // *The Sociological Review*. 1989. V. 37. N 4. P. 668–705.
- Ryan, William.* *Blaming the Victim*. New York: Pantheon Books, 1971.
- Saige, Guillaume-Joseph.* *Catéchisme du citoyen, ou Éléments du droit public français, par demandes & réponses*. (без места), 1775.
- Saint Martin, Monique De.* *L'Espace de la noblesse*. Paris: Métailié, 1993.
- Salmon, J. H. M.* Venality of office and popular sedition in seventeenth century France. A review of a controversy // *Past and Present*. 1967. V. 37. P. 21–43.
- Samoyault, Jean-Pierre.* *Les Bureaux du secrétariat d'État des Affaires étrangères sous Louis XV*. Paris: Pedone, 1971.
- Sarfatti, Larson Magali.* *The Rise of Professionalism. A Sociological Analysis*. Berkeley-Los Angeles: University of California Press, 1977.
- Schapiro, Meyer.* рецензия на: *Joseph C. Sloane.* *Between the Past and Present. Artists, Critics, and Traditions from 1848 to 1870* (Princeton: Princeton University Press, 1951) // *The Art Bulletin* 1954. N 36. P. 163–165.
- Schmitter, Philippe.* Neo-corporatism and the State. Working Paper N 106. Florence: EUI.
- Schmolders, Günter.* *Psychologie des finances et de l'impôt*. Paris: PUF, 1973.
- Schramm, Percy Ernst.* *Kaiser, Rom und Renovatio. Studien und Texte zur Geschichte des römischen Erneuerungsgedankens vom Ende des karolingischen Reiches bis zum Investiturstreit*. 2 vol. Berlin: Teubner, 1929.
- . *Der König von Frankreich. Das Wesen der Monarchie von 9 zum 16. Jahrhundert. Ein Kapital aus Geschichte des abendlichen Staates*, 2 vol. Weimar: H. Böhlau Nachf, 1939.

- Seyssel, Claude De.* La Monarchie de France / Jacques Poujol (éd.). Paris: Librairies d'Argences, 1960 [1519].
- Shibata, Michio, Chizuka, Tadami.* Marxist studies of the French Revolution in Japan // Science & Society. 1990. V. 54. N 3. P. 366–374.
- Shinn, Terry.* Science, Tocqueville, and the State. The organization of knowledge in modern France // Social Research. 1992. V. 59. N 3. P. 533–566.
- Skinner, Quentin.* The Foundations of Modern Political Thought. T.1: The Renaissance. T. 2: The Age of Reformation. Cambridge: Cambridge University Press, 1978 (французский перевод опубликован после курса: *Idem.* Les Fondements de la pensée politique moderne. Paris: Albin Michel, 2001).
- Skocpol, Theda.* States and Social Revolution. A Comparative Analysis of France, Russia, and China. Cambridge: Cambridge University Press, 1979 (французский перевод: *Idem.* États et révolutions sociales. La Révolution en France, en Russie, en Chine. Paris: Fayard, 1985).
- . Rentier State and Shi'A Islam in the Iranian Revolution // Theory and Society. 1982. V. 11. N 3. P. 265–283.
- . Bringing the State back in: strategies of analysis in current research // Bringing the State Back in / Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer, Theda Skocpol (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- . Cultural idioms and political ideologies in the revolutionary reconstruction of State power. A rejoinder to Sewell // The Journal of Modern History. 1985. V. 57. N 1. P. 86–96.
- . Social history and historical sociology: contrasts and complementarities. Version révisée de «Historical sociology and social history: a dialogue», Annual Meeting of the Social Science History Association, Chicago, 23 novembre 1985; также опубликовано в форме: «Social history and historical sociology: contrasts and complementarities // Social Science History. 1987. V. 11. N 1. P. 17–30.
- . A society without a “State”? Political organization, social conflict, and welfare provision in the United States // Journal of Public Policy. 1987. V. 7. N 4. P. 349–371.
- Skocpol, Theda (ed.).* Vision and Method in Historical Sociology. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- Skocpol, Theda, Weir, Margaret.* State structures and the possibilities for “Keynesian” responses to the Great Depression in Sweden, Britain, and the United States // Bringing the State Back / Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer, Theda Skocpol (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Skocpol, Theda, Amenta, Edwin.* States and social policies // Annual Review of Sociology. 1986. V. 12. P. 131–157.
- Social Science Research Council (New York).* States and Social Structures Newsletter (2 numéros: «Hegemony and the State», hiver 1989; «The State and development», hiver 1988).
- Sorman, Guy.* L'État minimum. Paris: Albin Michel, 1985.
- Spinoza, Baruch.* Traité politique [1677] // Œuvres complètes. Paris: Gallimard, 1954.

- Stanworth, Philip, Giddens, Anthony (ed.)*. Elites and Power in British Society. London: Cambridge University Press, 1974.
- Stein, Burton*. State formation and economy reconsidered // *Modern Asian Studies*. 1985. V. 19. N 3. P. 387–413.
- Steinmetz, George*. The myth and the reality of an autonomous State industrialists, Junkers, and social policy in Imperial Germany // *Comparative Social Research*. 1990. V.12.
- Stieber, Joachim W.* Pope Eugenius IV, the Council of Basel, and the secular and ecclesiastical authorities in the Empire. The Conflict over supreme authority and power in the Church // *Studies in the History of Christian Thought* / Heiko A. Oberman (ed.). Vol. 13. Leyde: Brill, 1978.
- Stone, Deborah A.* The Disabled State. Philadelphie: Temple University Press, 1984.
- Stone, Lawrence*. Theories of Revolution // *World Politics*. 1966. V. 18. N 2. P. 159–176.
- Strayer, Joseph R.* The idea of feudalism // *Feudalism in History* / Rushton Coulborn (ed.). Princeton: Princeton University Press, 1956. P. 3–11.
- . Les Origines médiévales de l'État modern. Paris: Payot, 1979 [1970].
- Suleiman, Ezra N.* Les Élités en France. Grands corps et grandes écoles. Paris: Seuil, 1979 [1978].
- . Hauts fonctionnaires. Le mythe de la neutralité // *Le Monde*, 27 février 1986.
- Supiot, Alain*. La crise de l'esprit de service public // *Droit social*. 1989. V. 12. P. 777–783.
- Swaan, Abram De*. In care of the State. State formation and the collectivization of wealth care. Education and welfare in Europe and America during the Modern Era. План дипломной работы (14 страниц, из которых одна представляет собой содержание), с приложением предварительного перевода: «Введение в социогенезис государства всеобщего благосостояния» (12 страниц).
- Sweezy, Paul M.* Marxian socialism. Power elite or ruling class // *Monthly Review Pamphlet Series*. 1960 [1956]. N 13. P. 5–17.
- Tessier, Georges*. Diplomatie royale française. Paris: Picard, 1962.
- Théret, Bruno*. L'État. Le souverain, la finance et le social. Avant-projet de séminaire franco-européen de recherche interdisciplinaire et de prospective, 25 mars 1990 (potatop).
- . Néolibéralisme, inégalités sociales et politiques fiscales de droite et de gauche dans la France des années 1980. Identité et différences, pratiques et doctrines // *Revue française de science politique*. 1991. V. 41. N 3. P. 342–381.
- . Quel avenir pour l'État-providence dans un contexte d'intégration des marchés nationaux? Communication au colloque international «Amérique du Nord, Communauté européenne: intégration économique, intégration sociale?», Université du Québec à Montréal, 22–24 octobre 1992.
- Thoenig, Jean-Claude*. L'Ère des technocrates. Le cas des Ponts et Chaussées. Paris: Éditions d'organisation, 1973.
- Thompson, Edward P.* The peculiarities of the English // *The Socialist Register* / Ralph Miliband, John Saville (ed.). London: Merlin, 1965. P. 311–362;

- переиздано в: *Edward P. Thompson. The Poverty of Theory and Others Essays*. New York: Monthly Review Press, 1978.
- . Patrician society, plebeian culture // *Journal of Social History*. 1976. V. 7. N 3. P. 382–405.
- . Modes de domination et révolution en Angleterre // *Actes de la recherche en sciences sociales*. 1976. N. 2–3. P. 133–151.
- Thuau, Étienne*. Raison d'État et pensée politique à l'époque de Richelieu. Paris: Armand Colin, 1966 (переиздано в: Albin Michel, 2000).
- Thuillier, Guy*. Bureaucratie et bureaucrates en France au XIXe siècle. Genève: Droz, 1980.
- Tilly, Charles*. Major forms of collective action in Western Europe 1500–1975 // *Theory and Society*. 1976. V. 3. P. 365–375.
- . From Mobilization to Revolution. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
- . Cities and States in Europe, 1000–1800 // *States and Social Structures Newsletter*. 1988. N 7. P. 5–9.
- . Coercion, Capital and European States, AD 990–1990. Cambridge: Blackwell, 1990 (французский перевод опубликован после курса: *Idem*. Contrainte et capital dans la formation de l'Europe, 990–1990. Paris: Aubier, 1992).
- Tilly, Charles (ed.)*. The Formation of National States in Western Europe. Princeton: Princeton University Press, 1975 (со статьями авторов: Gabriel Ardant, David H. Bayley, Rudolf Braun, Samuel E. Finer, Wolfram Fischer, Peter Lundgreen, Stein Rokkan, Charles Tilly).
- Tirole, Jean, Laffont, Jean-Jacques*. The politics of government decision making. Regulatory institutions // *The Journal of Law, Economics, and Organization*. 1990. V. 6. N 1. P. 1–32.
- . The politics of government decision making. A theory of regulatory capture // *The Quarterly Journal of Economics*. 1991. V. 106. P. 1089–1127.
- . Auction design and favoritism // *International Journal of Industrial Organization*. 1991. V. 9. P. 9–42.
- Turgot*. Des administrations provinciales: mémoire présenté au Roi, 1788.
- Useem, Michael, Karabel, Jerome*. Pathways to top corporate management // *American Sociological Review*. 1986. V. 51. N 2. P. 184–200.
- Vaillant, Roger*. Éloge du Cardinal de Bernis, Paris, Fasquelle, 1956.
- Van Kley, Dale*. Du Parti janséniste au parti patriote. L'ultime sécularisation d'une tradition religieuse à l'époque du chancelier Maupeou (1770–1775) // *Jansénisme et révolution* (материалы Версальского colloquium, проведенного в Дворце конгресса 13 и 14 октября 2009 г.) / Catherine Maire (dir.). Paris: Chroniques de Port-Royal, Bibliothèque Mazarine, 1990. P. 115–130.
- Vidal-Naquet, Pierre*. La Raison d'État. Textes publiés par le comité Maurice-Audin. Paris: Minuit, 1962 (rééd. La Découverte, 2002).
- Wacquant, Loïc J. D.* De l'État charitable à l'État pénal. Notes sur le traitement politique de la misère en Amérique (портат, [1989]).
- Wallerstein, Immanuel*. The Modern World-System, vol. 1: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York — London: Academic Press, 1974 (французский

- перевод: *Idem.* Le Système du monde, du XVe siècle à nos jours, t. I: Capitalisme et Économie-Monde 1450–1640. Paris: Flammarion, 1980).
- Walzer, Michael.* Interpretation and Social Criticism, Cambridge, Harvard University Press, 1987 (французский перевод: *Idem.* Critique et sens commun. Essai sur la critique sociale et son interpretation / J. Roman (trad.). Paris: La Découverte, 1990).
- Weber, Max.* Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. 3 vol. Tübingen: Mohr, 1978–1986 [1920–1921] (французский перевод: *Idem.* Hindouisme et bouddhisme [1916]. Paris: Flammarion, 2003; Confucianisme et taoïsme [1916]. Paris: Gallimard, 2000; Le Judaïsme antique. Paris: Plon, 1970 [1917–1918]; L'Éthique protestante et l'Esprit du capitalisme. Paris: Plon, 1964 [1920]; Sociologie de la religion [1910–1920]. Paris: Flammarion, 2006).
- . Le Savant et le Politique. Paris: UGE, «10/18», 1963 [1959; 1919].
- . Histoire économique. Esquisse d'une histoire universelle de l'économie et de la société. Paris: Gallimard, 1991 [1919–1920].
- . Économie et société. Paris: Plon, 1971 [1921].
- . Essais sur la théorie de la science. Paris: Plon, 1965 [1922].
- Wickham, Chris.* «Historical Materialism, Historical Sociology» // New Left Review. 1988. N 171. P. 63–78.
- Will, Pierre-Étienne.* Bureaucratie et famine en Chine au XVIIIe siècle. Paris-La Haye: EHESS-Mouton, 1980.
- . Bureaucratie officielle et bureaucratie réelle. Sur quelques dilemmes de l'administration impériale à l'époque des Qing // Études chinoises. 1989. V. VIII. P. 69–141.
- . рецензия на: Beatrice S. Bartlett, Monarchs and Ministers. The Grand Council in Mid-Ch'ing China, 1723–1820 (Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1991) // Harvard Journal of Asiatic Studies. 1994. V. 54. N 1. P. 313–337.
- Williams, Mike.* Industrial policy and the neutrality of the State // Journal of Public Economics. 1982. V. 19. P. 73–96.
- Wittfogel, Karl August.* Le Despotisme oriental. Étude comparative du pouvoir total. Paris: Minuit, 1977 [1957].
- Wittgenstein, Ludwig.* Tractatus logico-philosophicus, suivi de Investigations philosophiques. Paris: Gallimard, 1961 [1953].
- Wittrock, Björn, Wagner, Peter, Wollmann, Hellmut.* Social science and the modern State: knowledge, institutions, and societal transformations // Social Sciences and Modern States. National Experiences and Theoretical Crossroads / Peter Wagner, Carol H. Weiss, Björn Wittrock, Hellmut Wollmann (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Woolley, John T.* The politics of monetary policy in Western Europe. Communication à l'assemblée annuelle de l'American Political Science Association, Chicago, 1983.
- Wright, Erik O.* Class, Crisis and the State. London: Verso, 1979.
- Zeülin, Maurice, Neuman, W. Lawrence, Ratcliff, Richard E.* Class segments, agrarian property and political leadership in the capitalist class of Chile // American Sociological Review. 1976. V. 41. P. 1006–1029.

- Zeldin, Theodore.* The Political System of Napoleon III. London: Macmillan, 1958.
- Zeller, Gaston.* Les Institutions de la France au XVI<sup>e</sup> siècle. Paris: PUF, 1987 [1948].
- Zolberg, Aristide R.* Interactions stratégiques et formation des États modernes en France et en Angleterre // *Revue internationale des sciences sociales.* 1980. V. 32. N 4. P. 737–767.
- . L'influence des facteurs "externes" sur l'ordre politique interne // *Traité de science politique / Madeleine Grawitz, Jean Leca (dir.).* Paris: PUF, 1985. P. 567–598.

## 2. Работы, не связанные напрямую с темой государства

- Арон Р.* Этапы развития социологической мысли. М.: Издательская группа «Прогресс», 1993.
- Бейтсон Г.* Экология разума (Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии). М.: Смысл, 2000.
- Бенвенист Э.* Словарь индоевропейских социальных терминов. М.: Прогресс-Универс, 1995.
- Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М: Московский философский фонд, Academia-Центр, Медиум, 1995.
- Бернхард Т.* Старые мастера. М.: Медиум, 1995.
- Блок М.* Апология истории или ремесло историка. М.: Наука, 1986.
- Гершенкрон А.* Экономическая отсталость в сравнительной перспективе. М.: Издательский дом «Дело», 2015.
- Гинзбург К.* Германская мифология и нацизм // *Мифы-эмблемы-приметы.* М.: Новое издательство, 2004.
- Дэвидсон Д.* Истина и интерпретация. М.: Праксис, 2003.
- Дюркгейм Э.* О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 19...
- Дюркгейм Э., Мосс М.* О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию коллективных представлений // *Мосс М.* Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М.: КДУ, 2011. С. 56–125.
- Кассирер Э.* Избранное: Индивид и космос. М., СПб.: Университетская книга, 2000.
- Кассирер Э.* Философия символических форм: В 3 т. М., СПб.: Университетская книга, 2002.
- Куайн У. В. О.* Слово и объект. М.: Логос, 2000.
- Кун Т.* Структура научных революций. М.: АСТ, 2003.
- Лавджой А.* Великая цепь бытия. М.: Дом интеллектуальной книги, 2011.
- Леви-Стросс К.* Печальные тропики. М.: Аст, Львов: Инициатива, 1999.
- Лейбниц Г. В.* Опыты теодицеи о благости Божьей // *Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1989. Т. 4.*
- Мерло-Понти М.* В защиту философии. М.: Издательство гуманитарной литературы, 1996.

- Мерло-Понти М.* Знаки. М.: Искусство, 2001.
- Мерло-Понти М.* Феноменология восприятия. М: Ювента, Наука, 1999.
- Ницше Ф.* По ту сторону добра и зла // Полное собрание сочинений: В тринадцати томах. Т. 5. М.: Культурная революция, 2012.
- Остин Дж.* Как совершать действия при помощи слов // Избранное. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999.
- Поланьи К.* Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002.
- Сартр Ж.-П.* Проблемы метода. М.: Академический проект, 2008.
- Хальбвакс М.* Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007.
- Хёйзинга Й.* Homo Ludens; Статьи по истории культуры. М.: Прогресс — Традиция, 1997.
- Шютц А.* Смысловое строение социального мира // Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004.
- Элиас Н.* Генезис спорта как социологическая проблема // Логос. 2006. № 3 (54).
- Юм. Д.* О первоначальных принципах правления // Собр. соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1996. Т. 2.
- Alpers, Svetlana.* L'oeil de l'histoire. L'effet cartographique dans la peinture hollandaise au XVIIe siècle // Actes de la recherche en sciences sociales. 1982. V. 49. P. 71–101.
- Anderson, Perry.* Socialism and pseudo-empiricism // New Left Review. 1966. N 35. P. 2–42.
- Aron, Raymond.* Les Étapes de la pensée sociologique. Paris: Gallimard, 1976.
- Austin, John L.* Quand dire, c'est faire. Paris: Seuil, 1970 [1955].
- Bachelard, Gaston.* La Formation de l'esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective. Paris: Vrin, 1938.
- Balazs, Étienne.* Les aspects significatifs de la société chinoise // Asiatische Studien., 1952. V. VI. P. 79–87.
- Bateson, Gregory et al.* Towards a theory of schizophrenia // Behavioral Science. 1956. V. 1. N 4. (французский перевод: *Gregory Bateson.* Vers une écologie de l'esprit, 2 t. Paris: Seuil, 1977–1980).
- Ben-David, Joseph.* The Scientist's Role in Society: a Comparative Study. Chicago: University of Chicago Press, 1971.
- Bendix, Reinhard.* Max Weber. An Intellectual Portrait, Berkeley. University of California Press: 1977 [1960].
- Benet, Francisco.* Les marchés explosifs dans les montagnes berbères // Les Systèmes économiques dans l'histoire et dans la théorie / Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg, Harry W. Pearson (ed.). Paris: Larousse, 1975 [1957]. P. 195–216.
- Benveniste, Émile.* Le Vocabulaire des institutions indo-européennes. T. I, Économie, parenté, société; T. II, Pouvoir, droit, religion. Paris: Minuit, 1969.
- Berger, Peter L., Luckmann, Thomas.* La Construction sociale de la réalité. Paris: Klincksieck, 1986 [1966].
- Bergson, Henri.* La Pensée et le Mouvant. Paris: Alcan, 1934.
- Berle, Adolf A., Means, Gardiner C.* The Modern Corporation and Private Property. New York: Macmillan, 1933 [1932].

- Bernhard, Thomas.* Maîtres anciens. Paris: Gallimard, 1988 [1985].
- Bloch, Marc.* Apologie pour l'histoire, ou Métier d'historien. Paris: Armand Colin, 2e éd. 1952 [1949].
- Bollack, Jean.* Empédocle. 3 vol. Paris: Minuit, 1965–1969.
- Brubaker, Rogers.* The Limits of Rationality. An Essay on the Social and Moral Thought of Max Weber. London: Allen & Unwin, 1984.
- Burnham, James.* L'Ère des organisateurs. Paris: Calman-Lévy, 1947 [1941].
- Caillet, Laurence.* La Maison Yamazaki. La vie exemplaire d'une paysanne japonaise devenue chef d'une entreprise de haute coiffure. Paris: Plon, 1991.
- Cassirer, Ernst.* Individu et cosmos dans la philosophie de la Renaissance. Paris: Minuit, 1983 [1927].
- . Philosophie des formes symboliques. 3 t. Paris: Minuit, 1972 [1953–1957].
- . Structuralism in modern linguistics // Word. 1945. V. 1. N 2.
- Chamfort, Nicolas De.* Maximes et pensées. Paris, 1795.
- Champagne, Patrick.* Faire l'opinion. Le nouveau jeu politique. Paris: Minuit, 1990.
- Cicourel, Aaron.* La Sociologie cognitive. Paris: PUF, 1979 [1974].
- Coll.* Philosophies de l'Université. L'idéalisme allemand et la question de l'Université, textes de Schelling, Fichte, Schleiermacher, Humboldt, Hegel présentés par Luc Ferry, Jean-Pierre Pesron et Alain Renaut. Paris: Payot, 1979.
- Davidson, Donald.* Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford, Clarendon Press, 1984 (французский перевод опубликован после курса: *Idem.* Enquêtes sur la vérité et l'interprétation. Nîmes: Jacqueline Chambon, 1993).
- Deleuze, Gilles.* Supplément à propos des nouveaux philosophes et d'un problème plus général // Minuit, supplément au n° 24, mai 1977.
- Derrida, Jacques.* L'Autre Cap. Paris: Galilée, 1991.
- Descimon, Robert.* Qui étaient les Seize? Mythes et réalités de la Ligue parisienne, 1585–1594. Paris: Klincksieck, 1983.
- Dumézil, Georges.* Science et politique. Réponse à Carlo Ginzburg // Annales ESC. 1985. V. 5. P. 985–989.
- Durkheim, Émile.* De la division du travail social. Paris: PUF, 1960 [1893].
- . Débat sur l'explication en histoire et en sociologie // Bulletin de la société française de philosophie. 1908. N° 8, rééd. in Textes, Paris, Minuit, 1975. T. 1. P. 199–217.
- . Les Formes élémentaires de la vie religieuse. Paris: PUF, 1960 [1912].
- . Leçons de sociologie. Paris, PUF: 1990 [1922].
- . L'Évolution pédagogique en France. Paris: PUF, 1969 [1938].
- Durkheim, Émile, Mauss, Marcel.* De quelques formes primitives de classification. Contribution à l'étude des représentations collectives // Année sociologique. 1901–1902. N 6. P. 1–72.
- Elias, Norbert.* Sport et violence // Actes de la recherche en sciences sociales. 1976. V. 6. N 2. P. 2–21.
- Febvre, Lucien.* Le Problème de l'incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais. Paris: Albin Michel, 1968 [1947].
- Feyerabend, Paul.* Realism, Rationalism and Scientific Method. Philosophical papers, vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1985



- (французский перевод опубликован после курса: *Idem*. *Réalisme, rationalisme et méthode scientifique*. Chennevières-sur-Marne: Dianoia, 2005).
- Foucault, Michel*. Qu'est-ce que la critique? Critique et Aufklärung. Conférence du 27 mai 1978 devant la Société française de philosophie // Bulletin de la société française de philosophie. 1990. V. 84. N 2. P. 35–63.
- Garfinkel, Harold*. Conditions of successful degradation ceremonies // *American Journal of Sociology*. 1956. V. 61. N 5. P. 240–244.
- Gernet, Louis*. Les Grecs sans miracle. Paris: Maspero, 1983.
- Gerschenkron, Alexander*. Economic Backwardness in Historical Perspective. A book of Essays. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1962.
- Ginzburg, Carlo*. Mythologie germanique et nazisme. Sur un livre ancien de Georges Dumézil // *Annales ESC*. 1984. V. 4. P. 695–715.
- Goffman, Erving*. La Mise en scène de la vie quotidienne. T. I: La Présentation de soi; t. II: Les Relations en public. Paris: Minuit, 1973 [1959].
- . Les Rites d'interaction. Paris: Minuit, 1974 [1967].
- . The interaction order // *American Sociological Review*. 1983. V. 48. P. 1–17.
- Goody, Jack*. La Raison graphique. La domestication de la pensée sauvage. Paris: Minuit, 1978 [1977].
- Gurvitch, Georges*. La Vocation actuelle de la sociologie. Paris, PUF: 1950.
- Habermas, Jürgen*. L'Espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise. Paris: Payot, 1978 [1962].
- Halbwachs, Maurice*. La classe ouvrière et les niveaux de vie. Recherche sur la hiérarchie des besoins dans les sociétés industrielles contemporaines. Paris: Gordon & Breach, 1970 [1912].
- . Les Cadres sociaux de la mémoire. Paris: Mouton, 1976 [1925].
- Hiroshi, Kojima*. A demographic evaluation of P. Bourdieu's "fertility strategy" // *The Journal of Population Problems*. 1990. V. 45. N 4. P. 52–58.
- Holton, Gerald*. L'Invention scientifique. Paris: PUF, 1982.
- Huizinga, Johan*. Homo Ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu. Paris: Gallimard, 1951 [1938].
- Hume, David*. Essais et traités sur plusieurs sujets. Essais moraux, politiques et littéraires. Paris: Vrin, 1999 [1758].
- Husti, Aniko*. Le Temps mobile. Paris: INRP, 1985.
- Janet, Pierre*. L'Évolution de la mémoire et de la notion du temps. Paris: Chahine, 1928.
- Köhler, Wolfgang*. L'Intelligence des singes supérieurs. Paris: Alcan, 1927 [1917].
- Kuhn, Thomas*. La Structure des révolutions scientifiques. Paris: Flammarion, 1982 [1962].
- Lalande, André*. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris: Alcan, 1926 (rééd. PUF, 2006).
- Leibniz, Gottfried Wilhelm*. Essais de théodicée. Sur la bonté de Dieu, la liberté de l'Homme et l'origine du Mal. Paris: Garnier-Flammarion, 1969 [1710].
- Lévi-Strauss, Claude*. Tristes Tropiques. Paris: Plon, 1955.
- . L'ethnologie et l'histoire // *Annales ESC*. 1983. V. 38. N 6. P. 1217–1231.

- Lovejoy, Arthur Oncken.* The Great Chain of Being. A Study of the History of an Idea. Cambridge: Harvard University Press, 1936.
- Malraux, André.* Psychologie de l'art. T. III: La Monnaie de l'absolu. Genève: Skira, 1950.
- Matheron, Alexandre.* Individu et communauté chez Spinoza. Paris: Minuit, 1969.
- Mauss, Marcel.* Esquisse d'une théorie générale de la magie // L'Année sociologique. 1902-1903, переиздано в: Sociologie et anthropologie. Paris: PUF, 1950. P. 1-141.
- . L'expression obligatoire des sentiments // Journal de psychologie. 1921. N 18, repris in OEuvres, Paris, Minuit, 1969.
- . Salutations par le rire et les larmes // Journal de psychologie. 1922. N 21.
- . Essais de sociologie. Paris: Minuit, 1969 (rééd. Seuil, «Points», 1971).
- Mead, George H. H.* L'Esprit, le soi et la société. Paris: PUF, 1963 [1934].
- Mercier, Louis-Sébastien.* Tableau de Paris. Amsterdam, 12 vol., 1781-1788.
- Merleau-Ponty, Maurice.* Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard, 1945.
- . Éloge de la philosophie. Paris: Gallimard, 1960 [1953].
- . Signes. Paris: Gallimard, 1960.
- Minton, Arthur.* A form of class epigraphy // Social Forces. 1950. V. 28. P. 250-262.
- Momigliano, Arnaldo.* Premesse per una discussione su Georges Dumézil // Opus II, 2, 1983. P. 329-341.
- Needham, Joseph.* La Science chinoise et l'Occident. Le grand titrage. Paris: Seuil, 1973 [1969].
- Nietzsche, Friedrich.* Par-delà le bien et le mal. Prélude d'une philosophie de l'avenir. Paris: Mercure de France, 1948 [1886].
- Parsons, Talcott.* The professions and social structure // Social Forces. 1939. V. 17. N 4. P. 457-467.
- . Professions // International Encyclopedia of the Social Sciences / David L. Sills. V. 12. New York: Macmillan, The Free Press. 1968. P. 536-547.
- Peel, John David Yeadon.* Herbert Spencer. The Evolution of a Sociologist. London: Heinemann, 1971.
- Polanyi, Karl.* La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps. Paris: Gallimard, 1983 [1944].
- Polanyi, Karl, Arensberg, Conrad M., Pearson, Harry W.* (dir.). Les Systèmes économiques dans l'histoire et dans la théorie. Paris, Larousse, 1975 [1957].
- Pons, Philippe.* D'Edo à Tokyo. Mémoire et modernité. Paris: Gallimard, 1988.
- Quine, Willard Van Orman.* Le Mot et la Chose. Paris: Flammarion, 1977 [1960].
- Rolland, Romain.* Jean-Christophe. Paris: Cahiers de la Quinzaine, 17 vol., 1904-1912.
- Ruyer, Raymond.* L'Utopie et les Utopies. Paris: PUF, 1950.
- Saint-Simon, Louis de Rouvroy De.* Mémoires, vol. 13: 1717-1718. Paris: Ramsay, 1978 [1788].
- Sartre, Jean-Paul.* Questions de méthode. Introduction de Critique de la raison dialectique. Paris: Gallimard, 1960.
- Schütz, Alfred.* Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in der verstehende Soziologie. Vienne: Springer-Verlag, 1932.

- . *Le Chercheur et le quotidien. Phénoménologie des sciences sociales.* Paris; Klincksieck, 1987.
- Sieffert, René.* Le théâtre japonais // *Les Théâtres d'Asie* / Jean Jacquot (dir.). Paris: Éd. du CNRS, 1968. P. 133–161.
- Spitzer, Leo.* *Linguistics and Literary History. Essays in Stylistics.* New York: Russel & Russel, 1962.
- Thompson, Edward P.* *The Poverty of Theory and Others Essays.* New York: Monthly Review Press, 1978.
- Valéry, Paul.* Cahiers. T. II. Paris. Gallimard: «Bibliothèque de la Pléiade», 1980 [1894–1914].
- Van Gennep, Arnold.* *Les Rites de passage.* Paris: Picard, 1981 [1909].
- Viala, Alain.* *Naissance de l'écrivain. Sociologie de la littérature à l'Âge classique.* Paris: Minuit, 1985.
- Wacquant, Loïc.* рецензия на: *Randall Collins. Three Sociological Traditions* (New York-Oxford, New York University Press, 1985) // *Revue française de sociologie.* 1987. V. 28. N 2. P. 334–338.
- Weber, Max.* The meaning of discipline // *From Max Weber: Essays in Sociology* / Hans H. Gerth, Charles Wright Mills. New York: Oxford University Press, 1946. P. 253–264.
- Whimster, Sam, Lash, Scott (ed.).* *Max Weber, Rationality and Modernity.* London: Allen & Unwin, 1987.

## Основные издания Пьера Бурдьё на русском языке

- Бурдьё П.* Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993 (статьи: Физическое и социальное пространство; Социальное пространство и генезис «классов»; Политические позиции и культурный капитал; Общественное мнение не существует; Политическое представление: элементы теории политического поля; Делегирование и политический фетишизм; Мертвый хватает живого; Политический монополизм и символические революции; За политику морали в политике).
- . Начала. М.: Socio-Logos, 1994.
- . Университетская докса и творчество: против схоластических делений. М.: Socio-Logos, 1996.
- . За рационалистический историзм // *S/Л' 97.* М.: Институт экспериментальной социологии, 1996.
- . Социология и демократия // *S/Л' 98.* Поэтика и политика. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. М.: Практис; Институт экспериментальной социологии, 1999.
- . Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001.
- . О телевидении и журналистике. М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», Институт экспериментальной социологии, 2002.
- . Политическая онтология Мартина Хайдеггера. М.: Практис, 2003.

## СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ

- . Введение в социологию социальных наук: объективация субъекта объективации; Поле науки; Социолог под вопросом // Социология под вопросом. Социальные науки в постструктуралистской перспективе. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. М.: Праксис; Институт экспериментальной социологии, 2005.
- . Социальное пространство: поля и практики. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005 (статьи: Генезис и структура поля религии; Власть права: основы социологии юридического поля; Поле экономики; Производство веры. Вклад в экономику символических благ; Общественное мнение не существует; Мужское господство; Поле литературы; Поле науки; Дело науки. Как социальная история социальных наук может служить их прогрессу. Социальные условия международной циркуляции идей).
- . Социология социального пространства. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007 (статьи: Социальное пространство и генезис «классов»; Физическое и социальное пространства; Социальное пространство и символическая власть; О символической власти; Стратегии воспроизводства и способы господства; Мертвый хватает живого; Делегирование и политический фетишизм; Политическое представление; Дух государства: генезис и структура бюрократического поля; От «королевского дома» к государственному интересу: модель происхождения бюрократического поля).
- Бурдье П., Пассрон Ж.-К.* Воспроизводство: элементы теории системы образования. М.: «Просвещение», 2007.

*Научное издание*

ПЬЕР БУРДЬЕ  
О ГОСУДАРСТВЕ  
Курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992)

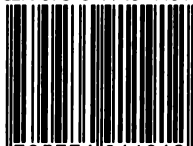
Главный редактор В. В. Анашвили  
Заведующая редакцией Ю. В. Бандурина  
Выпускающий редактор Е. В. Попова  
Корректор Т. П. Панкевич  
Художник В. П. Вертинский  
Оригинал-макет О. З. Элоев  
Верстка А. И. Попов

Подписано в печать 08.09.2016. Формат 70×100<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Усл. печ. л. 58,33. Тираж 1000 экз.  
Изд. № 529. Заказ № 1719

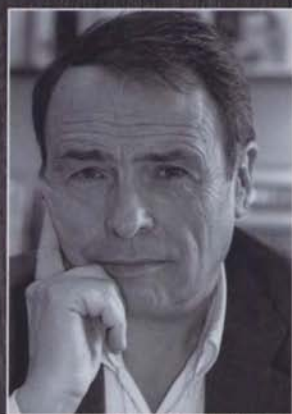
Издательский дом «Дело» РАНХиГС  
119571, Москва, пр-т Вернадского, 82  
Коммерческий центр  
тел. (495) 433-25-10, (495) 433-25-02  
[www.ranepa.ru](http://www.ranepa.ru)  
[delo@ranepa.ru](mailto:delo@ranepa.ru)

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»  
121099, Москва, Шубинский пер., 6

ISBN 978-5-7749-1191-2



9 785774 911912



## ПЬЕР БУРДЬЕ (1930–2002)

один из наиболее влиятельных социологов и антропологов второй половины XX в. Работал профессором социологии в Коллеж де Франс и руководителем исследований в Высшей школе социальных наук. В числе основных работ: «Различение: социальная критика суждения» (1979), «Практический смысл» (1980), «Homo academicus» (1984), «Политическая онтология Мартина Хайдеггера» (1988), «Государственная знать: большие школы и корпоративный дух» (1989), «Паскалевские размышления» (1997).

Это важная для социальных наук книга. В отличие от большинства книг, посвященных проблеме государства, она и правда дает основу для будущих эмпирических исследований функционирования государства. Академический ученый обычно имеет дело с тремя видами книг: одни нужно просто пролистать, другие — прочитать, а третьи — изучить. И эта книга, безусловно, относится к последней категории. Это смелая и глубокая книга, проясняющая многие вопросы.

*European Journal of Sociology*

В своем курсе «О государстве» Пьер Бурдьё пытается преодолеть немыслимость государства, сделать его предметом мысли. Бурдьё описывает то, как государство приобретает легитимность за счет обладания монополией на применение не только физического, но и символического насилия. Государство инкорпорируется в самих людей благодаря тому, что формирует их ментальные структуры и практики. Те, кто уполномочены действовать от имени государства, неизменно утверждают и подкрепляют его власть, как и простые граждане, следующие государственным приказаниям. Вскрытие того факта, что исторические корни государства связаны с определенными формами неравенств и произвола, важно для понимания того, как власть государства соотносится в наши дни с распределением привилегий. В книге демонстрируется удивительная теоретическая и методологическая связь, объединяющая многие работы Пьера Бурдьё. Благодаря ей становится понятно, как его позиция и проект отличаются от других социологических подходов — марксистского, обычного исторического и структуралистского.

*Theory, Culture & Society*